This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

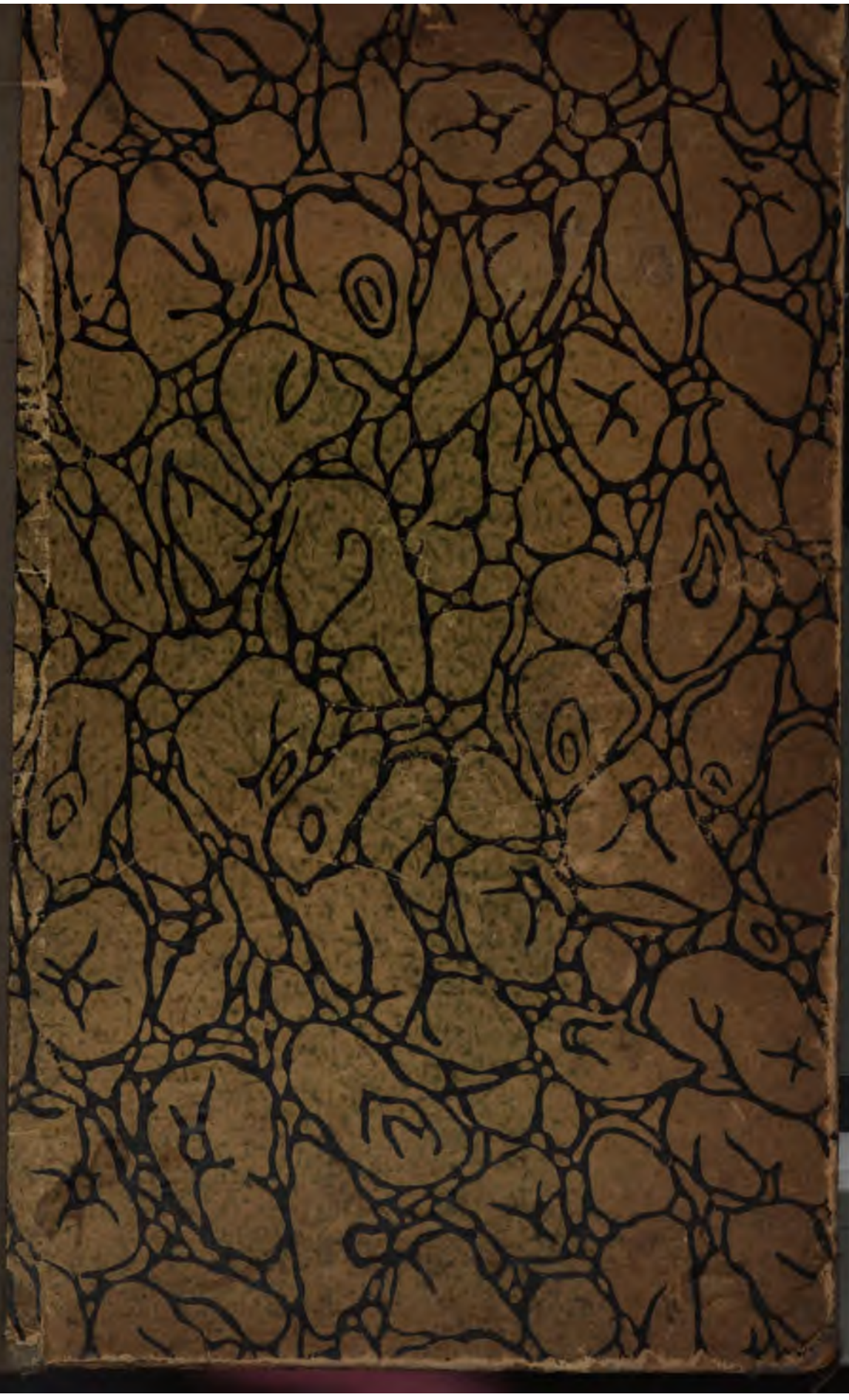
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

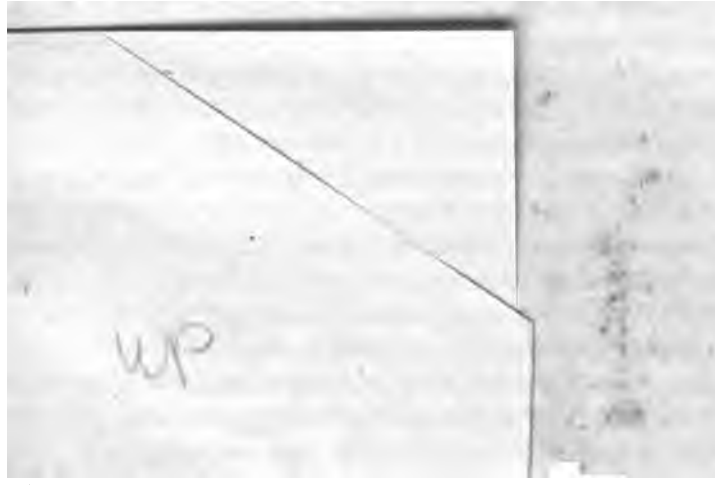
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



одская читальня
мять М. Ю. Лермонтова.
3
6-3
7476



Покровскій, В.

Ѳедоръ Михайловичъ ДОСТОЕВСКІЙ.

809
П48д

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

1898

составилъ

В. Покровскій.

Часть I.

Цѣна 50 коп.

МОСКВА.
Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.
Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова.
Телефонъ 120—95.
1908.

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Дѣтство и учебные годы Достоевскаго, *Ор. Миллера* 1
Достоевскій въ пансіонѣ Чермака, *его же* 13
Достоевскій въ инженерномъ училищѣ, *Савельева* 19
Отраженіе характера училища на творчествѣ Достоевскаго, *Булича* 21
Общественное настроеніе времени Достоевскаго, *Аверкіева* 24
Отношеніе Достоевскаго къ соціальнымъ ученіямъ, *Булича* 26
Участіе Достоевскаго въ кружкахъ того времени, его арестъ и ссылка, *Милюкова* 33
Достоевскій на каторгѣ, *Бороздина* 43
Ѳ. М. Достоевскій по возвращеніи изъ ссылки, *Милюкова* 47
Достоевскій за границей, *Глинки* 59
Смерть Достоевскаго, *В. Розанова* 62
Похороны Достоевскаго, *Изъ брош.: Ѳ. М. Достоевскій, 1881 г.* 63
Некрологъ Достоевскаго, *Морозова* 73
Памяти Достоевскаго, *Страхова* и *Ор. Миллера* 76
Литература и общество времени Достоевскаго, *Булича* 97
Содержаніе и композиція „Бѣдныхъ людей", *Вогюэ* 104
Будничность жизни „Бѣдныхъ людей" и особенность формы, облекшей ея содержаніе, *Булича* 108
Общее содержаніе „Бѣдныхъ людей", живость и истина въ изображеніи дѣйствительности, мастерская обрисовка характеровъ и художественное воспроизведеніе трагической стороны жизни, *Бѣлинскаго* 111
Достоевскій, открывая искру Божію въ бѣдныхъ людяхъ, жизнію приниженныхъ, приближаетъ ихъ къ намъ, дѣлаетъ родными, *Оболенскаго* 115
Типы обездоленныхъ въ „Бѣдныхъ людяхъ" и гуманное отношеніе къ нимъ автора, *Добролюбова* 122
Прекрасныя и благородныя черты въ герояхъ „Бѣдныхъ людей", *Миллера* 126
Привѣтствіе „Бѣдныхъ людей" Бѣлинскимъ, *Анненкова* 128
Встрѣча „Бѣдныхъ людей" лучшими представителями тогдашней литературы, *Глинки* 130
„Бѣдные люди", какъ чуткій отвѣтъ на вопросы дѣйствительности, *его же* 133
Герои „Бѣдныхъ людей", какъ провозвѣстники новаго литературнаго жанра, *Маркова* 138
Составъ каторги, жизнь и нравы ея обитателей, художественное изображеніе ихъ характеровъ, согрѣтое теплымъ чувствомъ и озаренное гуманнымъ свѣтомъ, *Милюкова* 143
Жизнь каторжной тюрьмы въ освѣщеніи трезвой правды, *Кони* 149
Обновленіе религіознаго чувства и познаніе высшей правды, подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ обитателей „Мертваго дома", *Соловьева* 152
Десятилѣтнее на люденіе Достоевскаго заживо погребенныхъ въ „Мертвомъ домѣ", глубокое проникновеніе въ ихъ душу и неоправдываемость ихъ преступленій ни съ философской ни съ соціальной точки зрѣнія, *Изъ Библіотеки для чтенія за 1862 г.* . . . . . —
Всякая страница „Мертваго дома" какъ теплотою лѣтняго солнца проникнута христіанскимъ чувствомъ всепрощенія, братскою любовію къ человѣку и твердымъ воспріятіемъ всѣхъ неизбѣжныхъ золъ жизни и тихою радостію жизни, *Маркова* 165
Жизненная правда и идеалистическое настроеніе „Записокъ изъ мертваго дома" *Бороздина* 172
Обитатели „Мертваго дома" Достоевскаго и бурсы Помяловскаго, *Писарева* . . . 176
„Записки изъ мертваго дома" Достоевскаго и „Въ мірѣ отверженныхъ" Мельшина, *Богдановича* 182
Общественное значеніе „Записокъ изъ мертваго дома", *Ор. Миллера* 191

Дѣтство и учебные годы Достоевскаго.

Днемъ рожденія Ѳедора Михайловича было 30-е октября 1821 г. Едва ли не самымъ раннимъ воспоминаніемъ Ѳ. М. было, какъ однажды няня привела его, лѣтъ около трехъ, при гостяхъ въ гостиную, заставила стать на колѣни передъ образами и, какъ это всегда бывало на сонъ грядущій, прочесть молитву: „Все упованіе, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божія, сохрани мя подъ кровомъ Своимъ". Гостямъ это очень понравилось, и они говорили, лаская его: „Ахъ, какой умный мальчикъ!" Воспоминаніе это врѣзалось въ его память, молитву же ту онъ твердилъ всю жизнь и ею же напутствовалъ ко сну своихъ собственныхъ дѣтей. Ѳедоръ Михайловичъ вспоминалъ также, что держали ихъ строго и рано начинали учить. Его уже четырехлѣтнимъ сажали за книжку и твердили: „учись!", а на воздухѣ было такъ тепло, хорошо, такъ и манило въ большой и тѣнистый больничный садъ! Зато когда отецъ уѣзжалъ на практику, мать отпускала дѣтокъ на волю.

Обратимся теперь къ воспоминаніямъ Андрея Михайловича Достоевскаго, брата Ѳедора Михайловича:

„Отецъ нашъ, штабъ-лѣкарь Михаилъ Андреевичъ Достоевскій, по окончаніи курса медицины въ существовавшей тогда Московской медицинской академіи въ 1812 г., былъ зачисленъ медикомъ въ военную службу, а по окончаніи войны служилъ въ московскомъ военномъ госпиталѣ. Въ концѣ 1820 г. отецъ перешелъ изъ военнаго вѣдомства въ гражданское и поступилъ врачомъ, съ званіемъ штабъ-лѣкаря, въ московскую Маріинскую больницу, гдѣ и родился братъ Ѳедоръ Михайловичъ и всѣ остальныя дѣти, кромѣ послѣдней младшей сестры нашей".

„Квартира, занимаемая отцомъ, была въ нижнемъ этажѣ. Отецъ нашъ, уже семейный человѣкъ, имѣвшій въ то время 4—5 человѣкъ дѣтей, пользуясь штабъ-офицерскимъ чиномъ, занималъ квартиру, состоящую собственно изъ двухъ комнатъ, кромѣ передней и кухни. При входѣ, какъ обыкновенно, была передняя въ одно окно, отъ которой задняя часть отдѣлялась досчатой столярной перегородкой; образовавшаяся отъ сего полутемная комнатка служила дѣтскою для двухъ старшихъ братьевъ (т.-е. для Михаила и Ѳедора Михайловичей). Далѣе залъ, — довольно помѣстительная комната о 2-хъ окнахъ на улицу и 3-хъ на чистый дворъ. Потомъ — гостиная въ два окна на улицу, отъ которой таковою же перегородкою было отдѣлено полу-

свѣтлое помѣщеніе для спальни. Вотъ и вся квартира. Впослѣдствіи, когда семейство наше увеличилось, — прибавили къ квартирѣ еще одну комнату. Обстановка квартиры была очень скромная. Передняя съ прилегающею къ ней дѣтскою была окрашена темно-перловою клеевою краскою; залъ — свѣтло-канареечною; а гостиная съ прилегающею спальнею — кобальтовою. Обмеблировка была самая простая: въ залѣ помѣщались два ломберныхъ стола (хотя въ карты никогда въ семействѣ нашемъ не играли), которые служили старшимъ братьямъ для занятій; обѣденный столъ и дюжина березовыхъ стульевъ съ мягкими сидѣньями, обитыми зеленымъ сафьяномъ (конечно, не на пружинахъ). Эта зала была нашею семейною комнатою, гдѣ и учились и играли, обѣдали и пили чай. Гостиная же была нашею комнатою отдохновенія. Когда мы, дѣти, оканчивали свои уроки, то приходили въ гостиную, и тамъ усаживались вмѣстѣ съ родителями". (По воспоминаніямъ другихъ родственниковъ, это было за круглымъ столомъ, при чёмъ мать работала, а дѣти читали вслухъ.) Самъ Ѳ. М. вспоминалъ, что когда начиналось шитье или кройка, то ихъ, дѣтей, оттоняли, вслѣдствіе чего кройка и впослѣдствіи производила на него всегда непріятное дѣйствіе.

„Съ самаго моего младенчества", продолжаетъ Андрей Михайловичъ, „какъ я начинаю вспоминать нашу дѣтскую жизнь, мнѣ рисуются слѣдующіе члены семейства: отецъ, мать, старшій братъ Михаилъ, братъ Ѳедоръ, сестра Варвара и я. Мною кончается, такъ сказать, первая, старшая серія насъ, дѣтей. Хотя за мною и слѣдовали еще сестра Вѣра, братъ Николай и сестра Александра, но они были еще такъ малы, что не могли принимать участія ни въ нашихъ занятіяхъ ни въ нашихъ играхъ, и жили какъ бы отдѣльною отъ насъ дѣтскою жизнію. Мы же четверо постоянно почти были вмѣстѣ, и наши интересы, наши занятія и игры имѣли много общаго". (По словамъ самого Ѳ. М., онъ очень любилъ въ дѣтствѣ „сестру Варю", впослѣдствіи вышедшую замужъ за Карепина.) „Упоминаю это для того, чтобы показать, что вся дѣтская жизнь двухъ старшихъ братьевъ, въ сказанный періодъ времени, была на моихъ глазахъ. Всѣ ихъ занятія, всѣ ихъ разговоры происходили при мнѣ. Они не стѣснялись моимъ присутствіемъ, и развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ оттоняли меня прочь, называя своимъ хвостикомъ. Старшіе братья были погодки, росли вмѣстѣ и были очень дружны; дружба эта сохранилась до конца жизни старшаго брата. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различныхъ характеровъ. Братъ Михаилъ былъ и въ дѣтствѣ менѣе рѣзвъ, менѣе энергиченъ, менѣе горячъ въ разговорахъ, нежели братъ Ѳедоръ, который былъ во всѣхъ проявленіяхъ своихъ *настоящій огонь,* какъ выражались наши родители.

„Говоря о нашемъ семействѣ, я не могу не упомянуть о личности, которая входила въ него всею своею жизнію, всѣми своими интересами. Это была няня Олёна Фроловна. Упоминаю объ ней не съ цѣлію показать, чтобы Аленѣ Фроловнѣ, какъ нянѣ Пушкина, можно было приписать какое-либо вліяніе на дѣтское развитіе брата Ѳедора. Это

была личность добрая, любившая насъ, — но и только. Она была московская мѣщанка и не безъ важности величала себя *гражданкою*. Но, упомянувъ о ней, какъ объ одной изъ прислугъ нашихъ, я не могу не замѣтить, какъ дорого было даже впослѣдствіи воспоминаніе о нихъ у брата Ѳ. М. Въ многочисленныхъ произведеніяхъ его разбросано много именъ, которыми называлась наша прежняя прислуга. Такъ, няня у Лизы Тушиной (въ романѣ „Бѣсы") названа Олёной Фроловной, гдѣ выводился на сцену староста, — то назывался Савиномъ Макаровымъ, приказчикъ назывался Григорьемъ Васильевымъ и т. д. — все это имена бывшихъ нашихъ городскихъ и деревенскихъ слугъ".

По увѣренію Андрея Михайловича, Олёна Фроловна не умѣла разсказывать сказки. Это не совсѣмъ сходится съ воспоминаніями другихъ родственниковъ и самого Ѳедора Михайловича. Вѣроятно, Олёна Фроловна разсказывала сказки не такъ хорошо, какъ, напримѣръ, кормилицы. „Изъ всѣхъ дѣтей своихъ", продолжаетъ Андрей Михайловичъ, „матушка кормила сама только одного старшаго брата Михаила (котораго, по словамъ Ѳ. М., особенно любила), всѣхъ же прочихъ дѣтей кормили наемныя кормилицы. Вотъ эти-то бывшія кормилицы ежегодно (преимущественно зимою) приходили къ намъ въ гости, раза по два. Приходъ ихъ для насъ, дѣтей, былъ настоящимъ праздникомъ. Онѣ приходили изъ ближайшихъ деревень всегда на довольно долгое время, гостя у насъ дня по два, по три. Какъ теперь рисуется въ моихъ воспоминаніяхъ слѣдующая картина: однимъ зимнимъ утромъ является къ матушкѣ въ гостиную няня Олёна Фроловна и докладываетъ: „Кормилица Лукерья пришла". Мы, мальчики, вбѣгаемъ изъ залы въ гостиную и чуть не бьемъ въ ладоши отъ радости. „Зови ее", говоритъ матушка. И вотъ является лапотница Лукерья. Первымъ дѣломъ помолится и поздоровается съ матерью, потомъ перецѣлуетъ всѣхъ насъ, потомъ обдѣлитъ насъ всѣхъ деревенскими гостинцами, въ видѣ лепешекъ, испеченныхъ на пахтаньѣ; но вслѣдъ за тѣмъ удаляется опять въ кухню, — дѣтямъ некогда, они должны утромъ заниматься. Но вотъ наступаютъ сумерки, матушка занимается въ гостиной, отецъ также занятъ выпискою рецептовъ въ скорбные листы (по больницѣ), которые ежедневно приносились ему массами, а мы, дѣти, ожидаемъ уже въ темной неосвѣщенной залѣ прихода кормилицы. Она является, усаживаемся всѣ въ темнотѣ на стульяхъ, и тутъ-то начинается разсказываніе сказокъ. Это удовольствіе продолжалось часа по три, по четыре; разсказы передавались почти шопотомъ, чтобы не мѣшать родителямъ; тишина такая, что слышенъ скрипъ отцовскаго пера. И какихъ только сказокъ мы ни слыхивали, и названій теперь всѣхъ не припомню; разсказывалось и про Жаръ-Птицу, и про Алешу Поповича, и про Синюю Бороду и много другихъ. Помню только, что нѣкоторыя сказки казались для насъ очень страшными[1]). Къ разсказчицамъ этимъ

[1]) Такъ какъ онѣ разсказывались въ темной комнатѣ, этимъ, можетъ-быть, и объясняется то, что Ѳ. М. въ дѣтствѣ боялся темноты (какъ самъ разсказывалъ). *Прим. О. М.*

мы относились и критически, замѣчая, напримѣръ, что Варина кормилица хотя и больше знаетъ сказокъ, но разсказываетъ ихъ хуже, чѣмъ Андрюшина, или что-то подобное". По воспоминаніямъ другихъ родственниковъ Ѳ. М., сказки разсказывала имъ еще — уже не народныя, а изъ „Тысячи и одной ночи" — какая-то часто гостившая у нихъ старушка Александра Николаевна. Сказка такъ и лилась у нея за сказкой, и дѣти не отходили отъ нея. Вѣроятно это было еще до той поры, о которой можетъ помнить Андрей Михайловичъ.

„День проходилъ въ нашемъ семействѣ", продолжаетъ онъ, „по разъ заведенному порядку,—одинъ какъ другой. Вставали утромъ рано, часовъ въ 6. Въ восьмомъ часу отецъ выходилъ уже въ больницу или въ „палату", какъ у насъ говорилось. Въ 9 часовъ утра отецъ, возвратившись изъ больницы, ѣхалъ сейчасъ же въ объѣздъ своихъ городскихъ паціентовъ или, какъ у насъ говорилось, „на практику". Въ его отсутствіе мы, дѣти, занимались уроками. Возвращался отецъ постоянно почти въ 12 часовъ, и сейчасъ же обѣдали. Въ 4 часа дня пили вечерній чай, послѣ котораго отецъ вторично шелъ въ палату къ больнымъ. Вечера проводились въ гостиной, и ежели отецъ не былъ занятъ „скорбными листами", то читали вслухъ. Въ праздничные дни, въ особенности въ святки, въ той же гостиной иногда играли, при участіи родителей, въ карты — въ короли, при чёмъ братъ Ѳедоръ, по юркости своего характера, всегда уловчался сдѣлать какой-нибудь обманъ, въ чемъ и бывалъ не разъ уличаемъ. Въ девятомъ часу вечера, аккуратно, накрывался ужинный столъ и, поужинавъ, мы, мальчики, становились передъ образомъ; прочитавъ молитвы и простившись съ родителями, отходили ко сну.

„Посторонніе, или такъ называемые гости, у насъ появлялись очень рѣдко, въ особенности по вечерамъ. Все знакомство родителей ограничивалось большею частію утренними визитами. Когда же, изрѣдка, случалось, что родители выѣдутъ вечеромъ въ гости, то игры наши дѣлались болѣе шумными и разнообразными. Впрочемъ, отсутствіе родителей никогда не было продолжительнымъ; въ 9—10 часовъ вечера они непремѣнно возвращались.

„Дни семейныхъ праздниковъ, въ особенности день именинъ отца, — 8-го ноября, всегда былъ для насъ очень знаменательнымъ. Начать съ того, что старшіе братья обязательно должны были приготовить утреннее привѣтствіе имениннику. Привѣтствія эти были всегда на французскомъ языкѣ, тщательно переписанныя, на почтовой бумагѣ, и, свернутыя въ трубочку, подавались отцу и говорились наизусть. Помню даже, что одинъ разъ было сказано что-то изъ Генріады (Богъ вѣсть ради чего). Отецъ умилялся и горячо цѣловалъ привѣтствующихъ. Въ этотъ день всегда было много гостей, въ особенности на обѣдѣ. Впослѣдствіи же, когда мы, дѣти, подросли, то раза два устраивался и вечерній пріемъ гостей на танцы; но, сколько помню, ни одинъ изъ насъ, мальчиковъ, не танцовалъ охотно, а былъ выдвигаемъ къ танцамъ какъ на какую-то необходимую и тяжелую работу.

„Въ лѣтнюю пору въ домашнемъ препровожденіи времени появлялось нѣкоторое разнообразіе, а именно совершались семейныя вечернія прогулки. Домъ московской Маріинской больницы находился на Божедомкѣ, между зданіями двухъ женскихъ институтовъ — Екатерининскаго и Александровскаго, и вблизи Марьиной рощи. Эта роща была всегдашнею цѣлью нашихъ лѣтнихъ прогулокъ. Часовъ въ 7 вечера, мы всѣ, дѣти съ родителями и по большей части съ другими обитателями Маріинской больницы, отправлялись на эту прогулку. Проходя мимо часового, стоявшаго при ружьѣ и въ полной солдатской формѣ у воротъ Александровскаго института, принято было за непремѣнную обязанность давать этому часовому копейку или грошъ; но подача эта дѣлалась не въ руку, а просто бросалась подъ ноги. Прогулки происходили весьма чинно, и дѣти даже за городомъ, въ Марьиной рощѣ, не позволяли себѣ порѣзвиться, побѣгать. Въ прогулкахъ этихъ отецъ всегда разговаривалъ съ дѣтьми о предметахъ, могущихъ развить ихъ. Такъ, помню неоднократныя наглядныя толкованія его о геометрическихъ началахъ, объ острыхъ, тупыхъ и прямыхъ углахъ, кривыхъ и ломаныхъ линіяхъ, каковыя въ московскихъ кварталахъ встрѣчаются почти на каждомъ шагу.

„Къ числу лѣтнихъ разнообразныхъ дѣлъ нужно отнести также ежегодныя посѣщенія Троицкой лавры. Но это было въ самое раннее наше дѣтство, такъ какъ, съ покупкой родителями въ 1831 г. своего имѣнія, поѣздки къ Троицѣ прекратились. Я помню одно только такое путешествіе къ Троицѣ, въ которомъ участвовалъ и я. Ѣздили „на долгихъ“, останавливаясь по цѣлымъ часамъ почти на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ теперь останавливаются на 2—3 минуты. У Троицы проводили дня два, посѣщали всѣ церковныя службы и, накупивъ игрушекъ, тѣмъ же порядкомъ возвращались домой, употребивъ на все путешествіе дней 5—6. Отецъ, по служебнымъ обязанностямъ, въ этихъ путешествіяхъ не участвовалъ, а мы ѣздили только съ матушкой и съ кѣмъ-нибудь изъ знакомыхъ.

„Въ театрахъ родители наши почти никогда не бывали, и я помню всего одинъ или два раза, когда на большіе праздники бралась ложа, и мы всѣ, дѣти, ѣздили вмѣстѣ съ родителями въ театръ. Но при этомъ пьесы выбирались съ большимъ разборомъ. Помню, что одинъ разъ мы видѣли „Жако или Бразильскую обезьяну“. Не совсѣмъ припоминаю сюжетъ этой пьесы, но въ памяти моей сохранилось только то, что артистъ, игравшій обезьяну, былъ замѣчательный эквилибристъ; братъ Ѳедоръ долгое время бредилъ имъ и пытался подражать ему. Это было еще въ самыхъ раннихъ годахъ его дѣтства“. Самъ Ѳ. М. разсказывалъ Аннѣ Григорьевнѣ о томъ сильномъ впечатлѣніи, какое произвело на него, десятилѣтняго, представленіе совершенно другого рода — „Разбойниковъ“ Шиллера, съ Мочаловымъ въ главной роли.

„Ежели мы рѣдко бывали въ театрахъ“, продолжаетъ Андрей Михайловичъ, „то зато въ балаганахъ московскихъ на праздники и на масленицу мы бывали постоянно. У насъ былъ дѣдушка (родной дядя

матери) Василій Михайловичъ Котельницкій. Онъ былъ профессоромъ Московскаго университета по одной изъ каѳедръ медицинскаго факультета; былъ бездѣтенъ и имѣлъ свой собственный деревянный домъ „*подъ Новинскимъ*“. Этотъ-то дѣдушка, очень уважаемый родителями и очень любившій насъ, дѣтей, кажется, поставилъ родителямъ въ обязательство, чтобы во время праздниковъ и масленицы мы всѣ приходили къ нему на цѣлый день. Такъ какъ всѣ балаганы были почти около его дома, то дѣдъ и водилъ насъ въ эти балаганы по своему выбору. Родители наши уже не сопутствовали намъ въ этихъ прогулкахъ, вполнѣ довѣряя насъ дѣду.

„Родители наши были люди весьма религіозные, въ особенности матушка. Всякое воскресенье и большой праздникъ мы обязательно ходили въ церковь къ обѣднѣ, а наканунѣ ко всенощной. Исполнять это было удобно, такъ какъ у насъ была очень большая и хорошая церковь.

„При больницѣ находился большой и красивый садъ, съ многочисленными липовыми аллеями и содержащимися въ большой чистотѣ дорожками. Этотъ-то садъ и былъ почти нашимъ жилищемъ въ лѣтнее время. Тамъ мы чинно прогуливались съ нянею или, усѣвшись на скамейкахъ, проводили цѣлые часы. Тамъ же происходили и наши дѣтскія игры. Играть, впрочемъ, позволялось только въ лошадки; игры же въ мячъ, и въ особенности при помощи палокъ, какъ-то въ лапту и проч., строго воспрещались, какъ игры опасныя и неприличныя. Въ больницѣ кромѣ насъ было много жильцовъ, докторовъ и прочихъ служащихъ; но, сколько запомню, въ семействахъ этихъ не было дѣтей намъ сверстниковъ, дѣти были или старше насъ, или совсѣмъ маленькія, а потому мы поневолѣ довольствовались только играми между собою, которыя и были очень однообразны. Разъ намъ удалось видѣть на какомъ-то гуляньѣ бѣгуна, который за деньги показывалъ свое искусство бѣгать. При этомъ онъ во рту держалъ конецъ платка, напитаннаго какимъ-то спиртнымъ веществомъ. Я помню, что братъ Ѳедоръ долгое время представлялъ этого бѣгуна, и неутомимо бѣгалъ по садовымъ аллеямъ, держа во рту тоже конецъ носового своего платка. (Это, вѣроятно, объясняется тѣмъ, что Ѳ. М., по его собственнымъ словамъ, любилъ въ дѣтствѣ выказываться силою, ловкостью и т. п.) „Въ больничномъ саду прогуливались также и больные, или въ суконныхъ верблюжьяго цвѣта халатахъ или въ лѣтнихъ тиковыхъ, смотря по погодѣ, но всегда бѣлыхъ какъ снѣгъ колпакахъ, вмѣсто фуражекъ, и въ башмакахъ или туфляхъ безъ задковъ. Братъ Ѳедоръ очень любилъ, какъ-нибудь украдкою, вступать въ разговоры съ этими больными, въ особенности ежели попадались мальчики; но это строго преслѣдовалось, и отецъ былъ весьма недоволенъ, ежели до него доходили объ этомъ слухи“. Отецъ, по воспоминаніямъ родственниковъ, вообще былъ строгъ, и нянѣ Еленѣ Фроловнѣ не разъ приходилось скрывать отъ него вины дѣтей и вообще защищать ихъ отъ родительской грозы.

„Болѣе разнообразныя игры наши“, продолжаетъ Андрей Михайловичъ“, происходили въ деревнѣ, въ позднѣйшее уже время. Купленная

нашими родителями въ 1831 г. деревня находилась въ Тульской губерніи, въ Каширскомъ уѣздѣ, въ 150 верстахъ отъ Москвы. Въ эту-то деревню каждою раннею весною матушка наша переселялась на цѣлое лѣто хозяйничать. Отецъ по служебнымъ обязанностямъ оставался въ Москвѣ, пріѣзжая только на нѣсколько дней въ срединѣ лѣта. Въ первые годы, когда еще старшіе братья не были въ пансіонѣ, мы всѣ сопутствовали матери и проводили все лѣто въ деревнѣ. Поѣздка въ деревню для насъ, дѣтей, составляла эпоху, которой мы дожидались съ нетерпѣніемъ. Ѣздили обыкновенно на своихъ деревенскихъ же лошадяхъ, которыя нарочно пріѣзжали за ними съ крестьяниномъ Семеномъ Широкимъ, слывшимъ за лучшаго наѣздника, любителя и знатока лошадей. Совершали эту поѣздку обыкновенно въ двое сутокъ, — на третьи. Во время поѣздокъ этихъ братъ Ѳедоръ бывалъ въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Онъ всегда избиралъ мѣсто сидѣнія на облучкѣ. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой братъ не соскочилъ бы съ брички, не обѣгалъ бы близъ лежащей мѣстности, или не повертѣлся бы съ Семеномъ Широкимъ около лошадей.

„Мѣстность въ нашей деревнѣ была очень пріятная и живописная“, продолжаетъ А. М. „Маленькій плетневый мазанковый домикъ, о трехъ комнатахъ, стоялъ въ липовой рощѣ, довольно большой и тѣнистой. Роща эта, чрезъ небольшое поле, примыкала къ березовому лѣсу, очень густому и съ довольно мрачною и дикою мѣстностію, изрытою оврагами. Лѣсокъ этотъ назывался *Брыково*. Мѣстность эта очень полюбилась брату Ѳедору, такъ что лѣсокъ этотъ въ семействѣ начали называть Ѳединою рощею. Впрочемъ, матушка неохотно намъ дозволяла тамъ гулять, такъ какъ ходили слухи, что въ оврагахъ попадаются змѣи и забѣгаютъ даже волки“.

Этимъ, вѣроятно, и объясняется тотъ волкъ, который однажды померещился Ѳ. М., какъ онъ о томъ вспоминаетъ въ „Дневникѣ Писателя“ въ разсказѣ о мужикѣ „Мареѣ“.

Андрей Михайловичъ подробно вспоминаетъ объ ихъ дѣтскихъ играхъ въ деревнѣ. „Братъ Ѳедоръ“, говоритъ онъ“, тогда уже читавшій, вѣроятно, познакомился съ описаніями жизни дикарей. Игра въ „дикихъ“ была любимою его игрою. Она состояла въ томъ, что, выбравши мѣсто болѣе густое въ липовой рощѣ, мы строили тамъ шалашъ и дѣлали его главнымъ пребываніемъ дикихъ племенъ. Раздѣвшись, мы расписывали себѣ тѣло красками, на манеръ татуировки; дѣлали себѣ поясныя и головныя украшенія изъ листьевъ и выкрашенныхъ гусиныхъ перьевъ, и, вооружившись самодѣльными луками и стрѣлами, производили воображаемые набѣги на Брыково. Конечно, братъ Ѳедоръ, какъ выдумавшій эту игру, былъ главнымъ предводителемъ племени. Братъ Михаилъ рѣдко участвовалъ непосредственно въ этой игрѣ, она была не въ его характерѣ; но онъ, какъ начинавшій въ то время рисовать и имѣвшій въ то время краски, былъ нашимъ костюмеромъ и размалевывалъ насъ. Особый интересъ въ этой игрѣ былъ тотъ, чтобы за нами, дикими, не было присмотра старшихъ, и чтобы та-

кимъ образомъ совершенно уединиться отъ всего обычнаго — не дикаго. Разъ, помню, что въ отличную сухую погоду, матушка желая продлить нашу игру и наше удовольствіе, рѣшилась не звать насъ къ обѣду, и велѣла отнести дикарямъ обѣдъ на воздухъ въ особой посудѣ и поставить его гдѣ-нибудь подъ кустомъ. Это доставило намъ большое удовольствіе, и мы поѣли безъ помощи вилокъ и ножей, а просто руками, какъ и приличествовало дикимъ. Но когда мы преднамѣревались было провести и ночь въ дикомъ состояніи, то этого намъ уже не дозволили.

„Другая игра, тоже выдуманная братомъ Ѳедоромъ, была въ „Робинзона". Въ эту игру мы играли съ нимъ вдвоемъ, и, конечно, братъ былъ Робинзономъ, а мнѣ приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести въ нашей липовой рощѣ всѣ тѣ лишенія, которыя испытывалъ Робинзонъ на необитаемомъ островѣ.

„Вспомню еще—не игру, а особую, совершённую нами процессію. За липовой рощей было кладбище, и вблизи его стояла ветхая деревянная часовня, въ которой на полкахъ помѣщались иконы. Дверь въ эту часовню никогда не запиралась. Гуляя однажды въ сопровожденіи горничной, нанятой въ Москвѣ и жившей у насъ долго, очень разбитной, мы зашли въ эту часовню... и, долго не думая, подняли образа, и съ пѣніемъ различныхъ церковныхъ стиховъ и пѣсенъ, подъ предводительствомъ сказанной горничной, начали обходъ по полю. „Андрей Михайловичъ называетъ эту продѣлку, которая удавалась имъ раза два-три, непростительной. Но при ихъ религіозномъ воспитаніи, надо думать, это дѣлалось съ чистымъ сердцемъ, по крайней мѣрѣ, со стороны ихъ, дѣтей. Тѣмъ не менѣе, имъ досталось за это порядкомъ, когда дѣло дошло до матери.

„Въ деревнѣ", продолжаетъ А. М. мы постоянно почти были на воздухѣ и, исключая игръ, проводили цѣлые дни на поляхъ, присутствуя и приглядываясь къ труднымъ полевымъ работамъ. Всѣ крестьяне любили насъ очень, въ особенности брата Ѳедора. Онъ, по своему живому характеру, брался за все: то попроситъ водить лошадь съ бороной, то погоняетъ лошадь, идущую въ сохѣ и т. п. Любилъ онъ также вступать въ разговоры съ крестьянами, которые всегда охотно съ нимъ говорили; но вѣрхомъ удовольствія его было исполнить какое-либо порученіе, или сдѣлать одолженіе, и быть чѣмъ-нибудь полезнымъ. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать, вмѣстѣ съ маленькимъ ребенкомъ въ люлькѣ, пролила нечаянно жбанчикъ воды, и бѣднаго ребенка нечѣмъ было напоить. Братъ сейчасъ же взялъ жбанчикъ, сбѣгалъ въ деревню (версты 1½) за водою, и принесъ, къ радости матери, полный жбанъ воды. Онъ самъ зналъ, что его любили. Сцена, описанная имъ съ такою теплотою въ „Дневникѣ Писателя" съ крестьяниномъ Мареемъ[1]) достаточно рисуетъ эту любовь.

[1]) Крестьянинъ Марей — лицо дѣйствительно существовавшее; это былъ красивый мужикъ, выше среднихъ лѣтъ (40—45), брюнетъ съ окладистою бородою, въ которую пробивалась уже сѣдина. Онъ считался въ деревнѣ большимъ знатокомъ рогатаго скота, и когда приходилось покупать на ярмаркѣ коровъ, то всегда посылали Марея.

„Имѣніе наше состояло изъ двухъ небольшихъ деревенекъ, расположенныхъ другъ отъ друга въ 1½ верстахъ; въ одной, а именно сельцѣ Даровое, мы жили, а другая называлась Чермашня. Въ эту Чермашню мы хаживали очень часто пѣшкомъ, а братъ Ѳедоръ иногда ѣздилъ верхомъ. Онъ очень любилъ, когда матушка давала какое-либо порученіе, чтобы сообщить что-либо въ Чермашню, и всегда вызывался исполнить это порученіе.

„Въ заключеніе краткихъ своихъ воспоминаній о деревнѣ, я не могу не упомянуть о дурочкѣ Аграфенѣ. Въ деревнѣ у насъ была дурочка, не принадлежавшая ни къ какой семьѣ; она все время проводила шляясь по полямъ, и только въ сильные морозы зимой ее насильно пріючивали къ какой-либо избѣ. Ей уже было тогда лѣтъ 20—25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминаетъ постоянно о ребенкѣ, похороненномъ на кладбищѣ. Читая въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ исторію Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминалъ нашу дурочку Аграфену“.

Ѳедоръ Михайловичъ и самъ подробно вспоминалъ о своемъ дѣтскомъ житьѣ-бытьѣ въ деревнѣ и о значеніи ея въ его жизни въ „Дневникѣ“ 1877 г. (іюль — августъ). Во время своего тогдашняго путешествія по Россіи онъ нарочно сдѣлалъ „маленькій крюкъ — изъ Москвы полтораста верстъ въ сторону“. Деревня, принадлежавшая когда-то его родителямъ и давно уже перешедшая во владѣніе одной ихъ родственницы, „оставила въ немъ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь“ и все въ ней „было полно для него самыми дорогими воспоминаніями“ [1]).

Тамъ-то, „еще въ этихъ“ мѣстахъ дѣтства, произошло его первое сближеніе съ народомъ — съ тою „правдой“, которую видитъ онъ въ чудесныхъ разсказахъ „о мученикахъ и подвижникахъ“ и съ которою онъ познакомился еще ранѣе — въ Москвѣ, чрезъ тѣхъ деревенскихъ людей, которыхъ, какъ видѣли мы, у нихъ бывало не мало. „Я самъ въ дѣтствѣ“, вспоминаетъ онъ въ томъ же „Дневникѣ“, „слышалъ такіе разсказы прежде еще, чѣмъ научился читать. Слышалъ я потомъ эти разсказы“, прибавляетъ онъ, „даже въ острогахъ у разбойниковъ и разбойники слушали и вздыхали. Эти разсказы передаются не по книгамъ, а заучились изустно и они“, говоритъ онъ, „остались у меня на сердцѣ“ [2]). Школой „народной правды“ могла ему послужить и та встрѣча съ „мужикомъ Мареемъ“, которая вспомнилась ему со всѣми подробностями двадцать лѣтъ спустя въ Сибири, среди всѣхъ отталкивающихъ впечатлѣній острожной жизни.

О томъ, какъ однажды въ дѣтствѣ померещился ему выбѣжавшій изъ лѣса волкъ и какъ успокаивалъ его этотъ Марей, разсказываетъ онъ въ „Дневникѣ“ 1876 г. за февраль. „Конечно, всякій бы ободрилъ ребенка,—говоритъ Достоевскій,—но тутъ... случилось какъ бы что-то

---

[1]) Соч. т. XII, стран. 199.
[2]) Ibidem 76, 48.

совсѣмъ другое, и если бъ я былъ собственнымъ его сыномъ, онъ не могъ бы посмотрѣть на меня сіяющимъ болѣе свѣтлою любовью взглядомъ, а кто его заставлялъ? Былъ онъ собственный крѣпостной нашъ мужикъ, а я все же его барченокъ; никто бы не узналъ, какъ онъ ласкалъ меня, и не наградилъ за то... Встрѣча была уединенная, въ пустомъ полѣ, и только Богъ можетъ быть, видѣлъ сверху, какимъ глубокимъ и просвѣщеннымъ человѣческимъ чувствомъ и какою тонкою, почти женственною нѣжностью можетъ быть наполнено сердце иного грубаго, звѣрски невѣжественнаго крѣпостного русскаго мужика, еще и не ждавшаго, не гадавшаго тогда о своей свободѣ"[1]). Такимъ же нагляднымъ проявленіемъ народной правды должна была послужить для девятилѣтняго Ѳедора Михайловича и ихъ няня, Алена Фроловна, хотя, какъ она выражалась, и „гражданка", но въ сущности принадлежавшая къ тому же „народу". Когда, какъ разъ на Свѣтлой недѣлѣ, получено было въ Москвѣ извѣстіе, что вотчина Достоевскихъ сгорѣла,— и родители Ѳедора Михайловича, благочестивые по старинѣ, бросились на колѣни и стали молиться, — эта самая Алена Фроловна, обыкновенно не бравшая жалованья, чтобы дать ему накопиться, вдругъ шепнула матери своихъ питомцевъ: „Коли надо вамъ будетъ денегъ, такъ ужъ возьмите мои, а мнѣ что, мнѣ не надо". Денегъ у нея не взяли, обошлись и безъ того, но, вспоминая объ этомъ въ апрѣльскомъ номерѣ „Дневника" 1876 г., Достоевскій спрашивалъ: „какъ опредѣлить ея поступокъ? Явилась ли она съ нимъ „лишь на степени стихійнаго существованія, замкнутаго идиллическаго быта и пассивной жизни", или проявила что-нибудь поэнергичнѣе пассивности? ...Мнѣ съ презрѣніемъ отвѣтятъ, что это единичный случай; но я и одинъ успѣлъ вотъ замѣтить въ жизни моей такихъ случаевъ многія сотни въ нашемъ простонародьи"[2]). И значительная часть изъ нихъ (сверхъ двухъ приведенныхъ), надо думать, была замѣчена имъ еще въ дѣтствѣ, когда ему всего болѣе представлялось случаевъ быть съ глаза на глазъ съ народомъ.

Живая школа народности со своею самородною человѣчностью служила для Достоевскаго лучшимъ восполненіемъ къ той книжной школѣ, которую прошелъ онъ сперва въ родительскомъ домѣ, потомъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Послушаемъ подробный разсказъ объ этомъ Андрея Михайловича.

„Первоначальнымъ обученіемъ всѣхъ насъ такъ называемой грамотѣ, т.-е. азбукѣ,—говоритъ онъ,—занималась наша матушка. Азбуку учили не по-нынѣшнему: *а*, *б*, *в* и т. д., а выговаривали по-старинному, т.-е. *азъ*, *буки*, *вѣди*... Послѣ буквъ слѣдовали склады: двойные, тройные, четверные и чуть ли не пятерные, въ родѣ тѣхъ, которые часто и выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали къ постепенному чтенію. Конечно, я не помню, какъ учились

---

[1]) „Дневникъ Писателя" 1876 г., февраль. (Соч. т. XI.)
[2]) „Дневникъ Писателя" 1876 г., апрѣль.

азбукѣ старшіе братья, и эти воспоминанія относятся ко мнѣ лично. Но такъ какъ учительница была одна (наша мать), и даже руководство или азбука преемственно перешла отъ старшихъ ко мнѣ, то я имѣю основаніе предполагать, что и братья начинали ученіе тѣмъ же способомъ. Первою книгою для чтенія была у всѣхъ насъ одна. Это священная исторія ветхаго и новаго завѣта на русскомъ языкѣ (кажется переведенная съ нѣмецкаго сочиненія Гибнера). Она называлась собственно: „Сто четыре священныхъ исторіи ветхаго и новаго завѣта". При ней было нѣсколько довольно плохихъ литографій съ изображеніемъ сотворенія міра, пребыванія Адама и Евы въ раю, потопа и прочихъ главныхъ священныхъ фактовъ. Помню, какъ въ недавнее уже время, а именно въ концѣ 70-хъ годовъ, я, разговаривая съ братомъ Ѳ. М. про наше дѣтство, упомянулъ объ этой книгѣ, и съ какимъ онъ восторгомъ объявилъ мнѣ, что ему удалось разыскать этотъ же самый экземпляръ книги (т.-е. нашъ дѣтскій), и что онъ бережетъ ее какъ святыню.

„Какъ я начинаю себя помнить, я засталъ уже братьевъ умѣющими читать и писать и приготовляющимися къ поступленію въ пансіонъ. Домашнее ихъ пребываніе безъ выѣздовъ въ пансіонъ я помню непродолжительное время, годъ, много полтора. Въ это время къ намъ ходили на домъ два учителя. Первый — это дьяконъ, преподававшій Законъ Божій. Дьяконъ этотъ чуть ли не служилъ въ Екатерининскомъ институтѣ, по крайней мѣрѣ навѣрное знаю, что онъ состоялъ тамъ учителемъ. Къ его приходу въ залѣ всегда раскидывался ломберный столъ, и мы четверо дѣтей помѣщались за этимъ столомъ, вмѣстѣ съ преподавателемъ. Матушка всегда садилась сбоку въ сторонѣ и занималась какой-нибудь работой. Многихъ впослѣдствіи имѣлъ я законоучителей, но такого, какъ отецъ дьяконъ, не припомню. Онъ имѣлъ отличный даръ слова, и весь урокъ, продолжавшійся по старинному часа 1½—2, проводилъ въ разсказахъ, или, какъ у насъ говорилось — въ толкованіи св. Писанія. Бывало, придетъ, употребитъ нѣсколько минутъ на спросъ уроковъ, и сейчасъ же приступитъ къ разсказамъ. О потопѣ, приключеніяхъ Іосифа, Рождествѣ Христовѣ онъ говорилъ особенно хорошо... такъ что, бывало, и матушка, прекративъ свою работу, начинаетъ не только слушать, но и глядѣть на воодушевляющагося преподавателя. Положительно могу сказать, что онъ своими уроками и своими разсказами умилялъ наши дѣтскія сердца. Очень жалѣю, что я не помню ни имени ни фамиліи этого почетнаго преподавателя; мы просто звали его отцомъ дьякономъ. Но, несмотря на все это, уроки онъ требовалъ заучивать буквально по руководству, не выпуская ни одного слова. Руководствомъ же служили извѣстные „Начатки" митрополита Филарета, начинающіеся такъ: „Единъ Богъ, во святой Троицѣ поклоняемый, есть вѣченъ, то-есть не имѣетъ ни начала ни конца Своего бытія, но всегда былъ, есть и будетъ"... Это скорѣе философское сочиненіе, нежели руководство для дѣтей.

„Другой учитель, ходившій къ намъ въ это время, былъ Николай Ивановичъ Сушардъ; онъ былъ преподавателемъ французскаго языка въ Екатерининскомъ институтѣ и ходилъ къ намъ давать уроки того же языка. Несмотря на свое иностранное происхожденіе, онъ горячо желалъ сдѣлаться чисто русскимъ. Я помню разсказъ отца, что въ одно изъ посѣщеній института императоромъ Николаемъ, Н. И. Сушардъ просилъ у государя, какъ милости, позволенія, вывернувъ свою фамилію, прибавить къ ней окончаніе *овъ*, что ему и было дозволено, вслѣдствіе чего онъ впослѣдствіи и назывался Драшусовъ. (Сушардъ-Драшусъ-Драшус—овъ.)

„Время для старшихъ братьевъ начало подходить такое, что по возрасту ихъ пора уже было отдать куда-либо въ пансіонъ съ гимназическимъ курсомъ, а одного чтенія и письма, Закона Божія и французскаго языка — было далеко недостаточно. Для подготовленія къ такому пансіону, двухъ старшихъ братьевъ отдали на полупансіонъ къ тому же Н. И. Драшусову, куда они ѣздили въ продолженіе цѣлаго года или даже болѣе, ежедневно по утрамъ, и возвращались къ обѣду. У Драшусова былъ маленькій пансіонъ для приходящихъ; онъ самъ занимался французскимъ языкомъ, два взрослыхъ сына его занимались преподаваніемъ математики и словесныхъ предметовъ, и даже жена его Евгенія Петровна, кажется, что-то преподавала. Но въ этомъ скромномъ пансіонѣ некому было заниматься латинскимъ языкомъ, а потому подготовленіе братьевъ по этому предмету принялъ на себя самъ отецъ. Помню даже утро, въ которое онъ, ѣздивши на практику, купилъ латинскую грамматику Бантышева и отдалъ ее братьямъ. И вотъ, съ этого времени каждый вечеръ отецъ началъ заниматься съ братьями латынью. Разница между отцомъ-учителемъ и посторонними учителями, ходившими къ намъ, была та, что у послѣднихъ ученики сидѣли въ продолженіе всего урока; у отца же братья, занимаясь нерѣдко по часу и болѣе, не смѣли не только сѣсть, но даже и облокотиться на столъ. Стоять, бывало, какъ истуканчики, склоняя по очереди *mensa, mensae*... или спрягая *amo, amas, amat*... Братья очень боялись этихъ уроковъ, происходившихъ всегда по вечерамъ. Отецъ, при всей своей добротѣ, былъ чрезвычайно взыскателенъ и нетерпѣливъ; а главное очень вспыльчивъ“. (По воспоминаніямъ нѣкоторыхъ родственниковъ, онъ былъ человѣкъ угрюмый, нервный, подозрительный.) „Бывало, чуть какой-либо со стороны братьевъ промахъ, — такъ сейчасъ и разразится крикъ. Замѣчу тутъ кстати, что несмотря на вспыльчивость отца, въ семействѣ нашемъ принято было обходиться съ дѣтьми очень гуманно: насъ не только не наказывали тѣлесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старшихъ братьевъ ставили на колѣни или въ уголъ. Главнѣйшимъ наказаніемъ для насъ было то, что отецъ вспылитъ. Такъ и при латинскихъ урокахъ: при малѣйшемъ промахѣ со стороны братьевъ, отецъ разсердится, обзоветъ ихъ лѣнтяями, тупицами, въ крайнихъ же случаяхъ даже броситъ занятіе, недокончивъ урока, что считалось уже хуже всякаго наказанія.

„Вѣроятно, это гуманное отношеніе къ намъ, дѣтямъ, со стороны родителей и было поводомъ къ тому, что при жизни своей они не рѣшались помѣстить насъ въ гимназію, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназіи не пользовались въ то время хорошею репутаціею, и въ нихъ существовало обычное и заурядное, за всякую малѣйшую провинность, наказаніе тѣлесное. Вслѣдствіе чего и были предпочтены частные пансіоны. Когда подготовленіе братьевъ было окончено, то они поступили въ пансіонъ Леонтія Ивановича Чермака, съ начала учебнаго курса 1834 года.

О. Миллеръ.

Достоевскій въ пансіонѣ Чермака.

„Пансіонъ Л. И. Чермака былъ однимъ изъ старинныхъ частныхъ учебныхъ заведеній въ Москвѣ, по крайней мѣрѣ, въ то уже время онъ существовалъ болѣе 20 лѣтъ. Помѣщался онъ на Новой Басманной, въ домѣ бывшемъ княгини Касаткиной (нынѣ Алексѣева), возлѣ Басманной полицейской части. Я не былъ одновременно съ братьями въ этомъ пансіонѣ; но, поступивъ въ него вслѣдъ за братьями, т.-е. въ 1837 г., и пробывъ въ немъ болѣе трехъ лѣтъ, я въ правѣ сказать нѣсколько словъ объ этомъ пансіонѣ, гдѣ и братъ провелъ около трехъ лѣтъ. Въ заведеніе это принимались дѣти, большею частію, на полный пансіонъ, т.-е. находились тамъ въ теченіе цѣлой недѣли, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздниковъ.

„Подборъ хорошихъ преподавателей и строгое наблюденіе за исправнымъ и своевременнымъ приходомъ ихъ, и въ то же время — присутствіе характера семейственности, напоминающаго дѣтямъ хотя отчасти ихъ домъ и домашнюю жизнь, — вотъ по-моему идеалъ закрытаго воспитательнаго заведенія. Пансіонъ Л. И. Чермака былъ близокъ къ этому идеалу. Говорю только „близокъ“, потому что совершенства нѣтъ ни въ чемъ. Преподавателями въ пансіонъ избирались только лица, зарекомендованныя казенными инспекторами, а въ послѣднее время, въ высшемъ классѣ, преподавали даже профессора университета, напр. Дм. Матв. Перевощиковъ по математикѣ, И. И. Давыдовъ по словесности и другіе. Уроки начинались ежедневно въ 8 час. утра въ слѣдующемъ порядкѣ: 1-й) отъ 8 до 10 час., 2-й) отъ 10 до 12 час. Послѣ этого урока слѣдовалъ обѣдъ. Послѣобѣденные классы были: 3-й) отъ 2 до 4 час. и 4-й) отъ 4 до 6 час. Далѣе слѣдовалъ чай и время для приготовленія уроковъ. Въ 9 часовъ былъ ужинъ, послѣ котораго всѣ шли въ спальню. Самъ Л. И., человѣкъ уже преклонныхъ лѣтъ, былъ мало или совсѣмъ не образованъ, но имѣлъ тотъ тактъ, котораго часто не достаетъ и директорамъ казенныхъ учебныхъ заведеній. Въ началѣ каждаго урока онъ обходилъ всѣ классы, и ежели заставалъ классъ безъ преподавателя, то

оставался въ немъ до прихода запоздавшаго учителя, котораго и встрѣчалъ съ добрѣйшей улыбкой, одною рукою здоровался съ нимъ, а другою вынималъ часы, какъ бы для справки. При такихъ порядкахъ трудно было и манкировать! Но, главное, нашъ старикъ былъ человѣкъ съ душою. Онъ входилъ самъ въ мельчайшія подробности нуждъ ввѣренныхъ ему дѣтей, въ особенности тѣхъ, у которыхъ не было въ Москвѣ родителей или родственниковъ и которые жили у него безвыходно. Отличныхъ по успѣхамъ учениковъ, т.-е. каждаго, получившаго четыре балла (пятичная система балловъ тогда еще не существовала), онъ очень серіозно зазывалъ къ себѣ въ кабинетъ и тамъ вручалъ ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобныя награды давались и ученикамъ старшихъ классовъ, но никогда ни одинъ изъ нихъ не принималъ этого съ насмѣшкой. Ежели кто въ пансіонѣ заболѣвалъ, Чермакъ мгновенно посылалъ его внизъ къ своей женѣ, говоря „иди къ Августѣ Францовнѣ". Она сейчасъ уложитъ заболѣвшаго и приметъ первыя домашнія мѣры, а затѣмъ пошлетъ за годовымъ докторомъ, которымъ въ то время былъ Вас. Вас. Трейтеръ.

„Пища была приличная. Самъ Леонтій Ивановичъ и его семейство (мужского пола) постоянно имѣли столъ общій съ учениками. По праздникамъ же, вслѣдствіе небольшого количества остававшихся пансіонеровъ, и весь женскій персоналъ его семейства обѣдалъ за общимъ пансіонскимъ столомъ. Чермакъ содержалъ свой почти образцовый пансіонъ болѣе чѣмъ 25 лѣтъ; ученики изъ его пансіона были лучшими студентами въ университетѣ, и въ заведеніи его получили начальное воспитаніе люди, сдѣлавшіеся впослѣдствіи видными общественными дѣятелями. Помимо Ѳ. М. Достоевскаго и М. М. Достоевскаго я могу указать на Губера, Геннади". Самъ Ѳ. М. указывалъ на то, что съ нимъ вмѣстѣ учились въ пансіонѣ Чермака Шумахеръ, сынъ профессора Каченовскаго и Мюльгаузенъ (бывшій потомъ ректоромъ Московскаго университета).

„Я слышалъ впослѣдствіи, что Л. И. Чермакъ въ концѣ 40-хъ годовъ принужденъ былъ закрыть свой пансіонъ и умеръ въ большой бѣдности. Ежели разсматривать это обстоятельство съ коммерческой точки зрѣнія, то Чермака нельзя отнести ни къ неосторожнымъ ни къ несчастнымъ банкротамъ. Можно сказать, что всѣ могущія быть сбереженія (а они могли быть значительны) Л. И. Чермакъ принесъ въ даръ московскому юношеству!

„Итакъ, съ 1834 г. старшіе братья начали ѣздить на цѣлую недѣлю въ пансіонъ. Старшая сестра тоже была отдана около этого времени въ пансіонъ. Родителями рѣшено было, чтобы братья и сестра мои по праздникамъ раздѣляли между собою труды по обученію меня различнымъ предметамъ. На долю старшаго брата Михаила отецъ отнесъ ариѳметику и географію; на долю брата Ѳедора пали исторія и русскій языкъ, а сестрѣ поручено было заниматься французскимъ и нѣмецкимъ языками. Учительскія отношенія ко мнѣ братьевъ и сестры ни-

сколько не измѣнили нашихъ братскихъ, доселѣ существовавшихъ, отношеній. Въ субботу съ утра чувствовалось уже прибытіе всей семьи подъ родной кровъ. И родители дѣлались нѣсколько веселѣе, и къ столу приготовлялось кое-что лишнее, однимъ словомъ, пахло чѣмъ-то праздничнымъ. Въ этотъ день и неизмѣняемое время обѣда (12 час.) поневолѣ измѣнялось. Покуда лошади поѣдутъ съ Божедомки на Басманную, покуда соберутся братья и пріѣдутъ, проходитъ добрыхъ полтора — два часа, такъ что обѣдъ подавался въ этотъ день къ двумъ часамъ. За сестрой ѣздили, большею частію, по вечерамъ, уже въ сумерки. Но вотъ пріѣхали братья, не успѣли поздороваться, какъ и горячее на столѣ; садимся обѣдать, и тутъ же, не удовлетворивши перваго аппетита, братья начинаютъ разсказывать о всемъ случившемся въ продолженіе недѣли. Во-первыхъ, отрапортуютъ правдиво о всѣхъ полученныхъ въ продолженіе недѣли по различнымъ предметамъ баллахъ, а потомъ и начнутся разсказы про учителей, про различныя дѣтскія, а иногда и не совсѣмъ приличныя шалости товарищей. За разсказами и разговорами, и обѣдъ въ этотъ день продолжался гораздо долѣе. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться пріѣзжимъ. Можно сказать, что откровенность въ разсказахъ была полная. Вспоминаю, что отецъ ни разу не давалъ наставленій сыновьямъ. При разсказахъ о различныхъ шалостяхъ, случавшихся въ классѣ, отецъ только приговаривалъ: „ишь шалунъ, ишь разбойникъ, ишь негодяй"... и т. п. смотря по степени шалости; но ни разу не говаривалъ: „смотрите, не поступайте-де и вы такъ!" Этимъ давалось, кажется, знать, что отецъ и ожидать не можетъ отъ нихъ подобныхъ шалостей. Пообѣдавъ и поговоривъ еще нѣсколько, братья садились за свои ломберные столы и предавались чтенію. Помню, я рѣдко видалъ, чтобы по субботамъ и воскресеньямъ братья занимались приготовленіемъ уроковъ и привозили съ собою учебники. Зато книгъ для чтенія привозилось достаточно, такъ что братья постоянно проводили домашнее время за чтеніемъ. Въ послѣднюю пору, т.-е. около 1836 г., братья съ особеннымъ воодушевленіемъ разсказывали про своего учителя русскаго языка, который просто сдѣлался ихъ идоломъ, такъ какъ на каждомъ шагу былъ ими вспоминаемъ. Вѣроятно, это былъ преподаватель не заурядный, а въ родѣ нашего почтеннаго отца дьякона; братья отзывались о немъ не только какъ о хорошемъ учителѣ, но въ нѣкоторомъ отношеніи какъ о джентльменѣ. Очень жаль, что я не помню теперь его фамиліи; но въ мое время учителя этого, кажется, не было уже и въ высшихъ классахъ.

„Выше я упомянулъ о семейныхъ чтеніяхъ, происходившихъ въ гостиной. Чтенія эти существовали, кажется, постоянно въ кругу родителей. Читали попеременно вслухъ или отецъ или мать; я помню, что при чтеніяхъ этихъ всегда находились и старшіе братья, еще до поступленія ихъ въ пансіонъ. Впослѣдствіи и они сами читали вслухъ, когда уставали родители. Читались, по-преимуществу, произведенія историческія: „Исторія Государства Россійскаго" Карамзина (у насъ былъ

свой экземпляръ) и чаще всего 11-й и 12-й томы, „Біографія Ломоносова“, Ксеноф. Полеваго и пр. Изъ чисто литературныхъ произведеній помню читали Державина (въ особенности оду „Богъ“), Жуковскаго — переводную прозу, повѣсти Карамзина: „Бѣдную Лизу“ и „Марѳу Посадницу“, а также и „Письма русскаго путешественника“; изъ Пушкина, — преимущественно повѣсти. Впослѣдствіи начали читать и романы: „Юрій Милославскій“, Ледяной Домъ“, „Стрѣльцы“, и сентиментальный романъ „Семейство Холмскихъ“; читались также и сказки Казака Луганскаго“.

По собственнымъ словамъ Ѳ. М., онъ очень любилъ читать путешествія, и подъ вліяніемъ такого чтенія пламенною мечтою его сдѣлалось посѣтить Венецію, Константинополь и вообще востокъ, сильно занимавшій его воображеніе.

„Старшіе братья, — продолжаетъ свои воспоминанія Андрей Михайловичъ, — читали во всякое свободное время. Въ рукахъ брата Ѳедора я чаще всего видалъ Вальтеръ-Скотта — Квентина Дорварда и Ваверлея; у насъ были собственные экземпляры, и вотъ ихъ-то онъ перечитывалъ неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный переводъ. Такому же чтенію и перечитыванію подвергались и всѣ произведенія Пушкина. Любилъ также братъ Ѳедоръ повѣсти Нарѣжнаго, изъ которыхъ „Бурсака“ перечитывалъ неоднократно. Не помню навѣрное, читалъ ли онъ тогда что-либо изъ Гоголя, а потому не могу объ этомъ и говорить. Помню также, что онъ съ большимъ удовольствіемъ прочелъ романъ Вельтмана „Сердце и Думка“. Исторія же Карамзина была его настольною книгою, и онъ читалъ ее всегда, когда не было чего-либо новенькаго. Появлялись въ нашемъ домѣ и книжки издававшейся въ то время „Библіотеки для Чтенія“. Какъ теперь помню эти книжки, мѣнявшія ежемѣсячно цвѣтъ своихъ обложекъ, на которыхъ изображался загнутый уголокъ съ именами литераторовъ, участвовавшихъ въ изданіи. Эти книги уже были исключительнымъ достояніемъ братьевъ. Родители ихъ не читали. Я потому обозначилъ названія нѣкоторыхъ литературныхъ произведеній, которыя читалъ тогда братъ, что съ названіями этими, а равно и съ именами ихъ авторовъ я, еще бывши ребенкомъ, познакомился исключительно со словъ брата. Вообще братъ Ѳедоръ любилъ болѣе чтеніе серіозное, въ отличіе отъ брата Михаила, который любилъ поэзію и самъ пописывалъ стихи, бывши въ старшихъ классахъ пансіона (чѣмъ братъ Ѳедоръ не занимался). Но на Пушкинѣ они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть[1]). Надо припомнить, что Пушкинъ тогда былъ еще современникъ; объ немъ, какъ о современномъ поэтѣ, мало говорилось еще съ каѳедры; произведенія его еще не заучивались наизусть по требованію преподавателей. Авторитетность Пушкина, какъ поэта, была тогда менѣе авторитетности Жуковскаго, даже между преподавателями словесности, — она была менѣе и во мнѣніи нашихъ родителей, что вызывало неоднократно

[1]) Конечно, только то, что попадалось имъ въ руки, такъ какъ полнаго собранія его сочиненій тогда еще не было.

горячіе протесты со стороны братьевъ, въ особенности брата Ѳедора. Помню, что братья какъ-то одновременно выучили наизусть два стихотворенія: старшій братъ „Графа Габсбургскаго", а братъ Ѳедоръ, какъ бы въ параллель тому, „Смерть Олега". Когда эти стихотворенія были произнесены ими въ присутствіи родителей, то предпочтеніе было отдано первому, вѣроятно, вслѣдствіе бо̀льшей авторитетности сочинителя. Матушка наша очень полюбила два эти произведенія, и часто просила братьевъ произносить ихъ; помню, что даже во время своей болѣзни, уже лежа въ постели (она умерла чахоткой), она съ удовольствіемъ прислушивалась къ нимъ.

„Не могу не припомнить здѣсь одного случившагося у насъ эпизода. Изъ товарищей къ братьямъ не ходилъ никто. Разъ только къ старшему брату пріѣзжалъ изъ пансіона нѣкто Кудрявцевъ. Брату позволено было отдать ему визитъ, но тѣмъ знакомство и кончилось. Зато въ домъ нашъ былъ вхожъ одинъ мальчикъ[1]), сынъ знакомой нашихъ родителей. Онъ учился въ гимназіи и былъ нѣсколько старше моихъ братьевъ. Этому-то гимназисту удалось гдѣ-то достать ходившую тогда въ рукописи сатиру Воейкова „Домъ сумасшедшихъ" и заучить на память. Со словъ его братья тоже выучили эту сатиру и сказали ее въ присутствіи отца. Отецъ остался очень недоволенъ и высказалъ предположеніе, что это, вѣроятно, измышленія и продѣлки гимназистовъ; но когда его увѣрили, что это сочиненіе Воейкова, то онъ все-таки высказалъ, что оно неприлично, потому что въ немъ помѣщены дерзкія выраженія противъ извѣстныхъ литераторовъ, а въ особенности противъ Жуковскаго. По разсказамъ того же гимназиста мы познакомились со сказкою Ершова „Конекъ Горбунокъ" и всѣ выучили ее наизусть".

Если, за исключеніемъ Ванички Умнова, — впрочемъ и не товарища Достоевскихъ по пансіону — никто не ходилъ къ нимъ изъ сверстниковъ, то это, вѣроятно, происходило отъ строгой разборчивости и мнительности родителей, особенно отца, въ такомъ дѣлѣ, какъ выборъ пріятелей. Самъ Ѳ. М. разсказывалъ, что онъ постоянно стремился имѣть ихъ, но это ему не давалось вслѣдствіе крайней его обидчивости. Его деликатное сердце не выносило тѣхъ подчасъ грубыхъ шутокъ и насмѣшекъ, съ какими, какъ быть водится, обращались къ нему товарищи. Зато, какъ вспоминаетъ одинъ изъ его однокашниковъ, онъ любилъ защищать и другихъ — особенно новичковъ — отъ придирокъ и насильственнаго обращенія съ ними старшихъ учениковъ, столь обычнаго во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ.

„Отецъ нашъ, — продолжаетъ Андрей Михайловичъ, — былъ чрезвычайно внимателенъ въ наблюденіи за нравственностью дѣтей, и въ особенности относительно старшихъ братьевъ, когда они сдѣлались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцомъ за неприличное, между тѣмъ

[1]) Ваничка Умновъ.

какъ къ концу пребыванія братьевъ въ родительскомъ домѣ старшему было почти уже 17 лѣтъ, а брату Ѳедору почти 16. Въ пансіонъ они всегда ѣздили на своихъ лошадяхъ, и точно также и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, — скорѣе даже тароваты; — но, вѣроятно, по тогдашнимъ понятіямъ считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имѣли свои хотя маленькія карманныя деньги. Я не помню, чтобы братья имѣли въ своемъ распоряженіи хотя нѣсколько мелкихъ монетъ, и, вѣроятно, они ознакомились съ деньгами только тогда, когда отецъ оставилъ ихъ въ Петербургѣ. Я упоминалъ выше, что отецъ не любилъ дѣлать нравоученій и наставленій; но у него была одна, какъ мнѣ кажется теперь, слабая сторона. Онъ очень часто повторялъ, что онъ человѣкъ бѣдный, что дѣти его, въ особенности мальчики, должны готовиться пробивать себѣ сами дорогу, что со смертію его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину! Я припоминаю еще и другія слова отца, которыя служили не нравоученіемъ, а скорѣе остановкою и предостереженіемъ. Я уже говорилъ неоднократно, что братъ Ѳедоръ былъ слишкомъ горячъ, энергично отстаивалъ свои убѣжденія, и вообще былъ довольно рѣзокъ на слова. При такихъ проявленіяхъ со стороны брата отецъ неоднократно говаривалъ: „Эй, Ѳедя, уймись, не сдобровать тебѣ... быть тебѣ подъ красной шапкой!“

„У насъ въ больницѣ былъ священникъ отецъ Іоаннъ Баршевъ, — почтенный старичокъ и общій нашъ духовникъ. У этого священника были два уже взрослые сына: Сергѣй Ивановичъ и Яковъ Ивановичъ, извѣстные впослѣдствіи профессора-юристы. Послѣ поѣздки на казенный счетъ за границу, молодые люди эти возвратились къ своему отцу и посѣтили и нашихъ родителей. Отецъ нашъ часто говаривалъ: „вотъ, ежели бы и мнѣ дождаться, когда мои сыновья такъ отличатся!“

„Не могу не упомянуть о томъ мнѣніи, какое братъ Ѳ. М. высказалъ мнѣ о нашихъ родителяхъ. Это было не такъ давно, а именно въ концѣ 70-хъ годовъ. Я какъ-то разговорился съ нимъ о нашемъ давно прошедшемъ и упомянулъ объ отцѣ. Братъ мгновенно воодушевился, схватилъ меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда онъ говорилъ по душѣ), и горячо высказалъ: „Да знаешь ли, братъ, вѣдь это были люди передовые, и въ настоящую минуту они были бы передовыми!... А ужъ такими семьянами, такими отцами... намъ съ тобою не быть, братъ!“

„Наступила зима 1836—1837 гг. Еще съ осени наша мать слегла въ постель съ тѣмъ, чтобы болѣе съ нея не вставать! Это было самое горькое время въ дѣтскій періодъ нашей жизни; мы готовились ежеминутно потерять мать! Несмотря на помощь многихъ врачей и тогдашнихъ знаменитостей, которые поспѣшили протянуть руку помощи своему собрату, исходъ былъ неизбѣженъ, и мы лишились матери 27 февраля 1837 г.“

О. Миллеръ.

Достоевскій въ инженерномъ училищѣ.

Въ настоящее время, когда исполнится (24-го января) полвѣка со времени выхода въ свѣтъ перваго печатнаго труда Ѳ. М. Достоевскаго: „Бѣдные люди“, и когда русское образованное общество помянетъ объ ихъ авторѣ, я считаю долгомъ присоединить и мои воспоминанія о молодыхъ годахъ Ѳедора Михайловича.

Въ одинъ и тотъ же годъ, когда поступилъ Ѳ. М. въ инженерное училище (1838 г.) кондукторомъ, я поступилъ въ то же училище дежурнымъ офицеромъ въ должность военнаго воспитателя. Посѣщая почти каждый день училище по службѣ и дежуря въ немъ по два, а иногда по три раза въ недѣлю, мнѣ приходилось знакомиться съ существовавшими въ училищѣ порядками, съ внутреннею жизнью въ немъ, съ мѣстными обычаями, сохранившимися между молодежью, и съ самою молодежью, такъ называвшимися кондукторами.

Въ описываемое мною время кондукторская рота главнаго инженернаго училища, гдѣ находился Ѳ. М. Достоевскій, представляла собою совершенно отдѣльный міръ, весьма мало имѣвшій общаго съ остальнымъ учебнымъ міромъ. Это была особая корпорація молодыхъ людей, отъ 14 до 18 и болѣе лѣтъ, у которой были свои преданія, правила и обычаи; хорошо подготовленные въ элементарномъ образованіи, поступавшіе въ училище по конкурентному экзамену, каждый изъ нихъ числился на службѣ и присягалъ съ поступленія въ училище. Въ этомъ маленькомъ міру молодые люди щеголяли своимъ званіемъ, честностью, безпристрастіемъ, уваженіемъ къ личности и другими качествами человѣка, понимающаго свои нравственныя права и обязанности.

Наблюдая за молодежью, изучая ее, насколько у меня доставало способностей и усердія, для правильной оцѣнки характера и наклонностей юношей, ввѣренныхъ моему наблюденію, мнѣ не разъ случалось видѣть и въ часы занятій и во время прогулокъ (рекреацій) кондукторовъ Ѳ. М. Достоевскаго или одного или вдвоемъ, но ни съ кѣмъ инымъ, какъ съ кондукторомъ старшаго класса Ив. Бережецкимъ. Я никогда не видалъ, чтобы эти молодые люди принимали участіе не только въ нѣкоторыхъ продѣлкахъ товарищей, но и въ общихъ любимыхъ играхъ (напр., „загонки“); никогда они не ходили въ танцкласс, бывшій въ ротѣ по вторникамъ и отличавшійся особеннымъ одушевленіемъ, даже не ходили слушать разсказы балладъ Жуковскаго домашняго гудочника, писаря Изумнова, являвшагося по вечерамъ въ рекреаціонную залу, всегда наполненную кондукторами. Часто, подъ разными предлогами, Ѳ. М. или гулялъ съ своимъ товарищемъ въ другихъ камерахъ, или садился заниматься у своего столика, съ огаркомъ сальной свѣчки, вставленной въ жестяной подсвѣчникъ; но любимымъ его мѣстомъ для занятій была амбразура окна въ угловой (такъ называемой „круглой каморѣ“) спальнѣ роты, выходящей на Фонтанку. Случалось нерѣдко, что онъ не замѣчалъ ничего, что кругомъ него

дѣлалось; въ извѣстные установленные часы товарищи его строились къ ужину, проходили по круглой каморѣ въ столовую, потомъ съ шумомъ проходили рекреаціонную залу, къ молитвѣ, снова расходились по каморамъ, а Достоевскій только тогда убиралъ въ столикъ свои книги и тетради, когда проходившій по спальнямъ барабанщикъ (Яргинъ), бившій вечернюю зорю, принуждалъ его прекратить свои занятія. Бывало, въ глубокую ночь можно было замѣтить Ѳ. М. у столика, сидящимъ за работою. Набросивъ на себя одѣяло сверхъ бѣлья, онъ, казалось, не замѣчалъ, что отъ окна, гдѣ онъ сидѣлъ, сильно дуло; щиты, которые ставились къ рамамъ, нисколько не предохраняли отъ внѣшняго холода и особенно это было чувствительно подлѣ окна, гдѣ Ѳ. М. любилъ заниматься. Нерѣдко на замѣчанія мои, что здоровѣе вставать ранѣе и заниматься въ платьѣ, Ѳ. М. любезно соглашался со мною, говорилъ, что ночная тишина, полумракъ спальни, освѣщаемой сальной свѣчей, вставленной въ жестяной шандалъ, располагаетъ къ спокойной работѣ, но складывалъ свои тетради и, повидимому, ложился спать. Однако проходило немного времени, какъ его можно было видѣть опять въ томъ же нарядѣ, у того же столика сидящимъ за его работою. Привычка заниматься ночью осталась у Ѳ. М. до послѣднихъ дней его жизни.

Въ то время нельзя было думать, чтобы предметомъ занятій Ѳ. М. были его серіозные литературные труды; но, зная способности и прилежаніе его по всѣмъ учебнымъ предметамъ, его всегдашнюю готовность помогать товарищамъ, дѣлясь съ ними своими учебными записками, которыя онъ составлялъ за лекціями преподавателей, или составляя для товарищей сочиненія[1]) на заданныя темы по русской литературѣ (В. Т. Плаксина), нельзя было предполагать, чтобы Ѳ. М. Достоевскому не доставало времени для его классныхъ занятій. Я тогда допускалъ, что постоянная усидчивая его работа, особенно письменная, ночью, когда никто ему не мѣшалъ, была литературная и, конечно, не для газеты, издававшейся въ родѣ, подъ названіемъ „Рижскій снятокъ“, а для болѣе серіознаго предмета. Но какая это была работа — отгадать было трудно; самъ Ѳ. М. никому о ней не говорилъ. Только впослѣдствіи, много времени спустя (въ семидесятыхъ годахъ) при одномъ изъ моихъ свиданій съ Ѳ. М. Достоевскимъ, когда я припомнилъ его ночныя письменныя занятія въ ротѣ, и особенно то обстоятельство, что я мѣшалъ ему ночью заниматься, можетъ быть, переводомъ или составленіемъ своего романа „Бѣдные люди“, онъ отвѣтилъ, что дѣйствительно этотъ романъ занималъ его въ училищѣ[2]), но что еще до поступленія своего въ училище, при той средѣ, которая его окружала, онъ составлялъ планъ для повѣсти о „Бѣдныхъ людяхъ“. Впослѣдствіи, въ одномъ изъ своихъ писемъ Ѳ. М. говоритъ, что въ 1845 г., въ началѣ зимы, онъ началъ вдругъ „Бѣдныхъ людей“.

---

[1]) По разсказамъ ген.-лейт. Виктора Алексѣевича Родіонова, Ѳ. М. Достоевскій писалъ ему, какъ близкому его товарищу, сочиненія на слѣдующія темы: „Ночь на маневрахъ“, „Ермакъ Тимоѳеевичъ“, „Характеръ Ярослава“.

[2]) Ѳ. М. Достоевскій вышелъ изъ главнаго инженернаго училища, по окончаніи полнаго курса наукъ въ 1843 г. 12 августа.

Часто на дежурствѣ въ училищѣ, я любилъ бесѣдовать съ молодежью и пользовался ихъ сочувствіемъ ко мнѣ. Не буду здѣсь упоминать о тѣхъ кондукторахъ того времени, — нынѣ, увы, почтенныхъ старцахъ, которые уже въ молодые годы своимъ блестящимъ образованіемъ, богатыми способностями и рѣдкими душевными качествами (какъ Г. К. Р. и др.) привлекали къ себѣ не только своихъ товарищей, но и всѣхъ когда-либо съ ними бесѣдовавшихъ. Но, признаюсь, ни одна изъ бесѣдъ съ молодыми людьми того времени не оставляла во мнѣ такого глубокаго впечатлѣнія и грустнаго настроенія, какъ мои бесѣды съ Достоевскимъ. Онъ говорилъ всегда тихо, медленно, съ разстановкою; казалось, это происходило вслѣдствіе физическихъ причинъ — особеннаго устройства его груди, легкихъ или дыхательныхъ органовъ (надо вспомнить его горловую болѣзнь передъ поступленіемъ въ училище, на которую указалъ въ письмахъ А. М. Достоевскій), но совсѣмъ не отъ старанія говорить реторически, изящно и убѣдительно. Самое простое воспоминаніе о своемъ дѣтствѣ, какой-нибудь не важный историческій эпизодъ имъ передавались медленно, но прекрасно, съ особеннымъ, ему свойственнымъ, воодушевленіемъ. Онъ, кажется, сознавалъ самъ, какое впечатлѣніе на слушателя производили его разсказы, и потому любилъ говорить обо всемъ съ одинаковымъ увлеченіемъ, хотя нерѣдко по словамъ его замѣтна была желчность, но, съ другой стороны, въ разсказахъ Достоевскаго заключалось столько же теплоты, сколько и правды.

Въ заключеніе моихъ воспоминаній о Ѳ. М. Достоевскомъ, приведу еще нѣсколько словъ объ немъ. Сколько помню, онъ для его товарищей казался мистикомъ или идеалистомъ. Онъ безропотно покорялся всѣмъ требованіямъ военной службы, несмотря на то, что не имѣлъ къ ней призванія; отъ природы своеобычный, но не своенравный, онъ принадлежалъ къ тѣмъ рѣдкимъ натурамъ, которыя нелегко мирятся съ идеями и поступками общества, если они бываютъ несогласны съ ихъ убѣжденіями. Такого рода личности не поддаются никакимъ давленіямъ, хотя бы это упорство имъ стоило дорого. Таковъ былъ въ юности Ѳ. М. Достоевскій, такимъ онъ оставался и въ преклонные годы, когда постепенно разрушались его силы, когда въ голосѣ его звучали уже ноты отживающаго человѣка, души прекрасной, а въ глазахъ вспыхивалъ прежній блескъ впечатлительнаго юноши, искавшаго въ людяхъ милосердія и справедливости. *Савельевъ.*

Отраженіе характера училища на творчествѣ Достоевскаго.

Инженерное училище не было въ состояніи ни воспитывать ума, ни наполнить его дѣйствительными свѣдѣніями, которыя были бы дороги учащемуся, ни развить въ немъ стремленіе къ наукѣ. Дѣло шло здѣсь о наружномъ, показномъ знаніи, томъ лишь, которое считалось необходимымъ для карьеры. Объ этой карьерѣ юноши забо-

тились и мечтали уже на школьной скамьѣ. Намъ кажется, что недостатокъ серіознаго образованія замѣтенъ во всей литературной дѣятельности Достоевскаго. Онъ проглядываетъ мѣстами въ значительномъ недовѣріи къ наукѣ, цивилизаціи, къ умственной дѣятельности, къ „интеллигенціи", что все можно найти въ его публицистическихъ статьяхъ послѣднихъ лѣтъ. Правда, недовѣріе это развилось и подъ вліяніемъ цѣлаго особаго круга идей и нигдѣ оно не высказывается положительно. Достоевскій доходитъ даже до заявленія, что „наука страшно нужна народу", но слова эти сказались, повидимому, случайно и мимоходомъ,—нигдѣ онъ не развиваетъ этой мысли, не говоритъ, что такое эта наука, столь необходимая для народа, и брошенная фраза не вяжется съ общимъ содержаніемъ его излюбленныхъ идей. Въ одномъ изъ своихъ раннихъ романовъ Достоевскій пробовалъ было вывести личность человѣка, всецѣло отдавшагося наукѣ, увлеченнаго ею до страсти. Изображеніе вышло, однако, крайне блѣднымъ; оно навѣяно было содержаніемъ извѣстныхъ тогда талантливыхъ статей „Дилетантизмъ въ наукѣ". Увлеченіе наукою въ героѣ Достоевскаго легко уступило предъ галлюцинаціями. Самъ авторъ, дѣлая характеристику своего героя, говоритъ, что въ немъ „было болѣе безсознательнаго влеченія, нежели логически-пытливой причины учиться и знать, какъ и во всякой другой, даже самой мелкой дѣятельности", что въ его уединенныхъ занятіяхъ не было порядка и опредѣленной системы, а былъ „одинъ только первый восторгъ, первый жаръ, первая горячка художника". („Хозяйка", стр. 6—7.)

Есть большое основаніе думать, что Достоевскій, даже и въ поздніе годы, не любилъ мѣста своего воспитанія, относился къ нему съ ненавистью. „Проклятіе на эту школу, на эти ужасные, каторжные годы!" говоритъ одно изъ лицъ, какія онъ любилъ изображать, поломанное воспитаніемъ и жизнью. Зная характеръ произведеній Достоевскаго, читая о его личности, нельзя не притти къ увѣренности, что въ словахъ этихъ сохранились собственныя горькія впечатлѣнія его. „Весь вечеръ давили меня воспоминанія о каторжныхъ годахъ моей школьной жизни и я не могъ отъ нихъ отвязаться. Меня сунули въ эту школу мои дальніе родственники, сунули сиротливаго, уже забитаго ихъ попреками, уже задумывающагося, молчаливаго и дико на все озиравшагося". Та же ненависть наполнила его сердце и по отношенію къ школьнымъ товарищамъ, начиная съ ихъ наружнаго вида: „Какія глупыя были у нихъ лица! Въ нашей школѣ выраженія лицъ какъ-то особенно глупѣли и перерождались. Сколько прекрасныхъ собою дѣтей поступило къ намъ! Черезъ нѣсколько лѣтъ на нихъ глядѣть становилось противно. Еще въ шестнадцать лѣтъ я угрюмо на нихъ дивился: меня ужъ и тогда изумляли мелочь ихъ мышленія, глупость ихъ занятій, игръ, разговоровъ... Они привыкли поклоняться одному успѣху. Все, что было справедливо, но унижено и забито,— надъ тѣмъ они жестокосердно и позорно смѣялись. Чинъ почитали за умъ; въ шестнадцать лѣтъ уже толковали о теплыхъ мѣстечкахъ.

Конечно, много тутъ было отъ глупости, отъ дурного примѣра, безпрерывно окружавшаго ихъ дѣтство и отрочество. Развратны они были до уродливости". („Зап. изъ Подполья", стр. 67, 74—75.)

Къ этой характеристикѣ училища, въ которой мыслящій современникъ Достоевскаго едва ли найдетъ что-либо преувеличенное, надобно присоединить и общій характеръ тогдашняго воспитанія нашего въ военныхъ и полувоенныхъ училищахъ, памятный многимъ. Все направлено было къ тому, чтобъ изъ человѣка сдѣлать неразсуждающую машину, слѣпое исполнительное орудіе чужой воли. Кому изъ наблюдателей жизни того времени неизвѣстна, напр., пресловутая „Инструкція" учителямъ военно-учебныхъ заведеній, направленная къ подавленію „духа" въ мальчикахъ, но вмѣстѣ съ этимъ духомъ, какъ бы для большаго его униженія, убивалось и тѣло. Тѣлесныя наказанія, часто въ невозможныхъ размѣрахъ, были самымъ обыкновеннымъ явленіемъ. „Въ военно-учебныхъ заведеніяхъ того времени, за самые маловажные проступки и за незнаніе уроковъ, производилась регулярно по субботамъ порка, а въ Дворянскомъ полку бывали примѣры, что за простую ошибку при фронтовомъ ученіи выносили изъ манежа на простыняхъ почти до полусмерти засѣченныхъ юношей" говоритъ одинъ изъ современниковъ, прошедшихъ тогдашнюю школу. (А. К. Б—къ, „Воспоминанія объ Институтѣ Путей Сообщенія". „Русск. Ст." 1880 г. XXVIII, 653.)

Холоднымъ ужасомъ, доводящимъ до нервной дрожи, вѣетъ отъ многочисленныхъ, къ несчастью, воспоминаній, оставленныхъ намъ современниками о страшныхъ порядкахъ, господствовавшихъ въ то время, когда Достоевскій учился въ инженерномъ училищѣ, во многихъ нашихъ военныхъ, полувоенныхъ и даже гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Молоху системы и дисциплины сознательно приносились въ жертву молодыя натуры. Кто изъ современниковъ Достоевскаго, людей 40-хъ годовъ, не сохранилъ въ душѣ тяжелыхъ воспоминаній объ этой унижающей, убивающей человѣческое достоинство школѣ? А эти случаи, къ несчастію нерѣдкіе, когда дѣтей и юношей, въ полной формѣ, бѣдныхъ и дрожащихъ, но выровненныхъ и въ строю, заставляли присутствовать, вѣроятно, „для примѣра", при гнусныхъ и звѣрскихъ истязаніяхъ! „Боже милостивый! Какъ изгладить изъ памяти эту омерзительную, оскорбительную, за сердце хватавшую сцену!" вспоминаетъ со скорбью одинъ изъ невольныхъ несчастныхъ свидѣтелей подобной сцены, длившейся около получаса. Мрачная картина осталась въ душѣ. Она надрывала гордость, заставляла страдать, возбуждала ненависть.

Впечатлительный, съ болѣзненною натурою, съ предрасположеніемъ къ нервнымъ припадкамъ, какъ онъ самъ говоритъ о себѣ, Достоевскій легко могъ быть свидѣтелемъ подобныхъ сценъ. Онѣ должны были остаться на всю жизнь въ его памяти страшнымъ и мучительнымъ кошмаромъ. Человѣкъ съ такою организаціею, какъ у него, и принижался и озлоблялся въ одно и то же время. Мы понимаемъ,

какое печальное отраженіе должно было имѣть подобное воспитаніе, такія впечатлѣнія на литературное творчество его. Сколько мучительныхъ образовъ и сценъ, на которыхъ онъ безпощадно и долго останавливается, дѣйствуя возбуждающимъ образомъ на нервы читателя, должны были дать ему школьныя воспоминанія. Мы понимаемъ, что много злобы, много желчи, накопившихся съ лѣтами, долженъ онъ былъ внести въ тѣ изображенія нечеловѣческихъ страданій, въ тѣ картины, полныя безумнаго безобразія, которыя выходили иногда изъ-подъ пера его, что бы тамъ ни говорили о его добродушіи и любви. Литературный талантъ Достоевскаго воспитался подъ тяжелыми жизненными впечатлѣніями и походилъ на ту „блѣдную, всю въ крови Музу" ему современнаго русскаго поэта, которая вела его „чрезъ бездны темныя насилія и зла". *Буличъ.*

Общественное настроеніе времени Достоевскаго.

Время, когда Ѳедору Михайловичу Достоевскому пришлось начать свою писательскую дѣятельность, было тяжелымъ и душнымъ временемъ. О немъ нынче нерѣдко вспоминаютъ какъ о времени блаженной тишины и покоя, и, разумѣется, оно не было лишено ни своихъ хорошихъ сторонъ ниже доблестей. Съ тѣмъ вмѣстѣ оно страдало однимъ кореннымъ недостаткомъ, изъ коего проистекли многія бѣдствія нашего отечества. Въ то время, говоря завѣтнымъ словомъ Кикина, было „тѣсно мыслить". Мысль была не только отдана подъ строгій надзоръ, но подвергалась усиленной во многихъ отношеніяхъ герметической закупоркѣ. Даже о мелочныхъ несовершенствахъ, свойственныхъ тому времени, конечно, никакъ не менѣе, чѣмъ всякому другому, нельзя было и слова пикнуть въ печати; еще сильнѣе возбранялись думы о возможности коренныхъ измѣненій въ отношеніяхъ между господами и крѣпостными, или упоминанія о важности гласности въ судѣ. Мечтавшіе о такихъ вещахъ въ частныхъ разговорахъ отдавались подъ полицейскій надзоръ, хотя бы въ ихъ мечтаніяхъ и не было ничего революціоннаго. Подъ такими условіями въ обществѣ все болѣе и болѣе усиливалось отрицательное направленіе; оно получило къ тому великое подкрѣпленіе въ начавшейся на Западѣ критикѣ соціальныхъ отношеній, сопровождавшейся мечтаніями не только о болѣе правильномъ ихъ устройствѣ по почину правительства, но и планами о полномъ переустройствѣ человѣческихъ обществъ на новыхъ началахъ, о водвореніи на землѣ соціальнаго рая, хотя бы революціонными средствами.

Обо всемъ этомъ съ большимъ или меньшимъ жаромъ и таинственностью толковалось въ различныхъ петербургскихъ кружкахъ. Направленіе большинства такихъ толковъ было чисто-теоретическое, отвлеченное. Излагались тѣ или иныя пожеланія, какъ pia desiderata; выражаемая при этомъ надежда на ихъ осуществленіе въ будущемъ

рѣдко сопровождалась реальнымъ представленіемъ о томъ, какъ именно, въ какой формѣ вожделѣннымъ мечтамъ суждено обнаружиться въ дѣйствительности. Ближе всего было мечтать о формахъ уже существовавшихъ въ Западной Европѣ. Умъ, привыкшій къ безпочвенному блужданію, къ отвлеченному представленію высшихъ, какъ думалось, формъ гражданственности, либо останавливался на какой-нибудь западной доктринѣ и цѣпко держался за нее, какъ за якорь спасенія, либо подвергалъ критикѣ и эту доктрину,—критикѣ, впрочемъ, не самостоятельной, а взятой напрокатъ у болѣе передовыхъ, какъ полагалось, мыслителей Запада. Крайнія ученія невольно привлекали къ себѣ умы наиболѣе пытливые и дѣятельные.

Та же отвлеченность господствовала и во взглядахъ относительно средствъ, при помощи коихъ возможно осуществленіе вожделѣнныхъ мечтаній. Весьма многіе уповали, что ихъ мечты, сдѣлавшись общимъ достояніемъ, получатъ, наконецъ, санкцію правительства; понятно, однако, что чѣмъ крайнѣе были мечтанія, тѣмъ осуществленіе ихъ чрезъ правительственныя дѣянія казались менѣе вѣроятными. Тотъ же Западъ, откуда шли ученія, указывалъ и на средство, уже испытанное, ихъ осуществленія, именно на революцію. И тутъ большинство, даже изъ неотвергавшихъ революціи въ принципѣ, считало ее въ Россіи если не невозможной, то черезчуръ отдаленной.

При такой почти общей настроенности общества, люди болѣе вѣрующіе въ святость крайнихъ ученій и болѣе пылкіе, конечно, невольно приходили къ заключенію, что нельзя ограничиваться одними разговорами, а слѣдуетъ всѣми мѣрами способствовать какъ распространенію ученій, такъ и торжеству ихъ въ дѣйствительности. Достоевскій, при самомъ началѣ литературнаго поприща, по его выраженію, былъ посвященъ Бѣлинскимъ „во всю правду грядущаго обновленнаго міра и во всю святость будущаго коммунистическаго общества“. Позже онъ примкнулъ къ другимъ кружкамъ, гдѣ толки о необходимости тѣхъ или иныхъ государственныхъ реформъ чередовались съ изложеніемъ соціалистическихъ и коммунистическихъ ученій. Главою одного изъ нихъ былъ Дуровъ; другого — Буташевичъ-Петрашевскій; оба кружка находились между собою въ тѣсной связи. Всѣ члены кружка были болѣе или менѣе завзятыми фурьеристами; у нихъ была своя библіотека „запрещенныхъ“ сочиненій. Въ своихъ мечтахъ о возможности возстанія они полагали, что на ихъ сторонѣ будутъ крѣпостные и раскольники. Весьма трудно сказать положительно, составляли ли члены кружковъ правильно организованное тайное общество, имѣвшее опредѣленную цѣль и планъ дѣйствія; самъ Ѳедоръ Михайловичъ, впрочемъ, утверждалъ, что „тутъ былъ цѣлый заговоръ и все, что и въ послѣдующихъ заговорахъ, кромѣ посягательствъ“.

Аверкіевъ.

Отношеніе Достоевскаго къ соціальнымъ ученіямъ.

Молодая литературная дѣятельность Достоевскаго была неожиданно и насильственно прервана въ началѣ 1849 г. слѣдствіемъ, судомъ и ссылкою въ каторжныя работы за его участіе въ обществѣ молодыхъ людей съ противогосударственнымъ направленіемъ. Это направленіе заключало въ себѣ цѣлый и законченный кругъ идей, могущественныхъ по своему содержанію и по тому, что онѣ близко и непосредственно касались самыхъ существенныхъ вопросовъ жизни, давали на многое положительный отвѣтъ и, слѣдовательно, не могли не увлечь тогдашнее молодое поколѣніе, у котораго въ прошедшемъ не было никакихъ воспоминаній, ничего дорогого, а настоящее представляло возможность лишь безцвѣтной и безполезной дѣятельности, не удовлетворявшей ни умъ ни сердце. Покойный Достоевскій не разъ въ своихъ сочиненіяхъ возвращался къ воспоминаніямъ объ этихъ увлеченіяхъ своей молодости. Идеи, которыя волновали тогда его и значительный кружокъ современниковъ, разумѣется, въ общемъ отвлеченномъ своемъ видѣ, имѣли близкое отношеніе къ направленію и содержанію его разсказовъ; мы думаемъ даже, что общій фонъ ихъ, конечно, съ примѣсью многаго пережитаго потомъ и вслѣдствіе страданій и вслѣдствіе долгой и мучительной, прерываемой лишь столь же мучительными нервными припадками, думы о Россіи, остался и въ послѣднихъ его сочиненіяхъ, особенно въ его мысляхъ о народѣ, о нашихъ отношеніяхъ къ Европѣ, о государственности, о наукѣ. Теперь необходимо познакомиться съ тѣмъ, что въ сороковые годы волновало душу Достоевскаго и его сверстниковъ.

Безъ изученія духовнаго міра, въ которомъ необходимо живетъ писатель — произведенія и личность всегда будутъ неясны. Мы обязаны здѣсь сказать о распространеніи у насъ идей соціализма и, пожалуй, коммунизма, которыя имѣли такую широкую теоретическую разработку во Франціи во время реставраціи Бурбоновъ и при іюльской монархіи, какъ совершенно новыя ученія объ обществѣ, и только съ февральской революціи получили возможность заявить о себѣ практическими попытками. Это-то послѣднее обстоятельство, это стремленіе соціализма къ практическому осуществленію великолѣпныхъ, но фантастическихъ грезъ, и было причиною жестокаго преслѣдованія у насъ молодыхъ мечтателей. Въ самыхъ общихъ чертахъ, и какъ онѣ отчасти высказывается потомъ у Достоевскаго, идеи эти вовсе не новыя, такъ какъ общественныя утопіи появляются въ каждомъ вѣкѣ, состояли въ слѣдующемъ.

Революція въ концѣ вѣка, стоившая такъ много усилій, крови, человѣческихъ жертвъ, произошла къ выгодѣ лишь одного класса въ обществѣ — средняго сословія, которое собственно и произвело ее. Этотъ фактъ въ особенности сдѣлался яснымъ послѣ іюльскаго переворота. Рабочіе классы во Франціи, — а они составляютъ большинство, —

находились подъ гнетомъ капитала и того, что еще оставалось изъ феодальной системы, между тѣмъ какъ они-то собственно, на языкѣ соціалистовъ-теоретиковъ, и представляютъ работающихъ пчелъ въ обществѣ трутней. И вотъ мало-по-малу возникаетъ убѣжденіе, что всякая политическая реформа ничтожна, что она не даетъ счастія человѣку, что необходимо радикальное переустройство общества на началахъ, проповѣданныхъ Христомъ, на началахъ взаимной любви, общаго труда, нравственной связи между членами общества. Общество, посреди котораго поднимались новые пророки во Франціи, не только въ ихъ пламенныхъ діатрибахъ, но и въ историческомъ знакомствѣ съ нимъ, представляло такое печальное зрѣлище, что становится понятнымъ появленіе утопистовъ. Это общество было міромъ лжи, міромъ эксплоатаціи одного общественнаго класса другимъ, матеріализма, проникавшаго до мозга костей, жажды денегъ и лишь матеріальныхъ наслажденій. Изъ-за денегъ и изъ-за этой жажды люди шли на воровство, на подкупы, на обманъ, торговали собой. Старая вѣра, которая въ средніе вѣка сдерживала эту войну всѣхъ противъ всѣхъ, и была, дѣйствительно, нравственною связью въ обществѣ, подорванная философскою мыслью XVIII в., потеряла свое значеніе, почти исчезла. Утописты, по крайней мѣрѣ, лучшіе изъ нихъ, понимали эту пустоту; ихъ сердце страдало отъ нея, и они думали, что возстановляютъ вѣру, основанную на любви къ человѣчеству, къ слабымъ и забитымъ, къ униженнымъ и оскорбленнымъ. Они вѣрили и учили, что въ христіанствѣ заключена глубокая зиждительная сила, что исторія есть осуществленіе христіанства, что христіанство прогрессивно, и что ученіе, заключенное въ словахъ: „Царство Мое не отъ міра сего“, есть только односторонность, что Христосъ отрицалъ только этими словами Свою земную власть, какъ царя. Умирающій Сенъ-Симонъ говорилъ на смертномъ одрѣ любимому ученику своему Родригецу: „Помни, что религія не можетъ исчезнуть изъ міра, что философія подорвала лишь одряхлѣвшее католичество, что вѣра измѣняется вмѣстѣ съ человѣчествомъ“. Религія, согласно ученію Сенъ-Симона, должна направить всѣ общественныя силы къ нравственному и матеріальному улучшенію самаго бѣднаго класса въ обществѣ. Это тотъ „народъ“ съ его „идеалами“, заложенными въ его душу, о которомъ такъ много рѣчей слышимъ мы въ послѣднее время. Онъ-то является носителемъ всякой правды, новымъ „распятымъ Христомъ“ на языкѣ радикально-демагогическаго аббата Ламеннэ. Его „Paroles d'un croyant“ и „Le livre du peuple“ своими апокалиптическими, страстными образами, своими выраженіями, проникнутыми то глубокою нѣжностью, то суровой жестокостію, сливали соціальныя ученія съ христіанствомъ. Двѣ главныя идеи пущены были въ оборотъ Сенъ-Симономъ, какъ идеи „новаго“ „христіанства; это освобожденіе женщины“ и „искупленіе (rehabilitation) плоти“. Явился новый типъ женщины „съ гордостію женскаго запроса, съ непримиримостію цѣломудрія съ порокомъ, съ отказомъ отъ всякихъ уступокъ пороку, съ безстрашіемъ, съ которымъ невинность воздвигается на

борьбу и смотритъ ясно въ глаза обидѣ". (Дост. „Дневн. Пис." 1876, 155.) Явился новый здоровый міръ человѣческихъ отношеній, чуждый того аскетизма, который такъ часто переходитъ въ развратъ, и плѣнительныя грезы человѣческаго счастія на землѣ, основаннаго на осуществленіи великаго христіанскаго принципа любви, казались возможными къ осуществленію, трудъ для этого осуществленія — увлекательнымъ. Широкія и прозрачныя, озаренныя сіяющимъ солнцемъ счастія, открывались восторженнымъ глазамъ молодыхъ мечтателей переспективы будущей жизни человѣчества.

„Исторія этого движенія (соціализма) извѣстна"; говоритъ Достоевскій, „оно продолжается до сихъ поръ, и, кажется, вовсе не намѣрено останавливаться". Я не имѣю возможности подробно говорить о дальнѣйшемъ развитіи утопій до 1848 г., о метафизическихъ системахъ соціализма, какъ у Фурье, о практическихъ, большею частію, неудачныхъ попыткахъ разныхъ утопистовъ, но считаю нужнымъ замѣтить, что вмѣстѣ съ чрезвычайно ѣдкою и вполнѣ справедливою критикою современнаго общества, вмѣстѣ съ положительнымъ недовѣріемъ ко всякой политической реформѣ, съ презрѣніемъ представительства, съ насмѣшкамм надъ парламентской борьбою, въ соціализмѣ того времени проповѣдывалось примиреніе даже съ диктатурою и со всякою абсолютною властью, лишь бы оно взялось за осуществленіе утопіи. Соціализмъ готовъ былъ всегда пожертвовать личною свободою человѣка въ пользу всякой сильной власти, забывая, что подобная жертва ведетъ къ паденію общества. Проповѣдывалось утопистами также, и естественно должно было проповѣдываться, по логикѣ идеи, недовѣріе къ цивилизаціи и наукѣ, выработанной вѣковыми усиліями человѣчества. Это явленіе въ сочиненіяхъ соціальныхъ утопистовъ не разъ повторяется со времени знаменитаго отвѣта Руссо на вопросъ, заданный Дижонской академіей. На что была цивилизація утопистамъ, когда они были увѣрены, что она не приноситъ счастья, что она не развиваетъ нравственности, что недаромъ ея, какъ огня, боятся дикіе народы, когда имъ приходится сталкиваться съ европейцами, что этотъ наносный европеизмъ есть несчастіе для народа, который въ своемъ естественномъ состояніи гораздо богаче добродѣтелями и высокими человѣческими чувствами, чѣмъ проникнутое ложью европейское общество. Цивилизація и наука годятся только для богатыхъ. Объ успѣхахъ ихъ хлопотать не стоитъ. Зато для массы, въ фантастическихъ грезахъ Фурье, напримѣръ, разомъ и даромъ раскрывались тайны неслыханнаго счастія, на работу для котораго призывалось человѣчество. Національныя границы падали; народъ поглощался океанскою волною человѣчества, и призваніе утописта было стать *все-человѣкомъ*. Тогда и назначеніе русской народности, напр., по словамъ Достоевскаго, будетъ „стремленіе въ конечныхъ цѣляхъ ея ко всемірности и всечеловѣчности".

Въ ту эпоху соціализма, о которой говоримъ мы, соціальныя ученія увлекали лучшихъ людей въ Европѣ, да и не могли не увлекать, представляя такую возвышенную цѣль для стремленій. Тогдашніе

пророки соціализма невольно возбуждали къ себѣ сильныя симпатіи своею глубокою преданностію ученію, для котораго они готовы были на страданія, и, дѣйствительно, страдали неумолимымъ логическимъ упорствомъ и возвышенными нравственными личностями, какъ у Фурье. Но увлекавшіеся въ Европѣ были люди науки — философской думы или принимавшіе участь въ государственной жизни. Для нихъ утопія переработалась въ положительное знаніе или способствовало тому, что на трибунѣ и въ палатахъ, при гласномъ обсужденіи, имъ удалось провести мѣры, помогавшія дѣйствительному благосостоянію народа. Въ Европѣ увлеченіе соціальными теоріями принесло пользу, оно поколебало рутину, и въ экономическій міръ прошли новые элементы. У насъ причины распространенія въ молодомъ интеллигентномъ поколѣніи соціальныхъ идей того времени были, конечно, иныя, но не менѣе дѣйствительныя, имѣвшія свой raison d'être. Главная и существенная причина, употребляя выраженіе самого Достоевскаго, это „отсутствіе высшихъ цѣлей жизни", а тутъ разомъ давалась такая высокая цѣль для нея, что духъ захватывало. Правда, Достоевскій объясняетъ это увлеченіе у насъ крайними теоріями европейскими тѣмъ обстоятельствомъ, что это было „отрицаніе Европы" и ея культуры, будто-бы намъ ненавистной съ самаго Петра, чуждой во многомъ, слишкомъ во многомъ русской душѣ, что это былъ естественный „законный протестъ" во имя русизма. (*Дневн.*, 1876, 158), но едва ли это такъ. Соціальныя теоріи были продуктомъ длинной европейской же исторіи, необходимымъ звеномъ въ ея развитіи; ихъ первоначально рѣзкій характеръ сгладился; ихъ содержаніе не пропало даромъ; ихъ отрицаніе имѣло положительные результаты. Нѣтъ, не эти причины способствовали у насъ увлеченію соціализмомъ въ 40-е годы. „У насъ, русскихъ, — двѣ родины: наша Русь и Европа", говоритъ самъ Достоевскій. „Естественно, что могучія имена и вліятельныя идеи Европы„ переманили отъ насъ, изъ нашей вѣчно созидающейся Россіи, слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убѣжденій" (тамъ же, 149). Молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ, въ которомъ тогдашнее воспитаніе преднамѣренно вытравливало эту „святую и благородную силу порыва" и сознательно бросало въ грубый матеріализмъ, въ погоню за наживой и карьерой, охраняемое бдительной цензурой, лишенное возможности какой-либо удовлетворявшей сердце и полезной дѣятельности, надломленное, больное и тоскующее, разорванное съ отцами, ушедшими въ Сибирь за свой либерализмъ, или придавленными и прижатыми до нѣмоты, должно было съ жадностію броситься въ эти теоріи, сулившія ни болѣе ни менѣе какъ благо цѣлаго человѣчества. У насъ это былъ не тотъ разъѣдающій, горькій соціализмъ, который носитъ въ душѣ озлобленный парижскій рабочій, — это было мирное кабинетное занятіе весьма любопытными теоріями, которыя въ ту пору едва ли могли найти какое-либо примѣненіе на русской почвѣ. Достаточно замѣтить, что на вечерахъ у Петрашевскаго съ обсужденіемъ соціаль-

ныхъ теорій, чтеніемъ и разборомъ системы Фурье, шли, напримѣръ, уже чисто *либеральные* разговоры о „табели о рангахъ, о цензурномъ гнетѣ, объ освобожденіи крестьянъ, о преобразованіи судопроизводства, т.-е. о судѣ присяжныхъ, о гласности въ печати, какъ необходимомъ условіи всяческаго успѣха въ странѣ, вообще о „тогдашнемъ положеніи", какъ выражается Достоевскій. Соціализмъ къ этимъ *либеральнымъ* вопросамъ остается вполнѣ равнодушенъ. Соціализмъ, кромѣ того, являлся запретнымъ, а потому сильно возбуждающимъ плодомъ; Европа занималась имъ очень сильно, именно въ тѣ годы, о которыхъ мы говоримъ. „У насъ", говоритъ Достоевскій, „несмотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столѣтія всегда тотчасъ же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европѣ и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось и массѣ хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей" (*Дневн.* 1876 г., 152).

Такъ было съ соціальными теоріями 40-хъ годовъ, вызвавшими преслѣдованіе власти лишь тогда, когда послѣ революціи 1848 г. соціализмъ превратился въ политическое движеніе, и французское правительство стало считаться съ нимъ, какъ съ силою. До тѣхъ поръ это были лишь увлекательныя мечты о человѣческомъ счастьѣ, то „новое слово", котораго жаждало тоскующее и больное поколѣніе. Мысль, несмотря на запреты, проходила и дѣлала свое дѣло. Еще въ 30-хъ годахъ между студентами Московскаго университета явились послѣдователи церкви сенъ-симонистовъ, какъ она образовалась въ rue Monsigny. Неизвѣстно, насколько тѣ молодые люди проникнуты были новымъ ученіемъ, насколько они вѣрили въ сенъ-симонизмъ, но, конечно, съ жадностію читали книги съ неизвѣстнымъ до тѣхъ поръ содержаніемъ, увлекались страстною преданностію идеѣ о благѣ человѣчества послѣдователей Сенъ-Симона и въ подражаніе имъ, въ угоду естественности, отпускали длинные волосы и бороды. То были внѣшіе признаки сенъ-симонистовъ и потому собственно такъ и преслѣдовались. Московскіе сенъ-симонисты пострадали. Не прошло, однако, и десяти лѣтъ, какъ соціальныя теоріи нашли множество послѣдователей въ Петербургѣ. Ученіе Сенъ-Симона смѣнилось теперь болѣе развитою, хотя нѣсколько дикою по терминологіи и метафизикѣ системою Фурье; его сочиненія и послѣдователей его, особенно декламаціи Пьера Леру изучались, комментировались, дебатировались. Разумѣется, весь этотъ кругъ идей никоимъ образомъ не могъ проникнуть въ печатное слово, а если и проникалъ чрезвычайно въ рѣдкихъ случаяхъ (напр. „Карманный словарь иностранныхъ словъ" Кириллова, С.-Пб. 1849), то явленіе это было контрабандою. Эти „новыя идеи въ Петербургѣ ужасно нравились, казались въ высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловѣческими, будущимъ закономъ всего безъ исключенія человѣчества. Мы еще задолго до Парижской революціи 1848 г. были охвачены обаятельнымъ вліяніемъ этихъ идей" (Достоевскій въ *Дневн.* Гражданина 1873 г., стр. 1351). Въ своихъ позднѣй-

шихъ, къ сожалѣнію, весьма краткихъ воспоминаніяхъ объ этомъ любопытномъ періодѣ своей жизни Достоевскій вноситъ уже ретроспективную критику этихъ теорій. Онъ говоритъ, напримѣръ, о „презрѣніи къ отечеству, какъ тормазу во всеобщемъ развитіи“ въ тогдашнихъ увлеченіяхъ; напротивъ, намъ кажется, что въ этомъ увлеченіи была своего рода любовь и къ отечеству и къ своему народу; увлекающіеся смотрѣли тогда на свой народъ какъ на такой, которому, по условіямъ его быта, всего ближе и удобнѣе осуществить идею общечеловѣчности, послужить всему человѣчеству, — мысль, высказываемая, какъ кажется, и самимъ Достоевскимъ въ концѣ его жизни.

Мы не знаемъ, какимъ образомъ Достоевскій познакомился съ соціализмомъ. Самъ онъ разсказываетъ, что въ идеи тогдашняго теоритическаго соціализма, во „*всю* правду этого грядущаго обновленнаго міра“ онъ былъ уже въ 1846 г. *посвященъ* Бѣлинскимъ. Едва ли это такъ. Въ большой біографіи критика мы не находимъ упоминанія объ отношеніяхъ его къ соціализму, съ которымъ онъ, конечно, былъ знакомъ, да и не могъ не быть знакомымъ, принадлежа къ числу образованнѣйшихъ людей въ Россіи и живя въ тѣсномъ кругу самыхъ даровитыхъ и развитыхъ, весьма немногочисленныхъ друзей. Что онъ любилъ Россію и страстно желалъ ея счастія, не мечтательнаго, а дѣйствительнаго, не на словахъ, а на дѣлѣ, доказательствомъ служатъ всѣ его сочиненія. Вопросы, которые занимали его въ эти мрачные, послѣдніе годы его жизни, были тѣ, которые стояли на очереди и нашли болѣе или менѣе полное разрѣшеніе въ послѣднее приснопамятное царствованіе, вопросы, къ большинству которыхъ соціализмъ равнодушенъ; это были „рядомъ съ освобожденіемъ слова и печати, отмѣна крѣпостного права, улучшеніе суда, расширеніе образованія, освобожденіе личности, освобожденіе женщины отъ тѣхъ наиболѣе грубыхъ стѣсненій, какія ее окружали“ и т. д. (Пыпинъ, Бѣлинскій, 2,345). Для Бѣлинскаго, во всю его жизнь, умственный прогрессъ, на которомъ лишь основываются и нравственные успѣхи общества, былъ всего дороже. Въ извѣстномъ письмѣ его къ Гоголю по поводу „Переписки съ друзьями“ мы не найдемъ соціализма. Притомъ, по свидѣтельству самого Достоевскаго, онъ очень скоро разошелся съ Бѣлинскимъ, хотя и не объясняетъ причины разлада: была, вѣроятно, и значительная разница въ убѣжденіяхъ. Эта разница сказалась именно въ соціальныхъ взглядахъ: „Посмотрите на Ж. Зандъ“, пишетъ Бѣлинскій въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ писемъ, въ тѣхъ ея романахъ, *гдѣ рисуетъ она свой идеалъ общества:* читая ихъ, думаешь, что читаешь переписку Гоголя (тамъ же, 320). А для Достоевскаго Ж. Зандъ была учительницею. „Она принадлежала всему движенію, а не одной лишь проповѣди о правахъ женщинъ... Это одна изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ болѣе *счастливаго будущаго, ожидающаго человѣчество,* въ достиженіе идеаловъ котораго она бодро и великодушно вѣрила всю жизнь и именно потому, что сама въ душѣ своей способна была воздвигнуть идеалъ. Сохраненіе этой вѣры до конца обыкновенно составляетъ удѣлъ всѣхъ высокихъ

душъ, всѣхъ истинныхъ человѣколюбцевъ... Она основывала свой соціализмъ, свои убѣжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствѣ человѣка, на духовной жаждѣ человѣчества, на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на муравьиной необходимости (*Дневн.* 1876, 155—156).

Со всѣмъ пыломъ души, на который способна только молодость, Достоевскій и его товарищи отдались этому захватывающему содержанію новыхъ идей. Все толкало ихъ въ очарованный кругъ: окружающее ихъ безправіе, ложь въ обществѣ и господство фразы, задавленное слово, ничтожество и фальшивая реторика воспитанія и ученія, изобилующаго фразами о направленіи, а не сущностію, не знаніемъ, господство кулака и гнетъ надъ крѣпостными, казнокрадство и взятки и т. д. Это были убѣжденные, страстно преданные идеѣ люди. „Мы Петрашевцы", говоритъ Достоевскій, „стояли на эшафотѣ и выслушали нашъ приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія. Безъ сомнѣнія, я не могу свидѣтельствовать обо всѣхъ; но думаю, что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если не всякій, то, по крайней мѣрѣ, чрезвычайное большинство изъ насъ почло бы за безчестье отречься отъ своихъ убѣжденій... То дѣло, за которое насъ осудили, тѣ мысли, тѣ понятія, которыя владѣли нашимъ духомъ — представлялись намъ не только не требующимъ раскаянія, но даже чѣмъ-то очищающимъ, мученичествомъ, за которое много намъ простится" (*Дневн.* въ Гражд. 1352). Такая сила убѣжденій и такая преданность возможна только тогда, когда душа исполнена идеаломъ и вѣрою. Можно согласиться съ Достоевскимъ, что въ стремленіяхъ этой погибшей тогда молодежи было весьма мало русскаго и народнаго, но виновата ли она за свое полное безсиліе, за полную невозможность служить бодро и дѣятельно родной странѣ? Поневолѣ приходилось гоняться за общечеловѣческимъ, когда своей работы не было. Одинъ изъ товарищей Достоевскаго, весьма талантливый поэтъ, въ небольшой, вышедшей въ 1846 г. книжкѣ своихъ стихотвореній, которыя потомъ не перепечатывались имъ (А. И. Плещеевъ), прямо говоритъ о своемъ поэтѣ, который, по словамъ тогдашняго пророка молодого поколѣнія французскаго поэта Ог. Барьбье, долженъ быть „un protestant sublime du droit et de l'humanité:"

Но простодушно вѣрилъ онъ,
Что не напрасны тѣ стремленья,
И прозрѣвалъ онъ въ отдаленьи
Священной истины законъ.
Ему твердили съ укоризной,
Что не любилъ онъ край родной:
Онъ міръ считалъ своей отчизной
И человѣчество семьей!
И ту семью любилъ онъ страстно,
И для ея грядущихъ благъ
Истратить былъ готовъ всечасно
Избытокъ юныхъ силъ въ трудахъ.

Мы не станемъ говорить о томъ, какъ и чѣмъ заплатили эти русскіе юноши за свои „общечеловѣческія увлеченія", потому что имѣемъ дѣло лишь съ Достоевскимъ и его сочиненіями, стараемся объяснить ихъ смыслъ. Смерть этого великаго писателя вызвала въ печати нѣсколько воспоминаній, нѣсколько подробностей о забытомъ и темномъ политическомъ процессѣ, такъ называемыхъ, „петрашевцевъ",

но до сихъ поръ вполнѣ неясно, что собственно было въ немъ политическаго. Какъ извѣстно, и Достоевскій пострадалъ за свои соціальныя теоріи, но въ особенности за чтеніе и распространеніе письма Бѣлинскаго къ Гоголю по поводу „Переписки“ послѣдняго. Въ этомъ письмѣ не было соціальныхъ теорій, ничего общечеловѣческаго; оно касалось насущныхъ, кричащихъ нуждъ Россіи, хотя въ наболѣвшей душѣ критика вылилось въ рѣзкую форму. Замѣтимъ, что это злосчастное письмо распространилось тогда такъ же быстро между читающей и думающей Россіей, конечно, въ молодомъ ея поколѣніи, какъ за двадцать пять лѣтъ[1]) до того времени Грибоѣдовская комедія. Возможно ли было не интересоваться содержаніемъ послѣдняго произведенія только что умершаго всѣми уважаемаго учителя, въ которомъ онъ высказалъ самыя лучшія задушевныя мысли и высказалъ въ упрекъ величайшему художественному таланту родины?

Для Достоевскаго настало время заточенія, каторжной работы, жизни посреди „погибшаго народа“ (tra la perduta gente у Данта), тяжелой солдатской службы, лишенной всякихъ правъ, одиннадцать лѣтъ страданія, невозможныхъ оскорбленій человѣческой личности, уединенной мрачной думы и усилившихся нервныхъ припадковъ, естественно отразившихся на его творчествѣ. Но „ничто не сломило насъ, и наши убѣжденія лишь поддерживали нашъ духъ сознаніемъ исполненнаго долга“ говоритъ онъ самъ. Въ эту пору и совершился въ немъ „возвратъ къ народному корню“ и назрѣли тѣ послѣднія его сочиненія и тѣ думы, часто полныя противорѣчій, которыя окружили его имя чрезвычайною популярностію. *Буличъ.*

Участіе Достоевскаго въ кружкахъ того времени, его арестъ и ссылка.

Кончина Ѳ. М. Достоевскаго вызвала явленія, какихъ не бывало до сихъ поръ въ нашемъ обществѣ. Еще при слухахъ о внезапной болѣзни его люди, совсѣмъ незнакомые, съ участіемъ освѣдомлялись о его здоровьѣ; а когда сдѣлалось извѣстнымъ, что его не стало, въ скромное помѣщеніе умершаго съ утра до поздней ночи сходились толпы поклониться его праху. Тутъ были государственные сановники, литераторы, артисты, учащаяся молодежь и женщины изъ разныхъ слоевъ столичнаго общества. Вѣсть о томъ, что Государь пожаловалъ пенсію вдовѣ и обезпечилъ воспитаніе дѣтей покойнаго, вызвала общую признательность.

На выносъ тѣла Достоевскаго стеклись тысячи народа: его провожали съ вѣнками представители разныхъ ученыхъ и учебныхъ заведеній, депутаціи отъ городскихъ обществъ обѣихъ столицъ. Еще больше выразилось сочувствіе къ покойному на другой день, при самомъ по-

---

[1]) Статья написана въ 1881 г.

гребеніи, въ храмѣ и на могилѣ, въ Александро-Невской лаврѣ. Его хоронили не родные, не друзья — его хоронило *русское общество*. И эти оваціи не были придуманы какимъ-нибудь кружкомъ, а сложились подъ вліяніемъ одного общаго чувства утраты, съ одной общей мыслью почтить любимаго писателя и гражданина. Ѳ. М. Достоевскій создалъ себѣ въ нашей литературѣ исключительное положеніе: онъ не стоялъ въ рядахъ какой-нибудь партіи или школы; это былъ представитель всего русскаго общества, всецѣло проникнутый его интересами, одушевленный вѣрою въ молодыя русскія силы, полный сочувствія ко всему неправо униженному и оскорбленному и никогда не терявшій надежды на будущую великую роль горячо любимаго имъ народа. Вотъ почему Достоевскій болѣе, чѣмъ кто другой изъ нашихъ талантливыхъ писателей, былъ дѣятель общественный и почему утрата его отозвалась во всей Россіи.

Въ большинствѣ нашей публики понятія о Достоевскомъ очень поверхностны: знаютъ, что онъ воспитывался въ инженерномъ училищѣ, недолго былъ на службѣ, выступилъ въ литературное поприще романомъ „Бѣдные люди"; по дѣлу Петрашевскаго былъ сосланъ въ Сибирь, а по возвращеніи оттуда цѣлымъ рядомъ замѣчательныхъ сочиненій сталъ въ первомъ ряду лучшихъ современныхъ писателей.

Болѣе чѣмъ тринадцатилѣтнее знакомство съ покойнымъ, прерванное только годами его ссылки, даетъ мнѣ возможность сообщить о немъ нѣкоторыя подробности, нелишнія для будущей полной біографіи его.

Познакомился я съ Ѳ. М. Достоевскимъ зимою 1848 г. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. Съ первыхъ дней парижской февральской революціи самыя неожиданныя событія смѣнялись въ Европѣ одни другими. Небывалыя реформы Пія IX отозвались возстаніями въ Миланѣ, Венеціи, Неаполѣ; взрывъ свободныхъ идей въ Германіи вызвалъ революціи въ Берлинѣ и Вѣнѣ. Казалось, готовится какое-то общее перерожденіе всего европейскаго міра. Гнилыя основы старой реакціи падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европѣ. Но въ то же время въ Россіи господствовалъ тяжелый застой; наука и печать все болѣе и болѣе стѣснялись, и придавленная общественная жизнь ничѣмъ не проявляла своей дѣятельности. Изъ-за границы проникала контрабанднымъ путемъ масса либеральныхъ сочиненій, какъ ученыхъ, такъ и чисто-литературныхъ; во французскихъ и нѣмецкихъ газетахъ, несмотря на ихъ кастрированье, безпрестанно проходили возбудительныя статьи; а между тѣмъ у насъ, больше, чѣмъ когда-нибудь, стѣснялась научная и литературная дѣятельность, и цензура заразилась самой острой книгобоязнью. Понятно, какъ все это дѣйствовало раздражительно на молодыхъ людей, которые, съ одной стороны, изъ проникающихъ изъ-за границы книгъ знакомились не только съ либеральными идеями, но и съ самими крайними программами соціализма, а съ другой — видѣли у насъ преслѣдованіе всякой мало-мальски свободной мысли; читали жгучія рѣчи, произносимыя во французской палатѣ, на франкфуртскомъ съѣздѣ, и въ то же время

понимали, что легко можно пострадать за какое-нибудь недозволенное сочиненіе, даже за неосторожное слово. Чуть не каждая заграничная почта приносила извѣстіе о новыхъ правахъ, даруемыхъ, волей или неволей, народамъ, а между тѣмъ въ русскомъ обществѣ ходили только слухи о новыхъ ограниченіяхъ и стѣсненіяхъ. Кто помнитъ то время, тотъ знаетъ, какъ все это отзывалось на умахъ интеллигентной молодежи.

И вотъ въ Петербургѣ начали мало-по-малу образовываться небольшіе кружки близкихъ по образу мыслей молодыхъ людей, недавно покинувшихъ высшія учебныя заведенія, сначала съ единственной цѣлью сойтись въ пріятельскомъ домѣ, подѣлиться новостями и слухами, обмѣняться идеями, поговорить свободно, не опасаясь посторонняго нескромнаго уха и языка. Въ такихъ пріятельскихъ кружкахъ завязывались новыя знакомства, закрѣплялись дружескія связи. Чаще всего бывалъ я на еженедѣльныхъ вечерахъ у тогдашняго моего сослуживца, Иринарха Ивановича Введенскаго, извѣстнаго переводчика Диккенса. Обычными посѣтителями тамъ были В. В. Дирикеръ — литераторъ и впослѣдствіи докторъ-гомеопатъ, Н. Г. Чернышевскій и Г. Е. Благосвѣтловъ, тогда еще студенты, и преподаватель русской словесности въ одной изъ столичныхъ гимназій, а потомъ помощникъ инспектора классовъ въ Смольномъ монастырѣ, А. М. Печкинъ. На вечерахъ говорили бо́льшею частію о литературѣ и европейскихъ событіяхъ. Тѣ же молодые люди бывали и у меня.

Однажды Печкинъ пришелъ ко мнѣ утромъ и между прочимъ спросилъ, не хочу ли я познакомиться съ молодымъ начинающимъ поэтомъ, А. Н. Плещеевымъ. Передъ тѣмъ я только что прочелъ небольшую книжку его стихотвореній, и мнѣ понравились въ ней, съ одной стороны, неподдѣльное чувство и простодушіе, а съ другой — свѣжесть и юношеская пылкость мысли. Ососенно обратили наше вниманіе небольшія пьесы: „Поэту“ и „Впередъ“. И могли ли, по тогдашнему настроенію молодежи, не увлекать такія строфы, какъ напримѣръ:

Впередъ! безъ страха и сомнѣнья
На подвигъ доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Ужъ въ небесахъ завидѣлъ я.

Смѣлѣй! дадимъ другъ другу руки
И вмѣстѣ двинемся впередъ,
И пусть подъ знаменемъ науки
Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ!

Разумѣется, я отвѣтилъ Печкину, что очень радъ познакомиться съ молодымъ поэтомъ. И мы скоро сошлись. Плещеевъ сталъ ѣздить ко мнѣ, а черезъ нѣсколько времени пригласилъ къ себѣ на пріятельскій вечеръ, говоря, что я найду у него нѣсколько хорошихъ людей, съ которыми ему хочется меня познакомить.

И дѣйствительно, я сошелся на этомъ вечерѣ съ людьми, о которыхъ память навсегда останется для меня дорогою. Въ числѣ другихъ тутъ были: Порфирій Ивановичъ Ламанскій, Сергѣй Ѳедоровичъ Дуровъ, гвардейскіе офицеры, Николай Александровичъ Монбелли и Александръ Ивановичъ Пальмъ, и братья Достоевскіе, Михаилъ Ми-

хайловичъ и Ѳедоръ Михайловичъ. Вся эта молодежь была мнѣ очень симпатична. Особенно сошелся я съ Достоевскими и Монбелли. Послѣдній жилъ тогда въ московскихъ казармахъ, и у него тоже сходился кружокъ молодыхъ людей. Тамъ я встрѣтилъ еще нѣсколько новыхъ лицъ и узналъ, что въ Петербургѣ есть болѣе обширный кружокъ М. В. Буташевича-Петрашевскаго, гдѣ на довольно многолюдныхъ сходкахъ читаются рѣчи политическаго и соціальнаго характера. Не помню, кто именно предложилъ мнѣ познакомиться съ этимъ домомъ, но я отклонилъ это, не изъ опасенія или равнодушія, а оттого, что самъ Петрашевскій, съ которымъ я незадолго передъ тѣмъ встрѣтился, показался мнѣ не очень симпатичнымъ по рѣзкой парадоксальности его взглядовъ и холодности ко всему русскому.

Иначе отнесся я къ предложенію сблизиться съ небольшимъ кружкомъ С. Ѳ. Дурова, который состоялъ, какъ узналъ я, изъ людей, посѣщавшихъ Петрашевскаго, но не вполнѣ согласныхъ съ его мнѣніями. Это была кучка молодежи болѣе умѣренной. Дуровъ жилъ тогда вмѣстѣ съ Пальмомъ и Алексѣемъ Дмитріевичемъ Щелковымъ на Гороховой улицѣ, за Семеновскимъ мостомъ. Въ небольшой квартирѣ ихъ собирался уже нѣсколько времени организованный кружокъ молодыхъ военныхъ и статскихъ, и такъ какъ хозяева были люди небогатые, а между тѣмъ гости сходились каждую недѣлю и засиживались обыкновенно часовъ до трехъ ночи, то всѣми дѣлался ежемѣсячный взносъ на чай и ужинъ и на оплату взятаго на прокатъ рояля. Собирались обыкновенно по пятницамъ. Я вошелъ въ этотъ кружокъ среди зимы и посѣщалъ его регулярно до самаго прекращенія вечеровъ послѣ ареста Петрашевскаго и посѣщавшихъ его лицъ. Здѣсь, кромѣ тѣхъ, съ кѣмъ я познакомился у Плещеева и Монбелли, постоянно бывали Николай Александровичъ Спѣшневъ и Павелъ Николаевичъ Филипповъ, оба люди очень образованные и милые.

О собраніяхъ Петрашевскаго я знаю только по слухамъ. Что же касается кружка Дурова, который я посѣщалъ постоянно и считалъ какъ бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что въ немъ не было чисто-революціонныхъ замысловъ, и сходки эти, не имѣвшія не только писанаго устава, но и никакой опредѣленной программы, ни въ какомъ случаѣ нельзя было назвать тайнымъ обществомъ. Въ кружкѣ получались только и передавались другъ другу недозволенныя въ тогдашнее время книги революціоннаго и соціальнаго содержанія, да разговоры, бо̀льшею частію, обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занималъ насъ вопросъ объ освожденіи крестьянъ, и на вечерахъ постоянно разсуждали о томъ, какими путями и когда можетъ онъ разрѣшиться. Иные высказывали мнѣніе, что въ виду реакціи, вызванной у насъ революціями въ Европѣ, правительство едва ли приступитъ къ рѣшенію этого дѣла, и скорѣе слѣдуетъ ожидать движенія снизу, чѣмъ сверху. Другіе, напротивъ, говорили, что народъ нашъ не пойдетъ по слѣдамъ европейскихъ революціонеровъ и, не вѣруя

въ новую пугачевщину, будетъ терпѣливо ждать рѣшенія своей судьбы отъ верховной власти. Въ этомъ смыслѣ съ особенной настойчивостью высказывался Ѳ. М. Достоевскій. Я помню, какъ однажды, съ обычной своей энергіей, онъ читалъ стихотвореніе *Пушкина* „Уединеніе". Какъ теперь слышу восторженный голосъ, какимъ онъ прочелъ заключительный куплетъ:

Увижу ль, о друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли наконецъ прекрасная заря?

Когда при этомъ кто-то выразилъ сомнѣніе въ возможности освобожденія крестьянъ легальнымъ путемъ, Ѳ. М. Достоевскій рѣзко возразилъ, что ни въ какой иной путь онъ не вѣритъ.

Другой предметъ, на который также часто обращались бесѣды въ нашемъ кружкѣ, была тогдашняя цензура. Нужно вспомнить, до какихъ крайностей доходили въ то время цензурныя стѣсненія, какіе ходили въ обществѣ разсказы по этому предмету и какъ умудрялись тогда писатели провести какую-нибудь смѣлую мысль подъ вуалемъ цѣломудренной скромности, — чтобы представить, въ какомъ смыслѣ высказывалась въ нашемъ кружкѣ молодежь, горячо любившая литературу. Это тѣмъ понятнѣе, что между нами были не только начинавшіе литераторы, но и такіе, которые обратили уже на себя вниманіе публики, а романъ Ѳ. М. Достоевскаго „Бѣдные Люди" обѣщалъ уже въ авторѣ крупный талантъ. Разумѣется, вопросъ объ отмѣнѣ цензуры не находилъ у насъ ни одного противника.

Толки о литературѣ происходили большею частію по поводу какихъ-нибудь замѣчательныхъ статей въ тогдашнихъ журналахъ, и особенно такихъ, которыя соотвѣтствовали направленію кружка. Но разговоръ обращался и на старыхъ писателей, при чёмъ высказывались мнѣнія рѣзкія и иногда довольно одностороннія и несправедливыя. Однажды, я помню, рѣчь зашла о Державинѣ, и кто-то заявилъ, что видитъ въ немъ скорѣе напыщеннаго ритора и низкопоклоннаго панегириста, чѣмъ великаго поэта, какимъ величали его современники и школьные педанты. При этомъ Ѳ. М. Достоевскій вскочилъ, какъ ужаленный, и закричалъ:

— Какъ? да развѣ у Державина не было поэтическихъ, вдохновенныхъ порывовъ? Вотъ это развѣ не высокая поэзія?

И онъ прочелъ на память стихотвореніе „Властителямъ и Судіямъ" съ такою силою, съ такимъ восторженнымъ чувствомъ, что всѣхъ увлекъ своей декламаціей и безъ всякихъ комментарій поднялъ въ общемъ мнѣніи пѣвца Фелицы. Въ другой разъ читалъ онъ нѣсколько стихотвореній Пушкина и Виктора Гюго, сходныхъ по основной мысли или картинамъ, и при этомъ мастерски доказывалъ, насколько нашъ поэтъ выше, какъ художникъ.

Въ Дуровскомъ кружкѣ было нѣсколько жаркихъ соціалистовъ. Увлекаясь гуманными утопіями европейскихъ реформаторовъ, они ви-

дѣли въ ихъ ученіи начало новой религіи, долженствующей будто бы пересоздать человѣчество и устроить общество на новыхъ соціальныхъ началахъ. Все, что являлось новаго по этому предмету во французской литературѣ, постоянно получалось, распространялось и обсуживалось на нашихъ сходкахъ. Толки о Нью-Ланаркѣ Роберта Оуэна и объ Икаріи Кабэ, а въ особенности о фаланстерѣ Фурье и теоріи прогрессивнаго налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Всѣ мы изучали этихъ соціалистовъ, но далеко не всѣ вѣрили въ возможность практическаго осуществленія ихъ плановъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ Ѳ. М. Достоевскій. Онъ читалъ соціальныхъ писателей, но относился къ нимъ критически. Соглашаясь, что въ основѣ ихъ ученій была цѣль благородная, онъ однакожъ считалъ ихъ только честными фантазерами. Въ особенности настаивалъ онъ на томъ, что всѣ эти теоріи для насъ не имѣютъ значенія, что мы должны искать источниковъ для развитія русскаго общества не въ ученіяхъ западныхъ соціалистовъ, а въ жизни и вѣковомъ историческомъ строѣ нашего народа, гдѣ въ общинѣ, артели и круговой порукѣ давно уже существуютъ основы, болѣе прочныя и нормальныя, чѣмъ всѣ мечтанія Сенъ-Симона и его школы. Онъ говорилъ, что жизнь въ икарійской коммунѣ или фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги. Конечно, наши упорные проповѣдники соціализма не соглашались съ нимъ.

Не меньше занимали насъ бесѣды о тогдашнихъ законодательныхъ и административныхъ новостяхъ, и понятно, что при этомъ высказывались рѣзкія сужденія, основанныя иногда на не точныхъ слухахъ или не вполнѣ достовѣрныхъ разсказахъ и анекдотахъ. И это въ то время было естественно въ молодежи, съ одной стороны, возмущаемой зрѣлищемъ произвола нашей администраціи, стѣсненіемъ науки и литературы, а съ другой — возбужденной грандіозными событіями, какія совершались въ Европѣ, порождая надежды на лучшую, болѣе свободную и дѣятельную жизнь. Въ этомъ отношеніи Ѳ. М. Достоевскій высказывался съ неменьшей рѣзкостью и увлеченіемъ, чѣмъ и другіе члены нашего кружка. Не могу теперь привести съ точностью его рѣчей, но помню хорошо, что онъ всегда энергически говорилъ противъ мѣропріятій, способныхъ стѣснить чѣмъ-нибудь народъ, и въ особенности возмущали его злоупотребленія, отъ которыхъ страдали низшіе классы и учащаяся молодежь. Въ сужденіяхъ его постоянно слышался авторъ „Бѣдныхъ людей“, горячо сочувствующій человѣку въ самомъ приниженномъ его состояніи. Когда, по предложенію одного изъ членовъ нашего кружка, рѣшено было писать статьи обличительнаго содержанія и читать ихъ на нашихъ вечерахъ, Ѳ. М. Достоевскій одобрилъ эту мысль и обѣщалъ съ своей стороны работать, но, сколько я знаю, не успѣлъ ничего приготовить въ этомъ родѣ. Къ первой же статьѣ, написанной однимъ изъ офицеровъ, гдѣ разсказывался извѣстный тогда въ городѣ анекдотъ, онъ отнесся неодобрительно и порицалъ какъ содержаніе ея, такъ и слабость литературной формы. Я, съ своей

стороны, прочелъ на одномъ изъ нашихъ вечеровъ переведенную мною на церковно-славянскій языкъ главу изъ „Paroles d'un croyant“ Ламеннэ, и Ѳ. М. Достоевскій сказалъ мнѣ, что суровая библейская рѣчь этого сочиненія вышла въ моемъ переводѣ выразительнѣе, чѣмъ въ оригиналѣ. Конечно, онъ разумѣлъ при этомъ только самое свойство языка, но отзывъ его былъ для меня очень пріятенъ. Къ сожалѣнію, у меня не сохранилось рукописи. Въ послѣднія недѣли существованія Дуровскаго кружка возникло предположеніе литографировать и сколько можно болѣе распространять этимъ путемъ статьи, которыя будутъ одобрены по общему соглашенію, но мысль эта не была приведена въ исполненіе, такъ какъ вскорѣ большая часть нашихъ друзей, именно всѣ, кто посѣщалъ вечера Петрашевскаго, были арестованы.

Незадолго передъ закрытіемъ кружка одинъ изъ нашихъ членовъ ѣздилъ въ Москву и привезъ оттуда списокъ извѣстнаго письма Бѣлинскаго къ Гоголю, писаннаго по поводу его „Переписки съ друзьями“. Ѳ. М. Достоевскій прочелъ это письмо на вечерѣ и потомъ, какъ самъ онъ говорилъ, читалъ его въ разныхъ знакомыхъ домахъ и давалъ списывать съ него копіи. Впослѣдствіи это послужило однимъ изъ главныхъ мотивовъ къ его обвиненію и ссылкѣ. Письмо это, которое въ настоящее время едва ли увлечетъ кого-нибудь своей односторонней парадоксальностью, произвело въ то время сильное впечатлѣніе. У многихъ изъ нашихъ знакомыхъ оно обращалось въ спискахъ, вмѣстѣ съ привезенной также изъ Москвы юмористической статьею А. Герцена, въ которой остроумно и зло сравнивались обѣ наши столицы. Вѣроятно, при арестѣ петрашевцевъ не мало экземпляровъ этихъ сочиненій отобрано и передано было въ третье отдѣленіе. Нерѣдко С. Ѳ. Дуровъ читалъ свои стихотворенія, и я помню, съ какимъ удовольствіемъ слушали мы его переводъ извѣстной пьесы Барбье „Кіайя“, въ которой цензура уничтожила нѣсколько стиховъ. Кромѣ бесѣдъ и чтенія, у насъ бывала по вечерамъ и музыка. Послѣдній вечеръ нашъ заключился тѣмъ, что одинъ даровитый піанистъ, Кашевскій, сыгралъ на роялѣ увертюру изъ „Вильгельма Теля“ Россини.

Прошло двѣ недѣли, и вотъ однажды рано утромъ прислали мнѣ сказать, что и М. М. Достоевскій въ прошлую ночь арестованъ. Жена и дѣти его остались безо всякихъ средствъ, такъ какъ онъ нигдѣ не служилъ, не имѣлъ никакого состоянія и жилъ однѣми литературными работами для „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ велъ ежемѣсячно „Внутреннее Обозрѣніе“ и помѣщалъ небольшія повѣсти. Съ арестомъ его, семейство очутилось въ крайне тяжеломъ положеніи, и только А. А. Краевскій помогъ ему пережить это несчастное время. Я не боялся особенно за М. М. Достоевскаго, зная его скромность и сдержанность; хотя онъ и бывалъ у Петрашевскаго, но не симпатизировалъ большинству его гостей и нерѣдко высказывалъ мнѣ свое несочувствіе къ тѣмъ рѣзкостямъ, которыя позволяли себѣ тамъ болѣе крайніе и неосторожные люди. Сколько я зналъ, на него не могло быть сдѣлано никакихъ серіозно опасныхъ показаній, да притомъ въ послѣднее

время онъ почти совсѣмъ отсталъ отъ кружка. Поэтому я надѣялся, что арестъ его не будетъ продолжителенъ, въ чемъ и не ошибся.

Въ концѣ мая мѣсяца (1849 г.) я нанялъ небольшую лѣтнюю квартиру въ Колтовской, поблизости отъ Крестовскаго острова, и взялъ погостить къ себѣ старшаго сына М. М. Достоевскаго, которому тогда было, если не ошибаюсь, лѣтъ семь. Мать навѣщала его каждую недѣлю. Однажды, кажется въ срединѣ іюля, я сидѣлъ въ нашемъ садикѣ, и вдругъ маленькій Ѳедя бѣжитъ ко мнѣ съ крикомъ: папа, папа пріѣхалъ! Въ самомъ дѣлѣ, въ это утро моего пріятеля освободили, и онъ поспѣшилъ видѣть сына и повидаться со мною. Понятно, съ какой радостью обнялись мы послѣ двухмѣсячной разлуки. Вечеромъ пошли мы на острова, и онъ разсказалъ мнѣ подробности о своемъ арестѣ и содержаніи въ казематѣ, о допросахъ въ слѣдственной комиссіи и данныхъ имъ показаніяхъ. Онъ сообщилъ мнѣ и то, что̀ именно изъ данныхъ ему вопросныхъ пунктовъ относилось къ Ѳедору Михайловичу. Мы заключили, что хотя онъ обвиняется только въ либеральныхъ разговорахъ, порицаніи нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ лицъ и распространеніи запрещенныхъ сочиненій и рокового письма Бѣлинскаго, но, если дѣлу захотятъ придать серіозное значеніе, что̀ по тогдашнему времени было очень вѣроятно, то развязка можетъ быть печальная. Правда, нѣсколько человѣкъ изъ арестованныхъ въ апрѣлѣ постепенно были освобождены, зато о другихъ ходили неутѣшительные слухи. Говорили, что многимъ не миновать ссылки.

Лѣто тянулось печально. Одни изъ близкихъ моихъ знакомыхъ были въ крѣпости, другіе жили на дачахъ, кто въ Парголовѣ, кто въ Царскомъ Селѣ. Я изрѣдка видался съ И. И. Введенскимъ и каждую недѣлю съ М. М. Достоевскимъ. Въ концѣ августа переѣхалъ я опять въ городъ, и мы стали бывать другъ у друга еще чаще. Извѣстія о нашихъ друзьяхъ были очень неопредѣленныя: мы знали только, что они здоровы, но едва ли кто-нибудь изъ нихъ выйдетъ на свободу. Слѣдственная комиссія закончила свои засѣданія, и надобно было ожидать окончательнаго рѣшенія дѣла. Но до этого было, однако, еще далеко. Прошла осень, потянулась зима, и только передъ святками рѣшена была участь осужденныхъ. Къ крайнему удивленію и ужасу нашему, всѣ приговорены были къ смертной казни разстрѣляніемъ. Но, какъ извѣстно, приговоръ этотъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Въ день казни на Семеновскомъ плацу, на самомъ эшафотѣ, куда введены были всѣ приговоренные, прочитали имъ новое рѣшеніе, по которому имъ дарована жизнь, съ замѣною смертной казни другими наказаніями. По этому приговору Ѳ. М. Достоевскому назначалась ссылка въ каторжныя работы на четыре года, съ зачисленіемъ его, по окончаніи этого срока, рядовымъ въ одинъ изъ сибирскихъ линейныхъ баталіоновъ. Все это случилось такъ быстро и неожиданно, что ни я ни братъ его не были на Семеновскомъ плацу и узнали о судьбѣ нашихъ друзей, когда все уже было кончено и ихъ снова перевезли

въ Петропавловскую крѣпость, кромѣ М. В. Петрашевскаго, который прямо съ эшафота отправленъ былъ въ Сибирь.

Осужденныхъ отвозили изъ крѣпости въ ссылку партіями по два и по три человѣка. Если не ошибаюсь, на третій день послѣ экзекуціи на Семеновской площади М. М. Достоевскій пріѣхалъ ко мнѣ и сказалъ, что брата его отправляютъ въ тотъ же вечеръ и онъ ѣдетъ проститься съ нимъ. Мнѣ тоже хотѣлось попрощаться съ тѣмъ, кого долго, а можетъ быть, и никогда не придется видѣть. Мы поѣхали въ крѣпость, прямо къ извѣстному уже намъ плацъ-майору М — ю, черезъ котораго надѣялись получить разрѣшеніе на свиданіе. Это былъ человѣкъ въ высокой степени доброжелательный. Онъ подтвердилъ, что дѣйствительно въ этотъ вечеръ отправляютъ въ Омскъ Достоевскаго и Дурова, но видѣться съ уѣзжающими, кромѣ близкихъ родственниковъ, нельзя безъ разрѣшенія коменданта. Это сначала меня очень огорчило, но, зная доброе сердце и снисходительность генерала Набокова, я рѣшился обратиться къ нему лично за позволеніемъ проститься съ друзьями. И я не ошибся въ своей надеждѣ: комендантъ разрѣшилъ г. мнѣ видѣться съ Ѳ. М. Достоевскимъ и Дуровымъ.

Насъ провели въ какую-то большую комнату, въ нижнемъ этажѣ комендантскаго дома. Давно уже былъ вечеръ, и она освѣщалась одною лампою. Мы ждали довольно долго, такъ что крѣпостные куранты раза два успѣли проиграть четверть на своихъ разнотонныхъ колокольчикахъ. Но вотъ дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и въ сопровожденіи офицера вошли Ѳ. М. Достоевскій и С. Ѳ. Дуровъ. Горячо пожали мы другъ другу руки. Несмотря на восьмимѣсячное заключеніе въ казематахъ, они почти не перемѣнились: то же серіозное спокойствіе на лицѣ одного, та же привѣтливая улыбка у другого. Оба уже одѣты были въ дорожное арестантское платье — въ полушубкахъ и валенкахъ. Крѣпостной офицеръ скромно помѣстился на стулѣ, недалеко отъ входа, и нисколько не стѣснялъ насъ. Ѳедоръ Михайловичъ прежде всего высказалъ свою радость брату, что онъ не пострадалъ вмѣстѣ съ другими, и съ теплой заботливостью разспрашивалъ его о семействѣ, о дѣтяхъ, входилъ въ самыя мелкія подробности о ихъ здоровьѣ и занятіяхъ. Во время нашего свиданія онъ обращался къ этому нѣсколько разъ. На вопросы о томъ, каково было содержаніе въ крѣпости, Достоевскій и Дуровъ съ особенной теплотою отозвались о комендантѣ, который постоянно заботился о нихъ и облегчалъ, чѣмъ только могъ, ихъ положеніе. Ни малѣйшей жалобы не высказали ни тотъ ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила ихъ и, конечно, въ это время они не предчувствовали, какъ она отзовется на ихъ здоровьѣ.

Когда Ѳедоръ Михайловичъ началъ говорить съ братомъ о семейныхъ дѣлахъ, Дуровъ разсказывалъ мнѣ, какъ онъ мало-по-малу свыкся съ казематомъ, особенно съ того времени, когда имъ стали присылать книги и журналы. При этомъ онъ высказалъ свои замѣчанія о сочи-

неніяхъ, которыя особенно почему-нибудь обратили его вниманіе. Если бы кто прислушался къ нашему разговору, то подумалъ бы, что мы видѣлись еще на-дняхъ, и у моего собесѣдника нѣтъ другихъ интересовъ, кромѣ политическихъ новостей и литературы. Передавая мнѣ небольшой листокъ почтовой бумаги, онъ сказалъ: „Это мои послѣдніе стихи... на-дняхъ написалъ въ казематѣ... возьмите на память... можетъ, когда-нибудь напечатаете". Вотъ это прекрасное стихотвореніе:

Когда пустынникъ Іоаннъ,
Окрѣпнувъ сердцемъ въ жизни строгой,
Пришелъ крестить на Іорданъ
Во имя истиннаго Бога,
Народъ толпой со всѣхъ сторонъ
Бѣжалъ, ища съ пророкомъ встрѣчи,
И былъ глубоко пораженъ
Святою жизнію Предтечи.
Онъ тяжкій поясъ надѣвалъ,
Во власяницу облекался,
Подъ изголовье камень клалъ,
Одной акридою питался...
И фарисеи, для того,
Чтобъ потушить восторгъ народный,
Твердили всюду про него
Съ усмѣшкой дерзкой и холодной:
„Не вѣрьте! видано-ль вовѣкъ,
Чтобъ кто-нибудь, какъ онъ, постился?
Нѣтъ, это лживый человѣкъ,
Въ немъ бѣсъ лукавый поселился!"
Но вотъ, Крестителю во слѣдъ,
Явился къ людямъ самъ Мессія,
Обѣтованный много лѣтъ
Черезъ пророчества святыя.
Сойдя съ небесъ спасти людей,
Къ завѣтной цѣли шелъ онъ прямо,
Во лжи корилъ учителей
И выгналъ торжниковъ изъ храма.
Онъ словомъ вѣру зажигалъ
Въ сердцахъ униженныхъ и черствыхъ,
Слѣпорожденныхъ исцѣлялъ
И воскрешалъ изъ гроба мертвыхъ;
Незримыхъ язвъ духовный врачъ,
Онъ не былъ глухъ къ мольбамъ злодѣя,
Услышанъ имъ Маріи плачъ
И вопль раскаянья Закхея...
И чтожъ? На площади опять
Учителя и фарисеи
Пришли израиля смущать
И зашипѣли словно змѣи:
„Бѣгите ложнаго Христа!
Пусть онъ слова теряетъ праздно:
Его крамольныя уста
Полны раздора и соблазна.
И какъ, взгляните, онъ живетъ?
Мірскимъ весь преданный заботамъ,
Онъ ѣстъ, онъ бражничаетъ, пьетъ
И исцѣляетъ по субботамъ.
Онъ кинулъ камень въ Божество,
Законъ отвергнулъ Моисеевъ,
И кто межъ насъ друзья его,
Окромѣ блудницъ и злодѣевъ!"

Смотря на прощанье братьевъ Достоевскихъ, всякій замѣтилъ бы, что изъ нихъ страдаетъ болѣе тотъ, который остается на свободѣ въ Петербургѣ, а не тотъ, кому сейчасъ предстоитъ ѣхать въ Сибирь на каторгу. Въ глазахъ старшаго брата стояли слезы, губы его дрожали, а Ѳедоръ Михайловичъ былъ спокоенъ и утѣшалъ его.

„Перестань же, братъ", говорилъ онъ, „ты знаешь меня, не въ гробъ же я уйду, не въ могилу провожаешь, — и въ каторгѣ не звѣри, а люди, можетъ, еще и лучше меня, можетъ, достойнѣе меня... Да мы еще увидимся, я надѣюсь на это, — я даже не сомнѣваюсь, что увидимся... А вы пишите, да, когда обживусь — книгъ присылайте, я напишу какихъ; вѣдь читать можно будетъ... А выйду изъ каторги — писать начну. Въ эти мѣсяцы я много пережилъ, въ себѣ-то самомъ много пережилъ, а тамъ впереди-то что увижу и переживу,—будетъ о чемъ писать"...

Можно было подумать, что этотъ человѣкъ смотрѣлъ на свою будущую каторгу, точно на какую-нибудь поѣздку за границу, гдѣ

ему предстоитъ любоваться красотами природы и памятниками искусства и знакомиться съ новыми, привлекательными людьми, при полной свободѣ и со всѣми средствами и удобствами путешественника. Онъ какъ-будто не думалъ о томъ, что долженъ провести четыре года въ „Мертвомъ домѣ", въ цѣпяхъ, вмѣстѣ съ людьми, выброшенными изъ общества за страшныя преступленія; а можетъ-быть его именно занимала какъ бы врожденная и всегда присущая ему мысль найти въ самыхъ низко падшихъ преступникахъ тѣ человѣческія черты, ту глубоко подъ пепломъ затаившуюся, но не погасшую искру огня Божія, которая живетъ, какъ онъ вѣрилъ, въ самомъ закоренѣломъ злодѣѣ и послѣднемъ отверженцѣ.

Болѣе получаса продолжалось наше свиданіе, но оно показалось намъ очень короткимъ, хотя мы много-много переговорили. Печально перезванивали колокольчики на крѣпостныхъ часахъ, когда вошелъ плацъ-майоръ и сказалъ, что намъ время разстаться. Въ послѣдній разъ обнялись мы и пожали другъ другу руки. Я не предчувствовалъ тогда, что съ Дуровымъ никогда уже болѣе не встрѣчусь, а Ѳ. М. Достоевскаго увижу только черезъ восемь лѣтъ. Мы поблагодарили М—я за его снисхожденіе, а онъ сказалъ намъ, что друзей нашихъ повезутъ черезъ часъ или даже раньше. Ихъ повели черезъ дворъ съ офицеромъ и двумя конвойными солдатами. Нѣсколько времени мы помедлили въ крѣпости, потомъ вышли и остановились у тѣхъ воротъ, откуда должны были выѣхать осужденные. Ночь была не холодная и свѣтлая. На крѣпостной колокольнѣ куранты проиграли девять часовъ, когда выѣхали двое ямскихъ саней, и на каждомъ сидѣлъ арестантъ съ жандармомъ.

— Прощайте!—крикнули мы.

— До свиданія! до свиданія!—отвѣчали намъ.

Милюковъ.

Достоевскій на каторгѣ.

Черезъ два дня послѣ экзекуціи на Семеновскомъ плацу, Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. До Тобольска его везли, а изъ этого города, заковавъ въ кандалы, отправили съ партіей арестантовъ пѣшкомъ. Въ Тобольскѣ его ждала встрѣча, о которой онъ впослѣдствіи вспоминалъ съ благодарностью. „Когда мы, въ ожиданіи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, жены декабристовъ умолили смотрителя острога и устроили въ квартирѣ его свиданіе съ нами... Свиданіе продолжалось часъ. Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждаго обдѣлили евангеліемъ — единственная книга, позволенная въ острогѣ. Четыре года пролежала она подъ моей подушкой въ каторгѣ. Я читалъ ее иногда и читалъ другимъ. По ней выучилъ читать одного каторжнаго". Свое пребываніе на каторгѣ Достоевскій художественно изобразилъ въ „Запискахъ изъ

мертваго дома", и хотя въ этомъ произведеніи правда соединяется съ художественнымъ вымысломъ, въ немъ есть черты, относящіяся лично къ Достоевскому. Таковъ, напримѣръ, его отзывъ о первыхъ впечатлѣніяхъ каторги: „Помню ясно, говоритъ онъ, что съ перваго шага въ этой жизни поразило меня то, что я какъ будто не нашелъ въ ней ничего особеннаго, поражающаго, необыкновеннаго, или, лучше сказать, неожиданнаго... мнѣ показалось, что въ острогѣ гораздо легче жить, чѣмъ я воображалъ себѣ дорогой... Самая работа показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы — не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная, изъ-подъ палки".

Достоевскій былъ включенъ во второй разрядъ, въ крѣпостяхъ, подъ военнымъ начальствомъ, разрядъ, который арестанты считали особенно тяжелымъ. „Тяжелъ онъ былъ не только для дворянъ, но и для всѣхъ арестантовъ, именно потому, что начальство и устройство этого разряда — все военное, очень похожее на арестантскія роты въ Россіи. Военное начальство строже, порядки тѣснѣе, всегда въ цѣпяхъ, всегда подъ конвоемъ, всегда подъ замкомъ; а этого нѣтъ въ такой силѣ въ первыхъ двухъ разрядахъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили всѣ наши арестанты, а между ними были знатоки дѣла". Что касается работъ, то Достоевскій признаетъ, что онъ чувствовалъ, что онѣ могутъ „спасти" его, „укрѣпить его здоровье, тѣло". „Постоянное душевное безпокойство, нервическое раздраженіе, спертый воздухъ казармы могли бы разрушить меня совершенно. Чаще быть на воздухѣ, каждый день уставать, пріучаться носить тяжести — и, по крайней мѣрѣ, я спасу себя, — думалъ я, — укрѣплю себя, выйду здоровый, бодрый, сильный, не старый. Я не ошибся: работа и движеніе были мнѣ очень полезны... Зато и доставалось же мнѣ сначала отъ каторжныхъ за любовь къ работѣ, и долго язвили они меня презрѣніемъ и насмѣшками". Достоевскій упоминаетъ о трехъ родахъ работъ, которыя ему поручались и которыя онъ уже любилъ: это были обжиганіе и толченіе алебастра, верченіе точильнаго колеса и разгребаніе снѣга. Тяжелою стороною каторги было отношеніе товарищей, такъ какъ въ нихъ Достоевскій видѣлъ нерасположеніе къ себѣ, какъ къ дворянину, и тотъ образъ, который представленъ Некрасовымъ въ поэмѣ „Несчастные", подъ именемъ „Крота" совсѣмъ не подходитъ къ Достоевскому, хотя Некрасовъ въ этомъ лицѣ имѣлъ въ виду именно изобразить вліяніе Достоевскаго на каторжниковъ: этого вліянія быть не могло, потому что каторжники чуждались Достоевскаго. „Мнѣ надо было, разсказываетъ онъ, почти два года прожить въ острогѣ, чтобы пріобрѣсть расположеніе нѣкоторыхъ изъ каторжныхъ". Каковы были отношенія къ Достоевскому острожнаго начальства, неизвѣстно. Правда, ходили слухи о жестокомъ съ нимъ обращеніи, бывшемъ будто бы причиною появленія у него эпилепсіи. Самъ Достоевскій никогда не говорилъ объ этомъ, а болѣзнь его могла развиться вообще отъ тяжелой обста-

новки, окружавшей его на каторгѣ, тѣмъ болѣе, что еще до ссылки въ Сибирь, по указанію доктора Яновскаго, Достоевскій страдалъ какою-то болѣзнью, которая „имѣла уже несомнѣнные признаки падучей, и по временамъ въ такой сильной степени, что угрожала серьезной опасностью жизни“.

Четыре года провелъ Достоевскій въ острогѣ, и послѣдній годъ былъ полонъ ожиданіемъ свободы. „Этотъ послѣдній годъ, разсказываетъ онъ, почти такъ же памятенъ мнѣ, какъ и первый, особенно самое послѣднее время въ острогѣ... Помню, что въ этотъ годъ, несмотря на все мое нетерпѣніе поскорѣй кончить срокъ, мнѣ было легче жить, чѣмъ во всѣ предыдущіе годы ссылки. Во-первыхъ, между арестантами у меня было уже много друзей и пріятелей, окончательно рѣшившихъ, что я хорошій человѣкъ... Были, однако, и личности суровыя и непривѣтливыя до конца, которымъ, кажется, тяжело было сказать со мной слово — Богъ знаетъ отчего. Казалось, между нами стояла какая-то перегородка. Въ послѣднее время я вообще имѣлъ больше льготъ, чѣмъ во все время каторги. Въ томъ городѣ между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сношенія. Черезъ нихъ я могъ имѣть больше денегъ, писать на родину, и даже могъ имѣть книги. Уже нѣсколько лѣтъ я не читалъ ни одной книги, и трудно отдать отчетъ о томъ странномъ и вмѣстѣ волнующемъ впечатлѣніи, которое произвела во мнѣ первая прочитанная мною въ острогѣ книга. Помню, я началъ читать съ вечера, когда заперли казарму, и прочиталъ всю ночь до зари. Это былъ номеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ; прежняя жизнь вся ярко и свѣтло возстала передо мной, и я старался угадать по прочитанному: много ль я отсталъ отъ этой жизни? Много ль прожили они тамъ безъ меня, что ихъ теперь волнуетъ, какіе вопросы ихъ теперь занимаютъ? Я придирался къ словамъ, читалъ между строчками, старался находить таинственный смыслъ, намеки на прежнее: отыскивалъ слѣды того, что прежде, въ мое время, волновало людей, и какъ грустно мнѣ было теперь на дѣлѣ сознать, до какой степени я былъ чужой въ новой жизни, сталъ ломтемъ стрѣзаннымъ. Надо было привыкать къ новому, знакомиться съ новымъ поколѣніемъ. Особенно бросался я на статью, подъ которой находилъ имя знакомаго, близкаго прежде человѣка... Но уже звучали новыя имена: явились новые дѣятели, и я съ жадностью спѣшилъ съ ними знакомиться и досадовалъ, что у меня такъ мало книгъ въ виду и что такъ трудно добиться до нихъ... Поступилъ я въ острогъ зимой и зимой же долженъ былъ выйти на волю, въ то самое число мѣсяца, въ которое прибылъ. Съ какимъ нетерпѣніемъ я ждалъ зимы, съ какимъ наслажденіемъ смотрѣлъ въ концѣ лѣта, какъ вянетъ листъ на деревѣ и блекнетъ трава въ степи... Сердце мое начинало подчасъ глухо и крѣпко биться отъ великаго предчувствія свободы. Но странное дѣло: чѣмъ больше истекало время и чѣмъ ближе подходилъ срокъ, тѣмъ терпѣливѣе и терпѣливѣе я становился. Около самыхъ послѣднихъ

дней я даже удивился и попрекнулъ себя: мнѣ показалось, что я сталъ совершенно хладнокровенъ и равнодушенъ". Наконецъ, пришелъ и давно жданный день освобожденія. Наканунѣ Достоевскій „обошелъ въ послѣдній разъ около паль весь острогъ", а на утро сталъ прощаться со всѣми арестантами. Много мозолистыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мнѣ привѣтливо. Иные жали ихъ совсѣмъ по-товарищески, но такихъ было немного. Другіе ужъ очень хорошо понимали, что я сейчасъ стану совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ они. Знали, что у меня въ городѣ есть знакомство, что я тотчасъ же отправлюсь отсюда къ *господамъ* и рядомъ сяду съ этими господами, какъ равный. Они это понимали и прощались со мной, хоть и привѣтливо, хоть и ласково, но далеко не такъ, какъ съ товарищемъ. Иные отвертывались отъ меня и сурово не отвѣчали на мое прощаніе. Нѣкоторые посмотрѣли даже съ какою-то ненавистью".

Этотъ выходъ изъ Омскаго крѣпостного острога совершился въ февралѣ или въ самомъ началѣ марта 1854 г., такъ какъ въ билетѣ Достоевскаго обозначено, что онъ, по окончаніи срока каторги, зачисленъ рядовымъ 1854 г. марта 2-го, съ опредѣленіемъ въ сибирскій линейный № 7 баталіонъ, который стоялъ въ Семипалатинскѣ. Какъ видно изъ перваго дошедшаго до насъ письма Достоевскаго послѣ выхода изъ каторги (отъ 30 іюля 1854 г. къ брату), служба для него была тоже не особенно легка. „Пріѣхалъ я сюда", сообщаетъ онъ, „въ мартѣ мѣсяцѣ. Фронтовой службы почти не зналъ ничего и между тѣмъ въ іюлѣ мѣсяцѣ стоялъ на смотру на ряду съ другими и зналъ свое дѣло не хуже другихъ. Какъ я уставалъ и чего это мнѣ стоило — другой вопросъ; но мною довольны, и слава Богу!.. Какъ ни чуждо все это тебѣ, но, я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всѣми обязанностями солдата не совсѣмъ-то легка для человѣка съ такимъ здоровьемъ и съ такой отвычкой или, лучше сказать, съ такимъ полнымъ ничегонезнаніемъ въ подобныхъ занятіяхъ. Чтобъ пріобрѣсти этотъ навыкъ, надо много трудовъ. Я не ропщу: это мой крестъ, и я его заслужилъ". Это смиреніе, выражающееся въ послѣднихъ словахъ, показываетъ, что въ Достоевскомъ совершился какой-то переломъ, что въ его душѣ, по его словамъ, кое-что „завяло, выбросилось вонъ вмѣстѣ съ плевелами", что „каторга много вывела" изъ него.

Этотъ переломъ, по его объясненію, произошелъ въ немъ потому, что онъ и во время увлеченія соціализмомъ былъ „по сердцу русскимъ", какъ онъ говоритъ въ письмѣ А. Н. Майкову отъ 18 января 1856 г. „Можетъ быть, пишетъ онъ здѣсь, васъ смущалъ и смущалъ еще недавно наплывъ французскихъ идей въ ту часть общества, которая мыслитъ, чувствуетъ и изучаетъ? Тутъ была и исключительность, правда, но всякая исключительность по натурѣ своей вызываетъ противоположность. Но согласитесь сами, что всѣ здравомыслящіе, т.-е. тѣ, которые даютъ тонъ всему, смотрѣли на французскія идеи со стороны научной,—не болѣе, и сами, можетъ быть, даже преданные исключи-

тельности были всегда русскими. Увѣряю васъ, что я, напримѣръ, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это былъ русскій народъ, мои братья по несчастью, и я имѣлъ счастье отыскать не разъ даже въ душѣ разбойника великодушіе, потому собственно, что могъ понять его; ибо былъ самъ русскій. Несчастіе мое дало мнѣ многое узнать практически, можетъ-быть, много вліянія имѣла на меня эта практика, но я узналъ практически и то, что я всегда былъ русскимъ по сердцу".

Въ каторгѣ Достоевскій призналъ свои прежнія стремленія, сведшія его съ Петрашевскимъ, вреднымъ заблужденіемъ, за которое „осудилъ бы народъ". Понятно, что при такой славянофильской окраскѣ его новыхъ воззрѣній онъ долженъ былъ рѣзко отрицательно смотрѣть на свои прежнія стремленія, которыя сближали его съ развившимся уже издавна освободительнымъ движеніемъ русской интеллигенціи, и вполнѣ естественно протестовалъ, когда одинъ изъ его пріятелей сказалъ ему, что его ссылка была дѣломъ несправедливымъ. „Нѣтъ, коротко, какъ всегда, обрѣзалъ Достоевскій, — нѣтъ, справедливое. Насъ бы осудилъ народъ. Это я почувствовалъ тамъ только, въ каторгѣ. И почемъ вы знаете — можетъ-быть, тамъ наверху, т.-е. Самому Высшему нужно было меня привести въ каторгу, чтобы я тамъ что-нибудь узналъ, т.-е. узналъ *самое главное*, безъ чего нельзя жить, иначе люди съѣдятъ другъ друга, съ ихъ матеріальнымъ развитіемъ: ну съ, и чтобы это *самое главное* я вынесъ оттуда, потому что оно пока скрывается только въ народѣ, хоть онъ гадокъ, воръ, убійца, пьяница; такъ чтобы я вынесъ это оттуда и другимъ сообщилъ, и чтобъ другіе (хоть не всѣ, хоть очень немногіе) лучше стали хоть на крошечку — хоть частичку бы приняли, хоть бы поняли, что въ бездну стремятся, и этого довольно. И этого ужъ много. И изъ-за этого, стоило пойти на каторгу". Въ этихъ словахъ, въ этомъ признаніи необходимости нашей интеллигенціи учиться у народа, который обладаетъ *самымъ главнымъ*, уже есть источникъ мессіанистическаго взгляда Достоевскаго на Россію, какъ на страну съ высокимъ историческимъ призваніемъ, которая должна разрѣшить важнѣйшіе соціальные и политическіе вопросы мірового развитія; этотъ взглядъ обнаруживается хотя бы въ слѣдующей фразѣ того же письма къ Майкову: „я раздѣляю съ вами идею, что Европу и назначеніе ея окончитъ Россія. Для меня это давно было ясно". *Бороздинъ.*

Ѳ. М. Достоевскій по возвращеніи изъ ссылки.

Извѣстно, что въ ряду милостей, какими ознаменовано начало царствованія императора Александра Николаевича, было прощеніе всѣхъ пострадавшихъ по дѣлу М. В. Буташевича-Петрашевскаго. Царская милость застала однихъ въ каторжныхъ работахъ въ разныхъ мѣстахъ Сибири, другихъ на поселеніи или въ военной службѣ

въ сибирскихъ баталіонахъ и на Кавказѣ. Всѣ поспѣшили воспользоваться дарованной свободой и мало-по-малу возвратились изъ ссылки, кромѣ П. Н. Филипова, тяжело раненнаго при штурмѣ Карса и умершаго въ александропольскомъ госпиталѣ, и Петрашевскаго, который отказался отъ помилованія, требуя пересмотра своего дѣла, и остался въ восточной Сибири. Но не для всѣхъ освобожденныхъ каторжная жизнь прошла безслѣдно: нѣкоторые поплатились за нее здоровьемъ. Больше другихъ пострадалъ С. Ѳ. Дуровъ, сосланный, какъ я уже говорилъ, вмѣстѣ съ Ѳ. М. Достоевскимъ въ Омскъ. Кто читалъ „Записки изъ Мертваго дома", тотъ знаетъ, при какихъ условіяхъ должны были провести четыре года молодые люди, незнакомые до тѣхъ поръ ни съ нуждой ни съ принудительной работой. Какое нужно было здоровье и запасъ нравственныхъ силъ, чтобы вынести переходъ отъ жизни въ развитомъ кружкѣ столичнаго общества къ страшному быту каторжнаго острога! Люди, посвятившіе себя литературѣ, страстные любители театра и музыки, одинъ даровитый поэтъ, другой высокоталантливый романистъ — вдругъ брошены были въ смрадную арестантскую казарму, въ толпу представителей всевозможныхъ пороковъ и преступленій, оторванные отъ всего, что было дорого для нихъ въ божьемъ мірѣ, и лишенные всякой умственной пищи. Какъ мучительна была для нихъ одна мысль о томъ, что придется надолго оставить литературныя занятія, видно изъ письма Достоевскаго къ брату изъ Петропавловской крѣпости, писаннаго 22-го декабря, по возвращеніи съ эшафота. Говоря о предстоящей каторгѣ, онъ пишетъ: „лучше пятнадцать лѣтъ въ казематѣ съ перомъ въ рукѣ", и при этомъ прибавляетъ: „та голова, которая создавала, жила высшею жизнію искусства, которая свыклась съ возвышенными потребностями духа, та голова уже срѣзана съ плечъ моихъ"[1]).

Дуровъ не выдержалъ тяжести арестантской жизни. „Онъ гасъ въ острогѣ, какъ свѣчка" говоритъ Ѳ. М. Достоевскій въ „Запискахъ изъ Мертваго дома"; „вошелъ онъ въ него вмѣстѣ со мною, еще молодой, красивый, добрый, а вышелъ полуразрушенный, сѣдой, безъ ногъ, съ одышкой". По возвращеніи изъ Сибири, онъ послѣдніе годы жизни провелъ у А. И. Пальма больнымъ и разслабленнымъ калѣкой. При извѣстіи о томъ, что онъ ѣдетъ въ южную Россію А. Н. Плещеевъ писалъ ему:

Уѣдешь ты на теплый югъ,
И гдѣ лазурью блещетъ море —
Тебя покинетъ злой недугъ,
Покинетъ сердце злое горе.
Тамъ отдохнетъ въ семьѣ друзей
Душа, извѣдавшая муки,
И пѣсенъ, выстраданныхъ ей,
Къ намъ долетятъ святые звуки.
Господь тебя благослови
За годы долгіе несчастья,
И тихой радостью любви,
И дружбы ласковымъ участьемъ.

Но теплое участіе и постоянная заботливость А. И. Пальма не могли уже сохранить разбитой жизни несчастнаго.

---

[1]) Письмо это хранится у Анны Григорьевны Достоевской.

Ѳ. М. Достоевскій, благодаря своей энергіи и никогда не покидавшей его вѣрѣ въ лучшую судьбу, счастливѣе перенесъ тяжкое испытаніе каторжной жизни, хотя она отразилась и на его здоровьѣ. Если и до ссылки у него были, какъ говорятъ, припадки падучей болѣзни, то, безъ сомнѣнія, слабые и рѣдкіе. По крайней мѣрѣ, до возвращенія его изъ Сибири я не подозрѣвалъ этого, но, когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, болѣзнь его не была ужа тайною ни для кого изъ близкихъ къ нему людей. Оно говорилъ однажды, что здоровье Дурова особенно пошатнулось съ тѣхъ поръ, когда осенью посылали ихъ разбирать на рѣкѣ старую барку, при чемъ иные арестанты стояли по колѣни въ водѣ. Можетъ быть, это подѣйствовало и на его здоровье и ускорило развитіе болѣзни до той степени, въ какой она обнаружилась впослѣдствіи.

Въ первое время послѣ помилованія, Достоевскому разрѣшено было жить только въ провинціи, и онъ поселился въ Твери, чтобы быть ближе къ роднымъ, изъ которыхъ одни жили въ Петербургѣ, а другіе въ Москвѣ. Братъ получилъ отъ него письмо, и тотчасъ же поѣхалъ повидаться съ нимъ. Въ это время Ѳедоръ Михайловичъ былъ уже человѣкомъ семейнымъ: онъ женился въ Сибири, на вдовѣ Маріи Дмитріевнѣ Исаевой, которая умерла потомъ отъ чахотки, если не ошибаюсь, въ 1863 г. Дѣтей отъ этого брака у него не было, но на его попеченіи остался пасынокъ. Въ Твери Достоевскій прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ. Онъ готовился возобновить свою литературную дѣятельность, прерванную каторгой, и много читалъ. Мы посылали ему журналы и книги. Между прочимъ, по просьбѣ его, я отправилъ къ нему „Псалтырь“ на славянскомъ языкѣ, „Коранъ“ во французскомъ переводѣ Казимирскаго и „Les romans de Voltaire“. Онъ говорилъ потомъ, что задумывалъ какое-то философское сочиненіе, но послѣ внимательнаго обсужденія отказался отъ этой мысли.

Въ это время у М. М. Достоевскаго была собственная табачная фабрика, и дѣло шло недурно: его папиросы съ сюрпризами расходились по всей Россіи. Но занятія по фабрикѣ не отвлекали его однакоже отъ литературы. Между прочимъ, по моей просьбѣ онъ перевелъ романъ Виктора Гюго „Le dernier jour d'un condamné“ для журнала „Свѣточъ“, который я тогда редактировалъ вмѣстѣ съ издателемъ, Д. И. Калиновскимъ. Однажды Михаилъ Михайловичъ пришелъ ко мнѣ утромъ съ радостною вѣстью, что брату его разрѣшено жить въ Петербургѣ, и онъ долженъ пріѣхать въ тотъ же день. Мы поспѣшили на вокзалъ Николаевской желѣзной дороги, и тамъ, наконецъ, я обнялъ нашего изгнанника послѣ десятилѣтней почти разлуки. Вечеръ провели мы вмѣстѣ. Ѳедоръ Михайловичъ, какъ мнѣ показалось, не измѣнился физически: онъ даже какъ-будто смотрѣлъ бодрѣе прежняго и не утратилъ нисколько своей обычной энергіи. Не помню, кто изъ общихъ знакомыхъ былъ на этомъ вечерѣ, но у меня осталось въ памяти, что при этомъ первомъ свиданіи мы обмѣнивались только новостями и впечатлѣніями и вспоминали старые годы и на-

шихъ общихъ друзей. Послѣ того видались мы почти каждую недѣлю Бесѣды наши въ новомъ небольшомъ кружкѣ пріятелей во многомъ. уже не походили на тѣ, какія бывали въ Дуровскомъ обществѣ. И могло ли быть иначе? Западная Европа и Россія въ эти десять лѣтъ какъ-будто помѣнялись ролями: тамъ разлетѣлись впрахъ увлекавшія насъ прежде гуманныя утопіи, и реакція во всемъ торжествовала, а здѣсь начинало осуществляться многое, о чемъ мы мечтали, и готовились или совершались реформы, обновлявшія русскую жизнь и порождавшія новыя надежды. Понятно, что въ бесѣдахъ нашихъ не было уже прежняго пессимизма.

Мало-по-малу Ѳедоръ Михайловичъ началъ разсказывать подробности о своей жизни въ Сибири и нравахъ тѣхъ отверженцевъ, съ которыми пришлось ему прожить четыре года въ каторжномъ острогѣ. Бо́льшая часть этихъ разсказовъ вошла потомъ въ его „Записки изъ Мертваго дома". Сочиненіе это выходило при обстоятельствахъ довольно благопріятныхъ: въ цензурѣ вѣялъ уже въ то время духъ терпимости, и въ литературѣ появились произведенія, какія недавно еще были немыслимы въ печати. Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжныхъ, мрачная канва всѣхъ этихъ разсказовъ о страшныхъ злодѣяхъ и, наконецъ, то, что самъ авторъ былъ только-что возвращенный политическій преступникъ, смущало нѣсколько цензуру; но это однакожъ не заставило Достоевскаго уклониться въ чемъ-нибудь отъ правды. И „Записки изъ Мертваго дома" производили потрясающее впечатлѣніе: въ авторѣ ихъ видѣли какъ бы новаго Данта, который спускался въ адъ тѣмъ болѣе ужасный, что онъ существовалъ не въ воображеніи поэта, а въ дѣйствительности. По условіямъ тогдашней цензуры Ѳедоръ Михайловичъ принужденъ только былъ выбросить изъ своего сочиненія эпизодъ о ссыльныхъ полякахъ и политическихъ арестантахъ. Онъ передавалъ намъ по этому предмету не мало интересныхъ подробностей. Кромѣ того, я помню еще одинъ разсказъ его, который тоже не вошелъ въ „Записки", вѣроятно по тѣмъ же цензурнымъ соображеніямъ, такъ какъ затрогивалъ щекотливый въ то время вопросъ о злоупотребленіяхъ крѣпостного права. Какъ теперь помню, что однажды на вечерѣ у брата, вспоминая свою острожную жизнь, Достоевскій разсказалъ этотъ эпизодъ съ такой страшной правдою и энергіею, какія никогда не забываются. Надобно было слышать при этомъ выразительный голосъ разсказчика, видѣть его живую мимику, чтобы понять, какое онъ произвелъ на насъ впечатлѣніе. Постараюсь передать этотъ разсказъ, какъ помню и умѣю.

Въ казармѣ нашей, говорилъ Ѳедоръ Михайловичъ, былъ одинъ молодой арестантъ, смирный, молчаливый и несообщительный. Долго я не сходился съ нимъ, не зналъ, давно ли онъ въ каторгѣ и за что попалъ въ особый разрядъ, гдѣ числились осужденные за самыя тяжкія преступленія. У острожнаго начальства былъ онъ по поведенію на хорошемъ счету, и сами арестанты любили его за кротость и услуж-

ливость. Мало-по-малу мы сблизились съ нимъ, и однажды по возвращеніи съ работы онъ разсказалъ мнѣ исторію своей ссылки. Онъ былъ крѣпостной крестьянинъ одной изъ подмосковныхъ губерній, и вотъ какъ попалъ въ Сибирь.

— Село наше, Ѳедоръ Михайловичъ, разсказывалъ онъ, не маленькое и зажиточное. Баринъ у насъ былъ вдовецъ, не старый еще, не то чтобы очень злой, а безтолковый и на счетъ женскаго пола распутный. Не любили его у насъ. Ну, вотъ надумалъ я жениться: хозяйка была нужна, да и дѣвка одна полюбилась. Поладили мы съ ней, дозволеніе барское вышло и повѣнчали насъ. А какъ отъ вѣнца-то вышли мы съ невѣстой да идучи домой поровнялись съ господской усадьбой, выбѣжало дворовыхъ никакъ человѣкъ шесть или семь, подхватили мою молодую жену подъ руки да на барскій дворъ и потащили. Я рванулся было за ней, а на меня набросились людишки-то; кричу, бьюсь, а мнѣ руки кушаками вяжутъ. Не подъ силу было вырваться. Ну, жену-то уволокли, а меня къ избѣ нашей потащили да связаннаго какъ есть на лавку бросили и двоихъ караульныхъ поставили. Всю ночь я прометался, а позднимъ утромъ привели молодую и меня развязали. Поднялся я, а баба-то припала къ столу — плачетъ, тоскуетъ. „Что, говорю, убиваться-то: не сама себя потеряла!“ И вотъ съ самаго этого дня задумалъ я, какъ мнѣ барина за ласку къ женѣ отблагодарить. Отточилъ это я въ сараѣ топоръ, такъ что хоть хлѣбы рѣжь, и приладилъ носить его, чтобы не въ примѣту было. Можетъ иные мужики, видя какъ я шатался около усадьбы, и подумали, что замышляю что-нибудь, да кому дѣло: больно не любили у насъ барина-то. Только долго не удавалось мнѣ подстеречь его: то съ гостями бывало онъ хороводится, то лакеешки около него... все несподручно было. А у меня словно камень на сердцѣ, что не могу я ему отплатить за надругательство: пуще всего горько мнѣ было смотрѣть, какъ жена-то тоскуетъ. Ну, вотъ иду я какъ-то подъ вечеръ позади господскаго сада, смотрю, а баринъ по дорожкѣ одинъ прохаживается, меня не примѣчаетъ. Заборъ садовый былъ невысокій, рѣшетчатый изъ балясинъ. Далъ я барину-то немного пройти да тихимъ манеромъ и махнулъ черезъ загородку. Вынулъ топоръ я, да съ дорожки на траву, чтобы загодя не услыхалъ, и по травѣ-то крадучись, пошелъ за нимъ шагать. Совсѣмъ ужъ близко подошелъ я, и забралъ топоръ-то въ обѣ руки. А хотѣлось мнѣ, чтобъ баринъ увидалъ, кто къ нему за кровью пришелъ, ну, я нарочно и кашлянулъ. Онъ повернулся, призналъ меня, а я прыгнулъ къ нему да топоромъ его прямо по самой головѣ... трахъ! Вотъ молъ тебѣ за любовь... Такъ это мозги-то съ кровью и прыснули... упалъ и не вздохнулъ. А я пошелъ въ контору и объявился, что такъ и такъ молъ. Ну, взяли меня, отшлепали, да на двѣнадцать лѣтъ сюда и порѣшили.

— Но вѣдь вы въ особомъ разрядѣ, безъ срока?

— А это, Ѳедоръ Михайловичъ, по другому ужъ дѣлу въ безсрочную-то каторгу меня сослали.

— По какому же дѣлу?

— Капитана я порѣшилъ.

— Какого капитана?

— Этапнаго смотрителя. Видно ему такъ на роду было написано. Шелъ я въ партіи, на другое лѣто послѣ того, какъ съ бариномъ-то покончилъ. Было это въ Пермской губерніи. Партія угонялась большая. День выдался жаркій-прежаркій, а переходъ отъ этапа до этапа большой былъ. Смаяло насъ на солнопекѣ, до смерти всѣ устали: солдаты-то конвойные чуть ноги двигали, а намъ съ непривычки въ цѣпяхъ страсть было жутко. Народъ же не весь крѣпкій былъ, иные почитай старики. У другихъ весь день корки хлѣба во рту не было: переходъ такой вышелъ, что подаянія-то дорогой не ломтя не подали, только мы раза два воды попили. Ужъ какъ добрались, Господь знаетъ. Ну, вошли мы на этапный дворъ, да иные такъ и полегли. Я, нельзя сказать, чтобъ обезсилѣлъ, а только очень ѣсть хотѣлось. Въ эту пору на этапахъ, какъ партія подойдетъ, обѣдать даютъ арестантамъ; а тутъ смотримъ — никакого еще распоряженія нѣтъ. И начали арестантики-то говорить: что же молъ это насъ не покормятъ; мочи нѣтъ отощали, кто сидитъ, кто лежитъ, а намъ куска не бросятъ. Обидно мнѣ это показалось: самъ я голоденъ, а стариковъ-то слабосильныхъ еще больше жаль. — Скоро ли, спрашиваемъ этапныхъ солдатъ, пообѣдать-то дадутъ? — Ждите, говорятъ, еще приказа отъ начальства не вышло. Ну, разсудите, Ѳедоръ Михайлычъ, каково это было слышать: справедливо что ли? Идетъ по двору писарь, я ему и говорю: для чего же намъ обѣдать не велятъ? — Дожидайся, говоритъ, не помрешь. — Да какъ же, говорю я: видите, люди измучились, чай знаете какой переходъ-то былъ на этакомъ жару... покормите скорѣе. — Нельзя, говоритъ: у капитана гости, завтракаетъ, вотъ встанетъ отъ стола и отдастъ приказъ. — Да скоро ли это будетъ? — А до сыта покушаетъ, въ зубахъ поковыряетъ, такъ и выйдетъ. — Что же это, говорю, за порядки: самъ прохлаждается, а мы съ голоду околѣвай! — Да ты, говоритъ писарь-то, что кричишь? — Я молъ не кричу, а насчетъ того сказываю, что немочные у насъ есть, чуть ноги двигаютъ. — Да ты, говоритъ, буянишь и другихъ бунтуешь; вотъ пойду капитану скажу. — Я, говорю, не буяню, а капитану какъ хочешь рапортуй. Тутъ, слыша разговоръ нашъ, иные изъ арестантовъ тоже стали ворчать, да кто-то ругнулъ и начальство. Писарь-то и обозлился. — Ты, говоритъ мнѣ, бунтовщикъ; вотъ капитанъ съ тобой справится. И пошелъ. Зло меня такое взяло, что и сказать не могу; чуялъ я, что дѣло не обойдется безъ грѣха. Былъ у меня въ ту пору ножъ складной, подъ Нижнимъ у арестанта на рубашку вымѣнялъ. И не помню теперь, какъ я досталъ его изъ-за пазухи и сунулъ въ рукавъ. Смотримъ — выходитъ изъ казармы офицеръ, красный такой съ рожи-то, глаза словно выскочить хотятъ, надо быть выпилъ. А писаришка-то за нимъ. — Гдѣ бунтовщикъ? крикнулъ капитанъ, да прямо ко мнѣ. Ты что бунтуешь? А? — Я, говорю, не бунтую, ваше благородіе, а только о людяхъ печалюсь, для того морить голодомъ ни отъ Вога

ни отъ царя не показано. Какъ зарычитъ онъ: — ахъ, ты такой-сякой! — я тебѣ покажу, какъ показано съ разбойниками управляться. Позвать солдатъ! А я это ножъ-то въ рукавѣ прилаживаю да изноровляюсь. — Я тебя, говоритъ, научу! — Нечего, молъ, ваше благородіе, ученаго учить; я и безъ науки себя понимаю. Это ужъ я ему на зло сказалъ, чтобы онъ пуще обозлился да поближе ко мнѣ подошелъ... не стерпитъ, думаю. Ну, и не стерпѣлъ онъ: сжалъ кулаки и ко мнѣ, а я этакъ немного подался, да какъ сигну впередъ и ножемъ-то его снизу животъ почитай до самой глотки такъ и пропоролъ. Повалился, словно колода. Что дѣлать? неправда-то его къ арестантамъ больно ужъ меня обозлила. Вотъ за этого самаго капитана и попалъ я, Ѳедоръ Михайлычъ, въ особый разрядъ въ вѣчные.

Все это, по словамъ Достоевскаго, арестантъ разсказывалъ съ такой простотой и спокойствіемъ, какъ будто рѣчь шла о какомъ-нибудь срубленномъ въ лѣсу гниломъ деревѣ. Онъ не фанфаронилъ своимъ преступленіемъ, не оправдывался въ немъ, а передавалъ это точно какой-нибудь обыденный случай. Между тѣмъ это былъ одинъ изъ самыхъ смирныхъ арестантовъ во всемъ острогѣ. Въ „Запискахъ изъ Мертваго дома“ есть нѣсколько похожій на это эпизодъ объ убійствѣ этапнаго маіора; но разсказъ, приведенный мною, я слышалъ отъ Ѳедора Михайловича лично и передаю, если не совсѣмъ его словами. то во всякомъ случаѣ близко, потому что онъ тогда сильно поразилъ меня и живо остался въ моей памяти. Можетъ быть, кто-нибудь изъ нашихъ общихъ знакомыхъ помнитъ его.

Изъ всѣхъ разсказовъ Достоевскаго о его житьѣ въ каторгѣ можно было видѣть, какое онъ вынесъ оттуда впечатлѣніе. Если прежде своей ссылки онъ особенно любилъ подмѣчать теплое чувство и симпатичныя черты въ бѣдной и приниженной средѣ, то теперь, кажется, еще внимательнѣе всматривался въ людей, отверженныхъ обществомъ, и старался отыскать въ нихъ ту искру божію, о которой говорилъ въ своихъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ. Вспоминая о преступникахъ, какихъ ему пришлось видѣть въ каторжномъ острогѣ, онъ не относился къ нимъ съ брезгливостью и презрѣніемъ человѣка, который по образованію стоялъ неизмѣримо выше ихъ, а старался найти какую-нибудь человѣческую черту въ самомъ ожесточенномъ сердцѣ. Съ другой стороны, онъ не жаловался никогда на свою собственную судьбу, ни на суровость суда и приговора ни на загубленные цвѣтущіе годы своей молодости. Правда, и отъ другихъ возвратившихся изъ каторги „петрашевцевъ“ мнѣ не случалось слышать рѣзкихъ жалобъ, но у нихъ это, кажется, происходило отъ присущаго русскому человѣку свойства не помнить зла; у Достоевскаго же соединялось еще какъ будто съ чувствомъ благодарности къ судьбѣ, которая дала ему возможность въ ссылкѣ не только хорошо узнать русскаго человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и лучше понять самого себя. О долгихъ лишеніяхъ въ острогѣ говорилъ онъ неохотно и только съ горечью вспоминалъ о своемъ отчужденіи отъ литературы, но и тутъ прибавлялъ, что, читая по необходимости одну библію, онъ яснѣе и глубже могъ понять смыслъ христіанства.

Съ начала шестидесятыхъ годовъ возобновляется литературная дѣятельность Ѳ. М. Достоевскаго, прерванная болѣе чѣмъ на десять лѣтъ его ссылкою. Еще въ сентябрѣ 1860 г., извѣщая меня о готовности быть крестнымъ отцомъ моего сына, онъ пишетъ между прочимъ: „приступаю къ писанію и не знаю, что еще будетъ, но рѣшаюсь работать, не разгибая шеи". И дѣйствительно, онъ принялся за литературную работу съ усиленной энергіей. Кромѣ того, что онъ принялъ дѣятельное участіе въ журналѣ „Время", который вскорѣ послѣ того былъ основанъ его братомъ; явились одинъ за другимъ романы его: „Дядюшкинъ сонъ", „Село Степанчиково", „Униженные и оскорбленные", задуманные еще въ Сибири или въ Твери. Читающая публика вспомнила автора „Бѣдныхъ людей", а „Записки изъ Мертваго дома" приковали къ нему вниманіе всего образованнаго общества. Между тѣмъ съ самаго пріѣзда въ Петербургъ онъ началъ мечтать о поѣздкѣ за границу, но это было затруднительно, такъ какъ онъ состоялъ подъ надзоромъ полиціи и Третье отдѣленіе не разрѣшало выдачу ему паспорта. Цѣлые два года онъ напрасно хлопоталъ, чтобы сняли съ него это тяжелое veto. Наконецъ, благодаря участію нашего добраго знакомаго Н. И. Г—о у котораго были вліятельныя связи, вожделѣнное дозволеніе было получено, и въ 1862 г. Ѳедоръ Михайловичъ уѣхалъ за границу. Поѣздка эта, какъ потомъ оказалось, не столько поправила его здоровье, сколько оживила нравственно и повліяла на его убѣжденія. При личномъ знакомствѣ съ европейскимъ бытомъ, послѣднія симпатіи его къ такъ называемому западному направленію ослабѣли, вѣра въ необходимость самобытнаго развитія русской жизни укрѣпилась, и онъ воротился почти славянофиломъ. Его ждали новыя невзгоды.

Журналъ „Время" былъ неожиданно запрещенъ за нѣсколько невинныхъ и неправильно истолкованныхъ страницъ о польскомъ вопросѣ. Это такъ поразило М. М. Достоевскаго, который употребилъ на изданіе всѣ свои средства, что здоровье его сильно пошатнулось. Хотя ему скоро и разрѣшено было возобновить журналъ подъ новымъ названіемъ „Эпоха", но катастрофа съ первымъ изданіемъ и сомнительная надежда на успѣхъ второго постоянно мучили его, и онъ умеръ лѣтомъ 1864 г. въ Павловскѣ. Смерть брата поставила Ѳедора Михайловича въ затруднительное положеніе. Рѣшась продолжать журналъ подъ своей редакціей, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ на себя и всѣ долги, какія были на изданіи. Дѣло не пошло: громкое литературное имя редактора не могло уже поддержать журнала, который при всей своей благонамѣренности подвергался ужасному надзору и, кромѣ того, по самостоятельности своего направленія, встрѣтилъ недоброжелательное противодѣйствіе въ особенно авторитетныхъ тогда литературныхъ органахъ. Достоевскій не могъ долго бороться съ враждебной кликой и принужденъ былъ прекратить изданіе. Уплативъ часть своихъ и братниныхъ долговъ изъ небольшаго наслѣдства, полученнаго послѣ одной близкой родственницы, онъ въ началѣ 1865 г. снова уѣхалъ за границу отдохнуть отъ пережитыхъ имъ тревогъ.

Средства его на этотъ разъ были такъ ограниченны, что онъ могъ взять съ собой только сорокъ два полуимперіаловъ, да обѣщаніе редакціи „Библіотеки для Чтенія“ высылать ему по пятидесяти рублей въ мѣсяцъ въ счетъ гонорара за повѣсть или другую литературную работу, которую онъ обязывался прислать осенью. Но денегъ этихъ ему не высылали, и въ началѣ сентября Ѳедоръ Михайловичъ очутился въ Висбаденѣ безъ всякихъ средствъ. „Сижу въ отелѣ“, писалъ онъ мнѣ, „кругомъ долженъ и мнѣ грозятъ; денегъ ни гроша“. При этомъ онъ сообщаетъ, что сюжетъ, задуманной имъ литературной работы, „расширился и разбогатѣлъ“, и проситъ „запродать повѣсть хоть куда бы ни было, но только съ условіемъ выслать немедленно 300 рублей“. О содержаніи повѣсти онъ не говоритъ, но замѣчаетъ только: „вѣдь на нее вниманіе обратятъ, заговорятъ... въ этомъ родѣ ничего у насъ никогда не было; за оригинальность ручаюсь, да и за занимательность тоже“. Я не могу теперь сказать утвердительно, надъ какимъ именно работалъ онъ тогда сочиненіемъ, но, кажется, это былъ его знаменитый романъ „Преступленіе и наказаніе“.

Я тотчасъ же отправился съ его письмомъ въ редакцію „Библіотеки для Чтенія“, куда прежде всего просилъ онъ адресоваться. Тамъ мнѣ сказали, что дѣла журнала идутъ весьма дурно, почему и прежде не могли высылать Достоевскому денегъ и теперь не могутъ исполнить его просьбы, не зная навѣрное, будетъ ли продолжаться изданіе въ будущемъ году. Послѣ того былъ я въ редакціи „Современника“, куда Ѳедоръ Михайловичъ просилъ меня обратиться, если встрѣчу неудачу въ „Библіотекѣ“. Но тутъ съ первыхъ словъ меня отразили замѣчаніемъ, что не желаютъ вовсе принимать сочиненій того, кто бросалъ камешки въ Чернышевскаго. Подъ этими камешками, конечно, разумѣлись полемическія замѣтки, которыя печатались въ „Эпохѣ“, когда ею завѣдовалъ Ѳедоръ Михайловичъ. Оставалась послѣдняя надежда на „Отечественныя Записки“, съ редакціей которыхъ я былъ давно уже знакомъ. И здѣсь однако не удалось мнѣ ничего сдѣлать. На другой день послѣ моего визита, мнѣ написали отъ имени Дудышкина: „во-первыхъ, у насъ есть запасъ беллетристики до новаго года, и, во-вторыхъ, денежныя обстоятельства не такъ блестящи, чтобъ можно было давать деньги впередъ, когда предстоитъ еще три съ половиною мѣсяца платить взадъ“. Такимъ образомъ, всѣ попытки получить триста рублей за повѣсть, которая, разумѣется, стоила несравненно больше, оказались неудачными. Тогда Достоевскій написалъ М. Н. Каткову, съ которымъ сначала, по какимъ-то соображеніямъ, не хотѣлъ вступать въ переговоры, и ему немедленно выслали пятьсотъ рублей. Онъ расплатился съ долгами въ Висбаденѣ, воротился въ Петербургъ, и вслѣдъ затѣмъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вмѣсто повѣсти, началъ печататься романъ „Преступленіе и наказаніе“, который произвелъ сильное впечатлѣніе на все общество и придалъ новый блескъ имени талантливаго автора. Конечно, никто не будетъ оспаривать, что у насъ не было ничего подобнаго въ этомъ родѣ,

и романистъ не напрасно ручался за оригинальность и занимательность своего лучшаго произведенія.

Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Ѳедору Михайловичу платили хорошо, нерѣдко высылали значительныя суммы впередъ, и если у него бывали иногда недоразумѣнія съ редакціею, то въ одномъ только литературномъ отношеніи, при разницѣ въ понятіяхъ о приличіи и нравственности, въ чемъ, мнѣ кажется, онъ не всегда былъ правъ. Впрочемъ, до самой кончины своей онъ, какъ извѣстно, былъ въ самыхъ хорошихъ отношеніяхъ съ московской редакціей. Если Достоевскій часто нуждался въ деньгахъ, то не отъ недостатка работы или утомленія, а потому что принужденъ былъ уплачивать и свои собственные долги, и тѣ, которые остались послѣ брата по журналу и даже по табачной фабрикѣ. Это въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ не давало ему покоя и не разъ грозило долговымъ отдѣленіемъ. Чтобы погашать въ сроки векселя, онъ долженъ былъ входить иногда въ сдѣлки чрезвычайно невыгодныя, можно сказать безразсудныя, если бы онѣ не оправдывались крайней необходимостью и непремѣннымъ желаніемъ честно покончить дѣла и не оставить пятна на добромъ имени брата. Поэтому онъ продавалъ право на отдѣльныя изданія своихъ сочиненій на условіяхъ очень отяготительныхъ, лишь бы получить впередъ деньги, чѣмъ ловкіе люди обыкновенно и пользовались.

Особенно тягостна была для него сдѣлка съ книгопродавцемъ-издателемъ Стелловскимъ, который въ 1866 г. пріобрѣлъ у него право на полное изданіе его сочиненій. Передъ отъѣздомъ въ Москву Ѳедоръ Михайловичъ какъ-то всколзь сказалъ мнѣ, что лѣтомъ долженъ написать для этого изданія новый романъ. Въ іюлѣ онъ писалъ мнѣ изъ села Люблина, куда, по его словамъ, бѣжалъ изъ гостиницы Дюсо, потому что номеръ его въ жаркіе дни „походилъ на русскую печку, когда начнутъ въ нее сажать хлѣбы“, и слѣдовательно работать тамъ не было никакой возможности. Въ этомъ письмѣ, говоря о своемъ образѣ жизни, занятіяхъ и сношеніяхъ съ редакціею „Русскаго Вѣстника“, онъ въ заключеніе прибавляетъ: „За романъ Стеловскому я еще не принимался, но примусь. Составилъ планъ весьма удовлетворительнаго романчика, такъ что будутъ даже признаки характеровъ. Стеловскій безпокоитъ меня до мученія, даже вижу во снѣ“. Въ это время я не зналъ въ чемъ дѣло, но впослѣдствіи оказалось, что въ контрактѣ съ книгопродавцемъ было, между прочимъ, одно условіе, которое въ случаѣ невыполненія обязательства должно было отдать Достоевскаго въ безвыходную кабалу его предусмотрительному издателю. Только по возвращеніи Ѳедора Михайловича въ Петербургъ узналъ я, отчего этотъ издатель порождалъ въ немъ мучительные сны. Между тѣмъ этотъ „романчикъ“, о которомъ онъ писалъ, имѣлъ рѣшительное вліяніе на всю его послѣдующую жизнь. Вотъ въ чемъ дѣло.

Въ праздники Покрова Богородицы, т.-е. 1-го октября, зашелъ я къ Достоевскому, который незадолго пріѣхалъ изъ Москвы. Онъ быстро ходилъ по комнатѣ съ папиросой и видимо былъ чѣмъ-то очень встревоженъ.

— Что вы какой мрачный?—спросилъ я.

— Будешь мраченъ, когда совсѣмъ пропадаешь!—отвѣчалъ онъ, не переставая шагать взадъ и впередъ.

— Какъ! что такое?

— Да знаете вы мой контрактъ съ Стеловскимъ?

— О контрактѣ вы мнѣ говорили, но подробностей не знаю.

— Такъ вотъ посмотрите.

Онъ подошелъ къ письменному столу, вынулъ изъ него бумагу и подалъ мнѣ, а самъ опять зашагалъ по комнатѣ. Я былъ озадаченъ. Не говоря уже о незначительности суммы, за которую было запродано изданіе, въ условіи заключалась статья, по которой Ѳедоръ Михайловичъ обязывался доставить къ ноябрю того же года новый, нигдѣ еще не напечатанный романъ въ объемѣ не менѣе десяти печатныхъ листовъ большого формата, а если не выполнитъ этого, то Стеловскій имѣетъ право перепечатывать всѣ будущія его сочиненія безъ всякаго вознагражденія.

— Много у васъ написано новаго романа? — спросилъ я.

Достоевскій остановился передо мною, рѣзко развелъ руками и сказалъ: „ни одной строки!“ Это меня поразило.

— Понимаете теперь, отчего я пропадаю? — сказалъ онъ желчно.

— Но какъ же быть? вѣдь надобно что-нибудь дѣлать! — замѣтилъ я.

— А что же дѣлать, когда остается одинъ мѣсяцъ до срока. Лѣтомъ для „Русскаго Вѣстника“ писалъ, да написанное долженъ былъ передѣлывать, а теперь ужъ поздно: въ четыре недѣли десять большихъ листовъ не одолѣешь.

Мы замолчали. Я присѣлъ къ столу, а онъ заходилъ опять по комнатѣ.

— Послушайте, — сказалъ я, — нельзя же вамъ себя навсегда закабалить; надобно найти какой-нибудь выходъ изъ этого положенія.

— Какой тутъ выходъ! я никакого не вижу.

— Знаете что, — продолжалъ я: — вы, кажется, писали мнѣ изъ Москвы, что у васъ есть уже готовый планъ романа?

— Ну, есть, да вѣдь я вамъ говорю, что до сихъ поръ не написано ни строчки.

— А не хотите ли вотъ что сдѣлать: соберемте теперь же нѣсколько нашихъ пріятелей; вы разскажете намъ сюжетъ романа, мы намѣтимъ его отдѣлы, раздѣлимъ по главамъ и напишемъ общими силами. Я увѣренъ, что никто не откажется. Потомъ вы просмотрите и сгладите неровности или какія при этомъ выйдутъ противорѣчія. Въ сотрудничествѣ можно будетъ успѣть къ сроку; вы отдадите романъ С—кому и вырветесь изъ неволи. Если же вамъ своего сюжета жаль на такую жертву, придумаемъ что-нибудь новое.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ рѣшительно, — я никогда не подпишу своего имени подъ чужой работой.

— Ну, такъ возьмите стенографа и сами продиктуйте весь романъ: я думаю, въ мѣсяцъ успѣете кончить.

Достоевскій задумался, прошелся опять по комнатѣ и сказалъ:

— Это другое дѣло... Я никогда еще не диктовалъ своихъ сочиненій, но попробовать можно... Да, другого средства нѣтъ, не удастся — такъ пропалъ... Спасибо вамъ: необходимо это сдѣлать, хоть и не знаю, сумѣю ли... Но гдѣ стенографа взять? Есть у васъ знакомый?

— Нѣтъ, но найти не трудно.

— Найдите, найдите, только скорѣе.

— Завтра же похлопочу.

Ѳедоръ Михайловичъ былъ въ возбужденномъ состояніи: онъ, очевидно, началъ надѣяться на возможность выйти изъ своего тяжелаго положенія, но въ то же время не совсѣмъ еще былъ увѣренъ въ успѣхѣ новой для него работы. На другой день я обратился къ одному изъ моихъ сослуживцевъ, Е. Ѳ. В—ру, съ вопросомъ: нѣтъ ли у него знакомаго стенографа, и объяснилъ ему при этомъ, въ чемъ дѣло. Онъ обѣщалъ съѣздить къ своему знакомому, П. М. Ольхину, который за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ открылъ курсы стенографіи, преимущественно для женщинъ. Я просилъ сдѣлать это не мѣшкая — и вотъ на другой же день къ Достоевскому явилась по рекомендаціи Ольхина, въ качествѣ стенографистки, одна изъ лучшихъ его ученицъ, Анна Григорьевна Сниткина. Послѣ объясненія относительно подробностей работы и условій, съ слѣдующаго же утра 4-го октября началось стенографированіе романа „Игрокъ". Я изрѣдка заходилъ къ Ѳедору Михайловичу въ такіе часы, когда не могъ помѣшать работѣ, и видѣлъ, что онъ мало-по-малу становился покойнѣе и веселѣе, и надежда на успѣхъ дѣла превращалась у него уже въ положительную увѣренность. Наконецъ, романъ былъ оконченъ и переписанъ ровно къ 30 октября. Несмотря на возбужденное состояніе автора и новый для него способъ работы, сочиненіе вышло замѣчательнымъ въ литературномъ отношеніи: нравы городка Рулетенбурга очерчены въ оригинальной картинѣ, и при этомъ раскрылись не только „признаки характеровъ", какъ выразился Достоевскій, но цѣльныя, бойко и смѣло написанныя лица, какъ, напримѣръ, типичная старуха-самодурка Тарасевичева, которая впухъ проигрывается въ рулетку.

Но романъ этотъ, какъ я уже замѣтилъ, не только освободилъ Достоевскаго отъ эксплуатаціи издателя, а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ рѣшительное вліяніе на всю остальную жизнь автора. Во время ежедневной работы надъ сочиненіемъ, Ѳедоръ Михайловичъ и его сотрудница хорошо узнали и оцѣнили другъ друга; онъ сдѣлалъ ей предложеніе, не умолчавъ, конечно, ни о своихъ денежныхъ нуждахъ, ни о роковой болѣзни, — и 15 февраля 1867 г. мы были уже на ихъ вѣнчаніи въ Троицкомъ Измайловскомъ соборѣ. Я позволю себѣ прибавить, что этотъ второй бракъ Достоевскаго былъ вполнѣ счастливъ, и онъ пріобрѣлъ въ Аннѣ Григорьевнѣ и любящую жену, и практическую хозяйку дома, и умную цѣнительницу своего таланта. Если Ѳедоръ Михайловичъ, при своей житейской непрактичности, успѣлъ

выплатить болѣе двадцати-пяти тысячъ своихъ и братниныхъ долговъ, то это могло сдѣлаться только при распорядительности и энергіи его жены, которая умѣла и вести дѣло съ кредиторами и поддерживать мужа въ тяжелые дни. На слѣдующее лѣто послѣ свадьбы Достоевскіе уѣхали за границу и прожили до 1871 года, большею частію въ Германіи и Италіи. Тамъ были задуманы романы „Бѣсы“ и „Идіотъ“. *Милюковъ.*

Достоевскій за границей.

Возвратившись изъ ссылки, Достоевскій всего себя отдаетъ литературѣ, издаетъ съ братомъ журналъ сначала „Время“, потомъ „Эпоху“, пишетъ произведеніе за произведеніемъ, въ душѣ его идетъ страшная внутренняя работа, взгляды его еще и еще углубляются. Еще въ Сибири, гдѣ послѣ каторги онъ служилъ въ одномъ изъ Сибирскихъ линейныхъ батальоновъ, Достоевскій женился на вдовѣ М. Д. Исаевой. По возвращеніи, въ Москвѣ жена его умерла отъ чахотки. Послѣ нея остался пасынокъ. Время изданія журналовъ и позднѣйшей работы полно для Достоевскаго постоянной борьбой съ безденежьемъ. Вскорѣ умеръ и его старшій братъ Михаилъ, оставивъ семью безъ средствъ. Теперь вся его жизнь идетъ въ безпрерывной работѣ и въ постоянномъ безпокойствѣ изъ-за нужды въ деньгахъ. Постоянно въ его письмахъ слышатся жалобы и идутъ безконечные денежные расчеты, постоянные долги, съ которыми онъ не умѣетъ справиться. Я охотно бы, — восклицаетъ онъ однажды, — пошелъ опять въ каторгу на столько же лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ“. Онъ въ безпрерывной денежной кабалѣ, вѣчно подъ ярмомъ долговъ и денежныхъ обязательствъ, и въ этомъ гнетущемъ, тряскомъ состояніи пишетъ свои геніальныя вещи, „по громадному роману въ годъ“, какъ онъ самъ говоритъ.

Съ 1865 г. Достоевскій проводитъ жизнь больше за границей, здѣсь онъ написалъ цѣлый рядъ романовъ, порою диктуя прямо стенографисткѣ. Его стенографисткой была будущая, вторая, жена его Анна Григорьевна Достоевская. Это случилось въ 1867 г. Отъ этого брака у Достоевскаго были дѣти.

Время заграничной жизни было временемъ особенно усиленной и напряженной работы религіознаго сознанія Достоевскаго, хотя всю жизнь у него была сильная страсть къ религіознымъ вопросамъ. „Потребность вѣры во Христа“ мы видимъ у него уже въ бесѣдахъ съ Бѣлинскимъ, изъ петрашевцевъ онъ выдѣлялся своей религіозностью, въ каторгѣ съ нимъ была библія, и, явившись затѣмъ въ литературѣ послѣ каторги, углубляясь въ смыслъ страданія личности человѣка, онъ ищетъ спасенія отъ зла міра во Христѣ. Но все-таки въ первое время центръ тяжести его болѣній лежалъ гораздо болѣе въ сферѣ нравственныхъ, чѣмъ религіозныхъ вопросовъ. Нравственный вопросъ

не представлялся ему еще въ столь зависимомъ положеніи по отношенію къ религіозной вѣрѣ, какъ это мы видимъ впослѣдствіи. Впервые явственно сказалась религіозная точка зрѣнія въ рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ въ „Преступленіи и Наказаніи". Далѣе идетъ глубокая работа въ этомъ направленіи за границей. Здѣсь многое изъ того, что только чуть брезжило, едва показывалось на порогѣ сознанія, окончательно выяснилось, перешло въ сознаніе, пріобрѣло силу и убѣдительность. Много способствовали тому и внѣшнія условія жизни Достоевскаго. За границей „онъ очень усиленно работалъ и нуждался,— читаемъ мы въ воспоминаніяхъ Страхова; — но онъ имѣлъ покой и радость счастливой семейной жизни, и почти все время жилъ въ совершинномъ уединеніи, т.-е. вдали отъ всякихъ значительныхъ поводовъ оставлять прямой путь развитія своихъ мыслей и глубокой душевной работы... Нѣмъ сомнѣнія, что именно за границей, *при этой обстановкѣ и этихъ долгихъ и спокойныхъ размышленіяхъ, въ немъ совершилось особенное раскрытіе того христіанскаго духа*, который всегда жилъ въ немъ. Въ его письмахъ подконецъ вдругъ раздались звуки этой струны; она стала звучать въ немъ такъ сильно, что онъ не могъ оставлять эти звуки для себя одного, какъ это дѣлалъ прежде. Объ этой существенной перемѣнѣ однако же письма не даютъ полнаго понятія. Но она очень ясно обнаружилась для всѣхъ знакомыхъ, когда Ѳеодоръ Михайловичъ вернулся изъ-за границы. *Онъ сталъ безпрестанно сводить разговоръ на религіозныя темы.* Мало того, онъ перемѣнился въ обращеніи, получившемъ большую мягкость и впадавшемъ иногда въ полную кротость. Даже черты его лица носили слѣдъ этого настроенія и на губахъ появлялась нѣжная улыбка".

Помимо этого впечатлѣнія Страхова о подъемѣ религіозной мысли Достоевскаго, въ періодъ его заграничной жизни, говорятъ и тѣ произведенія, которыя написаны за это время, и письмо его изъ-за границы. Въ 1868—69 г. онъ написалъ „Идіота", вслѣдъ за нимъ появляются въ 1870 г. въ I-й и II-й книгахъ „Зари", „Вѣчный мужъ", послѣдній, впрочемъ, болѣе интересный съ психологической, чѣмъ съ религіозной точки зрѣнія. Весь 1870 г. Достоевскій занятъ „Бѣсами", которые печатаются въ „Русскомъ Вѣстникѣ" въ 1871 г. Въ письмахъ Достоевскаго этого періода его жизни изъ-подъ обычнаго обилія пространныхъ денежныхъ расчетовъ то и дѣло проскальзываетъ то или иное замѣчаніе, обнаруживающее неослабное вниманіе Достоевскаго къ вопросамъ религіи и нравственности, атеизма и соціализма, которымъ и здѣсь Достоевскій интересуется болѣе всего съ точки зрѣнія его религіозно-нравственныхъ предпосылокъ. Здѣсь же, какъ видно изъ его писемъ къ А. Н. Майкову и Страхову, онъ задумалъ своихъ „Братьевъ Карамазовыхъ" подъ названіемъ „Житіе великаго грѣшника". Въ письмѣ отъ 11 декабря 1868 г. изъ Флоренціи къ Ап. Майкову онъ пишетъ, что задумалъ огромный романъ „Атеизмъ". Называя то, что служило матеріаломъ чтенія Достоевскаго за границей, Страховъ пишетъ: „Ѳедоръ Михайловичъ во все время пребыва-

нія за границею получалъ „Русскій Вѣстникъ“, съ 1869 г. „Зарю“. Но, кромѣ того, онъ читалъ и другія русскія книги. Нѣкоторыя были взяты имъ съ собой, напр., „Странствованіе инока Парѳенія“, „Сочиненія Бѣлинскаго“, „Исторія Россіи“ Соловьева; другія онъ выписывалъ, напр., „Войну и Миръ“ Л. Н. Толстого. *Но постояннымъ чтеніемъ его было евангеліе;* онъ читалъ его по той самой книгѣ, которую имѣлъ въ каторгѣ и съ которой никогда не разставался“.

Вернувшись изъ-за границы, Достоевскій пишетъ въ 1873 г. свой „Дневникъ Писателя“, въ 1875 г. въ „Отечественныхъ Запискахъ“ печатаетъ „Подростка“, 1876 и 1877 гг. сплошь заняты опять „Дневникомъ“, въ 1879 и 1880 г. печатаются „Братья Карамазовы“, наконецъ, еще нѣсколько нумеровъ „Дневника Писателя“ за 1880 и 1881 гг. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ на самомъ видномъ мѣстѣ стоитъ нравственная проблема личности, теперь окончательно ставшая религіозной проблемой Бога и личнаго безсмертія.

Страстно-ищущая, неугомонная и бурная душа Достоевскаго, какъ бушующее море и страшный ураганъ, не знала спокойствія. Съ дѣйствительностью онъ не могъ примириться, бунтовалъ противъ нея, ища разрѣшенія въ религіи. Всю свою жизнь Ѳедоръ Михайловичъ стремился подняться надъ скучнымъ бездушіемъ плоской дѣйствительности. Надъ гробомъ его русскій философъ Вл. Соловьевъ, теперь тоже уже сошедшій въ могилу, сказалъ: „Въ томъ-то и заслуга, въ томъ-то и все значеніе такихъ людей, какъ Достоевскій, что *они не преклоняются предъ силой факта и не служатъ ей.* Противъ этой грубой силы того, что существуетъ, у нихъ есть духовная сила вѣры въ истину и добро, въ то, что должно быть. Не искушаться видимымъ господствомъ зла и не отрекаться ради него отъ невидимаго добра есть подвигъ вѣры. Въ немъ вся сила человѣка... *Жизнь творятъ* люди вѣры. Это тѣ, которые называются мечтателями и утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшіе люди и вожди человѣчества. Такого человѣка мы сегодня поминаемъ“.

И въ этомъ глубоко правъ русскій философъ, онъ въ своей религіозно-христіанской проповѣди былъ близокъ Достоевкому по духу. Вѣчно исполненный святого безпокойства о высшемъ смыслѣ жизни, вѣчно ищущій святынь, съ душой, простертой къ Богу, Достоевскій всю жизнь свою провелъ въ этомъ тревожно-вдохновенномъ порываніи въ міръ иной, лучшій и высшій. Крайній идеалистъ по натурѣ, глубоко-вѣрующій и религіозный человѣкъ, онъ смотрѣлъ на жизнь, какъ на страшную неразрѣшимую тайну. Вдохновенная страстность Ѳедора Михайловича доходила до религіознаго упоенія. Часто слышали мы всѣ о немъ: „Достоевскій — больной человѣкъ“! Этимъ объясняютъ, оправдываютъ, а подчасъ и просто умаляютъ великаго писателя, всего чаще за недостаточнымъ пониманіемъ сокровищъ его богатѣйшей творческой работы. Да, Ѳедоръ Михайловичъ былъ дѣйствительно боленъ, боленъ не столько падучей и другими недугами, сколько своимъ огромнымъ геніемъ, своей необычайной религіозной жаждой, идеализмомъ,

и, наконецъ, своимъ пламеннымъ исканіемъ Бога и возсоединенія съ Нимъ. „Я неисправимый идеалистъ“, говоритъ онъ самъ про себя въ „Дневникѣ Писателя“, „я ищу святынь, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святынь“.

И Достоевскій нашелъ эту святыню души своей, принесъ ее съ собой чрезъ всѣ мрачныя видѣнія, черезъ всѣ страшныя испытанія всей долгой страдальческой жизни. „Черезъ большое *горнило сомнѣній* моя осанна пришла“, записалъ какъ-то Достоевскій въ своей „записной книжкѣ“; онъ зналъ страшныя сомнѣнія, томился, падалъ, изнывалъ въ тоскѣ безысходной, въ мукѣ мученической, подходилъ къ краю послѣднихъ отрицаній, но Христосъ былъ съ нимъ. Свое исповѣданіе онъ запечатлѣлъ въ геніальныхъ художественныхъ образахъ неимовѣрной глубины. Влекущая его правда христіанскихъ озареній раскрывается въ образахъ часто противоположныхъ по своему духовному облику, она блеститъ, какъ молнія, въ тучахъ душевной тьмы, святость просвѣчиваетъ изъ-за страшной тьмы грѣха въ молитвенныхъ восторгахъ религіознаго просвѣтлѣнія; духъ дышитъ, гдѣ хочетъ, но больше всего эта правда духа Христова сіяетъ въ чистыхъ сердцемъ Мышкина въ „Идіотѣ“ и Алеши Карамазова въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“; они—живой намекъ на жизнь иную, мерцаніе отдаленной зари христіанскаго возрожденія. Старецъ Зосима, около котораго живетъ и дышитъ Алеша, въ жизни и ученіи своемъ еще ближе къ осаннѣ Достоевскаго, ближе къ зовущей его святынѣ Христовой правды.

Глинка.

Смерть Достоевскаго.

Послѣ Пушкинской рѣчи Достоевскій жилъ всего нѣсколько мѣсяцевъ. Въ январѣ 1881 г. онъ захворалъ припадкомъ давнишней своей болѣзни, эмфиземы, которая въ ночь на 26-е осложнилась разрывомъ легочной артеріи; разсказываютъ, что во всѣ сомнительныя минуты жизни онъ имѣлъ обыкновеніе раскрывать на удачу то евангеліе, которое было съ нимъ въ Сибири, и читать верхнія строки открывшейся страницы. Такъ онъ сдѣлалъ и теперь, въ день кончины (28 января), когда ему было трудно. Открылось Матѳ. гл. III, ст. 11: „Іоаннъ же удерживалъ Его и говорилъ: мнѣ надобно креститься отъ Тебя и Ты ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить великую правду“ Когда жена прочла ему эти строки, онъ сказалъ ей: „Ты слышишь— *не удерживай*; значитъ я, умру“. Въ тотъ же вечеръ, благословивъ дѣтей и жену, онъ умеръ.

Необозримыя массы народа собрались къ его гробу въ день похоронъ; и какъ въ теченіе жизни онъ не былъ для людей *только* писателемъ, такъ не писателя только собрались хоронить эти люди: всегда и прежде и теперь онъ имѣлъ силу волновать человѣческія

сердца совершенно особымъ родомъ чувствъ. Что же это были за чувства? Кого хоронили тогда? Кого потеряла Россія въ немъ? Проще всего будетъ сказать, что это былъ одинъ изъ насъ, отъ нашей кости и плоти человѣкъ, но такъ неизмѣримо болѣе насъ пережившій, такъ въ неизмѣримо большее прозрѣвшій, что это прозрѣніе естественно представляется намъ, какъ мудрость; не та мудрость, что составляетъ плодъ умственныхъ выкладокъ, и которую мы любимъ, какъ предметъ любопытства, но не считаемъ ее достаточно серіозною, что бы по ней жить, — но мудрость сердца, которой мы ищемъ именно для того, чтобы научиться, какъ жить. Всѣ другіе дары дала ему природа, — этотъ онъ пріобрѣлъ и имъ сталъ великъ. *В. Розановъ.*

Похороны Достоевскаго.

Никогда еще Россія не видѣла такихъ многолюдныхъ проводовъ, какіе пришлись на долю Ѳ. М. Достоевскаго. Искреннее чувство выразилось въ участіи всей петербургской учащейся молодежи, собравшейся проводить своего любимаго учителя до мѣста вѣчнаго покоя. Никогда еще у насъ на Руси не высказывалось того единства учащихъ и учащихся, какое оказалось на этотъ разъ. Никогда еще не бывало такого русскаго братства, сплотившагося во едино, чтобы выразить скорбное сочувствіе всей Россіи въ ея великой утратѣ. Но нельзя подобрать словъ, нельзя ихъ сопоставить такъ, чтобы вполнѣ выразить то непритворное, задушевное чувство, какимъ проникнуты были всѣ до единаго провожавшіе гробъ съ бренными останками Ѳедора Михайловича. Это были національные русскіе проводы національнаго русскаго писателя. Учащейся молодежи предоставленъ былъ самый широкій просторъ относительно участія въ этой процессіи, и, къ чести ея надо сказать, все было чинно.

А кто не перебывалъ у гроба почившаго дѣятеля въ его квартирѣ? Тутъ были представители всѣхъ слоевъ и состояній нашего общества, понимающаго заслуги Ѳедора Михайловича: тутъ были и высокопоставленныя лица, и свѣтскія дамы, и труженники науки и литературы. Въ числѣ явившихся поклониться праху почившаго были и дѣти, принесшія букетъ цвѣтовъ на гробъ автору „Мальчика у Христа на елкѣ“...

31 января, съ 9-ти часовъ утра, несмѣтныя толпы народа стремились къ Кузнечному переулку, гдѣ была квартира Ѳ. М. Достоевскаго. Квартира покойнаго настолько мала, что въ ней могли помѣститься, съ грѣхомъ пополамъ, только родственники, близкіе, знакомые, друзья покойнаго и литераторы. Около 10-ти часовъ въ Кузнечномъ переулкѣ собрались воспитанники разныхъ учебныхъ заведеній, освобожденныхъ отъ учебныхъ занятій. Воспитанники установились въ отдѣльныя группы, и къ началу шествія процессія растянулась на полверсты. Ровно въ 11 часовъ утра изъ квартиры вынесенъ былъ гробъ покойнаго, и процессія двинулась въ слѣдующемъ порядкѣ:

Главный распорядитель погребальнаго шествія, товарищъ Ѳ. М. Достоевскаго по инженерному училищу, Д. В. Григоровичъ; за нимъ — большой лавровый вѣнокъ отъ военнаго Николаевскаго инженернаго училища, несомый юнкерами этого училища въ полной парадной формѣ, подъ предводительствомъ начальника Николаевской академіи генеральнаго штаба, генерала Дандевиля съ нѣсколькими офицерами.

Далѣе отдѣльными группами слѣдовали:

1) Петербургскія прогимназіи, съ вѣнками отъ каждой; 2) воспитанники мужскихъ петербургскихъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гимназій съ вѣнкомъ отъ каждой; 3) воспитанники реальныхъ училищъ, съ вѣнкомъ впереди[1]); 4) воспитанники земледѣльческаго училища, тоже съ вѣнкомъ; 5) воспитанники коммерческаго училища; впереди они несли большой лавровый вѣнокъ, среди котораго изъ бѣлыхъ иммортелей изображены были литеры: Ѳ. М. Д., а у нижней части вѣнка, соприкасающейся съ тремя палками, двѣ широкія бѣлыя ленты съ надписью: „Отъ воспитанниковъ Спб. коммерческаго училища".

За симъ слѣдовали вѣнки отъ учебныхъ корпорацій съ депутатами:

1) вѣнокъ отъ Покровскихъ педагогическихъ женскихъ курсовъ; 2) вѣнокъ отъ студентовъ-технологовъ; 3) вѣнокъ отъ студентовъ Горнаго института; 4) вѣнокъ отъ учениковъ Императорской академіи художествъ; 5) небольшой вѣнокъ отъ москвичей, перевязанный бѣлою лентою съ большими концами, на которыхъ черными большими буквами значилось: „Великому учителю изъ сердца Россіи", а вверху вѣнка „Изъ Москвы"; 6) вѣнокъ отъ учителей и учительницъ; 7) вѣнокъ отъ студентовъ Петербургской духовной академіи; 8) вѣнокъ отъ студентовъ института Инженеровъ путей сообщенія; 9) вѣнокъ отъ Женскаго хороваго музыкальнаго общества; 10) вѣнокъ отъ женскихъ медицинскихъ курсовъ; 11) вѣнокъ отъ студентовъ медико-хирургической академіи.

Хоръ пѣвчихъ-любителей, свыше 100 человѣкъ, исполнявшихъ на всемъ пути шествія осьмиголосное погребальное „Святый Боже" очень стройно.

За ними слѣдовали депутаціи:

1) вѣнокъ отъ правовѣдовъ; его несли три воспитанника училища правовѣдѣнія во главѣ своего инспектора, профессора римскаго права Петербургскаго университета, г. Дорна; 2) вѣнокъ изъ живыхъ бѣлыхъ маргаритокъ, отъ слушательницъ Высшихъ женскихъ бестужевскихъ курсовъ, во главѣ профессора О. Ѳ. Миллера; курсистки образовали вокругъ себя ручную цѣпь, въ центрѣ которой слѣдовалъ ихъ хоръ; 3) вѣнокъ, самый красивый, богатѣйшій и больше всѣхъ другихъ, отъ студентовъ Петербургскаго университета, сдѣланный изъ самыхъ дорогихъ цвѣтовъ: камелій, розановъ, маргаритокъ, тюльпановъ, гіацинтовъ, сирени, ландышей и т. п. дорогихъ зимою цвѣтовъ.

---

[1]) Каждая группа воспитанниковъ отдѣлялась отъ другой извѣстною дистанціею, разграничивавшеюся вѣнками, на которыхъ было отмѣчено, отъ какого именно учебнаго заведенія, съ обозначеніемъ: Ѳ. М. Д.

Среди этого вѣнка гиганта, несомаго студентами на трехъ высокихъ палкахъ, изъ бѣлыхъ иммортелей была сдѣлана надпись: „Отъ студентовъ Спб. университета". У рукоятокъ завязанъ былъ большой бантъ изъ широкой бѣлой ленты, заканчивающійся длинными четырьмя концами, поддерживаемыми студентами; на нихъ чернымъ крупнымъ шрифтомъ отпечатано было: „Униженные и Оскорбленные", „Преступленіе и Наказаніе", „Записки изъ Мертваго Дома", „Рѣчь въ Москвѣ" и „Братья Карамазовы". Отъ вѣнка, впереди котораго шелъ ректоръ университета, Бекетовъ, сдѣлана была ручная цѣпь студентами, въ центрѣ которой шелъ хоръ студентовъ университета; 4) вѣнокъ отъ С.-Петербургскаго университета; 5) вѣнокъ отъ Комитета грамотности; 6) вѣнокъ отъ Врачебной общины, который несли два военныхъ доктора въ полной парадной формѣ; 7) вѣнокъ отъ русскихъ художниковъ; 8) вѣнокъ отъ учениковъ Строительнаго училища; 9) вѣнокъ отъ Консерваторіи.

Хоръ пѣвчихъ-любителей.

1) вѣнокъ отъ Общества русскихъ драматическихъ писателей; 2) вѣнокъ отъ русской оперы; его несли артисты Васильевъ 1-й и Мельниковъ; 3) вѣнокъ отъ русской драматической труппы, несомый Сазоновымъ и Давыдовымъ; 4) вѣнокъ отъ судебныхъ слѣдователей Петербургскаго окружного суда; его несли слѣдователи въ парадной формѣ, въ треуголкахъ; 5) вѣнокъ отъ секретарей и кандидатовъ на судебныя должности Петербургскаго окружного суда; 6) вѣнокъ отъ судебныхъ приставовъ того же суда; 7) вѣнокъ отъ присяжныхъ повѣренныхъ; 8) вѣнокъ, довольно красивый, изъ живыхъ цвѣтовъ и большой, съ литерами изъ темно-желтыхъ иммортелей: „Отъ города Петербурга"; его несли три депутата отъ петербургской думы, съ траурными перевязями черезъ плечо; 9) вѣнокъ отъ Московскаго лицея.

Депутація отъ всѣхъ петербургскихъ журналовъ и газетъ, за которою слѣдовали:

1) Большая трехцвѣтная русская хоругвь, изъ оранжеваго, бѣлаго и чернаго цвѣтовъ, съ большимъ лавровымъ вѣнкомъ, съ надписью посрединѣ: „Достоевскому", а внизу: „Отъ редакціи журнала „Русская Рѣчь"; 2) вѣнокъ лавровый отъ „Петербургскаго Листка", съ литерами посрединѣ: „другу чести и правды"; 3) вѣнокъ отъ редакціи „Новое Время"; 4) красивый вѣнокъ изъ бѣлыхъ маргаритокъ, переплетенныхъ лавровыми листьями, полевою засушенною травою, стебельками и мхомъ, перевязанный бантомъ изъ бѣлой ленты, на которой золотистыми буквами отпечатано: „Всемірная Иллюстрація", „Огонекъ".

Хоръ владимірскихъ пѣвчихъ.

Духовенство, состоящее изъ пяти священниковъ, въ томъ числѣ профессоръ церковнаго права, о. протоіерей Горчаковъ, и діаконъ.

Вѣнокъ лавровый, съ литерами изъ бѣлыхъ иммортелей подпись: „Отъ Спб. Славянскаго Общества Русскому человѣку". Отъ вѣнка идетъ по обѣ стороны гирлянда изъ цвѣтовъ и лавровыхъ листьевъ длиною въ 30 саженей; ее поддерживаютъ студентки и курсистки на

высокихъ палкахъ и образуютъ большой овальный кругъ, въ центрѣ котораго несутъ высоко на носилкахъ гробъ Ѳедора Михайловича литераторы, публицисты и журналисты; по обѣ стороны гроба идутъ профессора университета; сзади родственники и друзья покойнаго. Вдали двигается колесница, покрытая малиновымъ бархатомъ съ перьями.

Таковъ былъ порядокъ шествія, не нарушаемый ни полиціею ни жандармами, которыхъ было только шесть человѣкъ: все было чинно.

На пути шествія отслужены были двѣ литіи: у Владимирской и Знаменской церкви.

На всемъ пути этой процессіи, по обѣ стороны Невскаго проспекта, шпалерами стоялъ народъ. По мѣрѣ движенія, выставлены были шпалерами воспитанники и воспитанницы частныхъ учебныхъ заведеній, не участвовавшіе въ процессіи. Во все время слѣдованія — отъ Кузнечнаго переулка до воротъ Александро-Невской лавры пѣли неумолкаемо „Святый Боже“ всѣ воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній, каждая группа отдѣльно и вполнѣ самостоятельно, при чемъ, въ виду широко раскинувшейся процессіи, не слышно было диссонанса. Пѣли юнкера Николаевскаго инженернаго училища, пѣли гимназисты и гимназистки, студентки, курсистки и студенты, пѣли хоры любителей и владимирскіе пѣвчіе. Въ особенности стройно пѣли любители, курсистки и студенты. Погребальное шествіе тянулось чинно, безъ давки и толкотни, въ порядкѣ. У воротъ лавры вышли навстрѣчу воспитанники духовнаго училища и духовной семинаріи; духовенство въ полныхъ облаченіяхъ, во главѣ настоятеля лавры, архимандрита о. Симеона, и ректора духовной академіи, о. Янышева, съ монастырской братіей и лаврскими пѣвчими.

Толпы народа, провожавшаго тѣло Ѳедора Михайловича, состояли изъ 25—30 тысячъ человѣкъ, которыя, конечно, не могли проникнуть въ самую лавру. Въ виду этого установленъ былъ слѣдующій порядокъ: всѣ депутаціи, состоявшія изъ трехъ человѣкъ, каждая съ вѣнками, которыхъ было до 62, проходятъ безпрепятственно въ самую церковь, при чемъ воспитанники, воспитанницы, студенты и студентки останавливаются по порядку шпалерами у воротъ лавры.

Было уже три часа, когда толпа стала расходиться, унося съ собою отрадное сознаніе выполненнаго долга передъ памятью о человѣкѣ, который всю жизнь работалъ на пользу русскаго общества и народа.

Участвовавшіе въ процессіи получили „визитныя карточки“ покойнаго: небольшой въ траурной рамкѣ листъ, на которомъ отлитографирована подпись руки покойнаго — *Ѳедоръ Достоевскій;* внизу: справа — „родился 30 октября 1821 г.“, слѣва — „скончался 28 января 1881 г.“

Похороны Ѳедора Михайловича происходили на другой день, въ воскресенье 1-го февраля. Въ этотъ день толпы народа съ ранняго утра стекались къ Невскому монастырю.

Къ 62 вѣнкамъ, перечисленнымъ уже нами, въ день похоронъ присоединились еще новые, такъ что составилось всего до 74 вѣн-

ковъ; въ числѣ прибывающихъ мы видѣли лирообразный вѣнокъ отъ артиллерійской академіи, отъ академіи Генеральнаго штаба, отъ юридической, отъ воспитанниковъ морского училища, отъ гимназіи Спѣшневой, отъ лицеистовъ, отъ редакціи „Русской Мысли", отъ „русскихъ дѣтей", отъ „Общества драматическихъ писателей" и громадный вѣнокъ изъ искусственныхъ и живыхъ цвѣтовъ и лавровъ съ надписью изъ иммортелей „отъ литераторовъ". Великая княгиня Александра Іосифовна прислала вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ, а дѣти ея — крестъ изъ такихъ же цвѣтовъ. Отъ академіи наукъ депутатомъ явился М. И. Сухомлиновъ. Вѣнки съ депутаціями составили цвѣточную шпалеру по сторонамъ катафалка съ гробомъ отъ алтаря до входныхъ церковныхъ дверей. Много вѣнковъ еще лежало на гробѣ и на ступеняхъ около балдахина. Большая трехцвѣтная хоругвь съ вѣнкомъ и серебряными кистями съ надписью „Достоевскому", была водружена противъ балдахина на хорахъ и ниспускалась внизъ, какъ бы осѣняя молящихся.

Нечего и говорить, что всѣ литераторы, представители разныхъ редакцій, депутаты отъ учебныхъ заведеній и разныхъ обществъ переполнили собою церковь, въ которую впускъ производился только по билетамъ. Въ числѣ представителей драматическаго міра былъ В. В. Самойловъ. При богослуженіи также присутствовали: оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода К. П. Побѣдоносцевъ, министръ народнаго просвѣщенія г. Сабуровъ, начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати Н. С. Абаза, и много другихъ высокопоставленныхъ лицъ. Въ 10 часовъ, встрѣченный духовенствомъ, прибылъ архіерей, преосвященный Несторъ, епископъ Выборгскій, второй викарій с.-петербургской епархіи, и началъ литургію въ сослуженіи архимандритовъ и іеромонаховъ. Стройно пѣли превосходные пѣвчіе, горячо молились русскіе люди, когда раздались грустно-величественные и скорбно-торжественные звуки тропаря: „Со святыми упокой". По окончаніи литургіи преосвященный Несторъ вышелъ на середину церкви передъ гробомъ для совершенія отпѣванія. Съ нимъ вышли о. ректоръ с.-петербургской духовной академіи Янышевъ, о. намѣстникъ лавры архимандритъ Симеонъ, два очередные архимандрита и за ними пять протоіереевъ стали по правую сторону гроба, пять іеромонаховъ — по лѣвую. Архидіаконъ провозгласилъ: „Благослови, Владыко", и тихіе, полные скорби и умиленія звуки панихиднаго пѣнія полились тихой волной, исторгая слезы изъ глазъ молящихся. Въ это время вѣнки стали выносить изъ церкви, часть ихъ окружила могилу Ѳ. М. Достоевскаго, часть стала шпалерами по направленію къ кладбищу. Между тѣмъ въ церкви, по окончаніи чтенія евангелія, протоіерей о. Янышевъ обратился къ молящимся съ проповѣдью. Звучный голосъ, теплое чувство, которое слышалось въ каждомъ звукѣ проповѣди, и краснорѣчіе проповѣдника произвели сильное впечатлѣніе на слушателей. Смыслъ проповѣди приблизительно былъ таковъ. О. протоіерей обратилъ вниманіе на торжественность обстановки, на то, что здѣсь, вокругъ гроба одного

человѣка соединились всѣ ученые, литераторы, учащіеся, всѣ русскіе люди. Здѣсь на глазахъ у насъ снова подтверждаются слова Божественнаго учителя Христа: „Блаженни кротціи, яко тіи наслѣдятъ землю; блаженни чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ; блаженни изгнанніи правды ради, яко тѣхъ есть царство небесное“.

Вся дѣятельность покойнаго, многострадальнаго, многолюбившаго писателя, заключалась въ отыскиваніи свѣтлыхъ чертъ въ самой низкой душѣ. Онъ рылся въ грязи для того, чтобы отыскать и тамъ чистое и высокое. Стоитъ только припомнить заглавія его произведеній, чтобы видѣть, кого изображалъ нашъ великій писатель, о комъ болѣло его сердце, кому онъ сочувствовалъ; это были: „Бѣдные люди“, „Униженные и Оскорбленные“, „Мертвый домъ“, „Идіотъ“. Онъ обращалъ на нихъ наше вниманіе, онъ глубоко заглядывалъ въ душу человѣка, онъ своими произведеніями продолжалъ намъ нагорную проповѣдь Христа и мы какъ бы слышали: „Блаженни нищіе духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное; блаженни плачущіе, яко тіи утѣшатся; блаженни алчущіе и жаждущіе правды, яко тіи насытятся; блаженни, егда возненавидятъ васъ человѣцы“. Всю жизнь свою покойный искалъ истины и правды. Затѣмъ проповѣдникъ очертилъ его личность какъ высокаго христіанина, полагавшаго хранилище истины въ православной вѣрѣ, полагавшаго хранилище добрыхъ началъ въ душѣ русскаго человѣка. Дадимъ теперь ему, какъ многолюбившему, послѣдній поцѣлуй нашей любви.

Послѣ рѣчи и краткаго молитвословія, литераторы и друзья покойнаго подняли гробъ и понесли его въ предшествіи епископа съ духовенствомъ на кладбище. Передъ гробомъ несли нѣсколько малыхъ вѣнковъ, за гробомъ слѣдовало семейство покойнаго и литераторы. По мѣрѣ того, какъ проносили гробъ между шпалерами изъ вѣнковъ, державшіе вѣнки тихо склоняли ихъ надъ гробомъ. Это была умилительная картина. Когда стали опускать гробъ въ могилу, маленькая дочка Достоевскаго тронула всѣхъ своимъ простымъ, глубоко-сердечнымъ крикомъ: „Прощай, милый, добрый, хорошій папа, прощай!“ Всѣ стоявшіе въ оградѣ пѣли вмѣстѣ съ пѣвчими „Со святыми упокой“. Часть вѣнковъ была оборвана и гробъ весь былъ засыпанъ зеленью и цвѣтами и затѣмъ могилу засыпали землей. Начали говорить рѣчи и читать стихи. Желавшихъ было такъ много, что не всѣмъ удалось исполнить это желаніе. Отъ женщинъ желала, напримѣръ, говорить г-жа Архангельская, и когда пробралась къ оградѣ кладбища, то церемонія уже кончилась. Всѣ вѣнки потомъ были сложены на могилѣ Ѳ. М. Достоевскаго.

Долго, еще до самой вечерни толпился у могилы народъ; многіе уносили на память цвѣты изъ вѣнковъ и старались добыть хотя просто зеленую вѣточку.

На могилѣ были произнесены многими депутатами рѣчи. Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Нашъ извѣстный драматургъ А. И. Пальмъ, товарищъ Достоевскаго по дѣлу Петрашевскаго, сказалъ слѣдующее:

„Если художественныя творенія и вся писательская дѣятельность нашего Достоевскаго имѣютъ глубокое поучительное и воспитательное для насъ значеніе, то неменьшую долю этого значенія представляетъ намъ и жизнь Ѳедора Михайловича, жизнь, начавшаяся въ суровой школѣ невзгодъ, къ сожалѣнію, едва ли не общихъ всей русской молодежи, ищущей идеаловъ правды и какихъ бы то ни было путей саморазвитія,— невзгодъ, можно сказать, неминучихъ, роковымъ образомъ, исторически необходимыхъ въ трудномъ своеобразномъ ростѣ русскаго человѣка. Считаю большимъ счастьемъ, — считаю законною гордостью, что на мою скромную долю выпала честь быть товарищемъ знаменитаго покойника именно въ ту пору его жизни, когда въ небольшой группѣ сверстниковъ и онъ извѣдалъ эту тяжелую невзгоду... Какъ теперь вижу минуту нашего прощанья въ декабрѣ 49 года. Онъ бодрый, почти веселый и какой-то свѣтлый, вѣрующій, обнялъ меня и сказалъ: „до свиданія, П., увидимся непремѣнно, — ужъ это непремѣнно — увидимся! Четыре года каторги, потомъ солдатчина — все вздоръ, пустяки, пройдетъ, а будущее наше!“ Глаза его сверкали, прекрасная, любящая, хотя и не безъ тонкаго юмора, улыбка загорѣлась на его блѣдномъ, измученномъ лицѣ... Прошли многіе трудные годы и въ самомъ дѣлѣ наступило наше свиданіе. Ѳ. М., опять все тотъ же бодрый, свѣтлый, вѣрующій, — на литературномъ чтеніи въ пользу учащейся молодежи, шепчетъ мнѣ: „А вѣдь мы не пропали! Мало насъ, а все-таки нѣтъ-нѣтъ, да и вспомнятъ стариковъ... Вѣдь вотъ же пригодились, не пропали!..“ Глубокопоучительна эта неумирающая вѣра въ свое душевное дѣло, которое тихонько, но безъ перерыва двигается, теплится въ человѣкѣ, помимо всѣхъ невзгодъ, всего шума, гама и сумятицы внѣшнихъ, переходящихъ явленій... Безъ этой вѣры нѣтъ ничего истинно-прочнаго, ничего истинно-великаго... И она же, эта вѣра въ свое душевное дѣло, неизмѣнно и прямо ведетъ къ всепрощенію, къ признанію правъ человѣческой личности, къ полному примиренію. Увы, господа, примиреніе почти всегда настаетъ для человѣка послѣ смерти, но въ настоящемъ случаѣ утѣшительно сознать, что примиреніе для Достоевскаго совершилось еще при жизни. Онъ не унесъ въ могилу горькой, ѣдкой мысли о неконченныхъ земныхъ счетахъ, онъ умеръ тихо, ясно, любовно, всѣми признанный и оправданный во всѣхъ путяхъ его жизни и дѣятельности... Оттого-то и наша скорбь о немъ не мрачна, не безотрадна, а облекается въ какія-то праздничныя одежды, обращается въ торжество всенароднаго признанія заслугъ геніальнаго человѣка... Въ виду его свѣжей могилы пожелаемъ, чтобы всѣ страждущіе, униженные и оскорбленные, бытописателемъ которыхъ былъ нашъ знаменитый художникъ, укрѣпляли и очищали правдой свое душевное дѣло, увѣровали въ завѣщанный жизнію Достоевскаго великій урокъ и дождались при жизни яснаго дня примиренія, возстановленія, всепрощенія — Свѣтлаго Христова Воскресенія, какъ сказалъ бы онъ самъ нашъ дорогой покойникъ.

Профессоръ В. С. Соловьевъ, между прочимъ, говорилъ:

„Всѣ мы сошлись здѣсь ради общей нашей любви къ Достоевскому. Но если Достоевскій всѣмъ намъ такъ дорогъ, значитъ всѣ мы любимъ то, что онъ самъ болѣе всего любилъ, что ему было всего дороже; значитъ мы вѣримъ въ то, во что̀ онъ вѣрилъ и что̀ проповѣдывалъ. А то зачѣмъ бы и приходить намъ сюда чествовать его кончину, если бы намъ было чуждо то, ради чего онъ жилъ и дѣйствовалъ? А любилъ Достоевскій прежде всего живую человѣческую душу во всемъ и вездѣ, и вѣрилъ онъ, что всѣ мы — рабы Божіи, вѣрилъ въ безконечную божественную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ внѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ. Воспріявъ въ свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и, преодолѣвъ все это безконечною силою любви и всепрощенія, Достоевскій во всѣхъ своихъ твореніяхъ возвѣщалъ эту побѣду. Извѣдавъ божественную силу души, пробивающуюся черезъ всякую человѣческую немощь, Достоевскій вѣрилъ въ Бога и въ Богочеловѣка. Дѣйствительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силѣ любви и всепрощенія, и эту же всепримиряющую и всепрощающую силу любви проповѣдывалъ онъ какъ основаніе для осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь.

„И мы, собравшіеся на могилѣ, чѣмъ лучшимъ можемъ выразить свою любовь къ нему, чѣмъ лучшимъ помянуть его, какъ если согласимся и провозгласимъ, что любовь Достоевскаго есть наша любовь и вѣра Достоевскаго — наша вѣра. Соединенные любовью къ нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила насъ и другъ съ другомъ. Тогда только воздадимъ мы достойное духовному вождю русскаго народа за его великіе труды и великія страданія“.

Студентъ Павловскій произнесъ на могилѣ слѣдующія слова:

„Еще нѣсколько минутъ — и эти мерзлыя глыбы навсегда придавятъ грудь человѣка, который всю жизнь бился за угнетенныхъ и униженныхъ, всю жизнь болѣлъ и страдалъ за исчезновеніе въ насъ правды и нравственнаго совершенства, за нашу бѣдную, нищую землю и ея права на самобытную, самостоятельную жизнь. Изъ рудниковъ Сибири принесъ онъ вѣсть о вѣчно живущихъ въ человѣкѣ, не умирающихъ въ немъ и тамъ, въ царствѣ живой смерти, его лучшихъ душевныхъ силахъ. У насъ не было другого подобнаго художника-психолога, который бы умѣлъ открыть Божью искру тамъ, гдѣ ея нельзя было и чаять. Онъ по преимуществу художникъ того горя-горькаго, безысходнаго, понять которое, войти въ суть котораго доступно было только тому, кто самъ перенесъ это горе, кто самъ на своей многострадальной груди перетерпѣлъ его, кто самъ былъ причисленъ къ паріямъ человѣчества и, въ цѣпяхъ, вдали отъ всего родного и живого, въ глухомъ рудникѣ, за каторжной работой изучалъ, слѣдилъ и любилъ несчастныхъ и ихъ душу. Онъ повѣдалъ намъ про этихъ несчастныхъ и жизнь ихъ внутренняго „я“. Онъ съ та-

кимъ глубокимъ анализомъ изслѣдовалъ всѣ изгибы ихъ больной души, съ такой фотографической точностью и правдой воспроизвелъ ихъ думы, что до подобной высоты не возвышался ни одинъ европейскій писатель. Онъ не захватываетъ душу слегка, не скользитъ по ней и не убѣгаетъ отъ нея. Нѣтъ... Онъ распластываетъ ее всю предъ нами наизнанку и тамъ, гдѣ не справился бы другой талантъ, онъ лишь мощно развертываетъ свои силы и вездѣ, и въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ", и въ этихъ тѣняхъ изъ „Мертваго Дома", и въ несчастномъ „Раскольниковѣ", вездѣ онъ съ вѣрой смотритъ на эти внутреннія силы, видитъ ихъ лишь изуродованными, но вездѣ въ нихъ онъ умѣетъ найти живущими лучшія силы человѣческой души. Изъ этой-то вѣры въ силы русской души вытекала у него вѣра и во всю нашу жизнь, въ нашъ народъ и нашу землю. „Наша земля нищая, но эту нищую землю исходилъ благословляя Христосъ" — и за эти-то глубоко правдивыя, за эти-то изъ изученія души русскаго человѣка въ ея несчастной обстановкѣ вытекавшія и полныя вѣры слова, наше либеральное тупоуміе набросилось на великаго страдальца и отравило его послѣдніе дни. Но, — нашъ родной, нашъ незабвенный! — если не при твоей жизни, такъ теперь, въ эти горькія минуты, здѣсь надъ твоимъ прахомъ позволь намъ повторить твои слова и раздѣляемую нами твою глубокую вѣру въ могучія силы родной Руси, въ нашу „нищую землю" съ ея Христовымъ идеаломъ.

„Не забудьте, далѣе, гг., что Достоевскій олицетворилъ для насъ идею нравственнаго совершенства, полную гармонію слова съ дѣломъ, поступковъ съ убѣжденіями. Думается, что онъ не произнесъ за свою жизнь ни единаго фальшиваго, не искренняго слова. Его печатная рѣчь была всегда призывомъ изстрадавшагося, изболѣвшаго человѣка, страстнымъ воззваніемъ къ лучшимъ чувствамъ человѣческой натуры. Его нравственно-изящный образъ недосягаемъ по своей высотѣ. Онъ будетъ всегда свѣтить намъ, молодежи, въ нашей жизненной борьбѣ, всегда будетъ говорить о возможности сохранить чистыми и неприкосновенными вѣру въ добро и чистоту души при всякой обстановкѣ и средѣ жизни... Мы будемъ приближаться къ тебѣ, нашъ родимый, и твой образъ будетъ ободрять насъ въ нашемъ тернистомъ и горькомъ пути.

„Понесемъ же, гг., отъ этой свѣжей могилы того генія добра, который слетѣлъ было, по призыву Ѳедора Михайловича, на всѣхъ присутствовавшихъ въ Москвѣ, во время его знаменитой, геніальной рѣчи... Этого генія затоптали потомъ и изгнали, замѣнивъ вседневными кумирами; но лучшей наградой покойному будетъ, если ему, этому генію добра, опять слетѣвшему къ намъ сегодня проводить своего усопшаго друга, мы не дадимъ улетѣть опечаленнымъ, и понесемъ съ собой въ наши дома и исполнимъ завѣтъ покойнаго, покончивъ наши дрязги и пререканія и въ дружной работѣ будемъ двигать общее святое дѣло.

„Смиримся же, гордые люди; покоримся, гордые люди, и правда и добро да будутъ съ нами по завѣту Ѳедора Михайловича Достоевскаго".

Приводимъ слова, сказанныя у могилы профессоромъ О. Ѳ. Миллеромъ:

„То, что̀ происходило на этихъ дняхъ, есть великое торжество человѣческаго духа. Вдохновеннымъ великимъ его исповѣдникомъ былъ покойникъ. Дѣло внутренняго самосовершенствованія, какъ первая основа усовершенствованія строя общественнаго, — вотъ что̀ онъ намъ проповѣдывалъ. Матеріализмъ и общественное служеніе несовмѣстимы — вотъ его исповѣданіе. Пребудемъ же всѣ ему вѣрны.

„Онъ имѣлъ — кто не знаетъ этого — громадное вліяніе на молодежь. Со всѣхъ сторонъ получаются — и мною и, конечно, другими — задушевныя выраженія горя о немъ — большею частію въ видѣ стихотвореній. Вотъ одно изъ нихъ — неизвѣстной слушательницы высшихъ женскихъ курсовъ:

Надъ гробомъ Ѳ. М. Достоевскаго.

Еще прибавилось одной
Безвременной могилой,
Еще про скорбь земли родной
Вѣщаетъ звонъ унылый.
Но если бъ могъ заговорить
Поэтъ нашъ незабвенный,
То онъ сказалъ бы: „Что тужить
„Объ этой жизни тлѣнной?
„Не плачьте, милые друзья,
„Горючими слезами!
„Хоть и въ гробу, живъ духомъ я
„И буду вѣчно съ вами.
„Пусть плоть навѣки умерла!
„Надъ духомъ смерть безсильна:
„Не даромъ сѣялъ я: взошла
„Мнѣ жатва изобильна.
„И эти слезы, что текутъ
„На прахъ мой бездыханный,
„Меня торжественнѣе чтутъ,
„Чѣмъ муръ благоуханный.
„Настанутъ дни, и вслѣдъ за мною
„Придутъ жнецы другіе
„И зерна, брошенныя мною,
„Сберутъ въ снопы густые“.

За недостаткомъ времени Ап. Ник. Майковъ не успѣлъ прочесть у могилы слѣдующія строки, вызванныя сегодняшнимъ грустнымъ событіемъ: „Мнѣ говорятъ, что я долженъ сказать что-нибудь передъ этой могилой. Но и теперь у меня слишкомъ сильно бьется сердце, — какъ и дома, когда хотѣлъ написать нѣсколько стиховъ покойному. Сорокъ почти лѣтъ дружбы, почти единомыслія сдѣлали бесѣду съ Достоевскимъ для меня *потребностью*. Объ немъ сказано и написано было много. Но не сказано, кажется, то, что для меня всегда казалось самымъ великимъ проявленіемъ его души. Это — *какимъ* онъ возвратился изъ Сибири. Не убитымъ, не озлобленнымъ, не *возгордившимся* ссылкой. Нѣтъ, *примиреннымъ* и *просвѣтленнымъ*. Тамъ онъ узналъ русскій народъ въ его историческомъ и человѣческомъ образѣ и по этому народу, войдя душой въ его душу, узналъ Христа, „а все это, говорилъ онъ, — такое благо, за которое немного заплатить каторгой“.

„Это-то примиреніе (или разумѣніе) и просвѣтлѣніе, это возрожденіе умомъ и сердцемъ и дало ту силу его таланту и ту мудрость его разуму, которыя сдѣлали его свѣтильникомъ для всѣхъ, жаждавшихъ свѣта и способныхъ его пріять“.

Слѣдующее стихотвореніе прочитано на могилѣ:

На смерть Ѳ. М. Достоевскаго[1]).

Тяжелый для Руси ударилъ смертный часъ,
И звукъ его въ сердцахъ болѣзненно отдался —
Великій человѣкъ безвременно угасъ,
Великихъ словъ потокъ безвременно прервался!
Усопшій геній нашъ! Въ душѣ своей чистѣйшей
Христовой правоты ученіе вмѣстилъ,—
И низшей братьѣ онъ, униженной, слабѣйшей
Глаголъ святой любви, участья возвѣстилъ!
Чье сердце, какъ его, любовью къ ближнимъ билось?
Кто могъ, какъ онъ, сердца на путь добра увлечь?
Предъ кѣмъ такъ, какъ предъ нимъ, все низкое таилось,
Почуявъ словъ его разящій, острый мечъ!...
Что насъ собрало здѣсь, предъ вырытой могилой,
Предъ прахомъ дорогимъ?... О, братья! этотъ часъ
Воочью показалъ съ неотразимой силой,
Что теплится любви святой огонь у насъ.
Что не померкъ въ душѣ, среди житейской смуты,
Тотъ свѣточъ правоты, что въ ней зажегъ самъ Богъ!...
О, братья! Велика торжественность минуты!...
А вызвать этотъ свѣтъ — Достоевскій лишь могъ!...
Раздвиньтеся гробы, отмѣченные славой,
Примите новый гробъ въ свой неподвижный рядъ,
Въ вашъ тихій сонмъ пришелъ вашъ геній величавый,
Къ кому сердца всѣхъ насъ любовію горятъ.
Усни же, геній нашъ! Не зависть здѣсь тебя,
А чистая любовь сердечная хоронитъ!...
Отсюда всякъ пойдетъ, въ душѣ своей скорбя,
А здѣсь на прахъ слезу горячую уронитъ!...

Александръ Арсеньевъ.

1 февраля 1881 г.
Кладбище Александро-Невскаго монастыря.

Кромѣ приведенныхъ рѣчей и стиховъ, на могилѣ Достоевскаго г. Гайдебуровъ прочелъ стихотвореніе; затѣмъ профессоръ Бестужевъ-Рюминъ говорилъ рѣчь, потомъ двое студентовъ читали стихи. Послѣднимъ закончилъ П. В. Быковъ, произнесшій пятистишіе:

Любя глубоко правды свѣтъ,
Ты самъ былъ свѣтъ намъ, наша сила!
Неволя дни твои сломила
Прими жъ прощальный нашъ привѣтъ:
„Пусть дастъ тебѣ покой могила“.

Изъ брош.: Ѳ. М. Достоевскій, 1881 г.

Некрологъ Достоевскаго.

Тяжкими испытаніями для русской литературы начался 1881 г. Не прошло и недѣли послѣ смерти А. Ѳ. Писемскаго, какъ намъ уже снова приходится заносить въ свою лѣтопись прискорбное извѣстіе о кончинѣ одного изъ талантливѣйшихъ и честнѣйшихъ русскихъ людей

---

[1]) Помѣщено въ „Игрушечкѣ“ № 6, 1881 г.

и писателей. Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій скончался 28 января, въ 8 час. 40 мин. вечера, скончался почти внезапно, послѣ двухдневной болѣзни. Вся Россія съ глубокою, искреннею скорбью узнаетъ объ этой утратѣ, столь неожиданно поразившей и безъ того слишкомъ тѣсный кружокъ передовыхъ дѣятелей нашей литературы; всѣ мыслящіе русскіе люди, всѣ, кому близки и дороги умственные интересы русскаго общества, безъ различія политическихъ убѣжденій, даже и тѣ, кому въ литературѣ приходилось выступить противниками Достоевскаго, одинаково назовутъ эту утрату тяжкою и невознаградимою.

Внѣшніе факты біографіи Достоевскаго, конечно, достаточно извѣстны. Его сочиненія читала и читаетъ вся Россія, давно по достоинству оцѣнившая и полюбившая его за ту глубокую жизненную правду, за тѣ высоко-гуманныя стремленія, которыми было проникнуто его творчество. „Записки изъ Мертваго дома“, отголосокъ пережитаго и передуманнаго авторомъ въ тяжелые годы его изгнанія „Униженные и Оскорбленные“ „Преступленіе и Наказаніе“, „Подростокъ“, „Идіотъ“, „Бѣсы“, наконецъ послѣдній, недавно вышедшій въ отдѣльномъ изданіи романъ „Братья Карамазовы“ — всѣ эти произведенія служатъ и долго будутъ служить высокимъ образцомъ необыкновенно тонкаго, вдумчиваго психологическаго анализа и глубокаго, искренняго чувства. Достоевскій не былъ и по натурѣ своей не могъ быть объективнымъ художникомъ; онъ слишкомъ много переиспыталъ и перечувствовалъ, чтобы отдаваться спокойному творчеству; къ героямъ своихъ произведеній онъ относится страстно, нервно, почти болѣзненно; онъ, можно сказать, переживаетъ ихъ жизнь, радуется ихъ скудными радостями, плачетъ ихъ обильными слезами, мучится ихъ душевными тревогами и сомнѣніями и, какъ замѣтилъ еще Добролюбовъ, вездѣ, въ самыхъ забитыхъ, нравственно-павшихъ, искалѣченныхъ жизнью существахъ ищетъ и находитъ живую душу, образъ и подобіе вѣчной правды.

Исканіе правды — исканіе страстное, тревожное, неудержимое, полное мукъ и сомнѣній, стремленіе уяснить себѣ и другимъ тотъ идеалъ, который могъ бы сдѣлаться непреложнымъ руководящимъ началомъ дѣятельности русскаго человѣка — таково было внутреннее содержаніе всей жизни Достоевскаго, — жизни, полной лишеній и страданій, борьбы съ горемъ и нуждою. Этому стремленію онъ отдавался всецѣло и беззавѣтно, служилъ ему честно и безкорыстно до гробовой доски. Безпощадная русская дѣйствительность, сломившая столь многихъ, чистыхъ душою, на первые тревожные запросы впечатлительнаго юноши, только что вступавшаго въ жизнь и въ литературу, отвѣтила кандалами каторжника и сѣрой шинелью солдата; одиннадцать лучшихъ лѣтъ молодости, полной силъ и надеждъ, проникнутой желаніемъ послужить благу родины — одиннадцать лѣтъ долженъ былъ отдать Достоевскій за то, что слишкомъ вѣрилъ въ людей, за то, что слишкомъ горячо любилъ ихъ... Но изъ этого тяжкаго испытанія онъ вышелъ съ прежнею любовью къ людямъ, съ прежнею вѣрою въ лучшее будущее, съ проповѣдью всепрощенія и внутренняго

нравственнаго самосовершенствованія. Онъ возвратился въ общество для новыхъ трудовъ и испытаній. Годы изгнанія и бѣдствія не могли, конечно, пройти даромъ; они оставили глубокій, неизгладимый слѣдъ въ душѣ Достоевскаго; ихъ вліяніемъ объясняется очень многое и въ его произведеніяхъ. Изображеніе болѣзненныхъ, явленій русской жизни, болѣзненныхъ, нравственно надломленныхъ натуръ, сильныхъ, но невѣрно направленныхъ житейскими условіями, стараніе обнаружить самые глубокіе тайники ихъ души и сердца, самыя сокровенныя побужденія ихъ поступковъ, логически послѣдовательно представить развитіе характера — все это, конечно, не даромъ сдѣлалось главной задачей творчества Достоевскаго; въ этомъ находила себѣ удовлетвореніе потребность высказать въ живыхъ, рельефныхъ образахъ все, что наболѣло на душѣ въ долгій срокъ отчужденія отъ общества и жизни среди его отверженцевъ, которыхъ мы если и жалѣемъ, то всегда очень скоро забываемъ, лишь только они уходятъ съ глазъ долой...

Другая потребность, жившая въ покойномъ писателѣ — потребность поставить волновавшіе его вопросы прямо, не въ беллетристической, а въ публицистической формѣ, заставила его предпринять въ 1876 г., ежемѣсячное изданіе „Дневникъ Писателя". Это изданіе, продолжавшееся два года, имѣло громадный успѣхъ, читалось и перечитывалось всѣми, вызывало газетную полемику и разъясненія автора, получавшаго множество самыхъ разнообразныхъ запросовъ. Если въ его сужденіяхъ, среди блестящихъ, истинно-талантливыхъ страницъ, слышалась иногда мысль, поражавшая своею странностью или ведущая къ нежелательнымъ выводамъ, если въ словахъ его звучала иногда невѣрно взятая нота, то каждый хорошо понималъ, что все это пишется и говорится прямо отъ души, искренно и безъ всякой задней мысли, безъ всякаго посторонняго соображенія. Безукоризненно честный и нравственно чистый труженикъ, Достоевскій, по натурѣ своей, былъ неспособенъ ни на малѣйшую сознательную фальшь, ни у кого не заискивалъ, ни передъ кѣмъ не сгибался; онъ прямо высказывалъ все, что есть на душѣ, всѣ свои мнѣнія и сомнѣнія, открывалъ читателямъ тотъ путь, по которому онъ думалъ притти къ своей постоянной и единственной цѣли — къ правдѣ. И если на этомъ трудномъ и тернистомъ пути онъ, какъ многіе упрекали его въ послѣднее время, иногда дѣлалъ невѣрный шагъ, то упрекъ этотъ раздѣлятъ съ нимъ, конечно, всѣ искатели истины.

Говоря это, мы имѣемъ въ виду, главнымъ образомъ, его знаменитую рѣчь на пушкинскомъ торжествѣ. Впечатлѣніе, ею произведенное, полемика, ею вызванная — у всѣхъ еще свѣжи въ памяти. Но, повторяемъ, даже литературные противники покойнаго преклонятся предъ свѣтлымъ нравственнымъ обликомъ этого человѣка, всю свою жизнь служившаго только правдѣ и добру, сумѣвшаго, несмотря на всѣ житейскія невзгоды, шестьдесятъ лѣтъ прожить честно, гордо и независимо.

Смерть застигла Достоевскаго почти внезапно, среди обычныхъ трудовъ, почти за письменнымъ столомъ. И странное, грустное впечатлѣніе производилъ этотъ неприбранный столъ въ небольшой квартиркѣ покойника,— столъ, заваленный книгами, бумагами, недописанными письмами, какъ-будто сидѣвшій за нимъ только ушелъ на минуту, сейчасъ придетъ опять и, взявъ перо, еще не успѣвшее засохнуть, будетъ продолжать свое дѣло... А онъ лежалъ тутъ же, въ сосѣдней комнатѣ, окруженный толпою, съ утра до вечера наполнявшею всю квартиру и желавшею въ послѣдній разъ взглянуть на того, кого такъ безвременно лишилось русское общество. *Морозовъ.*

Памяти Достоевскаго.

Мнѣ досталось счастіе быть очень близкимъ къ покойному Ѳедору Михайловичу въ послѣднія двадцать лѣтъ, особенно же въ началѣ этого времени. Я былъ постояннымъ и ревностнымъ сотрудникомъ журналовъ „Время“ и „Эпоха“; мы вмѣстѣ ѣздили за границей въ 1862 г., вмѣстѣ хоронили въ 1864 г. редактора этихъ журналовъ Михаила Михайловича Достоевскаго и ихъ главнаго критика Аполлона Григорьева; потомъ во время изданія „Зари“, когда Ѳедоръ Михайловичъ жилъ за границей, онъ былъ сотрудникомъ „Зари“, съ живѣйшимъ участіемъ слѣдилъ за этимъ журналомъ, и мы съ нимъ вели дѣятельную переписку; а когда онъ вернулся и былъ одинъ годъ редакторомъ „Гражданина“, я былъ усерднымъ вкладчикомъ этого журнала.

Въ началѣ этихъ годовъ, когда мы жили въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга и занимались исключительно журнальною работою, мы видались каждый день, и даже не разъ въ день; мы разговаривали безъ конца и такъ сговорились, что и до послѣдняго времени ни съ кѣмъ другимъ я не могъ вести такихъ живыхъ и разнообразныхъ разговоровъ, какіе у насъ неудержимо начинались при каждой встрѣчѣ.

Мнѣ нельзя не гордиться былымъ расположеніемъ такого человѣка, и я постоянно чувствовалъ къ нему и не перестану чувствовать глубокую благодарность за одобреніе, которымъ онъ меня встрѣтилъ; оно было безконечно дорого для начинающаго и оно постоянно внушало мнѣ радость и бодрость. Но я вовсе не хочу о себѣ говорить; я хотѣлъ только оправдать передъ вами свою смѣлость и объяснить, почему могли пожелать отъ меня какихъ-нибудь воспоминаній о дорогомъ покойникѣ. Я познакомился съ Ѳедоромъ Михайловичемъ въ концѣ 1859 г. Настроеніе кружка, въ который я тогда вступилъ, во многомъ для меня было ново и неожиданно. Это было одно изъ знаменитыхъ направленій *сороковыхъ* годовъ, направленіе, очевидно сложившееся подъ вліяніемъ французской литературы. Теперь, издали, совершенно понятно мугущество, съ которымъ отразилась на насъ нѣкогда духовная жизнь Европы. Между 1830 и 1848 г., между іюльской и

февральской революціей, Европа пережила едва ли не самую счастливую эпоху своей исторіи. Это было время надеждъ и вѣрованій, предшествующее жестокимъ разочарованіямъ. Въ настоящее время Европа потеряла свои идеалы; ея политическая жизнь, и именно съ 1848 г., все больше и больше проникается матеріализмомъ; и въ нравственномъ и въ умственномъ отношеніи она несомнѣнно дичаетъ, несмотря на всякіе успѣхи. Но не то было въ счастливую эпоху до 1848г .; Европа крѣпко вѣрила въ себя; ея политическія мечтанія были свѣтлы и радостны, къ нимъ не примѣшивалось никакой мысли о крови и огнѣ; литература, поэзія, философія были исполнены жизни и стремились подняться къ какимъ-то недосягаемымъ высотамъ. Франція какъ всегда, занимала первое мѣсто по жизненности и опредѣленности своихъ стремленій. Понятно, почему подобный расцвѣтъ европейской жизни долженъ былъ сильно подѣйствовать на насъ, вѣчныхъ учениковъ Европы; впослѣдствіи я часто, однако же, удивлялся, что въ 1859 г. когда Европа давно уже вступила въ свой нынѣшній безрадостный періодъ, у насъ продолжало жить и дѣйствовать, и долго увлекало меня самого одно изъ минувшихъ европейскихъ настроеній. Очевидно, мы всегда отстаемъ отъ Европы, отстаемъ потому, что не живемъ ея жизнію, а беремъ отъ нея только мысли, которыя часто сохраняемъ навсегда, оставаясь глухи и нѣмы къ новымъ урокамъ нашей учительницы.

Въ томъ настроеніи 1859 г., о которомъ я говорю, я могу указать на двѣ черты, отразившіяся очень ясно на дѣятельности Достоевскаго. Во-первыхъ, проповѣдывалась совершенная гуманность къ человѣческимъ слабостямъ и даже преступленіямъ. Сожалѣніе къ людямъ, объясненіе ихъ дурныхъ поступковъ изъ обстоятельствъ и строя общества, прощеніе всего того, что̀ не составляло прямо злого нарушенія чужой безопасности, словомъ безграничная мягкость отношеній считалась неизмѣннымъ правиломъ. Во-вторыхъ, литературѣ, художеству давалась опредѣленная задача. Художникъ долженъ быть въ сущности политикомъ и публицистомъ; онъ обязанъ слѣдить за развитіемъ общества, схватывать образы новыхъ и новыхъ типовъ, которые въ немъ зарождаются, и показывать ихъ корни, объяснять источники того зла и добра, которыя они въ себѣ представляютъ. Проповѣдь извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ, вмѣшательство въ вопросы минуты — вотъ что̀ ставилось главнымъ правиломъ.

Скажу прямо, что оба правила были вредныя, и мнѣ довелось потомъ видѣть жестокій вредъ, испытанный отъ нихъ нѣкоторыми членами литературныхъ кружковъ. Это одно изъ самыхъ яркихъ уроковъ моей литературной жизни. Правила эти вредны не потому, что они невѣрны, а потому, что они неполны, недостаточны, что ихъ слѣдуетъ дополнить такими прибавками, которыя важнѣе самихъ правилъ. Казалось бы, что можетъ быть лучше гуманности? Или что̀ можетъ быть интереснѣе такого художественнаго произведенія, въ которомъ ясно и глубоко отразилась современная минута? Между тѣмъ гуманность безъ руководящихъ началъ ведетъ часто къ распущенности

нравовъ, какъ это было во времена цезарей и въ XVIII вѣкѣ. Одного снисхожденія къ людямъ, одного сожалѣнія къ ихъ страданіямъ мало; нужно еще знать, за что́ любить людей, нужно понимать, въ чемъ красота и достоинство души человѣческой. Точно такъ художникъ только тогда можетъ дѣйствительно служить минутѣ, когда у него крѣпки на душѣ начала, годныя на вѣки вѣчные. А иначе, какъ это часто и бывало, онъ будетъ не учителемъ, а рабомъ минуты.

Что̀ касается Достоевскаго, то при своей удивительной широтѣ ума и сердца онъ никогда вполнѣ не подчинялся односторонности своего направленія. И чѣмъ дальше онъ дѣйствовалъ, т.-е. писалъ, тѣмъ яснѣе у него выступали другія, истинныя начала. При концѣ своей жизни онъ прямо высказывался за формулу *искусства для искусства*, т.-е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно такъ же уже давно всѣ общественные идеалы онъ подчинилъ одному вѣковѣчному идеалу *Христа*. Съ Достоевскимъ случилось то же, что̀ совершается вотъ уже болѣе столѣтія со всѣми нашими крупными писателями: всѣ они начинали съ того, что увлекались *чужимъ*, и всѣ потомъ возвратились *къ своему*. Такъ было отчасти съ Фонвизинымъ и очень ясно съ Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ. Достоевскій въ этомъ отношеніи — новый соблазнъ нашимъ западникамъ, новый и огромный поводъ къ раздраженію противъ русской литературы.

Эти внутренніе перевороты, совершающіеся у насъ съ лучшими душами, часто называютъ измѣной, отступничествомъ; но едва ли на комъ такъ ясно можно видѣть, какъ на Достоевскомъ, что часто все дѣло тутъ только въ развитіи, въ раскрытіи задатковъ, лежавшихъ въ натурѣ человѣка, а не въ перемѣнѣ однѣхъ чужихъ мыслей на другія — чужія же. Съ первой своей повѣсти и до конца Достоевскій остался однимъ и тѣмъ же; ему нельзя было измѣниться, потому что уже въ этомъ первомъ произведеніи вылилась его душа, сказался весь складъ его пониманія жизни. Отъ природы этой души зависѣло то, какія именно вліянія на нее дѣйствовали. И онъ нашелъ вокругъ себя вліянія, поставившія его на его прекрасный путь, на тотъ русскій и христіанскій путь, который возбудилъ такое широкое и глубокое сочувствіе. Двѣ главныя силы спасли его отъ всякихъ односторонностей и дали высокое и чистое направленіе его таланту: одна сила была русская литература, другая — русскій народъ, т.-е. простой народъ. Когда я узналъ Достоевскаго, онъ былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина и Гоголя. Онъ и тогда любилъ читать тѣ самыя стихотворенія Пушкина, которыя потомъ читалъ на пушкинскомъ праздникѣ. Но тогда, въ тѣ молодые годы, онъ читалъ хуже, читалъ нѣсколько подавленнымъ голосомъ; въ этотъ же послѣдній годъ онъ достигъ такой твердости тона и мастерства выраженія, что я изумлялся: часто это было совершенство въ своемъ родѣ. Послѣ торжества, которое онъ одержалъ на пушкинскомъ праздникѣ, я часто думалъ: это торжество досталось ему по всѣмъ правамъ, потому что, безъ сомнѣнія, во всей

этой толпѣ писателей и слушателей онъ *больше всѣхъ* любилъ Пушкина. На Гоголѣ же онъ былъ воспитанъ, какъ все поколѣніе, къ которому принадлежалъ, поколѣніе, для котораго литература имѣла въ тысячу разъ больше значенія, чѣмъ для нынѣшнихъ поколѣній.

Пушкинъ и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замѣчательнымъ образомъ отразились уже въ первой повѣсти Достоевскаго, въ „Бѣдныхъ Людяхъ". Именно тутъ прямо и ясно выражено, что авторъ не вполнѣ доволенъ Гоголемъ и что прямымъ своимъ руководителемъ онъ признаетъ только Пушкина. Тутъ выведенъ на сцену чиновникъ, очень похожій на героя „Шинели" и „Записокъ Сумасшедшаго". Знакомая этого чиновника даетъ ему прочесть „Станціоннаго Смотрителя"; тотъ очень хвалитъ повѣсть и жалѣетъ о бѣдномъ смотрителѣ. Потомъ та же знакомая посылаетъ Макару Дѣвушкину (такъ зовутъ героя „Бѣдныхъ Людей") „Шинель" Гоголя; Дѣвушкинъ обижается, узнавъ себя въ такомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою добрѣйшую знакомую, горюетъ, напивается пьянъ и подвергается всякимъ бѣдамъ и оскорбленіямъ. Такимъ образомъ безпощадная иронія Гоголя осуждена, какъ слишкомъ жестокое, сухое отношеніе къ людямъ. Еще болѣе она осуждается тѣмъ, какъ изображенъ самъ Дѣвушкинъ. Между тѣмъ, какъ у Гоголя выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макаръ Дѣвушкинъ, этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ и не догадывается. Между тѣмъ какъ никто въ мірѣ не пожелалъ бы быть Акакіемъ Акакіевичемъ или Поприщинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Дѣвушкина, всякій долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты.

Таковъ былъ первый шагъ Достоевскаго, сдѣланный еще въ 1846 г. Это была смѣлая и рѣшительная *поправка* Гоголя, существенный, глубокій поворотъ въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что поправка Гоголя была необходима [1]), что ее неминуемо должна была сдѣлать наша литература и дѣлаетъ ее до сихъ поръ, что въ извѣстномъ смыслѣ и всѣхъ другихъ нашихъ крупныхъ писателей, Островскаго, Л. Н. Толстого, можно считать поправкою Гоголя, можно въ этомъ видѣть главную ихъ оригинальность. Достоевскій началъ первый.

Да, не даромъ тосковалъ Гоголь, не даромъ усиливался создать что то новое. То напряженно-чуткое настроеніе, въ которомъ Гоголю такъ ясно открывалась пошлость существующаго, было слишкомъ напряжено. Непобѣдимое отвращеніе поднималось въ немъ при видѣ безобразія и безсмыслія русской жизни, этой жизни, въ которой все хорошее стыдливо и упорно прячется въ глубину, тогда какъ пошлое

---

[1]) *Примѣчаніе прибавленное* въ „Руси". „Не *поправка*, а *дополненіе*, движеніе впередъ по открытому, намѣченному Гоголемъ пути. Мы предоставляемъ себѣ высказать когда-нибудь свое слово о Гоголѣ. *Ред.*"

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ И. С. Аксаковъ не успѣлъ высказать свои мысли о столь любимомъ имъ писателѣ. Мы хотѣли пока обратить лишь вниманіе читателей на то, что здѣсь именно заключается существенный вопросъ, важнѣйшій пунктъ дѣла. *Н. С.*

и грязное щеголяетъ на виду и всѣмъ мечется въ глаза. Конечно, Гоголь лилъ тѣ *тайныя слезы*, о которыхъ онъ говоритъ; но это были слезы сожалѣнія восторженнаго идеалиста, а не слезы любви. И чѣмъ больше мы станемъ вникать въ смыслъ всей послѣ гоголевской литературы, которую начинаетъ собою Достоевскій, тѣмъ намъ яснѣе будетъ и коренной недостатокъ Гоголя и вся настоятельная потребность, которую чувствовали наши художественные писатели — избѣжать односторонности и пойти по новому пути.

Пусть простятъ мнѣ эти указанія на развитіе нашей литературы. Художественная дѣятельность была для покойнаго главнымъ, первымъ дѣломъ въ жизни, и если мы хотимъ почтить его память, соблюсти его завѣтъ, то прежде всего, больше всего намъ слѣдуетъ вникать въ глубину и духъ его художественной дѣятельности и беречься, какъ бы не истолковать этой дѣятельности въ неправильномъ смыслѣ. Примѣръ того, что сталось съ Гоголемъ, навѣки поучителенъ. Настроенія, господствующія въ нашемъ обществѣ, предубѣжденія, которыми оно постоянно заражено, отсутствіе твердыхъ началъ, которыя сдерживали бы шатаніе мыслей и душъ, все это производитъ то, что самое чистое и простое явленіе у насъ подвергается самымъ страннымъ перетолкованіямъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и Достоевскій будетъ перетолкованъ; на немъ станутъ строить такіе выводы, и его произведеніями будутъ питать такія чувства, которыя глубоко противорѣчатъ его истиннымъ мыслямъ и чувствамъ. Умы нашей интеллигенціи слишкомъ привыкли ходить по извѣстнымъ колеямъ и будутъ на нихъ сбиваться, несмотря на сильнѣйшія потрясенія. Есть два чувства, привычныя для нашихъ образованныхъ людей и обыкновенно питающія ихъ душевную жизнь, сверхъ житейскихъ интересовъ: одно — чувство негодованія, такъ называемаго благороднаго негодованія, на всякое зло и безобразіе, и другое — чувство сожалѣнія къ Россіи, сострадательное созерцаніе ея скудости и жалкой участи. Оба чувства — очень хорошія, но, къ несчастью, отдѣленныя слишкомъ тонкою чертою отъ дурныхъ чувствъ: негодованіе граничитъ съ озлобленіемъ, а сожалѣніе съ высокомѣріемъ, такъ что часто люди, повидимому, постоянно предающіеся самому благородному настроенію, въ сущности, даже сами того не замѣчая, питаютъ лишь свои дурныя свойства и только изъ нихъ почерпаютъ все свое видимое благородство. О Достоевскомъ могу твердо свидѣтельствовать, что онъ былъ безупреченъ въ этомъ отношеніи, что никогда онъ не измѣнялъ уваженію къ великой родинѣ и никогда негодованіе у него не могло перейти въ озлобленіе. Въ этомъ онъ истинный образецъ для насъ. Онъ ли не потерпѣлъ отъ существовавшихъ порядковъ? Но изъ страданій, которыя онъ перенесъ, онъ не вынесъ ни малѣйшаго озлобленія и не выводилъ даже права на тотъ особый авторитетъ, который у насъ общество приписываетъ пострадавшимъ, и который часто присвоиваютъ себѣ пострадавшіе. Онъ вовсе не хотѣлъ быть въ чьихъ нибудь глазахъ страдальцемъ и, бывало, сердился, когда съ нимъ начинали рѣчь въ такомъ смыслѣ. Обыкно-

венный тонъ его былъ веселый и бодрый, тотъ неподражаемо-прекрасный тонъ, который онъ часто бралъ потомъ въ своемъ „Дневникѣ“, когда разсуждалъ о самыхъ тяжелыхъ и больныхъ вопросахъ. Въ то время, около 1860 г., были въ ходу, какъ и теперь, литературныя чтенія, и Ѳедоръ Михайловичъ иногда читалъ на нихъ отрывки изъ „Мертваго Дома“, только что написаннаго. Однажды, по поводу такого чтенія, онъ сказалъ мнѣ: „Знаете ли, мнѣ всегда немножко непріятно читать изъ „Мертваго Дома“; выходитъ такъ, какъ будто я все жалуюсь публикѣ, все жалуюсь, — это нехорошо“.

Вообще въ немъ было поразительное развитіе личности, необыкновенная душевная энергія. Мнѣ довелось видѣть его въ самыя тяжелыя минуты, послѣ запрещенія журнала, послѣ смерти брата, въ жестокихъ затрудненіяхъ отъ долговъ — онъ никогда не падалъ духомъ до конца, и, мнѣ кажется, нельзя представить себѣ обстоятельствъ, которыя могли бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, при чемъ онъ обыкновенно не сдерживался, а предавался вполнѣ своимъ волненіямъ. Какъ будто одно другому не только не мѣшало, а даже способствовало. Прямо изъ его собственной души говоритъ одинъ изъ его героевъ, Дмитрій Карамазовъ: „столько во мнѣ силы, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ поминутно: я есмь! Въ тысячѣ мукъ — я есмь; въ пыткѣ корчусь, но есмь!“ („Братья Карамазовы“, т. II, стран. 411).

Въ своей литературной дѣятельности онъ также проявилъ живучесть и энергію, какъ никто другой. У него были періоды ослабленія дѣятельности, какъ будто упадка; но потомъ онъ вдругъ подымался выше прежняго и показывался съ новой стороны. Такихъ подъемовъ можно насчитать четыре: первый — „Бѣдные Люди“, второй — „Мертвый Домъ“, третій — „Преступленіе и Наказаніе“, четвертый — „Дневникъ Писателя“. Подъемы эти были поразительны для самыхъ близкихъ къ нему людей: въ немъ былъ неистощимый запасъ силъ, что-то загадочное, не подчинявшееся обыкновенной постепенности развитія.

Новые образы, новые планы романовъ, новыя задачи являлись у него безпрестанно, осаждали его. Это даже мѣшало ему работать, и иные изъ его романовъ составляютъ цѣлые клубки переплетшихся между собою темъ. Конечно, онъ написалъ только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ иногда въ себѣ многіе годы; нѣкоторые онъ разсказывалъ подробно и съ большимъ увлеченіемъ; а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ разработать, у него конца не было.

И вотъ онъ неутомимо изображаетъ тѣ лица и картины, которыя составили его славу. Онъ рисуетъ чудесныя идилліи среди величайшей грязи; благородство, нѣжность, великодушіе въ пошлѣйшей обстановкѣ; онъ не дѣлаетъ своихъ лицъ, какъ Викторъ Гюго, театральными героями, не заставляетъ ихъ совершать чудесъ и подвиговъ; онъ твердо держится строгаго реализма, завѣщаннаго Гоголемъ, но въ вели-

чайшемъ безобразіи умѣетъ видѣть человѣческія черты. Онъ идетъ далѣе: онъ выводитъ предъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идіотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, и изображаетъ ихъ душевную жизнь съ удивительною точностью и объективностью, но онъ, какъ Диккенсъ, признаетъ за всѣми ими человѣческія права; онъ не ставитъ ихъ въ положеніе не людей, такихъ существъ, которыя должны быть чужды нормальному человѣческому обществу: у него „Идіотъ" выходитъ лучше самыхъ здравомыслящихъ людей. На этомъ пути Достоевскій шелъ очень далеко: страшно было видѣть (по крайней мѣрѣ я иногда не могъ воздержаться отъ страха), какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія (это его собственное слово). Но онъ выходитъ изъ нихъ невредимо, т.-е. не утрачивая мѣрила добра и зла, красоты и безобразія.

О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Несмотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ (не въ цѣломъ, которое весьма было стройно и ясно, а въ частяхъ), несмотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія. Бредъ идіота и сумасшедшаго, муки преступника и самоубійцы, лихорадочные сны, галлюцинаціи — все было понятно и ясно. Читатель съ жадностью слѣдилъ за мыслями и чувствами лицъ, о которыхъ никогда не имѣлъ понятія, и съ изумленіемъ видѣлъ, какъ эти мысли и чувства отражаются въ его собственной душѣ.

И такъ, страданіе, отчаяніе, преступленіе, болѣзнь — вотъ постоянныя темы Достоевскаго. А въ чемъ же главное поученіе, какой выводъ? Неужели опять — уныніе и злоба? О нѣтъ, это ясно всѣмъ до очевидности. Надъ гробомъ покойнаго, на этомъ великомъ торжествѣ его похоронъ, великомъ по своей искренности, безпрерывно раздавались слова, сами собой приходившія на умъ при воспоминаніи о его дѣятельности. Эти слова: *прощеніе, любовь.* Думаю, что это высшая честь изъ всѣхъ, возданныхъ покойнику.

Идеалъ христіанина — вотъ та господствующая мысль, которую онъ такъ смѣло и горячо проповѣдывалъ въ своемъ „Дневникѣ", которую прямо выразилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ и которая особенно ясно установилась въ его душѣ, кажется, во время его четырехлѣтняго житья за границей (1868—1871 гг.). Въ 1869 г. онъ писалъ изъ Флоренціи: „Сущность русскаго призванія состоитъ въ разоблаченіи предъ міромъ русскаго Христа міру невѣдомаго и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По-моему, въ этомъ вся сущность нашего будущаго цивилизаторства и воскресшія хоть бы всей Европы и вся сущность нашего могучаго будущаго бытія. Но въ одномъ словѣ не выскажешься, и я напрасно даже заговорилъ". (Письмо 1869 г. 30 (18) марта.)

Въ идеалѣ Христа онъ нашелъ такимъ образомъ оправданіе своей всегдашней любви къ простому русскому народу и нашелъ высшій смыслъ своего горячаго патріотизма. Любовь къ простому народу, къ *почвѣ*, какъ говорилъ Достоевскій, есть знаменательное явленіе въ нашей литературѣ вообще; сознаніе духовной красоты и духовнаго здоровья, которыя народъ сохранилъ, а мы утратили, давно у насъ зародилось и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Достоевскій, по всему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красотѣ, былъ всегда, какъ Пушкинъ, поклонникомъ простого народа. „Записки изъ Мертваго Дома", въ которыхъ съ такимъ сочувствіемъ нарисованы народные типы, написаны раньше, чѣмъ онъ могъ назвать себя славянофиломъ, какъ называлъ въ послѣдніе годы. А еще раньше, до ссылки, написана повѣсть „Хозяйка", такъ разсердившая нашихъ западниковъ.

Такому человѣку, конечно, долженъ былъ открыться и главный нервъ народной жизни, высокій идеалъ святости, подчиняющій себѣ весь нравственный складъ народа, дающій этому народу такую несокрушимую жизненность и крѣпость. Вотъ тотъ послѣдній и высшій авторитетъ, которому подчинился Достоевскій, вотъ самое важное изъ вліяній, имѣвшихъ на него дѣйствіе, вотъ окончательная дорога, къ которой пришло это развитіе. Когда онъ вернулся изъ-за границы, гдѣ онъ жилъ почти уединенно со своею семьею, безъ развлеченій и дѣлъ (хотя въ большихъ затрудненіяхъ и трудахъ), онъ принесъ съ собою то настроеніе глубокаго умиленія, въ которое привело его долгое погруженіе въ этотъ строй мыслей. Были минуты, когда онъ и выраженіемъ лица и рѣчью походилъ на кроткаго и яснаго отшельника. Да, онъ былъ христіаниномъ, онъ ясно зналъ тотъ идеалъ, къ которому нужно стремиться прежде всего другого.

Это тотъ путь, по которому идутъ простыя души и къ которому, какъ мы видимъ, приходятъ и самыя одаренныя души, иногда долго блуждавшія по другимъ путямъ. Всѣ знаютъ уже, что идеалъ Христа сталъ высшимъ идеаломъ и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были тѣ же, какъ у Достоевскаго. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатіею своего великаго художественнаго чувства былъ направленъ и устремленъ къ народу, и долгое и любовное созерцаніе народа открыло ему идеалъ, которымъ живетъ народъ. Это совпаденіе съ Достоевскимъ было поразительно. Они не были знакомы другъ съ другомъ, но въ послѣднее время оба все собирались познакомиться. Позволю себѣ привести нѣсколько строкъ изъ письма Л. Н. Толстого, писаннаго ко мнѣ въ концѣ сентября прошлаго года. „Я не понимаю", писалъ онъ, „жизни въ Москвѣ тѣхъ людей, которые сами не понимаютъ ее. Но жизнь большинства, — мужиковъ, странниковъ и еще кое-кого, понимающихъ свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю. Я продолжаю работать надъ тѣмъ же, и кажется не безполезно. Надняхъ нездоровилось, и я читалъ „Мертвый Домъ". Я много забылъ, перечиталъ и не знаю лучше книги изъ всей новой

литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна, — искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю". (Письмо 1880 г., 26 сентября.)

Я принесъ это письмо Өедору Михайловичу, и это была одна изъ прекрасныхъ минутъ и для него и для меня, какъ свидѣтеля.

Итакъ, въ любви къ народу, переходящей въ преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается дѣятельность двухъ нашихъ лучшихъ художниковъ слова.

Отсюда намъ всего яснѣе открывается и смыслъ произведеній Достоевскаго. Кромѣ общей симпатіи ко всѣмъ „униженнымъ и оскорбленнымъ", у него, особенно во второй половинѣ дѣятельности, является опредѣленная задача — изобразить больныя стороны нашего общества, оторваннаго отъ народа. Онъ выводитъ намъ два ряда типовъ: „нигилистовъ", явившихся въ послѣдніе десятки лѣтъ, и предшествовавшихъ имъ „людей сороковыхъ годовъ". Такъ и въ послѣднемъ романѣ драма идетъ между отцомъ Карамазовымъ, принадлежащимъ къ сороковымъ годамъ, и между его дѣтьми-нигилистами, Иваномъ и Смердяковымъ. И вотъ съ безподобною глубиною и тонкостью Достоевскій рисуетъ намъ извращеніе этихъ душъ, искаженіе ихъ нашимъ такъ называемымъ просвѣщеніемъ. И здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, наибольшая доля сочувствія принадлежитъ молодому поколѣнію, именно Ивану, въ которомъ изображена серьезная, искренняя преданность своимъ убѣжденіямъ, хотя и превратнымъ, увлеченіе, доходящее до поэзіи и грандіозности. Нельзя не замѣтить, что меньше всего Достоевскій щадилъ людей сороковыхъ годовъ; ихъ онъ какъ-будто уже не прощалъ и выставлялъ или рѣзко-комическими, какъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій въ „Бѣсахъ", или рѣзко отвратительными, какъ живьемъ схваченная фигура Өедора Павловича Карамазова. Къ нигилистамъ же онъ отнесся, можно сказать, съ отеческою скорбью, съ отеческимъ состраданіемъ. Молодое поколѣніе мало-по-малу поняло, съ какимъ сердцемъ онъ къ нему обращался, и отвѣчало заявленіями своей любви.

Но тутъ яснѣе, чѣмъ въ другихъ романахъ, Достоевскій поставилъ и положительную сторону дѣла. Не вся же Россія состоитъ изъ прогнившихъ западниковъ, какъ Өедоръ Павловичъ, и изъ безмѣрно-дерзкихъ умомъ нигилистовъ, какъ его сынъ Иванъ. Отцеубійство совершено несчастнымъ Смердяковымъ, грѣхъ котораго долженъ равно пасть и на его отца и на брата Ивана, сбившаго съ пути жалкое созданіе. Но кромѣ ихъ есть еще Дмитрій Карамазовъ, ординарный русскій человѣкъ, грубый богатырь, въ которомъ много зла, но много и добра, и который отвѣчаетъ собою за чужія вины. Есть еще и задатки будущаго — благочестивый и чистый сердцемъ Алеша. Да и Иванъ, любимецъ автора, Иванъ, который въ душѣ, въ мысли, убилъ отца, какъ нигилисты въ мысли совершаютъ покушеніе на убійство

нашего царства. Иванъ пораженъ своею совѣстью, какъ громомъ, и, если онъ выздоровѣетъ, онъ опомнится и станетъ другимъ человѣкомъ. Вотъ гдѣ намъ слѣдуетъ искать поученія. Будемъ сильны и бодры, и несокрушимы никакой бѣдой, какъ Дмитрій Карамазовъ. При всѣхъ нашихъ безобразіяхъ, при всѣхъ претерпѣваемыхъ несправедливостяхъ, будемъ чисты отъ ненависти и преступленія. Научимся, если придется, терпѣть за чужія вины и прощать, потому что онъ правду говоритъ: „Всѣ за всѣхъ виноваты“.

Это черты настоящаго русскаго духа, того духа, которымъ живетъ, и растетъ, и навѣки могуча Русская земля. Будемъ любить Россію тою любовью, которая дышитъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, научимся смотрѣть на нее не съ униженностью, какъ ея рабы, и не съ высокомѣріемъ, какъ ея господа и учителя, а съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ сыновья смотрятъ на мать. Постараемся „возродиться“, какъ замышляетъ Дмитрій Карамазовъ, воспитать въ себѣ „новаго“ человѣка, чтобы имѣть право на такія сыновнія отношенія, чтобы сталъ и для насъ идеаломъ идеалъ Христа, наполняющій собою душу нашей великой родины. Такъ, мнѣ думается, завѣщалъ намъ Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій.

Приведу еще нѣсколько строкъ изъ письма, полученнаго мною на-дняхъ отъ Л. Н. Толстого. Его здѣсь нѣтъ, но пусть и онъ участвуетъ въ нашихъ поминкахъ.

„Какъ бы я желалъ умѣть сказать все, что̀ я чувствую о Достоевскомъ! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видалъ этого человѣка и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я понялъ, что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ. И никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ нимъ, никогда. Все, что̀ онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что̀ онъ дѣлалъ), было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ тоже, но дѣло сердца — только радость. Я его такъ и считалъ своимъ другомъ, и иначе не думалъ, какъ то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдругъ читаю — умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся, а потомъ стало ясно, какъ онъ мнѣ былъ дорогъ, и я плакалъ, и теперь плачу. На-дняхъ, до его смерти, я прочелъ „Униженные и Оскорбленные“ и умилялся“. *Страховъ.*

Затѣмъ слѣдовала рѣчь О. Ѳ. Миллера.

Милостивые Государи!

Никогда еще торжественныя собранія славянскаго общества не были такъ многолюдны, какъ нынче! Этимъ множествомъ не только своихъ сочленовъ, но и множествомъ гостей мы обязаны грустной злобѣ дня — поминовенію Ѳ. М. Достоевскаго, вслѣдъ за столькими другими поминовеніями, справляемому въ томъ обществѣ, которое имѣло счастье въ послѣднее время считать его товарищемъ предс[illegible]

Была полоса, когда къ намъ стекались толпой — не сразу такой многолюдной, но зато постоянной, не оскудѣвавшей ни въ одинъ изъ тѣхъ трехъ дней въ недѣлю, въ которые собирались особо избранная комиссія славянскаго общества, стремившаяся откликнуться на запросъ, сказавшійся въ самомъ русскомъ обществѣ, въ цѣломъ обществѣ. То было лѣто 1876 г. — пора сербской войны и русскаго добровольчества. Ѳедоръ Михаиловичъ Достоевскій, при свойственной ему всегда прозорливости психолога и наблюдателя нравовъ, провидѣлъ, конечно, уже тогда, что такое необычайное одушевленіе неизбѣжно должно у насъ смѣниться настроеніемъ прямо противоположнымъ. Не даромъ писалъ онъ еще въ 60-хъ годахъ: „Увизжаться и прорваться отъ восторга — это у насъ самое первое дѣло; смотришь — года черезъ два и расходимся вновь, повѣсивъ носы“ [1]). Со славянскими восторгами оно у насъ вышло такъ даже какихъ-нибудь *мѣсяца* черезъ два. Но Достоевскій никогда не унывалъ и не падалъ духомъ, при всей впечатлительности и болѣзненной нервности своей природы. Твердый въ своихъ славянскихъ сочувствіяхъ, онъ вѣрилъ, что общество наше рано или поздно уже прочнымъ образомъ вернется къ нимъ. Дѣло въ томъ, что для него эти сочувствія не представлялись только мимоходною данью и этого рода благотворительности, данью, вызванною приглашеніемъ на то со стороны какихъ-нибудь добрыхъ знакомыхъ. Славянскія сочувствія не могли не выдвинуться у него прямо на первый планъ, ибо къ нимъ неибѣжно приводили его задушевныя основы его направленія.

Достоевскій сталъ съ самаго начала и навсегда остался честнѣйшимъ, а потому и вполнѣ послѣдовательнымъ адвокатомъ всѣхъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Могъ ли онъ не почувствовать въ себѣ неотразимаго призыва на защиту униженныхъ и оскорбленныхъ народностей? А не такими ли издавна явились въ Европѣ славяне всѣхъ отраслей (за исключеніемъ развѣ поляковъ — но вѣдь и тѣ приголубливались ею лишь лицемѣрно, въ пику Россіи). Не такими ли окончательно оказались славяне передъ послѣдней турецкой войной, а еще болѣе послѣ нея — въ лицѣ самихъ побѣдителей русскихъ, обратившихся въ подсудимыхъ на Берлинскомъ конгрессѣ? Но дѣло въ томъ, что мы вѣдь и сами себя издавна унижали и оскорбляли. Мы сами забивали себя, свою народную личность, отрекаясь отъ своей исторіи, представлявшейся намъ какою-то „глуповщиной“, еще задолго до употребленія этого слова сатирикомъ. Между тѣмъ Достоевскій любилъ и умѣлъ выставлять не вполнѣ забитыми самыхъ маленькихъ, самымъ даже несчастныхъ людей, хотя ему приходилось подчасъ, съ болью въ сердцѣ, выставлять ихъ и вполнѣ опустившимися. Каково же было ему узнавать черты самой глубокой опущенности и приниженности въ русскомъ обществѣ — тѣмъ болѣе вызывавшемъ у него жалость, что само оно, это общество, не чувствовало своего

---

[1]) „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“, глава 3.

положенія, а напротивъ того въ этой народной своей обезличенности видѣло какую-то благовоспитанную печать европейскаго благородства. Каково было ему замѣчать, какъ, гордое этою печатью, оно унижало и оскорбляло родной народъ, видя въ немъ лишь голодные желудки и ненасыщенные мозги, которые бралось оно наполнить со всѣми обычными презрительными пріемами *благодѣтелей?* Вспомните же, наконецъ, не могъ онъ не говорить, что эти, какъ вамъ представляется, пустые сосуды — живые люди, достойные не одной милостыни, но и уваженія и любви! Вспомните, что ваша умственная подачка — только чужое добро, усвоенное старой привычкой жить не своимъ умомъ, подобно тому, какъ вы уже давно привыкли и физически жить не своимъ, а народнымъ трудомъ; — да, трудомъ этого самаго народа, въ которомъ вы вдругъ взялись изгладить будто ему присущій „звѣриный образъ".

Не мало различныхъ видовъ униженности и оскорбленности, унизителей и оскорбителей представляла Достоевскому наша русская жизнь при всѣхъ обращаемыхъ къ ней запросахъ совсѣмъ на иное, — запросахъ всего славянства. Но съ тѣми же запросами *на иное* нужно было куда-нибудь обратиться и европейскому міру — со всѣми его уцѣлѣвшими, на зло вѣковой и великой цивилизаціи, „несчастными" — въ широкомъ русскомъ смыслѣ этого слова.

Достоевскій былъ вполнѣ причастенъ европейской цивилизаціи со всѣми ея „святыми чудесами". Но именно потому, что, при всемъ величіи этихъ „чудесъ", въ ней все же остаются неисцѣлимые недуги, онъ обращается къ Европѣ, нашей путеводной звѣздѣ не со вчерашняго дня, съ непочтительными словами: „врачу, исцѣлися самъ". Впрочемъ, сочувствіе этимъ словамъ явственно слышалось ему въ самой Европѣ — въ лицѣ ея лучшихъ людей, — тѣхъ, что̀, подобно ему, способны были принимать къ сердцу застарѣлые недуги, хотя бы гнѣздо ихъ оказалось вѣковѣчно свитымъ собственно въ той толпѣ, которую они уже не въ силахъ были вслѣдъ за Вольтеромъ называть la canaille. Достоевскій еще въ 60-хъ годахъ писалъ подъ вліяніемъ непосредственнаго знакомства съ Европой:

„Предрекъ же аббатъ Сіэйсъ въ своемъ знаменитомъ памфлетѣ, что буржуа — это *все*. „*Что такое* tiers-etat? *Ничего. Чѣмъ должно оно быть? Всѣмъ*"[1]). Ну, такъ и случилось, какъ онъ сказалъ. Одни только эти слова и осуществились изъ всѣхъ словъ, сказанныхъ въ то время; они одни и остались... Въ самомъ дѣлѣ, провозгласили вскорѣ послѣ него: liberté, égalité, fraternité. Очень хорошо-съ. Что такое liberté? — Свобода. Какая свобода? — Одинаковая свобода всѣмъ дѣлать все, что̀ угодно, въ предѣлахъ закона. *Когда можно дѣлать все, что угодно? Когда имѣешь милліонъ.* Даетъ ли свобода каждому по милліону? Нѣтъ. Что такое человѣкъ безъ милліона? *Человѣкъ безъ милліона есть не тотъ, который дѣлаетъ все, что угодно, а тотъ,*

---

[1]) Подчеркнуто авторомъ.

съ которымъ дѣлаютъ все, что угодно[1]). Что жъ изъ этого слѣдуетъ? А слѣдуетъ то, что кромѣ свободы есть еще равенство, и именно равенство передъ закономъ. Про это равенство передъ закономъ можно только одно сказать, что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь прилагается, каждый можетъ и долженъ принять его за личную для себя обиду. Что жъ остается изъ формулы: *братство?* Ну, эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сихъ поръ составляетъ главный камень преткновенія на Западѣ. Западный человѣкъ толкуетъ о братствѣ какъ о великой двпжущей силѣ человѣчества, и не догадывается, что *негдѣ взять братства, коли его нѣтъ въ дѣйствительности.* Что дѣлать? Надо сдѣлать братство во что бы ни стало. Но оказывается, что сдѣлать братства нельзя, потому что оно само дѣлается, дается, въ природѣ находится. А въ природѣ французской да и вообще западной его въ личности не оказалось, а оказалось *начало личное,* начало особняка, усиленнаго самоохраненія, самопромышленія, самоопредѣленія въ своемъ собственномъ *я,* сопоставленія этого *я* всей природѣ и всѣмъ остальнымъ людямъ какъ самоправнаго отдѣльнаго начала, совершенно равнаго и равноцѣпнаго всему тому, что есть кромѣ него. Ну, а изъ такого самопоставленія не могло произойти братства. Почему? Потому что въ братствѣ, въ настоящемъ братствѣ, не отдѣльная личность, не *я* должно хлопотать о правѣ своей равноцѣнности и равновѣсности со всѣмъ *остальнымъ,* а все то это *остальное* должно бы было *само* притти къ этой требующей права личности, къ этому отдѣльному *Я* и само, безъ его просьбы, должно бы было признать его равноцѣннымъ и равноправнымъ себѣ, т.-е всему остальному, что есть на свѣтѣ. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое *я,* всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но напротивъ отдать его обществу безъ всякихъ условій. Но западная личность не привыкла къ такому ходу дѣла: она требуетъ съ бою, она требуетъ права, она хочетъ *дѣлиться* — ну и не выходитъ братства... Что жъ, скажете вы, надо быть безличностью, чтобъ быть счастливымъ? Развѣ въ безличности спасеніе? Напротивъ, напротивъ, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо въ высочайшей степени, чѣмъ та, которая теперь опредѣлилась на Западѣ. Поймите меня: *самовольное, совершенно сознательное и никѣмъ непринужденное самопожертвованіе всего себя въ пользу всѣхъ есть по-моему признакъ высочайшаго развитія личности,* высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой животъ за всѣхъ, пойти за всѣхъ на крестъ, на костеръ, можно только при самомъ сильномъ развитіи личности. Сильно развитая личность, вполнѣ увѣренная въ своемъ правѣ быть личностью, уже не имѣющая за собою никакого страха, ничего не можетъ и сдѣлать

---

[1]) Подчеркнуто ораторомъ.

другого изъ своей личности, т.-е. никакого болѣе употребленія, какъ отдать ее всю всѣмъ, чтобъ и другіе всѣ были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. *Это законъ природы; къ этому тянетъ нормально человѣка.* Но тутъ есть одинъ волосокъ, одинъ самый тоненькій волосокъ, но который если попадется подъ машину, то все разомъ треснетъ и разрушится. Именно: *бѣда имѣть при этомъ случаѣ хоть какой-нибудь самый малѣйшій расчетъ въ пользу собственной выгоды...*[1]). Сдѣлать братства нельзя, а надо, чтобъ оно *само собой сдѣлалось, чтобъ оно было въ натурѣ*[2]), безсознательно въ природѣ всего племени заключалось, однимъ словомъ: чтобы было братское, любящее начало, — надо любить. Надо, чтобы самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласіе, и тянуло, несмотря на всѣ вѣковыя страданія націи, несмотря на варварскую грубость и невѣжество, укоренившіяся въ націи, несмотря на вѣковое рабство, на нашествія иноплеменниковъ, — однимъ словомъ, чтобъ потребность братской общины была въ натурѣ человѣка, чтобъ онъ съ тѣмъ родился, или усвоилъ себѣ такую привычку искони вѣковъ. Въ чемъ состояло бы это братство, если бы переложить его на разумный сознательный языкъ? Въ томъ, чтобъ каждая отдѣльная личность сама, безо всякаго принужденія, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: „мы крѣпки только всѣ вмѣстѣ, возьмите же меня всего, если вамъ во мнѣ надобность; не думайте обо мнѣ, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько,—я всѣ свои права вамъ отдаю и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вамъ всѣмъ пожертвовать и чтобъ вамъ за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь съ полнымъ безразличьемъ, только бы ваше-то братство процвѣтало и осталось". А братство, напротивъ, должно сказать: „ты слишкомъ много даешь намъ. То, что̀ ты даешь намъ, мы не въ правѣ не принять отъ тебя, ибо ты самъ говоришь, что въ этомъ все твое счастье; но что̀ же дѣлать, когда у насъ безпрестанно болитъ сердце и за твое счастье. Возьми же все и отъ насъ. Мы всѣми силами будемъ стараться поминутно, чтобъ у тебя было какъ можно больше личной свободы, какъ можно больше самопроявленія..."

„...Послѣ этого, разумѣется, ужъ нечего дѣлиться, тутъ ужъ все само собой раздѣлится. Любите другъ друга и все сіе вамъ приложится...

„Но опять-таки что же дѣлать соціалисту, если въ западномъ человѣкѣ нѣтъ братскаго начала, а напротивъ начало единичное, личное, безпрерывно обособляющееся, требующее съ мечемъ въ рукахъ своихъ правъ? Соціалистъ, видя, что нѣтъ братства, начинаетъ уговаривать на братство... опредѣлять будущее братство, разсчитываетъ на вѣсъ и на мѣру, соблазняетъ выгодой, толкуетъ, учитъ, разсказываетъ, сколько кому отъ этого братства выгоды придется, кто сколько

---

[1]) Все это подчеркнуто ораторомъ.
[2]) Подчеркнуто авторомъ.

выиграетъ; опредѣляетъ, чѣмъ каждая личность смотритъ, насколько, тяготѣетъ, и опредѣляетъ заранѣе расчетъ благъ земныхъ, насколько кто ихъ заслужитъ и сколько каждый за нихъ долженъ добровольно внести въ ущербъ своей личности въ общину... Впрочемъ, провозглашена была формула: „Каждый для всѣхъ и всѣ для каждаго". Ужъ лучше этого, разумѣется, ничего нельзя было выдумать, тѣмъ болѣе, что вся формула цѣликомъ взята изъ одной, всѣмъ извѣстной книжки[1]). Но вотъ начали прикладывать эту формулу къ дѣлу, и черезъ шесть мѣсяцевъ братья потянули основателя братства Кабета къ суду. Фурьеристы, говорятъ, взяли свои послѣднія девятьсотъ тысячъ франковъ изъ своего капитала и все еще пробуютъ, какъ бы устроить братство. Ничего не выходитъ... Кажется ужъ совершенно гарантируютъ человѣка, обѣщаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуютъ съ него самую капельку его личной свободы для общаго блага, самую, самую капельку. Нѣтъ, не хочетъ жить человѣкъ и на этихъ расчетахъ, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острогъ и что самому по себѣ лучше, потому — полная воля. И вѣдь на волѣ бьютъ его, работы ему не даютъ, умираетъ онъ съ голоду и воли у него нѣтъ никакой, такъ нѣтъ же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумѣется, соціалисту приходится плюнуть и сказать ему, что онъ дуракъ, не доросъ, не соврѣлъ и не понимаетъ своей собственной выгоды...

„И вотъ въ самомъ послѣднемъ отчаяніи соціалистъ провозглашаетъ наконецъ liberté, égalité, fraternité *ou la mort*. Ну ужъ тутъ нечего говорить, и буржуа окончательно торжествуетъ.

„А если буржуа торжествуетъ, такъ стало-быть и сбылась формула Сіейса буквально и въ послѣдней точности".

Эта большая выписка была совершенно необходима. Важно, что уже тогда, въ 60-хъ годахъ, у Достоевскаго вполнѣ сложились основы всего того, что онъ впослѣдствіи проводилъ въ своемъ „Дневникѣ писателя", что̀ внушило ему самыя горячія мѣста его Пушкинской рѣчи, оборону ея въ единственномъ лѣтнемъ номерѣ „Дневника" за прошлый годъ, наконецъ его лебединую пѣснь — тотъ первый и послѣдній номеръ „Дневника" за текущій годъ, который вышелъ въ свѣтъ въ день выноса его тѣла.

Корень европейскаго зла Достоевскій усматривалъ въ историческомъ началѣ запада — *развитіи личности во всей ея исключительности*. Но не даромъ, характеризуя *индивидуализмъ*, и извѣстный французъ-радикалъ, историкъ революціи, яркимъ образчикомъ противоположнаго — de la fraternité — выставлялъ явленіе славянскаго міра: гуситство. Оно же сложилось на почвѣ *общины*, коренившейся, по выраженію Достоевскаго, „въ природѣ всего племени", хотя вслѣдствіе (его же выраженіе) „вѣковыхъ страданій", „варварской грубости и невѣжества", „нашествія иноплеменниковъ" и т. п., издавнее

---

[1]) Евангелія, разумѣется.

расположеніе къ общинѣ могло быть и дѣйствительно было всячески заглушаемо и извращаемо. Несмотря на весь этотъ фактическій упадокъ общинности въ самомъ славянскомъ мірѣ, Достоевскій продолжалъ возлагать всѣ свои надежды на ея принципъ — на воспитательную силу ея преданій, воспитательную не столько въ *политическомъ*, сколько въ *нравственномъ* смыслѣ. Потому-то и говорилъ Достоевскій въ своей пушкинской рѣчи: „О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впослѣдствіи, я вѣрю въ это... будущіе русскіе люди поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ-концовъ, можетъ-быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи... Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ“. Онъ не раскаивался и послѣ того, какъ въ отвѣтъ ему было указано на тѣ европейскія учрежденія, при помощи которыхъ на Западѣ справились съ тѣмъ, съ чѣмъ не можемъ справиться мы. „Это Европа-то справилась?“ — спрашивалъ онъ въ отвѣтъ. Да кто только могъ вамъ это сказать?.. „Муравейникъ, давно уже создавшійся въ ней безъ церкви и безъ Христа (ибо церковь, замутивъ идеалъ свой, давно уже и повсемѣстно перевоплотилась тамъ въ государство), съ расшатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все, все общее и все абсолютное, — этотъ созидавшійся муравейникъ, говорю я, весь подкопанъ“. Слова эти опять послужили у насъ „камнемъ преткновенія и соблазна“ для многихъ, но именно на западѣ они бы не смутили и не оскорбили ни одной дѣйствительно вѣрующей души, такъ же точно, какъ именно *радикальные* западные политики не смущаются и не оскорбляются невыгодными картинами европейскаго политическаго строя. Въ словахъ Достоевскаго объ этомъ „муравейникѣ“ нѣтъ и тѣни мысли, чтобы въ нѣдрахъ католичества и порожденнаго имъ протестантства не было дѣйствительно вѣрующихъ, — но эти вѣрующіе, по его представленію, давно уже жаждутъ и ищутъ церкви — дѣйствительной церкви, т.-е. *вѣрующей общины*. Увы! она давно уже замѣнилась въ католичествѣ единоличнымъ авторитетомъ государя-папы, въ протестантствѣ — авторитетностью личнаго разумѣнія каждаго (т.-е. каждаго развитаго человѣка). А въ результатѣ выходитъ издавнее безвѣріе именно офиціальныхъ блюстителей вѣры въ католичествѣ, такъ глубокомысленно разоблаченное Достоевскимъ въ его „Великомъ Инквизиторѣ“ [1]), и неизбѣжность перехода отъ положительной вѣры къ раціонализму въ протестантствѣ, напрасно думающемъ остановиться на половинѣ дороги, въ качествѣ исповѣданія,

---

[1]) „Братья Карамазовы“, т. I, кн. 5, гл. 5.

формулированнаго государственною властью, къ соблазну искренно вѣрующихъ протестантовъ, ищущихъ и не находящихъ настоящей точки опоры. На расшатанное до основанія религіозное начало указывало и указываетъ въ Европѣ многое множество числящихся какъ католиками, такъ и протестантами; но на дѣлѣ часто оказываясь просто пребывающими внѣ всякой церкви, они эту утрату „всего общаго и всего абсолютнаго“ не хотятъ или не умѣютъ себѣ объяснить тѣмъ, что усовершенствованный механизмъ европейскаго общества движется „безъ Христа“. Между тѣмъ для Достоевскаго этимъ-то и объясняется непрочность того, что̀ держится такимъ механизмомъ. „Грядетъ четвертое сословіе, говоритъ онъ, стучится и ломится въ дверь, и если ему не отворятъ, сломаетъ дверь. Не хочетъ оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ всякій доселѣ бывшій законъ. На компромиссъ, на уступочки не пойдетъ, подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигаютъ, а оно хочетъ всего. Наступитъ нѣчто такое, чего никто и не мыслитъ. Всѣ эти парламентаризмы, всѣ исповѣдаемыя теперь гражданскія теоріи, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безслѣдно, кромѣ развѣ жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа. Все это „близко при дверяхъ“. И это служило, конечно, „камнемъ преткновенія“, представляясь какимъ-то юродствованіемъ великаго таланта; юродствованіемъ даже и не совсѣмъ гуманнымъ — между прочимъ, потому, что тутъ задѣвались *жиды*. Но Достоевскій зналъ очень хорошо, что они даже вовсе *не національность* — что *жиды* могутъ быть и между *не евреями* всѣхъ національностей. Разумные между *евреями* (интеллигентные, какъ они сами себя называютъ) не обижались и даже писали Достоевскому теплыя, задушевныя письма. Зато вовсе не евреи обижались, и сильно обижались за Европу! „Вы смѣетесь? — продолжалъ Достоевскій. — Блаженны смѣющіеся. Дай Богъ вамъ вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнѣ, смѣясь: „Хорошо же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите“. А я развѣ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скорѣе, чѣмъ самая сильная фантазія могла бы предположить. Симптомы ужасны. Ужъ одно только стародавне неестественное политическое положеніе европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась вѣками? *Не можетъ одна малая часть человѣчества владѣть всѣмъ остальнымъ человѣчествомъ какъ рабомъ*[1]). А вѣдь для этой единственной цѣли и слагались до сихъ поръ *всѣ* гражданскія (уже не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. А теперь-то вы, теперь-то — указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ тѣ самыя учрежденія, которыя тамъ завтра же рухнутъ, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ, и въ которыя

[1]) Подчеркнуто ораторомъ.

и тамъ уже многіе умные люди давно не вѣрятъ, которыя держатся и существуютъ тамъ до сихъ поръ лишь по одной инерціи. Да и кто, кромѣ отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европѣ, за нормальную формулу человѣческаго единенія на землѣ? Они де тамъ давно справились. *Это послѣ двадцати-то конституцій менѣе чѣмъ въ столѣтіе, и безъ малаго послѣ десятка революцій*"[1])! Живое воображеніе Достоевскаго, въ которомъ, при всѣхъ его свойствахъ психолога и философа, постоянно сказывался и художникъ, — рисовало ему эту неизбѣжную картину точно будто уже открывающеюся, къ вящему соблазну и преткновенію людей разсудительныхъ. „Завтра,—говорили они,—завтра уже не станетъ Европы, всей Европы — и это намъ приходится слышать отъ такого таланта, какъ Достоевскій!" Но изъ чего же выводили вы, господа, что онъ предсказываетъ гибель *всей* Европѣ, а не той лишь, которая, при всѣхъ своихъ „святыхъ чудесахъ", до сихъ поръ держала и держитъ въ положеніи *илотовъ* свое же „четвертое сословіе"? Хоть бы вы немножко вдумались въ слова Достоевскаго, что вѣдь собственно только для *малой части человѣчества*, для ея интересовъ и наслажденій, до сихъ поръ слагались всѣ — и самыя даже прогрессивныя учрежденія Европы.

Но вы считаете ее, эту Европу, единою спасающей — владѣтельницей ключей отъ земного рая, безъ которыхъ, коли оно такъ, и намъ никогда туда не войти. Но подумали ли вы о томъ, что соотвѣтствующее у насъ европейской „малой части" властнаго человѣчества тѣмъ паче есть *малая* часть сравнительно съ громаднымъ численнымъ преобладаньемъ у насъ того, что соотвѣтствуетъ „четвертому сословію"? Хорошо бы вышло представительство для подавляющаго у насъ, какъ нигдѣ, крестьянскаго большинства, — при простой пересадкѣ къ намъ любой, хотя бы и самой просторной, западной формы! Каково бы пришлось „стихійному большинству" отъ горсти интеллигенціи изъ рѣдкихъ „захудалыхъ родовъ", болѣе частыхъ „потомковъ извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ", различныхъ бароновъ, пановъ и, наконецъ, *жидовъ* — какъ изъ евреевъ, такъ и изъ христіанъ (т.-е. людей, по выраженію Достоевскаго, „съ аппетитомъ" и притомъ вооруженныхъ культурными способами удовлетворять аппетитъ). Вѣдь опасность отъ этой „интеллигенціи" неизбѣжно усиливалась бы тою запущенностью, въ какой оставалось и остается у насъ дѣло просвѣщенья *народа* — т.-е. до трехъ четвертей всего населенія Россіи. А если вспомнить, что часть этой интеллигенціи выросла еще на крѣпостномъ правѣ, наслѣдовала его хотя бы и замаскированныя преданія, то какъ же не признать поразительной глубины вопроса, задаваемаго Достоевскимъ въ предсмертномъ его „Дневникѣ":

„Захочетъ ли прежній помѣщикъ стать интеллигентнымъ народомъ?... Не захочетъ ли, напротивъ, опять возгордиться и стать опять

---

[1]) Подчеркнуто ораторомъ.

надъ народомъ властью силы... изъ самаго образованія своего создать новую властную и разъединительную силу и стать надъ народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей?" Или, какъ замѣчаетъ онъ тутъ же нѣсколько выше, „и теперь уже эта интеллигенція не думаетъ ли про себя:

„А народъ опять скуемъ?"

Но самъ Достоевскій предвидѣлъ и оправдательные отвѣты на свои возраженія.

„Да не мы ли, скажете вы, объ народѣ болѣемъ, не мы ли объ немъ столь много пишемъ, не мы ли его и къ нему призываемъ?" выражается онъ языкомъ своихъ противниковъ. „Такъ, вы все это дѣлаете, отвѣчаетъ онъ, но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не объ немъ болѣете, а объ какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже презираете. Это презрительное отношеніе къ народу — въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ безсознательное, положительно можно сказать, невольное. *Это остатокъ крѣпостного права*".

Да, именно оно и сказывается до сихъ поръ, сказывается совершенно невольно, у людей, считающихъ себя великими либералами, сказывается въ этомъ, постоянно повторяющемся, особенно въ послѣднее время, превозношеніи нашей интеллигенціи за одно съ столь же часто повторяющимся приниженьемъ народа, признаваніемъ въ немъ, на всѣ лады, ничего иного, по выраженію Достоевскаго, какъ „печати звѣриной" и „звѣринаго образа". Въ послѣднемъ своемъ „Дневникѣ" Достоевскій вспомнилъ басню Крылова про свинью, готовую, дорожа только жолудями, подрыть корни дуба. Но такъ же умѣстно было бы вспомнить другую, болѣе приличную басню: о „листахъ и корняхъ". Все и сводится у насъ теперь именно къ отношеніямъ между ними. Хотите ли узнать человѣка? Добейтесь прежде всего, за кого онъ: за листы или за корни? Но многіе будутъ чистосердечно увѣрять, что они за корни, тогда какъ на повѣрку выйдетъ, что они только за листы. Достоевскій всегда стоялъ за корни.

Въ послѣднемъ своемъ „Дневникѣ" онъ говорилъ про одно магическое словцо, именно: „оказать довѣріе". „Да, нашему народу можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мѣстамъ, по уѣздамъ, по хижинамъ. Ибо народъ нашъ, и по мѣстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказалъ бы и весь вкупѣ, ибо духъ его одинъ. Каждая мѣстность только лишь свою мѣстную особенность прибавила бы, но въ цѣломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужикъ, одинъ только заправскій мужикъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложилъ бы устранить на время нашу интелли-

генцію, — не приписывайте мнѣ ихъ, пожалуйста, — но предложилъ бы я это (ужь извините, пожалуйста) — изъ цѣлей лишь чисто *педагогическихъ*. Да, пускай въ сторонкѣ пока постоимъ и послушаемъ, какъ ясно и толково сумѣетъ народъ свою правду сказать, совсѣмъ безъ нашей помощи, и объ дѣлѣ, именно объ заправскомъ дѣлѣ въ самую точку попадетъ, да и насъ не обидитъ, коли объ насъ рѣчь зайдетъ. Пусть постоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Увидавъ отъ народа столько дѣловитости и серьезности, мы будемъ озадачены и ужъ, конечно, явятся изъ насъ, что не повѣрятъ глазамъ своимъ, но такихъ будетъ слишкомъ мало, ибо всѣ дѣйствительно искренніе, всѣ во-истину жаждущіе правды, а главное дѣла, заправскаго дѣла и общей пользы, — такіе всѣ присоединятся къ премудрому слову народному; всѣ же неискренніе разомъ обнаружатъ все свое содержаніе и обнаружатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увѣруютъ, — то это какіе-нибудь старовѣры и доктринеры сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, *старыя неисправимыя дѣти, и они будутъ только смѣшны и безвредны.*

„Я, — продолжалъ Достоевскій, — *на молодежь надѣюсь; и она у насъ страдаетъ „исканіемъ правды“* и тоской по ней, а стало-быть она народу сродни наиболѣе, и сразу пойметъ, что и народъ ищетъ правды. А познакомясь столь близко съ душою народа, броситъ тѣ крайнія бредни, которыя увлекли было столь многихъ изъ нея, *вообразившихъ, что они нашли истину въ крайнихъ европейскихъ ученіяхъ.* Совсѣмъ новая идея вошла бы вдругъ въ нашу душу и освѣтила бы въ ней все, что пребывало до сихъ поръ во мракѣ, свѣтомъ своимъ, обличила бы ложь и прогнала ее. И, кто знаетъ, можетъ быть, это было бы *началомъ такой эпохи*, которая по значенію своему даже могла бы быть выше крестьянской: тутъ произошло бы тоже „освобожденіе“ — *освобожденіе умовъ и сердецъ нашихъ отъ нѣкоей крѣпостной зависимости, въ которой и мы тоже пробыли цѣлыхъ два вѣка у Европы, подобно какъ крестьянинъ, недавній рабъ нашъ, у насъ.* Я желалъ бы только, *чтобъ поняли безпристрастно, что я лишь за народъ стою прежде всего, въ его душу, въ его великія силы, которыхъ никто еще изъ насъ не знаетъ во всемъ объемѣ и величіи ихъ, — какъ въ святыню вѣрую* [1]), главное въ спасительное ихъ назначеніе, въ великій народный охранительный и зиждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрятъ ихъ всѣ. Только что узрятъ, тотчасъ же начнутъ понимать и все остальное“.

Слова эти, — только восторженный набросокъ мысли, которая должна была практически выясниться въ теченіе года — въ остальныхъ нумерахъ „Дневника“. Въ нихъ собирался онъ подробно высказать, какъ это, какимъ способомъ „оказать довѣріе“, т.-е. полное довѣріе. Онъ разсчитывалъ, какъ я заключаю изъ недолгаго разговора съ нимъ при нашемъ предпослѣднемъ свиданіи, на участіе извѣстной

---

[1]) Все это подчеркнуто ораторомъ.

части интеллигенціи — той, которая ближе къ народу, а она у насъ все-таки есть. Составить какой-нибудь сколокъ съ готоваго европейскаго образца могли бы и просвѣщенные *бюрократы*, но на творческую работу въ духѣ „корней“ способны лишь просвѣщенные *земскіе люди*. А именно къ *творчеству* и призывалъ Достоевскій! Страна съ нигдѣ небывалымъ численнымъ перевѣсомъ „основныхъ, коренныхъ людей“ должна себѣ выработать совершенно своеобразныя соціальныя формы, — подобно тому, какъ, съ другой стороны, она неизбѣжно должна создать себѣ и совершенно своеобразную учебную систему. Творчество, только творчество, находилъ Достоевскій, послужило бы намъ настоящею „живою водою!“

„Оказать довѣріе“ — полное довѣріе именно и значило бы вызвать творчество. А русскій народъ, пояснялъ Достоевскій, заслуживаетъ довѣрія потому уже, что самъ никогда не переставалъ довѣрять своей верховной власти. Дѣло выходитъ тутъ обоюдное. „Царь для народа, — говоритъ Достоевскій все въ томъ же послѣднемъ своемъ „Дневникѣ“, — не внѣшняя сила, не сила какого-нибудь побѣдителя (какъ была, напримѣръ, съ династіями прежнихъ королей во Франціи), а всенародная, всеединящая сила, которую самъ народъ восхотѣлъ, которую вырастилъ въ сердцахъ своихъ, которую возлюбилъ, за которую претерпѣлъ, потому что отъ нея только одной ждалъ исхода своего изъ Египта“...

„У насъ гражданская свобода можетъ водвориться самая полная, полнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ мірѣ... Не письменнымъ листомъ она утвердится, а созиждается лишь на дѣтской любви народа къ царю, какъ къ отцу, ибо дѣтямъ можно многое такое позволить, что и немыслимо у другихъ, у договорныхъ народовъ“...

Опираясь на старое историческое наше начало *довѣрія*, Достоевскій тѣмъ самымъ призывалъ верховную власть на ничѣмъ несмущающееся постоянство въ великомъ освободительномъ подвигѣ. Вполнѣ захотѣть дать народу на самомъ дѣлѣ то, чего онъ еще нигдѣ не имѣетъ — значило бы, конечно, пойти на зло всѣмъ предостереженіямъ изчужа относительно „тождества“ такъ называемой русской партіи, панславизма и „нигилизма!“ Это значило бы смѣло прочесть и признать на русскомъ, на общеславянскомъ знамени новое слово, слово дѣйствительно страшное для „Европы“ — той Европы, которая въ сущности составляетъ только, по пониманію Достоевскаго, малую властную часть человѣчества. Это значило бы пойти прямо навстрѣчу стремленіямъ той Европы, которая, по выраженію Достоевскаго, „стучится въ двери“, т.-е. загладить передъ нею, какъ и передъ собою, передъ своимъ *славянскимъ*, а съ тѣмъ вмѣстѣ и *міровымъ* призваніемъ, старый вольный и невольный грѣхъ состоянія на службѣ у „Меттерниховщины“. Это значило бы нерезумную службу Европѣ искупить разумнымъ служеніемъ человѣчеству! Тогда бы успокоился, наконецъ, и тотъ нашъ „скиталецъ“, про котораго Достоевскій сказалъ въ Москвѣ, что „ему необходимо именно всемірное счастіе... дешевле онъ не примирится“.

Достоевскій, говорятъ болѣе добросовѣстные изъ противниковъ, былъ *утопистъ* (въ сущности это то же, что *пророкъ* — званіе, котораго не хотятъ ему предоставить); но онъ, пожалуй, и самъ признавалъ себя утопистомъ. Да, онъ вѣрилъ въ концѣ концовъ въ *добрую волю* человѣка. Онъ вѣрилъ въ возможность конечнаго совпаденія доброй воли единоличной верховной власти съ природными стремленіями и задушевными чаяніями народа — отчасти отражающагося и въ своихъ интеллигентныхъ „скитальцахъ", хотя сами они не признаютъ этого. Вотъ онъ и говорилъ имъ въ Москвѣ; „смирись, гордый человѣкъ"! т.-е. смирись передъ своимъ народомъ, признай себя духомъ отъ его духа. Но Достоевскій говорилъ также: „найди себя въ себѣ" — т.-е. запасись же и самъ у себя тою доброю волею, недостатокъ которой въ другихъ сферахъ тебя такъ возмущаетъ.

Оглянись на тотъ же народъ, поучись у него, несмотря на то, что порою онъ, можетъ быть, грубъ до животности. Въ немъ, при всякихъ грѣхахъ, живо *сознаніе грѣха*, т.-е. личной отвѣтственности передъ всѣми, а есть ли оно въ тебѣ? Привыкнувъ винить только все постороннее, ты и надежду привыкъ возлагать лишь на то, что опять таки внѣ тебя — *на формы, на механизмъ*, а что если даже при величайшемъ его совершенствѣ ты испортишь все дѣло собой: вѣдь довольно, по замѣчанію Достоевскаго, и того „тоненькаго волоска", какимъ является малѣйшій разсчетъ въ пользу собственной выгоды, — а что, если въ тебѣ, по его же замѣчанію, засѣло вовсе не маленькое желаніе: „а самому то мнѣ пусть будетъ *какъ можно лучше?* Что, если, между тѣмъ какъ ты ораторствуешь о братствѣ, тебя даже вовсе не тянетъ на братство? Что, если и самые твои подвиги — въ угоду тебѣ же, твоему тщеславію, а „долго тебѣ не вытерпѣть, особенно безъ шуму и безъ широкой огласки"? Что, если, даже трудясь, ты остаешься чуждъ сознанья, что лишь „трудомъ спасенъ будеши"? Что, если при всемъ твоемъ высшемъ уровнѣ — въ сущности твоему „аппетиту", твоему хотя бы и утонченному, но все же чувственному, т.-е. животному *я*, постоянно приносится въ жертву то духовное, высшее, властное надъ собою *я*, которое именно и сказывается въ самопожертвованіи — единственномъ, настоящемъ самопожертвованіи, въ постоянномъ, неказистомъ самообереженіи отъ малѣйшаго залѣзанья въ чужія права? Загляни въ свою душу, не кривя душой? Вспомни московскій кличъ Достоевскаго: „Найди себя въ себѣ"?

Ор. Миллеръ.

Литература и общество времени Достоевскаго.

„Въ тѣ годы, когда Достоевскій жилъ безъ дѣла въ Петербургѣ, переходя изъ одной „комнаты отъ жильцовъ" въ другую и знакомясь, такимъ образомъ, наглядно съ печальною жизнію бѣдняковъ столицы, вся русская умственная жизнь, весь духовный прогрессъ нашъ сосредоточивался въ литературѣ. Она существовала для большинства об-

разованныхъ людей. Наука въ серьезномъ видѣ не могла интересовать это большинство, да въ ней, за исключеніемъ нѣкоторыхъ потребныхъ для государства практическихъ свѣдѣній, никто не нуждался. Науку ничто не вызывало; ей не было мѣста въ обществѣ, которое посылало свое молодое поколѣніе *въ науку* лишь исключительно для того, чтобы пріобрѣтеніемъ свѣдѣній, а главное — дипломомъ начать приличнымъ образомъ служебную карьеру. Университеты, гдѣ только и могла существовать наука, стояли, по своему вліянію, особенно въ провинціи, гораздо ниже литературы. Въ ничтожномъ только меньшинствѣ юношей могли они пробудить научное стремленіе и жажду знанія. Идеальнымъ порывамъ большинства тогдашняго молодого поколѣнія всего больше отвѣчала литература съ ея расширившимся въ тѣ годы содержаніемъ. Въ ней разомъ появилось тогда нѣсколько талантливыхъ именъ. Главнѣйшимъ органомъ тогдашняго литературнаго, да можно сказать и умственнаго движенія, стали „Отечественныя Записки", съ того времени, какъ отдѣлъ критики поступилъ въ распоряженіе Бѣлинскаго. Съ нетерпѣніемъ ожидалась каждая новая книжка журнала, и тогдашній студентъ, послѣ безцвѣтныхъ, скучныхъ по своей реторикѣ или по очевиднымъ уступкамъ господствующей дѣйствительности лекцій, съ страстнымъ молодымъ трепетомъ, погружался въ чтеніе новой статьи критика, казавшейся откровеніемъ. Горячія слова наполняли душу честными стремленіямя, звали къ честной дѣятельности.

Имя, выше всѣхъ стоявшее въ тогдашней литературѣ, было имя Гоголя, и Бѣлинскій былъ великимъ объяснителемъ геніальнаго писателя. Мы убѣждены, что безъ его критики глубокій, жизненный, историческій смыслъ Гоголевскихъ созданій, являвшійся для большинства лишь забавнымъ малороссійскимъ жанромъ, не скоро бы усвоился сознаніемъ общества. Горькій смѣхъ Гоголя нарушилъ продолжительное праздничное ликованье, смутилъ торжество, освѣтилъ настоящимъ, хотя и зловѣщимъ свѣтомъ, огромное историческое пространство, счастливые острова, гдѣ, казалось, жили только доблестные герои. Вмѣсто нихъ, мы разглядѣли Чичиковыхъ и Ноздревыхъ, Коробочекъ и Маниловыхъ и большую компанію другихъ лицъ, съ которыми скоро пришлось переживать тяжелыя историческія испытанія. Что бы ни говорила современная славянофильская школа, объясняя мысль отрицательныхъ типовъ Гоголя какимъ то психическимъ актомъ самоочищенія и искупленія, какъ говорилъ, впрочемъ, и самъ нравственно больной подъ конецъ жизни писатель, — его типы выросли и окрѣпли въ обществѣ; они — его характеристика и созданіе.

Но Гоголь, какъ и современный намъ великій русскій сатирикъ, не дающій заснуть и одеревенѣть мысли и чувству посреди явленій, способствующихъ тому, звалъ впередъ, указывалъ идеалы. Гоголемъ было воспитываемо въ то время гуманное и мягкое чувство въ обществѣ. Подъ вліяніемъ его произведеній люди измѣнялись; Божья искра западала въ готовую очерствѣть душу, какъ случилось это съ тѣмъ молодымъ человѣкомъ, который позволилъ было себѣ грубую шутку

надъ героемъ „Шинели". „Все перемѣнилось предъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ: какая то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. Въ проникающихъ словахъ: „оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете"? звенѣли другія слова: „я братъ твой"! И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже, даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ". Гоголь увлекалъ въ широкое человѣческое движеніе: „Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ, юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточенное мужество, говорилъ онъ современному молодому поколѣнію, „забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ по дорогѣ — не подымете потомъ".

Вполнѣ было естественно, что все молодо и талантливое въ нашей литературѣ того времени, все, что смотрѣло впередъ и сознательно относилось къ своей дѣятельности, должно было примкнуть къ этому направленію. Высокая художественность Гоголевскихъ созданій и глубокій нравственный смыслъ ихъ сдѣлали Гоголя главою школы. Литература стала во главѣ нравственнаго развитія общества; она сдѣлалась воспитательницей его, совѣстью. Какъ бы почувствовавъ свою силу и внутреннее значеніе, она расширила кругъ своего дѣйствія, стала касаться такихъ слоевъ общества, куда не желали спускаться прежніе писатели, и тамъ искала людей. Это былъ уже значительный успѣхъ съ ея стороны. Конечно, немного сторонъ и вопросовъ дѣйствительной русской жизни, вслѣдствіе безправнаго положенія русскаго общества, было доступно литературѣ. Цензура зорко слѣдила за нею, преслѣдовала всякое ея отклоненіе и загоняла назадъ, въ привычный заколдованный кругъ, заставляя ее вертѣться въ бѣличьемъ колесѣ исключительно сердечныхъ волненій и любовныхъ приключеній. Новое направленіе не нравилось въ высшихъ сферахъ, не нравилось между старыми писателями и въ такъ называемыхъ славянофильскихъ кружкахъ, гдѣ подъ громкими фразами царило старое преданіе. Но литература дѣлала свое дѣло.

Прекрасно характеризуетъ это дѣло новой литературы и ея отношеніе къ тогдашнему обществу Бѣлинскій: „Представьте себѣ человѣка обезпеченнаго, можетъ-быть, богатаго: онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ, — и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы, и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! Книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть *углы*, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ отъ

холода цѣлое семейство, можетъ-быть, недавно еще знавшее довольство, — что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, — что послѣдняя копейка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ-будто совѣстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее!... Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было; управляющій его, Никита Ѳедорычъ, что-то замѣшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываетъ ему подвиги его Никиты Ѳедорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему, то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу! Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подъ пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ „малую толику“. Всѣ читаютъ — надо и ему читать; но что находитъ онъ въ книгѣ? — свою біографію, да еще какъ вѣрно разсказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похожденія его жизни — тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшенъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: „Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! „Такъ ли писали прежде! Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ „читать сладко и обидѣться нечѣмъ!“ (*Сочин.* XI, 343—345.)

Мы привели эти слова Бѣлинскаго для того, чтобъ показать новое отношеніе литературы къ обществу, созданное Гоголемъ и содержаніемъ его произведеній. Новое направленіе получило тогда названіе *натуральной школы*, названіе, какъ это часто случается, не точно опредѣляющее его; оно дано было, какъ кажется, Бѣлинскимъ. Толки о натуральной школѣ, сдерживаемые, разумѣется, цензурой, наполняли тогдашніе журналы, раздѣливъ представителей литературы на два противоположные и враждебные лагеря. Подъ натуральною школою надобно разумѣть болѣе живое пониманіе дѣйствительности, болѣе глубокое отношеніе къ ней, больше простора въ пониманіи окружающей жизни и совершенное отчужденіе отъ реторики, т.-е. отъ того лганья, которымъ преисполнена была жизнь и литература. Весь успѣхъ этой послѣдней и ея движеніе впередъ, какъ справедливо замѣтилъ Бѣлинскій, „зависятъ больше *отъ объема и количества предметовъ*, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для

ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Въ натуральной школѣ было уже это расширеніе границъ.

Надобно замѣтить, что годы 1843—1848 были, говоря относительно, довольно благопріятны для успѣховъ мысли и для развитія литературы у насъ въ теченіе всей однообразной и послѣдовательной тридцатилѣтней системы. Поводья какъ-будто ослабли; мысль и сознаніе, бродившія въ обществѣ, несмотря на случайное появленіе свое, стали получать тогда болѣе опредѣленную форму и выраженіе. Цензура сдѣлалась какъ бы благодушнѣе, смотрѣла иногда сквозь пальцы. Это была передышка въ нѣкоторомъ родѣ, и очень скоро, съ 1848 г. эта цензура съ усиленною дѣятельностью принялась за хирургическую операцію вылущиванія мысли. Какъ ни много было заказано вообще путей русской литературѣ, все же, въ эти льготные годы, мы слышимъ въ ней толки о самобытности, о дѣйствительности, о болѣе широкомъ и вѣрномъ изображеніи жизни; мы видимъ появленіе двухъ литературныхъ партій, въ основѣ которыхъ была сознательная мысль и зародыши политическихъ убѣжденій. Нравственное чувство и умственные интересы пробуждаются и растутъ въ обществѣ. Главное содержаніе этого возбужденія давалось европейскими вліяніями. Высока и крѣпка была та китайская стѣна, которая поднималась на западной нашей границѣ, но для крылатыхъ свойствъ человѣческой мысли она не была безусловнымъ препятствіемъ, а въ Европѣ въ это время, послѣ спокойныхъ годовъ, слѣдовавшихъ за паденіемъ Наполеона и только на короткое время прерванныхъ іюльскими днями, развивалось и крѣпло умственное движеніе. Мысль зрѣла, дѣлалась интенсивнѣе; она стала касаться самыхъ существенныхъ и коренныхъ сторонъ человѣческаго общества и, недовольная ходомъ исторіи, результатами продолжительной и жестокой борьбы, только что пережитой Европою, осуждала эту исторію. Содержаніе этой европейской мысли, недоступное массѣ, необходимо должно было войти въ сознаніе незначительнаго меньшинства русскаго общества, которое шло по историческому пути, проложенному Петромъ В. Это образованное меньшинство, конечно, принадлежало литературѣ. Мы видѣли, что она развивалась. Анализъ окружающихъ ее явленій былъ необходимъ. Неизбѣжнымъ явленіемъ анализирующей мысли было критическое недовольство. Счастлива та страна, гдѣ не засыпаетъ этотъ критическій процессъ мысли и, возбуждая дѣятельность сознанія, раскрывая „несовершенства и бѣдность“, работаетъ безостановочно для лучшаго будущаго. Мысль можно изуродовать, пустить ее по кривымъ путямъ, но она не заглохнетъ, не уснетъ навѣки.

На Гоголя, какъ основателя школы, на молодыхъ талантливыхъ его продолжателей въ литературѣ, какъ извѣстно, долго падали обвиненія за *отрицательное* или, какъ стали потомъ выражаться — за *обличительное направленіе*, за то, что они постоянно изображаютъ все „бѣдность да бѣдность, да несовершенства человѣческой жизни“, но въ изображеніи отрицательныхъ явленій, если въ нихъ была жизнен-

ная правда, и заключался успѣхъ литературы. Она разсталась съ ложью и фразою, если бы даже въ нихъ и заключался „насъ возвышающій обманъ“; она стала однимъ изъ существенныхъ факторовъ духовнаго развитія страны; она дѣлала гражданскій подвигъ. За отталкивающими явленіями, ею изображаемыми, носились впереди, какъ цѣль, свѣтлые идеалы; она призывала ихъ, ждала ихъ осуществленія; отрицаніе являлось сознаніемъ того, что должно быть вмѣсто того, что на самомъ дѣлѣ было. Говорить поэтому объ односторонности этого направленія, даже оскорбляться имъ, какъ это часто случалось въ полемикѣ тѣхъ годовъ — было совершенно несправедливо. „Натуральная школа имѣла будущее.

Въ эпоху первой литературной дѣятельности Достоевскаго, т.-е. до 1849 г., это направленіе имѣло уже нѣсколькихъ талантливыхъ представителей. Упомянемъ прежде всего о Григоровичѣ, товарищѣ по Инженерному училищу Достоевскому. Его „Деревня“, его „Антонъ Горемыка“, написанные въ то время съ теплою любовію къ русскому крестьянину въ его безправномъ положеніи, и съ замѣчательнымъ талантомъ, были какъ бы откровеніемъ новой стороны русской жизни, совсѣмъ неизвѣстной прежде или представляемой чрезвычайно фальшиво. Несмотря на нѣкоторую молодую идеализацію свою, совершенно необходимую въ виду той высокой и благородной цѣли, которая присутствовала въ созданіи автора, повѣсти эти вносили въ общество міръ новыхъ и плодотворныхъ идей, затрогивали, хотя и робко, крестьянскій вопросъ, строго запрещенный для литературы. „По прочтеніи трогательной повѣсти „Антонъ Горемыка“, въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя“, — сказалъ о ней Бѣлинскій. Тургеневъ, этотъ величайшій послѣ Гоголя нашъ художникъ, тогда же отъ первоначальныхъ поэтическихъ попытокъ, гдѣ его мысль еще бродила между портретами и сценами русской провинціальной и помѣщичей жизни и общими человѣческими идеалами, обратился къ тому, что онъ наблюдалъ, что хорошо знаетъ, чему горячо сочувствуетъ его сердце, — къ русской природѣ и той же печальной дѣйствительности, которую затронулъ и Григоровичъ. Рядъ великолѣпныхъ очерковъ „Записокъ Охотника“ останется навсегда однимъ изъ драгоцѣнныхъ достояній русской литературы, гдѣ образы дѣйствительности схвачены глубокимъ чувствомъ поэта и тонкимъ умомъ наблюдателя. По другой дорогѣ шелъ Гончаровъ, но и его первый романъ „Обыкновенная исторія“, хотя и не касающаяся общественныхъ вопросовъ, принадлежитъ также къ натуральной или, лучше сказать, къ реальной школѣ, основателемъ которой былъ Гоголь. Лица Гончарова, обрисованныя съ холоднымъ увлеченіемъ настоящаго художника, стоятъ предъ читателемъ, какъ живыя, будятъ его мысль, но не заставляютъ задумываться о той общественной средѣ, къ которой они принадлежатъ. Къ этимъ главнымъ представителямъ „натуральной школы“ необходимо присоединить еще одного, произведенія котораго относятся къ тѣмъ же годамъ и часто появлялись тогда въ нашихъ журналахъ. Мы говоримъ объ авторѣ весьма замѣчательной повѣсти

„Кто виноватъ?“, нѣкоторыхъ другихъ разсказовъ, затрогивающихъ, какъ „Сорока-воровка“ напримѣръ, въ высшей степени любопытные вопросы русскаго общественнаго сознанія, и цѣлаго ряда статей научнаго содержанія по исторіи философіи и по философіи исторіи, отличающихся глубиною смѣлой и самостоятельной мысли и изложенныхъ такимъ блестящимъ, оригинальнымъ и остроумнымъ слогомъ, какой изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени принадлежалъ исключительно ему. О значеніи критики Бѣлинскаго, какъ для объясненія Гоголя и его школы, такъ и для указанія цѣлей и стремленій для всей русской литературы, мы уже говорили. Это былъ великій и благородный учитель для всѣхъ писателей.

Въ этихъ главныхъ представителяхъ въ то время нашей литературы заключался успѣхъ общественнаго сознанія. Они были отраженіемъ этого сознанія. Литература измѣнила радикальнымъ образомъ и содержаніе и тонъ свой. Повѣсти великосвѣтскаго содержанія, безъ которыхъ не обходилась ни одна книжка прежнихъ журналовъ, съ ходульными героями и эффектно-невозможными страстями, историческіе романы, гдѣ изображались въ совершенно ложномъ свѣтѣ и съ напыщенною реторикою, придуманныя патріархальныя добродѣтели русскаго человѣка, quasi-патріотическія драмы Кукольника и Полевого и много другихъ того же рода явленій сдѣлались невозможными. Литература оставила блестящій салонъ и пошла въ бѣдную избу, въ мрачный петербургскій „уголъ“; она поднималась на „вершины“ многоэтажныхъ петербургскихъ домовъ, спускалась въ сырые и затхлые подвалы, гдѣ гнѣздятся люди, обойденные судьбой, падшіе и несчастные, „униженные и оскорбленные“, но все-таки люди и братья. Съ участіемъ и любовью, съ глубокимъ уваженіемъ нравственнаго человѣческаго достоинства, подъ лохмотьями нищеты, литература искала человѣка и, изображая его страданія, старалась показать, насколько это было возможно для нея въ ея несвободномъ состояніи, на чемъ и на комъ лежитъ вина часто незаслуженнаго страданія, съ кого взыскать обиду. Извѣстно, что тогдашнее общество было значительно проникнуто благотворительнымъ или филантропическимъ направленіемъ; для однихъ это было дѣломъ христіанскаго убѣжденія и чувства, для другихъ — дѣломъ подражанія и моды. „Общество посѣщенія бѣдныхъ въ Петербургѣ“ основано было въ тѣ годы на очень широкихъ и разумныхъ основаніяхъ. Его любопытная исторія закончилась закрытіемъ по распоряженію высшей власти, но оно отвѣчало требованіямъ времени. Бѣлинскій говоритъ, что все это направленіе общества должно было необходимо отразиться въ литературѣ, какъ его выраженіи. Но литература, по словамъ его, сдѣлала едва ли не больше: „она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него“. *(Сочин.* XI, 349—350.) Участникомъ этого крайне любопытнаго и плодотворнаго литературнаго движенія сдѣлался и Достоевскій. *Буличъ.*

Содержаніе и композиція „Бѣдныхъ людей“.

„Бѣдные люди“ — очень обыкновенная исторія, разсказанная въ перепискѣ двухъ лицъ. Мелкій канцелярскій чиновникъ, истощенный годами и заботами, приближается къ склону своей печальной жизни въ борьбѣ съ нуждою и муками оскорбленнаго самолюбія. Еще немного и этотъ невѣжественный и наивный чиновникъ, съ своимъ пошлымъ разговоромъ, посредственной мыслью, служащій чуть не шутомъ для своихъ сотоварищей и полагающій все свое честолюбіе въ красивой перепискѣ бумагъ, сдѣлался бы только смѣшнымъ. Но подъ этой устарѣвшей и забавной оболочкой сохранилось такое чистое, такое преданное, — я чуть было не сказалъ столь свято, тупоумное въ своемъ высокомъ самоотверженіи, сердце ребенка. Типъ этотъ — любимый типъ русскихъ наблюдателей, онъ совмѣщаетъ въ себѣ все, что есть лучшаго въ духѣ ихъ народа: такова Лукерья въ „Живыхъ мощахъ“ Тургенева, таковъ Каратаевъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ Толстого. Но то были простые крестьяне. Дѣвушкинъ изъ „Бѣдныхъ людей“ стоитъ нѣсколькими ступенями выше ихъ на умственной и общественной лѣстницѣ. Въ этой жизни, томной и холодной, какъ русская декабрьская ночь, свѣтитъ одинъ ясный лучъ, одна радость. Напротивъ каморки, гдѣ чиновникъ переписываетъ свои бумаги, живетъ молодая дѣвушка, дальняя его родственница. Она также убита судьбой и не имѣетъ въ мірѣ другой опоры, кромѣ ничтожнаго покровительства своего друга. Удаленные отъ міра, полуподавленные грубыми столкновеніями съ людьми и дѣйствительностью, два несчастныхъ существа поддерживаютъ одинъ другого, любятъ другъ друга и помогаютъ одинъ другому — не умереть. Въ эту взаимную привязанность мужчина вноситъ молчаливое самоотверженіе, деликатность тѣмъ болѣе привлекательную, чѣмъ болѣе она противорѣчитъ обычной неловкости его мысли и дѣйствія. Какъ-будто видишь стыдливый цвѣтокъ, выросшій на безплодной землѣ, среди терновника, — только ароматъ выдаетъ его присутствіе. Для того, чтобы облегчить и даже пріукрасить жизнь подруги, Дѣвушкинъ налагаетъ на себя героическія лишенія, они тщательно скрываются, ихъ можно угадать только въ нѣкоторыхъ нечаянно проскользывающихъ неосторожныхъ выраженіяхъ, онъ, вѣдь, считаетъ свои поступки столь естественными. Онъ выражаетъ поочередно чувство отца, брата, доброй старой собаки; самъ Дѣвушкинъ охотно охарактеризовалъ бы ихъ такъ, если бы ему пришло въ голову провѣрить себя. Мы, однако, хорошо знаемъ настоящее названіе его чувства; но сказать ему этого нельзя, онъ умеръ бы со стыда при одномъ звукѣ настоящаго слова.

Характеръ женщины очерченъ съ удивительнымъ мастерствомъ. Она стоитъ гораздо выше своего друга по уму и воспитанію, и руководитъ его во всемъ, что касается умственнаго развитія, въ которомъ все для него ново. Она нѣжна и слаба, сердце ея менѣе надежно,

не такъ безропотно. Она не совсѣмъ еще отказалась отъ жизни. Безпрестанно возставая противъ лишеній, которыя выноситъ Дѣвушкинъ, прося его не заботиться болѣе о ней, она иногда вдругъ испускаетъ вопль противъ бѣдности, или выражаетъ какое-нибудь дѣтское желаніе, потребность въ тряпкѣ. Сосѣди, чтобы не подавать повода къ сплетнямъ, могутъ видаться только черезъ долгіе промежутки времени и поэтому между ними установилась почти ежедневная переписка. Изъ этихъ-то писемъ мы и узнаемъ ихъ прошедшее, ихъ мрачную исторію, мелкія происшествія ежедневной жизни и разочарованій. Въ этихъ письмахъ разсказывается и объ ужасѣ молодой дѣвушки, преслѣдуемой бдительнымъ порокомъ, объ отчаяніи чиновника въ погонѣ за кускомъ насущнаго хлѣба, напрасно старающагося сохранить обрывки собственнаго достоинства отъ безчеловѣчныхъ рукъ, раздирающихъ его. Наступаетъ, наконецъ, развязка. Дѣвушкинъ теряетъ свою единственную радость. Вы, безъ сомнѣнія, думаете, что новая молодая любовь замѣнила братскую привязанность въ сердцѣ дѣвушки,— о! нѣтъ, дѣло разрѣшилось проще, болѣе по-человѣчески, гораздо печальнѣе. Одинъ господинъ, интересовавшійся прежде этой дѣвушкой и бывшій одною изъ главныхъ причинъ ея настоящихъ затрудненій, предлагаетъ ей свою руку. Онъ уже не молодъ, очень богатъ и нѣсколько подозрительнаго поведенія, но все-таки предложеніе его почетно. Уставъ бороться противъ судьбы, увѣренная, быть-можетъ, въ томъ, что такимъ поступкомъ она даже облегчитъ затруднительное положеніе, въ которомъ находится ея другъ, несчастная принимаетъ это предложеніе. Здѣсь обрисовка характера достигаетъ до поразительной правдивости. Невѣста, перейдя отъ нужды къ роскоши, чувствуетъ минутное опьяненіе въ новой атмосферѣ: наряды, драгоцѣнности, наконецъ-то! Съ наивной жестокостью она наполняетъ послѣднія письма подробностями объ этихъ важныхъ предметахъ, она по привычкѣ поручаетъ своему доброму Дѣвушкину, дѣлавшему для нея прежде всѣ покупки, сходить къ модисткѣ, къ ювелиру... Слѣдуетъ ли сказать, что это презрѣнная душа, недостойная превосходнаго чувства, внушеннаго ею? Могу васъ увѣрить, что въ читателѣ ни на минуту не зарождается подобнаго впечатлѣнія: настолько писатель умѣлъ сохранить вѣрный тонъ. Нѣтъ, здѣсь чувствуется немного молодости и человѣчности всплывшей на поверхность въ этой разбитой душѣ; развѣ можно негодовать за это? А затѣмъ такая жестокость объясняется недоразумѣніемъ въ отношеніяхъ двухъ лицъ. Для нея это только дружба, которая останется навсегда такою же вѣрною, такою же признательною, хотя, быть-можетъ, менѣе близкою. Какъ можетъ она понять, что для него ея бракъ — причина отчаянія, такъ какъ одно изъ условій свадьбы составляетъ немедленный отъѣздъ въ одну изъ отдаленныхъ провинцій. Дѣвушкинъ, до послѣдней минуты отвѣчаетъ на письма съ мелочными подробностями относительно исполненныхъ порученій, онъ дѣлаетъ громадныя усилія разобраться въ кружевахъ и лентахъ, и развѣ только подавленное содроганіе вы-

даетъ тамъ и сямъ ужасъ, наполняющій его при мысли о близкой разлукѣ. Только въ послѣднемъ письмѣ изливается растерзанное сердце, несчастный человѣкъ видитъ передъ собою остающуюся ему жизнь, ея одиночество и ужасающую пустоту; онъ самъ не помнитъ, что пишетъ, но тѣмъ не менѣе жалобы его сдержанны, онъ, кажется, еще самъ не угадываетъ всего размѣра своей скорби. Драма заканчивается этимъ стономъ, звенящимъ въ одиночествѣ, позади поѣзда, разлучившаго „бѣдныхъ людей".

Уже въ этомъ произведеніи замѣчаются нѣкоторыя длинноты, но недостатокъ менѣе чувствителенъ, чѣмъ сдѣлается впослѣдствіи. Нѣкоторыя картины схвачены съ полной жизненностью, съ трагической силой. Молодая дѣвушка разсказываетъ о смерти студента, сосѣда ея по квартирѣ, и объ отчаяніи его отца, простого, необразованнаго старика, который жилъ въ боязливомъ преклоненіи передъ знаніями такого ученаго сына.

„Похоронами распорядилась сама Анна Ѳедоровна. Купили гробъ простой-простой и наняли ломового извозчика. Въ обезпеченіе издержекъ Анна Ѳедоровна захватила всѣ книги и вещи покойнаго. Старикъ съ ней спорилъ, шумѣлъ, отнялъ у нея книгъ, сколько могъ, набилъ ими всѣ свои карманы, наложилъ ихъ въ шляпу, куда могъ, носился съ ними всѣ три дня, и даже не разстался съ ними и тогда, когда нужно было итти въ церковь. Всѣ эти дни онъ былъ какъ безпамятный, какъ одурѣлый, и съ какой-то странной заботливостью все хлопоталъ около гроба; то оправлялъ вѣнчикъ на покойникѣ, то зажигалъ и снималъ свѣчи. Видно, что мысли его ни на чемъ не могли остановиться порядкомъ. Ни матушка ни Анна Ѳедоровна не были въ церкви на отпѣваніи. Матушка была больна, а Анна Ѳедоровна совсѣмъ было ужъ собралась, да поссорилась со старикомъ Покровскимъ и осталась. Была только одна я да старикъ. Во время службы на меня напалъ какой-то страхъ — словно предчувствіе будущаго. Я едва могла выстоять въ церкви. Наконецъ гробъ закрыли, заколотили, поставили на телѣгу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчикъ поѣхалъ рысью. Старикъ бѣжалъ за нимъ и громко плакалъ; плачъ его дрожалъ и прерывался отъ бѣга. Бѣдный потерялъ свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла отъ дождя; поднимался вѣтеръ; изморозь сѣкла и колола лицо. Старикъ, кажется, не чувствовалъ непогоды и съ плачемъ перебѣгалъ съ одной стороны телѣги на другую. Полы его ветхаго сюртука развѣвались по вѣтру, какъ крылья. Изъ всѣхъ кармановъ торчали книги; въ рукахъ его была какая-то огромная книга, за которую онъ крѣпко держался. Прохожіе снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бѣднаго старика. Книги поминутно падали у него изъ кармановъ въ грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; онъ поднималъ и опять пускался вдогонку за гробомъ. На углу улицы увязалась съ нимъ вмѣстѣ провожать гробъ какая-то нищая старуха. Телѣга поворотила, наконецъ, за уголъ и скрылась отъ глазъ моихъ".

Я хотѣлъ бы привести другіе отрывки, но я колеблюсь и не знаю, что цитировать. Это самая лучшая похвала, какую только можно сказать о романѣ. Построеніе его настолько прочно, матеріалы такъ просты и такъ приспособлены къ впечатлѣнію производимому цѣлымъ, что вырванный кусокъ теряетъ всякую стоимость. Онъ значилъ бы не болѣе, чѣмъ обломокъ камня, отбитый отъ греческаго храма, гдѣ вся красота заключается въ общихъ линіяхъ. Черта эта одинакова у всѣхъ великихъ русскихъ романтистовъ. Страницы въ ихъ книгахъ накопляются безъ шума, падаютъ медленными и протачивающими каплями воды, но вдругъ, неожиданно, не замѣчая прилива, очутишься среди глубокаго озера, затопленнаго все поднимающимися и поднимающимися волнами грустнаго чувства. Другое, общее имъ свойство, которымъ замѣчателенъ Тургеневъ, но Достоевскій, быть-можетъ, превзошелъ его, — это умѣнье одною строчкою, однимъ словомъ возбуждать безконечные отголоски, цѣлые ряды мыслей и чувствъ. Уже въ „Бѣдныхъ людяхъ“ это умѣнье выразилось въ полной мѣрѣ. Слова, которыя вы читаете на бумагѣ, кажутся написанными не въ длину, а въ глубину; они влекутъ за собою глухіе отзвуки, теряющіеся въ неизвѣстной дали. Они, какъ клавиши органа, эти узкія косточки, откуда, кажется, выходитъ звукъ, но которыя связаны невидимыми проводниками съ глубиною инструмента, вмѣстилищемъ гармоніи, гдѣ раздаются громовые раскаты. Когда перевернута послѣдняя страница, двухъ выведенныхъ лицъ знаешь такъ, какъ-будто цѣлые годы прожилъ съ ними. Авторъ не разсказалъ намъ и тысячной доли того, что мы узнали о нихъ, а однако мы знаемъ ихъ точнымъ знаніемъ, — настолько указанія его раскрыли намъ ихъ жизнь. Прошу прощенія у нашей школы, требующей точности и отчетливости, но, заявляю рѣшительно, писатель наиболѣе могуществен именно тѣмъ, чего онъ не сказалъ; мы благодарны ему за то, что онъ даетъ намъ угадывать.

Этотъ романъ — скорбная книга, она могла бы взять вмѣсто эпиграфа строки, написанныя Дѣвушкинымъ объ одномъ изъ товарищей его по несчастію пораженнымъ новымъ ударомъ: „слезы текутъ у него, да можетъ-быть и не отъ горести, а такъ, по привычкѣ, глаза гноятся“. Эта книга, исполненная любви—она вылилась изъ сердца однимъ порывомъ. Достоевскій высказался въ ней весь со своей болѣзненной чувствительностью, потребностью соболѣзнованія и преданности, онъ выразилъ въ ней свойственное ему горькое воззрѣніе на жизнь, постоянно болящую и нелюдимую гордость. Какъ въ сочиненной перепискѣ Дѣвушкина, такъ и въ его собственныхъ письмахъ, относящихся къ тому времени, говорится о несказанныхъ страданіяхъ, которыя заставлялъ его испытывать „постыдный сюртукъ“. Для того, чтобы раздѣлить удивленіе Некрасова и Бѣлинскаго, чтобы понять всю самобытность творенія, нужно возвратиться къ тому литературному моменту, когда оно появилось. „Записки охотника“ были напечатаны лишь спустя пять лѣтъ послѣ того. Правда, повѣсть Гоголя, подъ заглавіемъ „Шинель“, дала уже тему. Русскіе писатели справедливо говорятъ,

что всѣ они вышли изъ „Шинели“ Гоголя, но Достоевскій иронію своего учителя замѣнилъ невольно вызываемымъ волненіемъ.

Вогюэ.

Будничность жизни „Бѣдныхъ людей“ и особенность формы, облекшей ея содержаніе.

Ни одинъ романъ Достоевскаго, считая и послѣдніе, не имѣлъ такого успѣха въ обществѣ, какъ „Бѣдные люди“. Этому успѣху способствовало и тогдашнее общественное настроеніе и рѣшающій голосъ Бѣлинскаго. Критикъ предсказывалъ, что Достоевскому, „какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ“, говорилъ, что сущность и значеніе разсказа и глубоки и многозначительны, что „сила, глубина и оригинальность Достоевскаго признана тотчасъ же всѣми“. Многіе однакожъ изъ тогдашнихъ читателей поняли и внѣшніе недостатки писателя: утомляющую растянутость разсказа, ненужныя повторенія и излишнюю плодовитость. Все это приписывали молодости автора, еще не установившагося, не вошедшаго въ надлежащую мѣрку таланта. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу самыхъ страстныхъ, увлекающихся натуръ и, какъ извѣстно, очень скоро разочаровался въ художественной полнотѣ таланта Достоевскаго, и сталъ очень строго относиться къ его произведеніямъ. Въ настоящее время всякій знаетъ, что эта ранняя, первая повѣсть Достоевскаго имѣетъ только историческое значеніе, что общество, къ счастью, далеко ушло отъ ея бѣднаго содержанія, что это не такое художественное произведеніе, къ которому можно обратиться или за поученіемъ, или за высокою прелестью образовъ, никогда не утрачивающихъ своей молодости.

Что такое эта первая повѣсть, которою такимъ блестящимъ образомъ началась литературная дѣятельность Достоевскаго? Это весьма простой разсказъ изъ жизни тѣхъ людей, которые нанимаютъ бѣдную комнату или „уголъ“ въ Петербургѣ, ѣдятъ съ грѣхомъ пополамъ, отказываютъ себѣ въ малѣйшей бездѣлицѣ, считая копейки и сберегая кусочки сахару. Всѣ духовные интересы ихъ ограничиваются чтеніемъ случайно попавшей въ руки книжки или представленіемъ на сценѣ Александринскаго театра. Но въ этой скудной жизни не умираетъ человѣческое сердце, горитъ искра чувства, есть свои радости и свои страданія, столь же глубокія, столь же понятныя, какъ и вездѣ, гдѣ страдаетъ и радуется человѣкъ. Пусть однако Достоевскій самъ разскажетъ о содержаніи своихъ „Бѣдныхъ людей“. Онъ читалъ ихъ въ кругу знакомаго семейства: „Старикъ ожидалъ чего-то непостижимо-высокаго, такого, чего онъ, пожалуй, и самъ не могъ понять, но только непремѣнно высокаго; а вмѣсто того вдругъ *такія будни и все такое извѣстное, вотъ точь-въ-точь какъ то самое, что обыкновенно*

кругомъ совершается. И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой или изъ историческаго чего-нибудь въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, *забитый* и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ осыпались, и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать ни взять какъ мы сами говоримъ... Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы... Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ... Такъ себѣ, просто разсказецъ: зато сердце захватываетъ, говорилъ онъ: *зато становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ, зато познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой!*" (*Униж. и оскорбл.*, стран. 38—49.)

Начинающій романистъ выбралъ и форму, употребляемую неискусившимися въ романѣ писателями: форму писемъ. Это обстоятельство помѣшало Достоевскому болѣе глубокимъ психологическимъ образомъ развить ту нѣсколько странную старческую привязанность Макара Алексѣевича Дѣвушкина, которую онъ питаетъ, въ качествѣ дальняго родственника, къ молодой дѣвушкѣ, брошенной обольстителемъ, ее купившимъ. Въ изображеніяхъ жизни, окружающей старика и дѣвушку, мы находимъ тѣ же симпатіи писателя, которыя сохранились въ немъ и въ послѣдніе годы и въ позднѣйшихъ, гораздо шире задуманныхъ романахъ. Таковы у него фигуры бѣдныхъ дѣтей, загнанныхъ, болѣзненныхъ и задумчивыхъ. Нищій ребенокъ, окоченѣвшій отъ мороза, посинѣлый отъ холода, бѣдненькій и запуганный, голодный, кашляющій и чахлый, заглядѣвшійся на куколъ, танцующихъ у шарманщика, появляется и на страницахъ „Дневника писателя". Лицо Варвары Алексѣевны повторилось и въ Наташѣ романа „Униженные и оскорбленные" и отчасти въ Софьѣ Мармеладовой въ „Преступленіи и наказаніи", хотя самъ Дѣвушкинъ, очевидно, нарисованъ по типу героя гоголевской „Шинели". Передъ нами проходятъ тѣ же лица, которыя и позже повторяются нѣсколько разъ, напр., этотъ излюбленный Достоевскимъ типъ чиновника безъ мѣста, исключеннаго изъ службы и подчасъ испивающаго: „такой сѣденькій, маленькій: ходитъ въ такомъ засаленномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть... Жалкій, хилый такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, ужъ отъ болѣзни, что ли, какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой: ужъ я застѣнчивъ подчасъ, а этотъ еще хуже". Эта фигура, со всегдашнею слезинкою, которая гноится у ней на рѣсницахъ — тотъ же типъ смиренія и забитости, какимъ является и самъ Дѣвушкинъ, человѣкъ смирный, человѣкъ маленькій. Герой романа — простой переписчикъ и гордится этимъ: „я работаю, я потъ проливаю", говоритъ онъ. Кто-то назвалъ его крысой. „Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то эта нужна, да крыса-то эта пользу приноситъ, да за крысу-то эту держатся, да крысѣ-то этой награжденіе выходитъ, — вотъ она крыса какая!" Бѣдные люди капризны и взыскательны; негаснущая искра человѣческаго достоинства

дѣлаетъ ихъ подозрительными. „Онъ, бѣдный-то человѣкъ, взыскателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божій иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ да прислушивается къ каждому слову, — дескать, не про него ли тамъ что говорятъ?“ Какъ требовало время, этотъ бѣдный человѣкъ — „безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей“; онъ никогда не замѣченъ ни въ какихъ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ: „чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь или въ нарушеніи общественнаго спокойствія“. Правда, и въ его головѣ, особенно когда онъ выпьетъ, невольно иной разъ подымаются „проклятые вопросы“. Идетъ онъ по богатой и шумной петербургской улицѣ; блестятъ и горятъ магазины; за зеркальными стеклами разложены наряды, которые богатые люди дарятъ своимъ женамъ, съ грохотомъ несутся экипажи; на бархатѣ и шелку сидятъ въ нихъ разодѣтыя дамы, графини и княгини, и изнываетъ сердце бѣдняка. „Отчего это такъ случается,—мучительно стоитъ вопросъ въ его головѣ,— что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастіе само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правдѣ-истинѣ, зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачекъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ поневолѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ“. И не находитъ мучительный вопросъ жизни отвѣта въ головѣ бѣдняка или разрѣшается смиреннымъ фатализмомъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно повиноваться“. Но этотъ низменный фатализмъ былъ, разумѣется, лишь въ головѣ чиновника Дѣвушкина. Достоевскій думалъ, конечно, иначе, и выставляя свои жалкія лица: оборванныхъ, запуганныхъ бѣдняковъ-чиновниковъ, дрожавшихъ предъ *ихъ* превосходительствомъ, бѣдныхъ дѣвушекъ, которыя безъ сознанія, безъ воли, какъ цвѣты подъ морозомъ, гибнутъ жертвами разврата и насилія, болѣзненно-нервныхъ дѣтей съ широко-раскрытыми глазенками, задумывающихся посреди веселья, съ исхудалыми, какъ кисточки, ручками, понималъ, какой міръ онъ изображаетъ.

Буличъ.

Общее содержаніе „Бѣдныхъ людей“, живость и истина въ изображеніи дѣйствительности, мастерская обрисовка характеровъ и художественное воспроизведеніе трагической стороны жизни.

Слухи о „Бѣдныхъ людяхъ“ и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ, все равно быть или не быть предупрежденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а незнатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т.-е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго,— и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается и въ досадѣ уже не видитъ въ произведеніи того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное, понравилось бы ему, если бъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусовъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ „Бѣдныхъ людей“ былъ полный. Если бъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ,— это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть что-то, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ-быть, двухъ-трехъ *испугавшихся* за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшимый — время... Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта „Бѣдные люди“ и, непосредственно за ними, „Двойникъ“ — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однакожъ, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ со своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ „Бѣдныхъ людяхъ“: вѣдь и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ

минуту появляющагося въ романѣ собственной особою, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которые или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ-будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вареньки какъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неокончено; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вареньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны; отношенія Вареньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, — все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Ѳедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій"...

Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго, живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющая читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительною истиною въ изображеніи дѣйствительности, мастерскою обрисовкою характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ, и — что̀, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта г. Достоевскаго, его оригинальность, — глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ „Бѣдныхъ людяхъ" много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготовляетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще, легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ — мастерскія художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиною взгляда и силою выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь".

Бѣлинскій.

Достоевскій, открывая искру Божію въ бѣдныхъ людяхъ, жизнію приниженныхъ, приближаетъ ихъ къ намъ, дѣлаетъ родными.

Тотъ, кто внимательно вчитается въ это первое произведеніе Достоевскаго, можетъ легко убѣдиться, что однимъ изъ мотивовъ, вызвавшихъ его, было глубокое чувство протеста противъ нѣсколько холоднаго и безстрастнаго смѣха Гоголя надъ бѣдными, маленькими людьми, въ знаменитой „Шинели". Достаточно прочесть тѣ письма Дѣвушкина, въ которыхъ онъ негодуетъ на геніальнаго юмориста, чтобы убѣдиться въ этомъ: „Я, вѣдь, и самъ знаю, — пишетъ этотъ скромный, приниженный, измученный трудомъ, честный бѣднякъ, — что я не много дѣлаю тѣмъ, что переписываю; да все-таки я этимъ горжусь: я работаю и потъ проливаю. Ну, что же тутъ, въ самомъ дѣлѣ, такого, что переписываю? Что, грѣхъ что ли переписывать? Да что же тутъ безчестнаго такого?" Въ другомъ мѣстѣ Макаръ Алексѣевичъ говоритъ: „Да и что же такого, маточка, что вотъ хоть бы и я, гдѣ мостовая плоховата, пройду иной разъ на цыпочкахъ, что я сапоги берегу!" „И для чего такое писать? И для чего оно нужно? Что мнѣ за это шинель кто-нибудь изъ читателей сдѣлаетъ, что ли? Сапоги что ли новые купитъ? Нѣтъ, Варенька, прочтетъ да еще продолженія потребуетъ". Но особенная горечь чувствуется въ слѣдующихъ фразахъ: „Такъ послѣ этого и жить тебѣ смирно нельзя въ уголочкѣ своемъ, — каковъ ужъ онъ тамъ ни на есть, — никого не трогая, чтобы и тебя не затронули, чтобы и въ твою конуру не пробрались и не подсмотрѣли"...

Какъ ни робокъ и ни пригнетенъ Макаръ Алексѣевичъ, но и у него есть потребность самоуваженія, и у такихъ людей она даже сильнѣе, потому что, кромѣ этого маленькаго самоуваженія, у нихъ ужъ ровно ничего нѣтъ. И вотъ, источникомъ такого самоуваженія, поддерживающимъ его и въ нуждѣ и въ униженіяхъ, является сознаніе, что „онъ проливаетъ трудовой потъ", что онъ „смирно живетъ въ уголочкѣ своемъ и никого не трогаетъ". И вдругъ это осмѣяно, опозорено передъ всѣми, передъ знакомыми и незнакомыми, передъ улицами и площадями, передъ каждымъ встрѣчнымъ, который съ этихъ поръ, посматривая на бѣдняка, думаетъ: „А, это ты, любезный, описанъ! Узнаю, похожъ!" Дѣвушкинъ привыкъ къ грубымъ насмѣшкамъ товарищей, но этого онъ вынести не въ силахъ; бѣдность мнительна и пуглива; ему теперь и на улицу страшно показаться; ему кажется, что каждый проходящій смотритъ на него съ улыбкой презрѣнія. И замѣчательно, что Дѣвушкинъ въ первый разъ въ жизни напивается пьянъ именно вскорѣ послѣ прочтенія „Шинели". Подорвано послѣднее, маленькое уваженіе къ себѣ, которымъ человѣкъ еще держался, и онъ падаетъ въ грязь.

Вотъ протестъ чуткой, любящей души великаго п[illegible]ротивъ другого, не менѣе великаго художника и наблюдателя в[illegible]ероны

дѣлаетъ ихъ подозрительными. „Онъ, бѣдный-то человѣкъ, взыскателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божій иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ да прислушивается къ каждому слову, — дескать, не про него ли тамъ что говорятъ?“ Какъ требовало время, этотъ бѣдный человѣкъ — „безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей“; онъ никогда не замѣченъ ни въ какихъ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ: „чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь или въ нарушеніи общественнаго спокойствія“. Правда, и въ его головѣ, особенно когда онъ выпьетъ, невольно иной разъ подымаются „проклятые вопросы“. Идетъ онъ по богатой и шумной петербургской улицѣ; блестятъ и горятъ магазины; за зеркальными стеклами разложены наряды, которые богатые люди дарятъ своимъ женамъ, съ грохотомъ несутся экипажи; на бархатѣ и шелку сидятъ въ нихъ разодѣтыя дамы, графини и княгини, и изнываетъ сердце бѣдняка. „Отчего это такъ случается,—мучительно стоитъ вопросъ въ его головѣ,— что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастіе само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правдѣ-истинѣ, зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачекъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ поневолѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ“. И не находитъ мучительный вопросъ жизни отвѣта въ головѣ бѣдняка или разрѣшается смиреннымъ фатализмомъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно повиноваться“. Но этотъ низменный фатализмъ былъ, разумѣется, лишь въ головѣ чиновника Дѣвушкина. Достоевскій думалъ, конечно, иначе, и выставляя свои жалкія лица: оборванныхъ, запуганныхъ бѣдняковъ-чиновниковъ, дрожавшихъ предъ *ихъ* превосходительствомъ, бѣдныхъ дѣвушекъ, которыя безъ сознанія, безъ воли, какъ цвѣты подъ морозомъ, гибнутъ жертвами разврата и насилія, болѣзненно-нервныхъ дѣтей съ широко-раскрытыми глазенками, задумывающихся посреди веселья, съ исхудалыми, какъ кисточки, ручками, понималъ, какой міръ онъ изображаетъ.

Буличъ.

Общее содержаніе „Бѣдныхъ людей“, живость и истина въ изображеніи дѣйствительности, мастерская обрисовка характеровъ и художественное воспроизведеніе трагической стороны жизни.

Слухи о „Бѣдныхъ людяхъ“ и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ, все равно быть или не быть предупрежденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а незнатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т.-е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго,— и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается и въ досадѣ уже не видитъ въ произведеніи того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное, понравилось бы ему, если бъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусовъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ „Бѣдныхъ людей“ былъ полный. Если бъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ,— это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть что-то, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ-быть, двухъ-трехъ *испугавшихся* за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшимый — время... Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта „Бѣдные люди“ и, непосредственно за ними, „Двойникъ“ — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однакожъ, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ со своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ „Бѣдныхъ людяхъ“: вѣдь и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ

много приходится разсказывать, если уже рѣшишься на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброю душою и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтелью, дѣвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ,— существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его „маточкѣ", „ангельчику и херувимчику Варенькѣ" есть что-то похожее на чувство любовника,— на чувство, которое онъ силится не признавать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если бъ замѣтилъ, что онъ смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говоритъ, что „все въ розовомъ цвѣтѣ представляется". Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка,— все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варенькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя,— до послѣдней крайности обманываетъ свою Вареньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ пріобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ, по тѣснотѣ и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варенькѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для нея самой, и жертвовать для ней всѣмъ было для него счастьемъ. Чѣмъ ограни-

ченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина, авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способность придавлены, приплюснуты жизнію. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, броситъ нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,— такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!“

Обратите вниманіе на старика Покровскаго и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница — и онъ *человѣкъ!* Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно любимаго имъ сына,— не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы,— какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти то къ тому, то къ другому!.. Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица Быкова, только на

минуту появляющагося въ романѣ собственной особою, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которые или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ-будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вареньки какъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неокончено; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вареньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны; отношенія Вареньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, — все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Ѳедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій"...

Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго, живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющая читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительною истиною въ изображеніи дѣйствительности, мастерскою обрисовкою характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ, и — что̀, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта г. Достоевскаго, его оригинальность, — глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ „Бѣдныхъ людяхъ" много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготовляетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще, легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ — мастерскія художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиною взгляда и силою выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь".

Бѣлинскій.

Достоевскій, открывая искру Божію въ бѣдныхъ людяхъ, жизнію приниженныхъ, приближаетъ ихъ къ намъ, дѣлаетъ родными.

Тотъ, кто внимательно вчитается въ это первое произведеніе Достоевскаго, можетъ легко убѣдиться, что однимъ изъ мотивовъ, вызвавшихъ его, было глубокое чувство протеста противъ нѣсколько холоднаго и безстрастнаго смѣха Гоголя надъ бѣдными, маленькими людьми, въ знаменитой „Шинели". Достаточно прочесть тѣ письма Дѣвушкина, въ которыхъ онъ негодуетъ на геніальнаго юмориста, чтобы убѣдиться въ этомъ: „Я, вѣдь, и самъ знаю, — пишетъ этотъ скромный, приниженный, измученный трудомъ, честный бѣднякъ, — что я не много дѣлаю тѣмъ, что переписываю; да все-таки я этимъ горжусь: я работаю и потъ проливаю. Ну, что же тутъ, въ самомъ дѣлѣ, такого, что переписываю? Что, грѣхъ что ли переписывать? Да что же тутъ безчестнаго такого?" Въ другомъ мѣстѣ Макаръ Алексѣевичъ говоритъ: „Да и что же такого, маточка, что вотъ хоть бы и я, гдѣ мостовая плоховата, пройду иной разъ на цыпочкахъ, что я сапоги берегу!" „И для чего такое писать? И для чего оно нужно? Что мнѣ за это шинель кто-нибудь изъ читателей сдѣлаетъ, что ли? Сапоги что ли новые купитъ? Нѣтъ, Варенька, прочтетъ да еще продолженія потребуетъ". Но особенная горечь чувствуется въ слѣдующихъ фразахъ: „Такъ послѣ этого и жить тебѣ смирно нельзя въ уголочкѣ своемъ, — каковъ ужъ онъ тамъ ни на есть, — никого не трогая, чтобы и тебя не затронули, чтобы и въ твою конуру не пробрались и не подсмотрѣли"...

Какъ ни робокъ и ни пригнетенъ Макаръ Алексѣевичъ, но и у него есть потребность самоуваженія, и у такихъ людей она даже сильнѣе, потому что, кромѣ этого маленькаго самоуваженія, у нихъ ужъ ровно ничего нѣтъ. И вотъ, источникомъ такого самоуваженія, поддерживающимъ его и въ нуждѣ и въ униженіяхъ, является сознаніе, что „онъ проливаетъ трудовой потъ", что онъ „смирно живетъ въ уголочкѣ своемъ и никого не трогаетъ". И вдругъ это осмѣяно, опозорено передъ всѣми, передъ знакомыми и незнакомыми, передъ улицами и площадями, передъ каждымъ встрѣчнымъ, который съ этихъ поръ, посматривая на бѣдняка, думаетъ: „А, это ты, любезный, описанъ! Узнаю, похожъ!" Дѣвушкинъ привыкъ къ грубымъ насмѣшкамъ товарищей, но этого онъ вынести не въ силахъ; бѣдность мнительна и пуглива; ему теперь и на улицу страшно показаться; ему кажется, что каждый проходящій смотритъ на него съ улыбкой презрѣнія. И замѣчательно, что Дѣвушкинъ въ первый разъ въ жизни напивается пьянъ именно вскорѣ послѣ прочтенія „Шинели". Подорвано послѣднее, маленькое уваженіе къ себѣ, которымъ человѣкъ еще держался, и онъ падаетъ въ грязь.

Вотъ протестъ чуткой, любящей души великаго писателя противъ другого, не менѣе великаго художника и наблюдателя внѣшней стороны

жизни, но безъ проникновенія въ ея сокровенныя нѣдра, въ святая святыхъ человѣческой души. Это былъ вызовъ, брошенный художественному „объективизму“, олимпійству и безстрастію, вызовъ, говорившій: „Посмотрите, что вы дѣлаете съ великимъ талантомъ своимъ! Надо помогать этимъ людямъ, поддержать ихъ, потому что на нихъ и безъ того тяготы жизни налегли непосильно; и безъ того они раздавлены подъ ними и физически, и умственно, и морально. А вы еще добавляете эту тяжесть, выставляя несчастныхъ на зубоскательство толпы?! И за что все это? Что они сдѣлали безчестнаго? Развѣ мало для стрѣлъ вашего юмора людей дѣйствительно гнусныхъ и дѣлъ дѣйствительно позорныхъ?“

И вотъ, чтобы реабилитировать этого бѣдняка, Достоевскій задается цѣлью совершенно противоположной: заставить читателя не смѣяться надъ бѣдностью, приниженностью, неловкостью, уродствомъ внѣшнимъ, а *плакать*. Съ этой-то цѣлью вся сила художественнаго творчества вложена здѣсь въ то, чтобы подъ внѣшнимъ, наноснымъ слоемъ самоуниженія, рабства, приниженности, робости, — открыть искру Божію въ маленькихъ душахъ этихъ людей.

И Достоевскій въ своемъ романѣ выводитъ ихъ нѣсколько, кромѣ главнаго героя, Макара Алексѣевича. Вотъ передъ вами несчастный маленькій чиновникъ Горшковъ, потерявшій мѣсто за то, что надъ нимъ тяготѣетъ преданіе суду за какое-то упущеніе по службѣ. Онъ живетъ съ семьей, измученной отъ нужды и голода, въ тѣхъ же меблированныхъ комнатахъ, гдѣ живетъ Дѣвушкинъ. Эту семью Макаръ Алексѣевичъ такъ описываетъ Варенькѣ: „Господи, Богъ мой! У нихъ всегда въ комнатѣ тихо и смирно, словно и не живетъ никто. Даже дѣтей не слышно. И не бываетъ этого, чтобы когда порѣзвились, поиграли дѣти, а ужъ это — худой знакъ. Какъ-то мнѣ разъ вечеромъ случилось мимо ихъ дверей пройти; на ту пору въ домѣ стало что-то не по обычному тихо; слышу всхлипыванье, потомъ шопотъ, опять всхлипыванье, точно какъ-будто плачутъ, да такъ тихо, такъ жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потомъ всю ночь мысль объ этихъ бѣднякахъ меня не покидала, такъ-что и заснуть не удалось хорошенько“. И вотъ въ этомъ Горшковѣ Достоевскій намѣчаетъ глубоко-человѣчныя черты: и этотъ несчастный увѣренъ, что всѣ знаютъ о его позорѣ, и онъ прячется отъ всѣхъ жильцовъ меблированныхъ комнатъ. Изрѣдка онъ позволяетъ себѣ заглянуть только въ каморку Дѣвушкина (вѣроятно, замѣтивъ, что этотъ не способенъ осудить), да и то постоянно извиняется, сидитъ молча, вопросительно смотритъ въ глаза, вдругъ встанетъ и убѣжитъ. Разъ онъ послѣ долгаго молчанія и оговорокъ рѣшился объяснить цѣль своего посѣщенія и дрожащимъ голосомъ спросилъ, „не найдется ли у Марка Алексѣевича двадцати копеекъ“. Вѣроятно, семья нѣсколько дней не ѣла... Вѣроятно, и раньше онъ заходилъ за этимъ, да не рѣшался спросить, видя страшную бѣдность самого Дѣвушкина. А тутъ не выдержалъ, спросилъ, и когда Макаръ Алексѣевичъ отвѣтилъ, что

у него двадцати копеекъ нѣтъ, Горшковъ, забывая всю обычную свою гордость, проситъ хотя десять копеекъ. И уже по этой просьбѣ, безъ всякихъ объясненій автора, вы понимаете, какая нужда заставила этого гордаго человѣка такъ унижаться. А онъ по-своему страшно гордъ: когда судъ оправдалъ его, онъ въ первыя минуты былъ какъ пьяный, заходилъ ко всѣмъ, посидитъ, посмотритъ, странно улыбается и уйдетъ. А къ вечеру того же дня его уже не было въ живыхъ: бѣдняга отъ неожиданнаго счастья умеръ.

Есть въ романѣ и еще такой же бѣднякъ, Покровскій; этотъ совсѣмъ спился, благодаря молодой и красивой женѣ, заводившей себѣ богатыхъ любовниковъ. У Покровскаго есть сынъ студентъ, единственное существо, которое несчастный пьяница любитъ почти до обожанія, хотя изъ разсказа видно, что студентъ — сынъ не Покровскаго, а одного богатаго шалопая-помѣщика, дающаго кое-какія средства на житье и ученье юноши. Мучительныя сцены происходятъ каждый разъ, когда несчастный старикъ является въ комнату студента, чтобы взглянуть на него, робко сидя у двери, подышать однимъ воздухомъ съ нимъ, помолчать благоговѣйно и снова уйти въ трущобы и кабаки, гдѣ проходитъ остальная его жизнь. Этотъ совсѣмъ погибшій человѣкъ копитъ по грошамъ небольшую сумму, чтобы подарить „сыну" какую-нибудь книжку „въ день ангела". Сынъ очень строгъ къ отцу и суровъ съ нимъ, и старику хочется доказать юношѣ, что онъ не совсѣмъ палъ, что онъ можетъ удержаться и скопить деньги. Сцена покупки этихъ книгъ, сцена врученія подарка и, особенно, послѣдняя сцена, когда студентъ умеръ, когда его везутъ на дрогахъ на кладбище въ туманное, грязное и дождливое петербургское утро, должны потрясать самыя черствыя и высокомѣрныя сердца. „Старикъ бѣжалъ за гробомъ и громко плакалъ. Извозчикъ (везшій гробъ) поѣхалъ рысью. Старикъ потерялъ свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла отъ дождя; поднимался вѣтеръ; изморозь сѣкла и колола лицо. Старикъ, кажется, не чувствовалъ непогоды и съ плачемъ перебѣгалъ съ одной стороны телѣги на другую. Полы его ветхаго сюртука развѣвались по вѣтру, какъ крылья. Изъ всѣхъ кармановъ торчали книги (которыя онъ взялъ, какъ святыню, на память, изъ огромной библіотеки сына: вѣдь книги больше всего любилъ этотъ сынъ); въ рукахъ его была какая-то огромная книга, за которую онъ крѣпко держался. Прохожіе снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бѣднаго старика. Книги поминутно падали у него изъ кармановъ въ грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю, онъ поднималъ и опять пускался въ догонку за гробомъ..." Есть и еще одинъ такой несчастный въ „Бѣдныхъ людяхъ", Емельянъ Ивановичъ или „Емеля", какъ его называетъ Дѣвушкинъ.

Но возвратимся къ самому Макару Алексѣевичу. Уже на описаніяхъ Горшкова и Покровскаго вы видѣли, что Достоевскій вложилъ всю силу своей любви, все негодованіе своего огорченнаго сердца, чтобы показать другую сторону медали въ жизни приниженныхъ бѣд-

няковъ. Но, конечно, въ судьбу Дѣвушкина вложено имъ больше всего силы.

Приведу одно мѣсто изъ письма Макара Алексѣевича, которое показываетъ, какъ Достоевскій понималъ причины паденія такихъ людей, т.-е. то состояніе, которое мы видѣли у Покровскаго и Емели, когда человѣкъ уже окончательно „замотался". Это письмо написано въ отвѣтъ на упреки Вареньки за то, что Дѣвушкинъ вернулся домой пьянымъ.

„Не попрекайте меня, что я на старости лѣтъ замотался... У меня въ груди то, маточка все изныло. Бѣдные люди капризны; — это ужъ такъ отъ природы устроено. Я это и прежде чувствовалъ. Онъ, бѣдный то человѣкъ, онъ взыскателенъ; онъ и на свѣтъ то Божій иначе смотритъ и *на каждаго прохожаго* косо глядитъ, да вокругъ смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову, — дескать, не про него ли тамъ что говорятъ? Что вотъ дескать, что же онъ такой неказистый?... И вѣдомо каждому, Варенька, что бѣдный человѣкъ хуже ветошки и ни отъ кого никакого уваженія получить не можетъ, что ужъ ни пиши! Они то, пачкуны то эти, что ужъ тамъ ни пиши, — все будетъ въ бѣдномъ человѣкѣ такъ какъ было. (Опять намекъ на Гоголевскую „Шинель", о которой Дѣвушкинъ забыть не можетъ). А отчего же такъ и будетъ по прежнему? А оттого, что ужъ у бѣднаго человѣка, по *ихнему*, все наизнанку должно быть, то ужъ у него ничего не должно быть завѣтнаго, тамъ амбиціи какой-нибудь ни-ни-ни! Бѣдный человѣкъ знаетъ, что есть подъ бокомъ у него такой господинъ, что вотъ идетъ куда-нибудь къ ресторану да говоритъ самъ съ собою: „что вотъ, дескать, эта голь-чиновникъ, что будетъ ѣсть сегодня? а я соте-патильотъ буду ѣсть..." И они ходятъ, *пашквилянты неприличные*, да смотрятъ, что, дескать, *всей ли ногой* на камень наступаешь, али носочкомъ однимъ; что де вотъ у такого то чиновника изъ сапога пальцы торчатъ, что вотъ у него локти продраны — и потомъ тамъ себѣ это все и описываютъ, и дрянь такую печатаютъ... А какое тебѣ дѣло, что у меня локти продраны? Да, ужъ если вы простите мнѣ, Варенька, грубое слово, такъ я вамъ скажу, что у бѣднаго человѣка на этотъ счетъ *тотъ же самый стыдъ, какъ и у васъ, примѣрно, дѣвичій*. Вѣдь вы передъ всѣми разоблачаться не станете, вотъ такъ точно и бѣдный человѣкъ..." „Я не совсѣмъ виноватъ въ проступкѣ моемъ, - такъ же какъ и ни сердце ни мысли мои не виноваты: а ужъ такъ я и не знаю, что виновато! Вы тридцать копеекъ серебромъ мнѣ прислали, а потомъ прислали двугривенничекъ; у меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротскія денежки... Сами ручку обожгли, голодать скоро будете, а пишете, чтобы я табачку купилъ. Ну, какъ же мнѣ было поступить въ такомъ случаѣ? Или ужъ такъ, безъ зазрѣнія совѣсти, подобно разбойнику, васъ сироточку начать грабить? *Тутъ то я и упалъ духомъ, маточка, т.-е сначала чувствуя поневолѣ, что никуда не гожусь* и что я самъ немногимъ развѣ получше подошвы своей, счелъ неприличнымъ принимать себя за что нибудь значущее, а напротивъ, самого себя сталъ считать чѣмъ то неприличнымъ и въ нѣкоторой степени неблагопристойнымъ. *Ну, а какъ потерялъ къ самому себѣ уваженіе, какъ предался отрицанію добрыхъ качествъ своихъ и своего достоинства*, такъ ужъ тутъ и все пропадай, тутъ ужъ и паденіе, неминуемое паденіе! Это такъ уже судьбою опредѣлено, и я въ этомъ не виноватъ. Я *сначала вышелъ немного освѣжиться*..." и т. д., и т. д.

Трудно себѣ представить болѣе глубокій, болѣе правдивый и задушевный анализъ паденія бѣдняка, который и самъ не понимаетъ, какимъ образомъ это съ нимъ случилось. Онъ знаетъ, что разбилъ

этимъ сердце Вареньки (а кто нибудь другой — сердце, жены, дочери), и самъ пораженъ: „вѣдь, не звѣрь же я кровожадный и не тигръ, а самый кроткій человѣкъ, а вотъ растерзалъ сердце ваше“!

Я не буду распространяться о столь же глубокомъ душевномъ анализѣ, представляющемся на каждой страницѣ въ другихъ мѣстахъ романа: случай съ пуговицей, оторвавшейся у Дѣвушкина передъ генераломъ, сдѣлался классическимъ. Анализъ любви стараго, забитаго чиновника къ молодой дѣвушкѣ поразителенъ: не ради смѣха взята эта любовь и не ради оправданія и возвеличенія ея, какъ въ „Докторѣ Паскалѣ“, у Э. Зола. Нѣтъ, даже и анализъ этой любви бьетъ въ одну цѣль: одинокая, труженическая душа старика жаждетъ хотя какой нибудь свѣтлой точки и опоры въ жизни; онъ никогда не жилъ личной жизнью, а, между тѣмъ, и онъ — *человѣкъ*, въ юности онъ даже увлекся (конечно, платонически) одной актрисой, никогда ея не видя, а только по разсказамъ товарища. Это все та же петребность любви, какую видимъ у Покровскаго къ студенту. И вотъ эта жажда любви, семьи, родного очага, осуществить которую мѣшало все — и бѣдность, и занятость, и ужасъ передъ картинами тѣхъ страданій, которыя особенно сильны у бѣдняковъ *семейныхъ*, все это, сдерживаемое до старости, вылилось въ безпредѣльное, глубокое чувство къ чистой дѣвушкѣ. Это чувство наполнило и скрасило всю его жизнь, онъ бережетъ его какъ святыню, онъ трепещетъ малѣйшаго намека на что нибудь грубое, чувственное, на малѣйшее запятнаніе этой святыни... Еще болѣе поразительно посѣщеніе Дѣвушкинымъ ростовщика, чтобы занять денегъ на крайнюю нужду Вареньки, которая не разъ присылала ему свои послѣдніе, трудовые гроши. Ростовщикъ отказалъ, и вотъ какъ пишетъ объ этомъ бѣднякъ: „Я, маточка, въ это мгновеніе васъ вспомнилъ, всѣ ваши несчастія и нужды вспомнилъ, вашъ полтинничекъ вспомнилъ...“

Послѣ этого Макаръ Алексѣевичъ напился второй разъ въ жизни... Но съ этого же момента начинается и поворотъ въ его душѣ, въ его взглядѣ на общественныя отношенія. До этого момента онъ такъ былъ придавленъ самымъ фактомъ жизненной бѣдности, что принималъ его какъ нѣчто нормальное, даже не замѣчалъ его, какъ рыба не замѣчаетъ воды, въ которой всегда живетъ. Но съ этого момента въ немъ развивается почти болѣзненная наблюдательность: онъ всегда подмѣчаетъ нужду и горе, и его мысль начинаетъ работать серьезно надъ вопросами о нихъ. И до сихъ поръ онъ думалъ объ этомъ, но не такъ, какъ теперь: „теперь я *своимъ мыслямъ* въ глубинѣ души *сталъ сочувствовать*“, говоритъ онъ наивно Варенькѣ. Впослѣдствіи онъ даже кается въ этомъ либерализмѣ, но уже сдѣлать съ собою ничего не можетъ. У него въ умѣ возникаютъ всякія сравненія, напр., своей осторожности при переходѣ черезъ грязную улицу съ тѣмъ, что и генералы любятъ чистые сапоги, да только имъ не нужно для этого ходить на цыпочкахъ, и т. д. Эта внутренняя работа доходитъ почти до общественныхъ запросовъ, когда онъ пишетъ Варенькѣ о нищемъ-маль-

чикѣ, собиравшемъ милостыню съ просительнымъ письмомъ, около какого то шарманщика:

„Мальчикъ блѣдненькій, посинѣлый отъ холода, можетъ быть, и голодный, и не вретъ, ей-ей не вретъ, я это дѣло знаю. Но только то дурно, зачѣмъ эти *гадкія* матери (сейчасъ будетъ и оправданіе этой матери) дѣтей не берегутъ и полуголодными съ записками на такой холодъ посылаютъ. О, можетъ быть, эта глупая баба характера не имѣетъ, да и *постараться*, можетъ-быть, *за нее некому*, такъ она сидитъ, поджавъ ноги, а *можетъ-быть и вправду больная*. Ну, да все обратилась бы куда слѣдуетъ“.

Но Дѣвушкинъ тутъ лукавитъ: онъ такъ запуганъ, что не смѣетъ прямо высказать свою мысль даже Варенькѣ: вѣдь онъ отлично знаетъ, могъ ли, напримѣръ, Горшковъ, могъ ли самъ онъ достать гдѣ-нибудь денегъ, когда была вопіющая нужда; онъ видѣлъ, какъ у этого Горшкова умеръ ребенокъ почти отъ голода. Но бросить открыто упрекъ обществу, это — значитъ потерять уваженіе къ себѣ: вѣдь онъ гордится тѣмъ, что „живетъ смирно и никого не трогаетъ“. Эта мораль сложилась въ немъ опытомъ всей его жизни, твердившей своими ударами: „сиди смирно, молчи!“ Но сердце иногда прорывается, и онъ, нарушая свою мораль, пишетъ:

„И чему научится бѣдный мальчикъ съ этими записками? Только сердце его ожесточается; ходитъ онъ, бѣгаетъ, проситъ. Ходятъ люди, да некогда имъ. Сердца у нихъ каменныя; слова ихъ жестокія: „Прочь! Убирайся! Шалишь!“ Вотъ что онъ слышитъ отъ врага, и ожесточается сердце ребенка, и дрожитъ напрасно на холодѣ бѣдненькій, напуганный мальчикъ, словно птенчикъ, изъ разбитаго гнѣздышка выпавшій. Зябнутъ у него руки и ноги; посмотришь, вотъ ужъ онъ и кашляетъ; тутъ недолго ждать, и болѣзнь, какъ гадъ нечистый, заползетъ ему въ грудь, а тамъ глядишь, ужъ и смерть стоитъ надъ нимъ гдѣ-нибудь въ смрадномъ углу, безъ ухода, безъ помощи, вотъ и вся его жизнь...“

Въ чемъ же суть пріема Достоевскаго? Кто-то, чуть ли не Бѣлинскій, сравнивая его съ Гоголемъ, говорилъ: у Гоголя былъ синтезъ, а у Достоевскаго анализъ. Но развѣ сила великаго нашего романиста была только въ анализѣ? Анализъ можетъ быть и безцѣльный, и безстрастный, и даже пустой и ничтожный. Мало ли мы видѣли такихъ анализовъ впослѣдствіи у нѣкоторыхъ „молодыхъ“ беллетристовъ, мнившихъ себя преемниками Достоевскаго.

Величайшая функція искусства состоитъ въ томъ, что оно, рисуя намъ лучшія и сокровенныя глубины человѣческой души, загороженной отъ насъ часто весьма неприглядной оболочкой, дѣлаетъ для насъ родными и близкими людей, которыхъ мы считали чѣмъ-то низшимъ и чуждымъ, почти презрѣннымъ. Этимъ пріемомъ Бичеръ-Стоу заставила признать брата въ негрѣ, этимъ отчасти путемъ наши Григоровичъ и Тургеневъ заставили увидѣть человѣческое сердце и Божью искру въ крѣпостномъ рабѣ... Эта великая функція искусства выполняетъ конкретно то, что абстрактно, въ видѣ закона, даннаго на религіозной почвѣ, выполняетъ божественная заповѣдь о любви къ ближ-

нему, для которой не должно быть ни эллина, ни іудея, ни раба, ни господина. Этимъ искусство единитъ, соціализируетъ людей, сближаетъ душой членовъ разныхъ общественныхъ слоевъ, представителей разныхъ расъ и національностей. И вотъ, призывъ къ такому-то искусству былъ громко возглашенъ и осуществленъ первымъ произведеніемъ нашего генія.

Но не одну душу тѣхъ, кто нуждается въ общемъ сочувствіи, раскрывалъ онъ намъ; онъ раскрывалъ и его муки и его страданія, онъ обнажалъ и его ужасную обстановку. Дѣвушкинъ такъ описываетъ свою каморку, за перегородкой кухни, меблированныхъ комнатъ, — изображаетъ, впрочемъ, осторожно, чтобы не огорчить Вареньку, да и себѣ сердце не разбередить:

„Квартирка моя ничего, хорошая, но вотъ только ночью вѣшаютъ въ кухнѣ грязное бѣлье, и запахъ отъ него меня безпокоитъ немного. Вообще комнаты въ квартирѣ удобны, но какъ-то душно въ нихъ, то-есть, не то чтобы дурно пахло, а такъ, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услащенный запахъ какой-то. На первый разъ впечатлѣніе невыгодное, но это все ничего, стоитъ только минуты двѣ побыть у насъ, такъ и пройдетъ, потому что и самъ какъ-то дурно пропахнешь, и платье пропахнетъ, и все пропахнетъ, — ну, и привыкнешь. *У насъ чижики такъ и мрутъ.* Мичманъ ужъ пятаго покупаетъ, — не живутъ въ нашемъ воздухѣ“.

И, какъ живая иллюстрація къ этому „воздуху“, описывается смерть ребенка у несчастнаго Горшкова.

Сравните эту первую эпопею бѣдноты съ „Шинелью“ Гоголя — и вы сразу почувствуете, какимъ новымъ свѣтиломъ засверкалъ Достоевскій въ нашей литературѣ.

И замѣтьте, въ какую пору это было: жизнь въ то время еще не всколыхнула тѣхъ великихъ и сложныхъ вопросовъ, которые возникли послѣ севастопольской обороны. Поэтому и кругъ задачъ въ первомъ романѣ Достоевскаго не идетъ дальше вопросовъ о нуждѣ и реабилитаціи души бѣднаго человѣка, или, говоря иначе, — возстановленія уваженія къ его человѣческому достоинству, въ немъ самомъ и въ окружающихъ.

А надъ всѣмъ этимъ, если взять и образъ Вареньки, безконечно чистой нравственно, несмотря на ея физическое паденіе, — передъ вами уже и въ этомъ первомъ произведеніи витаетъ духъ евангельскаго всепрощенія и любви, духъ, проникающій въ нѣдра человѣческихъ паденій и пороковъ, но паденій и пороковъ невольныхъ, создаваемыхъ самими условіями общественной жизни. Вотъ что поставило Достоевскаго едва ли не выше всѣхъ писателей міра, заставивъ любить его и учиться у него во всѣхъ странахъ міра. Вотъ что никогда не умретъ, потому-что, какъ я уже сказалъ вначалѣ, это — та истина, тотъ идеалъ, который въ теченіе исторіи преобразуетъ человѣческое, полу-волчье стадо въ гармоническое и полное любви воплощеніе великихъ единящихъ завѣтовъ сердечнаго братства всѣхъ людей.

Оболенскій.

Типы обездоленныхъ въ „Бѣдныхъ людяхъ“, и гуманное отношеніе къ нимъ автора.

Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серіозно начинаютъ увѣрять себя, что они — нуль, ничего, и что если его превосходительство заговоритъ съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодѣтельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, — попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда.

Само собою понятно, что имъ не удается выдержать характеръ, и оттого они вѣчно недовольны собою, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скорѣе къ первому типу: это люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человѣческаго права, но замѣнившіе его какою-нибудь узенькою фикціею условнаго права, утвердившіеся въ этой фикціи и бережно ее хранящіе. При всякомъ случаѣ, гдѣ подобные господа воображаютъ, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримѣръ, что „я титулярный совѣтникъ“, „мнѣ самъ Василій Петровичъ руку подалъ“, меня штабъ-офицерша Похлестова знаетъ, и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всѣхъ болѣе несчастные своею обидчивостью...

Обратимся къ анализу первой черты, — совершеннаго смиренія и тупого успокоенія на своемъ положеніи, каково оно вышло. Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ; человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ, или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ, — ну, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнѣе: знаетъ, что слѣпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ — описывать то, какъ слѣпой не видитъ?...

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго, здраваго смысла, въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда не заглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго, насильственнаго давленія, и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь

въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ находимъ мы въ „Бѣдныхъ людяхъ“ Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ себѣ, дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумываясь ни на что не претендуя. „Что это вы пишите мнѣ, — объясняется онъ съ Варенькой, — про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ что же на старости-то лѣтъ привередничать? *Я сытъ, одѣтъ, обутъ: да и куда намъ затѣи затѣвать. Не графскаго рода!*... Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу. — Я не нѣженка“. И точно онъ не нѣженка; квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ, и утѣшается тѣмъ, что онъ „ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ“... „Сытъ я“, говоритъ, — а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ: можно представить, какая тутъ сытость. Обутъ и одѣтъ онъ, — тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ: „Я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно“. Относительно своего умственнаго состоянія сознаетъ, что онъ человѣкъ неученый, на мѣдныя деньги учился, и слога не имѣетъ и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ; съ общественнымъ положеніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резонныхъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка расчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ“. Утвердившись въ такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексѣевичъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и высшею единственною мѣрою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣнія начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: „Состою я уже около 30 лѣтъ по службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя *собственнымъ сознаніемъ моимъ*, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. *Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное-то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны“. Далѣе Макаръ Алексѣичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: Я говоритъ, „въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія, — въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; *даже крестикъ выходилъ*“... Какъ видите,

крестикъ составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій, послѣдній аргументъ его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, напримѣръ, выпилъ неосторожно, дебошу надѣлалъ, по его словамъ, и послѣ того пишетъ къ Варенькѣ, утѣшая ее: „Вы, говоритъ, обо мнѣ не безпокойтесь: спѣшу вамъ объявить, что амбиція моя мнѣ всего дороже, и увѣдомляю васъ, что *изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему*". Вообще Макаръ Алексѣевичъ до того дошелъ, что даже и сапоги и шинель носитъ не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ больше для другихъ, и все для другихъ изъ амбиціи. „По мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить — я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего: *человѣкъ-то я простой, маленькій*". Но *сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени: въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало.* То-есть какъ же пропало? А такъ, что „вдругъ его превосходительство замѣтятъ и невзначай какъ-нибудь отнесутся на мой счетъ — бѣда"!... Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала, и генералъ далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта дѣйствительно превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, понятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексѣевича: „Клянусь вамъ, — пишетъ онъ Варенькѣ, — что какъ не погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и на мою неспособность, несмотря на все это клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ *они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще навѣки сдѣлали*, и я какъ ни грѣшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его". Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите — даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но согласитесь, что, вѣдь, вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбуждалось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Забитый, тощій песъ Улисса, съ воемъ и ласкою встрѣчающій своего господина, неизмѣримо ближе и ровнѣе съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодѣтельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существа, къ которому равно принадлежитъ и Макаръ Алексѣичъ и его благодѣтель, — вотъ что видите вы въ из-

ліяніяхъ его благодарности. А онъ между тѣмъ счастливъ, самъ счастливъ собственнымъ униженіемъ и въ умиленіи молитъ Бога простить ему „ропотъ и *либеральныя мысли*“, которыя онъ позволялъ себѣ подчасъ „въ прежнее, грустное время“...

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ Достоевскомъ, а въ „Бѣдныхъ людяхъ“ сказалась даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между офиціальнымъ настроеніемъ, между внѣшностью, форменностью, и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуту особаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что, вѣдь, ни одного человѣка нѣтъ, кто бы, въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, обѣщающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексѣичъ: вы, можетъ-быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что „всякому свое мѣсто назначено, а мѣста по способностямъ распредѣлены“ и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резонируетъ въ спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть кто-нибудь задѣнетъ его за живое, — онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ ему въ голову сами собой „либеральныя“ мысли. Онъ тогда спрашиваетъ: „Отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣніи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?... Знаю, знаю, маточка (спѣшитъ онъ прибавить, обращаясь къ Варенькѣ), что не хорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ, — зачѣмъ одному еще въ чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, — ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова спѣшитъ оговориться боязливый Макаръ Алексѣеичъ), оно грѣшно этакъ думать, *да тутъ поневолѣ грѣхъ въ душу лѣзетъ*“. Расчувствовавшись, Макаръ Алексѣичъ уже не ограничивается и сомнѣніями, а даже до негодованія доходитъ и задѣваетъ людей почище себя: „Что фракъ-то на немъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ, — такъ ужъ ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, такъ ли, голубчикъ?*“ Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго чиновника: видно, не совсѣмъ угомонилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что „если бы мы другъ другу тона не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ, и порядку бы не было“. Нѣтъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные и сознаетъ

за собою право вопить и жаловаться: „А еще люди богатые не любятъ, — замѣчаетъ онъ, — чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались, — дескать, они безпокоятъ, они де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойлива; спать, что ли, мѣшаютъ ихъ стоны голодные?...*“ И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такія мысли, вызываетъ наружу такіе инстинкты, которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собой неодолимо являются во всей своей силѣ. „*Теперь* на меня *такая тоска напала*,—пишетъ разогорченный Дѣвушкинъ, — *что я самъ своимъ мыслямъ до глубины своей души сталъ сочувствовать, и* хотя самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ*. И подлинно, родная моя, *часто самого себя* безъ *всякой причины уничтожаешь*, въ грошъ не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ-быть, оттого происходитъ, что я самъ *запуганъ и загнанъ*, какъ хоть бы и тотъ бѣдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ“. Вотъ этакія-то мысли, западая въ человѣка и развиваясь въ немъ съ чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ, — и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ общественномъ механизмѣ, который рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу. Можно замѣтить, пожалуй, что Макаръ Алексѣичъ, для своего образованія и положенія, является уже слишкомъ мѣткимъ оцѣнщикомъ противорѣчій офиціальныхъ основъ жизни съ ея дѣйствительными требованіями; но это потому, что, сочиняя въ теченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькѣ, Макаръ Алексѣичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны — почему же и автору немножко не прійти къ нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежатъ Макару Алексѣичу, — это скажетъ всякій, хоть недолгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексѣичъ формулировалъ свои тяжкія сомнѣнія въ письмахъ къ Варенькѣ; другіе не формулируютъ ихъ иначе, какъ своимъ поведеніемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результатами“. *Добролюбовъ.*

Прекрасныя и благородныя черты въ герояхъ „Бѣдныхъ людей“.

Съ первыхъ же своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ Достоевскій обращается къ людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тѣмъ изъ этого класса, для которыхъ, конечно, не благодать ихъ кличка „чиновникъ“. Въ этомъ отношеніи Достоевскій является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повѣсти Гоголя „Шинель“. Но въ романѣ

„Бѣдные люди“, сразу доставившемъ Достоевскому такую почетную извѣстность, нельзя не признать значительнаго шага впередъ противъ „Шинели“. Гуманное отношеніе къ бѣднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо далѣе, чѣмъ у Гоголя. Не даромъ Бѣлинскій обратился къ Достоевскому съ такими сочувственными словами: „Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вѣдь это тоже люди, ваши братья!“ Конечно, уже и Гоголь сказалъ это психологическою постановкою героя „Шинели“, который хотя и смѣшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго сколько-нибудь по-человѣчески чувствующаго читателя. Тѣмъ не менѣе герой Гоголя, такъ сказать, весь ушелъ самъ въ себя, въ продолжительныя заботы о томъ для него значительномъ комфортѣ, какой онъ доставляетъ себѣ новой шинелью; сочувствіе къ нему читателя возбуждается собственно тѣмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цѣною какихъ долгихъ лишеній достается маленькому человѣку, и какое событіе въ его приниженной жизни составляетъ то, что является у другого само собой въ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя, а маленькій человѣкъ обходится! Все то, что предпринимаетъ Акакій Акакіевичъ для доставленія себѣ новой шинели — своего рода нравственный подвигъ, но подвигъ, который ведетъ къ его личному удовольствію и удобству. Гораздо болѣе представляютъ намъ „Бѣдные люди“ Достоевскаго. Въ лицѣ Макара Дѣвушкина, этого добрякачиновника, переписывающагося съ героиней повѣсти, авторъ, по замѣчанію Бѣлинскаго, „показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ“, т.-е. въ тѣхъ симпатическихъ связяхъ, которыя соединяютъ бѣднаго, загнаннаго человѣка съ другимъ бѣднымъ, загнаннымъ существомъ. Ту же глубоко-человѣческую черту усмотрѣлъ Бѣлинскій и въ другомъ лицѣ этой повѣсти, въ лицѣ эпизодическомъ, старикѣ Покровскомъ. „Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница — и онъ человѣкъ!“ говоритъ Бѣлинскій. Да, и онъ человѣкъ, даже въ лучшемъ смыслѣ слова, потому что онъ въ состояніи любить до самоотверженія. „Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну“, продолжаетъ Бѣлинскій,— „напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго съ книгами въ карманѣ и подъ мышками, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка“. Все это сказано Бѣлинскимъ именно потому, что въ Покровскомъ, какъ и въ Макарѣ Дѣвушкинѣ, несмотря на тотъ темный уголъ, въ который забиты они невзгодами жизни, ярко теплится та искра Божія, которая совершенно погасла не только въ Об-

ломовѣ, но и въ Штольцѣ, потому что оба они не видятъ ничего далѣе — одинъ своего кабинета съ мягкой постелью и вѣчнымъ халатомъ, другой — своей нескончаемой суеты ради собственныхъ выгодъ и удовольствій. Искра Божія погасла въ нихъ — и потому-то приходится Ольгѣ отказаться отъ надежды не только сдвинуть съ мѣста Обломова, но и отыскать живительный смыслъ въ трудолюбіи Штольца. Напротивъ, что касается Дѣвушкина и Покровскаго, то Бѣлинскій находилъ даже, чего послѣ него не находили другіе критики, что Достоевскій „вовсе не хотѣлъ изобразить людей, у которыхъ умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнію". И въ нихъ дѣйствительно не забито то, что симпатически связываетъ человѣка съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ „Забитые люди" налегаетъ на другую сторону произведеній Достоевскаго, — на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всѣми ея послѣдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовъ совершенно справедливо относитъ то, что Дѣвушкинъ съ какимъ-то особеннымъ униженіемъ умаляется предъ своимъ начальствомъ; „я вѣдь человѣкъ маленькій", говоритъ онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такой скромной долей, онъ не мирится съ мыслію, чтобы она могла удовлетворить и ту дѣвушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ея бѣдное, загнанное положеніе хотѣлъ бы онъ усладить, улучшить; и вотъ онъ отдаетъ послѣдніе гроши, чтобы доставить ей какое-нибудь удовольствіе, или хоть лакомство. Правда, во многихъ другихъ повѣстяхъ Достоевскаго мы уже не находимъ этой нравственно поддерживающей бѣдняка заботы о другихъ бѣднякахъ. Многіе „Забитые люди" Достоевскаго, подобно гоголевскому Акакію Акакіевичу, *загнаны въ самихъ себя* и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ, какъ совершенно вѣрно выяснилъ Добролюбовъ, герой повѣсти того же названія Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ службы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти. Не менѣе печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, такъ легко достающееся другимъ, — я разумѣю героя „Двойника" Голядкина. *Миллеръ.*

Привѣтствіе „Бѣдныхъ людей" Бѣлинскимъ.

„Въ одно изъ моихъ посѣщеній Бѣлинскаго, передъ обѣдомъ, когда онъ отдыхалъ отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидѣлъ его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всѣми признаками волненія на лицѣ. Онъ тоже замѣтилъ меня и прокричалъ: „Идите скорѣе, сообщу новость... Вотъ отъ этой самой рукописи, — продолжалъ онъ, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — романъ начинающаго

таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его мысли — еще не знаю, а романъ открываетъ такія тайны жизни и характеровъ на Руси, которыя до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціальнаго романа и сдѣланная притомъ такъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно художники, т.-е. не подозрѣвая и сами, что у нихъ выходитъ. Дѣло тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагаютъ, что любить весь міръ есть необычайная пріятность и обязанность для каждаго человѣка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со всѣми ея порядками, наѣхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кости. Вотъ и все, — а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника зовутъ Достоевскій, а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ". И Бѣлинскій принялся съ необычайнымъ паѳосомъ читать мѣста, наиболѣе поразившія его, сообщая имъ еще большую окраску своей интонаціей и нервной передачей. Такъ встрѣтилъ онъ первое произведеніе нашего романтиста. И этимъ еще не кончилось. Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать для молодого автора то, что онъ дѣлалъ уже для многихъ другихъ, какъ, напримѣръ, для Кольцова и Некрасова, т.-е. высвободить его талантъ отъ резонерскихъ наклонностей и сообщить ему сильные, такъ сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладѣвать предметами прямо, сразу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрѣтилъ уже рѣшительный отпоръ. Въ домѣ же Бѣлинскаго прочитанъ былъ новымъ писателемъ второй его разсказъ: „Двойникъ"; это сенсаціонное изображеніе лица, существованіе котораго проходитъ между двумя мірами — реальнымъ и фантастическимъ, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бѣлинскому нравился и этотъ разсказъ по силѣ и полнотѣ разработки оригинально-странной темы, но мнѣ, присутствовавшему тоже на этомъ чтеніи, показалось, что критикъ имѣетъ еще заднюю мысль, которую не считаетъ нужнымъ высказывать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращалъ вниманіе Достоевскаго на необходимость *набить руку*, что называется, въ литературномъ дѣлѣ, пріобрѣсти способность легкой передачи своихъ мыслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бѣлинскій, видимо, не могъ освоиться съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, возвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и измѣнявшаго ихъ до безконечности, и относилъ эту манеру къ неопытности молодого писателя, еще не успѣвшаго одолѣть препятствій со стороны языка и формы. Но Бѣлинскій ошибся: онъ встрѣтилъ не новичка, а совсѣмъ уже сформировавшагося автора, обладающаго потому и закоренѣлыми привычками работы, несмотря на то, что онъ являлся, повидимому, съ первымъ своимъ произведеніемъ. Достоевскій выслушалъ наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успѣхъ, полученный его повѣстью, сразу оплодотворилъ въ немъ тѣ сѣмена и зародыши высокаго уваженія къ самому себѣ и высокаго понятія о себѣ, какія жили въ его душѣ. Успѣхъ этотъ болѣе чѣмъ освободилъ его отъ

сомнѣній и колебаній, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторовъ; онъ еще принялъ его за вѣщій сонъ, пророчившій вѣнцы и капитоліи. Такъ, рѣшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда Альманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣдующее ему по праву, потребовалъ, чтобы его романъ былъ отличенъ отъ всѣхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ знакомъ, напримѣръ — каймой". *Анненковъ.*

Встрѣча „Бѣдныхъ людей" лучшими представителями тогдашней литературы.

Первая повѣсть Достоевскаго „Бѣдные люди" имѣла громадный, небывалый успѣхъ: ее съ восторгомъ встрѣтили лучшіе люди тогдашней литературы, Некрасовъ, Бѣлинскій. Достоевскій прямо опьянѣлъ отъ успѣха, во хмелю всеобщаго восторга и собственнаго юношескаго ликованія онъ видѣлъ себя на высотѣ славы, онъ казался себѣ равнымъ Гоголю, выше Гоголя, волненіямъ его не было конца, но въ этой гордости собой, въ этомъ упоеніи успѣхомъ своимъ, въ блескѣ обнаружившагося генія было и много мученій, недоумѣній. Вотъ, какъ Достоевскій, много спустя, разсказываетъ объ этомъ въ своемъ „Дневникѣ писателя".

Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ пятаго года. Въ началѣ зимы я началъ вдругъ „Бѣдныхъ людей", мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки „Петербургскіе шарманщики" въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: „принесите рукопись" (самъ онъ еще не читалъ ее), „Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу". Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой „партіи Отечественныхъ Записокъ", какъ говорили тогда, я боялся. Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и — „осмѣетъ онъ моихъ „Бѣдныхъ людей!" думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда: писалъ я ихъ съ страстью, почти со слезами — „неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью, — все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?" Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о „Мертвыхъ душахъ" и читали ихъ, въ который разъ не помню. Тогда это бывало между молодежью, — сойдутся двое или трое: „а не почитать ли намъ, господа, Гоголя!" — садятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многіе какъ бы чѣмъ-то

были проникнуты и какъ бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую, какъ днемъ, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: „Съ десяти страницъ видно будетъ". Но прочтя десять страницъ рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь когда одинъ уставалъ. „Читаетъ онъ про смерть студента,— передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ, — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: „Ахъ, чтобъ его!" Это про васъ-то, и этакъ мы всю ночь". Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!) то въ одинъ голосъ рѣшили итти ко мнѣ немедленно: „Что-жъ такое что спитъ, мы разбудимъ его, это выше сна!" Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный, такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили и о поэзіи, и о правдѣ, и о „тогдашнемъ положеніи", разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя „изъ Ревизора" и изъ „Мертвыхъ душъ", но, главное, о Бѣлинскомъ. „Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть, и вы увидите — да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!" восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками. „Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!" Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а, главное, чувство было дорого, помню ясно: у иного успѣхъ, ну, хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, хорошо!" Вотъ что я думалъ, какой тутъ сонъ!

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасовъ [illegible] еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати, совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ шестнадцати лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно. „Новый Гоголь явился!" закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ „Бѣдными людьми". „У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ", строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ. Когда Некрасовъ опять зашелъ къ нему вечеромъ, то Бѣлинскій встрѣтилъ его „просто въ волненіи": приведите, приведите его скорѣе!

И вотъ (это, стало-быть, уже на третій день) меня привели къ нему. Помню, что на первый взглядъ меня очень поразила его наружность, его носъ, его лобъ; я представлялъ его себѣ почему-то совсѣмъ другимъ, — „этого ужаснаго, этого страшнаго критика". Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно важно и сдержанно. „Что жъ, оно такъ и надо", подумалъ я, но не прошло, кажется, и минуты какъ все преобразилось: важность была не лица, не великаго критика, встрѣчающаго писателя, а, такъ сказать, изъ уваженія его къ тѣмъ

чувствамъ, которыя онъ хотѣлъ мнѣ излить какъ можно скорѣе, къ тѣмъ важнымъ словамъ, которыя чрезвычайно торопился мнѣ сказать. Онъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: „Да вы понимаете ли сами-то — повторялъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и вскрикивая по своему обыкновенію, — что это вы такое напасали!“ Онъ вскрикивалъ всегда, когда говорилъ въ сильномъ чувствѣ. „Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ ужъ это понимали. Да, вѣдь, этотъ вашъ несчастный чиновникъ, вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почесть отъ приниженности и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смѣетъ признать, и, когда добрый человѣкъ, его генералъ, даетъ ему эти сто рублей — онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія, что такого какъ онъ могъ пожалѣть „ихъ превосходительство“ не его превосходительство, а „ихъ превосходительство“, какъ онъ у васъ выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута цѣлованія генеральской ручки, — да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы, публицисты и критики, только разсуждаемъ, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художникъ, одною чертой, разомъ въ образѣ выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтобъ самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно! Вотъ тайна художественности, вотъ правда въ искусствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена, какъ художнику, досталась какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь великимъ и будете вѣрнымъ писателемъ!...“

Все это онъ тогда говорилъ мнѣ. Все это онъ говорилъ потомъ обо мнѣ и многимъ другимъ, еще живымъ теперь и могущимъ засвидѣтельствовать. Я вышелъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей *и весь, всѣмъ существомъ своимъ, ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ навѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, но такое, чего я не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ.* (А я былъ тогда страшный мечтатель.) *„И неужели вправду я такъ великъ“*, стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ. О, не смѣйтесь, *никогда потомъ я не думалъ, что я великъ*, но тогда — развѣ можно было это вынести! „О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди! Вотъ гдѣ люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ и они, пребуду „вѣренъ!“ О, какъ я легкомысленъ, и если-бъ Бѣлинскій только узналъ какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочемъ, этихъ людей только и есть въ Россіи, они одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ, мы побѣдимъ; о, къ нимъ, съ ними!“

Трудно было удержаться на высотѣ всеобщаго восторга, и еще труднѣе было съ этимъ помириться мнительному, самолюбивому юношѣ; много ему было дано, но хотѣлось большаго, раздраженное самолюбіе встрѣчало отпоръ, зародилось непониманіе, взаимное недовольство, появились шероховатости въ отношеніяхъ съ людьми, недоразумѣнія. Близко войдя въ высшій литературный кругъ того времени, кругъ Бѣлинскаго, Достоевскій также скоро отошелъ отъ него. Непривыкшій къ людямъ, онъ не сумѣлъ установить такихъ отношеній, которыя были нужны, не вынесъ похмелья своего успѣха.

Тяжелое это было время для Достоевскаго, душа бурлила, томилась, мучительно содрогалась отъ соприкосновенія съ людьми, съ жизнью. Нарастало болѣзненное раздраженіе, но въ то же время просыпался великій геній, еще не нашедшій себя.

По выходѣ въ свѣтъ „Бѣдныхъ людей“ Достоевскаго великій русскій критикъ В. Г. Бѣлинскій писалъ такъ: „Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и подвалахъ и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „Вѣдь это тоже люди, ваши братья“. И въ „Бѣдныхъ людяхъ“ Достоевскаго, въ самомъ дѣлѣ, сказалась уже его боль за человѣка, ужасъ обойденной судьбы несчастнаго маленькаго человѣка, Макара Дѣвушкина, рисуется въ его повѣсти со слезами и трепетомъ сердца. Душа Достоевскаго здѣсь уже почувствовала гнетъ униженія человѣка, страшное зло жизни, повѣсть его впитала въ себя муку и слезы окружающаго. Авторъ мучится ими и съ недоумѣніемъ, съ тоской души и болью сердца запрашиваетъ о нихъ. Потрясенный самъ, потрясаетъ и читателя, ища въ немъ сочувствія.

Достоевскій ищетъ выхода, разрѣшенія мучительныхъ вопросовъ, ужасы жизни давятъ его, онъ не знаетъ, какъ справиться съ ними, гдѣ искать спасенія отъ зла и неправды.

А кругомъ стояла темная ночь жизни, несравненно болѣе ужасная, чѣмъ теперь, хотя и у насъ не свѣтло. Это было страшное, безпросвѣтно-мрачное время русской исторіи, всюду царили произволъ, насиліе, гнетъ. „Чернымъ черно неправдой черной“ страна была сдавлена въ тискахъ власти и силы, негдѣ было искать правды, суда, защиты, помощи, жизнь человѣческую давила жестокость сильныхъ, невѣжество, звѣрство. Надъ крестьянствомъ царило крѣпостное право, угроза тюрьмы, каторги, кнута, плетей, шпицрутеновъ, и всевозможныхъ видовъ битья и истязанія, ужасная солдатчина. Всю Россію угнеталъ сыскъ, гоненія вѣры, правды, свободы, стонъ стоялъ отъ насилій надъ русскимъ человѣкомъ, надъ его тѣломъ, совѣстью, мыслью, страшно было свободно дохнуть, смѣло пошевелиться. Вся Россія и въ дѣлахъ, и въ мысляхъ, и въ совѣсти своей какъ бы скована была желѣзными цѣпями и окутана непроглядной мглой страшной по своей памяти Николаевской эпохи.

Непроницаемой ночи
Мракъ надъ страною висѣлъ...
Видѣлъ — имѣющій очи
И за отчизну болѣлъ.

Глинка.

„Бѣдные люди“, какъ чуткій отвѣтъ на запросы дѣйствительности.

Дѣйствительно — кто виноватъ? Вотъ тотъ огромной важности вопросъ, тотъ центральный узелъ творчества Достоевскаго, въ которомъ со страшной силою срослись всѣ нити геніально-больной души.

его. Вопросъ этотъ съ тревожной, властной настойчивостью повсюду преслѣдуетъ сознаніе великаго писателя, виситъ надъ нимъ, какъ темная загадка жизни, терзая и мучая его своей таинственной глубиной.

На литературное поприще Достоевскій выступилъ въ славную эпоху 40-хъ годовъ; онъ былъ однимъ изъ юныхъ, только-что загорѣвшихся свѣтилъ въ „яркомъ созвѣздіи людей 40-хъ годовъ". То было время пышнаго расцвѣта умственной жизни въ кружкахъ Станкевича и Герцена, и совершенно безцвѣтнаго прозябанія русской общественности и политической жизни. Внѣ этого прекраснаго, благоухающаго букета жизни лучшихъ людей, за ея предѣлами тянулась огромная Русь, сѣрая, тусклая и жалкая. Блестящее созвѣздіе людей 40-хъ годовъ сіяло яркимъ свѣтомъ въ непроглядной мглѣ страшной по своей памяти Николаевской эпохи.

Непроницаемой ночи
Мракъ надъ страною висѣлъ...
Видѣлъ — имѣющій очи
И за отчизну болѣлъ.

Понятно, что при такихъ условіяхъ конфликтъ идеальныхъ стремленій лучшихъ людей того времени съ средой, съ общимъ строемъ жизни не могъ не сказаться съ поразительной остротой и силой. Разладъ высоко развитой личности и соціальнаго строя, антагонизмъ индивидуальности и общества проявился здѣсь съ такой ужасающей рѣзкостью, какой онъ едва ли достигалъ у насъ когда-либо до и послѣ этого времени. Здѣсь нашелъ для себя изобилующую плодородіемъ ниву знаменитый типъ „лишняго русскаго человѣка". Наша изящная литература собрала на этой почвѣ пышную жатву. Начиная съ Пушкинскаго Онѣгина, типъ лишняго человѣка сдѣлался первой заботой и высшей гордостью русскаго художника. Этотъ типъ проходитъ красной нитью чрезъ всю исторію нашего художественнаго творчества, 40-мъ же годамъ онъ свойствененъ, по преимуществу, какъ въ литературѣ, такъ и въ жизни... Всѣ лучшіе люди этой эпохи были лишними людьми. Станкевичъ и Грановскій, Бѣлинскій и Герценъ — все это „живые лишніе люди"; соль земли, гордость времени, его знаменосцы, — но все же лишніе люди. Извѣстные своимъ яркимъ блескомъ, далеко неугасшимъ и понынѣ, кружки Станкевича и Герцена были истинными разсадниками лишнихъ людей... Родная пива гражданскаго безвременья, крѣпостного права и до-реформенныхъ порядковъ взрощала ихъ въ изобиліи... И многіе изъ этихъ живыхъ лишнихъ людей до того прекрасны, до того отчетливо и ярко обрисовываются въ исторической перспективѣ минувшей эпохи, что теперь, полстолѣтія спустя, они кажутся какъ бы художественными типами, образами, геніально обрисованными могучей кистью какого-нибудь великаго художника, а не живыми людьми, созданными самой жизнью. Историческая дѣйствительность здѣсь какъ бы сама создавала типы.

Въ самомъ дѣлѣ, живая, обаятельная личность, напримѣръ, Герцена до того типична, что она можетъ считаться гораздо болѣе великимъ художественнымъ обобщеніемъ, чѣмъ имъ самимъ, созданный

типъ Бельтова (въ „Кто виноватъ“). Не даромъ говорятъ, что природа — самый совершенный художникъ.

Въ созданіи лишняго человѣка, какъ типическаго обобщенія, историческая дѣйствительность въ 40-ые годы оказалась лучшимъ художникомъ, чѣмъ русская художественная литература.

Какъ бы то ни было, но 40-ые годы и въ литературѣ и въ жизни выдвинули цѣлую плеяду лишнихъ людей. Это излишество для мрачной и скудной общественной жизни до-реформеннаго времени такихъ людей, какъ Грановскій, Бѣлинскій и Герценъ, достаточно краснорѣчиво говоритъ объ истинномъ значеніи „лишнихъ людей“ въ русской дѣйствительности. Исторія развитія нашего общественнаго сомосознанія достаточно показала, что „лишніе“ съ точку зрѣнія своего времени, они оказались далеко не лишними въ глазахъ грядущаго...

Трагедія разлада поднявшейся высоко въ небо индивидуальности лишняго человѣка 40-хъ годовъ, съ одной стороны, соціальнаго строя, до-реформенной Николаевской Руси — съ другой, выставила со всей силой страстно томящій и мучительно-неотступный вопросъ: кто виноватъ? Герценъ въ своемъ знаменитомъ романѣ заявилъ о немъ во всеуслышаніе въ литературѣ, безмолвно же онъ царилъ въ то смрадное время повсюду, всегда готовый сорваться съ устъ; всякій, кто мучился трагедіей времени и его недугами, волновался и этимъ вопросомъ.

Но вопросъ „кто виноватъ?“ въ 40-ые годы былъ не только поставленъ, онъ былъ по-своему и рѣшенъ. Герценъ, Бѣлинскій и другіе, каждый по-своему, но почти единодушно отвѣчали на него: крѣпостное право — вотъ гдѣ рѣшеніе мучительнаго вопроса о виновности!

И Достоевскій, будучи тогда еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, находясь одно время подъ сильнымъ вліяніемъ Бѣлинскаго, несомнѣнно волновался вопросомъ своего времени, и отвѣтъ на него бралъ у руководящихъ временемъ умовъ. Со всей страстью юной души своей негодовалъ онъ на крѣпостное право, смотрѣлъ на него, какъ на коренное, величайшее зло, какъ на главнаго виновника бѣдствій Россіи. „Я помню“, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Милюковъ, „какъ съ обычной своей энергіей Достоевскій читалъ стихотвореніе Пушкина „Уединеніе“. Какъ теперь слышу восторженный голосъ, съ какимъ онъ произнесъ заключительный куплетъ:

Увижу ль, о, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!...

Когда однажды споръ сошелъ на вопросъ: „Ну, а если бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе, какъ черезъ возстаніе!“ Достоевскій воскликнулъ: „Хотя бы черезъ возстаніе“... И затѣмъ на слѣдствіи Достоевскій, „сознаваясь въ участіи въ разговорахъ

о возможности нѣкоторыхъ перемѣнъ и улучшеній, отозвался, что предполагалъ ожидать этого отъ правительства". Въ кружкѣ Петрашевцевъ на Достоевскаго возлагались, какъ сообщаетъ одинъ изъ его біографовъ, не малыя надежды...

Первое произведеніе Достоевскаго „Бѣдные люди", надѣлавшее въ свое время необыкновенно много шуму, въ сущности не болѣе, какъ талантливый художественный варіантъ на тему „кто виноватъ!"— именно въ томъ освѣщеніи, которое давалось тогда этому вопросу. Это былъ именно отвѣтъ на запросы, которыми болѣли и мучились лучшіе лишніе люди того времени... Потому-то Григоровичъ и Некрасовъ цѣлую ночь просидѣли за „Бѣдными людьми" и явились рано утромъ къ автору, чтобы радостно привѣтствовать и обнять его... Бѣлинскій встрѣтилъ молодого художника съ рѣдкимъ для него безграничнымъ восторгомъ. Онъ, какъ основательно предполагаетъ Ев. Соловьевъ, увидѣлъ въ „Бѣдныхъ людяхъ" подтвержденіе своей любимой мысли, что ненормальныя общественныя условія коверкаютъ, ломаютъ, обезчеловѣчиваютъ человѣка, доводя его до такого ничтожества, что онъ теряетъ образъ и подобіе!..."

По выходѣ въ свѣтъ „Бѣдныхъ людей" Бѣлинскій писалъ: „Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и подвалахъ и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братія!" (X т. 349.)

Такъ началъ Достоевскій... Позже онъ глубже претворилъ великую проблему своего времени, развернулъ ее до необъятной шири и своеобразно переработалъ своимъ творческимъ геніемъ. Въ его творчествѣ, взятомъ въ цѣломъ, вопросъ этотъ выросъ и осложнился до удивительныхъ размѣровъ. Это уже не соціальный вопросъ до-реформенной крѣпостной Россіи, какъ онъ понимался лучшими умами 40-хъ годовъ, это высшая философская проблема, до которой только можетъ вообще подняться человѣческій духъ...

Дѣло въ томъ, что Достоевскій, всосавъ съ свойственной ему страстной отзывчивостью самый жгучій вопросъ своей эпохи, проволочилъ его за собой на всемъ протяженіи своей долгой многострадальной жизни. Вопросъ „кто виноватъ?" стоялъ предъ его сознаніемъ, какъ страшная и темная загадка, онъ сопровождалъ многострадальнаго писателя на каторгу, мучилъ его въ „мертвомъ домѣ" и всюду, гдѣ „онъ измученный влачился по дорогѣ, бряцая звеньями страдальческихъ цѣпей"...

Впервые, такимъ образомъ, какъ это само собой понятно, вниманіе Достоевскаго къ униженнымъ и оскорбленнымъ приковывается подъ вліяніемъ общихъ симпатій и господствующихъ вѣяній литературы того времени. Сначала униженіе и оскорбленіе представляется ему только какъ фактъ соціальный. Онъ болѣе разсудочно, чѣмъ по непосредственно переживаемымъ впечатлѣніямъ протестуетъ противъ величайшаго соціальнаго недуга. Позже жизнь ставитъ чуткаго художника лицомъ къ лицу съ живымъ страданіемъ, которое всегда

индивидуально. Онъ ближе всматривается въ ужасныя зрѣлища униженности и оскорбленности, глубже вдумывается въ нихъ, и по мѣрѣ собственныхъ жизненныхъ переживаній вниманіемъ Достоевскаго все болѣе и болѣе завладѣваютъ особые, частные виды страданія... Это уже не соціальный фактъ, а цѣлый рядъ фактовъ, своеобразныхъ, индивидуальныхъ мученій, страшныхъ именно въ ихъ исключительности и индивидуальности, томительно-неотвязчивыхъ по впечатлѣнію... Жизнь развертывается передъ геніемъ Достоевскаго со всей бездонной глубиной и необъятной ширью горизонта. И страданія, безконечныя страданія, страшныя и ужасныя, всюду преслѣдуютъ его чуткую, отзывчивую душу. Великій художникъ съ мучительной жадностью всматривается въ это бушующее море человѣческой скорби, въ эту неисчерпаемую бездну людского горя, не переставая въ изступленномъ раздраженіи спрашивать себя: кто же виноватъ, кого винить, съ кого спрашивать?

И вотъ, уже рѣшеніе своего времени, рѣшеніе юности надъ нимъ становится невластно, онъ съ своимъ художественнымъ анализомъ такъ глубоко проникъ въ страдальческія раны и болѣзненные изгибы человѣческой души, что не въ состояніи удовлетвориться прежнимъ отвѣтомъ, не въ состояніи разсматривать униженіе и оскорбленіе только лишь сквозь призму крѣпостного права, какъ фактъ соціальной жизни...

Наконецъ, „порвалась цѣпь великая“, пали вѣковыя цѣпи рабства крѣпостного права, „а вокругъ, какъ прежде, сумракъ безъ просвѣта

И, какъ прежде, жизнь и душитъ и томитъ!...“

Неотвязчивое зрѣлище униженности и оскорбленности съ прежнею силою мучитъ изболѣвшую душу Достоевскаго, страданіе попрежнему неотступно приковываетъ къ себѣ его вниманіе и своимъ ужаснымъ видомъ снова и снова воспаляетъ неудовлетворенную жажду разгадать страшную загадку жизни — „кто виноватъ?“ Съ этимъ вопросомъ, какъ я уже говорилъ выше, онъ писалъ своихъ „Бѣдныхъ людей“, съ нимъ онъ прошелъ каторгу, съ нимъ же затѣмъ, послѣ долгаго перерыва вернулся снова къ литературѣ. И когда 60-е годы въ лицѣ своего вождя выдвинули еще болѣе жгучій и насущный вопросъ „что дѣлать?“, Достоевскій рѣшалъ его уже совсѣмъ на свой ладъ, своеобразно преломляя сквозь призму своихъ собственныхъ страдальческихъ перевоплощеній. Общее рѣшеніе времени на этотъ разъ его не коснулось, — онъ уже имѣлъ свое. Жизнь и характеръ великаго писателя въ достаточной мѣрѣ опредѣляютъ своеобразность его отвѣта на оба вопроса: кто виноватъ и что дѣлать?

Глинка.

Герои „Бѣдныхъ людей“, какъ провозвѣстники новаго литературнаго жанра.

Достоевскій вошелъ въ русскую литературу какъ писатель оригинальный, какъ писатель серіозно обѣщающій, съ своими „Бѣдными людьми“, которые появились, кажется, въ въ 1846 г., въ извѣстномъ „Петербургскомъ Сборникѣ“, рядомъ съ стихотвореніями Некрасова на очередные тогда гражданскіе мотивы, рядомъ съ критическими очерками Бѣлинскаго, публицистикой Герцена и проч., и проч.

„Бѣдные люди“ сразу составили имя молодому автору. Они были едва ли не отдаленнымъ родоначальникомъ всей той литературы униженныхъ и оскорбленныхъ, которая разрослась потомъ до размѣровъ цѣлой обширной школы.

Если, съ одной стороны, въ „Бѣдныхъ людяхъ“ слышалась общая романтическая нота тридцатыхъ годовъ, сообщавшая этому произведенію нѣсколько идиллическій и томный характеръ, то самый выборъ сюжета, сама сфера жизни, затронутой авторомъ, несомнѣнно говорили о новыхъ взглядахъ и стремленіяхъ. Это была одна изъ первыхъ замѣтныхъ пѣсенъ пролетаріата, который выступалъ на очередь въ общественномъ сознаніи, котораго интересы стали выдвигаться передовыми кружками общества.

Въ романѣ „Кто виноватъ“, современномъ „Бѣднымъ людямъ“, хотя гораздо болѣе страстномъ и могучемъ, пролетаріатъ еще не выступаетъ на сцену, какъ цѣлая замкнутая сфера жизни, имѣющая свои особенныя черты, свое особенное горе, свои особенные интересы. „Кто виноватъ“ еще вполнѣ романъ изъ господствующаго дворянскаго быта, онъ случайно открывалъ только уголокъ завѣсы, скрывавшей темный и душный міръ бѣдности и безправія, такъ сказать, по ремеслу, по наслѣдственному званію; но онъ далеко не былъ посвященъ пролетаріату, и его герои были только протестантами и революціонерами въ обычной средѣ достатка, власти и досуга... Только долго спустя послѣ „Бѣдныхъ людей“ появился, однако, тотъ литературный жанръ, котораго провозвѣстникомъ были они. Для этого нужно было совершиться большимъ перемѣнамъ въ судьбахъ внутренней политики Россіи.

Только вѣяніе 19-го февраля настолько очистило литературную атмосферу, что въ ней могли раздаться довольно свободно многочисленные голоса сочувствія къ униженному и оскорбленному. Но голоса эти уже не ограничивались одною сферою низшаго, придавленнаго чиновничества; они вошли въ самую глубь пролетаріата и дѣлали своими героями даже пересыльнаго арестанта, даже бѣглаго каторжника... Тѣмъ интереснѣе обратить вниманіе на внутренній строй писателя, который успѣлъ сочетать задачи новѣйшей тенденціозно-обличительной натуральной школы, школы Щедрина, Помяловскаго, Рѣшетникова, съ романтическою поэзіей прошлаго.

„Бѣдные люди“ нарисованы Достоевскимъ, дѣйствительно, бѣдными людьми. Вся ихъ безпомощность, весь безысходный ужасъ ихъ положенія у васъ передъ глазами. Это, въ сущности, тѣ же картины, которыя вы встрѣтите потомъ въ „Преступленіи и наказаніи“, въ горькихъ стихахъ Некрасова, въ безнадежныхъ очеркахъ Помяловскаго или Глѣба Успенскаго... Тамъ — нищій чиновникъ Горшковъ униженно проситъ у такого же нищаго чиновника Макара Дѣвушкина гривенникъ на пропитаніе семьи: „Батюшка, Макаръ Алексѣевичъ,— говоритъ онъ, — я многаго и не прошу, а вотъ такъ и такъ (тутъ онъ покраснѣлъ) — жена, говоритъ, дѣти, голодно, хоть гривенничекъ какъ-нибудь. Ну, тутъ ужъ мнѣ самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось 20 копеекъ, да я на нихъ расчитывалъ: хотѣлъ на свои крайнія нужды истратить.

— Нѣтъ, голубчикъ мой не могу; вотъ такъ и такъ, говорю.

— Батюшка, Макаръ Алексѣевичъ, хоть что хотите говоритъ, хоть десять копеечекъ.

— Ну, я ему и вынулъ изъ ящика, и отдалъ свои 20 копеекъ, маточка, все доброе дѣло! Эхъ, нищета-то!“

Ежедневный бытъ Горшкова такъ описанъ авторомъ: „Цѣлая семья бѣдняковъ какихъ-то у нашей хозяйки комнату нанимаетъ... Люди смирные! Объ нихъ никто ничего и не слышитъ... Онъ какой-то чиновникъ безъ мѣста, изъ службы, лѣтъ семь тому, исключенный за что-то. Фамилія его Горшковъ. Такой сѣдѣнькій, маленькій; ходитъ въ такомъ засаленномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть; куда хуже моего! Жалкій, хилый такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, ужъ отъ болѣзни что ли какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой... Бѣдны-то они бѣдны, — Господи, Богъ мой! Всегда у нихъ въ комнатѣ тихо и смирно, словно и не живетъ никто. Даже дѣтей не слышно. И не бываетъ этого, чтобы когда-нибудь порѣзвились, поиграли дѣти, а ужъ это худой знакъ. Какъ-то мнѣ разъ вечеромъ случилось мимо ихъ дверей пройти; на ту пору въ домѣ стало что-то не по обычному тихо; слышу всхлипыванье, потомъ шопотъ, потомъ опять всхлипыванье, точно какъ будто плачутъ, да такъ тихо, такъ жалко“...

Хорошъ этотъ Горшковъ и въ гостяхъ: „вошелъ мой Горшковъ, кланяется, слезинка у него, какъ и всегда, на рѣсницахъ гноится; шаркаетъ ногами, а самъ слова не можетъ сказать. Я его посадилъ на стулъ, правда, изломанный, да другого не было. Чайку предложилъ, Онъ извинялся, долго извинялся, наконецъ, однакоже, взялъ стаканъ. Хотѣлъ было безъ сахара пить, началъ опять извиняться, когда я сталъ увѣрять его, что нужно взять сахару; долго спорилъ, отказываясь, наконецъ, положилъ въ свой стаканъ самый маленькій кусочекъ и сталъ увѣрять, что чай необыкновенно сладокъ. Эка, до униженія какого доводитъ людей нищета!“

Такими типами наполнены „Бѣдные люди“. Тамъ видите вы чахоточнаго студента Покровскаго, живущаго дешевыми уроками на

счетъ своихъ послѣднихъ легкихъ, молча и одиноко умирающаго въ своей конуркѣ, на хозяйскихъ хлѣбахъ, влюбленнаго въ такую же нищую дѣвушку, и несмѣющаго даже сказать ей, что онъ любитъ ее... Тамъ видите вы пьянчужку-отца этого юноши, жалкаго уличнаго забулдыгу, прототипа того самаго Мармеладова, который является вамъ уже въ совершенно другой окраскѣ въ „Преступленіи и наказаніи“: „Можно было подумать, что онъ какъ будто чего-то стыдится, какъ будто ему самому себя совѣстно. Отчего онъ все какъ-то ёжился, какъ-то кривлялся; такія ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что онъ не въ своемъ умѣ. Придетъ, бывало, къ намъ, да стоитъ въ сѣняхъ у стеклянныхъ дверей, и въ домъ войти не смѣетъ. Кто изъ насъ пройдетъ—я или Саша, или изъ слугъ, кого онъ зналъ подобрѣе къ нему, то онъ сейчасъ машетъ, машетъ къ себѣ, дѣлаетъ разные знаки, и развѣ только кивнешь ему головою и позовешь его — условный знакъ, что въ домѣ нѣтъ никого посторонняго и что ему можно войти, когда ему угодно,—только тогда старикъ тихонько отворялъ дверь, радостно улыбался, потиралъ руки отъ удовольствія и на цыпочкахъ прямо отправлялся въ комнату Покровскаго. Это былъ его отецъ“.

Этотъ спившійся старичишка жалокъ, но не отвратителенъ. Вы чуете въ немъ душу человѣка, еще не совсѣмъ погибшую, подъ гнетомъ нищенскаго разврата. „Бѣдный старикъ не могъ надивиться и нарадоваться на своего Петеньку. Когда онъ приходилъ къ нему въ гости, то почти всегда имѣлъ какой-то озабоченный, робкій видъ, вѣроятно, отъ неизвѣстности, какъ-то его приметъ сынъ; обыкновенно долго не рѣшался войти, и если я тутъ случалась, то онъ меня минутъ двадцать, бывало, разспрашивалъ, что, каковъ Петенька? Здоровъ ли онъ? Въ какомъ именно расположеніи духа, и не занимается ли чѣмъ-либо важнымъ? Что онъ именно дѣлаетъ? Пишетъ ли, или размышленіями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старикъ, наконецъ, рѣшался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно, отворялъ дверь, просовывая сначала одну голову, и если видѣлъ, что сынъ не сердится и кивнулъ ему головой, то тихонько проходилъ въ комнату, снималъ свою шинельку, шляпу, которая вѣчно у него была измятая, дырявая съ оторванными полями,—все вѣшалъ на крюкъ, все дѣлалъ тихо, неслышно; потомъ садился гдѣ-нибудь осторожно на стулъ и съ сына глазъ не спускалъ, всѣ движенія его ловилъ, желая угадать расположеніе духа своего Петеньки. Если сынъ чуть-чуть былъ не въ духѣ и старикъ примѣчалъ это, то тотчасъ приподнимался съ мѣста и объяснялъ, „что, дескать, я такъ Петенька, я на минутку. Я вотъ далеко ходилъ, проходилъ мимо и отдохнуть зашелъ“. И потомъ безмолвно, покорно, бралъ свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворялъ дверь и уходилъ, улыбаясь черезъ силу, чтобы удержать въ душѣ накипѣвшее горе и не выказать его сыну“.

Когда чахотка унесла, наконецъ, его Петеньку, старикъ бѣжитъ за его гробомъ, какъ вѣрный осиротѣвшій песъ за своимъ господи-

номъ. „...Плачъ его дрожалъ и прерывался отъ бѣга. Бѣдный потерялъ свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его смокла отъ дождя; поднимался вѣтеръ, изморозь сѣкла и колола лицо. Старикъ, кажется, не чувствовалъ непогоды и съ плачемъ перебѣгалъ съ одной стороны телѣги на другую. Полы его ветхаго сюртука развѣвались по вѣтру, какъ крылья“...

Невольно вспоминается, при этой картинѣ простого и глубокаго человѣческаго чувства, тотъ витіеватый себялюбецъ-отецъ и тотъ, рыкающій цинизмомъ, сынокъ его, которыхъ авторъ рисуетъ намъ такъ подробно въ „Бѣсахъ“, въ лицѣ своихъ главныхъ героевъ, Степана Трофимовича и Петра Степановича Верховенскихъ.

Герои „Бѣдныхъ людей“ совершенно подходятъ подъ всю свою обстановку. Заброшенная и обманутая дѣвушка Варя, не имѣющая на что̀ купить золотникъ шелку для работы, и сосѣдъ ея по улицѣ Макаръ Дѣвушкинъ, вѣчный переписчикъ канцелярскихъ бумагъ, которому его жалованья не хватаетъ на сапоги. Оторванная отъ вицъ-мундира пуговица и новый воротничекъ къ манишкѣ составляютъ для нихъ серіозный жизненный вопросъ, служатъ предметомъ размышленія и переписки. Подаренный горшечекъ съ гераніями кажется бѣдной Варенькѣ непростительнымъ мотовствомъ ея милаго и опасностью для его благосостоянія. И, однако, они живутъ полною, теплою, осмысленною жизнью. Живутъ, потому что любятъ.

Это не любовь самца и самки, случайно грѣющихся на одномъ солнцѣ; не та любовь юныхъ пролетаріевъ, въ общей корзинѣ пуху, среди скромныхъ испареній съѣстного рынка, которую знали Cadine и Marjolin въ „Le ventre de Paris“, — нѣтъ, это глубокое влеченіе одной доброй человѣческой души къ другой, такой же доброй; это тихій протестъ бѣдности, лишенной внѣшняго счастія, противъ неправды судьбы; вѣчная потребность человѣка, хотя въ мечтѣ, насладиться сочувствіемъ другого сердца и тѣснымъ общеніемъ съ нимъ... Изображеніе Достоевскимъ этой тихой безпритязательной любви простыхъ людей теперь покажется, быть можетъ, нѣсколько переслащеннымъ и сентиментальнымъ. Но если въ немъ и есть нѣкоторая односторонность, она не особенно вредитъ трогательности и нравственному значенію разсказа.

Въ послѣднее время мы стали такъ тонко-умны и такъ небрежно насмѣшливы и выработали въ себѣ такой тактъ приличія, что, конечно, ни за что бы не позволили себѣ вдаться въ усиленныя изліянія какого-то Макара Дѣвушкина. Въ этой области намъ гораздо понятнѣе и сочувственнѣе игривый и рѣшительный жаргонъ тѣхъ веселыхъ собесѣдницъ холостыхъ ужиновъ, которыя слывутъ въ Парижѣ подъ лаконическимъ титуломъ: ces dames... Послѣ этихъ знакомыхъ и сладкихъ сердцу:

Place à ma bottine!
Je suis cabotine... etc., etc..

Послѣ разныхъ откровенно-реальныхъ признаній въ родѣ знаменитаго гимна Belle Hélène:

Il nous faut de l'amour,
N'en fut plus dans le monde,
De l'amour, de l'amour, de l'amour!...

конечно, какимъ жалкимъ, чуть не идіотскимъ „миндальничаньемъ" покажется робкое воркованіе двухъ влюбленныхъ нищихъ. Въ самомъ дѣлѣ, послушайте эти пошлыя, сто разъ повторяющіяся ласкательныя словечки забитыхъ людишекъ, эту взаимную униженность, эту трусливость духа, вошедшую въ плоть и кровь ихъ.

„Да и насъ какъ вы безъ головы оставите"?... пишетъ Макаръ Дѣвушкинъ своей Варенькѣ. „Ну что мы будемъ дѣлать тогда безъ васъ? что я, старикъ, буду дѣлать тогда? Вы намъ не нужны? Неполезны? Какъ — неполезны? Нѣтъ, вы, маточка, сами разсудите, какъ же вы неполезны? Вы мнѣ очень полезны, Варенька... Вы такое вліяніе имѣете благотворное... Вотъ я объ васъ думаю теперь и мнѣ весело. Я вамъ иной разъ письмо напишу и всѣ чувства въ немъ изложу, на что подробный отвѣтъ отъ васъ получаю... Гардеробцу вамъ накупилъ, шляпку сдѣлалъ; отъ васъ комиссія почасъ выходитъ какая-нибудь, я и комиссію... Нѣтъ, какъ вы неполезны? Да и что я буду дѣлать одинъ на старости, на что годиться буду? Вы, можетъ быть, объ этомъ и не подумали, Варенька; нѣтъ, вы именно объ этомъ подумайте, что вотъ, дескать, на что онъ будетъ безъ меня то годиться"?...

Ей захочется цвѣточекъ на окошко, — онъ бродитъ цѣлое утро по базару и отыскиваетъ ей любимый розанчикъ; онъ остается безъ денегъ, она тихонько шлетъ ему свой послѣдній полтинникъ. „Посылаете мнѣ еще полтинничекъ, Варенька, и этотъ полтинничекъ мнѣ мое сердце пронзилъ. Такъ, такъ то оно теперь стало, такъ вотъ оно какъ! т.-е. это не я, старый дуракъ, вамъ, ангелочку, помогаю, а вы, сироточка моя бѣдненькая, мнѣ"!

Она для него дочечка, ангельчикъ, маточка, голубчикъ-жизненочикъ; другихъ словъ нѣтъ у него для нея. Онъ живетъ не только въ ней, но даже въ вещахъ, къ которымъ прикасалась ея рука. Когда судьба Вареньки свершилась, и ей пришлось итти замужъ за грубаго реалиста Быкова, Макаръ Алексѣевичъ бродитъ по опустѣвшей знакомой квартиркѣ, останавливаясь, какъ передъ святынею, передъ ея „пяличками", ея неоконченнымъ шитьемъ, „лоскуточками разными". — „На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать", грустно сообщаетъ онъ ей. „Въ столикѣ нашелъ бумажки листочекъ, а на бумажкѣ написано: „Милостивый государь, Макаръ Алексѣевичъ, спѣшу" — и только"...

Онъ не въ силахъ раздѣлаться съ тѣмъ сладкимъ душевнымъ міромъ, который создала ему его долгая мечта, не въ силахъ повѣрить въ роковую дѣйствительность того, что вдругъ наступило, что такъ

грубо уносило отъ него навсегда его Вареньку. „Да послушайте, маточка, вы разсудите, голубчикъ мой миленькій, какъ же это можетъ быть, чтобы вы отъ насъ уѣхали“? пишетъ онъ ей свое послѣднее, растерянное письмо: „Родная моя, вѣдь вамъ ѣхать нельзя, невозможно, просто, рѣшительно никакой возможности нѣтъ! Вѣдь дождь идетъ, а вы слабенькія, вы простудитесь. Ваша карета промокнетъ, она непремѣнно промокнетъ. Она, только что вы за заставу выѣдете, и сломается, нарочно сломается. Вѣдь здѣсь, въ Петербургѣ, прескверныя кареты дѣлаютъ! Я и каретниковъ этихъ всѣхъ знаю, они только, чтобы фасончикъ, игрушечку тамъ какую-нибудь смастеритъ, а непрочно! Присягну, что не прочно дѣлаютъ! Я, маточка, на колѣни передъ господиномъ Быковымъ брошусь; я ему докажу, все докажу! И вы, маточка, докажите; резономъ докажите ему! Скажите, что вы остаетесь, и что вы не можете ѣхать!... Ахъ, зачѣмъ это онъ въ Москвѣ на купчихѣ не женился? Ужъ пусть бы онъ тамъ на ней то женился. Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла, ужъ это я знаю почему“...

Эти жалкіе сентименталы-пролетаріи умѣли быть несчастными, но не умѣли еще топиться въ Невѣ и стрѣляться изъ револьверовъ.

Мы нарочно приводимъ подлинные отрывки изъ „Бѣдныхъ людей“. Мы хотимъ показать ими, что писатель можетъ всецѣло предаться изображенію общественнаго горя, общественнаго зла, не убивая въ себѣ и въ своемъ читателѣ любви къ человѣчеству, вѣры въ чеѣловѣчество. Когда звучатъ такія струны, какія слышимъ мы въ „Бѣдныхъ людяхъ“, само несчастіе человѣка имѣетъ своего рода смыслъ, своего рода достоинство.

Энергія негодованія противъ вредныхъ условій жизни, противъ злыхъ элементовъ ея, нисколько не ослабѣваетъ въ читателѣ черезъ то, что художественное творчество проникается теплымъ сочувствіемъ къ міру, а не враждою къ нему... *Марковъ.*

Составъ каторги, жизнь и нравы ея обитателей, художественное изображеніе ихъ характеровъ, согрѣтое теплымъ чувствомъ и озаренное гуманнымъ свѣтомъ.

Кому не случалось видѣть на большой дорогѣ или даже на городскихъ улицахъ толпы людей, въ сѣрыхъ курткахъ и шинеляхъ, съ бритыми головами, которые въ сопровожденіи конвойныхъ солдатъ и повозокъ бредутъ, тяжело передвигая скованныя ноги? Кто не знаетъ, что эти сѣрыя толпы постоянно направляются къ востоку и почти никогда не возвращаются въ обратномъ направленіи? Кто не слыхалъ что эти преступники или, какъ говоритъ нашъ народъ, несчастные, наказанные закономъ, которые простясь съ родиной, могилами отцовъ и колыбелями дѣтей, идутъ въ Сибирь, гдѣ однихъ ждетъ новая

трудовая жизнь, а другихъ каторжная работа, болѣе или менѣе продолжительная! Все это намъ хорошо извѣстно.

Но многіе ли знаютъ отчетливо, что это за преступники или несчастные, какія совершили они преступленія и при какихъ обстоятельствахъ, что такое эта каторга и какая въ ней ожидаетъ ихъ жизнь? Вѣроятно, при этой мысли мы отвѣтимъ, что каторжные не что иное, какъ убійцы и разбойники, осужденные на дальнее поселеніе или на работы въ сибирскихъ рудникахъ. Вотъ все, что извѣстно объ этомъ большинству нашей публики. Да откуда же намъ и узнать это подробнѣе и яснѣе? Толпы каторжныхъ, постоянно двигаясь на востокъ, остаются за Ураломъ, и рѣдко кто возвращается изъ за этой каменной стѣны. Свободные люди, уѣзжающіе въ Сибирь на службу или по промысламъ, если и встрѣчаютъ поселенцевъ, освобожденныхъ изъ каторги, то узнаютъ отъ нихъ очень немногое, потому что эти люди неохотно говорятъ о своихъ минувшихъ несчастіяхъ или не знаютъ, что именно сказать и на что указать.

Еще жизнь уволенныхъ отъ работъ поселенцевъ доступна для посторонняго наблюдателя, и мы встрѣчали въ нашей литературѣ очерки этого быта, нерѣдко довольно вѣрные и полные. Но самая каторга, ея жизнь и нравы, составъ ея страшнаго общества — оставались для насъ рѣшительно недоступною terra incognita. До сихъ поръ у насъ не было Данта, который самъ спустился бы въ эти вертепы преступленія и страданій, приглядѣлся къ страшнымъ сценамъ этого чистилища и ада, изучилъ нравы и бытъ этихъ непогребенныхъ мертвецовъ и передалъ намъ это въ полной и живописной картинѣ. Первымъ сочиненіемъ по этому предмету даритъ нашу литературу Ѳ. М. Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома“. Съ первыхъ страницъ его книги вы входите въ міръ совершенно новый и неизвѣстный, слѣдите за разсказчикомъ съ напряженнымъ любопытствомъ и участіемъ. Это одно изъ такихъ сочиненій, которыя приковываютъ ваше вниманіе поразительной свѣжестью впечатлѣнія, точно книга какого-нибудь Ливингстона, сообщающаго открытія въ незнакомомъ и любопытномъ мірѣ, съ тою разницею, что англійскій путешественникъ разсказываетъ о странахъ, хотя до сихъ поръ таинственныхъ, но все же не совсѣмъ недоступныхъ, между тѣмъ какъ авторъ „Мертваго Дома“ знакомитъ насъ съ другимъ, можно сказать загробнымъ свѣтомъ, въ который не ступала нога писателя или изъ котораго она еще не выходила.

Картина Мертваго дома, или каторжнаго острога, въ который вводитъ насъ Достоевскій, поразительна своей новостью и страшной правдою. Съ самыхъ далекихъ временъ народная фантазія или воображеніе поэтовъ представляли намъ адъ, какъ мѣсто вѣчной казни, на которую обрекаетъ небесное правосудіе за преступленія и злодѣйства. Вспомните тартаръ древнихъ грековъ, окруженный пламеннымъ Флегетономъ, гдѣ Танталъ изнываетъ въ неутолимой жаждѣ, Сизифъ вѣчно катитъ на гору свой камень и Данаиды осуждены на страшно

безплодный трудъ наливать бездонную бочку. Вспомните адъ Данта, съ его безконечными изгибами, гдѣ преступники закованы въ никогда не тающіе льды, захлебываются въ удушливо-смрадномъ болотѣ и гдѣ Уголино вѣчно вгрызается окровавленными зубами въ черепъ Руджіеро. Вспомните, наконецъ, хаотическій адъ Байрона, на блуждающей кометѣ, полный мукъ въ одномъ существованіи безъ свѣта и жизни, безъ страстей и даже страданій, въ одной призрачной и томительной безличности. Передъ этими страшными картинами вы останавливаетесь съ трепетомъ и жалостью, съ негодованіемъ на порокъ и укоризною на жестокость суда.

Такія же чувства пробудили въ насъ и „Записки изъ мертваго дома". По мѣрѣ чтенія, намъ казалось, что Достоевскій, точно Виргилій, ведетъ насъ въ какой-то страшный міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастическій, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасныя, что это не вымыселъ поэта, а голая правда.

Какъ при входѣ Дантова ада вы встрѣчаете страшную надпись: lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, такъ и здѣсь съ первымъ шагомъ въ каторжный острогъ авторъ говоритъ вамъ: „Надобно полагать, что нѣтъ такого преступленія, которое бы не имѣло здѣсь своего представителя". И посмотрите, какая мрачная картина открывается вамъ за острожнымъ частоколомъ, среди этого отверженнаго общества. Какъ въ изворотахъ Дантова ада, въ Мертвомъ домѣ три отдѣла: первый слой составляютъ каторжные военнаго разряда, не лишенные правъ состоянія и присланные на короткіе сроки въ чистилище, изъ котораго они выходятъ въ сибирскіе баталіоны; ко второму принадлежатъ ссыльно-каторжные разряда гражданскаго, присылаемые на сроки отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, послѣ чего они обращаются въ поселенцевъ по волостямъ, гдѣ иныхъ ждетъ можетъ-быть и спокойная жизнь. Наконецъ въ послѣднемъ слоѣ этого ада есть особое отдѣленіе, называемое „всегдашнимъ", куда поступаютъ преступники, обреченные на безсрочныя работы и называющіе себя *вѣчными*. Всѣ живутъ въ общихъ казармахъ — и разбойники по натурѣ, и убійцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодѣи изъ фанатизма, и несчастные, которыхъ натолкнулъ на преступленіе случай, и страдальцы, виновные только въ несходствѣ своего образа мыслей съ убѣжденіями общественной силы и власти. Все это лица мрачныя, почти всегда молчаливыя, въ отверженномъ костюмѣ: у однихъ половина куртки темнобурая, а половина сѣрая, у другихъ вся куртка сѣрая, а рукава темнобурые. Днемъ шумъ, гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ цѣпей, чадъ и копоть, бритыя головы, клейменыя лица, лоскутныя платья; ночью сонный говоръ и бредъ, въ которомъ слышатся воровскія слова, ножи, топоры. Отвращеніе и ненависть къ работѣ, воровство, шпіонство и доносы, безпрестанныя наказанія, контрабандная торговля виномъ, ростовщичество — „вотъ узы страшнаго семейства". И какая жизнь: постель на трехъ доскахъ грязныхъ наръ, щи

съ огромнымъ количествомъ таракановъ, по ночамъ азартныя игры, иногда пьяный арестантъ, въ одинъ праздникъ пропивающій деньги, накопленныя въ цѣлые мѣсяцы, и въ этой толпѣ изъ двухъ сотъ пятидесяти человѣкъ пришлецы со всѣхъ концовъ Россіи, раскольники, поляки, черкесы, татары, — въ буквальномъ смыслѣ самая разнородная смѣсь

Племенъ, нарѣчій, состояній!

Не правда ли, что картина ничѣмъ не уступаетъ страшной картинѣ ада, созданнаго Дантомъ? Не окажется ли она даже вымысломъ мрачной фантазіи, похожденіемъ ужаснаго настроенія духа, въ которомъ поэтъ хотѣлъ нарисовать намъ самыя страшныя картины нечеловѣческо-уродливой жизни? И не становится ли еще ужаснѣе эта картина, когда мы знаемъ, что она не въ глубинѣ преисподней, а на поверхности земли, въ нашемъ Божьемъ мірѣ, освѣщенномъ солнцемъ, наполненномъ благоуханіемъ цвѣтовъ; что это не безтѣлесныя тѣни отжившихъ, а живые люди съ плотью и кровью, которые хоть и умерли нравственно, но еще живутъ тѣломъ, головою и даже сердцемъ? Не поучительно ли заглянуть въ печальный міръ этихъ людей, оторванныхъ отъ общества преступленіемъ, совершоннымъ подъ различными психическими условіями, при различіи темперамента, воспитанія, жизненной обстановки, нравственныхъ началъ или противорѣчія съ общественными законами? Не любопытно ли всмотрѣться въ это общество, сведенное и поддерживаемое въ принужденной работѣ, составленное изъ существъ съ исключительными страстями и надеждами? И Достоевскій представляетъ намъ рядъ портретовъ, чрезвычайно разнообразныхъ и типичныхъ.

Вотъ страшный разбойникъ Газинъ, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ „особое отдѣленіе“. Про него разсказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его и, насладившись вполнѣ трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убійствахъ. Пройдя сквозь строй половину назначеннаго числа палокъ, онъ возвращается съ опухлой спиною кроваво-синяго цвѣта и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. „Выхожу остальное число ударовъ, говоритъ онъ товарищамъ, и тотчасъ же отправятъ въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непремѣнно бѣгу, только бы спина зажила!“ Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичокъ изъ старообрядцевъ — вѣтковцевъ, сосланный за поджогъ построенный правительствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который до того не взлюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убійства выйти изъ нея въ безсрочно-каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который, будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣлялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на боль-

шой дорогѣ — и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди Дантова ада.

Безъ сомнѣнія, все это преступники, болѣе или менѣе уклонившіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и никакіе современные законы не оставили бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя, можетъ-быть, и не новые, но однакожъ и далеко не рѣшенные.

При первомъ взглядѣ на страшную картину острога вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человѣкъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоестественное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій народъ такъ гуманно даетъ ссыльнымъ знаменательное названіе несчастныхъ? Авторъ рѣшаетъ этотъ вопросъ живучестью человѣка, говоря, что это — существо ко всему привыкающее. И читая „Записки“ Достоевскаго, дѣйствительно готовъ согласиться съ этимъ остроумнымъ опредѣленіемъ. Далѣе вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну мѣрку, и законъ равно неумолимо долженъ карать безчеловѣчнаго Газина и наивнаго Акима Акимыча, ужаснаго разбойника Орлова и несчастнаго Алея? Если правосудіе представляютъ намъ слѣпымъ, то неужели оно должно оставаться и глухимъ къ голосу человѣческаго сердца, къ вопіющимъ правамъ справедливости! Въ каторжномъ быту, по степени преступленій, есть и градаціи въ наказаніяхъ, но всѣ онѣ основаны не на различіи работъ или помѣщенія, а только на одномъ неравенствѣ срока каторжной ссылки. Не ужаснѣе ли это Дантова ада? Такъ Франческа Римини не брошена въ одну ледяную пропасть съ свирѣпымъ Руджіеро, тамъ поэтъ Горацій и гражданинъ Катонъ не скованы вмѣстѣ съ отцеубійцами; а здѣсь страшный злодѣй Газинъ спитъ на однихъ нарахъ съ наивнымъ лезгиномъ Нуррою, виноватымъ въ однихъ дерзкихъ наѣздахъ, и кроткимъ простодушнымъ Алеемъ, котораго все преступленіе въ томъ, что онъ по восточной патріархальности слѣпо повиновался старшимъ братьямъ! И сколько здѣсь, на ряду съ разбойниками по ремеслу, людей преступныхъ по легкомыслію, даже по образу мыслей, нетерпимыхъ, можетъ-быть, въ одно время и вовсе не преступныхъ въ другую, болѣе свѣтлую эпоху. Къ счастію, благодаря успѣхамъ нашего времени, теперь, по словамъ автора, все это значительно смягчилось, и нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи измѣнится еще болѣе...

Давно не встрѣчали мы въ нашей литературѣ сочиненія, которое дѣйствовало бы на читателя такъ увлекательно, какъ записки изъ „Мертваго дома“. Неистощимый интересъ этого разсказа то поражаетъ васъ ужасомъ, то вызываетъ слезы участія и жалости, то заставляетъ задуматься надъ темной задачей человѣческаго сердца. Это совершенно новый міръ, до сихъ поръ знакомый вамъ только по наслышкѣ, который наводитъ васъ на множество мыслей и вопросовъ психическихъ и соціальныхъ.

Но, можетъ быть, скажутъ, что достоинство сочиненія Достоевскаго зависитъ именно отъ новости предмета, до сихъ поръ никѣмъ нетронутаго и, слѣдовательно, успѣхъ книги обезпечивается даже при отсутствіи искусства и значительнаго таланта. Стоитъ однако прочесть нѣсколько страницъ изъ „Мертваго дома", чтобы понять несправедливость подобнаго предположенія. Предметъ, конечно, самъ по себѣ чрезвычайно новъ, интересенъ и съ первыхъ строкъ подкупаетъ вниманіе читателя; но мы того мнѣнія, что Достоевскій обнаружилъ здѣсь талантъ, гораздо больше, чѣмъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, не исключая и „Бѣдныхъ людей". Въ картинахъ „Мертваго дома" мы видимъ истиннаго художника.

Конечно, все содержаніе этого сочиненія взято изъ дѣйствительной жизни, безъ всякаго изобрѣтенія. Но кто же теперь не знаетъ, что творчество состоитъ не въ придумываніи замысловатыхъ сюжетовъ и эффектныхъ сценъ, а въ искусствѣ изъ началъ, представляемыхъ жизнью, создать ясную картину, во множествѣ видѣнныхъ нами лицъ угадать полные типы и изъ дѣйствительности перенести ихъ въ область прекраснаго. Это сдѣлалъ Гоголь въ „Мертвыхъ душахъ", это сдѣлалъ Крестовскій въ своемъ романѣ „Въ ожиданіи лучшаго". Такое же художественное значеніе видимъ мы и въ сочиненіи Достоевскаго. Его „Мертвый домъ" — не дагеротипный снимокъ каторжнаго острога, а художественная картина, которая съ достоинствомъ фотографіи соединяетъ все обаяніе красокъ, даетъ не одинъ какой-нибудь моментъ выраженія человѣческаго лица, а всю игру его физіономіи, что умѣетъ всецѣло выразить одинъ истинный художникъ. Когда вы прочтете сочиненіе, у васъ остается картина полная и неизгладимая: какъ не забудете вы русской провинціи въ помѣщикахъ „Мертвыхъ душъ", или гостиной княгини Десятовой, которая, въ ожиданіи лучшаго, служитъ представительницей нашихъ салоновъ, такъ точно никогда не забудете ужасной и печальной жизни, съ которою познакомилъ насъ Достоевскій въ своемъ „Мертвомъ домѣ".

Читатели знаютъ, что это за жизнь. Но посмотрите, какъ взглянулъ на нее авторъ. Онъ умѣлъ освѣтить ее такимъ высоко-гуманнымъ свѣтомъ, согрѣть такимъ теплымъ чувствомъ, какіе можно встрѣтить только въ сочиненіи, глубоко и долго зрѣвшемъ въ душѣ, полной любви и сочувствія къ людямъ. Въ каждомъ преступникѣ онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть теплый, задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія. И какое высокое умѣнье въ немногихъ чертахъ рисовать характеры такъ, что вы видите ихъ во всей полнотѣ: Достоевскій едва набрасываетъ свои лица, но вы, кажется, читаете всю прошлую жизнь ихъ, даже угадываете ихъ будущую судьбу. Это немного удивило насъ. У автора „Бѣдныхъ людей" мы находили прежде любовь къ деталямъ, къ анализу сердца и характера въ чертахъ мелкихъ и тонкихъ; здѣсь мы видимъ совершенно иной пріемъ — умѣнье въ немногихъ, но крупныхъ чертахъ представлять полный и оконченный образъ.

И по нашему мнѣнію, это больше удается Достоевскому. Мы знаемъ его Макара Алексѣевича такъ, какъ-будто бы предъ нами было разсѣчено его сердце, и всякое біеніе его повторилось нѣсколько разъ, но процессъ этого анатомическаго анализа утомляетъ; здѣсь безъ всякаго напряженія вы узнаете человѣка во всей полнотѣ его натуры. Немногими взмахами карандаша Достоевскій рисуетъ намъ Орлова, Газина, Акима Акимыча, стародубскаго старичка, а мы знаемъ ихъ такъ, какъ-будто сами прожили съ ними цѣлые годы.

Съ перваго взгляда чтеніе записокъ изъ „Мертваго дома" можетъ поразить нѣкоторой безпорядочностью изложенія: авторъ нерѣдко начинаетъ какой-нибудь очеркъ ex-abrupto, дѣлаетъ рѣзкіе переходы отъ одного предмета къ другому и снова возвращается къ первому, многое не оканчиваетъ, иное повторяетъ, чтобы прибавить нѣкоторыя черты къ набросанной прежде картинѣ или образу, очень часто говоритъ: „объ этомъ скажу послѣ, это разскажу впослѣдствіи". Въ другомъ сочиненіи это могло бы показаться недостаткомъ; въ „Мертвомъ домѣ" такіе пріемы не только не вредятъ сочиненію, но вполнѣ гармонируютъ съ его содержаніемъ: поддерживая васъ постоянно въ какомъ-то раздраженномъ состояніи, эта манера только усиливаетъ впечатлѣніе, произведенное хаотической картиной острога. Здѣсь обыкновенная стройность противорѣчила бы всей обстановкѣ каторжной жизни.

Скажемъ въ заключеніе, что „Записки изъ мертваго дома", по нашему крайнему разумѣнію, ожидаетъ огромный успѣхъ, — не въ большинствѣ журнальной критики, умѣющей только отрыгать жвачку того, что поднесено ей наканунѣ, а не сегодня, но между нашей публикой, въ которой еще Бѣлинскій подмѣтилъ инстинктъ угадывать свѣжее и здоровое въ литературѣ, не по указанію присяжныхъ аристарховъ, а по собственному живому чутью. Явленія, подобныя „Мертвому дому" Достоевскаго, — не минутныя эфемериды, порожденныя какимъ-нибудь мгновеннымъ интересомъ или увлеченіемъ, а сочиненія, которыя живутъ и не умираютъ въ литературѣ, какъ памятники своего вѣка и общества. „Записки изъ мертваго дома", безъ сомнѣнія переживутъ и самые мертвые дома, которые должны перестроиться до основанія съ успѣхами просвѣщенія и обобщеніемъ идей о человѣческомъ достоинствѣ.

Милюковъ.

Жизнь каторжной тюрьмы въ освѣщеніи трезвой правды.

Достоевскій первый познакомилъ насъ съ русскою каторгою, съ дѣйствительною Сибирью и напомнилъ живымъ, пробуждающимъ мысль, берущимъ за сердце содержаніемъ клѣточки карательной схемы, которую чертила намъ теорія. Онъ повелъ читателя въ гробницу живыхъ людей, скученныхъ вмѣстѣ, но страдающихъ одиноко и разно, и на вратахъ ея написалъ свое lasciate ogni speranza — „человѣкъ есть существо, ко всему привыкающее". Онъ показалъ это

все безъ злобы, безъ ироніи, безъ идеализаціи и преувеличенія. Живою картиною встаютъ подъ его перомъ стѣны каторжнаго острога, а въ этихъ стѣнахъ каторжные порядки, а въ порядкахъ этихъ сдавленные, приниженные, надломленные люди. Надломленные — да!, но не обезличенные. У каждаго сохранена и подмѣчена его личность, въ каждомъ указаны характеристическія черты и общія человѣческія чувства, пробивающіяся сквозь арестантскій зипунъ. Не сѣрой массою, надъ которою безучастно и точно продѣлываются карательныя предписанія, а живымъ организмомъ, съ тревогами и радостями, ненавистью и надеждами, съ разнообразными личными оттѣнками, является населеніе „Мертваго дома". Представители его длинною вереницею проходятъ предъ нами. Тутъ и настоящіе, мрачно молодечествующіе злодѣи, бредящіе по ночамъ о крови и о ножахъ, и незлобивые, простые люди, и угрюмые изувѣры, и молчаливо страдающіе поляки, и дѣтски довѣрчивые Аллей и Нурра — эти горные орлы, тоскующіе по своимъ роднымъ вершинамъ, — и всѣ они согрѣты любовью автора, всѣ облечены въ плоть и кровь, на всѣхъ брошенъ лучъ примиренія, всѣмъ сказано слово искренняго, христіанскаго участія. Вся жизнь каторжной тюрьмы постепенно развертывается предъ нами, и новый міръ, ужасный извнѣ, оригинальный изнутри, любопытный въ началѣ, трогательный въ концѣ, возникаетъ въ освѣщеніи трезвой правды. Арестантскія ссоры и похвальбы, работы и отдыхъ, арестантская поэзія и театръ, — все, до каторжныхъ животныхъ включительно, встаетъ, какъ живое.

Посмотрите, сколько среди этого разбросано глубокихъ мыслей объ организаціи наказанія, о его вліяніи! Достоевскій въ самомъ началѣ становится на новую точку зрѣнія, глубоко психологическую, относительно пребыванія въ общей тюрьмѣ, со всѣми. Не необходимость жить съ людьми другого развитія и быта страшитъ его при вступленіи въ мертвый домъ, — нѣтъ, онъ сумѣетъ найти въ своей душѣ общія съ ними точки соприкосновенія для мирнаго сожительства, — но страшна мысль, что никогда, никогда не придется быть одному! Въ этомъ принудительномъ сообществѣ заключается, по его опыту, особая тяжесть тюрьмы, и къ этой мысли онъ не разъ возвращается, доказывая, что у человѣка никогда не слѣдуетъ отнимать возможности быть хоть нѣкоторое время одному, — что ему это такъ же необходимо, какъ необходимо для каждаго человѣка — будь то Мармеладовъ или Карамазовскій капитанъ съ „мочалкою" — имѣть хоть одно мѣсто „куда можно пойти", хоть одно существо, которое и „его рода человѣка любитъ". Но онъ вовсе не склоняется къ другой крайности, къ столь сильному въ послѣднее время увлеченію одиночною системою заключенія. Эта система полна, по его мнѣнію, ложныхъ и обманчивыхъ достоинствъ. „Она высасываетъ сокъ изъ человѣка, энервируетъ его душу, ослабляетъ ее, пугаетъ ее — и потомъ, нравственно изсохшую мумію, полусумасшедшаго, представляетъ какъ образецъ исправленія и раскаянія..." Пусть тюрьма не усугубляетъ наказанія человѣка, отнимая у него возможность уединенія, но пусть

она и не разрушаетъ его нравственно и физически, навязывая ему одиночество. Таковъ выводъ, который невольно вытекаетъ изъ взглядовъ Достоевскаго на внутреннюю организацію тюрьмы. „Нельзя живого человѣка сдѣлать трупомъ“, восклицаетъ онъ — и постоянно настойчиво, не словами только, а цѣлыми образами протестуетъ противъ ненужнаго униженія, противъ обезличенія арестанта, рисуя во многихъ мѣстахъ яркія картины вспышекъ придавленной личности, не могущей не заявлять о своихъ человѣческихъ, неотнятыхъ наказаніемъ правахъ. Говоритъ ли онъ о необходимости индивидуализировать наказаніе, чтобы избѣжать его жестокой неравнорѣрности, — указываетъ ли онъ на тяжесть каторжныхъ работъ, состоящую не въ ихъ трудности, а въ ихъ безплодности въ глазахъ арестанта, оскорбляющей его и отнимающей у него энергію, — высказываетъ ли предположеніе, что совершенная безсмысленность принудительной работы могла бы вызвать рядъ самоубійствъ, — дѣлаетъ ли увлекательный очеркъ вліянія первыхъ признаковъ весны на зарожденіе у каторжныхъ тоски по „волѣ“ и мысли о побѣгѣ, во всемъ звучитъ гуманный призывъ видѣть въ обитателѣ мертваго дома прежде всего живую личность и уважать ея человѣческое достоинство, ни въ комъ совершенно не заглохшее. Въ этомъ призывѣ — величайшее достоинство „Записокъ изъ мертваго дома“!

Но Достоевскій не остановился на аналитическомъ изображеніи каторги. Есть наказаніе выше — и споры о немъ, о его цѣлесообразности и справедливости давно уже раздѣляютъ юристовъ и политиковъ на два неравныхъ лагеря. Это вѣчный вопросъ — eine ewige Frage уголовнаго права смертная казнь. И по отношенію къ ней Достоевскій высказался прямо и безповоротно. Нельзя не прислушаться къ тому, что скажетъ объ отнятіи жизни у отдѣльнаго лица цѣлымъ обществомъ писатель, который такъ умѣлъ описать весь ужасъ, все безчеловѣчіе убійства, какъ преступленія. Въ горячихъ словахъ своего „Идіота“ онъ строго осудилъ смертную казнь, какъ нѣчто еще болѣе жестокое, чѣмъ преступленіе. Какъ бы продолжая потрясающій разсказъ Виктора Гюго о послѣднемъ днѣ приговореннаго къ смерти, обрывающійся въ виду эшафота, — Достоевскій пошелъ съ преступникомъ на этотъ эшафотъ и описалъ, въ негодующихъ выраженіяхъ, ту „четверть секунды“, когда „склизнетъ надъ головою ножъ...“ Это описаніе, чрезвычайно сильное въ своей краткости, эта защита „надежды“ въ человѣкѣ — не могутъ не укрѣплять противника, не могутъ не заставить еще разъ строго провѣрить свои взгляды серіознаго защитника смертной казни. И въ этомъ новая заслуга мыслителя-художника.

Кони.

Обновленіе религіознаго чувства и познаніе высшей правды, подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ обитателей „Мертваго дома“.

Среди ужасовъ „Мертваго дома“ Достоевскій впервые сознательно повстрѣчался съ правдой народнаго чувства и въ его свѣтѣ ясно увидалъ неправду своихъ революціонныхъ стремленій. Товарищи Достоевскаго по острогу были въ огромномъ большинствѣ изъ простого народа, и за немногими яркими исключеніями все это были худшіе люди народа. Но и худшіе люди простого народа обыкновенно сохраняютъ то, что теряютъ лучшіе люди интеллигенціи: вѣру въ Бога и сознаніе своей грѣховности. Простые преступники, выдѣляясь изъ народной массы своими дурными дѣлами, нисколько не отдѣляются отъ нихъ въ своихъ чувствахъ и взглядахъ, въ своемъ религіозномъ міросозерцаніи. Въ мертвомъ домѣ Достоевскій нашелъ настоящихъ „бѣдныхъ“ (или, по народному выраженію, несчастныхъ) людей. Тѣ прежніе, которыхъ онъ оставилъ за собой, еще имѣли убѣжище отъ общественной обиды въ чувствѣ собственнаго достоинства, въ своемъ личномъ превосходствѣ. У каторжниковъ *этого* не было, но было нѣчто большее. Худшіе люди мертваго дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшіе люди интеллигенціи. Если тамъ среди представителей просвѣщенія остатокъ религіознаго чувства заставлялъ его блѣднѣть отъ богохульствъ передового литератора, то тутъ въ мертвомъ домѣ это чувство должно было воскреснуть и обновиться подъ впечатлѣніемъ смиренной и благочестивой вѣры каторжниковъ. Какъ бы забытые Церковью, придавленные государствомъ, эти люди вѣрили въ Церковь и не отвергали государства. И въ самую тяжкую минуту за буйной и свирѣпой толпой каторжниковъ всталъ въ памяти Достоевскаго величавый и кроткій образъ крѣпостного мужика Марея, съ любовью ободряющаго испуганнаго барченка. И онъ почувствовалъ и понялъ, что передъ этой высшей Божьей правдой всякая своя самодѣльная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другимъ есть преступленіе.

Соловьевъ.

Десятилѣтнее наблюденіе Достоевскаго заживо погребенныхъ въ „Мертвомъ домѣ“, глубокое проникновеніе въ ихъ душу и неоправдываемость ихъ преступленій ни съ философской ни съ соціальной точки зрѣнія.

„Записки изъ мертваго дома“ принадлежатъ къ числу тѣхъ безхитростныхъ книгъ, которыя, не предъявляя никакихъ особенныхъ претензій, касаются однако предметовъ, въ высшей степени способныхъ занимать человѣческое вниманіе. Если новизна предмета, толковое обращеніе съ нимъ могутъ придавать интересъ книгѣ, то „Записки изъ мертваго дома“, безспорно, интересная книга. Судьба тѣхъ

несчастныхъ, тѣхъ клейменныхъ отверженниковъ общества, о которыхъ идетъ рѣчь въ этой книгѣ, давно уже въ наиболѣе развитыхъ человѣческихъ обществахъ обращаетъ на себя самое всестороннее вниманіе и не только вызвала очень много гуманныхъ и возвышенныхъ чувствъ и помысловъ, дѣлающихъ честь человѣчеству, но и подверглась улучшеніямъ, вполнѣ сообразнымъ съ духомъ вѣка, въ которомъ мы живемъ. У насъ судьбою этихъ несчастныхъ пишущіе люди занимались до сихъ поръ, — и то чрезвычайно мало и только съ самаго недавняго времени, — лишь съ одной чисто внѣшней стороны: все, что мы имѣемъ, это нѣсколько высказанныхъ указаній на то, что эти несчастные подвергаются нѣкоторымъ совершенно излишнимъ и ни для кого ненужнымъ страданіямъ въ ихъ временныхъ тюрьмахъ, въ продолженіе ихъ безконечной подсудности и, особенно, въ продолженіе не менѣе безконечнаго пѣшеходнаго слѣдованія ихъ къ мѣсту ссылки, страданіямъ, отъ которыхъ было бы справедливо и очень возможно ихъ избавить. Глубже этого мы еще не успѣли проникнуть въ предметъ. Не мудрено. Такой предметъ, какъ клейменые каторжники, по-необходимости, долженъ стоять во всякомъ человѣческомъ обществѣ на самой далекой очереди, такъ какъ онъ требуетъ отъ людей слишкомъ большого развитія ума и сердца, чтобы сдѣлаться тревожнымъ для ихъ совѣсти. Поэтому, въ нашемъ равнодушіи къ предмету такого великаго интереса, мы не видимъ благопріятнаго случая къ тому, чтобы обратиться съ укорами къ нашему обществу и къ нашей литературѣ. Если бы быть просвѣщенными и гуманными или оставаться невѣжественными и варварскими — зависѣло отъ выбора народовъ, тогда, конечно, тутъ было бы мѣсто самымъ энергическимъ укоризнамъ. Но количество просвѣщенія и гуманности, которымъ обладаетъ извѣстный народъ, опредѣляется его исторической судьбою, измѣряется продолжительностію его цивилизаціи и всего менѣе зависитъ отъ его произвола. Что бы ни разсказывалось о патріархальныхъ достоинствахъ нашихъ предковъ и о ихъ любовномъ житіи, но мы со всею точностію можемъ опредѣлить то не очень еще давнее время, когда эти патріархальные люди отличались такимъ жестокосердіемъ, что оставались совершенно хладнокровными при видѣ того, какъ ихъ ближнему за самый сущій вздоръ, даже за одно подозрѣніе въ какомъ-нибудь вздорѣ, отрѣзывали языкъ, давали проглотить растопленнаго металла, или прицѣпляли его желѣзными крючьями за ребра, ставили голыми ногами на раскаленныя жаровни и т. п. Такія жестокости на нашъ взглядъ представляются злодѣйствомъ, превышающимъ всякое другое злодѣйство, за какое только человѣкъ можетъ попасться въ руки правосудія, и мы, въ сравненіи съ нашими недавними предками, можемъ считать себя гумманнѣйшими изъ людей. Если мы, въ свою очередь, за нѣкоторыя черты нашихъ нравовъ представляемся еще полуварварами для теперпшихъ передовыхъ народовъ, то это значитъ только, что эти передовые народы отдѣляются отъ своихъ варварскихъ предковъ болѣе длиннымъ рядомъ поколѣній,

чѣмъ мы отъ своихъ. Въ этомъ сопоставленіи насъ съ передовыми народами для насъ нѣтъ ничего пріятнаго, но мы все-таки указываемъ на него не для укоризны, а скорѣе для нашего оправданія. Оно, съ тѣмъ вмѣстѣ, выясняетъ для насъ фактъ, предъ которымъ мы должны смириться, сознавши настоящую степень своихъ успѣховъ въ нашемъ человѣческомъ развитіи. Общество часто слышитъ голоса, — особенно съ недавняго времени, — успокоительные для его statu quo и возвышаемые съ безпощадною бранью противъ достойныхъ людей, которые не умѣютъ видѣть его недостатковъ въ розовомъ свѣтѣ. Оно должно знать, что это голоса — сирены, пропитанные квинтъ-эссенціей мака, мандрагоры и опіума. Ихъ такъ же опасно слушать, какъ, напримѣръ, напиваться пьянымъ для забвенія горя. Къ счастію, намъ, во всякую данную минуту, очень легко сдѣлать повѣрку надъ собою — посредствомъ сличенія; если бы общества, имѣющія высшій уровень развитія и потому лучше устроенныя, существовали только въ теоріи, тогда относительно собственныхъ нашихъ совершенствъ или недостатковъ были бы возможны самыя жаркія контраверсіи; но такія общества существуютъ на самомъ дѣлѣ, и потому всѣ наши обольщенія собственными достоинствами могутъ быть разсѣяны самыми положительными аргументами.

Обращаясь къ нашему предмету, т.-е. къ судьбѣ клейменыхъ каторжниковъ, мы должны признаться, что насъ не начинали тревожить, даже и смутнымъ образомъ, такіе вопросы: — что такое преступленіе: умышленная вражда противъ общества, т.-е. злодѣйство ли чисто-на-чисто, или отчасти личное несчастіе преступника? — Что такое преступникъ: преднамѣренный злоумышленникъ противъ общества, или отчасти жертва извѣстныхъ соціальныхъ условій? — Изъ какого принципа должно проистекать наказаніе: изъ того ли, что оскорбленному обществу нужна безпощадная месть, которая должна преслѣдовать преступника и за предѣлами его политической смерти, или изъ того, что обществу нужна безопасность, которая вполнѣ гарантируется отверженіемъ преступника отъ общества и уже не нуждается въ дальнѣйшемъ преслѣдованіи его?

Книга нашего автора не поднимаетъ этихъ вопросовъ прямо; какъ произведніе чисто беллетрическое, она не имѣетъ ничего общаго съ правильной теоретической аргументаціей. Тѣмъ не менѣе она вращается именно около этихъ вопросовъ и подвергаетъ вашъ умъ и ваше сердце къ рѣшенію ихъ въ гуманномъ духѣ. Авторъ избралъ благую часть: онъ не доказываетъ, а разсказываетъ, и на томъ держится, главнымъ образомъ, интересъ его книги. И точно всякій разъ, какъ только авторъ пытается сдѣлать выводъ изъ своихъ же собственныхъ наблюденій, онъ тотчасъ вызываетъ на споръ; теоретическія соображенія его вообще слабы и отзываются тѣмъ болѣзненнымъ расплывающимся гуманизмомъ, изъ котораго никакая правительственная мудрость не въ состояніи извлечь ничего примѣнительнаго къ практикѣ. Но авторъ рѣдко пускается въ такія соображенія. Онъ, боль-

шею частію, остается только разсказчикомъ и наблюдателемъ. Онъ знакомитъ васъ съ потрясающими подробностями жизни, которой вы не знали по слухамъ, — потому что изъ „Мертваго дома“ не выходитъ и слуховъ; онъ даетъ вамъ проникать въ самыя мрачныя глубины человѣческой совѣсти и, на первый взглядъ, не имѣетъ другого побужденія, кромѣ внутренняго интереса, заключающагося въ томъ, о чемъ онъ разсказываетъ...

Десять лѣтъ постоянныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, испытанныхъ въ этомъ жилищѣ заживо погребенныхъ людей, десять лѣтъ наблюденія надъ этими отверженниками общества во время ихъ работъ, отдыховъ, развлеченій, при взаимныхъ столкновеніяхъ ихъ между собою, въ состояніи сна и безсонницъ, въ больницахъ, при упадкѣ всѣхъ силъ и обольщеніи себя несбыточными надеждами, въ минуты сердечной исповѣди и въ порывахъ звѣриной злобы, на виду страшныхъ наказаній и во время самаго исполненія ихъ, десять лѣтъ наблюденія надъ каторжниками въ такихъ разнообразныхъ положеніяхъ и составляетъ содержаніе „Записокъ изъ мертваго дома“. Кажется, тутъ нельзя пожаловаться на то, чтобы предметъ не былъ достоинъ человѣческой любознательности, принимаемой даже въ смыслѣ простого любопытства. И прежде всего нашей любознательности представляется вопросъ, возбуждаемый авторомъ почти на первыхъ страницахъ: какъ смотрятъ эти мрачныя совѣсти на тѣ преступленія, которыя тяготѣютъ на нихъ? да еще тяготѣютъ ли на нихъ преступленія? Т.-е.: доступны ли эти совѣсти какому-нибудь самоосужденію? — Есть мнѣніе, по которому преступники будто бы считаютъ себя протестаторами противъ того общественнаго порядка, при которомъ преступленія должны считаться неизбѣжными, и что поэтому на собственный взглядъ они всегда представляются правыми. Чрезвычайно любопытно и въ высшей степени важно знать, справедливо ли это мнѣніе и точно ли оно есть мнѣніе воровъ и убійцъ о самихъ себѣ? Если грабежъ и убійство составляютъ сознательный протестъ, если каждый воръ и убійца есть въ то же время человѣкъ системы или фанатикъ, дѣйствующій по убѣжденію, тогда громадное большинство общества, не ворующее и не убивающее, должно видѣть въ ворахъ и убійцахъ такихъ людей, которыхъ оно осуждаетъ и наказываетъ безъ всякаго другого права, кромѣ права сильнаго, — это съ одной стороны; а съ другой, — если мы перестанемъ видѣть въ ворахъ и убійцахъ существа падшія, доведенныя до своего паденія всего менѣе силою обдуманности и всего болѣе силой внѣшнихъ обстоятельствъ, можетъ быть, дѣйствительно обусловленныхъ общественнымъ устройствомъ, и если мы, взамѣнъ такого взгляда, проникнемся убѣжденіемъ, что воръ и убійца есть человѣкъ партіи и что онъ и самъ смотритъ на себя, какъ на такого, тогда всякое филантропическое чувство къ судьбѣ преступника, чувство — извѣстное всякому человѣку, вышедшему изъ дикаго состоянія, должно казаться жалкою и неумѣстною сентиментальностію, по крайней мѣрѣ — неумѣстной до тѣхъ поръ, пока общество не будетъ олицетворять

собою того плана общественнаго устройства, во имя котораго совершаются будто бы протесты грабежомъ и убійствами. Если же, напротивъ, мы будемъ думать, что воры и убійцы, рѣшаясь на свои подвиги, не укрѣпляютъ себя никакими философскими размышленіями о правотѣ своего дѣла, и если мы будемъ заподлинно знать, что они при своихъ грабежахъ и убійствахъ руководствуются не какими-нибудь соціальными соображеніями на счетъ общественнаго неустройства, а только самыми дикими и низкими побужденіями, тогда и уголовные законы получаютъ полное нравственное освященіе, и остается мѣсто для состраданія къ несчастію, хотя бы это несчастіе выразилось въ тяжкомъ преступленіи. Очевидно, что и для честнаго большинства въ обществѣ и для законопреступнаго меньшинства, не одно и то же: — будетъ ли большинство видѣть въ ворахъ и убійцахъ сознательныхъ протестаторовъ, дѣйствующихъ по убѣжденію, для достиженія преднамѣренной цѣли, или будетъ смотрѣть на нихъ, какъ на такихъ враговъ общественнаго порядка, которые потому только и враждуютъ противъ него, что къ величайшему своему несчастію ничего не понимаютъ въ законахъ общественнаго устройства. — Кто же такіе убійцы и воры: сознательные протестаторы, или люди жальчайшаго невѣжества и звѣрскихъ понятій?

Сентиментальные филантропы полагаютъ, что они очень много говорятъ въ пользу преступниковъ, возводя ихъ въ званіе протестаторовъ. Въ сущности они возводятъ лишнюю клевету на совѣсть и безъ того слишкомъ обремененную дѣйствительными преступленіями; желая быть адвокатами несчастія, они отнимаютъ у него единственный шансъ на человѣческое участіе, — именно тотъ шансъ, по которому преступникъ, если его преступленіе вытекаетъ изъ грубѣйшаго невѣжества, предполагается способнымъ къ исправленію. На этомъ предположеніи, и единственно только на немъ, должны быть основаны всѣ истинно-гуманныя расположенія къ врагамъ нашей собственности и нашей личной безопасности. Но такое предположеніе объ исправленіи, конечно, не можетъ быть допущено относительно преступника, — вора или убійцы, который опираетъ свое ремесло на теоретическихъ основаніяхъ. Какой-нибудь Лезюркъ, если это не былъ своего рода жальчайшій фанфаронъ, безъ сомнѣнія, не возбудилъ бы ни въ одномъ, даже самомъ гуманномъ мыслителѣ никакого ужаса къ смертной казни и никакого помышенія о противоестественности этого рода наказанія; онъ могъ бы, сколько угодно, служить предметомъ газетныхъ толковъ, украшать дамскіе альбомы и удивлять Парижъ своими развязными афоризмами на счетъ безгрѣшности воровства и убійства въ такомъ будто бы вавилонскомъ обществѣ, какъ французское, но его смерть на эшафотѣ все-таки никакъ не была бы способна возбудить болѣе жалости, чѣмъ кончина отравленной крысы. Если бы обществу было доказано, что всѣ ворующіе и убивающіе — болѣе или менѣе Лезюрки, теоретики и систематики своего ремесла, оно имѣло бы право никогда не отказываться ни отъ одной свирѣпости испанскихъ инквизицій или

венеціанскихъ трибуналовъ. Обществу прежде всего необходимо существовать; оно можетъ и должно выслушивать самыя смѣлыя указанія на свои несовершенства; оно имѣетъ всю выгоду допускать самыя обширныя пренія о способѣ и свойствѣ улучшеній; но если указанія на его несовершенства проявляются фактически подъ формою грабежа и убійства, оно можетъ только свирѣпствовать. Поэтому, мы полагаемъ, что возводить разбойника изъ грубѣйшаго невѣжды въ сознательные протестаторы нисколько не гуманно, и, въ отношеніи къ самому разбойнику, въ высшей степени несправедливо. Отнимать у него его скотское невѣжество въ этомъ случаѣ значитъ посягать на его права. Это посягательство было бы еще не такъ страшно, если бы оно не было ни съ чѣмъ несообразно. Но романическое мнѣніе о томъ, будто грабежъ есть одна изъ формъ сознательнаго протеста, есть чисто субъективное мнѣніе самихъ мыслителей, которые его выдумали; оно, очевидно, принадлежитъ честнымъ людямъ, имѣющимъ отличное знакомство съ различными соціальными теоріями, съ которыми разбойнику не было никакихъ средствъ познакомиться. Лезюркъ, конечно, не въ примѣръ. Онъ былъ въ свое время фельетонистомъ, можетъ быть и плохимъ, но все-таки имѣвшимъ возможность кое-чего наслушаться и начитаться. Онъ могъ глядѣть на свои мерзости съ теоретической точки зрѣнія, могъ критически относиться какъ къ своимъ грабежамъ и убійствамъ, которыя онъ сдѣлалъ, такъ и къ обществу, въ которомъ онъ ихъ сдѣлалъ. Но разбойникъ изъ фельетонистовъ долженъ считаться явленіемъ феноменальнымъ, изъ котораго невозможны никакія общія заключенія. Это случай — самъ по себѣ, такъ что всякій общій выводъ изъ него будетъ непремѣнно такимъ же субъективнымъ, какъ бываютъ субъективные цвѣта, субъективные звуки. Соотвѣтствія между сужденіемъ и сущностію обсуждаемаго предмета тутъ не будетъ. Точно такого свойства воззрѣніями на счетъ грабежа — протеста отличаются наши отечественные филантропы, которые свои субъективныя мысли объ этомъ предметѣ приписываютъ поголовно всему русскому народу. Этотъ народъ, по ихъ мнѣнію, въ продолженіе всей своей исторіи, видѣлъ и продолжаетъ видѣть въ разбойникахъ какихъ то непризнанныхъ борцовъ, которыхъ, если они попадутся, онъ будто бы разумѣетъ, какъ несчастныя жертвы какого то непонятнаго ему правосудія. Для доказательства этого ссылаются на добрыя и столь прославленныя чувства русскаго народа вообще ко всякому страданію, на ту всѣмъ извѣстную неохоту, съ которою нашъ простолюдинъ вызывается быть доказчикомъ и свидѣтелемъ преступленія, но болѣе всего на наши такъ называемыя разбойничьи пѣсни, въ которыхъ намъ велять видѣть не простую свободу народной фантазіи, а именно апоѳеозу разбойника. Эти именно аргументы, какъ это довольно извѣстно, приводятся въ доказательство того, будто народъ нашъ въ тягчайшихъ преступленіяхъ противъ общественной безопасности видитъ только протестъ, выражаемый во имя какого то неписаннаго кодекса. Однако аргументы эти доказываютъ совершенно другое, и, не смотря на то, что они при-

водятся съ выраженіемъ похвалъ извѣстнымъ чертамъ народнаго характера, въ сущности, они заключаютъ только справедливое указаніе на то обстоятельство, что народъ нашъ, какъ и вообще и всюду народныя массы, еще не возвысился до критическаго взгляда на жизнь, что онъ остается еще въ невѣжествѣ и живетъ болѣе чувствомъ, чѣмъ разсудкомъ. Это значитъ, что онъ живетъ безъ всякой системы — писанной или неписанной. Его таинственный неписанный кодексъ — это его непосредственное чувство. Въ этомъ чувствѣ заключается источникъ его глубочайшей доброты, но въ немъ же скрываются и причины его неистощимой свирѣпости. Это то самое чувство, которое приводитъ толпу въ умиленіе, при видѣ разбойника на крестѣ, и которое заставляетъ ее поджаривать честныхъ людей на огнѣ, при видѣ пожара, которое разливается жалобною пѣснею о свирѣпствахъ свекрови надъ невѣсткою и которое, однако, изъ каждой невѣстки дѣлаетъ, въ свою очередь, такую же свирѣпую свекровь: это то самое чувство, которое заставляетъ мужика называть свою рабочую скотину лошадушкой и кормилицей и по которому онъ забиваетъ ее чуть не до смерти, если она не въ состояніи везти непомѣрной тяжести; наконецъ, это то самое чувство, которое омрачаетъ печалью лицо всякаго простолюдина, при видѣ партіи ссыльно-каторжныхъ, и которое заставляетъ его людей этого сорта пристрѣливать, безъ всякой нужды, какъ зайцевъ, при встрѣчѣ съ ними въ лѣсу, какъ это не рѣдко случается въ Вятской губерніи, или убивать ихъ чѣмъ ни попало, заставши ихъ въ своей клѣти, какъ это случается повсюду, на всемъ протяженіи нашей земли, и тоже, безъ всякой нужды и иногда съ полной возможностію задержать преступника, не подвергая его самосудомъ смертной казни. Правда, есть одно обстоятельство, рѣшающее его на самосудъ. Это какія-нибудь особенныя понятія о правѣ, не врожденное отвращеніе къ правосудію, а боязнь не найти его и опасеніе самому запутаться въ той процедурѣ, которая подобно державинской *Рѣкѣ временъ* —

въ своемъ теченьи
Уноситъ всѣ дѣла людей
И топитъ въ пропасти забвенья

ихъ самыя справедливыя претензіи, ихъ самыя безотлагательныя требованія, увлекая, по дорогѣ, въ ту самую пропасть ихъ лучшіе досуги, ихъ благосостояніе и, пожалуй, самое ихъ гражданское существованіе. И въ этомъ единственная причина неохоты быть свидѣтелемъ или обвинителемъ, которая одинаково дѣйствуетъ на всякаго русскаго человѣка, при всякомъ общественномъ положеніи. Вліяніе ея можетъ быть доказано на самомъ приличномъ господинѣ, у котораго украли часы изъ кармана, хотя бы онъ былъ притомъ самаго консервативнаго образа мыслей. На эту причину указываютъ въ газетахъ, ее приводятъ въ объясненіе безуспѣшности своихъ дѣйствій наши недавніе судебные слѣдователи, которые, однако, во многихъ мѣстахъ

успѣли уже возбудить довѣріе къ себѣ и собираютъ нужныя имъ доказательства безъ труда. Стало-быть, неохота обвинять и свидѣтельствовать, замѣченная въ русскомъ человѣкѣ,—вовсе не такая соціальная добродѣтель, которою бы русскому народу прилично было гордиться и на которой можно бы было строить какія-нибудь теоріи, а скорѣе указаніе на такое соціальное зло, на которое русскій народъ можетъ только жаловаться и отъ котораго ему слѣдуетъ избавиться. И это не такое зло, о которомъ можно было бы спорить, а сознанное и провозглашенное зло, обратившее на себя вниманіе самого правительства, у котораго, какъ слышно, уже находятся наготовѣ важныя судебныя реформы. Изъ всѣхъ игрушечныхъ мыслей, которыми мы любимъ обольщать, и очень часто невпопадъ, свою національную гордость, мысль о томъ, будто русскій народъ поголовно можно считать сознательнымъ потворщикомъ преступленія, враждебно расположеннымъ ко всякой судебной карѣ, ко всякому офиціальному проявленію правосудія,—есть мысль самая игрушечная. Онъ точно не охотникъ отыскивать возстановленіе своихъ нарушенныхъ правъ путемъ офиціальнаго суда. Но если тутъ слѣдуетъ чему-нибудь удивляться, то, конечно, не этой неохотѣ, а скорѣй тому, что по точнымъ справкамъ о возникновеніи уголовныхъ дѣлъ непремѣнно должно оказаться, что самая большая часть ихъ все-таки возникаетъ вслѣдствіе частныхъ обвиненій и ходатайствъ. Намъ очень лестно считать русскій народъ отъ природы надѣленнымъ всѣми соціальными добродѣтелями, которыя другими народами пріобрѣтаются путемъ хлопотливой цивилизаціи и государственныхъ переворотовъ; намъ въ особенности лестно считать его надѣленнымъ высочайшей изъ этихъ добродѣтелей, которая называется гуманностію. И мы даже глубоко убѣждены, что онъ точно обладаетъ этимъ качествомъ въ самомъ полномъ избыткѣ, наперекоръ всѣмъ патріотическимъ писателямъ различныхъ націй, которые позволяютъ себѣ думать, будто это качество въ самой высокой степени свойственно именно той націи, къ которой они имѣютъ честь принадлежать сами. Пусть знатоки человѣческой природы изъ нѣмцевъ полагаютъ, будто добросердечнѣе нѣмца нѣтъ существа во всемъ мірѣ, пусть они остаются въ этомъ ослѣпленіи до такой степени, что надъ избыткомъ этого качества въ своихъ единоплеменникахъ позволяютъ себѣ, подобно Гейне, горчайшіе сарказмы; пусть французы полагаютъ о себѣ, что нѣтъ никакой возможности быть гуманнѣе и великодушнѣе француза, который не выноситъ варварства и притѣсненій даже внѣ предѣловъ своего отечества и за гуманную идею всегда готовъ сражаться и переносить всѣ трудности самого отдаленнаго похода; пусть люди еврейскаго племени остаются въ заблужденіи, будто они самые старые и величайшіе представители гуманности на землѣ; пусть Бичеръ-Стоу, со всѣмъ безкорыстіемъ честной писательницы, распинается за негровъ, утверждая, будто это самыя добрѣйшія существа на свѣтѣ, — мы имѣемъ твердое убѣжденіе, что это вздоръ и что пальма первенства относительно доброты и гуманности передъ всѣми народами при-

надлежать русскому народу. Но и при этомъ убѣжденіи мы не думаемъ, чтобы природная доброта русскаго народа потеряла часть своей цѣны, если мы не будемъ приписывать ему природной тупости ко всякому чувству права, или навязывать ему сознательнаго сочувствія къ злодѣйству. Разбойничьи пѣсни, конечно, составляютъ фактъ, требующій объясненія. Но и „Разбойники“ Шиллера, и „Пичинино“ Жоржъ-Занда, и „Вернеръ“ Байрона составляютъ точно такой же фактъ. Если въ разбойничьихъ пѣсняхъ не видѣть заплатки для какой-нибудь натянутой теоріи, то они будутъ означать, что человѣческая фантазія, будетъ ли она принадлежать народному пѣвцу или образованному поэту, способна поражаться всѣмъ необыкновеннымъ, въ томъ числѣ и удальствомъ разбойника. Разница здѣсь будетъ только та, что поэтъ образованный никогда не увлечется свирѣпостями разбойника; онъ непремѣнно сдѣлаетъ изъ него героя и придастъ ему лучшія качества человѣческаго сердца, а фантазія народнаго пѣвца способна увлекаться и самыми свирѣпостями, во всей ихъ непосредственности; у поэта образованнаго разбойникъ можетъ быть воодушевленъ какими-нибудь высшими побужденіями, необыкновеннымъ чувствомъ правды или ненависти къ притѣсненію; а въ народныхъ пѣсняхъ всѣ дѣйствія разбойниковъ обыкновенно объясняются одною только покорностію непосредственному чувству. Если образованный поэтъ заставляетъ, напримѣръ, своего разбойничьяго героя произвесть дѣйствіе мести, то изъ его рѣшительнаго удара, обыкновенно наносимаго съ быстротою молніи, онъ непремѣнно сдѣлаетъ ударъ правосудія; а народному пѣвцу никогда не бываютъ нужны такія затѣи, онъ добрымъ порядкомъ, не торопясь, даетъ вамъ пресытиться исполненіемъ самой мести, заставляя своего мстителя, какъ поется въ одной пѣснѣ, „изъ черепа своего врага — сдѣлать чашку для питья, изъ его рукъ, изъ ногъ — кровать сложить, изъ его сала — свѣчей налить, изъ его мяса — пироговъ напечь“. Въ первомъ случаѣ преобладаетъ идея, или выдуманный разбойникъ, во второмъ непосредственное чувство, или разбойникъ настоящій“. И это такъ и быть должно. Только не должно быть того, чтобы народъ, въ которомъ *когда-то* могли раздаться такія пѣсни, былъ судимъ *до сихъ поръ*, на основаніи ихъ, за свои симпатіи и юридическія понятія. Точно такъ и эпическіе разбойники, принадлежавшіе хаотическому обществу, не должны для насъ заслонять собою тѣхъ, которые теперь наполняютъ наши остроги и каторгу. Авторъ разбираемой нами книги занимается только послѣдними, и первыя его размышленія, какъ мы сказали, посвящены вопросу: сознаютъ ли преступники, что они преступны? Положительный отвѣтъ его состоитъ въ томъ, что они этого не сознаютъ. Онъ приводитъ даже и объясненіе этого факта, который можно считать совершенно вѣрнымъ. По его мнѣнію, „преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому же онъ потерпѣлъ отъ него наказаніе, а черезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, скитавшимся. Можно

судить, наконецъ", продолжаетъ авторъ, „съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть ли не придется оправдать самого преступника". Здѣсь преступнику приписывается критическій взглядъ на свои отношенія къ обществу; онъ не потому преступникъ, что онъ существо падшее, достойное всего нашего состраданія, не потому, что, при своей нравственной тупости, онъ не способенъ имѣть и двухъ правильныхъ мыслей ни о своемъ значеніи въ обществѣ, ни о значеніи самого общества, а потому, что онъ человѣкъ вооруженный аргументаціей, по которой онъ считаетъ себя правымъ, а общество виновнымъ; ему какъ-будто извѣстны даже и тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ „чуть ли не придется оправдать преступника". Такія точки зрѣнія дѣйствительно существуютъ. Ихъ двѣ. Одна, которую можно назвать философской, состоитъ въ томъ, что человѣкъ признается одушевленной машиной, только обольщающей себя, будто она одарена свободной волей, а на самомъ дѣлѣ дѣйствующей совершенно непроизвольно, по законамъ строжайшей причинности и потому, естественно, не подлежащей никакой отвѣтственности. Но эта точка зрѣнія составляетъ нетвердый предметъ философскаго спора; поэтому, разсуждать съ *этой точки зрѣнія*, когда самая постановка *этой точки зрѣнія* не имѣетъ и, можетъ-быть, никогда не будетъ имѣть никакой научной прочности, можно только для своего удовольствія; самосохраненіе общества, личная безопасность его членовъ, преступленіе и судьба людей, которые его совершаютъ, вовсе не такіе отвлеченные и далекіе отъ насъ предметы, чтобы объ нихъ позволительно было разсуждать съ точекъ зрѣнія такой сомнительной вѣрности, что всѣ сужденія съ нихъ должны представляться толко умственной гимнастикой. Другая точка зрѣнія, съ которой, выражаясь словами автора, „чуть ли не придется оправдать преступника" и которую можно назвать соціальной, состоитъ въ томъ, что общество, въ которомъ существуетъ голодъ, невѣжество и неравноправность, само обвиняется во всѣхъ послѣдствіяхъ этихъ великихъ золъ, и въ томъ числѣ и въ преступленіяхъ всякаго рода. Но и эта точка зрѣнія, какова бы ни была ея безусловная справедливость, все-таки не обязываетъ общество давать ворамъ и убійцамъ похвальные листы только за то, что для ихъ преступныхъ дѣйствій существуютъ довольно вѣроятныя и естественныя причины; изъ этой точки зрѣнія могутъ быть выводимы, и совершенно логично, только смягчающія обстоятельства для преступленій, но не оправданіе ихъ; она располагаетъ общество къ милосердію, но не къ уничтоженію своихъ уголовныхъ законовъ; она отнимаетъ у нихъ право свирѣпствовать противъ преступниковъ, отнимать у нихъ жизнь и произносить надъ ними вѣчные приговоры, но не уничтожаетъ его права охранять свое существованіе. Путь преступленія избирается, конечно, не по доброй волѣ, и не изъ обольщенія его прелестями, а вслѣдствіе стимуловъ, заключающихся въ общественномъ устройствѣ; общество должно сознавать это; но оно не можетъ сознавать и того, что и оно не виновато въ своихъ совершенствахъ, для которыхъ тоже суще-

ствуютъ самыя естественныя причины. Что дѣлать обществу съ такими естественными и расплывающимися во всѣ стороны причинами, которыми объясняется все на свѣтѣ? *Жить* и совершенствоваться, т.-е. дѣлать то, что волею или неволею суждено дѣлать всѣмъ обществамъ, вступившимъ на путь прогресса. А если прежде всего необходимо *жить*, то столько же необходимо, чтобы наша жизнь въ обществѣ была обезопасена и чтобы наши средства къ жизни находились подъ вѣрною защитою. Это самое вѣрное заключеніе, какое только можно сдѣлать изъ общей для всѣхъ насъ необходимости — *жить*. И стало-быть, воры и убійцы остаются неоправданными и съ соціальной точки зрѣнія, точно такъ же, какъ они не могутъ быть оправданы съ философской, и если и можно судить съ этихъ точекъ зрѣнія, или съ одной изъ нихъ, то для полученія совершенно другихъ выводовъ, а не того, который высказываетъ авторъ. Ронять громкія слова и бросать широкіе взгляды мимоходомъ, въ видѣ общихъ фразъ, стоитъ небольшого труда, — на это способенъ теперь самый жалкій писака. Но пусть авторъ указалъ бы кстати: какъ несовершенное общество, въ несовершенствахъ котораго заключаются, положимъ, причины преступленій нѣкоторыхъ изъ его членовъ, какъ оно должно поступать съ этими преступными своими членами, если оно будетъ считать ихъ правыми, а себя виноватымъ, и если оно, — какъ это достовѣрно извѣстно, — освободиться вдругъ отъ своихъ несовершенствъ никакимъ образомъ не можетъ, если при-томъ еще не доказано, чтобы оно могло хоть когда-нибудь освободиться отъ нихъ вполнѣ и если, наконецъ, несомнѣнно вѣрно, что причина преступленій заключается не въ однѣхъ несовершенствахъ общественнаго устройства, но вообще въ несовершенствахъ человѣческой природы и свойственныхъ ей страстяхъ? Каинъ убилъ своего брата изъ зависти, Отелло задушилъ свою Дездемону изъ ревности, Геростратъ обратилъ въ пепелъ прекраснѣйшее общественное зданіе изъ тщеславія, въ самыхъ „Запискахъ изъ мертваго дома“ очень хорошо разсказана повѣсть глупѣйшаго преступленія: мужъ убилъ свою жену изъ раскаянія, что онъ слишкомъ долго обращался съ нею недостойнымъ образомъ. Стимулы всѣхъ этихъ преступленій нисколько не должны падать на общественную совѣсть, потому что всѣ эти преступленія могли быть совершены при всѣхъ извѣстныхъ и даже еще неизвѣстныхъ родахъ общественнаго устройства. Здѣсь открывается цѣлая область преступленій, въ которыхъ общество не можетъ быть признано виноватымъ ни съ какой точки зрѣнія. Но главная сторона дѣла не въ этомъ, а въ томъ, что указанныя нами двѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, по мнѣнію автора, „чуть ли не придется оправдать преступника“, у нашего автора предполагаются извѣстными самимъ разбойникамъ, на которыхъ по преимуществу простираются его наблюденія; эти люди обращаются въ философскихъ и соціальныхъ мыслителей; у нихъ есть счеты и расчеты съ обществомъ; они лишаются своихъ хаотическихъ понятій, своихъ звѣрскихъ позывовъ, своего грубѣйшаго умственнаго и нравственнаго

помраченія и вмѣсто всего этого надѣляются ясными представленіями и опредѣленнымъ родомъ мыслей; ихъ грѣхи тяжкаго невѣдѣнія обращаются въ обдуманныя дѣла; словомъ, для нихъ уничтожается единственная точка зрѣнія, разсуждая съ которой, общество можетъ проникаться къ нимъ милосердіемъ и чувствовать себя обязаннымъ смягчать свои карательныя мѣры, замѣняя ихъ исправительными. Наблюдатель видѣлъ передъ собою фактъ, что эти грѣшники на его собственныхъ глазахъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ оставались нераскаянными; изъ этого онъ заключилъ, что такое душевное настроеніе они поддерживаютъ въ себѣ аргументами въ пользу своей невинности. Психологія позволяетъ, однако, объяснять подобное душевное состояніе совершеннымъ отупѣніемъ нравственнаго чувства и глубиною паденія, могущаго простираться до потери всякаго сознанія о добрѣ и злѣ, — и такое оскотинѣніе, безъ сомнѣнія, служитъ въ большинствѣ случаевъ нераскаянности гораздо вѣроятнѣйшимъ объясненіемъ, чѣмъ теоретическія соображенія, предполагаемыя въ разбойникахъ, о несовершенствахъ общественнаго устройства. Но мы уже сказали, что у нашего автора гораздо важнѣе то, что онъ разсказываетъ, чѣмъ то, что онъ думаетъ, и потому, признавая вполнѣ справедливымъ замѣченный имъ фактъ относительно нераскаянности преступниковъ, мы находимъ совершенно ложнымъ приводимое имъ объясненіе этого факта. „Я сказалъ уже", говоритъ авторъ, „что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя правыми. Это фактъ. Конечно, тщеславіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но, вѣдь, можно же было, во столько лѣтъ, хоть что-нибудь замѣтить, поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было". Но этого не могло и быть, прибавимъ мы отъ себя, и въ доказательство этихъ словъ приведемъ прекрасную характеристику этого кромѣшнаго общества, которую встрѣчаемъ у самого же автора.

„Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣзкую общность во всемъ этомъ странномъ семействѣ; даже самыя рѣзкія, самыя оригинальныя личности, царившія надъ другими невольно, и тѣ старались попасть въ общій тонъ всего острога... Вообще тщеславіе, наружность были на первомъ планѣ. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безпрерывныя: это былъ адъ, тьма кромѣшная... Бывали характеры рѣзко выдающіеся... Приходили въ острогъ такіе, которые ужъ слишкомъ зарвались, слишкомъ выскочили изъ мѣрки на волю, такъ что ужъ и преступленія свои дѣлали подъ конецъ какъ-будто не сами собою, какъ-будто сами не зная зачѣмъ, какъ будто въ бреду, въ чаду; часто изъ тщеславія,

возбужденнаго въ высочайшей степени. Но у насъ ихъ тотчасъ осаживали, несмотря на то, что иные до прибытія въ острогъ бывали ужасомъ цѣлыхъ селеній и городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичекъ скоро замѣчалъ, что онъ не туда попалъ, что здѣсь дивить ужъ некого и непремѣнно старался и попадалъ въ общій тонъ. Этотъ общій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго собственнаго достоинства, которымъ былъ проникнутъ чуть не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ дѣлѣ званіе каторжнаго, рѣшеннаго, составляло какой-нибудь чинъ, да еще почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія! Впрочемъ, было и какое-то наружное смиреніе, такъ сказать, офиціальное, какое-то спокойное резонерство: „Мы—погибшій народъ", говорили они: „не умѣлъ на волѣ жить, теперь ломай зеленую улицу, повѣряй ряды". — Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры". — „Не хотѣлъ шить золотомъ, теперь бей камни молотомъ". — Все это говорилось часто, и въ видѣ нравоученія и въ видѣ обыкновенныхъ поговорокъ и присловій, но никогда серьезно. Все это были только слова. Врядъ ли хоть одинъ изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта преступленіемъ, выбранить его — ругательствамъ не будетъ и конца. А какіе они были мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство было у нихъ возведено въ науку; старались взять не столько обиднымъ словомъ, сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей, — а это утонченнѣе, ядовитѣе. Безпрерывныя ссоры еще болѣе развивали между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-подъ палки, слѣдственно, онъ былъ праздный, слѣдственно, развращался: если и не былъ прежде развращенъ, то въ каторгѣ развращался. Всѣ они собрались сюда не своей волей; всѣ они были другъ другу чужіе... „Чортъ трое лаптей сносилъ, прежде чѣмъ насъ собралъ въ одну кучу!" говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, ссоры, злость были всегда на первомъ планѣ въ этой кромѣшной жизни. Никакая баба не въ состояніи была быть такой бабой, какъ нѣкоторые изъ этихъ душегубцевъ".

И въ этомъ аду, въ этой кромѣшной тьмѣ, въ этой безднѣ оскотинѣнія и нравственнаго индифферентизма, насъ заставляютъ отыскивать какія-то философскія и соціальныя убѣжденія для объясненія нераскаянности! И на выдумкѣ этихъ убѣжденій строятъ философію преступленія! Нѣтъ тутъ никакихъ убѣжденій, никакихъ расчетовъ съ обществомъ и никакого сознательнаго возстанія противъ него; а есть только одно нравственное одервенѣніе и привычка — до такой степени тупая, что преступленіе представляется поступкомъ не нравственно-свободнаго и размышляющаго существа, а скорѣе дѣйствіемъ автомата. Викторъ Гюго, заставившій Жанъ-Вальжана въ своемъ послѣднемъ романѣ обокрасть маленкаго савояра совершенно противъ воли, посредствомъ одного механическаго движенія, усвоеннаго привычкою, поступилъ какъ человѣкъ, глубоко понимающій философію

преступленій, потому что, дѣйствительно, преступленіе есть привычка, точно такая же привычка, какъ хожденіе въ должность, ремесло, нищенство и т. п. Но не всѣ Жанъ-Вальжаны встрѣчаются съ добродѣтельными епископами, отъ которыми они могли бы узнавать хотя и простую, но все-таки незнакомую для нихъ истину, что есть на свѣтѣ вещи честныя и безчестныя; самая большая часть Жанъ-Вальжановъ не имѣютъ никакой возможности возвышаться до критическаго взгляда на свои привычки; до острога для нихъ это совершенно невозможно, потому что не такова ихъ жизнь и избранныя ими занятія, чтобъ они располагали къ умозрѣніямъ; а въ самомъ острогѣ для нихъ это еще менѣе возможно и опять-таки потому, что и острожно-каторжная жизнь очень мало располагаетъ къ умозрѣніямъ. Для этого нуженъ невозмутимый досугъ, хотя бы и не очень продолжительный; какъ можно менѣе мелочныхъ дрязгъ и какъ можно больше вещей, располагающихъ къ серьезному настроенію, а главное — для всякаго умозрѣнія нужна прежде. всего точка отправленія; оскотинѣвшему преступнику прежде всего нужно знать о существованіи добра и зла, чтобы сдѣлать умственныя комбинаціи о значеніи своихъ поступковъ. Но картина, изображенная авторомъ въ приведенныхъ нами строкахъ, представляетъ совершенную противоположность всѣмъ этимъ требованіямъ; двумъ стамъ звѣроподобнымъ существамъ, заключеннымъ въ одной казармѣ, такъ много случаевъ развлечь себя и уклониться отъ всякихъ расчетовъ съ нехорошими воспоминаніями, если они еще признаются за нехорошія! Въ одной кучкѣ ругаются только что изобрѣтаемыми выраженіями, въ другой лѣзутъ въ драку изъ-за негодной тряпки и ужъ дѣло доходитъ до ножей, въ третьей клейменные игроки ведутъ азартную игру въ засаленныя карты, въ четвертой развлекаются зеленымъ виномъ, пронесеннымъ въ острогъ чуть не подъ страхомъ жизни — все это картины, нисколько не располагающія къ созерцательному настроенію. Есть ли чему удивляться, что тутъ не замѣчается никакихъ признаковъ стыда и раскаянія? Скорѣе было бы удивительно, если бы здѣсь происходили случаи раскаянія, хотя бы самые рѣдкіе; такіе случаи были бы чисто феноменальныя явленія.

Изъ „Библіотеки для чтенія“ за 1862 г.

Всякая страница „Мертваго дома“ какъ теплотою лѣтняго солнца проникнута христіанскимъ чувствомъ всепрощенія, братскою любовію къ человѣку и твердымъ воспріятіемъ всѣхъ неизбѣжныхъ золъ жизни и тихою радостію простыми радостями жизни.

„Записки изъ Мертваго дома“ — не романъ, не повѣсть; это даже не хроника, наподобіе семейной хроники Аксакова, потому что въ нихъ не развиваются послѣдовательно судьбы и характеры дѣйствующихъ лицъ. Это просто дневникъ глубокомыслящаго художника,

который даетъ себѣ отчетъ столько же въ образахъ, его окружающихъ, сколько и въ смыслѣ совершающихся кругомъ явленій.

Отдѣльные портреты, иногда въ видѣ мѣткаго бѣглаго наброска, иногда отдѣланные съ живописною рельефностью, отрывочныя сцены, — вотъ область художества въ этихъ запискахъ. Общій обликъ „Мертваго дома“ въ широкихъ и яркихъ чертахъ вырисовывается вамъ изъ этихъ типическихъ отрывковъ. Но художественная выразительность письма не остановила бы насъ такъ долго на себѣ, если бы все оно не было проникнуто особымъ нравственнымъ свѣтомъ, глубоко поучительнымъ именно въ этихъ условіяхъ.

Человѣкъ, съ которымъ обращаются какъ со скотомъ, человѣкъ цивилизаціи и нравственнаго идеала, насильственно обреченный страдать въ тѣсномъ общеніи съ разбойниками и убійцами, выносилъ изъ своихъ страданій не скотскій цинизмъ, не мстительное и озлобленное чувство къ обществу, не презрительное отвращеніе къ ужасной средѣ, въ которой онъ такъ долго томился, — нѣтъ, онъ выноситъ оттуда слова любви и мира, чувство братства съ тѣми несчастными, которые считаются хуже звѣрей; онъ полонъ благоговѣнія къ тайнымъ силамъ ихъ духа, къ незримому душевному добру, скрытому глубоко подъ грубою корою ихъ поступковъ. Онъ не только не считаетъ ихъ достойными презрѣнія, но смотритъ на многое въ нихъ какъ на нѣчто высшее, чего нѣтъ у насъ, чѣмъ они лучше насъ... Онъ постигъ Божію искру даже въ лютомъ звѣрѣ.

Вы скажете, что это не реализмъ, а идеализація. Но тогда прочтите сами это неподкупное изображеніе тьмы кромѣшной, гораздо болѣе страшной въ своей правдѣ, чѣмъ дѣтскія сказки Дантовскаго ада.

Авторъ „Мертваго дома“ не скрываетъ ни однимъ виноградным листикомъ того голаго звѣрства души, той безконечной нравственной закоренѣлости, которыми поражали его обитатели „Мертваго дома“. Онъ знаетъ, что нѣтъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаютъ себя совершенно правыми; что у нихъ самый тяжелый преступникъ головою выше другихъ; что нѣтъ хуже насмѣшки, какъ сказать про каторжника: „за одинъ фунтъ хлѣба въ острогъ пришелъ“, или: „простокваши поѣлъ, за то и кнута хватилъ“, что доброта, веселость, мягкость сердца считаются среди нихъ позоромъ; что воровство такъ же обыденно въ ихъ взаимныхъ сношеніяхъ, какъ и простая рѣчь; что убійство для нихъ шутка. „Что жъ, батька, ты меня посылалъ на добычу: вонъ я мужика зарѣзалъ, всего-то луковицу нашелъ. Дуракъ! Луковица — анъ копѣйка, сто душъ, — сто луковицъ, вотъ те и рубль“! ходитъ обычная поговорка среди каторжныхъ.

Все это онъ знаетъ, но, вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, сквозь все это онъ видитъ и другое, что не всякій бы увидѣлъ, для чего, прежде чѣмъ видѣть, нужно любить человѣка во всѣхъ его образахъ. У До-

стоевскаго вы на каждомъ шагу видите это сердечное прониканіе въ тончайшія складки народной психіи.

То вдругъ, когда хмельной разбойникъ начинаетъ свой циническій разсказъ объ убійствѣ ребенка „вся казарма, доселѣ смѣявшаяся его шуткамъ, закричала, какъ одинъ человѣкъ, и разбойникъ принужденъ былъ замолчать; не отъ негодованія закричала казарма, а такъ, потому что *не надо было про это говорить*". То вдругъ, среди этихъ ожесточенныхъ и окаменѣлыхъ людей, проходитъ словно невзначай типъ въ родѣ стародубовскаго старика-раскольника, что цѣлую ночь молится на своей печи, по своей рукописной книжкѣ; онъ плакалъ, и я слышалъ, какъ онъ говорилъ по временамъ: „Господи, не оставь меня! Господи, укрѣпи меня! Дѣтушки мои малыя, дѣтушки мои милыя, никогда-то намъ не свидѣться"! или типъ мягкосердечнаго наивнаго Сироткина, который „глядитъ какъ десятилѣтній ребенокъ", который „какъ заведутся у него деньги, не купитъ себѣ чего-нибудь необходимаго, а купитъ калачика, и скушаетъ, — точно ему семь лѣтъ отъ роду. Эхъ ты Сироткинъ! — говорятъ, бывало, ему арестанты, — сирота ты казанская"! Или, напримѣръ, „Нурра-Левъ", какъ прозвали его сами каторжники. „Онъ былъ всегда веселъ, привѣтливъ ко всѣмъ, работалъ безропотно, спокоенъ и ясенъ, хотя часто съ негодованіемъ смотрѣлъ на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всякимъ воровствомъ, мошенничествомъ, пьянствомъ и вообще всѣмъ, что было нечестно".

Такой же, какъ Нурра, и, пожалуй, еще горячѣе и благороднѣе его, былъ дагестанецъ Алей, почти еще мальчикъ. „Вся душа его выражалась на красивомъ, можно сказать, даже прекрасномъ лицѣ. Улыбка его была такъ довѣрчива, такъ дѣтски-простодушна; большіе черные глаза его были такъ мягки, такъ ласковы"... „Онъ былъ цѣломудренъ какъ чистая дѣвочка, и чей-нибудь скверный, цинически-грязный или несправедливый, насильный поступокъ въ острогѣ зажигалъ огонь негодованія въ его прекрасныхъ глазахъ".

Авторъ былъ дворянинъ и видѣлъ, какъ глубока была ненависть къ дворянамъ остальныхъ каторжниковъ. „Они съ любовью смотрѣли на наши страданія", говоритъ онъ о нихъ. „Ненависть, которую я, въ качествѣ дворянина, испытывалъ постоянно въ продолженіе первыхъ лѣтъ отъ арестантовъ, становилась для меня невыносимою, отравляла всю жизнь мою ядомъ. Я часто уходилъ, безо всякой болѣзни, лежать въ госпиталь, единственно для того, чтобы не быть въ острогѣ, чтобы только избавиться отъ этой упорной, ничѣмъ несмиряемой всеобщей ненависти. *Вы желѣзные носы, вы насъ заклевали!* говорили намъ арестанты, и какъ я завидовалъ, бывало, простонародью, приходившему въ острогъ! тѣ сразу дѣлались со всѣми товарищами".

Но это нравственное страданіе не помѣшало автору признать все доброе и справедливое, что было даже въ этомъ враждебномъ отношеніи народа къ дворянству. Послушайте, напримѣръ, его характерный разсказъ о Сушиловѣ. „Я не призывалъ его и не искалъ его.

Онъ какъ то самъ пришелъ ко мнѣ и прикомандировался ко мнѣ; даже не помню, когда и какъ это сдѣлалось. Онъ сталъ для меня стирать... Кромѣ того, Сушиловъ самъ изобрѣталъ тысячи различныхъ обязанностей, чтобы мнѣ угодить: наставлялъ мой чайникъ, бѣгалъ по разнымъ порученіямъ, отыскивалъ что-нибудь для меня, носилъ мою куртку въ починку, смазывалъ мнѣ сапоги раза четыре въ мѣсяцъ; все это дѣлалъ усердно, суетливо, какъ-будто Богъ знаетъ какія на немъ лежали обязанности, однимъ словомъ, совершенно связалъ свою судьбу съ моею и взялъ всѣ мои дѣла на себя. Онъ никогда не говорилъ, напримѣръ: „у васъ столько рубахъ, у васъ куртка разорвана“ и проч., а всегда: „*у насъ* теперь столько-то рубахъ, *у насъ* куртка разорвана“. Онъ такъ и смотрѣлъ мнѣ въ глаза и, кажется, принялъ это за главное назначеніе всей своей жизни“.

И не подумайте, чтобы со стороны Сушилова это было простое желаніе заработать у богатенькаго арестанта деньжонки за свою услугу. Оригинальность его шла гораздо дальше. Разъ Сушиловъ нуждался въ деньгахъ, и авторъ предложилъ ему ихъ. „Онъ былъ, кажется, очень пораженъ, что я самъ ему предложилъ денегъ, самъ вспомнилъ о его затруднительномъ положеніи, тѣмъ болѣе, что въ послѣднее время онъ, по его мнѣнію, уже слишкомъ много у меня забралъ, такъ что и надѣяться не смѣлъ, что я еще дамъ ему. Онъ посмотрѣлъ на деньги, потомъ на меня, вдругъ отвернулся и вышелъ. Все это меня очень поразило. Я пошелъ за нимъ и нашелъ его за казармами. Онъ стоялъ у острожнаго частокола, лицомъ къ забору, прижавъ къ нему голову, и облокотясь на него рукой. — Сушиловъ, что съ вами? спросилъ я его. Онъ не смотрѣлъ на меня, и я, къ чрезвычайному удивленію, замѣтилъ, что онъ готовъ заплакать. „Вы, Александръ Петровичъ... думаете“, началъ онъ прерывающимся голосомъ и стараясь смотрѣть въ сторону, — „что я вамъ... за деньги... а я... я... Ээхъ“! Тутъ онъ обратился опять къ частоколу, такъ что даже стукнулся объ него лбомъ, — и какъ зарыдаетъ“!

Но если вы скажете, что это натура, которая сама ищетъ господина, то вотъ и другой примѣръ. Знаменитый убійца Петровъ, ужасъ всей каторги, характеръ самостоятельный и гордый до высшей степени, самый рѣшительный, самый безстрашный изъ всѣхъ каторжниковъ, который „васъ зарѣжетъ, если ему это вздумается, такъ, просто зарѣжетъ, не поморщится и не раскается“, тоже привязался къ дворянину-автору и ходилъ за нимъ, какъ заботливая нянька. Онъ обворовывалъ его хладнокровно, не таясь, и въ то же время жалѣлъ его именно за это.

„Онъ мнѣ сказалъ одинъ разъ какъ-то нечаянно, что я уже „слишкомъ доброй души человѣкъ“, и „ужъ такъ вы просты, что даже жалость беретъ“. Онъ оберегаетъ каждый шагъ автора, торгуется за него, объясняетъ ему, помогаетъ. Идутъ въ баню, онъ добываетъ ему мѣсто, раздѣваетъ. „Раздѣвъ, Петровъ повелъ меня даже подъ руку, замѣтивъ, что мнѣ очень трудно ступать въ кандалахъ.

„Вы ихъ кверху потяните, на икры! „приговаривалъ онъ, поддерживая меня, точно дядька; „а вотъ тутъ осторожнѣе, тутъ порогъ“. Мнѣ даже совѣстно было, хотѣлось увѣрить Петрова, что я одинъ умѣю пройти, но онъ этому бы не повѣрилъ. Онъ обращался со мною рѣшительно, какъ съ ребенкомъ, несовершеннолѣтнимъ и неумѣлымъ, которому всякій обязанъ помочь. Петровъ былъ отнюдь не слуга, прежде всего не слуга. Разобидь я его, онъ бы зналъ, какъ со мною поступить. Денегъ за услуги я ему вовсе не обѣщалъ, да онъ и самъ не просилъ“ (стран. 120).

Если вы подумаете, что все это частные случаи, исключеніе, то вотъ вамъ и общее отношеніе къ тѣмъ же ненавидимымъ дворянамъ цѣлаго острога. На святкахъ устроился среди арестантовъ театръ.

„Теперь въ театрѣ они посторонились передо мной. Они признавали, что въ этомъ я могу судить лучше ихъ, что я видалъ и знаю больше ихъ. Самые нерасположенные изъ нихъ ко мнѣ желали теперь моей похвалы ихъ театру и безо всякаго самоуниженія пустили меня на лучшее мѣсто... Въ ихъ справедливомъ судѣ надъ собой было вовсе не приниженіе, а чувство собственнаго достоинства. Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости... Стоитъ только снять наружную, наносную кору и посмотрѣть на самое зерно повнимательнѣе, поближе, безъ предразсудковъ, — и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предугадывалъ. Немногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, — напротивъ: сами они еще должны у него научиться“. Къ такой философіи, столь сродной съ философіею автора „Войны и мира“, приходитъ Достоевскій не въ одномъ мѣстѣ своихъ „Записокъ“.

Великолѣпная, по своей художественной правдѣ, картина арестанскаго театра служитъ одною изъ самыхъ мѣткихъ иллюстрацій его взглядовъ. „Всѣ вели себя тихо и чинно. Всѣмъ хотѣлось себя выказать передъ господами и посѣтителями съ самой лучшей стороны. На всѣхъ лицахъ выражалось самое наивное ожиданіе. Что за странный отблескъ дѣтской радости, милаго, чистаго удовольствія сіялъ на этихъ изборожденныхъ клейменыхъ лбахъ и щекахъ, въ этихъ глазахъ, сверкавшихъ иногда страшнымъ огнемъ!“

Кончается театръ. „Ссоръ не слышно. Всѣ какъ-то непривычно довольны, даже какъ-будто счастливы, и засыпаютъ не по-всегдашнему, а почти съ спокойнымъ духомъ, — а съ чего бы, кажется? А между тѣмъ это не мечта моего воображенія; это правда, истина. Только немного позволили этимъ людямъ пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть часъ не по-острожному, — и человѣкъ нравственно мѣняется“ (стран. 138).

Такое же человѣчное, умиротворяющее впечатлѣніе заставляетъ васъ авторъ выносить и изъ встрѣчи арестантами праздника Рождества Господня, и изъ покупки ихъ осторожной лошади, и изъ всѣхъ отношеній ихъ къ животнымъ каторги.

„Уваженіе къ торжественному дню переходило у арестантовъ въ какую-то форменность: немногіе гуляли, всѣ были серьезны и какъ-будто чѣмъ-то заняты, хотя у многихъ совсѣмъ почти не было дѣла. Но и праздные гуляли стараясь сохранять въ себѣ какую-то важность. Смѣхъ какъ-будто былъ запрещенъ. Вообще настроеніе дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушалъ общій тонъ, хотя бы невзначай, того осаживали съ крикомъ и бранью и сердились на него какъ-будто за неуваженіе къ празднику. Это настроеніе арестантовъ было замѣчательно, даже трогательно. Кромѣ врожденнаго благоговѣнія къ великому дню, арестантъ безсознательно ощущалъ, что онъ съ этимъ соблюденіемъ праздника какъ-будто соприкасается со всѣмъ міромъ, что не совсѣмъ же онъ стало-быть отверженецъ, погибшій человѣкъ, ломоть отрѣзанный“...

Мы не можемъ, въ виду объема статьи, приводить ни другихъ мѣстъ того же характера, которыя заставляютъ васъ въ безсердечномъ злодѣѣ видѣть вашего брата — человѣка; ни этой наивной сцены, гдѣ арестанты цѣлою артелью увлеченно осматриваютъ приводимыхъ къ продажѣ лошадей, веселые и польщенные тѣмъ, „что вотъ и они, точно вольные, точно дѣйствительно изъ своего кармана, покупаютъ себѣ лошадь и имѣютъ полное право купить“; ни этого торжественнаго шествія на каторжныя работы съ острожнымъ козломъ впереди, гдѣ Васька идетъ разубранный и разукрашенный листками, цвѣтами, гирляндами, „а они идутъ за нимъ и точно гордятся передъ прохожими“; ни этого сурово-трогательнаго, мастерски нарисованнаго эпизода съ раненымъ орломъ, попавшимъ въ плѣнъ, въ которомъ каждый каторжникъ молча сочувствовалъ своей собственной горькой судьбѣ, и котораго всѣ, словно по сговору, вдругъ захотѣли выпустить на вольную степь.

— Пусть хотя околѣетъ, да не въ острогѣ; вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то“...

Орла сбросили съ вала въ степь; холодный осенній вѣтеръ свисталъ въ голой пожелтѣвшей степи. Орелъ пустился прямо, махая больными крыльями, и какъ бы торопясь уходить отъ насъ, куда глаза глядятъ. Арестанты съ любопытствомъ слѣдили, какъ мелькала въ травѣ его голова.

— Вишь его! — задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянулся! — прибавилъ другой: — Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бѣжитъ себѣ...

— А ты думалъ, благодарить воротится?

— Знамо дѣло, воля. Волю почуялъ.

— Слобода, значитъ...

— И не видать уже, братцы!

— Чего стоять-то! Маршъ! — закричали конвойные, и всѣ молча поплелись на работу“.

Для того, чтобы изображать такъ и такія сцены, необходима большая художественная сила; но одна эта сила тутъ недостаточна, тутъ еще болѣе необходима другая высшая сила, — сила человѣческой

любви. Подъ ея горячимъ внутреннимъ дыханіемъ все переноситъ и пересиливаетъ человѣкъ не во вредъ, а на пользу человѣчеству, и выходитъ изъ своего чистилища не полный раздраженія и вражды, а съ чувствомъ всепрощенія и мира.

Такіе леденящіе душу разсказы, какъ „Акулькинъ мужъ", такіе леденящіе душу характеры, какъ безчеловѣчный плацъ-маіоръ или арестантъ Газинъ, эти многолѣтнія неописываемыя страданія въ мозгу и сердцѣ страдальца, не убившаго въ себѣ человѣка, перевариваются только въ приговорѣ любви. „Вездѣ есть люди дурные, а между ними хорошіе; кто знаетъ? Эти люди, можетъ-быть, вовсе не до такой степени хуже тѣхъ, *остальныхъ*, которые остались тамъ, за острогомъ", *спѣшитъ подумать себѣ въ утѣшеніе* авторъ, еще въ первый мѣсяцъ своего заключенія, и прибавляетъ послѣ: „Боже мой! если бы я только зналъ тогда, до какой степени и эта мысль была правдива!"

Въ другомъ мѣстѣ онъ признается: „Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольно открывается наружу, и вы видите въ ней такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманіе и собственнаго, и чужого страданія, что у васъ какъ бы глаза открываются"...

Даже прощаясь съ своею каторгою, окидывая послѣднимъ общимъ взглядомъ свое страдальческое прошлое и ужасныхъ сотоварищей своей неволи, авторъ находитъ въ глубинѣ своего растроганнаго духа не проклятіе и не осужденіе, а слово сочувствія и даже оправданія своего рода... „И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо уже все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ-быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего", скорбно восклицаетъ онъ на послѣдней страницѣ своего „Мертваго дома". „Но погибли даромъ могучія силы, поглибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ?..."

Это голосъ истиннаго гражданина и истиннаго христіанскаго чувства. Такой голосъ слышится въ трогательныхъ романахъ Диккенса, въ всепроницающихъ драмахъ Шекспира, въ страстныхъ романтическихъ фантазіяхъ Виктора Гюго. Это голосъ безпощаднаго анализа, всеобнажающаго изслѣдованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ голосъ созиданія, а не разрушенія, голосъ сердечной помощи человѣку, а не сардоническій хохотъ надъ его бѣдствіями, надъ его безсиліемъ, надъ его глупостью... Такой голосъ отыскиваетъ вездѣ моя критика, такой голосъ привѣтствуетъ она вездѣ, такой голосъ она проповѣдуетъ...

Правда, основанная на любви, правда ради грядущаго добра и только ради его, вотъ ея содержаніе, ея девизъ.

Марковъ.

Жизненная правда и идеалистическое настроеніе „Записокъ изъ мертваго дома“.

По собственнымъ словамъ Достоевскаго, „Записки изъ мертваго дома“, были прочитаны всей Россіей и до сихъ поръ (т.-е. до 70-хъ годовъ) цѣнятся весьма высоко, хотя и порядки и обычаи, описанные въ нихъ, давно уже измѣнились въ Россіи“. Объясняется этотъ огромный успѣхъ „Записокъ изъ мертваго дома“, съ одной стороны, необыкновеннымъ реализмомъ изображенія, а съ другой — той гуманной идеей, которая вложена авторомъ въ его произведеніе. Этимъ сочетаніемъ жизненной правды съ высокимъ идеалистическимъ настроеніемъ Достоевскій выгодно отличается отъ другихъ писателей, касавшихся того же предмета: они давали или протокольно-точное, не художественное описаніе каторги и ея населенія, или же чисто-фантастическіе образы добродѣтельныхъ каторжниковъ, при помощи же этихъ образовъ предполагалось доказать нѣкоторое гуманное положеніе. У Достоевскаго нѣтъ этой дисгармоніи между идеей и образомъ, взятымъ изъ дѣйствительности, и въ этомъ заключается сила его созданія. „Всякій“, говоритъ Достоевскій, „кто бы онъ ни былъ и какъ бы онъ ни былъ униженъ, хоть и инстинктивно, хоть безсознательно, а все-таки требуетъ уваженія къ своему человѣческому достоинству. Арестантъ самъ знаетъ, что онъ арестантъ, отверженецъ, и знаетъ свое мѣсто передъ начальствомъ, но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что онъ человѣкъ. А такъ какъ онъ дѣйствительно человѣкъ, то, слѣдовательно, и надо съ нимъ обращаться по-человѣчески. Боже мой! Да, человѣческое обращеніе можетъ очеловѣчить даже такого, на которомъ давно уже потускнѣлъ образъ Божій. Съ этими-то „несчастными“ и надо обращаться наиболѣе по-человѣчески. Это спасенье и радость ихъ. Я встрѣчалъ такихъ добрыхъ и благородныхъ командировъ. Я видѣлъ дѣйствіе, которое производили они на этихъ униженныхъ. Нѣсколько ласковыхъ словъ, и арестантъ чуть не воскресалъ нравственно. Они, какъ дѣти, радовались и, какъ дѣти, начинали любить“.

Это человѣческое отношеніе къ каторжникамъ представляется автору особенно необходимымъ потому, что передъ нимъ настойчиво выдвигается вопросъ, кто виноватъ въ томъ, что въ каторгѣ погибаетъ такъ много силъ, которыя, при правильномъ развитіи, могли бы имѣть значеніе въ общественной жизни. „И сколько въ этихъ стѣнахъ“, восклицаетъ авторъ, „погребено молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо же все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ-быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ?“ Кромѣ этого гуманнаго заключенія, представляющаго собой дальнѣйшее развитіе давняго отношенія Достоевскаго къ униженнымъ и оскорбленнымъ, къ „бѣднымъ“ людямъ, въ родѣ Дѣвушкина, близкое общеніе съ народомъ на каторгѣ ока-

зало вліяніе и на выработку мессіанистическаго воззрѣнія Достоевскаго на русскій народъ, какъ надѣленный высокими нравственными идеалами, воззрѣнія, зачатки котораго мы указывали у Достоевскаго еще до его ссылки. „Высшая“, говоритъ онъ, „и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ея. Пѣтушиной же замашки — быть впереди, во всѣхъ мѣстахъ, во что бы то ни стало, стоитъ ли, нѣтъ ли того человѣкъ, — этого въ народѣ нѣтъ. Стоитъ только снять наружную, наносную кожу и посмотрѣть на самое зерно поближе, повнимательнѣе, безъ предразсудковъ, — и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предугадывалъ. Немногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу: сами они должны еще у него поучиться“.

Столь идеалистическія заключенія, вынесенныя Достоевскимъ изъ его наблюденій на каторгѣ, нисколько, однако, не связываются съ какимъ-либо прикрашиваніемъ дѣйствительности, и Достоевскій уже въ самомъ началѣ своихъ „Записокъ изъ мертваго дома“ даетъ общую характеристику каторжниковъ, въ которой весьма ярко видны мрачныя, отрицательныя черты этихъ людей. „Были здѣсь“, говоритъ онъ, „убійцы невзначай и убійцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойниковъ. Были просто мазурики и бродяги — промышленники по находнымъ деньгамъ. Были и такіе, про которыхъ трудно было рѣшить: за что бы, кажется, они могли притти сюда? А между тѣмъ у всякаго была своя повѣсть, смутная и тяжелая, какъ угаръ отъ вчерашняго похмелья. Вообще о быломъ своемъ они говорили мало, не любили разсказывать и видимо старались не думать о прошедшемъ. Я зналъ изъ нихъ даже убійцъ, до того веселыхъ, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться объ закладъ, что никогда совѣсть не сказала имъ никакого упрека. Но были и мрачныя лица, почти всегда молчаливыя. Вообще, жизнь свою рѣдко кто разсказывалъ, да и любопытство было не въ модѣ, какъ-то не въ обычаѣ, не принято. Такъ, развѣ изрѣдка разговорится кто-нибудь отъ бездѣлья, а другой хладнокровно и мрачно слушаетъ. Никто здѣсь никого не могъ удивить. „Мы — народъ грамотный“, говорили они часто, съ какимъ-то страннымъ самодовольствіемъ... Замѣчу кстати, что этотъ народъ былъ дѣйствительно грамотный и даже не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ. Навѣрно болѣе половины изъ нихъ умѣло читать и писать... Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣзкую общность во всемъ этомъ странномъ семействѣ: даже самыя рѣзкія, самыя оригинальныя личности, царившія надъ другими невольно, и тѣ старались попасть въ общій тонъ всего острога. Вообще скажу, что весь этотъ народъ, за нѣкоторыми немногими исключеніями неистощимо-веселыхъ людей, пользовавшихся за это всеобщимъ презрѣніемъ, — былъ народъ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый, и въ высшей степени формалистъ. Способность ничему не удивляться была величайшею добродѣтелью. Всѣ были помѣшаны на томъ, какъ наружно держать себя.

ко самый заносчивый видъ смѣнялся съ быстротою молніи ый малодушный. Было нѣсколько истинно-сильныхъ людей; тѣ ли просты и не кривлялись. Но странное дѣло! изъ этихъ настоящихъ сильныхъ людей было нѣсколько тщеславныхъ до послѣдней крайности, почти до болѣзни. Вообще тщеславіе, наружность были на первомъ планѣ. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безпрерывные: это былъ адъ, тьма кромѣшная. Но противъ внутреннихъ уставовъ и принятыхъ обычаевъ въ острогѣ никто не смѣлъ возставать: всѣ подчинялись. Бывали характеры рѣзко-выдающіеся, трудно, съ усиліемъ подчинявшіеся. Приходили въ острогъ такіе, которые ужъ слишкомъ зарвались, слишкомъ выскочили изъ мѣрки на волѣ, такъ что ужъ и преступленія свои дѣлали подъ конецъ, какъ-будто сами не зная зачѣмъ, какъ-будто въ бреду, въ чаду, часто изъ тщеславія, возбужденнаго въ величайшей степени. Но у насъ ихъ тотчасъ осаживали, несмотря на то, что иные до прибытія въ острогъ бывали ужасомъ цѣлыхъ селеній и городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичекъ скоро замѣчалъ, что онъ не туда попалъ, что здѣсь дивить уже некого, и непримѣтно смирялся и попадалъ въ общій тонъ. Этотъ общій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго собственнаго достоинства, которымъ былъ проникнутъ чуть не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ дѣлѣ званіе каторжнаго, рѣшенаго, составляло какой-нибудь чинъ, да еще и почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія. Впрочемъ, было и какое-то наружное смиреніе, такъ сказать, офиціальное, какое-то спокойное резонерство... Все это были только слова. Врядъ ли хоть одинъ изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта его преступленіемъ, выбранить его — ругательствамъ не будетъ конца. А какіе были они всѣ мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у нихъ въ науку; старались взять не столько обиднымъ словомъ, сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей, а это утонченнѣе, ядовитѣе. Безпрерывныя ссоры еще болѣе развивали между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-подъ палки, слѣдственно онъ былъ праздный, слѣдственно развращался; если и не былъ прежде развращенъ, то въ каторгѣ развращался. Всѣ они собрались сюда не своей волей, всѣ они были другъ другу чужіе".

Приведенная общая характеристика подтверждается и описаніями отдѣльныхъ типовъ каторжнаго населенія: таковъ злой, жестокій пьяница Газинъ, таковъ доносчикъ изъ дворянъ А-въ, таковъ отцеубійца, съ шуткой вспоминающій объ отцѣ и др. Но рядомъ съ этимъ указываются въ населеніи каторги такія черты, въ которыхъ можно усмотрѣть нѣчто свѣтлое. Авторъ показываетъ, что арестанты способны свято относиться къ данному слову, разъ по отношенію къ нимъ проявляется человѣчность: самый фактъ довѣрія подымаетъ ихъ нравственно. Мы видимъ, какое увлеченіе искусствомъ обнаруживается у этихъ острожниковъ, когда начальство разрѣшаетъ имъ театральное

представленіе. Но болѣе всего свѣтлыя черты обнаруживаются подъ вліяніемъ религіи, которая всѣхъ уравниваетъ передъ Богомъ. Это особенное религіозное настроеніе прекрасно рисуется Достоевскимъ при описаніи Рождества. „Уваженіе къ торжественному дню", разсказываетъ онъ, „переходило у арестантовъ даже въ какую-то форменность; немногіе гуляли; всѣ были серіозны и какъ-будто чѣмъ-то заняты, хотя у многихъ совсѣмъ почти не было дѣла. Но и праздные и гуляки старались сохранить въ себѣ какую-то важность... Смѣхъ какъ-будто былъ запрещенъ. Вообще настроеніе дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушалъ общій тонъ, хотя бы невзначай, того осаживали съ крикомъ и бранью и сердились на него, какъ будто за неуваженіе къ самому празднику. Это настроеніе арестантовъ было замѣчательно, даже трогательно. Кромѣ врожденнаго благоговѣнія къ великому дню, арестантъ безсознательно ощущалъ, что онъ этимъ соблюденіемъ праздника какъ-будто соприкасается со всѣмъ міромъ, что не совсѣмъ же онъ, стало-быть, отверженецъ, погибшій человѣкъ, ломоть отрѣзанный, что и въ острогѣ то же, что и у людей. Они это чувствовали: это было видно и понятно". То же настроеніе изображается Достоевскимъ, когда онъ описываетъ говѣніе арестантовъ, которые „молились очень усердно, и каждый изъ нихъ каждый разъ приносилъ въ церковь свою нищенскую копейку на свѣчку или клалъ на церковный сборъ. „Тоже вѣдь и я человѣкъ", можетъ-быть, думалъ онъ и чувствовалъ, подавая: — „передъ Богомъ-то всѣ равны"... Причащались мы за ранней обѣдней. Когда священникъ съ чашей въ рукахъ читалъ слова: „но яко разбойника мя пріими" — почти всѣ повалились на землю, звуча кандалами, кажется, принявъ эти слова буквально на свой счетъ. Представивъ такого звѣря-человѣка, какъ Газинъ, Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома" даетъ и нѣсколько такихъ типовъ, относительно которыхъ невольно рождается вопросъ, какъ они попали на каторгу, можно ли ихъ равнять съ настоящими преступниками; это — старикъ-раскольникъ изъ стародубскихъ свободъ, по религіозному фанатизму поджегшій единовѣрческую церковь, но въ общемъ прекрасный, высоконравственный человѣкъ; это — дѣти природы, кавказскіе горцы, благородный рыцарь Нурра и кроткій Алей, рѣшительно не могущіе понять преступности своихъ дѣйствій, вполнѣ одобряемыхъ ихъ первобытною моралью; это — „несчастные" преступники, въ силу рокового стеченія обстоятельствъ — Сушиловъ, Сироткинъ и др. Будь иной судъ, оцѣнивающій мотивы дѣйствій, а не формальный, эти люди или были бы оправданы, или же подверглись бы гораздо меньшему наказанію; а теперь къ нимъ примѣняется та же кара, что и къ закоренѣлымъ злодѣямъ, и указывая на эту ненормальность, Достоевскій выдвигалъ въ своихъ „Запискахъ" впередъ одинъ изъ важнѣйшихъ соціальныхъ вопросовъ о соотвѣтствіи между преступленіемъ и налагаемымъ за него наказаніемъ. *Бороздинъ.*

Обитатели „Мертваго дома“ Достоевскаго и бурсы Помяловскаго.

Обитатели „Мертваго дома“, или проще каторжники, занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. „Самая работа“, говоритъ Достоевскій, „показалась мнѣ не такъ тяжелою, *каторжною,* и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы не столько въ трудности, сколько въ томъ, что она *принужденная,* обязательная изъ-подъ палки“. Далѣе Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась бы еще болѣе ужасною и даже совершенно невыносимою, если бы ей былъ приданъ характеръ совершенной полнѣйшей безполезности и безсмыслицы, т.-е, если бы, напримѣръ, арестанта заставили переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое и обратно.

Спрашивается теперь, есть ли въ жизни бурсаковъ какое-нибудь занятіе, соотвѣтствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый читатель, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтитъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія бурсаковъ похожи, какъ двѣ капли воды, на обязательную работу каторжниковъ. Остается только рѣшить вопросъ, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаковъ, на ту ли, которая дѣйствительно существуетъ въ мертвомъ домѣ, или же на ту, въ которой Достоевскій справедливо видитъ ужасный и къ счастью неосуществленный идеалъ каторжной работы? Мнѣ кажется, что работа бурсаковъ подходитъ довольно близко къ послѣдней категоріи, т.-е. къ мучительному переливанію воды изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый“... Помяловскій, видѣвшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубрилъ и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. „Ученики“, говоритъ онъ, „сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смыслу: стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ... потомъ... постигли... Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока навѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ* и *срамъ.* Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое выразилось въ пѣснѣ: „Сколь блаженны тѣ народы“...

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности

или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ „Записокъ“ Достоевскій описываетъ арестантскую работу, ломаніе старой барки; „придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ, потомъ любезничаютъ съ калашницей. Тутъ является приставъ надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урока, говоритъ, что скорѣй скораго не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполняетъ желаніе публики и задаетъ ей урокъ“. Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются; они резонируютъ, благодушествуютъ, дѣлаютъ кейфъ, и даже торгуются насчетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ, конечно, очень тяжело и незавидно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порятъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значитъ выучить урокъ — это я показалъ, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порятъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія, на долю одного бурсака можетъ приттись въ одинъ день по нѣскольку сѣченій, чего съ арестантомъ уже никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и миловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурсѣ это право распредѣляется между многими учителями. „Когда приходилось“, говоритъ Помяловскій, „что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ же день, то одного и того же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ Карася, случалось отдирали четыре раза въ одинъ день (въ продолженіе всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста)“. Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительно ниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразятъ, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на извѣстное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, если бы арестантъ, осужденный на переливаніе воды вздумалъ заупрямиться, и отказался бы отъ своей безплодной и мучительно-скучной работы, то его стали бы наказывать, а если бы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы

въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно такъ же поступаютъ и съ лѣнивымъ бурсакомъ: сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, т.-е. у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало-быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зубрящаго *стыдъ и срамъ*, и для арестанта, переливающаго воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то же самое подвергается нѣкоторымъ невыгодамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы доплестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта — въ томъ, чтобы безпакостно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда самый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой-нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работою, хотя бы даже и обязательною. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла и въ то же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергіи и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно не дѣйствительною, и юношество подвигается впередъ по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли бы испугать даже обитателей мертваго дома, и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, если бы начальству вздумалось пріурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды семо и овамо.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ мизерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остается за бурсою, по крайней мѣрѣ, за тою бурсою, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе, мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и Достоевскаго не приложено въ видѣ pièces justificatives, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ бы ни былъ дуренъ обѣдъ, но во всякомъ случаѣ, если только хлѣба дается вволю, до-отвалу, то человѣкъ обезпеченъ, по крайней мѣрѣ, противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самою главною статьею питанія. И какъ бы вы думали? — хлѣбъ въ бурсѣ выдается счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба сколько угодно. „Большинство“, говоритъ Помяловскій, не желало дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ, оставленнымъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ: впрочемъ и дѣлиться было не изъ чего:

утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; *за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба,* изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, другой уносился въ карманѣ про запасъ". По моему мнѣнію, эти скверные *два ломтя,* эта низкая плюшкинская скаредность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздусяхъ.* Мнѣ кажется даже, что эта скаредность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ слѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось гораздо благопристойнѣе.

„Впрочемъ", говоритъ Достоевскій, „арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Послѣднее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу треть людей была бы голодная; въ артели же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ.

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу. „Бирюлина корова"! говоритъ одинъ арестантъ другому — ишь отъѣлся на острожномъ *чистякѣ*". „На волѣ не умѣли жить", говорится далѣе, „рады, что здѣсь до *чистяка* добрались". *Чистякомъ,* „объясняетъ Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи, „назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси." Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разныхъ удобоваримыхъ гадостей, въ родѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ того обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы... Сравнивая этотъ чистякъ съ несчастными *двумя ломтями* бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызвать къ себѣ нѣкоторое уваженіе, и считаться едва ли не за патріотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшалось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутаго безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопленіе и освѣщеніе бурсы производились съ самою примѣрною бережливостію. „Въ классѣ совершенно темно", говоритъ Помяловскій, потому что начальство, изъ экономическаго расчета, зажигало лампу только въ часы занятій". „Начальство", говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, „печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями". Обитатели мертваго дома не испытывали ни одного изъ этихъ

двухъ неудобствъ, — ни темноты ни холода. „Плацъ-майоръ или караульные“, говоритъ Достоевскій, „являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора“. *Лишними свѣчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше было сказано, что „каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большею частію, деревянный“. Но если были *лишнія* свѣчи, то, стало-быть, были и нелишнія, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ осторожной жизни, Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насѣкомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстныя причины: на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. „Дрова въ городѣ“, говоритъ Достоевскій, „продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество“. Но каковы бы ни были причины, во всякомъ случаѣ, это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертваго дома. Что же касается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и до паразитовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько не уступаютъ другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсою. „Наконецъ“, говоритъ Достоевскій, описывая жизнь въ госпиталѣ, „уже послѣ вечерняго посѣщенія доктора, вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, сосчиталъ всѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее предварительно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ же въ коридорѣ, всего только два шага отъ дверей“. Такъ какъ разсказчикъ попалъ въ госпиталь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было бы немыслимо, если бы такой же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе разсказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго же бурсацкія спальни описываются слѣдующимъ образомъ: „Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченые яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистотъ. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣритъ ли кто, что большин-

ство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало, наконецъ, способность чувствовать отвращеніе къ нему". Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ госпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирать; а запираютъ ее для того, чтобъ арестанты ночью какъ-нибудь не ухитрились убѣжать. Г. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до нѣкоторой степени понятна; такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ, повидимому, невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя бы и совершенно безсмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить не зачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ оттого, что находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ; сдѣлавшись больнымъ, арестантъ, напротивъ того, приходитъ въ общій военный госпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулится такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью по всей своей казармѣ; больной, напротивъ того, остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ госпиталѣ служитъ представительницею острога. Все это очень тяжело, но понято. Что-же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакою начальственною мнительностію и никакими глубокомысленными плацъ-майорскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство... Если бы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣрное, что просителей перепороли бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думаютъ, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно, къ ушату надо питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата — значитъ сомнѣваться въ начальственной благости и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непремѣнно должно отстаивать ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. „Блохи", говоритъ Достоевскій, кишатъ миріадами. Онѣ водятся у насъ и зимою и въ весьма

„Уваженіе къ торжественному дню переходило у арестантовъ въ какую-то форменность: немногіе гуляли, всѣ были серьезны и какъ-будто чѣмъ-то заняты, хотя у многихъ совсѣмъ почти не было дѣла. Но и праздные гуляли стараясь сохранять въ себѣ какую-то важность. Смѣхъ какъ-будто былъ запрещенъ. Вообще настроеніе дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушалъ общій тонъ, хотя бы невзначай, того осаживали съ крикомъ и бранью и сердились на него какъ-будто за неуваженіе къ празднику. Это настроеніе арестантовъ было замѣчательно, даже трогательно. Кромѣ врожденнаго благоговѣнія къ великому дню, арестантъ безсознательно ощущалъ, что онъ съ этимъ соблюденіемъ праздника какъ-будто соприкасается со всѣмъ міромъ, что не совсѣмъ же онъ стало-быть отверженецъ, погибшій человѣкъ, ломоть отрѣзанный“...

Мы не можемъ, въ виду объема статьи, приводить ни другихъ мѣстъ того же характера, которыя заставляютъ васъ въ безсердечномъ злодѣѣ видѣть вашего брата — человѣка; ни этой наивной сцены, гдѣ арестанты цѣлою артелью увлеченно осматриваютъ приводимыхъ къ продажѣ лошадей, веселые и польщенные тѣмъ, „что вотъ и они, точно вольные, точно дѣйствительно изъ своего кармана, покупаютъ себѣ лошадь и имѣютъ полное право купить“; ни этого торжественнаго шествія на каторжныя работы съ острожнымъ козломъ впереди, гдѣ Васька идетъ разубранный и разукрашенный листками, цвѣтами, гирляндами, „а они идутъ за нимъ и точно гордятся передъ прохожими“; ни этого сурово-трогательнаго, мастерски нарисованнаго эпизода съ раненымъ орломъ, попавшимъ въ плѣнъ, въ которомъ каждый каторжникъ молча сочувствовалъ своей собственной горькой судьбѣ, и котораго всѣ, словно по сговору, вдругъ захотѣли выпустить на вольную степь.

— Пусть хотя околѣетъ, да не въ острогѣ; вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то“...

Орла сбросили съ вала въ степь; холодный осенній вѣтеръ свисталъ въ голой пожелтѣвшей степи. Орелъ пустился прямо, махая больными крыльями, и какъ бы торопясь уходить отъ насъ, куда глаза глядятъ. Арестанты съ любопытствомъ слѣдили, какъ мелькала въ травѣ его голова.

— Вишь его! — задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянулся! — прибавилъ другой: — Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бѣжитъ себѣ...

— А ты думалъ, благодарить воротится?

— Знамо дѣло, воля. Волю почуялъ.

— Слобода, значитъ...

— И не видать уже, братцы!

— Чего стоять-то! Маршъ! — закричали конвойные, и всѣ молча поплелись на работу“.

Для того, чтобы изображать такъ и такія сцены, необходима большая художественная сила; но одна эта сила тутъ недостаточна, тутъ еще болѣе необходима другая высшая сила, — сила человѣческой

любви. Подъ ея горячимъ внутреннимъ дыханіемъ все переноситъ и пересиливаетъ человѣкъ не во вредъ, а на пользу человѣчеству, и выходитъ изъ своего чистилища не полный раздраженія и вражды, а съ чувствомъ всепрощенія и мира.

Такіе леденящіе душу разсказы, какъ „Акулькинъ мужъ", такіе леденящіе душу характеры, какъ безчеловѣчный плацъ-маіоръ или арестантъ Газинъ, эти многолѣтнія неописываемыя страданія въ мозгу и сердцѣ страдальца, не убившаго въ себѣ человѣка, перевариваются только въ приговорѣ любви. „Вездѣ есть люди дурные, а между ними хорошіе; кто знаетъ? Эти люди, можетъ-быть, вовсе не до такой степени хуже тѣхъ, *остальныхъ*, которые остались тамъ, за острогомъ", *спѣшитъ подумать себѣ въ утѣшеніе* авторъ, еще въ первый мѣсяцъ своего заключенія, и прибавляетъ послѣ: „Боже мой! если бы я только зналъ тогда, до какой степени и эта мысль была правдива!"

Въ другомъ мѣстѣ онъ признается: „Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольно открывается наружу, и вы видите въ ней такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманіе и собственнаго, и чужого страданія, что у васъ какъ бы глаза открываются"...

Даже прощаясь съ своею каторгою, окидывая послѣднимъ общимъ взглядомъ свое страдальческое прошлое и ужасныхъ сотоварищей своей неволи, авторъ находитъ въ глубинѣ своего растроганнаго духа не проклятіе и не осужденіе, а слово сочувствія и даже оправданія своего рода... „И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо уже все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ-быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего", скорбно восклицаетъ онъ на послѣдней страницѣ своего „Мертваго дома". „Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ?..."

Это голосъ истиннаго гражданина и истиннаго христіанскаго чувства. Такой голосъ слышится въ трогательныхъ романахъ Диккенса, въ всепроницающихъ драмахъ Шекспира, въ страстныхъ романтическихъ фантазіяхъ Виктора Гюго. Это голосъ безпощаднаго анализа, всеобнажающаго изслѣдованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ голосъ созиданія, а не разрушенія, голосъ сердечной помощи человѣку, а не сардоническій хохотъ надъ его бѣдствіями, надъ его безсиліемъ, надъ его глупостью... Такой голосъ отыскиваетъ вездѣ моя критика, такой голосъ привѣтствуетъ она вездѣ, такой голосъ она проповѣдуетъ...

Правда, основанная на любви, правда ради грядущаго добра и только ради его, вотъ ея содержаніе, ея девизъ.

Марковъ.

работавшая вышеприведенный мотивъ Достоевскаго, что „самый лучшій, самый талантливый народъ изъ народа нашего“ попадаетъ въ тюрьму, — всецѣло охватываетъ автора при его первыхъ попыткахъ знакомства съ этимъ „необыкновеннымъ“ народомъ. Но, — замѣчаетъ авторъ не безъ юмора, — „первая моя попытка подойти ближе къ этому поэтическому міру едва не стоила мнѣ, однако, — чего бы вы думали, читатель? — глаза!... Это было мое первое разочарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мнѣ столько лѣтъ жить, первое свидѣтельство того, какой кромѣшный адъ тьмы и ненужной злости, безсмысленной жестокости представляетъ этотъ таинственный міръ, какъ онъ чуждъ мнѣ, и какъ много я долженъ буду выстрадать, живя съ ними одной жизнью“.

Не слѣдуетъ, думать, однако, что авторъ далѣе впадаетъ въ обратную крайность и, бросивъ народническіе очки съ ихъ лживо-розовымъ свѣтомъ, видитъ все лишь въ темномъ освѣщеніи. Художественное чутье, отличающее его талантъ, спасаетъ его отъ подобной крайности. Тѣмъ болѣе, что въ отношеніяхъ арестантской массы къ себѣ лично онъ, въ противоположность Достоевскому, встрѣчалъ лишь проявленія хорошихъ чувствъ, какъ результатъ извѣстнаго уваженія къ нему, „особому преступнику“, а „не мошеннику, какъ мы, всѣ прочіе“. Когда однажды сожитель по камерѣ, въ пылу раздраженія началъ укорять автора, смѣшавъ его со всѣми, вся камера возмутилась и жестоко обрушилась на ругавшаго, который и самъ „на другой день просилъ прощенія наединѣ, съ чрезвычайной наивностью умоляя нѣсколько разъ ударить его по щекѣ“. И въ аду, — говоритъ Мильтонъ, — таится извѣстное уваженіе къ добродѣтели.

Стоитъ остановиться на этой разницѣ въ личныхъ отношеніяхъ, какъ они рисуются у Достоевскаго и у Мельшина. Первый постоянно, иногда съ чувствомъ жгучей, хотя и непонятной радости, подчеркиваетъ, что сѣрая арестантская масса относилась къ нему чуть не съ ненавистью, смѣшивая его съ остальными преступниками *изъ дворянъ*. „Желѣзные носы, вы насъ заклевали“! — такими обращеніями встрѣчали его товарищи по несчастью. Онъ описываетъ многократно проявленія глупой злобы къ нему на работѣ, при попыткѣ къ сближенію, при заявленіи претензіи начальству, и, кажется, встрѣть онъ иное къ себѣ отношеніе, положимъ, какъ тотъ же Мельшинъ, ему было бы даже досадно. Въ томъ высокомѣріи, презрительности, съ которыми глядѣла на него сѣрая масса, Достоевскій видитъ даже нѣкое величіе, принижающее его въ собственныхъ глазахъ, за то возвышающее народъ. Онъ со смиреніемъ подчеркиваетъ свое одиночество среди товарищей, и хотя, по чистой совѣсти, не считаетъ себя достойнымъ такого отчужденія, тѣмъ не менѣе восторженно заявляетъ въ одномъ мѣстѣ „Записокъ“: „Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ея. Пѣтушиной же замашки быть впереди во всѣхъ мѣстахъ и во чтобы то ни стало, стоитъ ли, нѣтъ ли того человѣкъ — этого въ народѣ нѣтъ.

зало вліяніе и на выработку мессіанистическаго воззрѣнія Достоевскаго на русскій народъ, какъ надѣленный высокими нравственными идеалами, воззрѣнія, зачатки котораго мы указывали у Достоевскаго еще до его ссылки. „Высшая“, говоритъ онъ, „и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ея. Пѣтушиной же замашки — быть впереди, во всѣхъ мѣстахъ, во что бы то ни стало, стоитъ ли, нѣтъ ли того человѣкъ, — этого въ народѣ нѣтъ. Стоитъ только снять наружную, наносную кожу и посмотрѣть на самое зерно поближе, повнимательнѣе, безъ предразсудковъ, — и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предугадывалъ. Немногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу: сами они должны еще у него поучиться“.

Столь идеалистическія заключенія, вынесенныя Достоевскимъ изъ его наблюденій на каторгѣ, нисколько, однако, не связываются съ какимъ-либо прикрашиваніемъ дѣйствительности, и Достоевскій уже въ самомъ началѣ своихъ „Записокъ изъ мертваго дома“ даетъ общую характеристику каторжниковъ, въ которой весьма ярко видны мрачныя, отрицательныя черты этихъ людей. „Были здѣсь“, говоритъ онъ, „убійцы невзначай и убійцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойниковъ. Были просто мазурики и бродяги — промышленники по находнымъ деньгамъ. Были и такіе, про которыхъ трудно было рѣшить: за что бы, кажется, они могли притти сюда? А между тѣмъ у всякаго была своя повѣсть, смутная и тяжелая, какъ угаръ отъ вчерашняго похмелья. Вообще о быломъ своемъ они говорили мало, не любили разсказывать и видимо старались не думать о прошедшемъ. Я зналъ изъ нихъ даже убійцъ, до того веселыхъ, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться объ закладъ, что никогда совѣсть не сказала имъ никакого упрека. Но были и мрачныя лица, почти всегда молчаливыя. Вообще, жизнь свою рѣдко кто разсказывалъ, да и любопытство было не въ модѣ, какъ-то не въ обычаѣ, не принято. Такъ, развѣ изрѣдка разговорится кто-нибудь отъ бездѣлья, а другой хладнокровно и мрачно слушаетъ. Никто здѣсь никого не могъ удивить. „Мы — народъ грамотный“, говорили они часто, съ какимъ-то страннымъ самодовольствіемъ... Замѣчу кстати, что этотъ народъ былъ дѣйствительно грамотный и даже не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ. Навѣрно болѣе половины изъ нихъ умѣло читать и писать... Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣзкую общность во всемъ этомъ странномъ семействѣ: даже самыя рѣзкія, самыя оригинальныя личности, царившія надъ другими невольно, и тѣ старались попасть въ общій тонъ всего острога. Вообще скажу, что весь этотъ народъ, за нѣкоторыми немногими исключеніями неистощимо-веселыхъ людей, пользовавшихся за это всеобщимъ презрѣніемъ, — былъ народъ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый, и въ высшей степени формалистъ. Способность ничему не удивляться была величайшею добродѣтелью. Всѣ были помѣшаны на томъ, какъ наружно держать себя.

Но нерѣдко самый заносчивый видъ смѣнялся съ быстротою молніи на самый малодушный. Было нѣсколько истинно-сильныхъ людей; тѣ были просты и не кривлялись. Но странное дѣло! изъ этихъ настоящихъ сильныхъ людей было нѣсколько тщеславныхъ до послѣдней крайности, почти до болѣзни. Вообще тщеславіе, наружность были на первомъ планѣ. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безпрерывные: это былъ адъ, тьма кромѣшная. Но противъ внутреннихъ уставовъ и принятыхъ обычаевъ въ острогѣ никто не смѣлъ возставать: всѣ подчинялись. Бывали характеры рѣзко-выдающіеся, трудно, съ усиліемъ подчинявшіеся. Приходили въ острогъ такіе, которые ужъ слишкомъ зарвались, слишкомъ выскочили изъ мѣрки на волѣ, такъ что ужъ и преступленія свои дѣлали подъ конецъ, какъ-будто сами не зная зачѣмъ, какъ-будто въ бреду, въ чаду, часто изъ тщеславія, возбужденнаго въ величайшей степени. Но у насъ ихъ тотчасъ осаживали, несмотря на то, что иные до прибытія въ острогъ бывали ужасомъ цѣлыхъ селеній и городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичекъ скоро замѣчалъ, что онъ не туда попалъ, что здѣсь дивить уже некого, и непримѣтно смирялся и попадалъ въ общій тонъ. Этотъ общій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго собственнаго достоинства, которымъ былъ проникнутъ чуть не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ дѣлѣ званіе каторжнаго, рѣшенаго, составляло какой-нибудь чинъ, да еще и почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія. Впрочемъ, было и какое-то наружное смиреніе, такъ сказать, офиціальное, какое-то спокойное резонерство... Все это были только слова. Врядъ ли хоть одинъ изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта его преступленіемъ, выбранить его — ругательствамъ не будетъ конца. А какіе были они всѣ мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у нихъ въ науку; старались взять не столько обиднымъ словомъ, сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей, а это утонченнѣе, ядовитѣе. Безпрерывныя ссоры еще болѣе развивали между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-подъ палки, слѣдственно онъ былъ праздный, слѣдственно развращался; если и не былъ прежде развращенъ, то въ каторгѣ развращался. Всѣ они собрались сюда не своей волей, всѣ они были другъ другу чужіе".

Приведенная общая характеристика подтверждается и описаніями отдѣльныхъ типовъ каторжнаго населенія: таковъ злой, жестокій пьяница Газинъ, таковъ доносчикъ изъ дворянъ А-въ, таковъ отцеубійца, съ шуткой вспоминающій объ отцѣ и др. Но рядомъ съ этимъ указываются въ населеніи каторги такія черты, въ которыхъ можно усмотрѣть нѣчто свѣтлое. Авторъ показываетъ, что арестанты способны свято относиться къ данному слову, разъ по отношенію къ нимъ проявляется человѣчность: самый фактъ довѣрія подымаетъ ихъ нравственно. Мы видимъ, какое увлеченіе искусствомъ обнаруживается у этихъ острожниковъ, когда начальство разрѣшаетъ имъ театральное

представленіе. Но болѣе всего свѣтлыя черты обнаруживаются подъ вліяніемъ религіи, которая всѣхъ уравниваетъ передъ Богомъ. Это особенное религіозное настроеніе прекрасно рисуется Достоевскимъ при описаніи Рождества. „Уваженіе къ торжественному дню", разсказываетъ онъ, „переходило у арестантовъ даже въ какую-то форменность; немногіе гуляли; всѣ были серіозны и какъ-будто чѣмъ-то заняты, хотя у многихъ совсѣмъ почти не было дѣла. Но и праздные и гуляки старались сохранить въ себѣ какую-то важность... Смѣхъ какъ-будто былъ запрещенъ. Вообще настроеніе дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушалъ общій тонъ, хотя бы невзначай, того осаживали съ крикомъ и бранью и сердились на него, какъ будто за неуваженіе къ самому празднику. Это настроеніе арестантовъ было замѣчательно, даже трогательно. Кромѣ врожденнаго благоговѣнія къ великому дню, арестантъ безсознательно ощущалъ, что онъ этимъ соблюденіемъ праздника какъ-будто соприкасается со всѣмъ міромъ, что не совсѣмъ же онъ, стало-быть, отверженецъ, погибшій человѣкъ, ломоть отрѣзанный, что и въ острогѣ то же, что и у людей. Они это чувствовали: это было видно и понятно". То же настроеніе изображается Достоевскимъ, когда онъ описываетъ говѣніе арестантовъ, которые „молились очень усердно, и каждый изъ нихъ каждый разъ приносилъ въ церковь свою нищенскую копейку на свѣчку или клалъ на церковный сборъ. „Тоже вѣдь и я человѣкъ", можетъ-быть, думалъ онъ и чувствовалъ, подавая: — „передъ Богомъ-то всѣ равны"... Причащались мы за ранней обѣдней. Когда священникъ съ чашей въ рукахъ читалъ слова: „но яко разбойника мя пріими" — почти всѣ повалились на землю, звуча кандалами, кажется, принявъ эти слова буквально на свой счетъ. Представивъ такого звѣря-человѣка, какъ Газинъ, Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома" даетъ и нѣсколько такихъ типовъ, относительно которыхъ невольно рождается вопросъ, какъ они попали на каторгу, можно ли ихъ равнять съ настоящими преступниками; это — старикъ-раскольникъ изъ стародубскихъ свободъ, по религіозному фанатизму поджегшій единовѣрческую церковь, но въ общемъ прекрасный, высоконравственный человѣкъ; это — дѣти природы, кавказскіе горцы, благородный рыцарь Нурра и кроткій Алей, рѣшительно не могущіе понять преступности своихъ дѣйствій, вполнѣ одобряемыхъ ихъ первобытною моралью; это — „несчастные" преступники, въ силу рокового стеченія обстоятельствъ — Сушиловъ, Сироткинъ и др. Будь иной судъ, оцѣнивающій мотивы дѣйствій, а не формальный, эти люди или были бы оправданы, или же подверглись бы гораздо меньшему наказанію; а теперь къ нимъ примѣняется та же кара, что и къ закоренѣлымъ злодѣямъ, и указывая на эту ненормальность, Достоевскій выдвигалъ въ своихъ „Запискахъ" впередъ одинъ изъ важнѣйшихъ соціальныхъ вопросовъ о соотвѣтствіи между преступленіемъ и налагаемымъ за него наказаніемъ. *Бороздинъ.*

Однихъ такое полное одиночество доводитъ до ненависти къ окружающимъ, какъ того товарища Достоевскаго, который на всѣ примиряющія разъясненія послѣдняго отвѣчалъ неизмѣнно одной фразой: „je haïs ces brigands (я ненавижу этихъ разбойниковъ). Натуры болѣе великодушныя ищутъ утѣшенія въ мысли такъ или иначе служить этому мрачному міру, хотя бы и безъ надежды на его подъемъ и улучшеніе. Одну изъ лучшихъ страницъ въ очеркахъ Мельшина составляетъ описаніе его каторжной школы, на почвѣ которой онъ все же хотя нѣсколько сближался съ своими отпѣтыми товарищами. Мракъ, изъ котораго они вышли и въ который были погружены на каторгѣ, словно лучемъ свѣта прорѣзывается, когда мы присутствуемъ при трагикомическихъ сценахъ ученія. Начинаешь примиряться съ самыми, повидимому, закоренѣлыми злодѣями, когда видишь, что „душа ихъ, въ сущности, то же, что трава, растущая въ полѣ, облако, плывущее въ небѣ и повинующееся дуновенію перваго вѣтра“.

Каторга оказалась поголовно безграмотной и, что замѣчательнѣе всего, лишенной какого бы то ни было знакомства съ евангельскимъ ученіемъ. „Богородицу смѣшивали съ Пресвятой Троицей, Христа съ Николаемъ угодникомъ“. Самое евангеліе не было одобрено каторгой, нашедшей, „что не для нынѣшняго народа это писано“. „Прямо въ ужасъ приводила меня эта непроглядная темнота, царившая въ большинствѣ этихъ первобытныхъ умовъ, и я часто спрашивалъ себя: неужели тамъ, „въ глубинѣ Россіи“, еще больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди тѣ же русскіе люди, только уже затронутые лоскомъ городской культуры, просвѣщенные и развращенные ею?“ Послѣдняя оговорка звучитъ нѣсколько странно, такъ какъ самые видные герои изъ товарищей Мельшина вышли прямо изъ деревни, гдѣ, какъ оно и понятно, складываются условія для самыхъ ужасающихъ преступленій. Рядъ выводимыхъ авторомъ типовъ тѣмъ и интересенъ, что, разрушая легенду, созданную болѣзненнымъ воображеніемъ Достоевскаго о преступникѣ — лучшемъ представителѣ народной души, указываетъ на несомнѣнную, реальную причину огромнаго большинства преступленій — глубокое, трудно понимаемое интеллигентнымъ человѣкомъ невѣжество на почвѣ грубѣйшихъ матеріальныхъ лишеній.

Типы преступниковъ у Мельшина крайне разнообразны, но одна черта, общая почти всѣмъ, особенно поражаетъ его. Это ихъ нечувствительность, почти равнодушіе къ тому, что было ими сдѣлано. Его пугаетъ мысль, что чувство раскаянія въ томъ высшемъ смыслѣ, въ какомъ мы его понимаемъ, чуждо этимъ примитивнымъ душамъ. Каждый, даже наименѣе испорченный изъ нихъ, оправдывалъ себя, считая виновной свою жертву, а себя безвинно пострадавшимъ. Обсуждая свои преступленія, большинство рѣшало, что будь они на мѣстѣ правительства, они немедленно бы всѣхъ выпустили на волю. И только одинъ изъ самыхъ сильныхъ и опасныхъ преступниковъ рѣшилъ вопросъ иначе. „А я, „вскочилъ и закричалъ Семеновъ, прослушавъ всѣ

мнѣнія, — я собралъ бы всѣхъ насъ въ одну тюрьму, со всего свѣта собралъ бы и запалилъ бы со всѣхъ концовъ! Изъ порченаго человѣка не выйдетъ честнаго, и волкамъ съ овцами не жить, какъ братьямъ!“ Но и этотъ Семеновъ считалъ себя правымъ передъ своими односельцами и во что бы то ни стало жаждалъ выбраться на волю, чтобы отомстить имъ.

Отсутствіе нравственнаго чувства было полное и безнадежное. Никогда автору не приходилось наблюдать того, о чемъ часто упоминаетъ Достоевскій, — нежеланія вспоминать, говорить о своихъ преступленіяхъ, потому что это „не принято“ въ ихъ своеобразномъ міркѣ. Напротивъ, разсказы о прошломъ, часто всячески пріукрашенные, до чудовищности циничные, составляли любимѣйшія темы вечернихъ собесѣдованій. Были ли эти люди тѣмъ, что принято называть преступнымъ типомъ? Авторъ не рѣшается дать такое опредѣленіе и совершенно правильно ищетъ отвѣта въ общихъ условіяхъ.

„Не подлежитъ никакому сомнѣнію“, говоритъ онъ, „что сорокъ лѣтъ назадъ, во времена Достоевскаго, когда Россія была „глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-безсудной“, когда, кромѣ крѣпостного права, существовала еще 25-лѣтняя солдатчина, и, по выраженію поэта, „ужасъ народа при словѣ *наборъ* подобенъ былъ ужасу казни“, — несомнѣнно, что въ тѣ времена въ каторгу долженъ былъ попадать огромный процентъ совершенно невинныхъ людей и еще больше осужденныхъ не въ мѣру строго. Самыя ужасныя преступленія могли совершаться въ то время людьми, вполнѣ нормальными и нравственно неиспорченными, выведенными лишь изъ границъ терпѣнія несправедливымъ и анормальнымъ строемъ самой жизни... За сорокалѣтній періодъ русское законодательство и русскій судъ такъ же, какъ и самая жизнь и нравы, сдѣлали огромные шаги впередъ по пути гуманизма и справедливости. A priori можно думать, что въ современную каторгу попадаютъ гораздо болѣе по заслугамъ, чѣмъ въ былыя времена; и что населеніе нынѣшней каторги, въ главнѣшихъ частяхъ, представляетъ *подонки* народнаго моря, а отнюдь не самый русскій народъ. И дѣйствительно, несмотря на то, что добрая половина видѣнныхъ мною арестантовъ утверждала, что пришла въ каторгу за чужой грѣхъ, и почти всѣ безъ исключенія жаловались на суровость осудившаго ихъ „шемякинскаго суда“, — при ближайшемъ ознакомленіи съ ихъ характеромъ, съ ихъ прошлымъ и тяготѣвшими надъ ними обвиненіями, мнѣ рѣдко приходилось отыскивать совершенно безъ вины осужденнаго человѣка“.

Такое суровое заключеніе не кажется несправедливымъ послѣ знакомства съ разными героями, выводимыми авторомъ. Было бы, однако, невѣрно думать, что разъ они *подонки*, то ничего лучшаго и не заслуживаютъ, какъ то, что имѣютъ. „Развѣ на днѣ моря нѣтъ перловъ?“ замѣчаетъ авторъ. „Развѣ, говоря, что сверху сосуда вода отличается лучшими качествами, утверждаютъ тѣмъ самымъ, что на днѣ она совершенно негодна для питья? И развѣ главная задача моихъ очерковъ не заключается именно въ томъ, чтобы показать, какъ обитатели и этого ужаснаго міра, эти искалѣченные, темные и порой безумные люди, подобно всѣмъ намъ, способны любить и ненавидѣть, падать и подниматься, жаждать свѣта правды, свободы и жизни и не

меньше насъ страдать отъ всего, что стоитъ преградой на пути къ человѣческому счастью?“

Вся книга автора является полнымъ осужденіемъ современной системы каторги. Безпристрастный и художественный очеркъ этой системы у Мельшина, представленной въ лицѣ начальника Лучезарова, тѣмъ и поучителенъ, что авторъ изображаетъ этого администратора не въ видѣ нравственнаго урода, какимъ былъ знаменитый майоръ Достоевскаго. Предъ нами не „фатальное существо“, доводившее арестантовъ до трепета, озлоблявшее „людей уже озлобленныхъ своими бѣшеными, злыми поступками“. Лучезаровъ Мельшина тоже не представляетъ ничего симпатичнаго, но совсѣмъ въ иномъ родѣ. Это фанатикъ формализма, буквы, показнаго порядка, при которомъ мыслимъ самый неприглядный безпорядокъ. Страхъ и дисциплина — таковы его орудія исправленія, примѣняемыя имъ безъ разбора. Самъ по себѣ, пожалуй, человѣкъ недурной, во всякомъ случаѣ не злой, онъ доходитъ въ концѣ концовъ до величайшаго безобразія, когда плоды системы оказываются совсѣмъ не таковы, какъ онъ надѣялся. „Конечно“, разсуждаетъ онъ, „исправить арестантовъ вещь хорошая. Я и самъ задаюсь этой цѣлью, но въ первый разъ слышу, чтобы на этотъ народъ могло что-нибудь другое дѣйствовать, кромѣ страха и наказаній всякаго рода... Повторяю, я по натурѣ вовсе не жестокій человѣкъ. Я держусь только во всемъ строгой законности, буквы закона, и потому не вижу иныхъ средствъ исправленія, кромѣ тѣхъ, какія указаны въ инструкціи. Современные тюремные дѣятели признаютъ одно только средство — страхъ, и я вполнѣ съ ними согласенъ“. Потерпѣвъ крушеніе, бравый капитанъ теряетъ всякую мѣру и начинаетъ „бросаться на людей“, по выраженію арестантовъ, и затѣмъ въ разговорѣ съ авторомъ откровенно сознается въ пораженіи: „Я дѣйствовалъ въ порывѣ отчаянія. Всѣ мои добрыя намѣренія терпѣли одно за другимъ крушенія, я видѣлъ кругомъ одну черную неблагодарность и низость. Самъ Богъ вышелъ бы на моемъ мѣстѣ изъ терпѣнія!“ Бѣдный капитанъ и не понимаетъ, что этимъ признаніемъ онъ уничтожаетъ всю силу системы устрашенія, а кромѣ страха, у него нѣтъ ничего въ рукахъ, и самъ онъ ничего больше не понимаетъ.

И такимъ-то людямъ, можетъ быть и добросовѣстнымъ, но болѣе чѣмъ ограниченнымъ, ввѣряется почти безконтрольное право жизни и смерти надъ тысячами уже надломленныхъ, искалѣченныхъ судьбою людей, болѣе чѣмъ кто-либо нуждающихся въ человѣчномъ и внимательномъ отношеніи. Сколько погибло ихъ, погибло зря, напрасно, среди этой ужасающей обстановки лучезаровскихъ „добрыхъ намѣреній“. А между тѣмъ, у каждаго изъ нихъ „тоже вѣдь мать была!“ — какъ выражается одинъ арестантъ у Достоевскаго, указывая на закованный трупъ своего товарища.

Правда, какъ ни тяжелы картины каторги, рисуемая Мельшинымъ, она все же неизмѣримо свѣтлѣе того, что сорокъ лѣтъ назадъ

видѣлъ Достоевскій. „Теперь остается уже блѣдная тѣнь того, что было“, говоритъ Мельшинъ, „и можно надѣяться, что и эта послѣдняя тѣнь исчезнетъ съ первыми лучами солнца“...

Вмѣстѣ съ Мельшинымъ, мы охотно раздѣляемъ эту надежду. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ исторіи русской каторги не пройдетъ безслѣдно книга г. Мельшина. *Богдановичъ.*

Общественное значеніе „Записокъ изъ мертваго дома“.

Кромѣ людей совершенно забитыхъ Достоевскій выводитъ и такихъ, въ которыхъ еще сохранилось сильнѣйшее проявленіе личности — самоотверженіе, или такихъ, которыхъ подавленіе ея доводитъ до озлобленія. Съ личностями послѣдняго рода нашему автору пришлось, наконецъ, стать лицомъ къ лицу въ „Запискахъ изъ мертваго дома“. Первое впечатлѣніе, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ „мертвый домъ“, было самое тяжелое, самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся не по доброй волѣ съ разныхъ концовъ обширной земли русской въ одно разношерстное общество, и на читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что онъ готовъ повторить стихи Пушкина:

Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой
Прошелъ всѣ степени злодѣйства;
Кто рѣжетъ хладною рукой
Вдовицу съ бѣдной сиротой,
Кому смѣшно дѣтей стенанье,
Кто не прощаетъ, не щадитъ,
Кого убійство веселитъ,
Какъ юношу любви свиданье...

Но, приглядываясь къ людямъ, которые его окружаютъ, составитель записокъ мало-по-малу различаетъ между ними натуры мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ мягкихъ, самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается, напримѣръ, Сушиловъ, когда-то дворовый человѣкъ, Богъ вѣсть, за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи „мертваго дома“ очутившійся по наивности, заставившей его „смѣниться“ съ другимъ арестантомъ. Не менѣе сочувственнаго представляетъ и этотъ красивый мальчикъ Сироткинъ, любимецъ своей крестьянки-матери, прямо изъ-подъ ея, по крайней мѣрѣ, теплаго крова попавшій въ рекруты; не помирившись со своею новой долей, онъ попытался сперва застрѣлиться, потомъ съ отчаянія, что это не удалось, вдругъ, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убилъ своего командира и послѣ этого мгновеннаго взрыва

снова обратился въ кроткаго, тихенькаго ребенка. Другого рода оттѣнокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человѣкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глупости, хватившій въ своемъ усердіи черезъ край: разстрѣлявъ мирнаго кавказскаго князька, стрѣлявшаго по русскимъ крѣпостямъ, онъ безсознательно дошелъ до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности же остался предобродушнымъ малымъ. А кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу „мирныхъ", онъ переходилъ къ „немирнымъ" и дѣйствовалъ противъ русскихъ! Несмотря на этотъ горькій патріотизмъ, онъ въ острогѣ предобродушно относился къ своимъ русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привѣтствовалъ дружескимъ ударомъ по плечу, которымъ хотѣлъ, очевидно, выказать свое сердечное участіе къ „новичку". Или тотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говоритъ авторъ, что „никогда его не забудетъ", — этотъ младшій братъ въ семьѣ горцевъ, напавшій вмѣстѣ со старшими на караванъ съ цѣлью грабежа, но даже не знавшій при этомъ, куда и зачѣмъ его ведутъ, а слѣдовавшій за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велятъ старшіе. Самъ по себѣ Алей — мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогѣ евангеліемъ и съ особеннымъ наслажденіемъ думаетъ угодить христіанину тѣмъ, что говоритъ ему: „Иса былъ великій пророкъ!" А величавая фигура старика-раскольника, сосланнаго за то, что, съ его точки зрѣнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребываніе въ одномъ мѣстѣ съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальныхъ каторжныхъ, которые такъ ему довѣряютъ, что всѣ отдаютъ ему на храненіе свои деньги. Но, мало-по-малу вглядываясь и въ другія личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человѣческія черты. Такъ, онъ замѣчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цѣлью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремѣнно къ сроку, потому что это даетъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. Или усердное справленіе праздниковъ, которымъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: „вѣдь и мы тоже люди, тоже христіане!" Или эта почти дѣтская радость, что имъ разрѣшили театръ, который даетъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣкоторое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что пожертвованные калачи дѣлятся у нихъ постоянно поровну; или мягкія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости. Вспомнимъ, наконецъ, и сцену выпуска на волю орла съ подстрѣленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ мертваго дома сдѣлать ручнымъ и который, быть-можетъ, именно этимъ и вызываетъ ихъ особенное сочувствіе.

Нельзя, наконецъ, не привести и слѣдующаго общаго замѣчанія составителя записокъ:

„Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите, въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманіе и собственнаго и чужого страданья, что у васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали...“

Достоевскій вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношеніе начальства къ этимъ людямъ и малѣйшее выраженіе съ его стороны довѣрія къ нимъ способно укрѣплять въ нихъ человѣческія чувства. Говоря объ одномъ изъ такихъ добрыхъ начальниковъ, онъ утверждаетъ: „потеряй онъ тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если бы нашелъ ихъ, отнесъ бы къ нему“. Зато всякое выраженіе въ родѣ: „ты знаешь, я могу съ тобой все сдѣлать“ — „я тебя въ бараній рогъ согну“ доводитъ этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тѣмъ, кто способенъ такъ выражаться, а равно и дѣйствовать въ соотвѣтственномъ духѣ, острожники противопоставляютъ горькую терпѣливость при самыхъ ужасныхъ наказаніяхъ. Та же особаго рода гордость не позволяетъ имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отпоромъ всему обществу, изъ-за котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. „Большинство совсѣмъ не винило себя; врядъ ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности“. Между тѣмъ, авторъ представляетъ намъ и говѣніе арестантовъ, показываетъ, какъ они, при выходѣ священника съ чашей и произнесеніи имъ словъ: „помяни мя, яко разбойника“, всѣ вдругъ, гремя цѣпями, падаютъ на землю, съ чувствомъ несомнѣннаго, искренняго раскаянія. Откуда же вдругъ такое пробужденіе чувства виновности? Но вѣдь тутъ ихъ зовутъ словами, *одинаковыми для всѣхъ* (и съ разбойникомъ сравниваются тутъ *всѣ люди*), ихъ зовутъ къ пролившему свою кровь *за всѣхъ безъ изъятія;* тутъ, передъ этой *единой* чашей, они чувствуютъ себя дѣйствительно *равными со всѣми людьми,* тутъ и они — не отверженники родной семьи, и вотъ это-то сознаніе размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца, и они готовы признать себя виноватыми, потому что тутъ оказываются виноватыми *всѣ вообще.* Въ концѣ „Записокъ изъ мертваго дома“ Достоевскій спрашиваетъ: „...И сколько силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужъ все сказать, вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ-быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?“

Но и съ этимъ вопросомъ опять-таки мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всѣмъ странамъ и ко всѣмъ народамъ, такъ какъ вездѣ преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слѣдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ „Запискахъ изъ

мертваго дома“ отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, къ счастью, отчасти теперь уже упраздненными. Отжило крѣпостное право — и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ. Смягчалась военная дисциплина, и все рѣже и рѣже должны становиться преступленія, вызывавшіяся прежнею крайнею строгостью. Новый судъ положилъ конецъ тому, что такъ глубоко возмущало составителя „Записокъ изъ мертваго дома, — необращенію вниманія на побудительныя причины, исключительному принятію въ расчетъ только самаго *факта* преступленія. Право присяжныхъ — даже и признавая фактъ, оправдывать въ извѣстныхъ случаяхъ подсудимаго (право *священное*, безъ всякаго спора, хотя бы на первыхъ порахъ и могли случаться злоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цѣлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ преобразованій много должно явиться и другихъ подобнаго рода *изъятій и сокращеній* въ числѣ преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можетъ улучшиться, при введеніи той или другой новѣйшей, усовершенствованной пенитентіарной системы. Но впечатлѣніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряетъ основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части. Вчитываясь въ нее, такъ и чувствуешь, что, какъ бы даже заключеннымъ ни было хорошо въ мѣстахъ заключенія, въ нихъ все-таки будетъ оставаться извѣстная доля озлобленія противъ общества, которое, видя въ нихъ враговъ своихъ, засадило ихъ хотя бы и въ наикомфортабельнѣйшую клѣтку.

Выводъ, невольно остающійся у читателя по прочтеніи книги, — таковъ, что тюрьмы только ограждаютъ общество отъ опасныхъ членовъ, но ни при какихъ условіяхъ, сами по себѣ, не исправляютъ этихъ людей, а потому единственныя дѣйствительныя мѣры противъ преступленій — это мѣры, ихъ *предупреждающія*. Такими же мѣрами могутъ оказаться только тѣ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ привели бы и къ сокращенію числа „униженныхъ и оскорбленныхъ“; но, для подобнаго сокращенія, жизнь должна бы устроиться на такихъ, широко-понимаемыхъ, началахъ справедливости и человѣчности, какихъ еще нѣтъ нигдѣ. И когда-то они хоть гдѣ-нибудь будутъ!

Вотъ то заключеніе, которое придаетъ книгѣ Достоевскаго значеніе общечеловѣческое, и оно тѣмъ болѣе неотразимо, что авторъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей натяжки ни малѣйшаго преувеличенія, нигдѣ не впадаетъ въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацію преступленія, а стремится только къ глубинѣ психическаго анализа, имъ вполнѣ и достигнутой. Это совсѣмъ не то, что мы видимъ у нѣкоторыхъ французскихъ писателей на ту же тему, у которыхъ преступники являются нерѣдко героями, а представители правосудія — какими-то мелодраматическими злодѣями. Дѣло вовсе не въ *злодѣяхъ*, а въ цѣломъ и повсемѣстномъ порядкѣ вещей, жертвою котораго оказываются цѣлые разряды преступниковъ“. У Достоевскаго эти послѣдніе, тѣмъ не менѣе, вовсе не являются образцами добродѣтели; они

у него только остаются *людьми*, они у него — *несчастные*. Взглядъ Достоевскаго на преступника — это нашъ русскій народный взглядъ, тотъ взглядъ, который заставляетъ каждаго изъ народа съ особымъ радушіемъ подавать свою трудовую копейку именно такому „несчастному". Но взглядъ этотъ, повидимому, вынесенъ изъ ученія, столь же хорошо извѣстнаго и всему христіанскому міру; взглядъ этотъ непосредственно основывается на словахъ: „не судите, да не судимы будете" — или: „кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и брось въ нее". Не мало было говорено о томъ, до какой степени слабо народъ нашъ усвоилъ себѣ столько уже вѣковъ тому назадъ доставшееся ему просвѣщеніе христіанское. И дѣйствительно, мы замѣчаемъ за нимъ особенную наклонность къ одной обрядности, при несомнѣнныхъ остаткахъ привычекъ и суевѣрныхъ понятій чисто языческихъ; дѣйствительно, ненарушеніе поста нерѣдко соединяется у него съ самымъ вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ христіанской, или даже и всякой нравственности, и вовсе невыдуманными оказываются такіе случаи, что осѣняли себя крестомъ, приступая къ совершенію преступленія. Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ народу не должна намъ мѣшать признаваться въ этомъ. Но съ другой стороны нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя стороны христіанскаго нравственнаго ученія запали, должно-быть, уже очень давно въ глубину души нашего народа и, однажды запавъ, прочно пустили тамъ корни. Вотъ этимъ-то объясняется и тотъ мягкій, сострадательный взглядъ на преступника, который доставилъ ему у насъ, разумѣется, при вліяніи множества историческихъ обстоятельствъ, нисколько не оскорбительное названіе „несчастнаго".

Ор. Миллеръ.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 75 коп.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 25 коп.

Державинъ, Г. Р. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненіе. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Тютчевъ, Ѳ. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ **В. Спиридонова и А. Михайлова.**
Москва. Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова. Телеф. 120—95.

Ѳедоръ Михайловичъ ДОСТОЕВСКІЙ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Часть II.

Цѣна 1 руб.

МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Моховая, уг. Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120-95.

1912.

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Москва, Воздвиженка, Крестовоздв. пер., д. 9.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

«Двойникъ». Основная мысль разсказа, его достоинства и недостатки, *Бѣлинскаго*. 1

Ненормальность Голядкина, героя повѣсти «Двойникъ», *Булича* 4

Процессъ развитія душевной болѣзни въ Голядкинѣ, *Чижа*. 5

Герои разсказовъ: «Прохарчинъ», «Слабое сердце», «Хозяйка» и ихъ среда, *Булича* 13

Глубокое познаніе жизни человѣка и способность чувствовать чужое горе, какъ источникъ поэтическаго творчества Достоевскаго въ повѣстяхъ: «Хозяйка», «Село Степанчиково» и его обитатели, *Случевскаго*. 15

Неточка Незванова и ея обаяніе какъ дивной дѣвушки среди ужасныхъ условій жизни, раскрываемыхъ авторомъ, *Булича* 33

Герои меланхолики въ разсказахъ: «Хозяйка» и «Бѣлыя ночи», *Чижа* 34

Оригинальность и поэтическая прелесть разсказа Достоевскаго «Бѣлыя ночи», *Туръ* 37

Общее содержаніе повѣсти Достоевскаго, «Слабое сердце», *Анненкова*. 38

Жизненная картина на почвѣ душевной болѣзни въ повѣсти «Слабое сердце», *Чижа*. 40

«Чужой мужъ», изъ Одес. Вѣстн. за 1870 г. № 63. 44

Герои произведеній Достоевскаго: «Дядюшкинъ сонъ» и «Подростокъ» съ явно выраженнымъ старческимъ слабоуміемъ и его послѣдствіями, *Чижа*. 47

Записки изъ подполья, *Миллера*. 51

Содержаніе романа «Униженные и оскорбленные», *Кушелева-Безбородка*. 52

Остовъ романа Достоевскаго «Униженные и оскорбленные», его достоинства и недостатки, *Пятковскаго*. 56

Главныя черты романа «Униженные и оскорбленные», его построеніе, тонъ и обрисовка лицъ, *Добролюбова* 60

Лица и характеры въ произведеніи Достоевскаго «Униженные и оскорбленные», *Туръ*. 70

Недостатки художественной концепціи романа «Униженные и оскорбленные», своеобразность и оригинальность разсказа, *Кушелева-Безбородка*. 74

Свѣтлый дѣтскій типъ (Нелли) въ романѣ «Униженные и оскорбленные», *Миллера*. 78

Нелли, какъ одинъ изъ симпатичнѣйшихъ дѣтскихъ образовъ, *Янтаревой*. . . 80

Нелли съ психіатрической точки зрѣнія, *Чижа*. 86

Слабоумные въ романѣ «Униженные и оскорбленные», его же 88

Живая душа въ забитыхъ людяхъ-герояхъ первыхъ произведеній Достоевскаго *Добролюбова* 93

«Преступленіе и наказаніе», какъ трогательная эпопея, въ которой затронуты всѣ вопросы уголовнаго преслѣдованія и изображена картина внутренняго развитія преступленія, *Кони*. 113

«Преступленіе и наказаніе» — драматическая фабула, воплотившая глубочайшія мысли и пристальнѣйшія наблюденія автора, *Владимирова*. 123

Сущность теоріи, приведшей Раскольникова къ ужасному преступленію, *Бороздина* 125

Стран.

Основной вопросъ, разработанный въ романѣ «Преступленіе и наказаніе». *Брандеса* 130

Ошибочность теоріи Раскольникова, стоящей въ противорѣчіи съ нравственными началами и международнымъ правомъ, *Лохвицкаго*. 139

Жизненныя условія, въ которыхъ живетъ и дѣйствуетъ Роскольниковъ, *Звѣрева*. 143

Соціальныя и психологическія обоснованія «Преступленія и наказанія», *Малинина* 152

Цѣпь идей на соціальной почвѣ, приведшихъ Раскольникова къ преступленію, нарушившему нравственный законъ и требующему искупленія, *Линицкаго*. 155

Вліянія, приведшія Раскольникова къ катастрофѣ, *Писарева*. 165

Путь, которымъ шелъ Раскольниковъ къ преступленію, нравственное страданіе, какъ естественное слѣдствіе совершеннаго злодѣянія въ связи съ характеристикой дѣйствующихъ лицъ въ романѣ, *Ахшарумова*. 189

Концепція романа «Преступленіе и наказаніе», борьба героя съ воспоминаніями о преступленіи, въ связи съ страданіями, какъ искупительной жертвой, *Брандеса*. 205

Психологическія основы къ возрожденію Раскольникова, *Линицкаго*. 209

Возвращеніе испорченной нравственно души человѣка къ истинно человѣческимъ чувствамъ и понятіямъ одна изъ идей романа «Преступленіе и наказаніе», *Страхова*. 215

Искупительное очищеніе вѣрою и добромъ принципа Раскольникова — его нравственнаго самозаконодательства, *Бухарева*. 227

Анализъ и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ романѣ «Преступленіе и наказаніе», *Маркова*. 241

Трагизмъ Раскольникова, *Берга*. 256

Записки изъ «Мертваго дома» и «Преступленіе и наказаніе», какъ одно органическое цѣлое, *Оршанскаго* 259

Идейная связь Раскольникова съ подпольнымъ человѣкомъ, *Мишеева* 262

«Двойникъ». Основная мысль разсказа, его достоинства и недостатка.

«Какъ талантъ необыкновенный», авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи, — и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа — г. Голядкинъ — одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на *амбиціи* людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями, рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ не дурно; но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бѣдныхъ и богатыхъ, и глупыхъ и умныхъ! Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямою дорогою. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. Итакъ герой романа — сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполнена авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ «Двойникѣ» еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ «Бѣдныхъ людяхъ». А между тѣмъ, почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!... Справедливо ли такое заключеніе? Мы не обинуясь скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что «Двойникъ» нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ; одна происходитъ отъ бѣдности таланта, вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго, — и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Если бъ авторъ «Двойника» далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключить изъ рукописи его «Двойника» все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ, — у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ — верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ «Двойникѣ» ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но, наконецъ, бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ «Двойника» еще не пріобрѣлъ себѣ такта, мѣры и гармоніи, и оттого не безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости «Бѣдныхъ людей», хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ «Двойнику». Итакъ, въ этомъ отношеніи, судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли итти своею дорогою, никого не слушая, — или, желая угодить толпѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ отдѣльному чувству мѣры?... По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ итти своею дорогою, съ каждымъ днемъ естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т.-е. молодости и незрѣлости; но въ то же время онъ долженъ, обязанъ «принимать къ свѣдѣнію», чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ «Двойникѣ» растянутостью, такъ это частое и, мѣстами, вовсе ненужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ, напримѣръ: «Дожилъ я до бѣды, *дожилъ я вотъ такимъ-то манеромъ до бѣды... Это бѣда, бѣда, какая!... Эка, вѣдь, бѣда одолѣла какая!...*» Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ найдется въ романѣ довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ, въ сознаніи своей силы и своего богатства, какъ-будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много

юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще «Двойникъ» носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что если бъ авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой «Двойникъ», чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки, — мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это, съ одной стороны, показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но, съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письмо Вахрамѣева и Голядкина-младшаго Голядкинъ старшій сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи, — даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что... Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра, — и это богатство, видимо, мучитъ и тяготитъ автора «Бѣдныхъ людей» и «Двойника». Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ «Парижскія тайны», «Вѣчный жидъ», или «Графъ Монте-Кристо» были растянуты. И, съ одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины ни истиннаго значенія того, что называютъ они «растянутостью»; они знаютъ только, что, чтеніе «Бѣдныхъ людей» нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а «Двойникъ» не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности — сцилла и харибда таланта! Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ «Двойника», все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣд-

ней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что же касается до толковъ большинства, что «Двойникъ» — плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены, и т. п. — объ этомъ Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностію поспѣшатъ схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудрено и окончательно рѣшили по «Двойнику», что у него или вовсе нѣтъ таланта, или есть, да такъ себѣ, небольшой.

Бѣлинскій.

Ненормальность Голядкина, героя повѣсти «Двойникъ».

Приключеніями господина Голядкина съ мучительнымъ и доведеннымъ до мельчайшихъ подробностей анализомъ сумасшествія авторъ старается, какъ намъ кажется, объяснить причины этого сумасшествія (а оно зарождается и развивается предъ читателемъ), именно тѣмъ обстоятельствомъ, что въ существо униженное, забитое и запуганное прокрадывается случайно сознаніе человѣческаго достоинства, желаніе такихъ же благъ, какія достаются счастливцамъ на этомъ свѣтѣ. «Можетъ-быть, если бъ кто захотѣлъ», говоритъ полоумный герой, «если бъ ужъ кому, напримѣръ, вотъ такъ непремѣнно захотѣлось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, обратилъ безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ въ иной разъ это чувствовалъ), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ, — такъ подлая, грязная вышла бы ветошка, но ветошка-то эта была бы съ амбиціей, ветошка-то эта была бы съ одушевленіемъ и чувствами, хотя бы и съ безотвѣтной амбиціей и съ безотвѣтными чувствами, и далеко въ грязныхъ складкахъ этой ветошки скрытыми, но все-таки съ чувствами». По свидѣтельству Бѣлинскаго, глубоко-задуманный «Двойникъ» вовсе не имѣлъ успѣха, что слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что разсказъ слишкомъ растянутъ, отчего и самая мысль автора, скрытая въ мелочныхъ подробностяхъ приключеній Голядкина, совершенно теряется. Публика не была еще пріучена къ такимъ разсказамъ. Бѣлинскому «Двойникъ» не нравился; онъ видѣлъ въ немъ «неумѣніе богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи»; находилъ онъ и другой недостатокъ: это фантастическій колоритъ, но кажется намъ, послѣд-

нее не вѣрно. Двойникъ, встрѣчающійся на каждомъ шагу бѣднаго и придавленнаго героя, мѣшающій ему жить,—не фантастическое созданіе, а реальный продуктъ больного мозга Голядкина; сознаніе его раздваивается, и предъ нами мучительный процессъ этого раздвоенія одного и того же характера на двѣ половины. Но и въ головѣ самого писателя долженъ былъ совершаться тоже тяжелый и мучительный процессъ для того, чтобъ съ такимъ неумолимымъ хладнокровнымъ вниманіемъ, съ такою, если можно такъ выразиться, сосредоточенною злобою останавливаться на мелкихъ, ничтожныхъ и больныхъ приключеніяхъ Голядкина. Да, всѣ эти герои Достоевскаго, по его собственнымъ словамъ, «жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся подъ свалившимися на нихъ камнями» (Дневн. Пис. 1876 г. 145). *Буличъ.*

Процессъ развитія душевной болѣзни въ Голядкинѣ.

Голядкинъ нѣкоторое время, до того момента, въ которомъ засталъ его разсказъ, находится въ мрачномъ, подавленномъ настроеніи духа. Настроеніе это было болѣзненное, судя по тому, что врачъ совѣтовалъ ему избѣгать уединенія и вообще вести болѣе веселый образъ жизни. Такой совѣтъ обыкновенно даютъ врачи не спеціалисты, также обыкновенно и то, что совѣтъ остается неисполненнымъ. Благодаря незнанію сущности душевныхъ болѣзней, они надѣются болѣзненное меланхолическое состояніе ослабить тѣми же средствами, какъ и грустное настроеніе, зависящее отъ внѣшней причины: не зная, что мрачное расположеніе духа у больного зависитъ отъ внутреннихъ причинъ, они совѣтуютъ меланхоликамъ развлеченія; естественно, что такой совѣтъ остается неисполненнымъ, такъ какъ меланхоликъ избѣгаетъ не только развлеченій, но и вообще всякихъ впечатлѣній, такъ какъ всякій психическій процессъ для него непріятенъ и сопровождается психическою болью. Итакъ, эта маленькая подробность очень правдиво проведена Достоевскимъ.

Въ началѣ разсказа Голядкинъ, напротивъ, оживленъ неестественнымъ для него образомъ, доволенъ собой и вообще всѣмъ. Это возбужденное, радостное настроеніе сопровождается и соотвѣтственными поступками. Аккуратный, экономный Голядкинъ нейдетъ на службу, беретъ карету, ливрею и ѣдетъ съ неясно сознаваемыми цѣлями по городу. У врача онъ высказываетъ и мысли, соотвѣтственныя настроенію. Какъ мрачное настроеніе ведетъ къ образованію мрачныхъ идей бреда въ видѣ попытки къ объясненію измѣненія настроенія какимъ-нибудь несчастіемъ, такъ и повышенно веселое настроеніе тѣмъ же психологическимъ путемъ ведетъ къ созданію бредовыхъ идей величія, человѣкъ начинаетъ считать себя сильнымъ, красивымъ, богатымъ и т. д., такъ какъ только обладаніе этими качествами можетъ объяснить больному перемѣну его настроенія.

У Голядкина еще нѣтъ настоящихъ идей бреда, но неправильныя объясненія уже существуютъ. Такъ какъ радостное самодовольное настроеніе свойственно человѣку, что-либо выигравшему въ жизни, получившему что-нибудь для себя пріятное, то Голядкинъ, обыкновенно тихій, даже забитый человѣкъ, начинаетъ съ гордостью и подобающею аффектаціей говорить о своихъ достоинствахъ, о своемъ превосходствѣ надъ тѣми людьми, которые прежде для Голядкина были недосягаемыми идеалами. Наконецъ, у него эта переоцѣнка собственныхъ достоинствъ доходитъ до того, что онъ угрожаетъ посрамить своихъ враговъ, доказать ихъ ничтожность и фальшивость, хотя очевидно, что у Голядкина враговъ и быть не могло, по крайней мѣрѣ, среди тѣхъ людей, о которыхъ онъ говорилъ. Результатомъ этого повышеннаго самочувствія и вытекающей изъ него переоцѣнки собственнаго достоинства было то, что онъ нѣсколько дней тому назадъ наговорилъ дерзостей и выказалъ ревность къ жениху дѣвушки, которая и по лѣтамъ и по общественному положенію не могла быть ему парой. Но вслѣдствіе болѣзненно измѣненнаго настроенія, онъ не могъ понять, до какой степени ни съ чѣмъ не сообразно считать себя возможнымъ претендентомъ, и поведеніе его было такъ странно, что ему отказали отъ дома, конечно, не понявъ, что онъ уже боленъ душевною болѣзнью. Какъ симптомъ этого болѣзненнаго состоянія, должно понимать и посѣщеніе Голядкинымъ магазиновъ, гдѣ онъ приторговывалъ разныя вещи на большія суммы. Очень часто больные, именно въ томъ состояніи, въ которомъ былъ Голядкинъ, дѣлаютъ безумныя растраты и нелѣпыя финансовыя операціи, вслѣдствіе чего иногда совсѣмъ разоряются; когда же болѣзнь доходитъ до той степени, что и профанамъ становится ясно, что они имѣютъ дѣло съ душевно-больнымъ, тогда обыкновенно причиной душевной болѣзни считаютъ разореніе, между тѣмъ какъ оно было просто результатомъ безразсудныхъ дѣйствій больного. Это явленіе самое заурядное, и особенно часто среди торговцевъ; родственники, приглашая врача, увѣряютъ его, что причиной болѣзни было разореніе, но врачъ скоро бываетъ въ состояніи убѣдиться, что болѣзнь началась уже давно, и тѣ финансовыя операціи, которыя привели больного къ разоренію, были совершены за время болѣзни. Если родственники люди интеллигентные, то иной разъ удается ихъ убѣдить въ этомъ, такъ какъ и для нихъ становится, наконецъ, понятнымъ, что только душевною болѣзнью можно объяснить нерасчетливость и легкомысліе, приведшія къ разоренію. Не мало гибнетъ состояній и разоряется семей именно благодаря тому, что никто не можетъ во время указать родственникамъ болѣзнь главы семейства, и потому сразу несчастную семью постигаютъ двѣ бѣды: и нищета и сумасшествіе главы семействъ.

Достоевскій показалъ необычайную наблюдательность, отмѣтивъ расточительность, появившуюся въ Голядкинѣ, и указавъ на то обстоятельство, что Голядкинъ за это время такъ хорошо исполнялъ

свою работу въ канцеляріи, что вызвалъ удивленіе начальника и выдвинулъ впередъ человѣка, присвоившаго себѣ эту работу. Кажется страннымъ, даже маловѣроятнымъ, что человѣкъ въ болѣзненномъ состояніи можетъ лучше работать, нежели въ здоровомъ. Между тѣмъ это не рѣдко наблюдаемый и легко объяснимый фактъ, хотя отсюда отнюдь нельзя дѣлать выводъ, что геній и помѣшательство одно и то же. То болѣзненное возбужденіе и усиленная дѣятельность ума, которыя проявляются въ такихъ случайныхъ работахъ,—кратковременны, и при внимательномъ анализѣ этихъ работъ становится ясно, что онѣ выдаются только внѣшнимъ блескомъ, страдаютъ неосновательностью. Во всякомъ случаѣ такія вспышки ума бываютъ послѣдними, предъ болѣе тяжелымъ разстройствомъ, и не дарятъ никогда міру глубокихъ и широкихъ истинъ; остроумные парадоксы, блестящіе, односторонніе выводы — вотъ самое большое, что можетъ дать мозгъ въ началѣ его болѣзни. Я знаю одинъ такой случай, когда малосвѣдущій и ограниченный субъектъ получилъ премію конкурса только потому, что во время конкурсной работы находился въ такомъ болѣзненномъ состояніи, и потомъ возбудилъ наивное недоумѣніе всѣхъ его знавшихъ, какъ такой малосвѣдущій человѣкъ могъ побить болѣе даровитыхъ и знающихъ. Послѣдовавшая затѣмъ душевная болѣзнь объяснила въ чемъ дѣло.

Итакъ, въ повѣсти («Двойникъ») Достоевскій указалъ тотъ фактъ, что повышенному настроенію предшествовало подавленное, мрачное; эта послѣдовательность, какъ доказано работами многихъ психіатровъ за послѣднія сорокъ лѣтъ, весьма обыкновенна. Нѣкоторые психіатры даже считали такую послѣдовательность типическою; во всякомъ случаѣ наблюденіе учитъ, что весьма часто періоду возбужденнаго настроенія предшествуетъ угнетенное, мрачное состояніе сознанія.

Также вѣрно и то, что повышенное настроеніе ведетъ за собой переоцѣнку собственныхъ достоинствъ — путь къ образованію идей величія. Возбужденное состояніе, кромѣ переоцѣнки собственныхъ достоинствъ, сопровождается ускореніемъ хода идей, облегченнымъ воспроизведеніемъ представленій и легкомысленными поступками. Усиленіе воли, какъ сознательнаго влеченія, при чёмъ желаемое мыслится какъ безусловно достижимое, въ данномъ случаѣ зависитъ и отъ болѣзненно-повышеннаго самочувствія, которое постоянно возбуждается и поддерживается ощущеніемъ усиленной тѣлесной и умственной способности къ отправленію, и отъ недѣятельности всѣхъ задерживающихъ, направляющихъ, контролирующихъ представленій, которыя, при спокойномъ расположеніи духа и средней скорости въ теченіе представленій, всегда присутствуютъ въ сознаніи. Наконецъ, при болѣзненно-усиленномъ сочетаніи и облегченной смѣнѣ представленій оказывается избытокъ побудительныхъ мотивовъ. Въ результатѣ является то, что называютъ легкомысленными поступками, — въ данномъ случаѣ безцѣльная поѣздка въ каретѣ, посѣщеніе магазиновъ, гдѣ фиктивно закупаются очень дорогіе товары.

Изложеніе этого фазиса болѣзни и по вѣрности и по полнотѣ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Къ сожалѣнію, дальше въ повѣсти введенъ случайный элементъ, и поэтому на сцену выступаютъ явленія черезчуръ рѣдкія и неинтересныя. Считаю только необходимымъ отмѣтить нѣкоторые наиболѣе характерные моменты въ дальнѣйшемъ развитіи болѣзни. О томъ, какъ вѣрно передано душевное состояніе при появленіи галлюцинаціи, я уже говорилъ. Достойно вниманія, что сослуживцы Голядкина воспользовались болѣзненнымъ состояніемъ его, чтобъ его мистифицировать письмомъ, будто бы написаннымъ дѣвушкой, въ которую Голядкинъ былъ нѣсколько влюбленъ. Какъ умѣлъ Достоевскій однимъ этимъ эпизодомъ вѣрно характеризовать отношеніе многихъ неразвитыхъ людей къ несчастнымъ больнымъ! Видя человѣка разстроеннаго, сбитаго съ толка, у котораго въ головѣ не все въ порядкѣ, какъ это понимаютъ и сами милые шалуны, его обыкновенно еще болѣе мистифицируютъ; и, вмѣсто утѣшенія и помощи, на голову несчастнаго обрушиваются еще глупыя, злыя шутки. Даже образованные люди считаютъ не безчестнымъ подшутить надъ помѣшаннымъ; можетъ-быть, они по наивности не допускаютъ, что и помѣшанные могутъ страдать. Что, къ сожалѣнію, наше общество еще не понимаетъ, какъ нужно заботиться объ этихъ несчастныхъ, лучше всего показываетъ то жалкое положеніе, въ которомъ находится дѣло призрѣнія душевно-больныхъ. Какъ мало прогрессируетъ общество въ этомъ отношеніи, хорошо видно изъ поразившаго меня факта: въ одной больницѣ обычнымъ развлеченіемъ больныхъ офицеровъ были всевозможныя дурачества съ помѣшаннымъ; его одѣвали во всевозможные костюмы, заставляли ѣсть различныя специи и т. п. Бѣлинскій, по воспоминаніямъ Достоевскаго, былъ въ восторгѣ отъ того, какъ просто обрисована забитость героя (Бѣдныхъ Людей), который могъ умиляться тѣмъ только, что нашелся порядочный человѣкъ, обратившій вниманіе на его нищету; неужели менѣе просто и живо иллюстрируется отношеніе общества къ психически-больному этою мистификаціей письмомъ? Другое дѣло, если душевно-больной вламывается въ домъ, начинаетъ буянить; тогда является великодушіе, впрочемъ, не простирающееся далѣе того, чтобы пролить нѣсколько слезинокъ и «упрятать» буяна въ сумасшедшій домъ, благо онъ не будетъ никому мѣшать и скоро умретъ (по крайней мѣрѣ, по мнѣнію публики).

Почему Голядкинъ повѣрилъ, что полученное письмо дѣйствительно написано Кларой Олсуфьевной, несмотря на всю неправдоподобность этого, почему онъ таки ворвался въ домъ, гдѣ ему запретили бывать, почему онъ, не умѣющій танцовать, попробовалъ вальсировать, все это очень ясно; это поступки той же категоріи, какъ и хожденіе по магазинамъ. Не менѣе правъ Достоевскій, когда заставляетъ Голядкина, собравшагося похитить Клару Олсуфьевну, ѣхать къ начальнику и просить у того объясненія и помощи: у больныхъ въ такомъ состояніи планы быстро мѣняются; одинъ незрѣлый

планъ, вслѣдствіе вышеобъясненнаго душевнаго состоянія, смѣняется еще менѣе здравымъ другимъ. Не могу обойти молчаніемъ и того, что Голядкинъ отправился къ начальнику просить о разъясненіи собственнаго положенія. Замѣчательный фактъ, вѣроятно, результатъ цѣлаго строя нашей жизни: почти всѣ больные съ идеями бреда непремѣнно идутъ къ начальствующимъ лицамъ просить или, смотря по характеру ихъ бреда, требовать объясненій. Всѣ начальствующія лица обыкновенно бываютъ затруднены просьбами и требованіями больныхъ. Я помню одного больного, основавшаго, какъ ему казалось, новую систему философіи; онъ на послѣднія деньги пріѣхалъ въ Петербургъ, чтобы подѣлиться своимъ открытіемъ съ министромъ. Положительно можно утверждать, что многіе помѣшанные пріѣзжаютъ въ Петербургъ для того, только, чтобы здѣсь предъ высокопоставленными лицами изложить свою идею бреда. Нерѣдко причиной помѣщенія въ больницу бываетъ то, что больной является къ начальствующему лицу и проситъ его защиты отъ мнимыхъ враговъ или увѣряетъ его въ своей невинности на случай могущихъ возникнуть обвиненій. Не знаю, насколько въ другихъ странахъ часты подобныя явленія, но у насъ, въ Россіи, они весьма обыкновенны и, какъ я полагаю, чисто бытового характера.

Вотъ все, что я могу сказать о душевной болѣзни Голядкина. Во всякомъ случаѣ, я не отрицаю, что пропущенное мною, можетъ-быть, и имѣетъ глубокій интересъ; но мнѣ не удалось объяснить себѣ пропущеннаго мною, и потому я предпочелъ ограничиться только указаніемъ на нѣкоторые моменты. Нужно внимательно изучить Достоевскаго и прослѣдить всю громадную галлерею нарисованныхъ имъ лицъ, чтобы понять, до какой степени всеобъемлюще его творчество. Самъ Достоевскій находилъ, что повѣсть «Двойникъ» не удалась ему («Дневникъ писателя» 1887 года). Дѣйствительно, картина развитія помѣшательства Голядкина не полна. Но разъ великаго художника поразило какое-нибудь явленіе, онъ постарается овладѣть его смысломъ, хотя бы первая попытка была неудачна; ни время ни новыя впечатлѣнія не могутъ его остановить; нужно дополнить наблюденія, переработать свѣдѣнія, и дѣло будетъ кончено.

Развитіе буйнаго помѣшательства, или, говоря правильнѣе, суммы болѣзненныхъ симптомовъ, называемыхъ буйствомъ, не законченное въ повѣсти «Двойникъ», съ необычайною полнотой и живостью описано въ другомъ произведеніи, явившемся почти на четверть вѣка позже: въ «Бѣсахъ». Но какъ и у всякаго крупнаго художника, тутъ нѣтъ повторенія; основная тема та же, но разработана другая варіація этой темы, такъ что въ одно и то же время мы имѣемъ и болѣе всестороннее изученіе и разъясненіе раньше недосказаннаго.

Фонъ Лембке — второстепенная личность въ этомъ романѣ, но характеристика его, какъ въ здоровомъ, такъ и въ больномъ состояніи, останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя.

Достоевскій не говоритъ о причинахъ помѣшательства Лембке; послѣднею дѣйствующею причиной были семейныя дрязги, безпокой-

ство за служебное положеніе и усиленное напряженіе умственной дѣятельности. А что это напряженіе достигало высокой степени, ясно уже изъ того, что нелегко, хотя бы и плохо, разыгрывать роль губернатора человѣку, проводившему время въ клееніи игрушекъ; задача не легкая перейти отъ столь несложной работы къ управленію людьми.

Прежде всего появился періодъ угнетеннаго настроенія; жена его, женщина вообще интеллигентная, замѣтила въ немъ уныніе еще мѣсяца за два до того, какъ помѣшательство вполнѣ обнаружилось; посторонніе, какъ это, обыкновенно, и бываетъ, ничего ненормальнаго не замѣчали.

Если бы нужно было доказывать, что Достоевскій — глубокій наблюдатель въ сферѣ психопатологіи, то указанія на одну эту подробность было бы достаточно. Едва ли можно допустить, чтобы только случайно въ двухъ произведеніяхъ, такъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга, авторъ отмѣтилъ одно и то же обстоятельство; неужели и въ исторіи Голядкина и въ исторіи Лембке указаніе на предшествовавшій періодъ мрачнаго настроенія—ничего не значащая обмолвка со стороны автора? Между тѣмъ какъ психіатрамъ нужно было много времени и труда, чтобы подмѣтить это явленіе, Достоевскому оно дѣлается извѣстнымъ, благодаря только его личнымъ наблюденіямъ.

Угнетенное состояніе духа въ этотъ періодъ, обыкновенно, бываетъ выражено такъ слабо, что только близкіе люди замѣчаютъ перемѣну въ характерѣ больного; и только когда помѣшательство разовьется вполнѣ, они отдаютъ себѣ уже ясный отчетъ въ замѣченномъ ими.

Ничѣмъ не мотивированное измѣненіе настроенія у Лембке сопровождалось сосредоточенностью, равнодушіемъ къ дѣйствительности его окружающей; появилась безсонница. Мало-по-малу стала замѣтна значительная перемѣна въ характерѣ. Сдержанный, спокойный, настойчивый, Лембке дѣлается уступчивымъ относительно вещей серіозныхъ и мелочно требовательнымъ относительно пустяковъ, крайне раздражительнымъ, болтливымъ, откровеннымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появляется переоцѣнка собственныхъ достоинствъ, хвастливость, неспособность понять болѣе сложныя обстоятельства. Благовоспитанный, скромный и сдержанный, Лембке пускается въ откровенности съ Петромъ Верховенскимъ, говоритъ ему о своемъ фантастическомъ для простого губернатора могуществѣ, поддается на грубую лесть и не понимаетъ, что его грубо обманываютъ. Пока, конечно, ничего абсолютно болѣзненнаго нѣтъ; помѣшательство, вѣдь, развивается постепенно, и рѣдко можно провести рѣзкую границу, гдѣ кончаются поступки здороваго и начинаются выходки больного. Во всякомъ случаѣ - поведеніе Лембке за этотъ періодъ, принимая во вниманіе его прежній характеръ, по меньшей степени странно. Еще страннѣе какъ наивная и безцѣльная хвастливость Лембке предъ женой тѣмъ,

что онъ справится съ десятью губерніями, вышлетъ гувернантку изъ губерніи «съ казакомъ», такъ и то, что этотъ образецъ благовоспитанности и приличія бросается съ кулаками на обожаемую имъ жену.

На слѣдующій день его слова и поступки кажутся и многимъ болѣе, чѣмъ странными. Появилась усиленная возбудимость чувствъ, благодаря чему всѣ впечатлѣнія, получаемыя сознаніемъ, оттѣняются и сопровождаются сильными душевными волненіями, вмѣстѣ съ чрезмѣрнымъ ускореніемъ процесса представленій. Воспоминаніе о вчерашней ссорѣ съ женой вызываетъ столь сильное душевное волненіе, что онъ бросаетъ важныя дѣла (а онъ былъ человѣкъ аккуратный) и ѣдетъ за ней; — не успѣлъ еще доѣхать — новыя представленія, новое настроеніе: хорошее утро, окружающія поля производятъ столь сильное впечатлѣніе на этого обыкновенно деревяннаго чиновника, что онъ сходитъ съ коляски и рветъ цвѣты. Такіе ребяческіе, слабо мотивированные поступки весьма характерны для даннаго періода болѣзни. Вслѣдствіе повышенной возбудимости хорошее утро и поля такъ сильно повліяли на Лембке, что онъ, какъ ребенокъ, отдается этому впечатлѣнію, забывъ о женѣ и о дѣлахъ. Легко себѣ представить, какъ при такомъ состояніи должно было подѣйствовать извѣстіе, сообщенное частнымъ приставомъ Флибустьеровымъ о томъ, что рабочіе Шпигулинской фабрики собрались на площади съ цѣлью принести жалобу губернатору. Въ такомъ состояніи, вслѣдствіе высокой возбудимости чувства и быстрой смѣны представленій, при безграничномъ въ то же время ихъ сочетаніи, наступаетъ быстрая смѣна самыхъ разнообразныхъ аффектовъ. Вслѣдствіе этого извѣстія развился гнѣвный аффектъ; гнѣвное настроеніе духа производитъ, въ свою очередь, вторичныя воспроизведенія соотвѣтственныхъ представленій, какъ попытку объяснить себѣ причины столь сильнаго волненія, то-есть является тотъ же процессъ, какъ и при развитіи идей бреда у меланхолика. У Лембке всплываютъ на поверхность сознанія старыя предположенія, прежде почти невѣроятныя для него самого, что на рабочихъ вліяли прокламаціи, Петръ Верховенскій и т. п.; но теперь для него это уже непреложный фактъ. Такія представленія опять, какъ это всякому понятно, сами дѣйствуютъ на гнѣвное настроеніе и поддерживаютъ его. Представленія эти, въ противоположность меланхоліи, гдѣ они имѣютъ стойкій характеръ, здѣсь носятъ характеръ вихря идей. Такъ какъ при чрезмѣрномъ ускореніи и возбужденіи всѣхъ психическихъ актовъ и при недѣятельности всѣхъ задерживающихъ представленій, *я* субъекта оказывается безсильнымъ противостоять этому процессу возбужденія, то душевныя волненія проявляются при помощи мимическаго и двигательнаго аппаратовъ. Даже такихъ наблюдателей, какъ Флибустьеровъ и кучеръ, поразило выраженіе лица Лембке въ то время, когда тотъ срывалъ цвѣты. На площади онъ держалъ себя такъ неприлично о внѣшности, что даже люди, не видящіе ничего предосудительнаго публичной экзекуціи, и тѣ не одобрили его горячности.

Чрезмѣрное ускореніе хода представленій, естественно, ведетъ къ безсвязности ихъ, къ ассоціаціи идей низшаго порядка, то-есть ассоціаціи, обусловленной созвучіемъ или сходствомъ самихъ словъ; такъ, Лембке, услышавъ фамилію частнаго пристава Флибустьерова, при его докладѣ о томъ, что рабочіе пришли на площадь, вдругъ называетъ самихъ просителей «флибустьерами» (фаланстеры, фурьеристы, вотъ вѣроятно, что мелькало въ разгоряченномъ сознаніи), летитъ на площадь, кричитъ безсмысленныя слова: «на колѣни», «флибустьеры», и не мало ни колеблясь, не разобравъ и даже не сдѣлавъ попытки разобрать дѣло, распоряжается объ экзекуціи. При бездѣйствіи всѣхъ задерживающихъ моментовъ, представленій о законѣ и могущей угрожать отвѣтственности, чувствъ справедливости и приличія, старой привычки къ порядку, такое распоряженіе вытекаетъ само собой, какъ у грубаго человѣка, когда тотъ лѣзетъ драться, при сопротивленіи ему въ чемъ-нибудь. Лембке не могъ разсуждать и не успѣлъ отдаться новымъ настроеніямъ, а въ его состояніи настроеніе и представленія быстро переходили въ дѣйствія.

То же самое мы видимъ въ его послѣдующей бесѣдѣ со Степаномъ Верховенскимъ. Лембке только отчасти узнаетъ его; до сознанія не сразу доходятъ и впечатлѣніе зрѣнія и слуховыя воспріятія; онъ не слышитъ, что̀ собственно ему говорилъ Верховенскій, а кричитъ фразы, попавшія ему на языкъ подъ напоромъ занимающихъ его представленій о пропагандѣ, о заблуждающемся юношествѣ и т. п. Когда же онъ окончательно узнаетъ Верховенскаго и видитъ Блюма, то картина мѣняется, пріобрѣтаетъ живость представленія о неудачно сдѣланномъ обыскѣ, о скандалѣ отсюда вытекающемъ, и вотъ только что сѣкшій людей Лембке униженно проситъ прощенія, чуть не плачетъ. Жена его, пользуясь этой перемѣной, на время заставляетъ его подчиниться себѣ, но вновь поднятый разговоръ о лекціяхъ производитъ волненіе въ Лембке, и онъ дѣлаетъ скандалъ въ гостиной жены.

Достоевскій безъ малѣйшей натяжки создалъ поразительную картину человѣка власть имущаго, съ полевыми цвѣтками въ рукахъ распоряжающагося поркой невинныхъ людей на публичной площади, среди негодующей и одобряющей публики. Что еще болѣе оттѣняетъ реальность и выразительность этой картины, это зависимость всей кутерьмы отъ простой случайности: не будь фамилія частнаго пристава Флибустьеровъ, вѣроятно, не было бы и такого трагическаго конца. Не знаю, можно ли лучше, сохраняя полную правдивость, заставить читателя содрогнуться и задуматься. Если вспомнить многое изъ прошлаго и посмотрѣть на жизнь вокругъ, то много найдемъ такихъ же Лембке, дѣйствующихъ столь же разумно, какъ и онъ. Впрочемъ, пояснять дальше выразительность этой картины излишне; я хотѣлъ только указать, какъ мастерски пользовался Достоевскій своимъ знаніемъ психопатологіи для созданія наиболѣе выразительныхъ картинъ.

Однако такіе больные еще могутъ успокоиваться; постороннимъ они кажутся даже здоровыми, но и въ эти сравнительно свѣтлые промежутки, при внимательномъ наблюденіи, видны болѣзненныя явленія: сильное мозговое возбужденіе перешло въ угнетеніе. Лембке сдѣлался вялъ, безучастенъ, не могъ уже заниматься дѣлами до вечера слѣдующаго дня, когда новыя сильно подѣйствовавшія впечатлѣнія (крики публики, человѣкъ, танцующій кверху ногами) вызвали прежнее состояніе, но еще въ сильнѣйшей степени; онъ сталъ говорить безсмыслицу, то-есть слова, первыми попавшія на языкъ: «пожаръ въ головахъ», «обыскать всѣхъ» и т. п. Какъ и всякій буйный больной, онъ проявляетъ усиленную дѣятельность и подвижность, ѣдетъ на пожаръ, тамъ суетится безо всякаго толку, кричитъ, бѣгаетъ и, наконецъ, бросается помогать старухѣ тащить изъ загорѣвшагося дома перину. Одни и тѣ же законы руководили имъ все время: та же болѣзненная возбудимость чувства, повышенные аффекты, ускоренное теченіе представленій при отсутствіи контролирующихъ моментовъ.

Мнѣ кажется, что этимъ примѣромъ Достоевскій показалъ, какимъ путемъ человѣкъ можетъ дойти до нарушенія всѣхъ законовъ; конечно, у Лембке все это выразилось очень рѣзко, но суть дѣла остается та же. Кто знаетъ, не будутъ ли наши потомки смотрѣть на нашихъ Лембке, какъ мы смотримъ на Нерона, и такое проявленіе душевной болѣзни, какъ у Лембке, будетъ имѣть быстрое и соотвѣтственное послѣдствіе — заключеніе въ больницу. Если бы Лембке приказалъ шпигулинскихъ рабочихъ повѣсить, то, конечно, полицмейстеръ не усомнился бы, что его начальникъ сошелъ съ ума, между тѣмъ какъ подобныя приказанія въ извѣстныя эпохи ни въ комъ не возбуждали сомнѣнія относительно состоянія умственныхъ способностей Лембокъ того времени. *Чижъ.*

Герои разсказовъ: «Прохарчинъ», «Слабое сердце», «Хозяйка» и ихъ среда.

Господинъ Прохарчинъ, въ разсказѣ подъ этимъ названіемъ, смирный, таинственный и одинокій, у котораго вся незамѣтная для другихъ энергія уходитъ на откладываніе остатковъ отъ скуднаго содержанія на случай упраздненія той канцеляріи, гдѣ служитъ. Но Прохарчину не удалось воспользоваться сбереженіями: онъ умираетъ отъ паралича, и накопленныя деньги достаются другимъ. Таковъ бѣдный, гораздо болѣе симпатичный молодой чиновникъ Вася Шумковъ въ повѣсти «Слабое сердце» (1848 г.), влюбленный въ свою невѣсту, мечтающій о будущемъ счастьи, съ наивно-радостнымъ чувствомъ долго выбирающій у француженки-модистки чепчикъ своей невѣстѣ для подарка на Новый годъ и въ этомъ увлеченіи молодой любви забывающій, что ему надобно переписать

къ назначенному сроку бумаги, данныя ему начальникомъ. Не то, чтобъ онъ забылъ о долгѣ, но онъ обманулъ себя, чтобъ постылымъ трудомъ не помѣшать дорогому счастью, чтобъ на нѣсколько времени не думать объ этомъ трудѣ. Но трудъ неумолимо встаетъ, наконецъ, предъ нимъ; онъ надѣется кончить; онъ пишетъ и пишетъ до тѣхъ поръ, пока товарищъ его по комнатѣ «съ ужасомъ не замѣтилъ, что Вася водитъ по бумагѣ сухимъ перомъ, перевертываетъ совсѣмъ бѣлыя страницы и спѣшитъ, спѣшитъ наполнить бумагу, какъ-будто онъ дѣлаетъ отличнѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ дѣло!» Бѣднякъ сошелъ съ ума отъ «слабаго сердца» на мысли, что его отдадутъ въ солдаты (такое наказаніе было тогда не рѣдкостью), и въ истерзанномъ мозгу его стояла неотразимо одна только мысль: «За что же ее убивать? Чѣмъ же она, чѣмъ же она виновата? — Прощай, моя люба! Прощай, моя люба!» шепталъ онъ, качая бѣдной своей головой. Сердце сжимается болью отъ этой ненужной жертвы, отъ этой бѣды, какъ бы упавшей съ неба. Кто виноватъ въ этомъ несчастьи Васи? Неужели только слабое сердце? И Васю, какъ и господина Голядкина, увезли въ сумасшедшій домъ. Счастье его, что въ бреду станетъ ему грезиться его «люба», тогда какъ Голядкинъ не отдѣлается отъ представленія «своихъ враговъ, согласившихся погубить его». Задумался другъ Васи: «Какая-то странная дума посѣтила осиротѣлаго товарища бѣднаго Васи. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ-будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключомъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ-будто только теперь понялъ всю эту тревогу и узналъ, отчего сошелъ съ ума его бѣдный, не вынесшій своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ, и какъ-будто прозрѣлъ во что-то новое въ эту минуту»...

Эти три разсказа Достоевскаго изъ первой поры его литературной дѣятельности кажутся намъ лучшими; въ нихъ авторъ съ грустною думою подходитъ къ дѣйствительности и пытается изобразить въ лицахъ, въ людяхъ, не выхваченныхъ изъ жизни и изученныхъ съ строгою наблюдательностью, а созданныхъ его воображеніемъ и глубоко обдуманныхъ, каково должно быть на нихъ вліяніе окружающей и гнетущей ихъ среды. Сознательная мысль, которая легла въ основу этихъ произведеній, внушена была автору современною критикою, которая была учительницею и общества и авторовъ. Правда, какъ за Дѣвушкинымъ выглядываетъ Гогоголевскій обладатель шинели, такъ за Голядкинымъ и Васей подымается знакомая всѣмъ фигура Аксентія Ивановича Поприщина, но связь этихъ второстепенныхъ повтореній первоначальнаго типа со средою, ихъ создавшею, яснѣе создается читателемъ. Современная критика упрекала Достоевскаго за то, что онъ «любитъ сумасшествіе — для сумасшествія», но это не такъ: упорное, болѣзненное и постоянное вращеніе въ сферѣ идей, близко граничащихъ съ душевною болѣзнью,

которая сама возникала подъ вліяніемъ соціальныхъ причинъ, было сущностью таланта Достоевскаго. Оно вызывалось и тою странною жизнью, какую велъ онъ, уже страдающій нервными припадками. Большая повѣсть «Хозяйка» (1847 г.), по словамъ тогдашней критики, «порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до крайности фантазія» (П. В. Анненковъ, «Воспом. и критич. оч.» II, 23). Достоевскій взялся въ ней за лица, какихъ онъ никогда не видалъ, за изображеніе совершенно незнакомой ему жизни; его фантазія, опиравшаяся на знакомый ему міръ бѣднаго петербургскаго чиновничества, оказалась въ этомъ случаѣ совершенно безсильною, а странный языкъ въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ — безжизненною поддѣлкою подъ народную рѣчь. Недостатокъ наблюденія, необходимый для автора, бросается въ глаза читателю особенно въ тѣхъ разсказахъ Достоевскаго, которые онъ началъ писать въ 1848 году, подъ названіемъ «Разсказы бывалаго человѣка». Эти разсказы одолжены своимъ появленіемъ «Запискамъ Охотника». Художественные, простые, проникнутые поэзіей и тонкою наблюдательностью очерки Тургенева, знакомаго съ тѣмъ, что онъ описываетъ, стали пользоваться тогда чрезвычайнымъ успѣхомъ. Міръ, изображаемый Достоевскимъ, совсѣмъ иной. Это тѣ же жалкіе обитатели бѣдныхъ петербургскихъ «угловъ», придавленные нуждою, горемъ и пьянствомъ; это не жизнь дѣйствительная, да и самъ «бывалый человѣкъ», какъ называетъ себя авторъ, говоритъ, что онъ «живетъ уединенно, совсѣмъ затворникомъ. Знакомыхъ у меня почти никого; выхожу я рѣдко. Десять лѣтъ проживъ глухаремъ, я, конечно, привыкъ къ уединенію». Откуда же взять ему наблюдательности, необходимой автору? *Буличъ.*

Глубокое познаніе жизни человѣка и способность чувствовать чужое горе, какъ источникъ поэтическаго творчества Достоевскаго въ повѣстяхъ: «Хозяйка» «Село Степанчиково и его обитатели».

Значеніе появившагося въ наше время ученія о внушеніи или гипнотизмѣ сравнивается нѣкоторыми учеными съ тѣмъ, какое имѣло для человѣчества открытіе законовъ кровообращенія, электричества и другихъ крупныхъ законовъ въ области естествознанія. Внѣшняя же сторона обнаруженныхъ въ этой области путемъ экспериментаціи явленій представляется настолько необыкновенной, идущей въ разрѣзъ съ сложившимися понятіями объ естественномъ и нормальномъ, что вызываетъ не только въ обществѣ, но и среди нѣкоторыхъ представителей науки сомнѣнія относительно реальности ихъ.

Усиліями научныхъ представителей ученія о внушеніи установленъ съ несомнѣнностью фактъ существованія такихъ формъ

искусственно созданнаго вліянія человѣка на человѣка, при помощи котораго область сознанія лица можетъ быть частью или полностью уничтожена, а также можетъ быть до крайняго напряженія возбуждена; выяснена возможность развитія путемъ внѣшняго воздѣйствія на человѣка моноидеизма, или, иначе, безсилія и неспособности къ оживленію, принадлежащихъ къ области воспоминаній, идей, при чёмъ путемъ внушенія одной идеи оказывается возможнымъ подчинить человѣка полностью волѣ другого на время и притомъ не переводя его въ категорію сумасшедшихъ; обнаруживается возможность, при помощи самыхъ обыкновенныхъ пріемовъ, заставить человѣка не видѣть, не слышать, не осязать тѣ предметы, которые воспринимаются его пятью чувствами, или наоборотъ, видѣть, слышать и осязать несуществующіе объекты; можно на опредѣленный періодъ времени лишить человѣка памяти къ удержанію воспринятыхъ впечатлѣній, — заставить, напримѣръ, забыть свое имя или опредѣленныя буквы алфавита и тому подобное; можно произвести вивисекцію его души, наблюдая при этомъ за отправленіями его духовной жизни такъ же, какъ физіологи наблюдаютъ за дѣйствіями тѣлеснаго организма, производя надъ нимъ разные физическіе опыты; короче, возможно, выражаясь медицинскимъ языкомъ, создать по произволу амнезію, любопытнѣйшіе эффекты со стороны произвольныхъ мышцъ, галлюцинаціи, иллюзіи, гиперестезію, измѣнить питаніе тканей и создать исключительное, по характеру, отношеніе гипнотизера къ загипнотизированному субъекту. Реальность этихъ и многихъ другихъ явленій, еще въ недавнемъ прошломъ признававшихся невѣроятными, въ настоящее время стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній и по произволу экспериментатора воспроизводится при помощи самыхъ простыхъ манипуляцій.

Но констатированіемъ существованія этихъ чудесныхъ по внѣшности явленій не ограничиваются результаты, достигнутые современными научными изслѣдованіями въ области внушеній. Давая объясненія указаннымъ явленіямъ, наука устанавливаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ такою же несомнѣнностью, что производимыя нынѣ путемъ экспериментовъ явленія только для невнимательнаго наблюдателя могутъ казаться чрезвычайными, тогда какъ въ дѣйствительности явленія внушеній существовали всегда, не находя только научнаго для себя освѣщенія. Внушеніе въ смыслѣ акта, чрезъ посредство котораго идеи вводятся и воспринимаются мозгомъ другого человѣка, старо, какъ міръ, говоритъ профессоръ Бернгеймъ[1]). Оно практиковалось въ религіозной, мистической и томатургической практикѣ, равно какъ въ терапевтикѣ. Внушеніе проявляло свое господство во всей исторіи человѣчества, начиная съ перваго грѣха, внушеннаго Евѣ змѣемъ, а Евою Адаму, до величайшихъ войнъ, зачатыхъ религіознымъ или политическимъ фанатизмомъ, равно какъ до кровавыхъ ужасовъ,

---

[1]) Bernheim. Hypnotisme, suggestion, psychothérapie. 1891, p. 24, 63, 498.

революцій и коммуны... Народъ дѣлался ангеломъ или демономъ потому, что былъ всегда способенъ воспринимать внушеніе.

Вліяніе внушенія проявлялось и внѣ исторической обстановки, въ жизни отдѣльнаго человѣка, и если до послѣдняго времени не всегда замѣчалось, то не потому, чтобы существованіе его было проблематично, а потому, что, какъ замѣтилъ еще Жанъ-Жакъ Руссо, для наблюденія каждодневно усматриваемыхъ явленій требуется много философіи. Въ дѣйствительности вся жизнь человѣка въ семьѣ и въ обществѣ представляется цѣлымъ рядомъ внушеній, оказываемыхъ на него другими людьми. Просьбы, убѣжденія, приказы, угрозы, слезы, мимика и тому подобныя средства воздѣйствія человѣка на человѣка представляются явленіями, свойственными обычной будничной жизни, при чёмъ каждое изъ чувствъ человѣка можетъ служить путемъ, которымъ передаются мозгу эти воздѣйствія, достигая результатовъ разнообразныхъ до безконечности. Въ ряду этихъ способовъ воздѣйствія людей другъ на друга, внушеніе является средствомъ, при помощи котораго искусственно проявляется это вліяніе и при томъ въ чрезвычайной степени.

Мнѣнія представителей науки расходятся однако въ опредѣленіяхъ степени силы этого вліянія. Льежуа сравниваетъ, напримѣръ, загипнотизированнаго человѣка съ глиной, изъ которой можно лѣпить желаемыя формы. Бони сравниваетъ его съ палкою, находящеюся въ рукахъ путешественника. Бине и Ферре, наоборотъ, полагаютъ, что подвергнутый дѣйствію внушенія человѣкъ не имѣетъ ничего общаго съ автоматомъ, и что произведенные опыты свидѣтельствуютъ о томъ, что всякая попытка заставить загипнотизированнаго рѣшиться на какое-нибудь дѣйствіе, противорѣчащее его природѣ или складу его мыслей, возбуждаетъ со стороны этого лица протесты.

Что касается сущности той силы, которая проявляется во внушеніи, то по этому предмету вопросъ о свойствахъ ея остается понынѣ невыясненнымъ, существующія же научныя теоріи сводятся къ тремъ группамъ. По воззрѣніямъ теоріи такъ называемаго животнаго магнетизма, адептомъ которой былъ Месмеръ, гипнотизеръ обладаетъ особою способностью воздѣйствовать на лицо, испытывающее его вліяніе; тутъ проявляется особая сила (un fluide), проникающая всю нервную систему паціента и превращающая его въ рукахъ магнетизера въ настоящую маріонетку. Теорія эта въ настоящее время признается отвергнутой. Она уступила мѣсто двумъ другимъ теоріямъ: во-первыхъ, теоріи невроза, по которой гипнотическое состояніе есть не болѣе какъ состояніе патологическое, въ которое впадаютъ нѣкоторые, предрасположенные къ нему паціенты, и притомъ состояніе, характеризующееся спеціальными симптомами. Профессоръ Шарко и ученики его по Salpetrière, проводящіе это воззрѣніе, признаютъ, что сила гипнотизма проявляется въ трояко рода классическихъ состояніяхъ: каталепсіи, летаргіи и сомнамбулизмѣ. Другая же теорія — теорія внушенія, поддерживаемая

невропатологами школы Нанси, видитъ въ гипнотическомъ состояніи не патологическое, а психологическое состояніе, обусловливающееся психической склонностью субъекта подчиняться внѣшнему внушенію. Они отрицаютъ гипнотическое состояніе въ смыслѣ особаго трансоподобнаго состоянія, лишающаго паціента произвольности и подчиняющаго его внушенію извнѣ. Эта послѣдняя теорія, по удостовѣренію профессора James (The principles of Psychology, 1890), въ настоящее время окончательно одерживаетъ верхъ надъ теоріей невроза. Очевидно, что объемъ явленій, относящихся къ области внушеній, по воззрѣніямъ этихъ двухъ школъ, различенъ, и задавшись въ настоящей статьѣ цѣлью выяснить, что даетъ намъ въ произведеніяхъ своихъ Достоевскій въ отношеніи явленій внушенія, мы, при дальнѣйшемъ изложеніи, будемъ имѣть въ виду то внушеніе, о которомъ говорятъ представители послѣдней теоріи, т.-е. о внушеніи, имѣющемъ значеніе явленія психологическаго свойства.

Но если, такимъ образомъ, новы не явленія внушенія, а лишь научная эксплуатація ихъ, и если внушенія имѣютъ значеніе факта психологическаго, то, спрашивается, могъ ли такой крупный представитель литературной силы, какъ Достоевскій, просмотрѣть явленія внушенія и не дать имъ мѣста въ своихъ произведеніяхъ? Могъ ли Достоевскій, этотъ тонкій психологъ, для котораго были открыты всѣ самые сокровенные моменты жизни человѣка, не видѣть явленій внушенія, равно какъ той обширной области безсознательнаго, въ которой они проявляютъ свое дѣйствіе? Какъ ни велико было значеніе субъективизма, отпечатлѣвавшагося во всѣхъ произведеніяхъ Достоевскаго, но имъ не уничтожалось чуткое отношеніе его къ реальнымъ сторонамъ жизни, которую онъ постоянно наблюдалъ и изъ которой почерпалъ матеріалы для своего творчества. Если даже и признать справедливымъ упрекъ, сдѣланный въ нашей литературѣ Достоевскому, что онъ смотрѣлъ на явленія психической жизни чрезъ увеличительное стекло, не соблюдая при этомъ законовъ перспективы, и что поэтому создаваемые имъ образы пріобрѣтали у него оболочку, не соотвѣтствующую размѣрамъ дѣйствительности, то и это обстоятельство не уничтожаетъ возможности видѣть въ немъ одного изъ самыхъ глубокихъ выразителей психической жизни. Если онъ и заслуживалъ упрека въ томъ, что грѣшилъ въ отношеніи требованій художественности при обобщеніи явленій жизни, то, тѣмъ не менѣе, слава глубокаго знатока душевной жизни человѣка, общепризнанная за нимъ, представляется вполнѣ заслуженной. Но независимо отъ наблюденій внѣшней жизни, у Достоевскаго былъ и другой источникъ для творчества, заключавшійся въ наблюденіяхъ свей личной психической жизни. Въ немъ съ особенной силою была развита способность, которая, по его мнѣнію, характеризуетъ всякаго русскаго человѣка — способность чувствовать чужое чувство, и благодаря ей, ему удавалось подмѣтить и выразить такія явленія внутренняго міра, которыя для другихъ наблюдателей оказывались недоступными.

Въ русской литературѣ имѣется прекрасный трудъ профессора Чижа[1]), въ которомъ онъ подвергъ уже произведенія Достоевскаго изслѣдованію съ точки зрѣнія патологіи. Онъ пришелъ въ немъ къ окончательному выводу, что Достоевскій въ изображеніи явленій въ области психіатріи до нѣкоторой степени опередилъ науку; что въ его трудахъ имѣется почти полная психопатологія, и что отношенія нѣкоторыхъ формъ невропатическаго состоянія, напримѣръ эпилептическія страданія, равно какъ форма нравственнаго помѣшательства, представляются классическими и достойными того, чтобы попасть въ курсъ науки по этому предмету. Невозможно допустить, чтобы Достоевскій, извлекшій на свѣтъ тончайшія проявленія патологической и психологической жизни человѣка, оказался незрячимъ и неспособнымъ въ воспринятіи явленій внушенія. Онъ самъ видѣлъ свое назначеніе въ томъ, чтобы быть выразителемъ жизни, и сознавалъ, что въ этомъ отношеніи онъ могъ много сдѣлать. Въ записной книжкѣ своей онъ замѣчаетъ: «Меня зовутъ психологомъ; — неправда: я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всю глубину души человѣческой».

Такимъ образомъ общій взглядъ на Достоевскаго и оцѣнка свойствъ его таланта даютъ основаніе къ заключенію a priori, что если только достоинъ Достоевскій того высокаго положенія въ литературѣ, какое онъ занялъ не только у насъ, но и далеко за предѣлами нашего отечества, то у него должны быть данныя для характеристики явленій внушенія. Ближайшее разсмотрѣніе трудовъ его съ этой точки зрѣнія, дѣйствительно, полагаемъ мы, доказываетъ, что Достоевскій, задолго до образованія существующаго нынѣ научнаго направленія о внушеніи, подмѣтилъ и изобразилъ такія событія жизни, которыя, будучи фактами психологическаго свойства, относятся къ области безсознательнаго и не могутъ быть объяснены одними только мотивами дѣйствія. Онъ познакомилъ насъ съ такимъ господствомъ человѣка надъ человѣкомъ, которое для людей, не обладающихъ наблюдательностью Достоевскаго, могло до послѣдняго времени показаться невѣроятнымъ и неестественнымъ и которое тѣмъ не менѣе воспроизводится теперь при экспериментаціи внушеніемъ. Не исчерпывая всего того, что можно извлечь по этому предмету изъ произведеній Достоевскаго, мы ограничимся лишь указаніемъ на тѣ его произведенія, которыя представляютъ въ этомъ отношеніи наиболѣе обильный матеріалъ, а именно — на его повѣсти: «Хозяйка», «Село Степанчиково», «Идіотъ» и «Преступленіе и наказаніе».

Но прежде чѣмъ перейти къ ближайшему разсмотрѣнію указанныхъ произведеній, необходимо предпослать одно относящееся до внушенія положеніе, а именно, что внушеніе распадается на двѣ группы: во-первыхъ, внушеніе, сопровождающееся гипнозомъ, и во-

---

[1]) Достоевскій, какъ психологъ. «Русскій Вѣстникъ» 1884 года, № 5 и 6.

вторыхъ, внушеніе безъ гипноза, при чёмъ послѣднее распадается въ свою очередь на: а) внушеніе, производимое посредствомъ другого лица и б) самовнушеніе. Разумѣется, каждая изъ указанныхъ формъ внушенія можетъ составить предметъ беллетристическаго произведенія; но у Достоевскаго мы находимъ только намеки на первую группу внушеній, т.-е. на внушенія, сопровождающіяся гипнозомъ. Это обстоятельство объясняется, полагаемъ мы, не только тѣмъ, что въ то время, къ которому относится большая часть написаннаго Достоевскимъ, жизнь не знала современнаго ученія о гипнозѣ (она знала лишь существованіе ученія о животномъ магнетизмѣ), но также и тѣмъ, что эта форма внушенія представляетъ самый неблагодарный предметъ для содержанія художественнаго произведенія. Приведенный въ искусственное сомнамбулическое состояніе, субъектъ не представляетъ изъ себя въ психологическомъ отношеній такого субъекта, который могъ бы дать цѣнный матеріалъ для психологической оцѣнки, и существующія въ западноевропейской литературѣ произведенія этого рода, какъ увидимъ далѣе, служатъ тому доказательствомъ.

Что касается внушенія, не сопровождающагося гипнотизмомъ, то Достоевскій далъ намъ весьма многое, при чёмъ въ «Преступленіи и наказаніи», въ лицѣ Раскольникова, изобразилъ намъ подмѣченный уже въ западно-европейской литературѣ типъ человѣка, дѣйствующаго подъ вліяніемъ самовнушенія; въ другихъ трехъ указанныхъ нами произведеніяхъ внушеніе осуществляется у него при помощи посторонняго лица.

Что существуютъ случаи внушенія безъ гипноза, объ этомъ говорятъ намъ многіе изъ авторитетныхъ представителей разсматриваемаго ученія. «Природа»,—замѣчаетъ профессоръ Льежуа[1]), — «при извѣстныхъ условіяхъ, создаетъ сама тѣ явленія, которыя мы въ настоящее время производимъ искусственно. Она создаетъ сомнамбулъ такъ же, какъ и мы». «Со стороны практической»,—говоритъ другой изслѣдователь, Пьеръ Жанне[2]), — «иногда полезно гипнотизировать лицъ для того, чтобы воздѣйствовать на нихъ внушеніемъ. Внушимость можетъ быть полная и безъ посредства гипноза и, наоборотъ, она можетъ совершенно отсутствовать при гипнозѣ». «Для того, чтобы существовало внушеніе,—говоритъ профессоръ Бернгеймъ[3]), — нужно, чтобы внушенная идея была принята мозгомъ, чтобы лицо, которому ее внушаютъ, вѣрило ей... Среди средствъ, создающихъ эту вѣру и влекущихъ дальнѣйшее превращеніе идеи въ дѣйствіе, нѣтъ болѣе полезнаго средства, какъ гипнозъ; но гипнотическій сонъ, самъ по себѣ взятый, есть уже явленіе внушенія; имъ усиливается, но не создается способность воспріятія внушенія». Бернгеймъ предлагаетъ даже совершенно уничтожить слово «гипнозъ»,

---

[1]) Liegois, De la suggestion. 1889, p. 419.

[2]) Pierre Janet, L'automatisme psychologiqne. 1889, p. 170—1.

[3]) Bernheim: ib. p. 15, 61, 76.

замѣнивъ его выраженіемъ «состояніе внушенія» (état de suggestion). Но такое сведеніе гипноза лишь къ простому средству (и притомъ далеко не единственному) учиненія внушенія и взглядъ на послѣднее, какъ на явленіе, не зависящее отъ гипноза, не лишаетъ ли состояніе внушенія характера, отмѣченнаго специфическими признаками? На вопросъ этотъ, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія приведенныхъ авторитетовъ, приходится отвѣтить утвердительно, не теряя изъ виду этого отвѣта при дальнѣйшей установкѣ данныхъ, извлеченныхъ изъ произведеній Достоевскаго. Утвержденіе Крафта-Эбинга[1]) о томъ, что гипнотизмъ, какъ біологическое явленіе природы, представляетъ эмпирически ясные, подлинные и объективные симптомы, далеко не раздѣляется тѣми, которые видятъ во внушеніи явленіе психологическое. Указанный выше Пьеръ Жане[2]), совмѣстно съ приводимыми имъ авторитетами, приходитъ къ опредѣленно выраженному заключенію, что психическій автоматизмъ, характеризующій внушеніе, не имѣетъ такихъ физическихъ симптомовъ, по которымъ можно было бы по внѣшнему обозрѣнію ихъ распознать внушеніе, и что оно можетъ быть узнано единственно чрезъ выясненіе психологическаго его характера.

Такимъ образомъ оказывается, что въ научной литературѣ есть цѣлое направленіе, видящее во внушеніи фактъ психологическаго характера, явленія котораго могутъ существовать часто совершенно независимо отъ дѣйствій гипноза и притомъ не выражаться въ ясно отмѣченныхъ физическихъ признакахъ. Если при этомъ принять еще во вниманіе, что внушеніе, какъ психологическій факторъ, обнаруживается въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ напряженія, начиная съ состояній, порождаемыхъ разсѣянностью, привычками и страстями, присущими нормальному человѣку, и кончая состояніемъ каталептическимъ, при которомъ лицо остается безъ движенія, нѣмымъ, но не прекращающимъ своихъ отношеній къ внѣшнему міру и сосредоточеннымъ на одной идеѣ, то сдѣлается яснымъ, что прилагать къ произведеніямъ писателя точную, опредѣленную мѣрку этого состоянія нельзя. «Термины гипнотизма и его аналоги,—говоритъ Рибо[3]), не обозначаютъ нѣчто опредѣленное и неизмѣнное у всѣхъ и всегда; это состояніе измѣняется у одного и того же индивидуума, переходя отъ простого усыпленія къ полному оцѣпенѣнію, и у различныхъ индивидуумовъ, сообразно съ ихъ организаціей, привычками, патологическими условіями и проч.; существуютъ также весьма спорные случаи». Писатель, полагаемъ мы, оказался вѣрнымъ дѣйствительности и обнаружилъ обширную наблюдательность, если подмѣтилъ сущность психическаго состоянія, называемаго внушеніемъ въ его наиболѣе отличительныхъ свойствахъ.

---

[1]) Крафтъ-Эбингъ. Экспериментальное изслѣдованіе въ области гипнотизма, 1889, XI.

[2]) Pierre Janet, ib. p. 71.

[3]) Рибо. Болѣзни воли, 139.

къ назначенному сроку бумаги, данныя ему начальникомъ. Не то, чтобъ онъ забылъ о долгѣ, но онъ обманулъ себя, чтобъ постылымъ трудомъ не помѣшать дорогому счастью, чтобъ на нѣсколько времени не думать объ этомъ трудѣ. Но трудъ неумолимо встаетъ, наконецъ, предъ нимъ; онъ надѣется кончить; онъ пишетъ и пишетъ до тѣхъ поръ, пока товарищъ его по комнатѣ «съ ужасомъ не замѣтилъ, что Вася водитъ по бумагѣ сухимъ перомъ, перевертываетъ совсѣмъ бѣлыя страницы и спѣшитъ, спѣшитъ наполнить бумагу, какъ-будто онъ дѣлаетъ отличнѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ дѣло!» Бѣднякъ сошелъ съ ума отъ «слабаго сердца» на мысли, что его отдадутъ въ солдаты (такое наказаніе было тогда не рѣдкостью), и въ истерзанномъ мозгу его стояла неотразимо одна только мысль: «За что же ее убивать? Чѣмъ же она, чѣмъ же она виновата? — Прощай, моя люба! Прощай, моя люба!» шепталъ онъ, качая бѣдной своей головой. Сердце сжимается болью отъ этой ненужной жертвы, отъ этой бѣды, какъ бы упавшей съ неба. Кто виноватъ въ этомъ несчастьи Васи? Неужели только слабое сердце? И Васю, какъ и господина Голядкина, увезли въ сумасшедшій домъ. Счастье его, что въ бреду станетъ ему грезиться его «люба», тогда какъ Голядкинъ не отдѣлается отъ представленія «своихъ враговъ, согласившихся погубить его». Задумался другъ Васи: «Какая-то странная дума посѣтила осиротѣлаго товарища бѣднаго Васи. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ-будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключомъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ-будто только теперь понялъ всю эту тревогу и узналъ, отчего сошелъ съ ума его бѣдный, не вынесшій своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ, и какъ-будто прозрѣлъ во что-то новое въ эту минуту»...

Эти три разсказа Достоевскаго изъ первой поры его литературной дѣятельности кажутся намъ лучшими; въ нихъ авторъ съ грустною думою подходитъ къ дѣйствительности и пытается изобразить въ лицахъ, въ людяхъ, не выхваченныхъ изъ жизни и изученныхъ съ строгою наблюдательностью, а созданныхъ его воображеніемъ и глубоко обдуманныхъ, каково должно быть на нихъ вліяніе окружающей и гнетущей ихъ среды. Сознательная мысль, которая легла въ основу этихъ произведеній, внушена была автору современною критикою, которая была учительницею и общества и авторовъ. Правда, какъ за Дѣвушкинымъ выглядываетъ Гогоголевскій обладатель шинели, такъ за Голядкинымъ и Васей подымается знакомая всѣмъ фигура Аксентія Ивановича Поприщина, но связь этихъ второстепенныхъ повтореній первоначальнаго типа со средою, ихъ создавшею, яснѣе создается читателемъ. Современная критика упрекала Достоевскаго за то, что онъ «любитъ сумасшествіе — для сумасшествія», но это не такъ: упорное, болѣзненное и постоянное вращеніе въ сферѣ идей, близко граничащихъ съ душевною болѣзнью,

которая сама возникала подъ вліяніемъ соціальныхъ причинъ, было сущностью таланта Достоевскаго. Оно вызывалось и тою странною жизнью, какую велъ онъ, уже страдающій нервными припадками. Большая повѣсть «Хозяйка» (1847 г.), по словамъ тогдашней критики, «порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до крайности фантазія» (П. В. Анненковъ, «Воспом. и критич. оч.» II, 23). Достоевскій взялся въ ней за лица, какихъ онъ никогда не видалъ, за изображеніе совершенно незнакомой ему жизни; его фантазія, опиравшаяся на знакомый ему міръ бѣднаго петербургскаго чиновничества, оказалась въ этомъ случаѣ совершенно безсильною, а странный языкъ въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ — безжизненною поддѣлкою подъ народную рѣчь. Недостатокъ наблюденія, необходимый для автора, бросается въ глаза читателю особенно въ тѣхъ разсказахъ Достоевскаго, которые онъ началъ писать въ 1848 году, подъ названіемъ «Разсказы бывалаго человѣка». Эти разсказы одолжены своимъ появленіемъ «Запискамъ Охотника». Художественные, простые, проникнутые поэзіей и тонкою наблюдательностью очерки Тургенева, знакомаго съ тѣмъ, что онъ описываетъ, стали пользоваться тогда чрезвычайнымъ успѣхомъ. Міръ, изображаемый Достоевскимъ, совсѣмъ иной. Это тѣ же жалкіе обитатели бѣдныхъ петербургскихъ «угловъ», придавленные нуждою, горемъ и пьянствомъ; это не жизнь дѣйствительная, да и самъ «бывалый человѣкъ», какъ называетъ себя авторъ, говоритъ, что онъ «живетъ уединенно, совсѣмъ затворникомъ. Знакомыхъ у меня почти никого; выхожу я рѣдко. Десять лѣтъ проживъ глухаремъ, я, конечно, привыкъ къ уединенію». Откуда же взять ему наблюдательности, необходимой автору? *Буличъ.*

Глубокое познаніе жизни человѣка и способность чувствовать чужое горе, какъ источникъ поэтическаго творчества Достоевскаго въ повѣстяхъ: «Хозяйка» «Село Степанчиково и его обитатели».

Значеніе появившагося въ наше время ученія о внушеніи или гипнотизмѣ сравнивается нѣкоторыми учеными съ тѣмъ, какое имѣло для человѣчества открытіе законовъ кровообращенія, электричества и другихъ крупныхъ законовъ въ области естествознанія. Внѣшняя же сторона обнаруженныхъ въ этой области путемъ экспериментаціи явленій представляется настолько необыкновенной, идущей въ разрѣзъ съ сложившимися понятіями объ естественномъ и нормальномъ, что вызываетъ не только въ обществѣ, но и среди нѣкоторыхъ представителей науки сомнѣнія относительно реальности ихъ.

Усиліями научныхъ представителей ученія о внушеніи установленъ съ несомнѣнностью фактъ существованія такихъ формъ

искусственно созданнаго вліянія человѣка на человѣка, при помощи котораго область сознанія лица можетъ быть частью или полностью уничтожена, а также можетъ быть до крайняго напряженія возбуждена; выяснена возможность развитія путемъ внѣшняго воздѣйствія на человѣка моноидеизма, или, иначе, безсилія и неспособности къ оживленію, принадлежащихъ къ области воспоминаній, идей, при чёмъ путемъ внушенія одной идеи оказывается возможнымъ подчинить человѣка полностью волѣ другого на время и притомъ не переводя его въ категорію сумасшедшихъ; обнаруживается возможность, при помощи самыхъ обыкновенныхъ пріемовъ, заставить человѣка не видѣть, не слышать, не осязать тѣ предметы, которые воспринимаются его пятью чувствами, или наоборотъ, видѣть, слышать и осязать несуществующіе объекты; можно на опредѣленный періодъ времени лишить человѣка памяти къ удержанію воспринятыхъ впечатлѣній, — заставить, напримѣръ, забыть свое имя или опредѣленныя буквы алфавита и тому подобное; можно произвести вивисекцію его души, наблюдая при этомъ за отправленіями его духовной жизни такъ же, какъ физіологи наблюдаютъ за дѣйствіями тѣлеснаго организма, производя надъ нимъ разные физическіе опыты; короче, возможно, выражаясь медицинскимъ языкомъ, создать по произволу амнезію, любопытнѣйшіе эффекты со стороны произвольныхъ мышцъ, галлюцинаціи, иллюзіи, гиперестезію, измѣнить питаніе тканей и создать исключительное, по характеру, отношеніе гипнотизера къ загипнотизированному субъекту. Реальность этихъ и многихъ другихъ явленій, еще въ недавнемъ прошломъ признававшихся невѣроятными, въ настоящее время стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній и по произволу экспериментатора воспроизводится при помощи самыхъ простыхъ манипуляцій.

Но констатированіемъ существованія этихъ чудесныхъ по внѣшности явленій не ограничиваются результаты, достигнутые современными научными изслѣдованіями въ области внушеній. Давая объясненія указаннымъ явленіямъ, наука устанавливаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ такою же несомнѣнностью, что производимыя нынѣ путемъ экспериментовъ явленія только для невнимательнаго наблюдателя могутъ казаться чрезвычайными, тогда какъ въ дѣйствительности явленія внушеній существовали всегда, не находя только научнаго для себя освѣщенія. Внушеніе въ смыслѣ акта, чрезъ посредство котораго идеи вводятся и воспринимаются мозгомъ другого человѣка, старо, какъ міръ, говоритъ профессоръ Бернгеймъ[1]). Оно практиковалось въ религіозной, мистической и томатургической практикѣ, равно какъ въ терапевтикѣ. Внушеніе проявляло свое господство во всей исторіи человѣчества, начиная съ перваго грѣха, внушеннаго Евѣ змѣемъ, а Евою Адаму, до величайшихъ войнъ, зачатыхъ религіознымъ или политическимъ фанатизмомъ, равно какъ до кровавыхъ ужасовъ,

---

[1]) Bernheim. Hypnotisme, suggestion, psychothérapis. 1891, p. 24, 63, 498.

революцій и коммуны... Народъ дѣлался ангеломъ или демономъ потому, что былъ всегда способенъ воспринимать внушеніе.

Вліяніе внушенія проявлялось и внѣ исторической обстановки, въ жизни отдѣльнаго человѣка, и если до послѣдняго времени не всегда замѣчалось, то не потому, чтобы существованіе его было проблематично, а потому, что, какъ замѣтилъ еще Жанъ-Жакъ Руссо, для наблюденія каждодневно усматриваемыхъ явленій требуется много философіи. Въ дѣйствительности вся жизнь человѣка въ семьѣ и въ обществѣ представляется цѣлымъ рядомъ внушеній, оказываемыхъ на него другими людьми. Просьбы, убѣжденія, приказы, угрозы, слезы, мимика и тому подобныя средства воздѣйствія человѣка на человѣка представляются явленіями, свойственными обычной будничной жизни, при чёмъ каждое изъ чувствъ человѣка можетъ служить путемъ, которымъ передаются мозгу эти воздѣйствія, достигая результатовъ разнообразныхъ до безконечности. Въ ряду этихъ способовъ воздѣйствія людей другъ на друга, внушеніе является средствомъ, при помощи котораго искусственно проявляется это вліяніе и при томъ въ чрезвычайной степени.

Мнѣнія представителей науки расходятся однако въ опредѣленіяхъ степени силы этого вліянія. Льежуа сравниваетъ, напримѣръ, загипнотизированнаго человѣка съ глиной, изъ которой можно лѣпить желаемыя формы. Бони сравниваетъ его съ палкою, находящеюся въ рукахъ путешественника. Бине и Ферре, наоборотъ, полагаютъ, что подвергнутый дѣйствію внушенія человѣкъ не имѣетъ ничего общаго съ автоматомъ, и что произведенные опыты свидѣтельствуютъ о томъ, что всякая попытка заставить загипнотизированнаго рѣшиться на какое-нибудь дѣйствіе, противорѣчащее его природѣ или складу его мыслей, возбуждаетъ со стороны этого лица протесты.

Что касается сущности той силы, которая проявляется во внушеніи, то по этому предмету вопросъ о свойствахъ ея остается понынѣ невыясненнымъ, существующія же научныя теоріи сводятся къ тремъ группамъ. По воззрѣніямъ теоріи такъ называемаго животнаго магнетизма, адептомъ которой былъ Месмеръ, гипнотизеръ обладаетъ особою способностью воздѣйствовать на лицо, испытывающее его вліяніе; тутъ проявляется особая сила (un fluide), проникающая всю нервную систему паціента и превращающая его въ рукахъ магнетизера въ настоящую маріонетку. Теорія эта въ настоящее время признается отвергнутой. Она уступила мѣсто двумъ другимъ теоріямъ: во-первыхъ, теоріи невроза, по которой гипнотическое состояніе есть не болѣе какъ состояніе патологическое, въ которое впадаютъ нѣкоторые, предрасположенные къ нему паціенты, и притомъ состояніе, характеризующееся спеціальными симптомами. Профессоръ Шарко и ученики его по Salpetrière, проводящіе это воззрѣніе, признаютъ, что сила гипнотизма проявляется въ троякаго рода классическихъ состояніяхъ: каталепсіи, летаргіи и сомнамбулизмѣ. Другая же теорія — теорія внушенія, поддерживаемая

невропатологами школы Нанси, видитъ въ гипнотическомъ состояніи не патологическое, а психологическое состояніе, обусловливающееся психической склонностью субъекта подчиняться внѣшнему внушенію. Они отрицаютъ гипнотическое состояніе въ смыслѣ особаго трансоподобнаго состоянія, лишающаго паціента произвольности и подчиняющаго его внушенію извнѣ. Эта послѣдняя теорія, по удостовѣренію профессора James (The principles of Psychology, 1890), въ настоящее время окончательно одерживаетъ верхъ надъ теоріей невроза. Очевидно, что объемъ явленій, относящихся къ области внушеній, по воззрѣніямъ этихъ двухъ школъ, различенъ, и задавшись въ настоящей статьѣ цѣлью выяснить, что даетъ намъ въ произведеніяхъ своихъ Достоевскій въ отношеніи явленій внушенія, мы, при дальнѣйшемъ изложеніи, будемъ имѣть въ виду то внушеніе, о которомъ говорятъ представители послѣдней теоріи, т.-е. о внушеніи, имѣющемъ значеніе явленія психологическаго свойства.

Но если, такимъ образомъ, новы не явленія внушенія, а лишь научная эксплуатація ихъ, и если внушенія имѣютъ значеніе факта психологическаго, то, спрашивается, могъ ли такой крупный представитель литературной силы, какъ Достоевскій, просмотрѣть явленія внушенія и не дать имъ мѣста въ своихъ произведеніяхъ? Могъ ли Достоевскій, этотъ тонкій психологъ, для котораго были открыты всѣ самые сокровенные моменты жизни человѣка, не видѣть явленій внушенія, равно какъ той обширной области безсознательнаго, въ которой они проявляютъ свое дѣйствіе? Какъ ни велико было значеніе субъективизма, отпечатлѣвавшагося во всѣхъ произведеніяхъ Достоевскаго, но имъ не уничтожалось чуткое отношеніе его къ реальнымъ сторонамъ жизни, которую онъ постоянно наблюдалъ и изъ которой почерпалъ матеріалы для своего творчества. Если даже и признать справедливымъ упрекъ, сдѣланный въ нашей литературѣ Достоевскому, что онъ смотрѣлъ на явленія психической жизни чрезъ увеличительное стекло, не соблюдая при этомъ законовъ перспективы, и что поэтому создаваемые имъ образы пріобрѣтали у него оболочку, не соотвѣтствующую размѣрамъ дѣйствительности, то и это обстоятельство не уничтожаетъ возможности видѣть въ немъ одного изъ самыхъ глубокихъ выразителей психической жизни. Если онъ и заслуживалъ упрека въ томъ, что грѣшилъ въ отношеніи требованій художественности при обобщеніи явленій жизни, то, тѣмъ не менѣе, слава глубокаго знатока душевной жизни человѣка, общепризнанная за нимъ, представляется вполнѣ заслуженной. Но независимо отъ наблюденій внѣшней жизни, у Достоевскаго былъ и другой источникъ для творчества, заключавшійся въ наблюденіяхъ свей личной психической жизни. Въ немъ съ особенной силою была развита способность, которая, по его мнѣнію, характеризуетъ всякаго русскаго человѣка — способность чувствовать чужое чувство, и благодаря ей, ему удавалось подмѣтить и выразить такія явленія внутренняго міра, которыя для другихъ наблюдателей оказывались недоступными.

Въ русской литературѣ имѣется прекрасный трудъ профессора Чижа[1]), въ которомъ онъ подвергъ уже произведенія Достоевскаго изслѣдованію съ точки зрѣнія патологіи. Онъ пришелъ въ немъ къ окончательному выводу, что Достоевскій въ изображеніи явленій въ области психіатріи до нѣкоторой степени опередилъ науку; что въ его трудахъ имѣется почти полная психопатологія, и что отношенія нѣкоторыхъ формъ невропатическаго состоянія, напримѣръ эпилептическія страданія, равно какъ форма нравственнаго помѣшательства, представляются классическими и достойными того, чтобы попасть въ курсъ науки по этому предмету. Невозможно допустить, чтобы Достоевскій, извлекшій на свѣтъ тончайшія проявленія патологической и психологической жизни человѣка, оказался незрячимъ и неспособнымъ въ воспринятіи явленій внушенія. Онъ самъ видѣлъ свое назначеніе въ томъ, чтобы быть выразителемъ жизни, и сознавалъ, что въ этомъ отношеніи онъ могъ много сдѣлать. Въ записной книжкѣ своей онъ замѣчаетъ: «Меня зовутъ психологомъ; — неправда: я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всю глубину души человѣческой».

Такимъ образомъ общій взглядъ на Достоевскаго и оцѣнка свойствъ его таланта даютъ основаніе къ заключенію a priori, что если только достоинъ Достоевскій того высокаго положенія въ литературѣ, какое онъ занялъ не только у насъ, но и далеко за предѣлами нашего отечества, то у него должны быть данныя для характеристики явленій внушенія. Ближайшее разсмотрѣніе трудовъ его съ этой точки зрѣнія, дѣйствительно, полагаемъ мы, доказываетъ, что Достоевскій, задолго до образованія существующаго нынѣ научнаго направленія о внушеніи, подмѣтилъ и изобразилъ такія событія жизни, которыя, будучи фактами психологическаго свойства, относятся къ области безсознательнаго и не могутъ быть объяснены одними только мотивами дѣйствія. Онъ познакомилъ насъ съ такимъ господствомъ человѣка надъ человѣкомъ, которое для людей, не обладающихъ наблюдательностью Достоевскаго, могло до послѣдняго времени показаться невѣроятнымъ и неестественнымъ и которое тѣмъ не менѣе воспроизводится теперь при экспериментаціи внушеніемъ. Не исчерпывая всего того, что можно извлечь по этому предмету изъ произведеній Достоевскаго, мы ограничимся лишь указаніемъ на тѣ его произведенія, которыя представляютъ въ этомъ отношеніи наиболѣе обильный матеріалъ, а именно — на его повѣсти: «Хозяйка», «Село Степанчиково», «Идіотъ» и «Преступленіе и наказаніе».

Но прежде чѣмъ перейти къ ближайшему разсмотрѣнію указанныхъ произведеній, необходимо предпослать одно относящееся до внушенія положеніе, а именно, что внушеніе распадается на двѣ группы: во-первыхъ, внушеніе, сопровождающееся гипнозомъ, и во-

---

[1]) Достоевскій, какъ психологъ. «Русскій Вѣстникъ» 1884 года, № 5 и 6.

вторыхъ, внушеніе безъ гипноза, при чёмъ послѣднее распадается въ свою очередь на: а) внушеніе, производимое посредствомъ другого лица и б) самовнушеніе. Разумѣется, каждая изъ указанныхъ формъ внушенія можетъ составить предметъ беллетристическаго произведенія; но у Достоевскаго мы находимъ только намеки на первую группу внушеній, т.-е. на внушенія, сопровождающіяся гипнозомъ. Это обстоятельство объясняется, полагаемъ мы, не только тѣмъ, что въ то время, къ которому относится большая часть написаннаго Достоевскимъ, жизнь не знала современнаго ученія о гипнозѣ (она знала лишь существованіе ученія о животномъ магнетизмѣ), но также и тѣмъ, что эта форма внушенія представляетъ самый неблагодарный предметъ для содержанія художественнаго произведенія. Приведенный въ искусственное сомнамбулическое состояніе, субъектъ не представляетъ изъ себя въ психологическомъ отношеній такого субъекта, который могъ бы дать цѣнный матеріалъ для психологической оцѣнки, и существующія въ западноевропейской литературѣ произведенія этого рода, какъ увидимъ далѣе, служатъ тому доказательствомъ.

Что касается внушенія, не сопровождающагося гипнотизмомъ, то Достоевскій далъ намъ весьма многое, при чёмъ въ «Преступленіи и наказаніи», въ лицѣ Раскольникова, изобразилъ намъ подмѣченный уже въ западно-европейской литературѣ типъ человѣка, дѣйствующаго подъ вліяніемъ самовнушенія; въ другихъ трехъ указанныхъ нами произведеніяхъ внушеніе осуществляется у него при помощи посторонняго лица.

Что существуютъ случаи внушенія безъ гипноза, объ этомъ говорятъ намъ многіе изъ авторитетныхъ представителей разсматриваемаго ученія. «Природа»,—замѣчаетъ профессоръ Льежуа[1]), — «при извѣстныхъ условіяхъ, создаетъ сама тѣ явленія, которыя мы въ настоящее время производимъ искусственно. Она создаетъ сомнамбулъ такъ же, какъ и мы». «Со стороны практической»,—говоритъ другой изслѣдователь, Пьеръ Жанне[2]), — «иногда полезно гипнотизировать лицъ для того, чтобы воздѣйствовать на нихъ внушеніемъ. Внушимость можетъ быть полная и безъ посредства гипноза и, наоборотъ, она можетъ совершенно отсутствовать при гипнозѣ». «Для того, чтобы существовало внушеніе,—говоритъ профессоръ Бернгеймъ[3]), — нужно, чтобы внушенная идея была принята мозгомъ, чтобы лицо, которому ее внушаютъ, вѣрило ей... Среди средствъ, создающихъ эту вѣру и влекущихъ дальнѣйшее превращеніе идеи въ дѣйствіе, нѣтъ болѣе полезнаго средства, какъ гипнозъ; но гипнотическій сонъ, самъ по себѣ взятый, есть уже явленіе внушенія; имъ усиливается, но не создается способность воспріятія внушенія». Бернгеймъ предлагаетъ даже совершенно уничтожить слово «гипнозъ»,

---

[1]) Liegois, De la suggestion. 1889, p. 419.

[2]) Pierre Janet, L'automatisme psychologiqne. 1889, p. 170—1.

[3]) Bernheim: ib. p. 15, 61, 76.

замѣнивъ его выраженіемъ «состояніе внушенія» (état de suggestion). Но такое сведеніе гипноза лишь къ простому средству (и притомъ далеко не единственному) учиненія внушенія и взглядъ на послѣднее, какъ на явленіе, не зависящее отъ гипноза, не лишаетъ ли состояніе внушенія характера, отмѣченнаго специфическими признаками? На вопросъ этотъ, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія приведенныхъ авторитетовъ, приходится отвѣтить утвердительно, не теряя изъ виду этого отвѣта при дальнѣйшей установкѣ данныхъ, извлеченныхъ изъ произведеній Достоевскаго. Утвержденіе Крафта-Эбинга[1]) о томъ, что гипнотизмъ, какъ біологическое явленіе природы, представляетъ эмпирически ясные, подлинные и объективные симптомы, далеко не раздѣляется тѣми, которые видятъ во внушеніи явленіе психологическое. Указанный выше Пьеръ Жане[2]), совмѣстно съ приводимыми имъ авторитетами, приходитъ къ опредѣленно выраженному заключенію, что психическій автоматизмъ, характеризующій внушеніе, не имѣетъ такихъ физическихъ симптомовъ, по которымъ можно было бы по внѣшнему обозрѣнію ихъ распознать внушеніе, и что оно можетъ быть узнано единственно чрезъ выясненіе психологическаго его характера.

Такимъ образомъ оказывается, что въ научной литературѣ есть цѣлое направленіе, видящее во внушеніи фактъ психологическаго характера, явленія котораго могутъ существовать часто совершенно независимо отъ дѣйствій гипноза и притомъ не выражаться въ ясно отмѣченныхъ физическихъ признакахъ. Если при этомъ принять еще во вниманіе, что внушеніе, какъ психологическій факторъ, обнаруживается въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ напряженія, начиная съ состояній, порождаемыхъ разсѣянностью, привычками и страстями, присущими нормальному человѣку, и кончая состояніемъ каталептическимъ, при которомъ лицо остается безъ движенія, нѣмымъ, но не прекращающимъ своихъ отношеній къ внѣшнему міру и сосредоточеннымъ на одной идеѣ, то сдѣлается яснымъ, что прилагать къ произведеніямъ писателя точную, опредѣленную мѣрку этого состоянія нельзя. «Термины гипнотизма и его аналоги,—говоритъ Рибо[3]), не обозначаютъ нѣчто опредѣленное и неизмѣнное у всѣхъ и всегда; это состояніе измѣняется у одного и того же индивидуума, переходя отъ простого усыпленія къ полному оцѣпенѣнію, и у различныхъ индивидуумовъ, сообразно съ ихъ организаціей, привычками, патологическими условіями и проч.; существуютъ также весьма спорные случаи». Писатель, полагаемъ мы, оказался вѣрнымъ дѣйствительности и обнаружилъ обширную наблюдательность, если подмѣтилъ сущность психическаго состоянія, называемаго внушеніемъ въ его наиболѣе отличительныхъ свойствахъ.

---

[1]) Крафтъ-Эбингъ. Экспериментальное изслѣдованіе въ области гипнотизма, 1889, XI.

[2]) Pierre Janet, ib. p. 71.

[3]) Рибо. Болѣзни воли, 139.

Первымъ произведеніемъ Достоевскаго, въ которомъ отмѣчается имъ въ ясныхъ очертаніяхъ психологическая сила внушенія, была появившаяся въ 1847 году въ печати повѣсть «Хозяйка»[1]). Повѣсть эта не получила и по настоящее время удовлетворительной литературной оцѣнки; въ моментъ же своего появленія вызвала общее недоумѣніе и послужила основаніемъ къ весьма невыгодному заключенію о силѣ и направленіи таланта Достоевскаго. По словамъ Анненкова, тогдашняя критика находила, что эта повѣсть «порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до крайности фантазія». Бѣлинскій, восторженно привѣтствовавшій предшествовавшее произведеніе Достоевскаго, «Бѣдные люди», отнесся къ этому произведенію до крайности сурово. «Что это такое?» спрашивалъ онъ, и отвѣчалъ: «Это — чудовище, напоминающее теперь фантастическіе разсказы Тита Космократова, забавлявшаго публику въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія; все изыскано, натянуто, на ходуляхъ поставлено и фальшиво... Что это такая за странная вообще, непонятная вещь?...» Но если въ ту пору возможно было ограничиться и удовлетвориться постановкою такихъ приговоровъ о Достоевскомъ, когда онъ, въ качествѣ начинающаго, былъ неизвѣстной величиной, то теперь эпитеты: «чудовище», «странная, непонятная вещь» о произведеніяхъ человѣка, принадлежащаго къ самымъ крупнымъ силамъ нашей литературы, никого удовлетворить не могутъ. Нельзя допустить, чтобы природа, всюду проявляющая послѣдовательность и постепенность развитія, для Достоевскаго сдѣлала исключеніе, и чтобы человѣкъ, какъ Достоевскій, занявшій выдающееся литературное мѣсто, затѣмъ постепенно росшій въ своей силѣ, создалъ вещь до невозможности слабую и не допускающую объясненій. Ученіе о внушеніи даетъ, полагаемъ мы, цѣнное указаніе для пониманія этой повѣсти и для выясненія того дѣйствительно исключительнаго вліянія, какое проявляетъ въ ней старикъ Муринъ надъ молодой Катериной и изложеніе котораго составляетъ все содержаніе этой повѣсти.

Молодой человѣкъ Ордыновъ, отъ лица котораго ведется разсказъ и на душевныхъ страданіяхъ котораго отпечатлѣвается исключительность отношеній Катерины къ старику Мурину, встрѣчается въ церкви съ двумя лицами, сразу поразившими его своимъ обликомъ и своими дѣйствіями. Онъ видѣлъ, «какъ чудно прекрасная» двадцатилѣтняя женщина (Катерина) упала ницъ предъ иконою; онъ слышалъ ея глухія рыданія; онъ видѣлъ, какъ прибывшій съ нею старикъ (Муринъ) «высокаго роста, еще прямой и бодрый, но худой и болѣзненно блѣдный» взялъ конецъ покрова, висѣвшаго у подножія иконы, и покрылъ ея голову. Глухія рыданія раздались

[1]) Ссылки на страницы произведеній Достоевскаго сдѣланы по 4-му изданію 1892 года.

въ церкви...» Ордыновъ сразу влюбился въ эту таинственную незнакомку, сталъ преслѣдовать ее, ни на минуту не покидавшую старика, и, наконецъ, въ качествѣ жильца поселился въ отдававшейся ими внаймы каморкѣ, въ убогой по обстановкѣ квартирѣ ихъ.

Весь дальнѣйшій разсказъ сводится къ изложенію того, что передала ему, Ордынову, эта молодая хозяйка его, Катерина, изъ исторіи своихъ отношеній къ старику Мурину и изъ того, что наблюдалъ самъ Ордыновъ въ этихъ отношеніяхъ двухъ, повидимому, не подходившихъ другъ къ другу личностей. Слышанное и видѣнное Ордыновымъ дѣйствительно могло показаться Бѣлинскому какой-то дичью, но едва ли покажется оно таковымъ тому, кто познакомился хотя бы съ частью фактовъ, собранныхъ въ богатой литературѣ о внушеніи.

Разсказъ Катерины даетъ матеріалъ къ заключенію, что старикъ Муринъ овладѣлъ ею и покорилъ ее не своими душевными свойствами, и притомъ сразу. Въ глухую и грозную ночь, когда Катерина съ матерью сидѣли вдвоемъ дома, а «вѣтеръ вылъ въ лѣсу какъ никогда», послышался въ полночь стукъ у воротъ и Катерина, взявъ фонарь, пошла отворять ворота. «Это былъ *онъ!* (курсивъ въ подлинникѣ). Мнѣ стало страшно, затѣмъ, что мнѣ всегда страшно было, какъ онъ приходилъ; и съ самаго дѣтства такъ было, какъ только память во мнѣ родилась... разсказываетъ Катерина. — И вдругъ глянулъ онъ на меня... Такъ глянулъ... Первый разъ онъ такъ глядѣлъ на меня» (365). Близкія отношенія соединяли старика съ матерью Катерины, и не даромъ въ эту ночь «мать грустила и горько плакала», а когда онъ вошелъ въ избу, то «обмерла», хотя и бросилась къ нему. Эта ночь имѣла для матери и дочери роковое значеніе. Въ эту ночь назрѣла у этого, овладѣвшаго двумя женскими существами, человѣка жестокая мысль. «А нужно мнѣ ворога уходить, съ старой любой подобру-поздорову проститься, а новой, молодой, какъ ты, красной дѣвицѣ, душой поклониться», сказалъ онъ Катеринѣ, и та засмѣялась и «сама — говоритъ — не знаю, какъ его нечистая рѣчь въ мое сердце дошла» (368). Это преступное и, казалось бы, несбыточное намѣреніе — замѣнить для себя мать красавицей-дочерью, которой онъ вселялъ только чувство страха, и притомъ не отлагая дѣла въ долгій ящикъ, а чрезъ нѣсколько дней послѣ назрѣвшей рѣшимости, оказалось для старика Мурина вполнѣ подъ силу. И какъ приводитъ онъ эту свою рѣшимость въ исполненіе? Рядомъ преступленій, о которыхъ откровенно къ тому же разсказалъ этой невинной дѣвушкѣ еще до побѣга съ нею, и притомъ преступленій, направленныхъ противъ ея же родителей. Но лучше передадимъ разсказъ устами самой Катерины.

«Вдругъ слышу крикъ... Слышу, по двору люди до завода бѣгутъ... Слышу говоръ: «заводъ горитъ». Я въ окно свѣсилась; вижу, несутъ батюшку мертваго. Слышу, говорятъ между собою: «оступился съ лѣстницы, въ котелъ раскаленный упалъ: знать, нечистый его

туда подтолкнулъ»... Я припала на постель; жду, сама вся замерла, и не знаю, чего и кого ждала; только тяжело у меня было въ этотъ часъ... Вдругъ слышу — кто-то меня за плечи подымаетъ... Смотрю, сколько глядѣть могу... *Онъ* весь опаленный, и кафтанъ его, горячій наощупь, дымится. «За тобой пришелъ, красная дѣвица; уводи жъ меня отъ бѣды, какъ прежде на бѣду наводила; душу свою я за тебя сгубилъ. Не отмолить мнѣ этой ночи проклятой! Развѣ вмѣстѣ будемъ молиться»!... Смѣялся онъ — злой человѣкъ! «Покажи, говоритъ, какъ пройти, чтобъ не мимо людей». Я взяла его за руку и повела за собою... Онъ схватилъ меня на могучія руки, обнялъ и выпрыгнулъ со мною вонъ изъ окна... Мы побѣжали съ нимъ рука въ руку... Долго бѣжали. Смотримъ — густой, темный лѣсъ... «Садись, Катя, со мною»... Я молчу... Сѣла, прижалась къ нему и забылась совсѣмъ у него на груди. Словно сонъ какой нашелъ на меня, а какъ очнулась, — вижу, стоимъ у широкой-широкой рѣки. Онъ слѣзъ, меня съ лошади снялъ и пошелъ въ тростникъ: тамъ онъ лодку свою затаилъ... Я бросилась къ коню батюшкину и крѣпко на разлуку обняла его... Потомъ мы сѣли (въ лодку), онъ весла взялъ, и мигомъ стало намъ береговъ не видать»...

Такъ совершилось бѣгство, послѣ котораго далѣе упрека никогда не шла Катерина въ своемъ протестѣ, и притомъ упрека, въ которомъ ясно проявляется сознаніе Катерины, что въ ней живетъ какъ бы два человѣка: прежняя Катерина — свободная, вполнѣ располагавшая собою, и эта новая, которую Муринъ сдѣлалъ своей рабой... Съ сердцемъ объясняла она впослѣдствіи въ разговорѣ съ нимъ по поводу его ласковыхъ словъ: «Любъ или не любъ ты пришелся мнѣ — знать, не мнѣ про то знать, а, вѣрно, другой-какой, не разумной, безстыжей, что свѣтлицу свою дѣвичью въ темну ночь опозорила, за смертный грѣхъ душу свою продала, да сердца своего не сдержала безумнаго: да знать про то, вѣрно, моимъ горючимъ слезамъ да тому, кто чужой бѣдой воровски похваляется, надъ дѣвичьимъ сердцемъ насмѣхается!» Сказала, да не стерпѣла — заплакала. Онъ поглядѣлъ и сказалъ ей: «Я дамъ тебѣ великое слово: насколько счастья мнѣ подаришь, настолько буду и я господинъ, а не взлюбишь когда — и не говори, словъ не роняй, не трудись, а двинь только бровью своей соболиною, поведи чернымъ глазомъ, мизинцемъ однимъ шевельни, и отдамъ тебѣ назадъ любовь твою съ золотою волюшкою»...

Развѣ это — не рѣчь побѣдителя къ побѣжденной? Развѣ всѣ отношенія Мурина къ Катеринѣ не свидѣтельствуютъ о томъ, что старикъ, какъ гипнотизеръ, оставилъ своей жертвѣ только ту долю самостоятельности, которую признавалъ для себя желательнымъ ей оставить? Такія отношенія не складываются при обыкновенныхъ, будничныхъ условіяхъ жизни, и мы вѣримъ автору, когда онъ говоритъ, что, слушая Катерину, Ордыновъ не понималъ, что говорила ему она, какъ не понимала и Катерина источника испыты-

ваемаго ею надъ собою вліянія старика. Она видѣла въ немъ, сообразно своимъ понятіямъ, нечистаго, который ея «душу загубилъ». Въ этой оцѣнкѣ старика Катерина дѣлала ту же ошибку, какую дѣлали средніе вѣка, дѣлаютъ многіе и въ наше время, объясняя себѣ наважденіемъ дьявольской силы тѣ явленія, которыя находятъ уже полное объясненіе въ естественно-научныхъ познаніяхъ нашего времени. Но впадая въ ошибку при выясненіи значенія старика, Катерина вполнѣ вѣрно анализируетъ самоё себя и въ этомъ анализѣ устанавливаетъ черты, характеризующія состояніе, въ которомъ находятся люди, испытывающіе на себѣ во время экспериментовъ дѣйствіе внушенія. «То мнѣ горько и рветъ мнѣ сердце», говорила она, «что я рабыня его опозоренная... Въ томъ мое горе, что нѣтъ силы въ немъ (въ сердцѣ) и нѣтъ гнѣва за обиду свою» (371).

Что могло бы спасти Катерину отъ вліянія старика? Для спасенія ея требовалось, чтобы другой, сильный волею человѣкъ завладѣлъ ею и увелъ ее отъ него; чтобы явился новый надъ нею господинъ, который увелъ бы ее отъ Мурина и прежде всего отъ непосредственнаго общенія со старикомъ, властелиномъ ея. Пылкая любовь, которою воспылалъ къ ней Ордынинъ, была не въ состояніи сыграть этой роли, и Катерина оттолкнула его. Описывая послѣднюю сцену свиданія съ Катериною и со старикомъ, Ордынинъ говоритъ, что въ Катеринѣ будто одна мысль, одна неподвижная идея увлекала ее всю, и попытка Ордынова отвлечь ее отъ старика не привела ни къ чему.

Былъ еще другой человѣкъ, который, если бы былъ въ состояніи хотя на время освободить ее отъ старика, спасъ бы Катерину изъ его рукъ. Это — Алеша, который явился къ ней чрезъ годъ послѣ ея бѣгства изъ родительскаго дома и съ которымъ ее когда-то еще въ дѣтствѣ старики повѣнчали. Съ приходомъ Алеши наплывъ прежнихъ ощущеній ранней молодости могъ бы, при условіи временнаго отсутствія старика изъ дома, совершить благодѣтельный переломъ въ ея жизни. Она уже согласилась съ нимъ бѣжать, навязала даже узелокъ, чтобы итти къ рѣкѣ и садиться съ нимъ въ лодку: но неждано-негадано возвращается домой старикъ, и она — снова подъ его вліяніемъ, не въ силахъ возстать противъ его господства. Покорная раба старика, она даже дѣлается безучастной свидѣтельницей расправы его на рѣкѣ съ Алешею, о которой хотя не совсѣмъ ясно, но тѣмъ не менѣе намеками разсказываетъ Ордынову.

Но не по одному только разсказу Катерины, а также и по тому, что непосредственно наблюдалъ Ордыновъ въ отношеніяхъ Катерины къ Мурину, можно заключить о степени подавленности въ ней своего «я». Облегчившая свою душу въ бесѣдѣ съ Ордыновымъ Катерина, на первыхъ порахъ своего знакомства, еще не успѣла окончить разсказа о томъ, что произошло съ Алешею, какъ снова раздался надъ нею глухой, хриплый голосъ: «Иди ко мнѣ, Катерина!» Кровь мгновенно опалила ея блѣдныя щеки, и она медленно при-

поднялась съ постели. «Доброй ночи тебѣ», сказала Катерина и страстно поцѣловала Ордынова, уходя изъ комнаты (373—374). Въ этомъ безропотномъ исполненіи Катериною требованія о приходѣ такъ и чувствуется загипнотизированный субъекъ, медленно, неохотно исполняющій приказъ гипнотизера, не соотвѣтствующій его желаніямъ.

Какъ ни слабъ былъ физически старикъ, впадавшій даже, въ виду болѣзни своей, въ безпамятство, но тѣмъ не менѣе отношенія Катерины къ Ордынову, начинавшіяся было между ними складываться, не могли не обратить на себя его вниманія. «Ишь, вы побратались, единоутробные, слюбились словно любовники», говорилъ въ порывѣ ревности жестокій старикъ (377), присутствовавшій при бесѣдѣ этихъ жаждавшихъ взаимности и полныхъ жизни молодыхъ людей. Нужно было положить этому конецъ, и Муринъ прибѣгаетъ къ попыткѣ воздѣйствовать съ этой цѣлью на Ордынова силою того самаго вліянія, которое не разъ испробовалъ онъ въ жизни и при помощи котораго овладѣлъ Катериною, — силою внушенія. Катерина, знавшая по опыту, что это за сила, жалѣла Ордынова и желала спасти его отъ этого воздѣйствія на него старика. «Не смотри же... не смотри,—говорила ему Катерина, — коли бѣсъ внушаетъ, пожалѣй свою любу», говорила она смѣясь, и вдругъ сзади закрыла глаза Ордынова. Потомъ тотчасъ же отняла свои руки и закрылась сама... Старикъ внимательно и холодно поглядѣлъ на нихъ обоихъ. Заслышавъ на себѣ взглядъ старика, Ордыновъ привсталъ было съ мѣста, но какъ-будто невидимая сила сковала ему ноги: онъ снова усѣлся. Порою онъ сжималъ свои руки, какъ-будто не довѣряя дѣйствительности; ему казалось, что кошмаръ душитъ его и что на глазахъ его все еще лежитъ страдальческій, болѣзненный сонъ; но чудное дѣло — ему не хотѣлось проснуться» (378).

Это состязаніе между старикомъ и Ордыновымъ изъ-за Катерины кончилось полнымъ торжествомъ немощнаго физически старика. Онъ схватилъ Катерину за руку, но она не взглянула на него, какъ-будто его не примѣтила, какъ-будто не признала его; она какъ-будто тоже теряла сознанье, какъ-будто одна мысль, одна неподвижная идея увлекла ее. Она припала къ груди старика, обвила своею бѣлою рукою его шею и пристально, словно прикованная къ нему, смотрѣла на него огневымъ, воспаленнымъ взглядомъ. Она будто не слыхала, какъ Ордыновъ взялъ ее за руку. Наконецъ, она повернула къ нему свою голову, посмотрѣла на него долгимъ, проницающимъ взоромъ. «Поди прочь!—прошептала она. — Ты пьяный и злой! Ты не гость мнѣ!» Тутъ она снова обратилась къ старику, опять приковалась къ нему своими очами. Она какъ-будто стерегла каждое дыханіе его. Она какъ-будто боялась сама дохнуть, — и Ордынову показалось, что всѣ насмѣшки врага его перешли въ ея глаза, когда она терзающимъ, леденящимъ взглядомъ опять взглянула на него» (384).

Съ этой минуты Катерина была потеряна для Ордынова навсегда. Она превратилась для него въ совершенно другую женщину, и не осталось и слабаго признака того увлеченія, которое, видимо, стало въ ней развиваться къ нему... Когда въ припадкѣ оскорбленной любви Ордыновъ схватилъ со стѣны ножъ съ цѣлью лишить старика жизни, то, при взглядѣ на лицо послѣдняго, ножъ выпалъ изъ рукъ его и зазвенѣлъ на полу; какъ-будто изумленіе отразилось въ этотъ моментъ на лицѣ Катерины. Глухая невыносимая боль судорожно выдавалась на лицѣ ея: она закрылась руками и съ крикомъ, раздирающимъ душу, почти бездыханная упала къ ногамъ старика (385).

Не лишонъ также значенія тотъ конецъ, который постигъ Мурина. Въ литературѣ о внушеніи высказано было предположеніе, что недалеко то время, когда свѣдѣнія о внушеніи, достигнувъ народныхъ массъ, найдутъ почву для своего примѣненія въ тѣхъ шайкахъ, которыя составляются съ преступною цѣлью, не однимъ физическимъ насиліемъ, но также и при помощи внушенія, лишая жертву возможности сопротивленія. Въ домѣ, въ которомъ происходили описанные эпизоды жизни Ордынова, послѣ отъѣзда его оттуда, обнаружена была шайка воровъ, и хотя оказалось, что за три недѣли до обнаруженія ея Муринъ уѣхалъ оттуда, но, тѣмъ не менѣе, повѣсть даетъ основаніе къ заключенію, что онъ имѣлъ близкое къ ней касательство. Такимъ образомъ, высказанное въ наше время предсказаніе относительно злоупотребленія съ преступными цѣлями силою внушенія было предугадано Достоевскимъ въ ту пору, когда объ ученіи о внушеніи еще не было и помину.

Содержаніе повѣсти «Хозяйка» во многомъ напоминаетъ уголовный процессъ о нѣкоемъ Кастеланѣ, разсмотрѣнный германскимъ судомъ. Весною 1865 года, въ небольшую нѣмецкую деревушку прибылъ одѣтый въ лохмотья, кривоногій, отталкивающій по впечатлѣнію нищій, притворившійся къ тому же глухонѣмымъ. Какъ Муринъ выдавалъ себя Катеринѣ за колдуна, такъ и этотъ изображалъ изъ себя сошедшаго съ неба, посланнаго Богомъ человѣка, могущаго совершать великія чудеса. И дѣйствительно, одно изъ чудесъ совершилъ онъ на глазахъ всего населенія. Молодая, безукоризненной нравственности и жизни дѣвушка Жозефина, дочь хозяина избы, въ которой остановился Кастеланъ, почувствовала къ нему сразу страхъ, напоминающій страхъ Катерины, а когда на слѣдующій день, переночевавъ подъ стогомъ сѣна, Кастеланъ пришелъ вновь въ избу ея отца и засталъ ее одну, то она сама не понимала, что съ нею совершилось. Она почувствовала себя въ полной его власти, и реальнымъ послѣдствіемъ этого было учиненіе имъ надъ нею насилія, составлявшаго, при закрытыхъ дверяхъ, предметъ судебнаго разбирательства. Не дѣлая никакихъ попытокъ къ сопротивленію и повинуясь ему какъ безсловесное существо, Жозефина на глазахъ удивленныхъ жителей деревушки пошла за Кастеланомъ, говоря

какія-то безсвязныя слова и обнаруживая странное выраженіе лица. Переходя изъ деревни въ деревню, испытывая къ виновнику своего несчастія глубокое отвращеніе, она иногда впадала въ отчаяніе, готова была утопиться, но не въ состояніи была противиться его волѣ. Кастеланъ пользовался своимъ вліяніемъ въ большей даже мѣрѣ, чѣмъ Муринъ: онъ не только превратилъ ее въ послушное орудіе своей воли, не только, какъ Муринъ, подвергалъ ее тяжкимъ нравственнымъ истязаніямъ, но наносилъ ей и побои, что точно также не вызывало съ ея стороны никакого протеста. Только нѣсколько дней спустя, послѣ непрерывавшихся странствованій, Жозефина, воспользовавшись случайнымъ уходомъ Кастелана, въ состояніи была освободиться изъ-подъ вліянія этой личности и убѣжать въ сосѣднюю деревню, упросивъ чужихъ ей лицъ укрыть ее отъ Кастелана. Бѣгство, которое не удалось Катеринѣ при помощи Алеши, вслѣдствіе внезапнаго возвращенія Мурина, удалось несчастной Жозефинѣ, вернувшейся затѣмъ къ своимъ родителямъ въ ужасномъ видѣ и покончившей всякія дальнѣйшія сношенія съ Кастеланомъ. За восемнадцать лѣтъ до случая съ Кастеланомъ Достоевскій пророчески предсказалъ въ «Хозяйкѣ» возможность совершенія такого рода насилія человѣка надъ человѣкомъ, понятнаго только въ наше время, благодаря ученію о внушеніи.

Появившаяся въ 1857 году повѣсть «Село Степанчиково и его обитатели» представляется произведеніемъ, въ которомъ Достоевскій точно такъ же выдвинулъ впередъ, по нашему мнѣнію, явленія внушенія, безъ помощи котораго невозможно объяснить себѣ дѣйствія лицъ этой повѣсти, равно какъ и ихъ взаимныя отношенія.

Центральной личностью въ этой повѣсти является Ѳома Ѳомичъ. Это человѣкъ, находившійся долгое время въ горькомъ положеніи приживальщика у нѣкоего генерала Крохоткина, который принялъ его къ себѣ изъ-за хлѣба въ качествѣ чтеца, а въ дѣйствительности — превратилъ въ настоящаго мученика. «Не было униженія, котораго бы не переносилъ онъ изъ-за куска генеральскаго хлѣба. По генеральскому востребованію изображалъ онъ изъ себя шута, имитировалъ различныхъ звѣрей, изображалъ живыя картины, и все это единственно только для того, чтобы развлечь и развеселить удрученнаго болѣзнями генерала» (390).

Судьба однако смилостивилась надъ Ѳомою Ѳомичемъ — генералъ его умеръ, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилась радикально и вся его жизненная обстановка. Изъ приниженнаго онъ превратился въ человѣка, занявшаго не только видное, но совершенно исключительное положеніе, по оказывавшимся ему чести и почету. Новые хозяева его, вдова-генеральша и сынъ ея (дядя лица, отъ имени котораго ведется разсказъ) оказались людьми, которыми вполнѣ овладѣлъ Ѳома Ѳомичъ. Обстоятельство это можно было бы еще объяснить въ отношеніи къ генеральшѣ, которая въ сущности была женщиной старой и умственно убогой; что же касается сына ея, полковника,

то пріобрѣтеніе надъ нимъ власти Ѳомою Ѳомичемъ представляется явленіемъ психологически рѣшительно ничѣмъ необъяснимымъ. Это былъ человѣкъ въ высшей степени добрый, кроткій, мягкій и принадлежалъ къ числу цѣломудреннѣйшихъ людей; къ тому же это былъ человѣкъ утонченной деликатности, — несмотря на нѣсколько грубую наружность, — высшаго благородства и мужества, по удостовѣренію автора разсказа. Весь разсказъ, излагающій лѣтопись «Села Степанчикова», представляется ничѣмъ инымъ, какъ изложеніемъ всевозможныхъ глумленій этого приживальщика (Ѳомы Ѳомича) какъ надъ генеральшей и ея сыномъ, такъ и надъ остальными обитателями села. Глумленія эти достигали размѣровъ невѣроятныхъ и съ точки зрѣнія нормальнаго теченія вещей ничѣмъ совершенно необъяснимыхъ. По удостовѣренію автора, совершившееся надъ хозяевами превращеніе посторонніе признавали «за чудо, за навожденіе», при чёмъ «крестились и отплевывались» (397), слушая только розсказни объ этомъ состояніи.

Съ возвращеніемъ Ѳомы Ѳомича, въ селѣ Степанчиковѣ образовался какой-то сумасшедшій домъ, нѣчто очень напоминавшее Salpetrière въ моменты гипнотическихъ экспериментовъ въ немъ Шарко. Правда, Ѳома Ѳомичъ не прибѣгалъ, какъ Шарко, къ тамъ-таму и посредствомъ ударовъ въ него не приводилъ своихъ хозяевъ въ каталептическое состояніе; но внушеніе проявляется не въ одной только каталепсіи, да еще и неизвѣстно, не достигъ ли бы Ѳома Ѳомичъ и въ этомъ отношеніи блистательныхъ результатовъ, если бы, конкурируя съ Шарко, попытался производить такіе эксперименты. Вліяніе Ѳомы Ѳомича надъ окружающими его лицами было во всякомъ случаѣ чрезвычайное. Генеральша «трепетала, какъ мышка, предъ прежнимъ своимъ приживальщикомъ». Ѳома Ѳомичъ (394) «заворожилъ ее окончательно: она не надышала на него, слушала его ушами, смотрѣла его глазами». Это было иными словами полное подчиненіе личности одного человѣка личностью другого.

Господство Ѳомы Ѳомича надъ сыномъ ея проявлялось въ не менѣе рѣзкихъ и исключительныхъ формахъ. Для того, чтобы указать безграничность подчиненія дяди приведемъ одну сцену (489). Ѳома Ѳомичъ требовалъ непремѣнно, чтобы дядя величалъ его «вашимъ превосходительствомъ».

— Говорите за мною: «ваше превосходительство», — требовалъ онъ.

— Ну, ваше превосходительство, — отвѣчалъ дядя.

— Нѣтъ, не «ну» ваше превосходительство, а просто ваше превосходительство. — Я вамъ говорю, полковникъ, перемѣните вашъ тонъ! Надѣюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вамъ поклониться и вмѣстѣ съ тѣмъ склонить впередъ корпусъ, выражая такимъ образомъ почтительность и готовность, такъ-сказать, летѣть по порученіямъ. Я самъ бывалъ въ генеральскомъ обществѣ и все это знаю... Ну-съ: «ваше превосходительство».

— Ваше превосходительство...

— Ну, довольно съ васъ... Не чувствуете ли теперь, говорилъ истязатель, — что у васъ вдругъ стало легче на сердцѣ, какъ-будто въ душу къ вамъ слетѣлъ какой-то ангелъ? — Чувствуете ли вы присутствіе этого ангела? — отвѣчайте мнѣ!

— Да, Ѳома, дѣйствительно какъ то легче сдѣлалось, — отвѣчалъ дядя.

— Какъ-будто сердце ваше, послѣ того какъ вы побѣдили себя, окунулось въ какомъ-то елеѣ!

— Да, Ѳома, дѣйствительно какъ-будто по маслу пошло...

Развѣ это не послушаніе, которое проявляетъ испытывающій на себѣ силу внушенія гипнотизера субъектъ? Развѣ это не такое же уничтоженіе воли одного человѣка и господства надъ нимъ воли другого, какъ при внушеніяхъ, производимыхъ при клиническихъ опытахъ? Для того, чтобы понять значеніе этой сцены, не слѣдуетъ также упускать изъ виду, кто дѣйствующія въ ней лица. Вѣдь этотъ полковникъ не умственно обиженный природою человѣкъ, а вполнѣ нормальный, и въ душевныхъ отношеніяхъ высоко стоящая личность, а Ѳома Ѳомичъ — никто иной, какъ праздный человѣкъ, живущій Христа ради у своихъ хозяевъ, всѣмъ имъ обязанный и вполнѣ отъ нихъ зависящій. Здѣсь со стороны дяди проявилось то, что профессоръ Бернгеймъ называетъ docilité cérébrale, обнаруживающаяся при внушеніяхъ. По замѣчанію профессора Льежуа, при внушеніи мозгъ субъекта изображаетъ собою какъ-бы темную комнату, въ которой свѣтился только одинъ яркій пунктъ: все остальное исчезаетъ передъ внушенными идеею и дѣйствіями, вслѣдствіе чего они и получаютъ полное торжество.

Нельзя при этомъ подчеркнуть замѣчательной черты, которою Достоевскій характеризуетъ психическое состояніе дяди въ моментъ исполненія требованій его истязателя. Въ литературу о внушеніи внесено много фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что подвергаемые дѣйствію внушенія субъекты испытываютъ тяжкое душевное состояніе, находясь подъ давленіемъ внушеннаго приказомъ требованія объ исполненіи дѣйствія, противорѣчащаго личнымъ свойствамъ субъекта, его привычкамъ, симпатіямъ или стремленіямъ, и наоборотъ, исполненіе подобнаго приказанія, знаменующее конецъ той внутренней борьбы, которая происходитъ въ субъектѣ между естественно сложившимся побужденіемъ и искусственнымъ, навѣяннымъ волею другого представленіемъ, приводитъ къ внутреннему довольству и успокоенію. Эту-то, установленную современными изслѣдователями черту подмѣтилъ и подчеркнулъ Достоевскій въ изложенной нами сценѣ. Дядя признаетъ, что, исполнивъ нелѣпое требованіе Ѳомы Ѳомича объ именованіи его вашимъ превосходительствомъ и о поклоненіи, ему сдѣлалось дѣйствительно легче, и онъ почувствовалъ какъ бы внутреннее успокоеніе. У дяди была только одна мысль — какъ бы угодить своему деспоту и какъ бы не совершить чего-либо такого,

что можетъ ему не понравиться, а тѣмъ болѣе озлобить его. Съ этой цѣлью, дѣлая разнообразнѣйшія распоряженія по дому, онъ предпочитаетъ гдѣ-то на задворкахъ разговаривать съ своими крѣпостными о деревенскомъ хозяйствѣ, лишь бы несмущать покоя нервнаго и раздражительнаго Ѳомы Ѳомича и т. п. И все это продѣлывалось многіе и многіе годы.

Точно такъже и мать дяди, старуха-генеральша, испытываетъ на себѣ въ не менѣе рѣзкихъ формахъ сильное давленіе «я» Ѳомы Ѳомича. По замѣчанію свидѣтеля Мизинчикова (540), старуха была покойна только тогда, когда Ѳома былъ покоенъ. А что́ происходитъ, когда послѣдній, разыгрывая въ сущности комедію, пугалъ своихъ хозяевъ рѣшимостью удалиться изъ ихъ дома, о томъ ярко свидѣтельствуетъ слѣдующая сцена (549—551): услышавъ объ этой рѣшимости, «генеральша взвизгнула и въ отчаяніи смотрѣла на Ѳому Ѳомича, протянувъ къ нему руки; дѣвица Перепелицина бросилась ее поддерживать, приживалки окаменѣли на своихъ мѣстахъ»...

Развѣ это не та же «глина», не та же «палка», о которыхъ, какъ мы указывали выше, говорятъ извѣстные психопатологи, объясняя психическое состояніе лица, подвергнутаго дѣйствію внушенія?

Но Достоевскій, изображая въ яркихъ чертахъ признаки деспотическаго господства воли Ѳомы Ѳомича надъ селомъ Степанчиковымъ и его обитателями, не изображаетъ всѣхъ ихъ полными автоматами. Онъ устанавливаетъ въ лицѣ Ѳомы Ѳомича тотъ признаваемый современной психіатріей фактъ, что, несмотря на всю силу вліянія внушенія, человѣкъ, испытывающій его на себѣ, не теряетъ полностью своей самоличности. Какъ рабъ въ состояніи возстать противъ воли господина, не заботящагося о его естественныхъ потребностяхъ, такъ и дядя сбросилъ съ себя на моментъ вліяніе Ѳомы Ѳомича, когда тотъ, забывъ о личныхъ свойствахъ этого вполнѣ порядочнаго и вполнѣ честнаго человѣка, рѣшился въ его присутствіи и въ присутствіи любимой имъ дѣвушки взвести на него тяжкое обвиненіе въ злоупотребленіи достоинствомъ и честью этой особы. Этотъ благородный и, по удостовѣренію автора, никогда не останавливавшійся предъ исполненіемъ своего долга военный человѣкъ, при этомъ тяжкомъ, брошенномъ ему въ лицо обвиненіи, вдругъ возсталъ и выразилъ такую степень внезапно обнаруживавшейся самостоятельности, которая вполнѣ озадачила Ѳому и низвела его сразу съ его высокаго пьедестала. «Едва только произнесъ Ѳома послѣднее слово (о развратнѣйшей изъ дѣвицъ), какъ дядя схватилъ его за плечи, повернулъ какъ соломенку и съ силою бросилъ на стеклянную дверь, ведущую изъ кабинета во дворъ дома. Ударъ былъ такъ силенъ, что притворенныя двери растворились настежь, и Ѳома, слетѣвъ кубаремъ по семи каменнымъ ступенямъ, растянулся на дворѣ. Разбитыя стекла съ дребезгомъ разлетѣлись по ступенямъ крыльца» (553).

— Гаврила! подбери его! вскричалъ дядя, блѣдный какъ мертвецъ; — посади его въ телѣгу, и чтобы черезъ двѣ минуты духу его не было въ Степанчиковѣ!...

Что бы ни замышлялъ Ѳома Ѳомичъ, но ужъ вѣрно не ожидалъ подобной развязки. Не берусь описывать то, что было въ первую минуту послѣ такого пассажа. Раздирающій душу вопль генеральши, покатившейся въ креслѣ; столбнякъ дѣвицы Перепелициной передъ неожиданнымъ поступкомъ до сихъ поръ всегда вполнѣ покорнаго дяди; ахи и охи приживалокъ; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отецъ; обезумѣвшая отъ страха Сашенька; дядя, въ невыразимомъ волненіи шагавшій по кабинету и дожидавшійся, когда очнется мать; наконецъ громкій плачъ Ѳалалея, оплакивавшаго господъ своихъ, — все это представляло картину неизобразимую» (553). Генеральша нѣсколько времени смотрѣла на сына, какъ будто не понимая, что онъ такое ей говоритъ, и вдругъ съ пронзительнымъ воплемъ бросилась передъ нимъ на колѣни: — «Егорушка! голубчикъ ты мой, вороти Ѳому Ѳомича!... закричала она. — Сейчасъ вороти!... Не то я къ вечеру помру безъ него!...»

Дядя остолбенѣлъ, видя старуху-мать, своевольную и капризную, предъ собою на колѣняхъ. Болѣзненное ощущеніе отразилось въ лицѣ его; наконецъ, опомнившись, онъ бросился поднимать ее и усаживать опять въ кресло.

«Вороти Ѳому Ѳомича, Егорушка!... продолжала вопить старуха. — Вороти его, голубчикъ... жить безъ него не могу».

Видя, однако, что обращеніе къ сыну не приводитъ къ желаемому результату, старуха бросилась на колѣни предъ Настенькой съ просьбой не выходить замужъ за ея сына (этого не желалъ Ѳома Ѳомичъ) и съ просьбою убѣдить его воротить Ѳому Ѳомича.

«Голубушка ты моя! Все тебѣ отдамъ, всѣмъ тебѣ пожертвую, коли за него не выйдешь... Только не клади меня живую въ гробъ, упроси Ѳому Ѳомича вернуть».

Дядя не выдержалъ этихъ просьбъ и уступилъ настояніямъ матери и ея приживалокъ; но эта уступка не выражала еще подчиненія его приживальщику: она — продуктъ только его добраго сердца. Рѣшившись на возвращеніе Ѳомы Ѳомича, дядя ставитъ условіе, свидѣтельствующее о томъ, что въ отсутствіе Ѳомы онъ вполнѣ нормальный и самостоятельный человѣкъ. Онъ говоритъ матери, что приметъ его, только заставивъ предъ тѣмъ торжественно сознаться въ своей винѣ и просить прощенія у оскорбленной имъ дѣвицы. Для того, чтобы въ дядѣ вновь исчезло возродившееся «я», необходимо было непосредственное соприкосновеніе его съ Ѳомою, физическое воздѣйствіе послѣдняго на его личность. И воскресшій было къ новой жизни дядя сдѣлалъ большую ошибку, уступивъ настояніямъ матери и добраго своего сердца, согласившись на возвращеніе прогнаннаго, и дорого заплатилъ за нее. Съ возвращеніемъ Ѳомы Ѳомича, этого рокового для него человѣка, съ перваго появленія его въ домъ, дядя вновь превращается въ ничто, и его слабая воля тотчасъ уничтожается, уступивъ мѣсто волѣ этого человѣка, господствовавшаго уже надъ нимъ полностью. По возвращеніи Ѳомы, дядя пробовалъ-было потребовать отъ него желаемаго извиненія (561).

«Если ты, говорилъ онъ, своей волею благородно сознаешься въ винѣ своей, то клянусь тебѣ, Ѳома, я паду къ ногамъ твоимъ».

Но Ѳома бралъ надъ нимъ по мѣрѣ разговора постепенно верхъ; дядя замолчалъ, склонилъ голову и уже сознавалъ себя въ концѣ концовъ полнымъ преступникомъ, при чемъ генеральша и ея общество молча и съ благовѣніемъ слушали Ѳому. А когда Ѳома вздумалъ разыграть великодушную сцену, изъявилъ готовность согласиться на бракъ Настеньки съ дядей, то послѣдній совершенно потерялъ всякое самообладаніе.

«Я ужъ и не помню, гдѣ я стою. Слушай, Ѳома: я обидѣлъ тебя. Всей жизни моей, всей крови моей не достанетъ, чтобы удовлетворить твою обиду... и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если тебѣ когда-нибудь понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будетъ броситься за тебя въ разверстую бездну, то повелѣвай — и увидишь» (569).

Короче, въ Ѳому Ѳомича снова всѣ увѣровали; торжество его было полное, и онъ снова могъ дѣлать въ этомъ семейномъ домѣ всё, что ему вздумается. Очевидно, люди, окружавшіе Ѳому Ѳомича, были не только оригинальные, а такіе, у которыхъ, вслѣдствіе вліянія, оказаннаго на нихъ этимъ человѣкомъ, нарушилась дѣятельность всѣхъ частей психическаго организма, и они потеряли способность правильно оцѣнивать дѣйствія и руководствоваться въ нихъ своею волею. Вся ихъ жизнь сосредоточивалась въ одномъ фокусѣ, въ одной идеѣ — служить Ѳомѣ Ѳомичу. Воля ихъ замѣнилась его волею, а въ чемъ же, какъ не въ этой замѣнѣ, заключается, главнымъ образомъ, сила того психическаго фактора, который называютъ внушеніемъ?

Случевскій.

Неточка Незванова и ея обаяніе, какъ дивной дѣвушки среди ужасныхъ условій жизни, раскрываемыхъ авторомъ.

Въ большомъ романѣ Достоевскаго «Неточка Незванова. Исторія одной женщины» (От. Зап. 1849 г. №№ 1, 2 и 5), неоконченномъ по случаю катастрофы съ авторомъ, онъ пытается овладѣть типомъ молодой дѣвушки, сохранившей дѣвственную поэзію и прелесть среди самыхъ ужасающихъ условій бѣдной жизни съ рано развитымъ сознаніемъ жизненнаго горя, между забитою и вѣчно-больною матерью и пьяницею вотчимомъ, въ жалкомъ углу, «гдѣ никогда не смѣются, никогда не радуются, гдѣ вѣчное, нестерпимое горе» съ «чадомъ безпорядочной жизни», и Неточка рано стала ломать голову, стараясь угодать, отчего это такъ. И она, какъ и самъ авторъ, уходитъ со всѣми своими желаніями и надеждами въ фантастическія грезы, теряя всякій тактъ и всякое чувство дѣйствительности. Въ вѣчныхъ ссорахъ между вотчимомъ и матерью, дитя должно стать на чью-либо сторону, и она выбрала полусумасшедшаго вотчима, «оттого, что онъ былъ такъ жалокъ, такъ униженъ въ гла-

захъ моихъ». Когда, послѣ страшной катастрофы, героиня осталась сиротою и сдѣлалась пріемышемъ въ княжескомъ домѣ, ея симпатіи сосредоточиваются на бѣдномъ мальчикѣ, находившемся на одинаковыхъ съ нею условіяхъ въ томъ же домѣ, и она полюбила этого «бѣдненькаго мальчика, вздрагивавшаго отъ малѣйшаго шума, отъ каждаго голоса, со слезой, набѣгавшей на его маленькія, рыженькія рѣсницы, когда, бывало, онъ забьется въ уголъ одинъ, и, думая, что его никто не видитъ, хнычетъ потихоньку....» Но въ этомъ мальчикѣ просыпается злое чувство, желаніе выместить на другихъ обиды, посланнныя ему жизнью. Въ немъ развивается мрачная подозрительность, все окружающее кажется ему сурово, неумолимо враждебнымъ къ нему, и Неточка сближается съ этимъ оскорбленнымъ и уже мечтающимъ о мести существомъ, но авторъ не даетъ развитія этому рано озлобленному характеру. Сама Неточка живетъ только головными грезами, въ рѣзкомъ отчужденіи отъ всего окружающаго, въ жизни ея нѣтъ никакихъ радостей. Не знаемъ, какъ бы развернулся романъ, еслибъ Достоевскому была возможность кончить его.

Буличъ.

Герои меланхолики въ разсказахъ: «Хозяйка» и «Бѣлыя ночи».

При чтеніи разсказовъ: «Хозяйка», «Бѣлыя ночи» невольно приходитъ на память лекція С. П. Боткина о той формѣ меланхоліи, которая, по наблюденіямъ нашего ученаго, наиболѣе часто встрѣчается между интеллигентною молодежью. Жаль, что — эта лекція не напечатана, но, сколько я помню (я слышалъ эту лекцію въ 1876 г.) симптомы этой болѣзни С. П. Боткинъ и Достоевскій опредѣляютъ вполнѣ согласно.

Такими больными чаще всего бываютъ молодые люди (отъ 20 до 30 лѣтъ) интеллигентные одинокіе, безъ опредѣленнаго общественнаго положенія. Физически это малокровные («Хозяйка») болѣзненные субъекты.

Ордыновъ и герой «Бѣлыхъ ночей» дѣйствительно такіе молодые люди. Долгое одиночество, замкнутость въ себѣ, еще въ молодые годы, когда человѣкъ наиболѣе расположенъ къ общительности, мало-по-малу отдаляетъ ихъ отъ людей. На нихъ сильно дѣйствуютъ первыя неудачи въ жизни и разочарованіе въ своихъ надеждахъ, отсутствіе всего идеальнаго въ окружающемъ обществѣ. У нихъ скоро опускаются руки. Наконецъ, незамѣтно, мало-по-малу, такъ что рѣшительно нельзя опредѣлить момента, когда, именно, эти естественныя, нормальныя чувства грусти и неудовлетворенности переходятъ въ тоску. Получается слѣдующая картина болѣзни: настроеніе принимаетъ, преимущественно, отрицательный характеръ; каждое впечатлѣніе вызываетъ душевную боль; во всемъ окружающемъ является новый источникъ неудовольствія; все становится противнымъ,

непріятнымъ, и естественно, что Ордыновъ, а подъ конецъ разсказа герой «Бѣлыхъ ночей» стараются избѣгать всякаго общества, прячутся отъ жизни, ищутъ одиночества и полной бездѣятельности, то-есть, поступаютъ съ собой такъ же, какъ съ ушибленною ногой, для которой всякое движеніе невыносимо. Больные понимаютъ нормальность своего положенія, они сознаютъ какъ прежнее сочувствіе всему высокому (труду, славѣ, наукѣ) постепенно переходитъ въ равнодушіе; остается еще способность ко вспышкамъ чувства любви, но и тутъ проявляется ихъ пассивность, неустойчивость: оба они только начинаютъ любить. Чувство ихъ вспыхиваетъ безо всякаго повода, совершенно случайно. Для насъ довольно отмѣтить, что любовь ихъ оканчивается ничѣмъ, не привязываетъ ихъ къ жизни, не даетъ и не можетъ имъ дать настоящихъ радостей. Достоевскій достаточно выяснилъ, почему ихъ любовь имѣетъ такой своеобразный, драматическій колоритъ; вслѣдствіе психической анестезіи они неспособны уже отзываться на обыкновенныя впечатлѣнія, и только что-нибудь выходящее изъ ряда вонъ — фантастическая красавица «Хозяйка», одинокая дѣвушка, плачущая о своей разбитой любви — способно дѣйствовать на нихъ; а ужъ, конечно, подобныя коллизіи рѣдко оканчиваются счастливо: недостатокъ собственной энергіи, немощность, не оставляющая ихъ тоска, отсутствіе сознанной цѣли, все это условія, мѣшающія успѣху въ любви.

Итакъ, выступаетъ на сцену отсутствіе интереса къ чему бы то ни было, всѣ или очень многія впечатлѣнія сопровождаются психическою болью; естественнымъ послѣдствіемъ этого будетъ то состояніе души, которое лучше всего назвать тоской. Вмѣсто смѣны, смотря по характеру впечатлѣній, чувствованій пріятнаго и непріятнаго, является сплошь чувствованіе непріятнаго или, въ лучшемъ случаѣ, безразличная реакція сознанія. Такъ какъ процессъ образованія идей до извѣстной степени находится въ зависимости отъ настроенія духа, то въ сознаніи могутъ удерживаться только такія представленія, которыя соотвѣтствуютъ душевному настроенію; естественно, что у такихъ больныхъ будетъ монотонность, однообразіе представленій, теченіе ихъ будетъ замедлено, хотя больные еще сохраняютъ способность разсуждать правильно. Въ свою очередь такое затрудненіе въ дѣятельности психическаго механизма заключаетъ новый источникъ непріятныхъ чувствованій; тягостное состояніе усиливается еще тѣмъ, что больной чувствуетъ себя безсильнымъ бороться со случившеюся съ нимъ перемѣной. Сами больные понимаютъ, что ихъ представленія болѣе не имѣютъ обычной, свойственной имъ окраски чувствованіями удовольствія или неудовольствія, что ничто не въ состояніи ихъ радовать и даже печалить какъ было прежде (Ордыновъ въ концѣ повѣсти).

Естественно, что такіе люди отказываются ото всякаго дѣла, всякаго общества, ихъ пугаютъ люди, тяготитъ оживленіе; и это чувство одиночества и совершенно исключительнаго положенія благо-

пріятствуетъ еще большему ограниченію круга идей, образованію пессимистическаго, хотя не въ строго философскомъ смыслѣ, взгляда на жизнь. Изъ этого чувства одиночества вытекаетъ недовѣріе ко всему, злобное отношеніе ко всему міру, безпомощное, безсильное удаленіе ото всего и окончательное погруженіе въ самого себя. Ордыновъ, готовившійся быть ученымъ, мало-по-малу бросаетъ свои занятія и не дѣлаетъ ничего, предаваясь однообразнымъ мечтамъ, такъ же какъ и герой «Бѣлыхъ ночей», который все-таки еще способенъ хоть издали наблюдать надъ кое-чѣмъ въ жизни. Едва ли нужно доказывать, что при такомъ душевномъ состояніи, не можетъ быть и желаній, не можетъ быть настойчивости въ стремленіи ихъ удовлетворять, не можетъ быть активной воли; но напрасны были бы попытки друзей развлечь этихъ больныхъ; является пассивное сопротивленіе, такъ какъ все-таки для нихъ лучше оставаться въ ихъ положеніи.

Можно, конечно, спорить, больные это люди или здоровые; такое меланхолическое состояніе, конечно, можетъ быть у здоровыхъ, но въ такомъ случаѣ оно обусловлено какимъ-нибудь перенесеннымъ несчастіемъ. У Ордынова и героя «Бѣлыхъ ночей» это состояніе вовсе не зависѣло отъ внѣшнихъ причинъ. Также не мало можно спорить о томъ, что это за форма болѣзни, но для данной статьи довольно отмѣтить, что такіе больные нерѣдки, и что Достоевскому извѣстенъ былъ этотъ фактъ.

Позволю себѣ прибавить, что такіе больные отнюдь не похожи на пессимистовъ-философовъ, такъ какъ у послѣднихъ пессимизмъ не болѣе какъ міровоззрѣніе, вообще не мѣшающее имъ отличать непосредственно пріятное отъ непріятнаго. Конечно, можно проводить параллели между описанными состояніями и нѣкоторыми религіозными сектами, но я думаю, что нужно имѣть большій запасъ наблюденій, чѣмъ имѣетъ современная наука.

Почти такое же состояніе нѣкоторое время было у Вельчанинова («Чужой мужъ»), человѣка лѣтъ подъ пятьдесятъ; но Достоевскій, какъ тонкій знатокъ патологическихъ состояній души, отмѣтилъ, что у него это состояніе было сравнительно короткое время. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ меланхолическое состояніе, какъ начало болѣзни; къ счастію Вельчанинова, болѣзнь не развилась далѣе, и онъ скоро вернулся къ прежнему состоянію. Достоевскій, тонко отмѣтивъ, что это состояніе не было внѣшними причинами, указалъ на перемѣну въ образѣ жизни, привычкахъ Велчанинова: какъ тотъ сталъ удалятся отъ общества, сдѣлался неряшливъ въ одеждѣ; все стало непріятнымъ Вельчанинову или какъ онъ характерно выразился: «да и вообще все стало измѣняться къ худшему». Вообще описаніе настроенія Вельчанинова крайне интересно для изученія того меланхолическаго состоянія, которое составляетъ нерѣдко преддверіе къ полному помѣшательству. Нерѣдкимъ симптомомъ меланхолическаго состоянія бываютъ явленія безпричин-

наго страха и тоски, то что́ Достоевскій называетъ «мистическимъ ужасомъ» («Оскорбленные и униженные», стран. 28, издан. 1865). Достоевскій такъ вѣрно описалъ и анализировалъ это состояніе, что прибавить къ этому описанію нечего. Тоска и страхъ обусловливаются крайне тягостными ощущеніями, неясными для субъекта «тяжелая мучительная боязнь чего-то чего я самъ опредѣлить не могу».

Хотя человѣкъ вначалѣ и понимаетъ, что такія ощущенія болѣзненны, но мало-по-малу «лишается всякой возможности противодѣйствовать ощущеніямъ. Его (разсудка) не слушаются, онъ становится безполезенъ». Если вникнуть въ сказанное Достоевскимъ, то станетъ яснымъ многое въ процессѣ заболѣванія психическою болѣзнью. Неясныя смутныя болѣзненныя ощущенія являются, такъ-сказать, первыми зародышами болѣзни; собственно эти острыя состоянія тоски ускоряютъ дѣло, такъ какъ подъ бурнымъ напоромъ болѣзненныхъ ощущеній разсудокъ является безсильнымъ.

Чижъ.

Оригинальность и поэтическая прелесть разсказа Достоевскаго «Бѣлыя ночи».

Вскорѣ за «Бѣдными людьми» появилась въ печати одна изъ самыхъ поэтическихъ повѣстей русской литературы въ тогдашнее время: «Бѣлыя ночи» — произведеніе оригинальное по мысли и совершенно изящное по исполненію. Этотъ небольшой разсказъ, написанный самымъ простымъ и незатѣйливымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ легкимъ языкомъ, читался, да еще и теперь прочтется многими съ величайшимъ удовольствіемъ. Правда, что завязка этой повѣсти неестественна: она смахиваетъ на сказку и никакъ не напоминаетъ собою что-нибудь похожее на дѣйствительность. Судите сами. Молодой человѣкъ встрѣчаетъ на улицѣ многолюднаго Питера дѣвушку, знакомится съ ней и потомъ на набережной канала проводитъ съ нею безсонныя ночи. Соглашаемся очень охотно, что не найдется такихъ честныхъ дѣвушекъ, которыя проводили бы ночи, шатаясь по улицамъ съ молодыми незнакомыми мужчинами. Но однажды допустивъ такое чудное знакомство, нельзя не быть увлеченнымъ разсказомъ автора о рождающейся страсти молодого человѣка, который до тѣхъ поръ жилъ одиноко, обманывая жажду любви, его терзавшую, мечтаніями о томъ, что могло бы быть и чего однако не было. Теперь не во снѣ, не въ бреду разгоряченнаго мозга, но на яву, но въ *самомъ дѣлѣ* нашелъ онъ существо, которое ему сочувствуетъ послѣ горячо, такъ нѣжно, что не только онъ самъ, но и она сама и самъ читатель должны принять это сочувствіе за любовь. Внезапное появленіе прежняго друга — жениха какъ бы разсѣкаетъ узелъ, связывающій эти двѣ родныя души; какъ ударомъ грома пробуждаетъ оно бѣднаго влюбленнаго отъ безумныхъ и на-

прасныхъ надеждъ на счастіе и взаимность; какъ-будто судьба хотѣла насмѣяться надъ нимъ, взманивъ его, показавъ ему на дѣлѣ, какъ люди могутъ быть счастливы, чтобы потомъ повергнуть его въ бездонную и мрачную пропасть безотраднаго одиночества. Она съ крикомъ бросается къ прежде любимому человѣку, а онъ остается одинъ и бредетъ себѣ домой, гдѣ одна добрая, но глухая кухарка дѣлитъ жизнь его. Достоевскій вообще мастеръ описывать одиночество, пустыню, создающуюся вокругъ человѣка, когда онъ живетъ, одинъ, никѣмъ незнаемый, неоцѣненный; его мечтанія и грезы, которыя однѣ, какъ пріемы опіума, помогаютъ выносить это одиночество. Мастеръ онъ описывать и мученія разлуки, бездомность, бѣдность, безпріютность, всѣ тѣ язвы, которыя, какъ посланіе Божіе, выносятъ многіе на вѣку своемъ. Заброшенность, если такъ можно выразиться, сердца золотого, осужденнаго глохнуть посреди дикарей, которыхъ немало и въ цивилизованныхъ обществахъ, описана Достоевскимъ съ несравненнымъ чувствомъ. Такъ и слышится въ словахъ его что-то перечувствованное, какъ-будто самъ онъ испыталъ нѣчто подобное, или подлѣ него, близко страдала душа ему сочувственная и дорогая. *Туръ.*

Общее содержаніе повѣсти Достоевскаго «Слабое сердце».

Спѣшимъ сказать, что въ повѣсти своей Достоевскій выказалъ несомнѣнный талантъ, въ которомъ смѣшно было бы и отказать автору «Бѣдныхъ Людей». Правда, тутъ опять является сумасшедшій, но на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, помѣшательство имѣетъ ясную причину, и самый ходъ болѣзни выказанъ ловко. Дѣло вотъ въ чемъ. Два бѣдныхъ чиновника, Аркаша и Вася, нѣжно любящіе другъ друга, живутъ какъ голубки, на одной квартирѣ. Вася — существо любящее, нѣжное, признательное; Аркаша — собственно безличенъ, но всю жизнь его составляетъ одна безпредѣльная привязанность къ Васѣ. Почти въ одно время Вася влюбляется безъ памяти и взыскивается милостію начальника, который даетъ ему денегъ и вмѣстѣ большую работу — переписать къ сроку какое-то дѣло. Восторгъ пріятелей, при стеченіи такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ, невыразимъ; но голова Васи не выдерживаетъ. Чѣмъ сильнѣе кипитъ чувство радости въ душѣ его, тѣмъ менѣе способенъ онъ къ дѣлу, а срокъ работы приближается. Напрасно прилагаетъ онъ всѣ усилія, чтобы свалить этотъ камень: онъ все падаетъ на плечи его. Отчаяніе начинаетъ пробираться въ душу Васи; ему мерещатся упреки, кары, несчастія. Онъ обвиняетъ самого себя въ забвеніи долга, въ неблагодарности, и, наконецъ, мѣшается на сумасбродной мысли, что его отдадутъ въ солдаты: вѣдь онъ такой маленькій человѣкъ! Вотъ повѣсть. Она могла бы служить хорошимъ эпизодомъ

въ романѣ. Литературная самостоятельность, данная случаю, хотя и возможному, но до крайности частному, какъ-то странно поражаетъ васъ; но и не тутъ еще настоящая слабая сторона повѣсти. Она именно въ любви Аркаши и Васи, расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что, большею частію, и не вѣрится ей, а кажется она скорѣе хитростью автора, который вздумалъ на этомъ сюжетѣ руку попробовать. Положимъ, что простые, недальніе люди всегда выражаютъ чувство чѣмъ-то въ родѣ междометій или отрывистыми словами; положимъ, что они до пресыщенія говорятъ другъ другу: милый ты мой, голубчикъ ты мой (даже въ одномъ мѣстѣ у автора: косолапый ты мой!), душка, Васюкъ, Лукаша; положимъ также, что они безпрестанно глядятъ другъ на друга, улыбаются и плачутъ, да на все же есть границы. Особенно для произведеній этого рода существуетъ черта, указываемая вкусомъ, за которой патетическое уже погибаетъ въ крайнемъ ничтожествѣ самихъ героевъ. Къ тому же мы осмѣливаемся, во имя русскаго человѣка, протестовать противъ этой болѣзненной говорливости сердца. Она составляетъ исключительное достояніе разслабленныхъ людей, врядъ ли способныхъ къ сильному ощущенію; но простой человѣкъ молчаливъ и при немъ. Онъ крѣпко бережетъ добро, цѣну котораго хорошо знаетъ, и тѣмъ непроницаемѣе, чѣмъ незамѣтнѣе его мѣсто на свѣтѣ. За нимъ надо подсматривать въ его хорошія минуты, а не заставлять болтать его. Сама манера автора, слогъ его, который такъ походитъ на продѣлку западныхъ пилигриммовъ, ходившихъ на поклоненія, ступая одинъ шагъ впередъ и два назадъ, еще уменьшаетъ довѣріе къ его описаніямъ, сообщая имъ неестественную фальшивую тучность. Безпрестанное возвращеніе на собственныя фразы, вошедшее, кажется, уже въ привычку у почтеннаго автора, прилагается теперь въ равной степени къ бесѣдѣ двухъ друзей и къ самому разсказу. Вотъ какъ толкуютъ между собою первые:

«Знаешь что? ты взволнованъ, ты много не наработаешь... Постой, постой, постой — вижу, вижу — слушай! — заговорилъ Нефедовичъ, вскочивъ въ восторгѣ съ постели и прерывая заговорившаго Васю, всѣми силами отстраняя возраженія: — прежде всего нужно успокоиться, нужно съ духомъ собраться: такъ ли?

— Аркаша! Аркаша! закричалъ Вася, вскочивъ съ креселъ. — Я просижу всю ночь, ей-Богу просижу!

Ну, да, да! ты къ утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

«Нѣтъ, нельзя, нельзя; конечно, заснешь въ пять часовъ, засни» и т. д.

И вотъ, какъ говоритъ авторъ отъ себя, по случаю покупки Васей чепчика для своей невѣсты: «Ахъ, Боже мой, да гдѣ же вы найдете чепчикъ лучше? Это ужъ изъ рукъ вонъ! *Гдѣ же вы сыщете лучше?* Я говорю серіозно! Меня, наконецъ, даже приводитъ въ нѣкоторое негодованіе, *даже огорчаетъ немного* такая неблагодар-

ность влюбленныхъ. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите: что можетъ быть *лучше этого амурчика-чепчика. Ну, глядите!* и т. д. Предоставляемъ судить каждому, какъ это все вѣрно природѣ, и походитъ ли на наивность и добродушіе, за которыми авторъ видимо гнался.

Анненковъ.

Жизненная картина на почвѣ душевной болѣзни въ разсказѣ «Слабое сердце».

Коротенькій разсказъ «Слабое сердце» это, конечно, только общій набросокъ, и потому въ немъ можно искать описанія лишь болѣе крупныхъ явленій и нельзя ожидать подробностей. Между тѣмъ этотъ разсказъ, теперь уже позабытый, поражаетъ глубиною знанія сущности процесса развитія душевной болѣзни и жизненностію всей картины.

Аркаша, происходящій изъ податного сословія, человѣкъ слабаго тѣлосложенія, мало развитой, мученикъ непосильнаго труда, постоянно боящійся потерять такъ трудно доставшееся ему положеніе, даже для поверхностныхъ наблюдателей (какова его невѣста) кажущійся нѣсколько страннымъ, очевидно представляетъ такую почву, на которой даже слабая причина могла вызвать развитіе душевной болѣзни. Достоевскій только слегка указываетъ, въ чемъ состояла особенность его психической организаціи, но въ сущности и этого довольно; онъ былъ, что́ называется, впечатлительнымъ или, выражаясь болѣе научно, человѣкомъ, у котораго легко вызывались патологическіе аффекты. Когда ему дали чинъ, то онъ потерялъ на нѣсколько дней всякое самообладаніе, не могъ заниматься, словомъ, былъ точно пьяный. Если къ этому прибавить слабость воли (его отношенія къ товарищу), дѣтскую наивность (поведеніе въ магазинѣ), слабое развитіе *я*, то становится понятнымъ, что́ это за человѣкъ.

И вотъ въ жизни такого человѣка, среди радостныхъ, постоянно возбуждающихъ чувствъ (любовь и сватовство) появляется бѣда; ему предстоитъ непосильная срочная работа, неудовольствіе, можетъ быть даже гнѣвъ такъ много значущаго для него начальника, чувство недовольства собой, столь сильное въ человѣкѣ, бывшемъ всегда добросовѣстнымъ и аккуратнымъ, и, наконецъ, необходимость проводить безсонныя ночи. Едва ли нужно говорить, что всѣ эти непріятности въ сущности пустяки, но важно, что въ глазахъ Аркаши онѣ имѣли громадное значеніе. Нельзя, впрочемъ, не отмѣтить, что эти угнетающіе моменты дѣствовали еще сильнѣе вслѣдствіе того, что предшествовавшее состояніе Аркаши, напротивъ, было восторженно; переходъ былъ черезчуръ рѣзокъ и силенъ контрастъ.

Печальное настроеніе, естественно вызванное всѣми этими непріятностями, мало-по малу переходитъ уже въ патологическія чувства страха и тоски. Рѣзкой границы нѣтъ у Достоевскаго, такъ какъ ея нѣтъ и въ природѣ, Аркаша сходитъ съ ума на глазахъ читателя мало-по-малу; онъ, подъ вліяніемъ всецѣло поглотившаго его со-

знанія болѣзненнаго чувства, уже перестаетъ бороться съ постигшею его бѣдой, какъ это онъ дѣлалъ, когда настроеніе его было подавленное въ физіологическихъ границахъ; является полное неблагоразуміе (ушелъ, чтобы расписаться въ книгѣ поздравленій и потомъ прогуливался), пересталъ слушаться своего товарища; наконецъ, патологически мрачное настроеніе дошло уже до такой силы, что воспріятія перестали доходить до сознанія, вслѣдствіе того, что все сознаніе сосредоточено на внутреннемъ процессѣ, поглощено патологическою тоской. Это особенно рельефно изображено Достоевскимъ: Аркаша, чтобы поскорѣе окончить рукопись, «ускорить перо», пишетъ сухимъ перомъ, быстро переворачивая страницы. Тутъ уже появляются иллюзіи, больное сознаніе замѣняетъ, или, по крайней мѣрѣ, смѣшиваетъ воспріятія дѣйствительности (сухое перо, чистыя страницы) съ образами создаваемыми самимъ сознаніемъ. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ поучительный примѣръ, какъ образуются иллюзіи и каково состояніе сознанія при ихъ образованіи; благодаря тому, что все вниманіе поглощено было преобладающими чувствами и вытекающими изъ нихъ соображеніями, Аркаша не видѣлъ, что онъ переворачивалъ неисписанныя страницы.

Вопреки мнѣнію публики, въ психіатріи считается непреложнымъ правиломъ, что значительное количество душевныхъ болѣзней начинается не безсмысленными рѣчами, нелѣпыми идеями или сумасбродными поступками, а болѣзненными измѣненіями характера, аномаліями ощущенія и настроенія и происходящими отсюда состояніями душевнаго волненія. Въ началѣ этого рода душевныхъ болѣзней наблюдаются безпричинныя чувства страха, недовольства, тоски, печали, такъ какъ новыя представленія и стремленія, возникающія подъ вліяніемъ разстройства мозга, въ началѣ бываютъ еще очень темны, и потому измѣненіе нормальнаго хода мышленія и воли и новый психическій элементъ, входящій въ прежнее *я*, выражаются только общимъ измѣненіемъ характера и настроенія. Болѣзнь Аркаши такъ и должна была развиваться, потому что она принадлежала именно къ этой группѣ. Англійскіе психіатры ставятъ въ большую заслугу Шекспиру, что ему былъ извѣстенъ этотъ законъ (хотя при изученіи Шекспира въ этомъ и трудно убѣдиться; можетъ-быть ему только приписывается это знаніе), между тѣмъ какъ въ наукѣ онъ сталъ извѣстенъ около 40 лѣтъ тому назадъ, благодаря главнымъ образомъ работамъ Guislain. Я думаю, что мы имѣемъ болѣе права въ этомъ отношеніи гордиться Достоевскимъ, такъ какъ онъ, дѣйствительно, зналъ этотъ законъ, а едва ли можно допустить, что онъ его вычиталъ; собственная наблюдательность помогла ему уловить законъ природы, такъ долго незамѣченный и учеными художниками.

Психическая боль у Аркаши выступила на первый планъ сознанія и подавила все остальное; явилось полное безучастіе къ нормальнымъ впечатлѣніямъ, такъ какъ до сознанія могла доходить только психическая боль: на этой боли и сосредоточено все сознаніе

больнаго. Такое состояніе можно сравнить съ состояніемъ повышенной возбудимости органовъ чувствъ: напримѣръ, больной глазъ избѣгаетъ прежде бывшихъ ему пріятными свѣтовыхъ раздраженій и ищетъ темноты; такъ и Аркаша, мучимый психическою болью, избѣгаетъ всякихъ сношеій со внѣшнимъ міромъ; всякое новое впечатлѣніе становится ему мало-по-малу непріятнымъ и, безучастный ко всему остальному, онъ еще болѣе погружается въ самого себя. Вслѣдствіе этой сосредоточенности, ходъ представленій дѣлается медленнымъ и лѣнивымъ, все сознаніе Аркаши поглощено только однимъ несчастіемъ; до сознанія его все меньше и меньше достигаетъ что-либо изъ круга его прежнихъ интересовъ.

Такъ какъ при этомъ всякое впечатлѣніе дѣлается непріятнымъ, то у Аркаши, какъ и у всякаго такого больнаго, является общее расположеніе къ отрицанію и отвращенію, и вмѣсто прежняго доброжелательства и любви мрачныя побужденія недовѣрія и ненависти. Но прирожденный человѣческому духу законъ причинности заставляетъ искать причины такой душевней перемѣны, возникавшей благодаря болѣзненному измѣненію мозга. Причинъ этихъ больные ищутъ во внѣшнемъ мірѣ, потому что оттуда человѣкъ привыкъ получать побужденія къ своимъ психическимъ состояніямъ; но такъ какъ въ данномъ случаѣ причинъ этихъ во внѣшнемъ мірѣ нѣтъ — неокончаніе работы ничего кромѣ выговора и связаннаго съ этимъ недовольства собой повлечь не могло — то являющіяся объясненія должны само собою быть ложны, сумасбродны, безумны. Въ этомъ подыскиваніи причинъ перемѣнъ душевнаго настроенія, въ этихъ попыткахъ объясненія обыкновенно и стоитъ главный источникъ безумныхъ представленій, идей бреда. Логическій процесъ у душевнобольного тотъ же, какъ и у здоровыхъ. Аркаша *долженъ* былъ, какъ и всякій человѣкъ, объяснить себѣ причину перемѣны своего настроенія. Во внѣшнемъ мірѣ нѣтъ этой причины, есть только причина къ нѣкоторому недовольству собой и безпокойству; вслѣдствіе затемнѣнія сознанія и разстройства въ теченіе представленій, подъ вліяніемъ психической боли, онъ не можетъ понять, что тоска и страхъ, овладѣвшіе имъ, патологическое явленіе. Въ другихъ случаяхъ, вслѣдствіе причинъ, говорить о которыхъ здѣсь не мѣсто, больныя понимаютъ, что ихъ грусть, тоска и страхъ, есть результатъ болѣзни.

Вотъ этимъ путемъ и развивается ложное объясненіе Аркаши, что за неокончаніе работы его отдадутъ въ солдаты. Безпокойство о томъ, что работа не окончена, все усиливалось и, наконецъ, доросло до настоящаго ужаса, и, конечно, не оставляло больного за все время заболѣванія. Недоставало второй части идей бреда, онѣ явились потомъ, когда психическая боль затемнила сознаніе настолько, что критическое отношеніе къ чему-либо сдѣлалось невозможнымъ.

Аркаша, происходившій изъ податного сословія, долго (до полученія чина) боялся попасть въ солдаты; притомъ ему, какъ человѣку боязливому, могла нерѣдко приходить въ голову мысль, что,

согласно общему правилу того времени, за крупный служебный промахъ онъ все-таки еще можетъ быть сданъ въ солдаты. Ему естественно казалось, что патологическій ужасъ обусловленъ неокончаніемъ работы (что онъ ошибался, мы уже видѣли, а также можемъ объяснить и почему); стало-быть это неокончаніе работы есть большое преступленіе, если могло вызвать въ немъ такой страхъ и такую грусть; а вѣдь за большое преступленіе отдаютъ въ солдаты, слѣдовательно, его отдадутъ въ солдаты. Дойдя до этого заключенія, Аркаша уже сдѣлался сумасшедшимъ. Логически разсужденіе построено правильно, но ложны посылки и волѣдствіе сего невѣренъ выводъ.

Человѣкъ вообще рѣдко понимаетъ, что настроенія въ немъ мѣняются вслѣдствіе внутреннихъ причинъ; этимъ объясняется невѣрность первой посылки, будто бы патологическое его настроеніе зависѣло отъ неокончанія работы. Вторая посылка — что его отдадутъ въ солдаты, за сдѣланное имъ крупное преступленіе — въ сущности вѣрна; по крайней мѣрѣ, въ этой идеѣ нѣтъ ничего невѣроятнаго. Выводъ, что онъ сданъ въ солдаты, есть идея бреда. Присутствіе идей бреда профанами считается необходимою принадлежностью помѣшательства; но мы уже видѣли, какъ Достоевскій вѣрно понялъ что идеи бреда суть явленія вторичныя, во всякомъ случаѣ не больше, какъ одинъ изъ многихъ элементовъ помѣшательства.

Если бы Достоевскій не упомянулъ, что Аркаша происходилъ изъ податного сословія, то вся правдивость разсказа была бы подорвана, потому что стало бы мало вѣроятнымъ возникновеніе именно этой идеи бреда.

Наконецъ Аркаша становится совершенно помѣшаннымъ: онъ уже чувствуетъ, думаетъ, поступаетъ, какъ рекрутъ, а не какъ чиновникъ. Вмѣсто прежняго Аркаши явился новый, съ новыми чувствами, мыслями, поступками. Естественно, что рекрутъ долженъ прощаться съ невѣстой и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезъ посредство друга поддержать ее въ такомъ несчастіи; онъ держитъ руки по швамъ, ходитъ какъ солдатъ, то-есть какъ, по понятіямъ Аркаши, ходятъ солдаты; старается убѣдить начальство, что онъ не годенъ къ военной службѣ. Дѣйствительность, его окружающая, для него измѣнена; только имѣющее отношеніе къ его бреду доходитъ до его сознанія, и то въ извращенномъ видѣ: начальникъ кажется ему строгимъ; когда его везутъ въ больницу, то ему кажется, что онъ ѣдетъ въ казармы и т. п. Тутъ появились и иллюзіи, и та неспособность воспринимать впечатлѣнія, которая свойственна всякому убитому горемъ человѣку, сосредоточенному на угнетающей его идеѣ.

Тутъ разсказъ естественно кончается, потому что не дѣло романиста описывать, что дѣлается въ больницѣ для душевно-больныхъ. Жизнь въ этихъ убѣжищахъ внѣ сферы наблюденій художника. Да и, наконецъ, есть границы между дѣятельностію врача и дѣятельностью художника; Достоевскій зналъ эти границы. *Чижъ.*

Чужой мужъ.

Канва, на которой Достоевскій рисуетъ свой узоръ, состоитъ въ томъ, что Вельчаниновъ, нѣкогда свѣтскій и благовоспитанный джентльменъ, терзаемый ипохондріею, какъ слѣдствіемъ отчасти неблагопріятно сложившейся для него матеріальной обстановки, отчасти сознанія довольно безпутно проведенной жизни, встрѣчаетъ случайно господина, съ женою котораго, уже умершей, имѣлъ онъ, лѣтъ десять назадъ, любовную связь. Господинъ этотъ былъ, какъ кажется, очень привязанъ къ своей женѣ, и только послѣ смерти ея открылъ цѣлыя связки ея любовной переписки съ разными лицами; въ числѣ этихъ писемъ не было писемъ Вельчанинова; но обманутый мужъ заподозриваетъ и его въ связи съ умершей женою и даже въ томъ, что единственный оставшійся послѣ жены ребенокъ принадлежитъ не ему, а Вельчанинову. На эту тему авторъ рисуетъ, съ обычнымъ ему искусствомъ, рядъ странныхъ, читаемыхъ съ болѣзненнымъ раздраженіемъ сценъ. Мѣстами, какъ и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, Достоевскій съ удивительною силою хватается за больныя мѣста человѣческаго сердца и мрачнымъ свѣтомъ освѣщаетъ въ немъ темные и далекіе уголки, укрываемые обыкновенно каждымъ старательно отъ постороннихъ нескромныхъ взглядовъ. На одномъ изъ такихъ мѣстъ мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя.

Мы съ вами, читатель, безъ сомнѣнія, благороднѣйшіе люди; въ нашемъ прошедшемъ нѣтъ ничего такого, что заставляло бы васъ краснѣть или терзаться; но, какъ извѣстно, на свѣтѣ есть люди и неблагородные; есть даже люди такъ себѣ (и въ большинствѣ мы принадлежимъ къ разряду этихъ людей), пользующіеся репутаціею людей порядочныхъ, но которые вдругъ, въ иную свѣтлую или, если хотите, мрачную минуту, заглянувъ поглубже въ свою душу, открываютъ въ своемъ прошедшемъ нѣкоторыя дѣянія, которыя хотя и не осуждаются, а иногда даже и одобряются снисходительнымъ общественнымъ мнѣніемъ, но которыя въ этотъ моментъ представляются человѣку съ нѣкоторой особенной точки зрѣнія. Достоевскій заглядываетъ въ человѣческую душу въ подобный интересный моментъ и сообщаетъ намъ поистинѣ художественно и поистинѣ поучительныя вещи.

Скоро, впрочемъ, и по утрамъ стало съ нимъ (Вельчаниновымъ) повторяться то же, что происходило въ исключительные ночные часы, но только съ большею желчью, чѣмъ по ночамъ, со злостью вмѣсто раскаянія, съ насмѣшкой вмѣсто умиленія. Въ сущности это были все чаще и чаще приходившія ему на память, «внезапно и Богъ знаетъ почему», иныя происшествія изъ его прошедшей и давнопрошедшей жизни, но приходившія какимъ-то особеннымъ образомъ. Вельчаниновъ давно уже, напримѣръ, жаловался на

потерю памяти: онъ забывалъ лица знакомыхъ людей, которые при встрѣчахъ за это на него обижались; книга, прочитанная имъ полгода назадъ, забывалась въ этотъ срокъ иногда совершенно. И что же? — несмотря на эту очевидную, ежедневную утрату памяти (о чемъ онъ очень безпокоился), все что по десяти, по пятнадцати лѣтъ бывало даже совсѣмъ забыто, — все это вдругъ иногда приходило теперь на память, но съ такою изумительною точностью впечатлѣній и подробностей, что какъ-будто онъ вновь ихъ переживалъ. Нѣкоторые изъ припоминавшихся фактовъ были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудомъ, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и у кого изъ широко пожившихъ людей нѣтъ своего рода воспоминаній? Но дѣло въ томъ, что все это припоминавшееся возвращалось теперь какъ-бы въ заготовленной кѣмъ-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсѣмъ немыслимой точки зрѣнія на фактѣ. Почему иныя воспоминанія казались ему теперь совсѣмъ преступленіями? И не въ однихъ приговорахъ его ума было дѣло: своему мрачному, одиночному и больному уму онъ бы и не повѣрилъ; но доходило до проклятій и чуть ли не до слезъ, если и не наружныхъ, такъ внутреннихъ. Да онъ еще два года тому назадъ не повѣрилъ бы, если бъ ему сказали, что онъ когда-нибудь заплачетъ! Сначала, впрочемъ, припоминалось больше не изъ чувствительнаго, а изъ язвительнаго: припоминались иныя свѣтскія неудачи, униженія; припоминались два-три неуплаченные долга; мучило его тоже (но только въ самыя злыя минуты) воспоминаніе о двухъ, глупѣйшимъ образомъ промотанныхъ состояніяхъ, изъ которыхъ каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и изъ «высшаго».

Вдругъ, напримѣръ, ни съ того ни съ сего, припомнилась ему забытая — и въ высочайшей степени забытая имъ фигура добренькаго одного старичка чиновника, сѣденькаго и смѣшного, оскорбленнаго имъ когда-то, давнымъ-давно, публично и безнаказанно, и единственнно изъ одного фанфаронства: изъ-за того только, чтобъ не пропалъ даромъ одинъ смѣшной и удачный каламбуръ, доставившій ему славу и который потомъ повторяли, — фактъ былъ до того имъ забытъ, что даже фамиліи этого старичка онъ не могъ припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключенія въ непостижимой ясности. Онъ ярко припомнилъ, что старикъ тогда заступался за дочь, живущую съ нимъ вмѣстѣ и засидѣвшуюся въ дѣвкахъ, и про которую въ городѣ стали ходить какіе-то слухи. Старичокъ сталъ было отвѣчать и сердиться, но вдругъ заплакалъ навзрыдъ при всемъ обществѣ, что произвело даже нѣкоторое впечатлѣніе. Кончили тѣмъ, что для смѣха напоили его тогда шампанскимъ и вдоволь насмѣялись. И когда теперь припомнилъ, «ни съ того ни съ сего», Вельчаниновъ о томъ, какъ старикашка рыдалъ и закрывался руками, какъ ребенокъ, то ему вдругъ показалось, что какъ-будто онъ никогда и не забывалъ этого. И странно:

ему все это казалось тогда очень смѣшнымъ; теперь же, напротивъ,— и именно подробности, именно закрываніе лица руками. Потомъ онъ припомнилъ, какъ, единственно для шутки, оклеветалъ одну прехорошенькую жену одного школьнаго учителя, и клевета дошла до мужа. Вельчаниновъ скоро уѣхалъ изъ этого городка и не зналъ, чѣмъ тогда кончились слѣдствія его клеветы, но теперь онъ вдругъ сталъ воображать, чѣмъ кончились эти слѣдствія, — и Богъ знаетъ, до чего бы дошло его воображеніе, если бъ вдругъ не представилось ему гораздо ближайшее воспоминаніе объ одной дѣвушкѣ, изъ простыхъ мѣщанокъ, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, онъ и стыдился, но съ которой, самъ не зная для чего, прижилъ ребенка, да такъ и бросилъ ее съ ребенкомъ, даже не простившись (правда, некогда было), когда уѣхалъ изъ Петербурга. Эту дѣвушку онъ разыскивалъ потомъ цѣлый годъ, но уже никакъ не могъ отыскать. Впрочемъ, такихъ воспоминаній оказывалось чуть не сотни — и такъ дальше, какъ-будто каждое воспоминаніе тащило за собою десятки другихъ. Мало-по-малу стало страдать и его тщеславіе.

Но тщеславіе его стало по-малу удаляться отъ прежнихъ поводовъ и сосредоточиваться около одного вопроса, безпрерывно приходившаго ему на умъ: «Вотъ, вѣдь», начиналъ онъ думать иногда сатирически (а онъ всегда почти, думая о себѣ, начиналъ съ сатирическаго), «вотъ, вѣдь, кто-то тамъ заботится же объ исправленіи моей нравственности и посылаетъ мнѣ эти проклятыя воспоминанія и «слезы раскаянія». Пусть, да вѣдь попусту! вѣдь все стрѣльба холостыми зарядами. Ну, не знаю ли я навѣрно, вѣрнѣе, чѣмъ навѣрно, что, несмотря на всѣ эти слезныя раскаянія и самоосужденія, во мнѣ нѣтъ ни капельки самостоятельности, несмотря на всѣ мои глупѣйшія сорокъ лѣтъ! Вѣдь случись же завтра же такое же искушеніе; ну сойдись, напримѣръ, обстоятельства такъ, что мнѣ выгодно будетъ слухъ распустить, будто бы учительша отъ меня подарки принимала, — и я, вѣдь, навѣрное распущу, не дрогну — и еще хуже, пакостнѣе, чѣмъ въ первый разъ, дѣло выйдетъ, потому что этотъ разъ будетъ уже второй разъ, а не первый. Ну, оскорби меня опять, сейчасъ, этотъ князекъ, единственный сынъ у матери и которому я одиннадцать лѣтъ тому назадъ ногу отстрѣлилъ,—и я тотчасъ же его вызову и опять посажу на деревяшку. Ну, не холостые ли, стало быть, заряды, и что въ нихъ толку; и для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться съ собою прилично не умѣю!».

Изъ «Одесскаго Вѣстника» за 1870 г. № 63.

Герои произведеній Достоевскаго «Дядюшкинъ сонъ» и «Подростокъ» съ явно выраженнымъ старческимъ слабоуміемъ и его послѣдствіями.

Разсказъ «Дядюшкинъ сонъ» — одно изъ рѣдкихъ художественныхъ произведеній, гдѣ главное дѣйствующее лицо душевнобольной, и ходъ дѣйствія состоитъ изъ отношеній второстепенныхъ персонажей разсказа къ этому больному, пользующихся для своихъ корыстныхъ цѣлей его болѣзнью. Разбирать, удачно ли очерчены хищническіе инстинкты среды, выбранной авторомъ, — не мое дѣло. Для моей цѣли необходимо отмѣтить, что въ литературѣ была сдѣлана попытка изобразить помѣшаннаго среди сложныхъ житейскихъ отношеній и выяснить, вѣрно ли описалъ Достоевскій болѣзнь и вѣрно ли онъ изобразилъ вообще отношенія здоровыхъ къ помѣшанному, смотря по ихъ положенію.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи, весь разсказъ есть самый точный и вѣрный протоколъ дѣйствительности, и едва ли много, во всей міровой литературѣ, найдется такихъ точныхъ фотографій природы. Высокопоставленные родственники героя, замѣтивъ ненормальность его умственныхъ способностей, несмотря на необходимость подвергнуть больного освидѣтельствованію, назначить опеку, предписать больному извѣстный режимъ и т. п., ничего этого не сдѣлали, боясь опозорить себя гласнымъ признаніемъ, что ихъ родственникъ душевнобольной, и заслужить упреки въ жадности. Нужно ли говорить, что все это вѣрно дѣйствительности? Даже люди просвѣщенные считаютъ помѣшательство чѣмъ-то позорнымъ. Среди публики довольно распространено мнѣніе, что весьма легко здороваго принять за больного, что нѣтъ никакихъ критеріевъ для установленія діагноза душевной болѣзни; притомъ же освидѣтельствованіе душевныхъ больныхъ происходитъ или, по крайней мѣрѣ, происходило при условіяхъ, допускающихъ произволъ (у Писемскаго въ романѣ «Тысяча душъ» хорошо изображено, какъ производили освидѣтельствованіе душевнобольныхъ въ то время); слѣдовательно, родственники больного имѣли полное право бояться нареканій въ томъ, что они злоупотребляли своимъ вліяніемъ для признанія героя душевнобольнымъ. Едва ли нужно прибавлять, что такъ какъ въ самомъ обществѣ нѣтъ ни малѣйшихъ свѣдѣній о душевныхъ болѣзняхъ, то оно не можетъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ и контролировать ошибки въ этомъ отношеніи.

Совершенно вѣрно рисуетъ Достоевскій жизнь князя въ деревнѣ: какъ это ни странно для профановъ, но, благодаря небольшому такту и нѣкоторой заботливости, съ такими больными очень легко ладить. Этого капризнаго, привыкшаго къ свободѣ и власти князя держала въ полномъ подчиненіи нянька. О томъ же, что всегда много людей, старающихся эксплуатировать болѣзненное состояніе ближнихъ въ свою пользу, едва ли нужно и говорить. Вотъ это-то обстоятельство и

служитъ убѣдительнымъ аргументомъ въ пользу широкой организаціи дѣла призрѣнія душевнобольныхъ. Наконецъ, этотъ разсказъ весьма живо иллюстрируетъ, до какой степени вредна для душевнобольныхъ жизнь среди здоровыхъ.

Достоевскій въ другомъ своемъ произведеніи, «Подростокъ», возвращается къ той же темѣ: и князь («Дядюшкинъ сонъ») и старикъ Сокольскій страдаютъ одной и тою же формой душевной болѣзни, старческимъ слабоуміемъ; разница только въ степени: Сокольскій еще въ болѣе раннемъ періодѣ болѣзни. Почти одна и та же обстановка окружаетъ обоихъ больныхъ. Для краткости я разсмотрю вмѣстѣ болѣзненные симптомы обоихъ.

За исключеніемъ немногихъ любимцевъ судьбы, обыкновенно, люди со старческимъ мозгомъ становятся болѣе осторожны въ своихъ сужденіяхъ и намѣреніяхъ; способность умственнаго усвоенія уменьшается, воображеніе не имѣетъ прежней пылкости и живости, мышленіе происходитъ медленнѣе, память слабѣетъ, кругъ идей дѣлается болѣе ограниченнымъ, воля не столь твердою. По мѣткому выраженію Legrand-du-Saulle, старикъ — laudator temporis acti: онъ живетъ, преимущественно, своимъ прошлымъ, консервативенъ, ничему новому не довѣряетъ. Но если старческое измѣненіе характера и развивается постепенно, то все-таки это не исключаетъ возможности въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣлить: когда это измѣненіе достигло степени старческаго слабоумія. Самымъ рѣзкимъ симптомомъ, извѣстнымъ даже вообще образованнымъ людямъ, старческаго слабоумія будетъ ослабленіе памяти настоящаго, при чёмъ память о событіяхъ прежней жизни еще сравнительно сохранена. Напримѣръ Сокольскій, вообще хорошо помнящій свою прежнюю жизнь, долго не узнаетъ Версилова, котораго не видалъ лишь нѣсколько дней, забываетъ о данномъ имъ дочери обѣщаніи не принимать его, такъ же какъ и причины этого обѣщанія, и снова вступаетъ съ нимъ въ дружескую бесѣду. Князь К., еще кое-что разсказывающій о томъ, что съ нимъ было нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, не помнитъ, въ чьемъ онъ домѣ въ данное время, гдѣ онъ только что былъ и что онъ только что обѣщалъ. Очевидно, что измѣненый старческій мозгъ не въ состояніи съ должною ясностью воспринимать и воспроизводить представленія: образы же прошлаго, воспринятые еще здоровымъ мозгомъ, остаются. Вотъ это-то, обыкновенно, и ставитъ втупикъ профановъ, особенно если имъ приходится имѣть дѣло съ лицами выдающагося ума, пораженными старческимъ слабоуміемъ; такіе больные живо передаютъ прошлое и удивляютъ слушателей глубиной своихъ сужденій, поскольку они повторяютъ на память свои прежнія мысли. Напримѣръ страдающій старческимъ слабоуміемъ дипломатъ можетъ съ полною подробностью передать всѣ обстоятельства Вѣнскаго конгресса, дать блистательную характеристику дѣятелей того времени и положенія Европы, но о современныхъ событіяхъ и лицахъ онъ способенъ сказать только вздоръ

и не помнитъ, въ какомъ теперь онъ домѣ. Вообще стóитъ заставить такихъ больныхъ говорить о недавно прошедшемъ, высказать сужденія о настоящемъ, — тотчасъ, за недостаткомъ памяти способности создать правильныя сужденія и за неимѣніемъ въ запасѣ уже готовыхъ сужденій по данному обстоятельству, станетъ яснымъ слабоуміе этого лица, такъ какъ, рядомъ съ живымъ разсказомъ и вѣрными сужденіями о прошедшемъ, мы получимъ безсвязные отрывки и безсмысленныя сужденія; словомъ, сдѣлается очевиднымъ, что человѣкъ сталъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде.

Это особенно хорошо изображено Достоевскимъ: Сокольскій высказываетъ мѣткія, во всякомъ случаѣ не банальныя мнѣнія, и въ то же время неспособенъ обсудить самыхъ простыхъ обстоятельствъ, случившихся въ его семьѣ за послѣднее время.

Такіе больные путаютъ, обыкновенно, настоящее съ прошедшимъ, и въ разговорѣ легко уклоняются въ сторону, совершенно забывая какъ первоначальную тему разговора, такъ и то, съ кѣмъ они говорятъ; они всецѣло поглощаются еще живыми сравнительно образами прошлаго, и блѣдная для нихъ дѣйствительность перестаетъ существовать. Естественно, что незнакомымъ со всею прежнею жизнью субъекта бесѣда ихъ становится непонятною; такъ часто бывало между Сокольскимъ и Версиловымъ.

Рядомъ съ этимъ, конечно, больные легко утомляются умственною работой, вслѣдствіе чего они только на сравнительно короткое время способны къ умственному напряженію. Сокольскій, по мѣткому выраженію Версилова, размякалъ; онъ начиналъ говорить безсмысленный вздоръ, лицо теряло осмысленное выраженіе, вся фигура казалась опущенною, разслабленною. Дѣйствительно, такъ какъ психическое напряженіе обусловливаетъ выраженіе лица и всего тѣла, то вмѣстѣ со временнымъ прекращеніемъ или, по крайней мѣрѣ, ослабленіемъ этого напряженія теряется и выраженіе, какъ это мы постоянно наблюдаемъ у находящихся въ глубокомъ снѣ и опьянѣніи. Эти быстро и часто появляющіяся ослабленія умственной дѣятельности нерѣдко наблюдаются у лицъ, страдающихъ старческимъ слабоуміемъ.

Наконецъ, при старческомъ слабоуміи иногда замѣчаются бредовыя идеи преслѣдованія, чтó не пропущено Достоевскимъ при изложеніи этого страданія. Сокольскій ко всѣмъ относится недовѣрчиво, всюду видитъ заговоръ противъ себя; по его наблюденію, у всѣхъ какіе-то подозрительные глаза. Князю также кажется, что его дворовые люди враждебно противъ него настроены, что кучеръ покушался на его жизнь. Но естественно, что, подобно всѣмъ идеямъ, и эти мысли о преслѣдованіи только на короткое время удерживаются сознаніемъ и, не входя въ связь съ другими представленіями, не достигаютъ надлежащаго развитія. Насколько впечатлѣнія слабо воспринимаются такими больными, Достоевскій прекрасно объяснилъ примѣромъ князя, который никакъ не могъ оріентироваться, во снѣ или наяву онъ сдѣлалъ предложеніе выйти за него замужъ; у нихъ

иногда даже развиваются идеи бреда, почерпнутыя изъ сновидѣній, такъ какъ они уже не въ силахъ различать дѣйствительность отъ сновидѣній. Въ данномъ случаѣ мы видимъ также хорошій примѣръ того, какъ искусно фактъ изъ области патологіи эксплуатированъ ради цѣлей романиста.

При этой болѣзни настроеніе, обыкновенно, становится крайне измѣнчивымъ; рябяческая веселость и смѣхъ у Сокольскаго вдругъ, безо всякой внѣшней причины, переходятъ въ глубоко угнетенное настроеніе, при чёмъ появляется и безсонница, почти неизбѣжный спутникъ старческаго слабоумія.

Наконецъ, какъ непремѣнный симптомъ болѣзни, появляется тупость чувства и, конечно, прежде всего нравственнаго: у Сокольскаго видно полное безучастіе какъ ко всѣмъ общественнымъ интересамъ, такъ и къ положенію собственной семьи; у князя К., находящагося болѣе въ глубокомъ періодѣ болѣзни, эта тупость чувства достигла уже такой сильной степени, что онъ не тяготится своимъ положеніемъ лишеннаго свободы и возможности жить такъ, какъ онъ привыкъ и любилъ. Остается уже немного стимуловъ, способныхъ возбуждать погасшія чувства; только половое чувство легко возбудимо, что, вмѣстѣ съ притупленіемъ нравственныхъ чувствованій и исчезновеніемъ контролирующихъ и задерживающихъ представленій, ведетъ къ рѣзкому проявленію эротическаго настроенія. Благовоспитанный Сокольскій съ Версиловымъ, мало знакомымъ ему, и по лѣтамъ и по общественному положенію весьма отъ него далекимъ, постоянно ведетъ циническій разговоръ о женщинахъ; окружаетъ себя молодыми дѣвушками-воспитанницами и ,наконецъ, дѣлаетъ предложеніе дѣвушкѣ, годящейся ему во внучки. Князь приходитъ въ совершенный восторгъ при взглядѣ на двухъ декольтированныхъ танцующихъ дѣвочекъ-подростковъ и сравнительно долго находится подъ вліяніемъ этого впечатлѣнія; также дѣлаетъ предложеніе, и счастливъ, считая себя женихомъ. Судебная психіатрія богата случаями самаго грубаго оскорбленія нравственности такими больными: жертвами этихъ преступленій чаще всего бываютъ дѣти. Не менѣе того извѣстна страсть ихъ жениться, и нерѣдко, такъ какъ они, благодаря совершенному незнакомству публики со психіатріей, считаются здоровыми, совершаются браки, влекущіе за собою и болѣе скорую смерть и разореніе семьи, потому что только развратныя женщины съ корыстною цѣлью, какъ это и выставлено Достоевскимъ, могутъ дѣлаться женами этихъ больныхъ. Если мы припомнимъ, какъ много несчастій въ общественной и частной жизни происходитъ оттого, что никто во-время не умѣетъ констатировать развитіе старческаго слабоумія, то эти характеристики Достоевскаго имѣютъ даже практическое, дидактическое значеніе; но, конечно, нужно частое и многократкое повтореніе, чтобъ извѣстныя истины вошли въ сознаніе общества.

Какъ естественное послѣдствіе бѣдности представленій, слабости сужденія, отсутствія умственныхъ и нравственныхъ интересовъ,

является слабость воли; Сокольскій подчиняется своей дочери, князь, посторонней женщинѣ. Но естественно, что они могутъ подчиняться всякому приказанію; князя, ѣдущаго въ гости, пересаживаютъ изъ экипажа и везутъ совсѣмъ въ другое мѣсто. Обѣщанія, имъ данныя, не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ онъ ихъ забываетъ; притомъ же у него представленія вообще слабо связаны съ соотвѣтственными чувствами, поэтому для него самого эти обѣщанія вовсе не обязательны. Изъ этого видно, какого бдительнаго надзора требуютъ эти больные.

Во всякомъ случаѣ, если Достоевскій и не далъ полнаго очерка старческаго слабоумія, то въ обѣихъ исторіяхъ болѣзни нѣтъ ни одной дѣланной, невѣрной черты; основныя явленія указаны и разработаны вполнѣ достаточно; изученіе этихъ обоихъ лицъ необходимо для ознакомленія со старческимъ слабоуміемъ. *Чижъ.*

Записки изъ подполья.

Вскорѣ послѣ «Записокъ изъ Мертваго дома» намекомъ на этотъ типъ явился у Достоевскаго герой «Записокъ изъ подполья» — въ тѣ минуты, когда онъ вымещаетъ свое озлобленіе на первомъ попавшемся ему существѣ — на несчастной Лизѣ: — «Меня унизили, и я», говоритъ онъ, «хотѣлъ себя показать, унижая другого». Дѣло тутъ еще только въ первой стадіи: «отвѣчай тотъ, кто первый подвернулся». Когда же дойдетъ, наконецъ, до разбора, кто тутъ дѣйствительно виноватъ, тогда въ расправѣ надъ нимъ, дѣйствительно виноватымъ, уже не будетъ, конечно, несправедливаго произвола, а будетъ только старый законъ: «око за око, зубъ за зубъ»; но въ примѣненіи этого закона, — тоже страстное упоеніе: — «ты меня въ бараній рогъ гнулъ, теперь я тебя гну въ тотъ же бараній рогъ».

Но герой «подполья» въ пылу озлобленія готовый себѣ усвоить такую теорію, однако, спасенъ отъ безоглядныхъ изъ нея выводовъ несомнѣнно въ немъ существующими симпатическими сторонами природы. «Свое собственное вольное и свободное хотѣніе», говоритъ онъ, «свой собственный, хотя бы самый дикій, капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хоть бы даже до сумашествія, — вотъ это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ». Но не надо пугаться этихъ словъ, этого *хотѣнія* ради *хотѣнія*. Онъ сейчасъ же оговаривается: «*хотѣть можно и противъ своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно*». Только способность и на такое хотѣнье доказываетъ, что человѣкъ владѣетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ, — захочетъ и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ сущности герой «подполья» возстаетъ противъ подведенія всего подъ одну такъ называемую *выгоду*, которая осѣдлываетъ

человѣка, внушая ему, будто подниматься выше ея — не его ума т.-е. не его природы дѣло. «Ужъ какъ докажутъ тебѣ, напримѣръ» говоритъ онъ, «что отъ обезьяны произошелъ, такъ ужъ и нечего морщиться, принимай какъ есть. Ужъ какъ докажутъ тебѣ, что въ сущности одна капелька твоего собственнаго жира тебѣ должна быть дороже ста тысячъ тебѣ подобныхъ и что въ этомъ результатѣ разрѣшаются подъ конецъ всѣ такъ называемыя добродѣтели и обязанности и прочіе бредни и предразсудки, такъ ужъ, такъ и принимай, нечего дѣлать — потому: дважды два, математика. Попробуйте возразить». Но неподавимое въ немъ и рвущееся на свободу начало все-таки возражаетъ: — «да какое мнѣ дѣло до законовъ природы и ариѳметики, когда мнѣ почему нибудь эти законы и дважды два — четыре не нравятся...» «Да когда же бывало во всѣ эти тысячилѣтія», продолжаетъ въ немъ бунтовать душа, «чтобы человѣкъ дѣйствовалъ только изъ одной своей собственной выгоды».

Вотъ этотъ-то протестъ души съ ея прирожденнымъ идеализмомъ не даетъ ему успокоиться на «борьбѣ» за существованіе съ кроющимися въ ея безоглядномъ примѣненіи къ дѣлу всеобщими инстинктами «палача». Доставьте только окончательную побѣду матеріализму, т.-е. всему, что изъ него слѣдуетъ, безъ поправокъ или провѣрокъ со стороны, — и идеалъ «палача» готовъ, какъ съ другой стороны, готовъ и идеалъ мечтателя о комфортѣ.

Миллеръ.

Содержаніе романа «Униженные и оскорбленные».

Романъ постоянно веденъ отъ перваго лица. Какой-то литераторъ Иванъ Петровичъ (фамилія его неизвѣстна), больной, съ нервическими припадками, претерпѣвшій очень много нуждъ и заботъ, описываетъ нѣкоторыя изъ своихъ похожденій. Прежде всего разсказываетъ онъ какъ эпизодъ встрѣчи своей въ кондитерской Миллера съ какимъ-то старикомъ, при которомъ постоянно находится собака *азорка*. Этотъ старикъ каждый день ходитъ съ своей собакой въ эту кондитерскую, сидитъ молча, никогда ничего не спрашиваетъ, ни съ кѣмъ незнакомъ, и, просидѣвъ такимъ образомъ нѣсколько часовъ, уходитъ неизвѣстно куда со своей азоркою, чтобы на другой день въ означенный часъ снова явиться неизвѣстно откуда. Разъ какъ-то при Иванѣ Петровичѣ происходитъ ссора въ кондитерской: старикъ испуганный хочетъ разбудить свою собаку, которая спитъ у его ногъ, чтобы молча уйти отъ бѣды и возвратиться домой, но собаки уже нѣтъ въ живыхъ: она умерла отъ старости или отъ голоду. Старикъ, видимо, смущенъ этимъ несчастьемъ; онъ выходитъ взволнованный изъ кондитерской, Иванъ Петровичъ за нимъ, и тутъ, на улицѣ, у какого-то забора старикъ Смитъ умираетъ. Оказывается, что этотъ старикъ — какой-то обанкрутившійся англичанинъ, что онъ занималъ уже давно тутъ неподалеку одну

комнату. Иванъ Петровичъ ищетъ себѣ, между прочимъ, новую квартиру, комната Смита понравилась ему, и онъ нанимаетъ ее.

Здѣсь, оставляя на время эпизодъ старика Смита, Иванъ Петровичъ повѣствуетъ намъ о своемъ знакомствѣ съ однимъ семействомъ Ихменева, помѣщика, живущаго въ своемъ имѣніи. Семейство это состоитъ изъ отца, Николая Сергѣевича, изъ матери, Анны Андреевны и дочери Наташи (одна изъ героинь романа). По всему видно, и по тону разсказа и по самымъ фактамъ, что Иванъ Петровичъ давно влюбленъ въ эту Наташу, но ему предпочитаютъ молоденькаго, глупенькаго князя Алешу, сына какого-то князя Валковскаго, который, между прочимъ, пріѣхалъ разъ осматривать свое имѣніе, и тогда, найдя очень много безпорядковъ въ немъ, и познакомившись въ то время съ сосѣдомъ своимъ, Николаемъ Сергѣевичемъ Ихменевымъ, полюбилъ, повидимому, его, поручилъ ему тотчасъ свое имѣніе въ управленіе, поручилъ ему даже воспитаніе сына своего, отъ котораго онъ желалъ въ то время отдѣлаться. Князь всѣми прочими сосѣдями не любимъ, про него уже носится очень много недобрыхъ слуховъ, но Ихменевъ считаетъ своимъ долгомъ защищать князя, потому что онъ знаетъ за нимъ до сихъ поръ одно хорошее. Маленькій сынъ князя, Алеша, нравится очень Николаю Сергѣевичу, впрочемъ, всѣ его ласкаютъ, лелѣютъ, и самому Алешѣ нравится эта жизнь въ деревнѣ у Ихменевыхъ, словомъ, всѣ довольны, всѣ, повидимому, счастливы, но тутъ начинается разгромъ. Князь, основываясь на сплетнѣ, а можетъ-быть, и съ другою цѣлью, заподозрѣваетъ старика Ихменева въ дурномъ управленіи и даже въ подлогѣ, затѣваетъ по этому случаю противъ него процессъ. Ихменевъ этимъ крайне обижается. Алеша, конечно, взятъ отъ Ихменевыхъ и поступаетъ въ лицей. Когда Ихменевъ рѣшается переѣхать со всѣмъ своимъ семействомъ въ Петербургъ, чтобы лучше слѣдить за ходомъ дѣла, то уже Алеша кончилъ курсъ свой въ лицеѣ. Онъ, несмотря на прямое запрещеніе отца своего, продолжаетъ все время постоянную переписку съ Наташей; они любятъ другъ друга, и любятъ, кажется, горячо, но эта любовь неизвѣстна ни самому Ихменеву ни даже Ивану Петровичу, который все время только что мечтаетъ о Наташѣ, читаетъ ей свои сочиненія, и, видя ея впечатлительность при этомъ чтеніи, воображаетъ довольно естественно, что и она ему отвѣчаетъ тѣмъ же.

Разъ онъ является къ Ихменеву вечеромъ. Онъ нѣсколько дней не бывалъ, все время былъ задержанъ какимъ-то длиннымъ романомъ, который онъ все время пишетъ. Наташа собиралась куда-то выйти; она принесла въ гостиную свою шляпу и сказала, что идетъ въ церковь къ вечернѣ. Старикъ Ихменевъ проситъ Ивана Петровича проводить ее; у того, между прочимъ, какъ-то сжимается сердце, онъ предчувствуетъ что-то недоброе, отправляется вмѣстѣ съ Наташей, исполняетъ просьбу отца, — и подлинно: Наташа вовсе не въ церковь идетъ, а на свиданье съ Алешей!

Онъ уговариваетъ ее, но она не хочетъ измѣнить своему слову; встрѣчаютъ Алешу — новые уговоры опять безполезны. Наташа падаетъ въ обморокъ отъ избытка чувствъ. Иванъ Петровичъ сажаетъ ее въ карету Алеши. Молодой князь тоже садится, и оба они уѣзжаютъ. Дочь покинула отца, чтобъ убѣжать съ сыномъ того, кто оскорбилъ такъ жестоко его, укорилъ честнаго человѣка въ подлости, въ воровствѣ.

Вотъ главная завязка романа. Затѣмъ слѣдуютъ параллельныя описанія жизни Наташи съ Алешей, старика Ихменева и его жены, Анны Андреевны и самого разсказчика, Ивана Петровича и маленькой внучки Смита, Нелли.

Главный интересъ сосредоточивается въ началѣ романа на жизни Наташи съ Алешей. Послѣдній всегда остается взбалмошнымъ, безхарактернымъ мальчикомъ, измѣняющимъ очень быстро и безъ всякой видимой причины свои мнѣнія, свои чувства. Князь отецъ нѣсколько тому, конечно, виноватъ; онъ непремѣнно хочетъ воспрепятствовать свадьбѣ Алеши съ Наташей, которая постоянно назначается на слѣдующей недѣлѣ и никогда не можетъ осуществиться; князь съ цѣлью отдалить Алешу отъ Наташи, знакомитъ своего сына сперва съ разными камеліями, потомъ ведетъ его въ другое общество, представляетъ его какой-то графинѣ Н., у которой воспитывается молодая дѣвушка Катя. У этой Кати нѣсколько милліоновъ состоянія—навѣрно сколько,—не можемъ сказать, но, смотря по тому, съ какою небрежонстью она обѣщаетъ двумъ студентамъ одинъ милліонъ въ пользу какого-то полезнаго для литературы дѣла, можно закончить, что у ней, должно-быть, ихъ очень много.

Милліоны эти въ особенности прельстили князя; они ему нужны, — онъ давно уже разоренъ. Алеша не прекословитъ отцу и, постоянно оставаясь влюбленнымъ, какъ самъ онъ увѣряетъ, въ Наташу, бѣгаетъ сперва къ камеліямъ и самъ разсказываетъ объ этомъ Наташѣ, и потомъ даже влюбляется серіозно въ Катю, въ милліонную воспитанницу, разсказывая ей, что онъ влюбленъ уже съ давнихъ поръ въ Наташу. На другой день онъ подробно передаетъ Наташѣ всю свою любовь къ Катѣ, увѣряетъ ее, что онъ не можетъ жить безъ нея, но что, между прочимъ, бракъ свой съ Наташей не отлагаетъ и назначаетъ все-таки на слѣдующей недѣлѣ. Самъ князь является къ Наташѣ, и разсчитывая, что сынъ его Алеша никогда не женится, если ему прикажутъ это сдѣлать, при Наташѣ объясняетъ ему, что онъ долженъ непремѣнно жениться на ней, а самъ, объявивъ такимъ образомъ свою волю, уѣзжаетъ куда-то на четыре дня. Всѣ эти четыре дня Алеша сидитъ у Кати и почти не показывается у своей невѣсты Наташи, на которой положительно онъ долженъ жениться на-дняхъ, уже съ согласія отца. Катя же, у которой Алеша теперь проводитъ цѣлые дни, рѣшается, изъ любви къ Алешѣ, поѣхать къ Наташѣ, чтобъ узнать достовѣрно, съ кѣмъ Алеша будетъ болѣе счастливъ: съ ней или съ На-

ташей. Сцена выходитъ довольно странная, combat de générosités: каждая отказывается отъ Алеши и каждая желаетъ его удержать. Кончается тѣмъ, что Алеша рѣшается проводить Катю до Москвы, куда она ѣдетъ съ графиней, потомъ возвратится, чтобы уже жениться на Наташѣ, но Катя уже условилась съ Наташей, которая не хочетъ положительно отнимать у нея Алешу, а потому тотъ долженъ не возвращаться изъ Москвы, а ѣхать вмѣстѣ съ Катей и графиней Н. въ какое-то дальнее имѣніе.

Во все это время Николай Сергѣевичъ Ихменевъ и его жена Анна Андреевна очень скучаютъ о дочери своей; они любятъ ее; но въ то же время Николай Сергѣевичъ думаетъ, что онъ обязанъ проклинать свою дочь за ея поступокъ, что онъ никакъ не можетъ и не долженъ простить ее. Все это очень огорчаетъ Анну Андреевну. Иванъ Петровичъ часто является къ Ихменевымъ и передаетъ имъ про житье-бытье дочери; онъ продолжаетъ разсказываетъ Аннѣ Андреевнѣ, которая все время плачетъ и хнычетъ, а сама и не догадывается навѣстить свою дочь. Затѣмъ процессъ проигрывается, и Ихменевъ обязанъ заплатить 10 тысячъ руб. сер. князю.

Николай Сергѣевичъ очень смущенъ этимъ; онъ вызываетъ князя на дуэль за оскорбленіе, сдѣланное его чести, и получаетъ отъ него новое оскорбленіе въ отвѣтъ, — насмѣшливое письмо, въ которомъ князь смѣется надъ предложеніемъ Ихменева драться съ нимъ за то, что онъ, князь, выигралъ по закону процессъ.

Иванъ Петровичъ присутствуетъ при всемъ этомъ и, принимая живое участіе во всемъ, самъ принужденъ разыгрывать новую драму.

Внучка Смита, въ квартирѣ котораго онъ теперь живетъ, заходила при жизни старика каждый день къ нему; она и теперь, не зная о его смерти, приходитъ и видитъ Ивана Петровича; она очень дика, говоритъ неохотно, всего боится; ее зовутъ Нелли. Эта Нелли была взята по смерти своей матери къ какой-то Бубновой, которая ее мучитъ, бьетъ и т. д. Бубнова оказывается даже хуже этого: она разсчитываетъ на 12-лѣтнюю дѣвочку, чтобы ее продать за хорошія деньги какому-либо старику-развратнику. Иванъ Петровичъ узнаетъ объ этомъ, при помощи какого-то Маслобоева, прежняго своего товарища, котораго онъ давно не видалъ, и который теперь занимается хожденіемъ по дѣламъ и очень много пьетъ; онъ спасаетъ дѣвочку, увозитъ ее къ себѣ. Нелли больна; у ней нервическіе припадки, какъ и у самого Ивана Петровича; она долго не можетъ свыкнуться съ новою жизнью; очень дика, очень боязлива, но, послѣ настойчивыхъ разспросовъ, соглашается, наконецъ, разсказать свою исторію, т.-е. исторію своей матери, и, вообразите, это почти слово въ слово исторія Наташи, только съ тою разницею, что тутъ бракъ былъ законно совершонъ, что отъ этого брака родилась дочь Нелли. Дѣдъ этой дѣвочки, старикъ Смитъ, который между прочимъ, былъ ограбленъ мужемъ своей дочери, проклинаетъ ее такъ же точно, какъ Николай Сергѣевичъ проклинаетъ Наташу.

И вотъ эту-то исторію Нелли разсказываетъ самому Ихменеву, куда ее привезъ Иванъ Петровичъ именно съ этою цѣлью.

Услышавъ всю эту повѣсть, узнавъ, что бѣдная мать Нелли умерла въ нищетѣ безъ прощенія отца своего, послѣ чего самъ Смитъ былъ какъ помѣшанный и самъ умеръ у забора на улицѣ, не успѣвъ дойти до дому, Ихменевъ чувствуетъ, что ему необходимо простить свою дочь, чтобы не повторить страшную развязку Смита; онъ готовъ уже итти къ Наташѣ, но та къ этому времени, наконецъ, рѣшилась итти просить прощенія у своего отца. Ее Алеша окончательно, впрочемъ, покинулъ,—ей негдѣ и нечѣмъ жить, и когда Ихменевъ отворяетъ дверь, Наташа вбѣгаетъ навстрѣчу въ комнату и падаетъ на колѣни.

Послѣ этой сцены — всеобщаго прощенія, которая заканчиваетъ послѣднюю часть, остается еще эпилогъ. Въ немъ повѣствуется, что всѣ живутъ вмѣстѣ довольно дружно; о князѣ почти забыли. Нелли уже переѣхала окончательно къ Ихменевымъ, но она все такъ же больна, даже съ каждымъ днемъ все опаснѣе, все чахнетъ болѣе и болѣе, и, наконецъ, умираетъ, открывъ передъ смертью, что она—законная дочь князя Валковскаго, отца Алеши. Старикъ и старуха Ихменевы такъ взволнованы самою смертію Нелли, что почти не обращаютъ вниманія на это открытіе. Впрочемъ, они готовятся ѣхать въ Оренбургъ, гдѣ Николай Сергѣевичъ отыскалъ мѣсто управителя.

Иванъ Петровичъ въ это время, наконецъ, окончилъ свой длинный романъ, и очень доволенъ этимъ. Смерть Нелли его очень огорчила. Она его истинно любила, и онъ тоже привязался къ ней. Онъ подходитъ къ Наташѣ, чтобъ ее утѣшить и самому найти утѣшеніе, но Наташа груститъ о Нелли, оплакиваетъ своего Алешу и въ то же время продолжаетъ любить Ивана Петровича; она тутъ ничего не находитъ, чтобъ ей ему сказать, и рѣшается только проговорить: «неправда ли, это былъ только сонъ?» Тѣмъ и кончается романъ.

Мы можемъ отвѣтить ей на это, что очень можетъ быть, что все это былъ только сонъ, но сонъ былъ очень тяжелый и чрезмѣрно запутанный! Не знаемъ даже, можетъ ли удовлетворить нашихъ читателей этотъ краткій очеркъ содержанія романа. Запутанность, интрига до того велика, что мудрено разсказать коротко, и въ то же время ясно содержаніе его.

Намъ кажется, что одно содержаніе романа, разсказаннаго нами, ясно выказываетъ чрезвычайно слабыя стороны въ художественной его постройкѣ.

Кушелевъ-Безбородко.

Остовъ романа Достоевскаго «Униженные и оскорбленные», его достоинства и недостатки.

Стонъ Достоевскаго раздается какъ-то еще глуше и болѣзненнѣе, хотя и возрастаетъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, до поразительно-смѣлыхъ и потрясающихъ нотъ. Такъ, напр., въ 4-й части ро-

мана «Униженные и оскорбленные» одно изъ дѣйствующихъ лицъ, отецъ дѣвушки, безъ брака пожертвовавшей собой для любви, говоритъ, принимая къ себѣ прежде отвергнутую имъ дочь: «Она здѣсь, опять у моего сердца! О! благодарю Тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой и за милость Твою, и за солнце Твое, которое просіяло теперь послѣ грозы на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные люди, унизившіе и оскорбившіе насъ! пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Наташа, мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и благословляю во вѣки вѣковъ!» Но эти горячіе монологи рѣдки, очень рѣдки въ романахъ Достоевскаго, и ихъ общее впечатлѣніе можно опять-таки сравнить съ похороннымъ напѣвомъ больной и плачущей музы. Люди счастливые и довольные судьбою, быть можетъ, пройдутъ мимо нихъ, не задумавшись; но всякій, испытавшій на себѣ тяжелую руку жизни, хорошо знакомый съ ея кошачьими ласками, сердцемъ почуетъ ихъ родство съ своимъ собственнымъ горемъ и найдетъ въ нихъ минуты чистѣйшаго наслажденія. Сочувствіе къ слабымъ и угнетеннымъ, выразившееся въ первомъ романѣ Достоевскаго, дошло теперь, въ послѣднемъ его романѣ («Униженные и оскорбленные») до апогея своего значенія. Здѣсь авторъ уже не прячется въ своихъ произведеніяхъ за вымышленную форму переписки между дѣйствующими лицами, но выходитъ самъ предъ лицо читателя, со всею горячностью своихъ завѣтныхъ симпатій. Мы не будемъ подробно разсказывать содержанія этого романа, потому что не хотимъ соперничать въ достоинствѣ разсказа съ Достоевскимъ, да къ тому же и самый романъ-то еще не совсѣмъ конченъ, хотя въ немъ уже совершенно развиты главнѣйшія пружины дѣйствія, но считаемъ нужнымъ передать его въ короткихъ словахъ. Николай Сергѣевичъ Ихменевъ, отецъ Наташи, главнаго дѣйствующаго лица въ романѣ, имѣетъ тяжбу съ однимъ княземъ, у котораго прежде онъ управлялъ имѣніемъ. Тяжба эта грозитъ Ихменеву разореніемъ, потому что князь обвиняетъ его въ умышленной растратѣ чужого имущества во время его управленія имѣніемъ. Ихменевъ борется съ нимъ, сколько хватаетъ силы, но, въ разгарѣ этой борьбы, въ собственномъ домѣ его совершается измѣна: его дочь, вмѣсто того, чтобы, по его ожиданію, пылать ненавистью къ князю-обидчику и ко всему его семейству, страстно влюбляется въ князева сына, Алексѣя; мало того, что влюбляется, но, въ порывѣ этой любви, уходитъ изъ дома отца и открыто становится любовницей Алексѣя, въ чемъ ей содѣйствуетъ самъ авторъ романа, т.-е. лицо, отъ котораго ведется разсказъ, горячо любившій Наташу и, въ началѣ романа, пользовавшійся даже ея взаимностью. Ихменевъ приходитъ въ негодованіе отъ побѣга своей дочери и въ одну особенно го-

рячую минуту проклинаетъ ее своимъ отеческимъ словомъ. Между тѣмъ, нѣжное сердце старика не потухаетъ, и когда Наташа, оставленная своимъ любовникомъ, приходитъ къ отцу со всей поэзіей тоски и живой утраты, онъ встрѣчаетъ ее съ раскрытыми объятіями и произноситъ выписанный нами заключительный монологъ 4-й части романа. Мы передали здѣсь, по обѣщанію, только одинъ остовъ романа, не упоминая о тѣхъ фибрахъ, которыми связываются его отдѣльныя механическія части въ одно стройное и живое цѣлое. Такъ, напримѣръ, прекрасно схвачена коллизія родительскаго чувства, нѣжнаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и глубоко оскорбленнаго поступкомъ дочери; также весьма тонко разобрана любовь Алексѣя къ Наташѣ Ихменевой, любовь, страннымъ образомъ совмѣстная съ другой, менѣе пылкою, но столь же искреннею любовью. Кромѣ того, мѣтко очерченъ характеръ стараго князя, дрянного и грязнаго ловеласа, главнымъ образомъ повредившаго взаимному счастью Наташи и Алексѣя. Въ романѣ есть еще одна вставочная любовь — маленькой Нелли къ самому автору романа, но мы еще не знаемъ, какъ разовьется это, на первый разъ, тоже весьма хорошо обрисованное чувство.

Однимъ словомъ, въ своемъ новомъ романѣ, Достоевскій остался совершенно вѣренъ тому направленію таланта, которое уже опредѣлилось въ прежнихъ его романахъ, при чёмъ его недостатки значительно смягчились, а достоинства получили еще болѣе силы и блеска. Читатели, привыкшіе къ краткому и живому разсказу Тургенева и Писемскаго, могутъ здѣсь посѣтовать на нѣкоторую растянутость романа, на утомительное иногда повтореніе одинаковыхъ сценъ и описаній, но мы въ этомъ обиліи психологическихъ подробностей, въ этомъ, такъ сказать, впивающемся анализѣ нравственныхъ мелочей видимъ существенное достоинство въ талантѣ Достоевскаго, достоинство, иногда точно переходящее въ недостатокъ. Въ этомъ случаѣ мы держимся мнѣнія даровитаго автора одной статьи, напечатанной въ «Петербургскомъ Сборникѣ», мнѣнія, состоящаго въ томъ, что нынѣ рѣшеніе главнѣйшихъ вопросовъ жизни должно именно перейти въ разнообразный и часто нескладный міръ житейскихъ подробностей. «Естествоиспытатели», говоритъ онъ, «увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физіологіи, а волосяные сосуды, клѣтчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненныя натуры. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ съ утра до ночи, объ ежедневныхъ будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, слугамъ и пр. и пр.; объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать:

онѣ готовы, выдуманы». «Когда я хожу по улицамъ», продолжаетъ авторъ, «особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, потухающая лампада, на меня находитъ ужасъ, за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горькія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь».

Вотъ эти-то глухія, подземныя драмы, эти жгучія «несвѣданныя» слезы воспроизводятся съ мастерскою подробностью нашимъ авторомъ. Вспомните, какъ изъ одного того обстоятельства, что у бѣднаго чиновника сорвалась пуговица съ вицмундира, Достоевскій умѣлъ сдѣлать въ «Бѣдныхъ людяхъ» цѣлую драму. Мы сказали уже, что это достоинство имѣетъ и свою оборотную сторону, которую для противоположности слѣдуетъ называть недостаткомъ. По свойству своего таланта описывать бѣдствія, непрерывно тяготѣющія надъ массой людей, Достоевскій иногда слишкомъ долго выдерживаетъ свои образы въ черезчуръ мрачномъ колоритѣ, мало скупится на слезы и прочія изъявленія душевной горечи или немощи. Душа читателя невольно устаетъ въ этомъ безвыходномъ лабиринтѣ тоски и слезъ — ей хотѣлось бы хоть одного луча Божьяго свѣта, хоть одного клочка голубого неба; ей не вѣрится, чтобы сама жизнь не указала путей къ выходу. Повторяемъ: не все на свѣтѣ такъ печально и мрачно, какъ можно подумать, судя по міросозерцанію Достоевскаго, а въ человѣческомъ родѣ черезчуръ много врожденнаго эпикуреизма, чтобы можно было совершенно безнаказанно лишить его всякаго отправленія въ жизни. Такъ, напр., намъ кажется, что и въ «Бѣдныхъ людяхъ» и даже мѣстами въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», черезчуръ густы мрачные колориты романа и не совсѣмъ гармонически раздѣлены по разнымъ частямъ картины. Мы замѣчаемъ, что говоримъ это совершенно бездоказательно, но яснѣй этого мы говорить не можемъ: исправлять Достоевскаго въ такихъ тонкихъ вещахъ и даже дѣлать ему какія бы то ни было фактическія указанія въ этомъ родѣ было бы съ нашей стороны слишкомъ самонадѣянно. Еще Бѣлинскій сказалъ, что изъ людей, упрекающихъ Достоевскаго въ растянутости, недостаткѣ, повидимому, чисто внѣшнемъ и во всякомъ случаѣ болѣе ясномъ и очевидномъ, чѣмъ тотъ, о которомъ говоримъ мы, никто изъ такихъ людей, получивъ право вымарывать все, по его мнѣнію, излишнее въ романахъ Достоевскаго, не рѣшится посягнуть въ нихъ ни на одну страницу: такъ тѣсно связаны достоинства Достоевскаго съ его недостатками, т.-е. лучше сказать, такъ мало эти недостатки могутъ быть названы дѣйствительными недостатками, вполнѣ зависящими отъ воли автора. Къ этому нужно еще прибавить, что всѣ такія соображенія приходятъ въ голову не вдругъ при чтеніи романовъ Достоевскаго, потому что, на первыхъ порахъ, авторъ совершенно

увлечетъ васъ въ свою грустную и какъ бы фантастическую сферу, и въ этомъ заключается, какъ намъ кажется, лучшая похвала дарованію Достоевскаго. *Пятковскій.*

Главныя черты романа «Униженные и оскорбленные», его построеніе, тонъ и обрисовка лицъ.

Большая часть нашихъ читателей, конечно, знаетъ содержаніе «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Поэтому постараюсь изложить главныя черты романа въ самыхъ короткихъ словахъ.

Разсказъ веденъ отъ лица Ивана Петровича, «неудавшагося литератора». Герой романа — князь Валковскій. Иванъ Петровичъ воспитанъ у помѣщика Ихменева, который вмѣстѣ съ тѣмъ управляетъ и сосѣднимъ имѣніемъ князя Валковскаго. Валковскій очень довѣряетъ Ихменеву и даже посылаетъ къ нему подъ надзоръ въ деревню 19-лѣтняго сына своего Алешу, накутившаго что-то въ Петербургѣ. Но черезъ годъ князь пріѣхалъ въ имѣніе, поссорился съ Ихменевымъ, — по наговорамъ, будто тотъ интриговалъ, чтобы женить Алешу на своей 17-лѣтней дочери, Наташѣ, — отнялъ у него управленіе имѣніемъ, сдѣлалъ на него начетъ и завелъ процессъ. Для «хожденія по дѣлу» Ихменевъ переѣхалъ въ Петербургъ. Вотъ завязка романа.

Въ Петербургѣ, конечно, Ихменевы встрѣтили Ивана Петровича; онъ страстно влюбился въ Наташу, она въ него; они объяснились между собою и съ родителями, получили радостное согласіе и совѣтъ — подождать годикъ, пока Иванъ Петровичъ заработаетъ себѣ что-нибудь побольше теперешняго. Но между тѣмъ Алеша тоже началъ бывать у Ихменевыхъ, тайкомъ отъ отца; старики его принимали ласково, потому что онъ и въ 21 годъ былъ милымъ и незлобнымъ ребенкомъ. Онъ влюбился въ Наташу, а Наташа въ него, — да такъ, что въ одинъ прекрасный вечеръ бѣжала къ нему изъ дома родительскаго. Иванъ Петровичъ все это зналъ, всему помогалъ, переносилъ вѣсти отъ дочери къ родителямъ, отъ родителей къ дочери, и прочее. Но вскорѣ дѣятельность его раздвояется: онъ поселился въ квартирѣ одного старика, умершаго на его рукахъ; къ старику ходила внука, дѣвочка лѣтъ 13, Нелли; явилась она и къ Ивану Петровичу, но, не нашедъ дѣдушки, тотчасъ убѣжала. Иванъ Петровичъ успѣлъ ее выслѣдить, спасъ ее отъ развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутилѣ, и поселилъ у себя. Съ этихъ поръ Иванъ Петровичъ мечется безпрестанно отъ Нелли къ Наташѣ, и отъ Наташи къ Нелли. Между тѣмъ князь Валковскій, видя, что сынъ не отстаетъ отъ Наташи, выдумалъ остроумное средство: пріѣхалъ къ Наташѣ и при немъ же попросилъ ея согласія на замужество съ его сыномъ. Всѣ были очень рады такому обороту дѣла, но вѣтреный Алеша, въ кото-

ромъ только препятствія еще и поддерживали любовь, совсѣмъ теперь успокоился насчетъ Наташи, сталъ пропадать по нѣскольку дней, ѣздить по баламъ и уже безъ всякаго принужденія знакомиться и сходиться съ невѣстой, которую приготовилъ ему отецъ. Черезъ нѣсколько дней онъ, разумѣется, влюбился въ нее такъ же страстно, какъ и въ Наташу, а еще черезъ нѣсколько дней убѣдился, что онъ ее любитъ болѣе Наташи. Расчетъ князя-отца оказался вѣренъ; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, какъ по писанному, все высказала князю. Князь обидѣлся и за то черезъ нѣсколько дней весьма цинически и съ приправою разныхъ оскорбленій высказалъ то же самое, то есть признался во всѣхъ своихъ расчетахъ Ивану Петровичу. Между прочимъ, пріѣхавъ къ нему въ квартиру, князь увидалъ Нелли, и она была имъ страшно испугана и сдѣлалась больна. Иванъ Петровичъ опять въ хлопотахъ: тутъ больная, тамъ идетъ къ развязкѣ, отецъ Алеши хочетъ женить его, невѣста его Катя хочетъ познакомиться съ Наташей, чтобы попросить у нея прощенія и согласія, отецъ Наташи горячится изъ-за дочери и — то ее проклинаетъ, то хочетъ вызывать князя на дуэль, мать рвется къ дочери, сама Наташа еле на ногахъ держится. Наконецъ, все устраивается: Алеша уѣзжаетъ въ деревню, вмѣстѣ съ Катей и ея семействомъ, Наташа рѣшается итти къ родителямъ. Чтобы смягчить отца и приготовить его къ прощенію, употребляютъ орудіемъ маленькую Нелли, заставляя ее разсказывать ему свою исторію, или, лучше сказать, исторію ея матери. Дѣло состоитъ въ томъ, что мать Нелли была обольщена однимъ господиномъ, бѣжала отъ отца, была имъ проклята, потомъ ограблена и брошена своимъ любовникомъ и умерла въ сыромъ углу отъ чахотки и голода, напрасно вымаливая прощеніе у отца. Разсказъ точно производитъ сильное впечатлѣніе, такъ что Ихменевъ рѣшается итти къ Наташѣ. Но это оказывается рѣшительно ненужно: Наташа сама прибѣжала къ родителямъ и, разумѣется, встрѣчена была съ распростертыми объятіями. Вслѣдъ за тѣмъ, при посредствѣ пріятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли — дочь князя Валковскаго, что обольститель ея матери былъ именно онъ, и что, мало того, онъ былъ женатъ на матери Нелли законнымъ образомъ. Но уликъ законныхъ противъ князя не было и нельзя было предпринять противъ него никакихъ мѣръ. Алеша, разумѣется, женился на Катѣ. Униженные и оскорбленные такъ и остались неотомщенными. Нелли скоро затѣмъ умерла, а Наташа съ родителями отправилась въ провинцію, гдѣ старикъ Ихменевъ выхлопоталъ себѣ какое-то мѣсто, проигравъ окончательно свой процессъ съ княземъ и лишившись своей послѣдней деревеньки Ихменевки.

Въ романѣ очень много живыхъ, хорошо отдѣланныхъ частностей; герой романа хоть и мѣтитъ въ мелодраму, но по мѣстамъ выходитъ недуренъ; характеръ маленькой Нелли обрисованъ положительно хорошо; очень живо и натурально очеркнутъ также и харак-

теръ старика Ихменева. Все это даетъ право роману на вниманіе публики, при общей бѣдности хорошихъ повѣстей въ настоящее время. Но все это еще не возвышаетъ его на столько, что бы примѣнять общія художественныя требованія ко всѣмъ его частностямъ и сдѣлать его предметомъ подробнаго эстетическаго разбора.

Возьмите, напримѣръ, хоть самый пріемъ автора: исторію любви и страданій Наташи съ Алешей разсказываетъ намъ человѣкъ, самъ страстно въ нее влюбленный и рѣшившійся пожертвовать собою для ея счастья. Я признаюсь, — всѣ эти господа, доводящіе свое душевное величіе до того, чтобы зазнамо цѣловаться съ любовникомъ своей невѣсты и быть у него на побѣгушкахъ, мнѣ вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать ихъ въ литературѣ могли только творцы, болѣе знакомые съ головною, нежели съ сердечною любовью. Если же эти романическіе самоотверженцы точно любили, то какія же должны быть у нихъ тряпичныя сердца, какія курячьи чувства! А этихъ людей показывали еще намъ, какъ идеалъ чего-то! Первый, сколько помнится, устроилъ подобную комбинацію любовнаго самоотверженія Тургеневъ и недавно повторилъ ее въ «Наканунѣ», имѣя, впрочемъ, на этотъ разъ осторожность дать понять читателю, что Берсеневъ еще самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ къ Еленѣ, когда понадобилось его содѣйствіе Инсарову. Достоевскій тоже не въ первый разъ беретъ такого героя: его ужъ мы видѣли въ мечтателѣ «Бѣлыхъ ночей». Но то была шутка въ сравненіи съ нынѣшнимъ его романомъ. Теперь мы видимъ умнаго, благороднаго и развитого человѣка, который тоже попалъ въ такую комбинацію и собирается намъ разсказать объ этомъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на нравственное достоинство его подвига, но намъ любопытно слѣдить за нимъ въ его разсказѣ. Изъ всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ въ романѣ — онъ униженъ и оскорбленъ едва ли ни болѣе всѣхъ; представить, какъ въ его душѣ отражались эти оскорбленія, что онъ выстрадалъ, смотря на погибающую любовь свою; съ какими мыслями и чувствами принимался онъ помогать мальчишкѣ, обольстителю своей невѣсты; какія безконечныя варіаціи любви, ревности, гордости, состраданія, отвращенія, ненависти разыгрывались въ его сердцѣ; что чувствовалъ онъ, когда видѣлъ приближеніе разрыва между своей невѣстой и ея любовникомъ, — представить все это въ живомъ, подлинномъ разсказѣ самого оскорбленнаго человѣка, — это задача смѣлая, требующая огромнаго таланта для ея удовлетворительнаго исполненія. Одной неудачной попыткой на разъясненіе одной частицы такой задачи Эрнестъ Федо сразу пріобрѣлъ себѣ европейскую извѣстность и массу поклонниковъ. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое рѣшеніе *всей* задачи! Кромѣ того, что у насъ было бы художественное цѣлое, — намъ разъяснился бы цѣлый разрядъ характеровъ, цѣлый радъ нравственныхъ явленій; мы знали бы, какъ намъ судить объ этихъ кроткосердыхъ герояхъ и какую цѣну приписы-

вать ихъ гуманному обезличенію себя, такъ, какъ мы знаемъ теперь напримѣръ, послѣ комедій Островскаго, какъ намъ смотрѣть на патріархальную размашистость русской натуры.

Достоевскій извѣстенъ любовью къ рисованію психологическихъ тонкостей. Мнѣніе объ его, кажется, «Двойникѣ», что это «собственно не повѣсть, а психологическое развитіе», подало даже поводъ къ одному очень извѣстному анекдоту. Потому можно было надѣяться, что Достоевскій именно попадетъ на ту идею, о которой я говорилъ. Тогда бы, разумѣется, могъ быть толкъ и о художественности исполненія. Но на самомъ дѣлѣ вы въ романѣ не только слабаго изображенія внутренняго состоянія Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малѣйшаго намека на то, чтобъ авторъ объ этомъ заботился. Напротивъ, онъ избѣгаетъ всего, гдѣ бы могла раскрыться душа человѣка любящаго, ревнующаго, страдающаго. Пять мѣсяцевъ, въ которые Алеша успѣлъ прельстить Наташу и увлекъ ее за собою, — не удостоены и пяти строчекъ. Первые полгода жизни Алеши съ Наташею пропущены почти безъ всякихъ объясненній. Дѣйствіе романа продолжается какой-нибудь мѣсяцъ, и тутъ Иванъ Петровичъ безпрерывно на побѣгушкахъ, такъ что ему, наконецъ, раза два дѣлается дурно, и онъ чуть не схватываетъ горячку. Но вотъ и все; что именно у него на душѣ, мы этого не знаемъ, хотя и видимъ, что ему нехорошо. Словомъ, предъ нами не страстно влюбленный, до самопожертвованія любящій человѣкъ, разсказывающій о заблужденіяхъ и страданіяхъ своей милой, объ оскорбленіяхъ нанесенныхъ его сердцу, о поруганіи его святыни; предъ нами просто авторъ, неловко взявшій извѣстную форму разсказа, не подумавъ о томъ, какія она на него налагаетъ обязанности. Оттого тонъ разсказа рѣшительно фальшивый, сочиненный; и самъ разсказчикъ, который по сущности дѣла долженъ бы быть дѣйствующимъ лицомъ, является намъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника старинныхъ трагедій. Къ нему приходитъ отецъ Наташи — сообщить о своихъ намѣреніяхъ, за нимъ присылаетъ ея мать — разспросить о Наташѣ; его зоветъ къ себѣ Наташа, чтобъ излить предъ нимъ свое сердце; къ нему обращается Алеша — высказать свою любовь, вѣтреность и раскаяніе; съ нимъ знакомится Катя, невѣста Алеши, чтобы поговорить съ нимъ о любви Алеши къ Наташѣ; ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характеръ, и Маслобоевъ, чтобы разузнать и разсказать объ отношеніяхъ Нелли къ князю; наконецъ, самъ князь везетъ его къ Борелю и даже напивается тамъ, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иванъ Петровичъ все слушаетъ и все записываетъ. Вотъ и все его участіе въ романѣ.

Если уже таково отношеніе къ дѣлу даже того самого лица, которое берется разсказывать намъ о своемъ кровномъ дѣлѣ, то нельзя ожидать, чтобъ онъ сумѣлъ очень глубоко ввести насъ въ сердечную жизнь другихъ дѣйствующихъ лицъ. И точно — романъ

представляетъ намъ калейдоскопъ происшествій, которыхъ случайными свидѣтелями можемъ мы сдѣлаться на улицѣ, въ гостиной или на иномъ чердакѣ, и при этомъ представленіи стоитъ нѣкто, изъясняющій, что означаютъ и почему выходятъ такія-то и такія-то вещи. Завязка романа, напримѣръ, основывается на любви Наташи къ Алешѣ. Наташа представлена дѣвушкою умною, серіозною, съ хорошо развитымъ нравственнымъ чувствомъ, безъ особенныхъ, и даже безъ всякихъ, чувственныхъ поползновеній. Алеша — мальчишка уже въ 21 годъ, вѣтреный, циническій, лишенный всякой нравственной основы въ характерѣ до того, что онъ не конфузится никакой своей пакости, а напротивъ — тотчасъ же самъ о ней разсказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ за тѣмъ опять повторяетъ ту же пакость. Думая похвалить его невинность, разсказчикъ говоритъ, между прочимъ: «онъ не могъ бы солгать, а если бъ и солгалъ, то вовсе не подозрѣвая въ этомъ дурного». Видите, это былъ наивный, милый ребенокъ, невѣдающій разницы добра и зла, хотя и достигшій 21-го года, воспитанный въ свѣтскомъ петербургскомъ обществѣ, испытавшій въ немъ кое-что и притомъ бывшій сынкомъ такого отца, какъ князь Валковскій. Идеализируя характеръ Алеши (какъ и слѣдуетъ по правиламъ рыцарскаго великодушія, говоря о соперникѣ), разсказчикъ замѣчаетъ, что онъ «могъ бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный чьимъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послѣдствія такого поступка, умеръ бы отъ раскаянія». А черезъ двѣ страницы происходитъ сцена встрѣчи Алеши съ убѣжавшей изъ дому Наташей. Иванъ Петровичъ пробуетъ напомнить ему: что, говоритъ, вы дѣлаете, — какой страшный ударъ наносите ея отцу и матери, и прочее. Алеша отвѣчаетъ: «Да, это ужасно... Я это и прежде говорилъ... Но что же дѣлать? измѣнить нельзя...» А тутъ еще и измѣнять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь изъ семейства, не умеръ отъ раскаянія, да и потомъ, бросивъ Наташу и женившись на Катѣ, тоже не умеръ... Словомъ сказать, по описанію, это обаятельный, милый ребенокъ, только очень вѣтреный, а по ходу дѣла — это рано развращенный, эгоистическій и пустой мальчишка, не имѣющій никакого направленія, никакого убѣжденія, поддающійся на минуту всякому постороннему вліянію, но постоянно вѣрный только влеченіямъ своихъ капризовъ и чувственности, которыхъ онъ не умѣетъ даже стыдиться. Трудно сказать, въ чемъ заключается его обаятельность, чѣмъ онъ могъ подѣйствовать на умную и серіозную дѣвушку, какъ Наташа. Она краснѣетъ за него, когда онъ начинаетъ врать Ивану Петровичу разную чепуху въ тотъ самый моментъ, какъ онъ встрѣтилъ Наташу, чтобъ увезти ее къ себѣ; она умоляетъ Ивана Петровича взглядомъ — не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлеченіе, какая любовь при такихъ отношеніяхъ?

Но мало ли бываетъ аномалій, а Достоевскій имѣетъ, такъ сказать, привилегію на ихъ изображеніе. Отъ Голядкина до Ѳомы

Ѳомича въ «Селѣ Степанчиковѣ», онъ изобразилъ на своемъ вѣку много болѣзненныхъ, ненормальныхъ явленій. Могъ взяться и за изображеніе исключительной, ненатуральной любви Наташи къ дряннѣйшему фату, который, по всѣмъ ожиданіямъ здраваго смысла, не могъ не казаться ей противнымъ. Положимъ даже, что самая ненормальность-то, странность подобныхъ отношеній и поразила художника, и заставила его заняться ихъ воспроизведеніемъ. Но, вѣдь, мы знаемъ, что художникъ — не пластинка для фотографіи, отражающая только настоящій моментъ: тогда бы въ художественныхъ произведеніяхъ и жизни не было и смысла не было. Художникъ дополняетъ отрывочность схваченнаго момента своимъ творческимъ чувствомъ, обобщаетъ въ душѣ своей частныя явленія, создаетъ одно стройное цѣлое изъ разрозненныхъ чертъ, находитъ живую связь и послѣдовательность въ безсвязныхъ, повидимому, явленіяхъ, сливаетъ и перерабатываетъ въ общности своего міросозерцанія разнообразныя и противорѣчивыя стороны живой дѣйствительности. Оттого истинный художникъ, совершая свое созданіе, имѣетъ его въ душѣ своей цѣлымъ и полнымъ, съ началомъ и концомъ его, съ его сокровенными пружинами и тайными послѣдствіями, непонятными часто для логическаго мышленія, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художникъ представляетъ свои созданія и для другихъ; они для всѣхъ дѣлаются просты, понятны, законны. Вещи самыя чуждыя для насъ въ нашей привычной жизни кажутся намъ близкими въ созданіи художника: намъ знакомы какъ-будто родственныя и мучительныя исканія Фауста и сумасшествіе Лира, и ожесточеніе Чайльдъ Гарольда; читая ихъ, мы дотого подчиняемся творческой силѣ генія, что находимъ въ себѣ силы, даже изъ-подъ всей грязи и пошлости, обсыпавшей насъ, просунуть голову на свѣтъ и свѣжій воздухъ и сознать, что дѣйствительно — созданіе поэта вѣрно человѣческой природѣ, что такъ должно быть, что иначе и быть не можетъ... Разумѣется, не всѣ геніи, и не отъ всѣхъ можно ожидать подобнаго эффекта, но все же до извѣстной степени онъ есть и въ каждомъ художественномъ произведеніи, и притомъ поэты съ меньшимъ талантомъ, обыкновенно, являются публикѣ съ созданіями, въ которыхъ и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать въ произведеніи и признаковъ художественнаго таланта.

Такъ пусть бы въ романѣ Достоевскаго отразилась въ своей полнотѣ хоть этакая маленькая, миніатюрная задача жизни [1]): какъ можетъ смрадная козявка, подобная Алешѣ, внушить къ себѣ любовь порядочной дѣвушки. Разъясни намъ авторъ хоть это, —

[1]) Не говорю, чтобъ художникъ задавалъ себѣ задачу, а чтобъ у него отразилась, разрѣшилась она сама собою, хоть бы невѣдомо для него; а то опять скажутъ, что я навязываю художнику утилитарныя темы.

мы бы готовы были прослѣдить его шагъ за шагомъ, и вступить съ нимъ въ какія угодно художественныя и психологическія разсужденія. Но вѣдь и этого нѣтъ: пять мѣсяцевъ, въ которые возникла и дошла до своего страшнаго пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини отъ насъ скрыто, и авторъ, повидимому, смыслитъ въ его тайнахъ не больше нашего. Мы съ довѣріемъ обращаемся къ нему и спрашиваемъ: какъ же это могло случиться? А онъ отвѣчаетъ: вотъ подите же, — случилось да и только. — Да, пожалуй, прибавитъ къ этому: чрезвычайно странный случай... а впрочемъ, это бываетъ. — Не угодно ли искать художественнаго смысла въ подобномъ произведеніи?

А потомъ, когда Наташа уже совершила свой странный шагъ, нелѣпость котораго она понимала еще раньше, потомъ — какъ она жила съ Алешей? Какой процессъ совершился въ душѣ ея съ первыхъ дней этой новой жизни до того дня, когда мы въ первый разъ опять видимъ ее въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, и когда она высказываетъ рѣшеніе, что съ Алешей должна разстаться? Обо всемъ этомъ мы имѣемъ нѣсколько незначительныхъ словъ, вброшенныхъ мимоходомъ въ описаніе квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющихъ... Какъ видно, не это интересовало автора, не тутъ было для него главное дѣло. Въ чемъ же? Разобрать трудно уже и потому, что дѣйствіе романа страннымъ и ненужнымъ образомъ двоится между исторіей Наташи и исторіею маленькой Нелли, чѣмъ рѣшительно нарушается стройность впечатлѣнія. Но какъ обѣ эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляетъ именно воспроизведеніе характера этого князя. Но, всматриваясь въ изображеніе этого характера, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица... Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя предъ нами полнаго человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывныя мерзости, — этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности, ни возненавидѣть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа, противъ извѣстнаго разряда явленій. И, вѣдь, хоть бы неудачно, хоть бы какъ нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ, ничего, ни попытки ни намека... Какъ и что сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серіозно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣритъ? А если ничему не вѣритъ, если у него душа совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ посредствахъ произошелъ этотъ любопытный процессъ? Мы вправѣ требовать отъ автора объясненій на подобныя вещи, даже не предъявляя на него особенно громадныхъ претензій.

Не говоря о гигантахъ поэзіи, мы имѣемъ даже у себя произведенія, удовлетворяющія этимъ скромнымъ требованіямъ: мы знаемъ, напримѣръ, какъ Чичиковъ и Плюшкинъ дошли до своего настоящаго характера, даже знаемъ отчасти, какъ облѣнился Илья Ильичъ Обломовъ... Но Достоевскій этимъ требованіемъ пренебрегъ совершенно. Какъ же послѣ этого разбирать характеръ князя съ эстетической точки зрѣнія?

Да и вообще надо быть слишкомъ наивнымъ и несвѣдущимъ, чтобы серіозно и пространно, съ доказательствами, выписками и примѣрами, разбирать эстетическое значеніе романа, который даже въ изложеніе своемъ обнаруживаетъ отсутствіе претензій на художественное значеніе. Во всемъ романѣ дѣйствующія лица говорятъ, какъ авторъ; они употребляютъ его любимыя слова, его обороты, у нихъ такой же складъ фразы... Исключенія чрезвычайно рѣдки. Начиная съ того, что всѣ лица называютъ другъ друга непремѣнно *голубчикомъ* (исключая, можетъ-быть, князя), и оканчивая тѣмъ, что они всѣ любятъ вертѣться на одномъ и томъ же словѣ, и тянуть фразу какъ самъ авторъ, — во всемъ виденъ самъ сочинитель, а не лицо, которое говорило бы отъ себя. Можно бы обо всемъ этомъ долго толковать, если бъ мнѣ не было скучно убѣждать читателей въ томъ, что для меня въ сущности вовсе неинтересно; можно бы сгруппировать нѣсколько выписокъ, которыя всѣ вмѣстѣ представили бы нѣчто довольно комическое. Но отъ всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну только выписку, зато длинную, — это когда Наташа, понявши намѣренія князя, объясняетъ ему, что значило его сватовство. Сначала Наташа исторически излагаетъ предшествовавшія обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявилъ Катѣ, невѣстѣ своей, что любитъ Наташу. Затѣмъ она продолжаетъ:

Вы спросили себя въ тотъ вечеръ: что теперь дѣлать? Алеша во всемъ *подчинится*, но въ этомъ ужъ ни за что *не подчинится*; вполнѣ испытано. Мало того, чѣмъ больше его гнать, мучить, тѣмъ больше въ немъ будетъ *сопротивленія;* потому что онъ именно таковъ, какъ всѣ слабые, но честные люди; не гоните ихъ, не *преслѣдуйте*, они не подумаютъ *сопротивляться;* а *преслѣдуйте*, то вы сами же разожжете въ нихъ *сопротивленіе*, которое безъ нашего *преслѣдованія* имъ бы и въ голову можетъ быть не пришло. Соблазномъ тоже, оказалось теперь, нельзя взять: прежнее вліяніе еще слишкомъ *сильно*, и вы только въ этотъ вечеръ вполнѣ догадались, какъ оно *сильно*, Что жъ дѣлать?

Вы и придумали:

Что, если прекратить надъ нимъ всякое преслѣдованіе? Что, если *снять съ него то*, чѣмъ тяготится теперь его сердце; *снять то*, что онъ считаетъ своимъ долгомъ, *обязанностью?* Вѣдь, можетъ, быть, тогда въ немъ пройдетъ и жаръ и все влеченіе къ этимъ *обязанностямъ*.

Вотъ, напримѣръ, онъ любитъ теперь эту Наташу; чего жъ лучше: сказать ему прямо, что не только онъ можетъ теперь ее любить, но даже *позволяется* ему исполнить въ отношеніи къ ней всѣ свои *обязанности*, все, чѣмъ онъ страдаетъ за эту Наташу, и не только *позволить*, но даже какъ-нибудь обратить это *позволеніе* чуть не въ приказъ, сказать ему, что онъ *долженъ* на

ней жениться, чаще твердить ему, что это его *обязанность*, — однимъ словомъ все, что онъ говорилъ самъ себѣ каждый день свободно, отъ сердца, все это обратить теперь даже въ принужденіе. Ну, что тогда будетъ?

Наталья Николавна! — вскричалъ князь: — все это одно разстройство вашего воображенія, ваша мнительность; вы внѣ себя, вы преувеличиваете. И князь съ видомъ сожалѣнія пожалъ плечами.

«Вотъ что тогда будетъ, — продолжала Наташа, какъ-будто не обращая ни малѣйшаго вниманія на слова князя. — Во-первыхъ, думали вы, я окончательно привлеку къ себѣ его сердце, и онъ устыдится всякой недовѣрчивости ко мнѣ; а это мнѣ очень пригодится теперь! Первое впечатлѣніе будетъ, положимъ, невыгодно; онъ *обрадуется*. Онъ хоть и увлекается *новой любовью*, но онъ, вѣдь, самъ еще не знаетъ про эту *новую любовь;* онъ до сихъ поръ еще думаетъ и увѣренъ, что попрежнему, какъ полгода назадъ, съ тѣмъ же жаромъ, съ тою же страстью любитъ свою Наташу. Онъ хоть и привязался къ Катеринѣ Ѳедоровнѣ, но думаетъ, что это только такъ; ему хорошо, весело съ нею, — извѣстно почему; да онъ и не спрашиваетъ объ этомъ! И хоть сердце каждый день влечетъ его все сильнѣе и сильнѣе къ *новой любви*, но онъ совершенно увѣренъ, что тамъ, *въ прежней любви;* у Наташи все постарому, и никакихъ нѣтъ перемѣнъ. Онъ потому еще *обрадуется*, что, дѣйствительно, до сихъ поръ еще любитъ эту Наташу; вѣдь, она другъ его, онъ такъ привыкъ къ ней; онъ даже о своей *Катѣ* (съ которой онъ теперь на *ты*) ѣдетъ къ ней, къ первой, разсказывать; онъ столько разъ видѣлъ ея *страданія* и столько самъ *страдалъ* отъ ея страданій!... И потому онъ *обрадуется*, положимъ такъ, да и пусть его; оно даже и хорошо: *радость* обновляетъ, черезъ *радость* старое забывается; одно горе памятно; все это только на минуту; зато будущее выиграно...

Зато онъ, первый разъ, во всѣ эти полгода, ляжетъ спать спокойно, съ облегченнымъ сердцемъ: оно уже не будетъ болѣть за Наташу. Онъ не будетъ просыпаться во снѣ и съ тоскою думать: «какъ-то она? что-то она? чѣмъ это кончится? чѣмъ устроится?» Теперь все хорошо, и на другой же день онъ почувствуетъ совсѣмъ *невольно*, *безъ всякаго расчета*, что, слава Богу, онъ уже не должникъ; теперь все устроилось, и она уже все получила, что онъ даже больше ей отдалъ, чѣмъ сама она думала; онъ отдастъ ей всю свою будущность, и должна же она оцѣнить это, тогда какъ до сихъ поръ онъ долженъ былъ цѣнить все, чѣмъ жертвовала ему Наташа. Вотъ и легче на душѣ, и дышится свободнѣе, и такъ *невольно это все подумается*, такъ *безъ расчету*, съ такимъ добрымъ, теплымъ чувствомъ! А вы смотрите, да про себя думаете: «это все хорошо: нѣсколько дней пройдетъ, и съ нимъ случится тоже самое, что бываетъ со всѣми влюбленными скоро послѣ свадьбы: препятствій нѣтъ, все достигнуто, и любовь сама собою охладѣваетъ; тамъ наступаетъ скука; тамъ захочется новаго; жизнь не любитъ покоя; сердцу хочется жить...»

А тутъ какъ нарочно *новая любовь* еще прежде началась; она ужъ есть, и изобрѣтать ее ненадобно...

«Романы, романы, — произнесъ князь вполголоса, какъ-будто про себя: — уединеніе, мечтательность и чтеніе романовъ»!

Да, на этой-то *новой любви* вы все и основали, — продолжала Наташа, не слыхавъ и не обративъ вниманія на слова князя, вся въ лихорадочномъ жару и все болѣе и болѣе увлекаясь: — и какіе шансы для этой *новой любви!* Вѣдь она началась еще тогда, когда онъ еще не узналъ всѣхъ совершенствъ *этой дѣвушки!* Въ ту самую минуту, когда онъ, въ тотъ вечеръ открывается *этой дѣвушкѣ*, что не можетъ ее любить, потому что долгъ и другая любовь запрещаютъ ему это, — *эта дѣвушка*, вдругъ выказываетъ предъ нимъ столько благородства, столько сочувствія къ нему и къ своей соперницѣ, столько сердечнаго прощенія, что онъ, хоть и вѣрилъ въ ея *красоту*, но и не думалъ до этого мгновенія, чтобъ она была такъ *прекрасна!* Онъ и ко мнѣ тогда

пріѣхалъ, — только и говорилъ, что о ней; она слишкомъ сильно поразила его. Да, онъ на завтра же непремѣнно долженъ былъ почувствовать неотразимую потребность увидѣть опять *это прекрасное существо*, хоть изъ одной только благодарности. Да и почему жъ къ ней не ѣхать? Вѣдь та, *прежняя*, уже не страдаетъ, судьба ея рѣшена, вѣдь той цѣлый вѣкъ отдается, а тутъ одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы это Наташа, если бъ она ревновала даже къ этой минуткѣ? И вотъ незамѣтно отнимается у этой Наташи, вмѣсто минуты, день, другой, третій... А между тѣмъ въ это время *дѣвушка* высказывается передъ нимъ, въ совершенно неожиданномъ, новомъ и своеобразномъ видѣ; она такая благородная энтузіастка и въ то же время она такой наивный ребенокъ, и въ этомъ такъ сходна съ нимъ характеромъ. Они клянутся другъ другу въ дружбѣ, въ братствѣ, неразлучности на всю жизнь. Правда, они съ любовью говорятъ между собой и о Наташѣ, но они хотятъ жить втроемъ, всегда. *Въ какіе нибудь пять-шесть часовъ разговора* вся душа ея открывается для новыхъ ощущеній, и сердце его отдается все... Тутъ еще новыя идеи, и причина ихъ опять *Катя*. Онъ еще, можетъ-быть, не сейчасъ начнетъ сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придетъ это время; онъ сравнитъ свою *прежнюю любовь* съ своими новыми, свѣжими ощущеніями: тамъ все знакомое, всегдашнее; тамъ такъ серіозны, требовательны; тамъ его ревнуютъ, бранятъ; тамъ слезы... А если и начинаютъ съ нимъ шалить, играть, то какъ-будто не съ ровней, а съ ребенкомъ... а главное: все такое *прежнее*, извѣстное...»

Силлогизмы Наташи поразительно вѣрны, какъ-будто она имъ въ семинаріи обучалась. Психологическая проницательность ея удивительна, постройка рѣчи сдѣлала бы честь любому оратору, даже изъ древнихъ. Но согласитесь, вѣдь очень примѣтно, что Наташа говоритъ слогомъ Достоевскаго? И слогъ этотъ усвоенъ большею частію дѣйствующихъ лицъ.

Надо еще замѣтить, что Достоевскій (какъ весьма многіе, впрочемъ, изъ нашихъ литераторовъ) любитъ возвращаться къ однимъ и тѣмъ же лицамъ по нѣскольку разъ и пробовать съ разныхъ сторонъ тѣ же характеры и положенія. У него есть нѣсколько любимыхъ типовъ, напримѣръ типъ рано развившагося, болѣзненнаго, самолюбиваго ребенка, — и вотъ онъ возвращается къ нему и въ Неточкѣ, и въ Маленькомъ героѣ, и теперь въ Нелли... Характеръ Нелли — тотъ же, что характеръ Кати въ Неточкѣ, только обстановка ихъ различна. Есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, музыканта Ефимова (въ «Неточкѣ»), Ѳому Ѳомича (въ «Селѣ Степанчиковѣ»). Есть типъ циника, бездушнаго человѣка, лишь съ энергіей эгоизма и чувственности, — онъ его намѣчаетъ въ Быковѣ (въ «Бѣдныхъ людяхъ»), неудачно принимается за него въ «Хозяйкѣ», не оканчиваетъ въ Петрѣ Александровичѣ (въ «Неточкѣ»), и, наконецъ, теперь раскрываетъ вполнѣ въ князѣ Валковскомъ (котораго, кстати, даже и зовутъ тоже Петромъ Александровичемъ). Къ этому есть еще у Достоевскаго идеалъ какой-то дѣвушки, который ему никакъ не удается представить: Варенька Доброселова въ «Бѣдныхъ людяхъ», Настенька въ «Селѣ Степанчиковѣ», Наташа въ «Унижен-

ныхъ и оскорбленныхъ» — все это очень умныя и добрыя дѣвицы, очень похожія на автора по своимъ понятіямъ и по манерѣ говорить, но въ сущности очень безцвѣтныя. Авторъ умѣетъ помѣстить ихъ въ очень интересную обстановку, но это и все, что для нихъ онъ дѣлаетъ. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересуетъ насъ болѣе своими несчастіями и тѣми разсказами, которые Достоевскій сочинилъ за нее, нежели сама по себѣ, просто какъ поэтическое созданіе.

Эта бѣдность и неопредѣленность образовъ, эта необходимость повторять самаго себя, это неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобъ хотя сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія, — все это, обнаруживая, съ одной стороны, недостатокъ разнообразія въ запасѣ наблюденій автора, съ другой стороны прямо говоритъ противъ художественной полноты и цѣльности его созданій... *Добролюбовъ.*

Лица и характеры въ произведеніи Достоевскаго: „Униженные и оскорбленные“.

Самый выпуклый, самый цѣльный, самый вѣрный жизни и дѣйствительности характеръ въ романѣ: «Униженные и оскорбленные» — это характеръ князя Ивана, отца Алеши. Это квинтъэссенція всякой гнили, произведеніе особаго слоя общества, въ которомъ не осталось не только свѣжихъ соковъ, но даже тѣни чего-нибудь, что могло бы напомнить живую жизнь, а слѣдовательно, силу и развитіе. Такимъ лицамъ, взросшимъ среди нравственнаго растлѣнія, соединеннаго съ полуобразованіемъ, въ сферѣ, гдѣ европейскія привычки и азіатскія понятія, ловкія и изящныя манеры и грубыя чувства, внѣшній блескъ и тайная грязь нашли возможность сочетаться и жить въ тѣсномъ союзѣ, не было будущности, и мы рады, что, исчезая, вымирая, они оставляютъ въ литературѣ память по себѣ въ портретахъ, написанныхъ талантливымъ перомъ нашихъ романистовъ... Князь Иванъ принадлежитъ къ тому роду лицъ, которыя, преисполнившись житейской мудрости, изучивъ ее до тонкости *и всласть*, раздѣляютъ родъ человѣческій на два разряда: на умныхъ и глупыхъ, на плутовъ и простаковъ, иначе — на обманывающихъ и обманутыхъ. Понятно, въ какой станъ князья Иваны пристегиваютъ себя. Весь вѣкъ надуваютъ они другихъ съ полнымъ убѣжденіемъ, что иначе и жить нельзя, глубоко презирая въ душѣ своей станъ противный, станъ простаковъ, рожденныхъ на то, чтобъ умные ихъ вѣчно надували на ихъ счетъ, выдавливая изъ нихъ жизненные соки. У простаковъ въ ходу разныя нелѣпости, въ жизни непригодныя — они, какъ донкихоты на Россинантѣ, выѣзжаютъ на добрѣ, благородствѣ, дружбѣ, свободѣ, любви и сражаются съ вѣтряными мельницами — силой, властью, могуществомъ, не принимая

въ расчетъ мудрую пословицу: сила солому ломитъ. Такіе люди, какъ князь Иванъ, берутъ чѣмъ могутъ; при случаѣ они будутъ говорить и о благородствѣ и о добрѣ, о свободѣ и любви, и безъ труда, шутя поддѣнутъ простаковъ на эту приманку. Если бъ нашелся простакъ не столь легкомысленный, не дающійся въ ловушку, то развѣ нельзя тотчасъ же сломить его при помощи вѣтряныхъ мельницъ? Князья Иваны не пренебрегаютъ ничѣмъ, они, пожалуй, говорятъ о людяхъ простыхъ, не знатныхъ, не чиновныхъ — je ne parle à ces gens là, но при случаѣ, т.-е. ради достиженія своихъ цѣлей, не только будутъ говорить, но еще будутъ подольщаться къ тѣмъ, которыхъ они презрительно называютъ ces gens là. Пусть только князю Ивану по волѣ обстоятельствъ придется заискивать не только въ плебеѣ и демократѣ, но въ ласкѣ знатнаго барина, съ какимъ увлеченіемъ, съ какою простосердечною и радушною искренностію онъ будетъ жать руку наряднаго и съ галунами по швамъ лакея! У него явится тогда и вѣра въ равенство и страстное желаніе свободы и популяризація, очень удачная и даже талантливая, идей Руссо, изложенныхъ въ Contrat social и въ «Эмилѣ». Пойдетъ ли дѣло о женщинахъ, а, сохрани Боже, не совсѣмъ чистыхъ, но чиновныхъ или близкихъ къ сильнымъ, на сцену явится Жоржъ Зандъ, Оувенъ и Сенъ-Симонъ. Правда, князья Иваны не читывали этихъ нечестивыхъ писателей, но зато они больно много слыхали о нихъ, хотя изъ такихъ устъ, которыя говорятъ о нихъ съ омерзѣніемъ и яростію. Понятно, что въ романѣ, гдѣ князь Иванъ-герой и звѣзда первой величины, должно быть много простаковъ и донкихотовъ. Вотъ ихъ-то удачно и назвалъ Достоевскій «униженными и оскорбленными». Какъ много говорятъ одни слова эти — «униженные и оскорбленные»! Сколько тутъ кровной, ничѣмъ не изгладимой обиды, неистощимыхъ и горючихъ слезъ, которыя льются, льются, и все-таки груди не облегчаютъ! Что можетъ быть ужаснѣе чувства безсилія? Оно давитъ человѣка, оно безустанно гнететъ его; отъ него онъ нравственно чахнетъ и гаснетъ. Униженные и оскорбленные! вѣдь это сознаніе и собственной правоты и вмѣстѣ собственнаго безсилія. Такихъ людей не мало на бѣломъ свѣтѣ, и если мы можемъ упрекнуть автора, то развѣ въ томъ, что лица его (къ этому разсказу относящіяся) не слишкомъ разнообразны, и что тѣ, которыя попались подъ перо его, недовольно ярко обрисованы. Нелли сбиваетъ на Миньону Гете — это лицо поэтическое, но вмѣстѣ съ тѣмъ сказочное, романтическое и, слѣдовательно, мало дѣйствительное; мать ея остается въ тѣни, и страданіе и смерть ея покрыты слишкомъ большою тайною. Авторъ не потрудился даже очертить намъ это лицо, выхваченное имъ изъ длинной цѣпи жертвъ князя Ивана, который съ такою легкостію, ловкостію и безпечностію умѣетъ губить женщинъ и дѣтей для своей пользы, прихоти и удовлетворенія своихъ влеченій. Этимъ влеченіямъ мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ дать имя страсти. Въ томъ-то и особенность князь Ивана

и ему подобныхъ, что онъ не знакомъ со страстію, хотя бы и порочною. Страсть, какая бы ни была она, можетъ проснуться только въ живомъ человѣкѣ, а не въ сгнившемъ представителѣ сгнившаго меньшинства, въ обществѣ молодомъ и полномъ силъ и свѣжести. Безстрастіе и рядомъ съ нимъ прихоть, произволъ, удовлетвореніе влеченій во что бы то ни стало, хотя цѣною цѣлой жизни другого — вотъ особенность такихъ личностей, какъ князь Иванъ.

Отецъ Наташи — этотъ униженный и оскорбленный въ самомъ святомъ, въ самомъ великомъ, въ самомъ неприкосновенномъ чувствѣ человѣка — вышелъ какъ-то блѣденъ и слабъ. Его томительное горе какъ-то болѣзненно и мало натурально, оттого читатель остается почти холоденъ къ его страданіямъ, несмотря на то, или именно потому, что, при изображеніи ихъ, авторъ переступаетъ всякую мѣру и впадаетъ даже въ карикатуру. Больно читать такія мѣста! Это живописецъ, переложившій краски, отчего портретъ теряетъ естественность колорита, отчего самый образъ сбитъ и изуродованъ.

Лучше понравилась намъ слабая, добрая, безотвѣтная, безличная мать Наташи. Всѣ знаютъ, какъ трудно рисовать и описывать безличныя лица и какъ они неуловимы, и однако Достоевскій сумѣлъ представить намъ это лицо живо и отчетливо. Наташа, Алеша были бы безукоризненно хороши, если бъ читателю можно было хотя на минуту не только помириться, но даже понять любовь безумную и страстную, преданную и глубокую женщины умной, твердой, развитой, чувствительной и горячей къ глупому, слабому до тупоумія, пустому до безобразія мальчику-лгунишкѣ. Только наша русская земля могла выработать въ извѣстномъ слоѣ общества такихъ безхарактерныхъ лицъ.

Алеша не болѣе, какъ живое отрицаніе. Въ немъ ничего нѣтъ положительнаго — онъ весь минусъ. Онъ не золъ, не уменъ, не низокъ, не корыстолюбивъ, но зато онъ дѣлаетъ, но зато онъ болѣе дѣлаетъ зла, чѣмъ злой, болѣе низостей, чѣмъ отъявленный негодяй и женится на милліонахъ, оставляя дѣвушку, которая пожертвовала ему всѣмъ на свѣтѣ и которую любитъ онъ нѣжно, насколько это возможно его мелкой и ничтожной натурѣ. Алеша не только лишенъ правилъ, но онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о добрѣ и злѣ. Его не воспитывали, а самъ онъ не умѣлъ воспитать себя, онъ выросъ, какъ былинка въ полѣ, онъ безсознателенъ, какъ она, но зато не безвреденъ для другихъ, какъ былинка. Человѣку необходимо сознаніе — не воспитавъ его въ себѣ, человѣкъ всегда впадетъ въ проступки и преступленія, особенно, когда не надѣленъ силою. Если бы мы захотѣли говорить объ этомъ подробно, то непремѣнно перешли бы къ другимъ, болѣе важнымъ, вопросамъ, которыми обусловливается возможность личностей такого сорта, намъ бы пришлось говорить и о невыработанности понятій и объ отсутствіи общественнаго мнѣнія. Поступки Алеши таковы, что въ другой, болѣе развитой и, слѣдовательно, болѣе нравственной средѣ, его не

задумались бы отвергнуть всѣ честные люди. Но у насъ, благодаря сбивчивости понятій, отсутствію всякихъ правилъ, безгласности общественнаго мнѣнія предъ Алешей — большая будущность и длинная карьера. Кто знаетъ, какъ и чѣмъ онъ можетъ пополнить ее и достичь со временемъ до степеней извѣстныхъ!

Первый шагъ уже сдѣланъ. Увѣряя Наташу въ неизмѣнности любви и близкой свадьбѣ, онъ женится на милліонахъ Кати, услаждая слухъ свой словами ея, что она отдастъ одинъ изъ своихъ милліоновъ какому-то его пріятелю на пользу общую. Она и онъ играютъ пока милліонами — но дайте имъ жениться и повѣрьте, что милліоны останутся у нихъ очень сохранно и бережно. Быть-можетъ ихъ и будутъ тратить,—но иначе. Онъ на рысаковъ, артистовъ, камелій, она на тряпки, кружева, балы, оперу. Позаботится и князь Иванъ позаботится объ этомъ и маменька Кати, а наша молодая чета, весь вѣкъ повторяя громкія и ласкающія слухъ фразы, останется въ роскошномъ домѣ, наслаждаясь благами жизни. Немудрено, что, войдя въ лѣта, поддавшись чужому вліянію, чета эта, при случаѣ, совершенно не разбирая средствъ для достиженія эгоистическихъ цѣлей, повторитъ продѣлки драгоцѣнныхъ родителей и будетъ продолжать дѣлать зло другимъ въ совершенномъ спокойствіи дѣтской совѣсти, въ наивности души, смахивающей на крайнюю тупость. Не знаемъ, какъ другимъ, а намъ противна такая невинность, наивность, безсознательность. Мы идемъ дальше; намъ кажется все это одною маскою, довольно неловко, впрочемъ, надѣтою. Однимъ словомъ, поэтизированіе Кати авторомъ вышло какъ-то неудачно и изъ рукъ вонъ неправдоподобно. Мы не вѣримъ ей, и за нею намъ чудится ловкая кокетка и хитрая интригантка большого свѣта. Алеша намъ понятнѣе—онъ глупъ и потому мы можемъ допустить въ немъ безсознательность, которая заставляетъ его поступать нечестно, Но здѣсь опять, вторично, рождается неотвязный вопросъ: какъ же могла Наташа полюбить дурака, да еще безчестнаго? Такія женщины, какъ Наташа, не любятъ за то только, что у Алеши, по словамъ автора, были удивительные глаза да чудныхъ очертаній мягкія губы. А чѣмъ иначе объяснить ея страстную, преданную любовь, доходящую до ироизма? Женщины, подобныя Наташѣ, привязываются навѣки къ лицу, пожалуй, и не всегда чистому или высокому, но зато, по крайней мѣрѣ, сильному или талантливому и одарениому: вотъ отчего послѣднія слова Наташи: *это былъ сонъ!* поразительно вѣрны. Да, она дѣйствительно могла видѣть во снѣ, что любовь, какъ недугъ какой, обуяла ее, ввергла въ бездну, а съ нею и все ея семейство, но какъ понять, что это могло случиться на самомъ дѣлѣ? Воля автора, но мы стоимъ зато, что Наташа видѣла страшный сонъ, увлекательно описанный, сонъ исторгавшій у многихъ искреннія слезы. Но все же сонъ, а не дѣйствительность.

Скажемъ въ заключеніе, что *Униженные и оскорбленные* не выдерживаютъ ни малѣйшей художественной критики; это произведеніе

преисполнено недостатковъ, несообразностей, запутанности въ содержаніи и завязкѣ, и, несмотря на то, читается съ большимъ удовольствіемъ. Многія странницы написаны съ изумительнымъ знаніемъ человѣческаго сердца, другія съ неподдѣльнымъ чувствомъ, вызывающимъ еще болѣе сильное чувство изъ души читателя. Внѣшній интересъ не падаетъ до самой послѣдней строки, да и самая послѣдняя строка оставляетъ въ читателѣ желаніе узнать, что станется съ Наташей послѣ страшнаго сна и не суждено ли доброму и симпатичному Ванѣ, отъ лица котораго ведется весь разсказъ, утѣшить ее отъ всѣхъ золъ и бурь, которыя разразились на ясной дотолѣ жизни ея, по велѣнію князя Ивана, этого демона заманчивой волшебной сказки Достоевскаго. *Туръ.*

Недостатки художественной концепціи романа: „Униженные и оскорбленные“, своеобразность и оригинальность разсказа.

Неестественность положенія никогда не можетъ быть художественной. Во всѣхъ родахъ искусства эпохи упадка художества отличаются всегда неестественностію, — это можно замѣтить въ живописи, архитектурѣ, даже въ музыкѣ, тѣмъ болѣе въ литературѣ. А неестественность положенія тутъ (въ романѣ) на каждомъ шагу.

Иванъ Петровичъ взялся, напримѣръ, проводить Наташу въ церковь. Онъ узнаетъ, что она идетъ на свиданіе; онъ ее уговариваетъ; уговариваетъ и Алешу, котораго они тутъ встрѣчаютъ и къ которому бѣжала Наташа; объясняетъ Наташѣ, что она тѣмъ болѣе оскорбитъ отца своего этою связью съ Алешей, что ее примутъ за нарочно придуманное средство самого Ихменева, чтобъ поставить на своемъ, выдать дочь свою за князя. Наташа понимаетъ это; она чувствуетъ всю тяжесть удара, который она наноситъ отцу своему, но она любитъ Алешу, пустого мальчишку, не стоящаго, по правдѣ сказать, этой любви. Но, положимъ, она любитъ его, — бываютъ же такіе случаи! — но тутъ какъ объяснить? Наташа, вслѣдствіе всѣхъ этихъ совѣтовъ Ивана Петровича, вслѣдствіе борьбы чувствъ, любви къ отцу, чувства долга своего и тоже сильной любви своей къ Алешѣ, наконецъ, даже вслѣдствіе дружбы и нѣчто въ родѣ тоже любви къ самому Ивану Петровичу, котораго она этимъ огорчаетъ и убиваетъ, — вслѣдствіе всего этого она падаетъ въ обморокъ; тогда Иванъ Петровичъ, любящій Наташу, сознаетъ, что она дѣлаетъ дурно, но вмѣсто того, чтобы посадить ее въ карету, самому сѣсть хоть бы на козлы и возвратить ее отцу, откуда на другой день Наташа могла бы еще разъ убѣжать уже одна, если это такъ нужно для связи романа — этотъ Иванъ Петровичъ сажаетъ молодую дѣвушку вмѣстѣ съ Алешей и отпускаетъ ихъ, а самъ идетъ домой, мечтая о своемъ *униженіи и оскорбленіи!!*

Какъ хотите, это невѣроятно, это просто невозможно. А послѣ этого поступка отецъ Наташи считаетъ еще Ивана Петровича сво-

имъ другомъ, принимаетъ его у себя, толкуетъ съ нимъ про Наташу! Это уже слишкомъ сильно! Онъ обманулъ этого отца, который, какъ честному человѣку, благородно поручилъ ему свою дочь, чтобъ довести до церкви, а тотъ ей помогаетъ убѣжать съ любовникомъ, и отецъ проклинаетъ свою дочь, но благодаритъ и ласкаетъ Ивана Петровича. Намъ кажется, мы бы на мѣстѣ Ихменева такъ не поступили. Но опять скажутъ намъ, что это странность — болѣе ничего! Странность, отвѣтимъ мы, не художественная, во всякомъ случаѣ, притомъ странность, заслуживающая хотя бы оговорку автора, которая бы объясняла это непонятное положеніе. Правда, трудно и объяснить такія положенія. А любовь Наташи и Кати къ Алешѣ —опять невѣроятность на каждомъ шагу. Двѣ дѣвушки любятъ страстно, любятъ съ самоотверженіемъ, забывая свой долгъ, все рѣшительно, и любятъ кого же? самаго безтолковаго молодого человѣка, еще мальчишку, какихъ только можно придумать и едва ли можно встрѣтить; — фразера до невѣроятности, болтуна, самодура, и вмѣстѣ съ тѣмъ глупаго донельзя, въ чемъ даже сознаются нѣсколько разъ обѣ дѣвушки и сознаются простодушно, и говорятъ ему это въ глаза, такъ что самъ Алеша въ этомъ сознается и убѣжденъ. И Наташа, которая любитъ отца своего, уважаетъ его, любитъ свою мать, и эта Наташа ни разу даже не вспомнитъ о своей матери, о своемъ отцѣ, а она знаетъ, какъ они страдаютъ изъ-за нея! Да мало ли еще неестественныхъ положеній, столкновеній — всѣхъ не перечтешь! А между прочимъ, — странное дѣло! — несмотря на всѣ эти неестественныя положенія, несмотря на то, что тотчасъ же читатель видитъ ясно, какъ все это натянуто, придумано, продолжаетъ читать этотъ романъ, и читаетъ, можетъ-быть, съ увлеченіемъ: причина тому единственная — самый способъ разсказа.

Ѳ. Достоевскій еще разъ намъ въ этомъ романѣ доказалъ свое несомнѣнное и, можно сказать, неподражаемое искусство разсказывать; у него свой оригинальный разсказъ, свой оборотъ фразъ, совершенно своеобразный и полный художественности. Фразы его не такъ отдѣланы, не такъ копотно и тщательно выглажены, какъ у Гончарова; описанія его не такъ поэтичны, не такъ полны художественныхъ мелочей, подробностей, которыя воскрешаютъ цѣлый міръ, цѣлый образъ картины, какъ у Тургенева; обрисовка лицъ его не такъ рѣзко и рельефно очерчена, какъ у Писемскаго; но своеобразный слогъ Ѳ. Достоевскаго никакъ не уступитъ этимъ тремъ писателямъ. Его разсказъ — не описаніе, а именно разсказъ, заманчивый донельзя. Онъ удивительно легко читается, много высказываетъ въ формѣ, повидимому, самой простой. Слогъ его кажется простымъ, разговорнымъ слогомъ, такъ что, казалось, и самъ разсказалъ бы не иначе; въ немъ нѣтъ особо замѣчательныхъ мѣстъ; нѣтъ страницы, которую бы вы прочитали два раза, которую бы стоило помѣстить въ хрестоматію для примѣра слога, но слогъ этотъ всегда ровный, гладкій, разсказъ всегда ясно изложенный, такъ что онъ заставляетъ часто забыть всю

неестественность положенія; вы его слушаете, какъ слушали, бывало, дѣтскую сказку, а потому, разсматривая только его внѣшнюю сторону, романъ этотъ можетъ быть смѣло признанъ превосходнымъ *сказочнымъ романомъ*.

Но мы должны признаться, что ожидали большаго отъ этого романа. Самое названіе, казалось намъ, обѣщало развитіе важной соціальной идеи. «Униженные и оскорбленные! Сколько ужасныхъ драмъ кроется въ этихъ двухъ словахъ, сколько и вправду есть униженныхъ, сколько оскорбленныхъ — отъ русскаго мужика, часто униженнаго и оскорбленнаго или своимъ господиномъ, или своимъ подрядчикомъ, десятскимъ, оскорбленнаго зачастую безъ причинъ, такъ, зря, на улицѣ, въ лавкѣ, вездѣ, гдѣ его трактуютъ ниже всякаго, толкаютъ, не обращаютъ даже на него вниманія, а онъ между тѣмъ глубоко иногда чувствуетъ и понимаетъ это униженіе, это оскорбленіе, въ особенности, если онъ хотя немного развитъ и образованъ. Да и мало ли можно указать въ нашемъ обществѣ примѣровъ униженія и оскорбленія, постоянно встрѣчающихся, не исключительныхъ, какъ въ романѣ Достоевскаго, и прямо вытекающихъ изъ нашихъ нравовъ и обычаевъ!

Не только наше общество, но всякое общество непремѣнно имѣетъ этотъ недостатокъ: вездѣ, во всякой странѣ вы можете найти многіе примѣры такого униженія, такого оскорбленія, а тутъ, въ романѣ Достоевскаго, собственно говоря, униженъ и оскорбленъ только развѣ Ихменевъ, потому что заподозрѣнъ въ подлогѣ и воровствѣ, оскорбленъ еще отвѣтомъ князя, насмѣшкою на его вызовъ; но если правду сказать, оно и было довольно смѣшно старику 60 лѣтъ вызывать на дуэль того, съ кѣмъ онъ тягался за то, что сынъ его похитилъ его дочь, послѣ того, въ особенности, какъ Ихменевъ самъ оставилъ свою дочь, не вытребовалъ ея!

Во всякомъ случаѣ, это оскорбленіе — не униженіе, а просто случайное оскорбленіе, которое могло случиться и нѣтъ. Остальныя же лица если оскорбляются, то рѣшительно для собственнаго своего развлеченія. Они, впрочемъ, мало и оскорбляются: они такъ заняты своими нервическими припадками.

Мы рѣшительно не знаемъ, какъ оправдать заглавіе этого романа. По нашему мнѣнію, онъ вовсе не оправдываетъ его содержанія. Главный же недостатокъ этого романа заключается въ томъ, что онъ не обрисовалъ, не очертилъ, не разъяснилъ ни одного живого лица, ни одного настоящаго типа. Всѣ лица, дѣйствующія въ немъ, какъ бы стараются, въ угожденіе автору, все болѣе и болѣе запутывать узелъ завязки, чтобъ доставить Достоевскому возможность, случай, показать намъ свой несомнѣнный талантъ разсказа фактовъ, происшествій; но ни одно лицо не остается въ головѣ читателя, не заставляетъ задуматься о себѣ, — развѣ первый типъ старика Смита, который умираетъ тотчасъ послѣ своей собаки азорки, единственнаго своего друга; но и этотъ типъ — вовсе не русскій, и уже встрѣ-

чаемый нами не разъ въ иностранныхъ романахъ и, если правду сказать, несравненно болѣе возможный за границей, во Франціи, Англіи, Бельгіи, чѣмъ въ Россіи: у насъ одна зима скоро отучитъ такого старика каждодневно ходить съ собакой въ какую-нибудь кондитерскую.

Князь Валковскій тоже не типъ, — онъ подлецъ, онъ мошенникъ; но это не типъ: такой князь, пожалуй, и можетъ быть — мы не споримъ, но въ немъ ничего нѣтъ того, что бы отличало его отъ обыкновеннаго французскаго, англійскаго мошенника; а между тѣмъ очень много странностей, очень много отличительныхъ свойствъ и недостатковъ можно бы подмѣтить въ этомъ обществѣ, изъ котораго Достоевскій беретъ своего Валковскаго. О сынѣ мы уже не говоримъ, — онъ, видимо, тутъ служитъ для завязки и развязки, и вовсе не созданъ и не задуманъ какъ типъ, какъ лицо живое. Есть, пожалуй, Маслобоевъ, ходатай по дѣламъ, пьяница и добрая душа, готовый на извѣстнаго рода подлости за деньги, и остающійся честнымъ человѣкомъ посвоему; это, пожалуй, еще человѣкъ живой, человѣкъ, котораго мы могли бы встрѣтить; но это совершенно второстепенная личность въ драмѣ, и если онъ обрисовался довольно ясно, то намъ кажется, что это дѣло случая, потому что на него авторъ не могъ разсчитывать. Самъ Ихменевъ не похожъ на настоящаго русскаго помѣщика, — въ немъ черта есть общечеловѣческая, въ его страданіяхъ, въ его горѣ, въ его злости противъ князя и противъ дочери своей; но опять только черта, а общая фигура не рисуется.

Женскія личности очень натянуты, очень взволнованы; онѣ постоянно не выходятъ изъ исключительнаго и странно устроеннаго положенія. Наташа, которая привлекаетъ васъ къ себѣ въ началѣ романа, наконецъ кажется вамъ, какъ нѣмцы выражаются, langweilig, — до того она монотонна и многорѣчива въ своемъ горѣ, которое сама же создаетъ.

Катя рѣшительно невозможна и не можетъ потому внушить къ себѣ никакого сочувствія; такихъ благовоспитанныхъ дѣвушекъ съ нѣсколькими милліонами приданаго и съ такими эксцентрическими замашками рѣшительно нѣтъ, да и славу Богу! — ничего поэтическаго въ ней нѣтъ, ничего изящнаго, ничего дѣйствительнаго.

Одна Нелли могла бы, можетъ-быть, внушить къ себѣ симпатію, но ей много мѣшаютъ Наташа и Катя. Вы развлечены всѣмъ этимъ запутаннымъ ходомъ дѣла, и вся драма Нелли и матери, какъ повтореніе того, что теперь дѣлается вмѣстѣ и отцомъ и сыномъ, только утомляетъ васъ. Это повтореніе рѣшительно не художественно; притомъ Нелли, какъ кажется, нѣчто въ родѣ подражанія Миньоны Гёте и французской Сандрильоны, и подражаніе крайне неудавшееся, — эти постоянные припадки утомляютъ, а не привязываютъ васъ къ ней. Она умираетъ; ее, правда, оплакиваетъ старикъ Ихменевъ, а самъ Иванъ Петровичъ, разсказчикъ, почти несмущенъ: онъ уже ожидалъ эту смерть, какъ и читатель тоже, съ самаго перваго знакомства съ Нелли.

Анна Андреевна, жена Ихменева,—слабая, безцвѣтная личность, безъ воли, самостоятельнаго характера, постоянно подчиненная своему мужу, боящаяся его раздражить и ни на что не рѣшающаяся. Такія женщины, конечно, бываютъ сплошь да рядомъ, да только почему въ романѣ то она такъ безцвѣтна? — надо было бы рельефнѣе выставить эту безхарактерность; надо было бы изучить эту женщину и передать намъ, — какъ бы это сдѣлалъ, навѣрно, Гончаровъ, — а тутъ она проходитъ мимо насъ, и мы почти не замѣчаемъ ея.

Изъ всего нами высказаннаго мы не можемъ заключить, что талантъ Достоевскаго не сомнѣненъ въ разсказѣ; онъ передаетъ намъ происшествія, дѣйствія своихъ героевъ чрезвычайно наглядно, чрезвычайно искусно, но недостатокъ его заключается въ томъ, что онъ не овладѣваетъ вполнѣ ни однимъ лицомъ, какъ слѣдовало бы ожидать, не анализируетъ ни одного характера, не создаетъ ни одного типа, не задумывается даже надъ личностію, надъ свойствомъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, — онъ слишкомъ занятъ своимъ сюжетомъ, завязкою и развязкою, — а это огромный недостатокъ въ дѣлѣ художества.

Кушелевъ-Безбородко.

Свѣтлый дѣтскій типъ (Нелли) въ романѣ „Униженные и оскорбленные“.

Я обращу вниманіе собственно на тотъ дѣтскій типъ, который выкупаетъ недостатки романа, на типъ маленькой Нелли. Она познакомилась съ горемъ, быть-можетъ, даже короче, чѣмъ Неточка. Ей пришлось быть свидѣтельницей оскорбленнаго положенія своей матери, которую бросилъ мужъ и отъ которой, за бракъ съ нимъ, отказался отецъ. Испытавъ всѣ возможные виды лишеній и огорченій, она, наконецъ, умираетъ на рукахъ у малютки-дочери, которая остается затѣмъ на попеченіи женщины, едва не доводящей ее до конечной погибели. Но какъ ни много терпѣла отъ нея Нелли, когда ее вырываютъ изъ рукъ этой вѣдьмы, дѣвочка готова вернуться къ ней, чтобы только не дать ей новаго повода попрекать свою покойную мать за даровой хлѣбъ: она хочетъ отслужить Бубновой за эти такъ называемыя *благодѣянія* ея страдалицѣ-матери, — не думая о томъ, что вѣдьма, съ которою она имѣетъ дѣло, никогда не будетъ считать этого стараго долга уплаченнымъ. Любя самоотверженно людей оскорбленныхъ, благоговѣя предъ самою памятью ихъ, Нелли способна, съ другой стороны, такъ же сильно и глубоко ненавидѣть людей оскорбляющихъ. Еще ребенокъ, она не вѣритъ уже въ безкорыстіе людей, которыхъ не знаетъ: ей кажется, что если ей дѣлаютъ добро—она сейчасъ же должна заплатить за него, чтобы не попрекали. Вотъ чѣмъ объясняется ея образъ дѣйствій съ Иваномъ Петровичемъ, которому она обязана спасеніемъ своимъ отъ Бубновой. Зато, когда она окончательно убѣждается въ его сердечной привязанности къ ней, недовѣрчивая холодность сразу

обращается у нея въ горячую и безграничную привязанность къ этому человѣку, при чёмъ въ ея молодую, преждевременно развившуюся душу западаетъ даже и ревность къ другому существу, о которомъ такъ много заботится онъ, — къ Наташѣ. Но когда онъ знакомитъ ее съ исторіей этой Наташи, въ которой она узнаетъ какъ бы повтореніе исторіи своей матери, когда онъ умоляетъ Нелли перейти къ отцу Наташи съ тѣмъ, чтобы размягчить сердце озлобленнаго старика и привести его къ примиренію съ дочерью, Нелли изъявляетъ согласіе. Она забываетъ ревность, возникшую было въ ея душѣ; она подавляетъ въ себѣ и отвращеніе къ отцу Наташи, вызванное его суровостью къ дочери, она съ увлеченіемъ разсказываетъ этому страшному для нея старику (напоминающему ей непреклоннаго ея дѣда), она съ жаромъ не по лѣтамъ разсказываетъ ему исторію своей матери и доводитъ его до того, что онъ съ отверстыми объятіями принимаетъ дочь свою. Но этотъ тяжелый разсказъ окончательно надрываетъ и безъ того уже истерзанное сердце дѣвочки: она, какъ бы тая, умираетъ жертвою могучаго жара, преждевременно переполнившаго ея душу. Но, дѣлаясь жертвой своей способности до самоотверженія — любить память матери, а съ тѣмъ вмѣстѣ любить и *чужую*, чуть-чуть не соперницу, изъ-за поразительнаго сходства въ ея судьбѣ съ судьбой матери, Нелли сохраняетъ до конца и способность безгранично ненавидѣть: она умираетъ, не прощая князя, погубившаго ея мать. А такое совмѣщеніе могучаго чувства съ не менѣе могучею страстью въ ребенкѣ—это уже, конечно, не забитость личности, а преждевременное развитіе ея до крайнихъ предѣловъ. Послѣ этого намъ приходится окончательно признать вѣрнымъ сужденіе Бѣлинскаго, не дождавшагося ни «Неточки» ни «Униженныхъ и оскорбленныхъ», но какъ бы заранѣе угадавшаго смыслъ и будущихъ произведеній Достоевскаго. Если же другой, не менѣе даровитый и гуманный критикъ, Добролюбовъ, обратилъ вниманіе только на другую сторону этихъ произведеній, совершенную *забитость* большинства дѣйствующихъ въ нихъ лицъ, то это объясняется, надо думать, тѣмъ, что такіе *не поддающіеся*, какъ Нелли, преждевременно гаснутъ, или же, если и выдерживаютъ до конца (чѣмъ должна кончить Нелли, мы не знаемъ), то, при всей силѣ самоотверженія, достигаютъ все-таки слишкомъ немногаго для поддержки подобныхъ себѣ «униженныхъ и оскорбленныхъ». Добролюбовъ, въ концѣ своей прекрасной статьи, доискивается причинъ того множества этого рода людей, какое представляетъ намъ жизнь, воспроизводимая Достоевскимъ; но онъ впадаетъ при этомъ въ односторонность, доискиваясь, главнымъ образомъ, мѣстныхъ причинъ этого печальнаго явленія. Вопросъ, между тѣмъ, несравненно глубже: «униженные и оскорбленные», вслѣдствіе самаго своего положенія на нижнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы, составляютъ явленіе не только мѣстное, но и обще-европейское, обще человѣческое. Глупо и безнравственно было бы, разумѣется утѣшать, себя этимъ: будь явленіе

только мѣстнымъ,—противъ него бы скорѣе могли быть отысканы мѣры, ему бы скорѣе возможно было положить конецъ; явленіе же всеобщее, противъ котораго тщетно испытываетъ разныя мѣры весь образованный міръ, должно корениться такъ глубоко, что невольно подрывается вѣра въ возможность искорененія. Повсемѣстность «униженныхъ и оскорбленныхъ», существованіе ихъ въ самыхъ «благоустроенныхъ» обществахъ объясняется тѣмъ, что нѣтъ еще во всемъ образованномъ мірѣ страны, гдѣ бы была дѣйствительно ограничена власть величайшаго изъ тирановъ—капитала! Повсемѣстность такого явленія и доводила многихъ глубокихъ мыслителей до крайняго пессимизма и мизантропіи, до той мизантропіи, въ которой нерѣдко слышится гораздо болѣе любви къ человѣчеству, чѣмъ въ различныхъ идеальныхъ теоріяхъ: вѣдь онѣ такъ удобно приводятъ къ конечному благу и къ вѣрѣ въ достоинство человѣка, потому что создаются въ комфортабельномъ кабинетѣ, послѣ обильнаго гастрономическаго стола!» *Миллеръ.*

Нелли, одинъ изъ симпатичнѣйшихъ дѣтскихъ образовъ.

Въ лицѣ бѣдной сиротки Нелли Достоевскій познакомилъ насъ съ цѣлой категоріей несчастныхъ дѣтей, которыми, какъ и всѣ другія столицы, такъ богата наша Сѣверная Пальмира.

Кто не знаетъ ихъ, этихъ маленькихъ бѣдненькихъ созданій; съ прозрачно-блѣдными личиками, недѣтскимъ, старческимъ выраженіемъ лица, дѣтей нищеты и разврата, съ самаго момента появленія на свѣтъ Божій обреченныхъ на погибель, на безвременную смерть? Несмотря на самую широкую благотворительность, въ нашъ просвѣщенный вѣкъ ихъ еще очень много, слишкомъ много.

Рожденные и взрощенные нищетою, они тутъ же, въ душной затхлой трущобѣ, не зная приволья, доживаютъ свой вѣкъ, чуждые благъ культуры и цивилизаціи, получая въ удѣлъ одни лишь страданія и мученія...

Прослѣдить развитіе такого характера—дѣло не легкое; для того, чтобы проникнуть въ измученную наболѣвшую душу маленькаго отщепенца общества, надо обладать тонкимъ психологическимъ чутьемъ, сердцемъ мягкимъ и любящимъ. Достоевскій обладалъ этими качествами, вслѣдствіе чего его анализъ характера Нелли бьетъ въ глаза правдивостью, а самый типъ маленькой нищенки изъ интеллигентнаго класса поражаетъ жизненностью и реализмомъ. А между тѣмъ это натура въ высшей степени сложная, полная противорѣчій и противоположностей, съ трудомъ поддающаяся анализу. Чтобы понять характеръ Нелли, надо ни на секунду не упускать изъ виду ея прошлаго, ея исторіи, надо брать ее вмѣстѣ съ почвою, на которой она выросла, и твердо помнить, что это чудный цвѣтокъ, распустившійся надъ смраднымъ болотомъ.

Если обстановка, среда, въ которой человѣкъ живетъ и вращается, оказываетъ на него во всякій періодъ его жизни могучее вліяніе, то тѣмъ глубже и интенсивнѣе оно въ то время, когда характеръ еще не развился, когда ребенокъ еще не сложился въ человѣка. Условія, при которыхъ развивалась и росла Нелли, ужасны, и невольное чувство удивленія и благоговѣнія предъ Творцомъ пробуждается въ душѣ читателя при видѣ той нравственной чистоты, которая какимъ-то чудомъ сохранилась въ душѣ несчастнаго ребенка, посреди окружающей его тины и грязи. «Это былъ характеръ странный, нервный и пылкій, но подавляющій въ себѣ свои порывы, симпатичный, но замыкавшійся въ гордость и недоступность» — говоритъ про нее авторъ.

Нелли — недюжинное созданіе; въ ней поражаетъ не умъ, а характеръ, прямой, неподкупно-честный, сердце любящее и чистое: въ ней есть что-то напоминающее мученицу-фанатичку, но ея фанатизмъ имѣетъ своимъ источникомъ не религіозное чувство; это — фанатизмъ идеи, это — крѣпость убѣжденія, не останавливающаяся ни передъ какимъ страданіемъ, ни предъ какою жертвою, окружающая какъ бы особымъ ореоломъ это крошечное, слабосильное, невзрачное созданіе. «Пусть погубитъ, пусть мучаетъ», съ жаромъ говоритъ бѣдняжка: — «не я первая, другія и лучше меня, да мучаются; я бѣдная и хочу быть бѣдною, такъ мнѣ мать говорила, когда умирала; я работать буду, я не хочу это платье носить»...

Право, читая эти строки, переносишься мысленно въ другую эпоху, думаешь, что видишь предъ собою мученицу первыхъ вѣковъ христіанства, и невольно задаешься вопросомъ: какъ среди насъ, людей, въ большинствѣ случаевъ, слабыхъ волею и лишенныхъ энергіи, очутилась эта маленькая экзальтированная фанатичка, столь преданная своей идеѣ, столь пламенно и горячо исповѣдующая свои принципы и убѣжденія? Съ какой твердостью, съ какимъ мужествомъ выноситъ она побои «благотворительницы» Бубновой изъ-за позорнаго кисейнаго платья, руководимая святымъ, врожденнымъ ей инстинктомъ! Не будь цѣломудренное начало вложено въ душу Нелли самою природою, та обстановка, въ которой бѣдняжка влачила свое жалкое существованіе, неизбѣжно развратила бы въ конецъ ея натуру. Но Нелли не погибла: сквозь всѣ страданія, позоръ и униженія она пронесла нетронутою живую душу, свѣтлый умъ, невинность и чистое, непорочное сердце. Правда, горькій, преждевременный опытъ лишилъ ее дѣтской безпечности, ожесточилъ и вооружилъ ее противъ всѣхъ людей, въ которыхъ она привыкла видѣть враговъ. Бѣдняжка, немного любви выпало на ея долю; немудрено, что характеръ ея ожесточился; скорѣе слѣдуетъ удивляться тому, что не изсякъ тотъ источникъ любви и нѣжности, который скрывался на днѣ ея чувствительнаго сердечка. Если тѣ ужасные пореки, которые сыпались на ея голову изъ устъ злой фуріи Бубновой, если тѣ увѣсистыя пощечины, которыя столь щедро расточала

сироткѣ ея «благодѣтельница», и заставили дѣвочку уйти въ себя, какъ уходитъ улитка въ раковину, «замкнуться въ гордость и недоступность», какъ выразился авторъ, то стоило лишь Ивану Петровичу пригрѣть ее, явивъ по отношенію къ ней примѣръ истиннаго человѣколюбія, какъ мигомъ растаяла ледяная кора, за которою притаилось это наболѣвшее, оскорбленное сердце.

Правда, ея привязанность къ юному благодѣтелю скоро выродилась въ обыкновенное чувство влюбленности, но самый «романъ» Нелли, при всей своей обыденной подкладкѣ, при всей своей «обыкновенности», въ высшей степени оригиналенъ, своеобыченъ. Если въ Нелли и пробудилась женщина влюбленная и ревнующая, то ея прекрасная, дѣвственно-чистая душа, ея прямой характеръ высоко подняли ее надъ уровнемъ обыкновенной влюбленной дѣвицы.

Эта 14-лѣтняя дѣвочка на голову переросла не только своихъ сверстницъ, но и дѣвушекъ вполнѣ зрѣлыхъ, взрослыхъ, — настолько глубоко и серіозно чувство, питаемое ею къ своему благодѣтелю. И что за поразительная сила воли! Какъ она борется, бѣдняжка, съ собою, какую блестящую побѣду одерживаетъ надъ дурными инстинктами женской природы, принудивъ себя любить ту, кого бы ей хотѣлось ненавидѣть, — свою соперницу Наташу, мечтая посвятить ей всю свою жизнь и даже итти къ ней въ служанки за то лишь, что та любима ея избранникомъ — Ваней, а потому поставлена въ особое, привилегированное положеніе. И если она сперва капризничала, нервничала, завидовала, то какъ скоро ея чистая привязанность къ Ванѣ избавилась отъ этихъ низменныхъ оковъ, какого высокаго нравственнаго уровня удалось достигнуть этому слабому, оскорбленному и униженному созданію! Съ трудомъ вѣрится, что это дитя нищеты, дитя трущебъ.

И тутъ сказался законъ наслѣдственности: въ Нелли возродилась ея страдалица — мать, бросающая въ лицо своему обидчику послѣднія кровныя деньги, предпочитающая голодную смерть позору. Это святое наслѣдіе — неподкупную честность, горделивое сознаніе своего достоинства, благородство и истинный аристократизмъ — дочь ея сумѣла сохранить въ полной неприкосновенности и въ глубинѣ того ужаснаго вертепа, куда забросила ее безжалостная судьба; разрушилось тѣло, но не погибла душа. И если тотъ законъ, въ силу котораго недочеты въ физической и психической организаціи родителей, ихъ слабости и пороки неизбѣжно должны перейти къ дѣтямъ, ни въ чемъ неповиннымъ, и способенъ вынуждать негодованіе въ человѣкѣ, въ виду такой вопіющей несправедливости, то грѣховный ропотъ мгновенно замретъ на его устахъ при этомъ яркомъ, неоспоримомъ доказательствѣ высокой цѣлесообразности и логичности законовъ природы.

Но на ряду съ природой существуетъ искусство, сила, съ которой нельзя не считаться, которая нерѣдко оспариваетъ первенство у своего соперника — натуры; это *воспитаніе*, которое если и не

перерождаетъ человѣка, то имѣетъ тѣмъ не менѣе великое, рѣшающее значеніе въ его жизни. Въ примѣненіи къ нашей сироткѣ эта истина имѣетъ то значеніе, что помогаетъ намъ уразумѣть ея характеръ. Если Нелли отъ рожденія, какъ дочь своей матери, и обладала извѣстными данными положительнаго характера, извѣстными нравственными устоями, то воспитаніе, ею полученное, — воспитаніе не въ узкомъ, а въ широкомъ значеніи этого слова — въ смыслѣ внѣшняго воздѣйствія, оказываемаго на ребенка взрослыми, средою, окружающей его, — въ совокупности было таково, что не могло оказать на нее добраго вліянія. Что бы ни говорили, воспитываетъ насъ, главнымъ образомъ, сама жизнь, а жизнь Нелли сложилась далеко неблагопріятно, фортуна черезчуръ рано повернулась къ ней спиною и отвела ей мѣсто въ ряду оскорбленныхъ и униженныхъ. При такихъ условіяхъ правильное развитіе немыслимо: одна аномалія рождаетъ другую. Если мы вспомнимъ ужасную, потрясающую исторію Нелли, то легко поймемъ, что изъ нея должно было выйти именно то изломанное, нервное, взбалмошное существо, какимъ она фигурируетъ въ романѣ Достоевскаго.

Тутъ на первомъ планѣ надо поставить «эгоизмъ страданія», по терминологіи нашего автора, — «это растравленіе боли, это наслажденіе многихъ обиженныхъ и оскорбленныхъ, пригнетенныхъ судьбою, сознающихъ въ себѣ ея несправедливость», говоритъ Достоевскій. Это поразительно мѣткое и вѣрное замѣчаніе; кто не знаетъ, что въ силу противорѣчій и странностей, уживающихся въ его натурѣ, человѣкъ склоненъ иногда произвольно растравлять свои раны, наслаждаться своей мукой, упиваться болью! Въ этомъ выражается своего рода вызовъ судьбѣ и человѣчеству, правда, протестъ пассивный, болѣзненный, вымученный! «Меня будутъ бранить, а я буду нарочно молчать; меня будутъ бить—я все буду молчать; пусть бьютъ — ни за что не заплачу, имъ же хуже будетъ отъ злости, что я не плачу», — говоритъ Нелли — и вы вполнѣ можете положиться на нее: на дѣлѣ она оправдаетъ эти дикія обѣщанія.

Не даромъ людьми гуманными, тонко чувствующими, давно уже признано, что жестокія наказанія не устрашаютъ, а развращаютъ натуру человѣка: къ страданіямъ понемногу привыкаютъ, ихъ перестаютъ бояться, и не только не избѣгаютъ, но даже ищутъ ихъ, стремятся къ нимъ, и въ результатѣ получается чудовищнѣйшее явленіе въ мірѣ — своего рода сладострастіе, наслажденіе болью, упоеніе мукою. Само собою разумѣется, что тутъ оканчивается область нормальнаго, и мы вступаемъ въ предѣлы психоза; но и обыкновенный человѣкъ, съ удовлетворительныхъ психическимъ здоровьемъ, рискуетъ поскользнуться на этомъ пути.

Не даромъ еще Наполеонъ говорилъ, что отъ умнаго и великаго до смѣшного всего одинъ шагъ; перефразируя это изреченіе, мы скажемъ: отъ нормальнаго и здороваго до болѣзненнаго — одинъ шагъ. Если Нелли, разрывая злополучное кисейное платье, руково-

дилась священнымъ природнымъ инстинктомъ, направляющимъ ее къ добру и спасающимъ отъ порока и зла, то на ряду съ тѣмъ въ ней говоритъ «эгоизмъ страданія»; предчувствіе жестокихъ побоевъ, ее ожидающихъ, не только не удерживаетъ, но еще подталкиваетъ ее совершить проступокъ, чтобъ испить чашу до дна, насладиться страданіями и досадить своимъ мучителямъ; она даже не кричитъ, когда ее истязаютъ; какъ средневѣковая мученица, сжигаемая на кострѣ, она стоитъ вся блѣдная, со сжатыми губами, ни жестомъ ни звукомъ не выдавая своихъ страданій, чтобы не доставить торжества своимъ мучителямъ. «Упорная сатана, молчитъ, хоть бей, хоть брось ее — все молчитъ, словно себѣ воды въ ротъ набрала, — все молчитъ. Сердце мое надрываетъ — молчитъ!» — наивно признается Бубнова. Что бы сказала эта почтенная матрона, если бы кто-нибудь вздумалъ посвящать ее въ тайны человѣческой психики и надоумилъ бы ее, что всѣ ея педагогическія мѣры безплодны, ибо ея жертва сумѣла въ своихъ мукахъ найти для себя источникъ наслажденія, цѣною жестокихъ страданій купила сладостное право считать себя несчастной, гордиться и упиваться своею болью, своими страданіями!... Зная людей и жизнь лишь съ ихъ отрицательной стороны и привыкнувъ быть по отношенію ко всему человѣчеству «на военномъ положеніи», Нелли свою тактику примѣняетъ и къ тѣмъ, кто ей желаетъ добра, кто искренно къ ней расположенъ, какъ бы мстя имъ за зло, причиненное ей ея мучителями Бубновой и К°. «Нелли ждала нашего гнѣва, думала, что ее начнутъ бранить, упрекать и, можетъ-быть, ей безсознательно только и хотѣлось, чтобы имѣть предлогъ тотчасъ же заплакать, зарыдать, какъ въ истерикѣ, разбить что-нибудь съ досады, чтобы чѣмъ-нибудь утолить свое капризное, наболѣвшее сердечко». Такъ, впрочемъ, бываетъ со всѣми забитыми, униженными и оскорбленными; когда обстоятельства ихъ мѣняются къ лучшему, они въ первое время съ трудомъ оріентируются, и, при видѣ новой физіономіи, считаютъ долгомъ ощетиниться, а впослѣдствіи, освоившись съ новымъ положеніемъ, изъ жертвы превращаются, въ свою очередь, въ деспота и наслаждаются возможностью тиранить окружающихъ. «Она оскорблена — рана ея не могла зажить» — говоритъ Достоевскій, призывая насъ простить бѣдняжкѣ и въ ея лицѣ простить всѣмъ несчастнымъ, сердце которыхъ очерствѣло, характеръ которыхъ озлобился подъ гнетомъ тяжелыхъ обстоятельствъ.

Эти два чувства — любовь и ненависть — идутъ рука объ руку въ характерѣ Нелли, постоянно сплетаясь и смѣшиваясь; про нее смѣло можно сказать, что она умѣетъ крѣпко любить и сильно ненавидѣть Это оскорбленное дѣтское сердечко способно на такую злобу, такую интенсивную ненависть, что жутко становится за ребенка и за человѣка. Достаточно вспомнить сцену встрѣчи ея съ княземъ или же тотъ случай, когда Нелли бросаетъ дѣду въ лицо несчастные гроши, которые она вымолила у прохожихъ, терпя голодъ,

стужу, муки оскорбленнаго самолюбія, лишь бы упиться местью, унизить старика.

Правда, та обстановка, въ которой выросла дѣвочка, представляла собою благопріятнѣйшую почву для развитія всякихъ отрицательныхъ свойствъ характера, и нельзя винить бѣдняжку; но фактъ налицо, фактъ глубоко поучительный. Онъ учитъ насъ беречь дитя отъ слишкомъ суровыхъ вѣяній жизни, стремиться къ тому, чтобы подольше сохранить ему свѣтлое невѣдѣніе, лучшій даръ дѣтства; а то послѣдствія могутъ быть поистинѣ ужасны: злоба, человѣконенавистничество, мрачный пессимизмъ и жажда мести воцарятся въ душѣ дитяти, поработятъ и завладѣютъ ею. Нелли чистосердечно признается своимъ друзьямъ, что представлялась спящей, чтобы подслушать исповѣдь матери, и, такимъ образомъ, вся картина ужаснаго прошлаго этой несчастной, обманутой, покинутой женщины предстала со всѣми чудовищными, подавляющими своимъ реализмомъ подробностями предъ свѣтлымъ младенческимъ взоромъ дѣвочки, и страсти забушевали: тутъ заговорила бѣшеная злоба на низкаго злодѣя, погубившаго ея мать, тупая ненависть къ безсердечному дѣду, проклявшему свою несчастную дочь, и рядомъ съ нѣжнымъ цвѣткомъ распустилась глубокая привязанность къ этой страдалицѣ-матери, какой-то восторженный культъ любви и поклоненія, побуждающій дѣвочку боготворить свою маму, считать ее чуть ли не святой.

Рѣдко кому выпадаетъ на долю найти въ ближнемъ такое сочувствіе, такое духовное единеніе, которое встрѣтила мать Нелли въ лицѣ своей малолѣтней дочери; и благо имъ обѣимъ! благо ей, страдалицѣ-матери, сумѣвшей найти дорогу къ сердцу дочери! благо ей, маленькой дѣвочкѣ, прозрѣвшей то, что недоступно порою и искушенному взору взрослыхъ, зрѣлыхъ людей! Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, кто дастъ положительный отвѣтъ на нашъ вопросъ: должно ли нѣжное сердце ребенка служить ареною сильныхъ страстей человѣческихъ, и не рано ли срывать завѣсу съ глубочайшихъ тайнъ жизни предъ яснымъ взоромъ дитяти?

Къ несчастью, на дѣлѣ оказывается, что преждевременный опытъ, раннее развитіе — не есть удѣлъ однихъ лишь отщепенцевъ общества, дѣтей нашихъ Несчастливцевыхъ: и господа Счастливцевы не умѣютъ уберечь своихъ чадъ отъ тлетворнаго вліянія житейской грязи и пошлости. Они забываютъ, что, въ лучшемъ случаѣ, если не загрязнится душа ребенка, то нарушится преждевременно чудная гармонія внутренняго міра дитяти, перемѣшаются, перепутаются всѣ его понятія. Нелли служитъ тому нагляднымъ примѣромъ: въ ея понятіяхъ, взглядахъ, сужденіяхъ царитъ полнѣйшій сумбуръ, разладъ, и мы лишь путемъ внимательнаго изученія сумѣемъ выдѣлить въ нихъ элементъ основной, коренной, отъ всего наноснаго, навѣяннаго извнѣ.

Эта маленькая дѣвочка, размышляющая на тему — отчего Христосъ сказалъ: *Любите другъ друга, прощайте обиды*, — а ея дѣдушка

не хочетъ простить мамашу; этотъ ребенокъ, въ которомъ сознаніе человѣческаго достоинства развито въ такой степени, что онъ можетъ поспорить съ любымъ взрослымъ; эта крошка со своеобразной логикой, заимствованной у старой нищенки, поучающей ее, что «у одного просить стыдно, а просить милостыню у всѣхъ — не стыдно!» — вызываетъ въ насъ глубокое состраданіе и жалость. Бѣдняжка! ея преждевременное развитіе не далось ей даромъ: оно навсегда унесло съ собою миръ и спокойствіе изъ ея наболѣвшаго сердечка, расшатало ея нервную систему, въ корень подорвало ея здоровье. Справедливо сказалъ поэтъ: «даромъ ничто не дается: жизнь жертвъ искупительныхъ проситъ»... Нашъ авторъ отлично это понялъ; вотъ почему его маленькая героиня умираетъ, исполнивъ свою послѣднюю миссію, послуживъ орудіемъ спасенія Наташи, примиренія съ ея семьей.

Въ свою короткую жизнь Нелли такъ много перечувствовала и перестрадала, потратила столько душевныхъ силъ, что ихъ болѣе не оставалось, и бѣдняжка заплатила свою жизнь за то, что преждевременно вкусила отъ древа познанія добра и зла. Образъ Нелли — одинъ изъ симпатичнѣйшихъ дѣтскихъ обликовъ, вышедшихъ изъ-подъ пера Достоевскаго; онъ будитъ въ насъ глубокое сочувствіе и симпатію къ несчастнымъ оскорбленнымъ и униженнымъ дѣтямъ. Заключительный аккордъ — проклятіе, посылаемое умирающей дѣвочкой тому, кто погубилъ ея мать, — придаетъ еще болѣе мрачный колоритъ этой грустной исторіи. Онъ заставляетъ насъ трепетать за человѣка, трепетать за самихъ себя, ибо мы, оставаясь пассивными зрителями этой ужасной драмы, гибели безпомощнаго, ни въ чемъ неповиннаго созданія, павшаго жертвою неудовлетворительнаго соціальнаго строя, рискуемъ понести тяжелую отвѣтственность, если не юридическую, то нравственную отвѣтственность предъ Богомъ и людьми за загубленную дѣтскую душу; и это роковое предсмертное проклятіе, несомнѣнно, отброситъ и на насъ свою мрачную тѣнь, если преступная апатія и равнодушіе своевременно не уступятъ въ насъ мѣста широкой гуманности, истинному человѣколюбію и готовности протянуть руку помощи оскорбленнымъ и униженнымъ.

Янтарева.

Нелли съ психіатрической точки зрѣнія.

Достоевскій четыре раза изображалъ эпилептиковъ: Нелли («Униженные и оскорбленные»), «Идіотъ», Кириловъ («Бѣсы»), Смердяковъ («Братья Карамазовы»). Было бы странно, если и Достоевскій ограничился однимъ упоминовеніемъ о припадкахъ или простымъ ихъ описаніемъ. Онъ единственный изъ художниковъ, описавшій особенности психической организаціи эпилептиковъ, субъективныя явленія предвѣстниковъ предъ припадками.

Всѣ четыре эпилептика Достоевскаго душевнобольные; о томъ, какъ часто эпилептическіе припадки комбинируются съ психическимъ

разстройствомъ, мы имѣемъ статистическія изслѣдованія. Рейнольдъ-Руссель нашелъ, что у 62 % эпилептиковъ цѣлость психическихъ отправленій оказывается нарушенною. Тотъ общественный фактъ, что нѣкоторые эпилептики обладали геніальными способностями, отнюдь не противорѣчитъ тому, что въ психическомъ складѣ этихъ больныхъ почти всегда замѣчаются нѣкоторыя патологическія особенности.

Въ проявленіяхъ болѣзни у четырехъ эпилептиковъ Достоевскаго много разнообразія, и безъ натяжки можно сказать, что подъ эти четыре типа можно подвести всѣ модификаціи этой болѣзни.

Наиболѣе слабо выражено болѣзненное состояніе у Нелли; у ней наблюдался такъ называемый эпилептическій характеръ. Достоевскій такъ ясно очертилъ особенности этого характера, что характеристику Нелли прямо можно взять изъ любого современнаго учебника психіатріи. Нужно только прибавить, что въ то время, когда написана была эта повѣсть, въ психіатріи далеко не былъ такъ точно и полно опредѣленъ эпилептическій характеръ, какъ теперь, и Достоевскій до извѣстной степени опередилъ науку.

Крафтъ-Эбингъ («Учебникъ психіатріи», томъ II, стран. 126) такъ опредѣляетъ эпилептическій характеръ: «Сюда принадлежатъ прежде всего ненормальная раздражительность чувствъ (Нелли по ничтожному поводу выходила изъ себя), капризный, прихотливый характеръ (напримѣръ три раза выплескивала лѣкарство), переходящій изъ одной крайности въ другую (потомъ плакала, просила прощенія и старалась угодить доктору и Ивану Петровичу), изъ странной экзальтаціи съ болѣзненною усиленною волею (чтобы купить новую, вмѣсто разбитой ею чашки, пошла на улицу просить милостыню, умѣла найти квартиры знакомыхъ Ивана Петровича) въ психическое угнетеніе съ угрюмостью, ипохондрическимъ и вообще мрачнымъ настроеніемъ (таково было обычное настроеніе Нелли, пока она жила въ квартирѣ Ивана Петровича), навязчивыми идеями (у Нелли ихъ не было вообще; у дѣтей онѣ бываютъ крайне рѣдко), умственною апатіей и усталостью (несмотря на все желаніе Ивана Петровича, онъ ничѣмъ не могъ ее занять; чтеніе, вначалѣ ее занявшее, она скоро бросила), колебаніемъ и душевнымъ томленіемъ при маловажныхъ случаяхъ (напримѣръ почему она разбила чашку и что она потомъ дѣлала), боязливостью (она пугалась всѣхъ новыхъ лицъ), и въ особенности постоянно недовѣрчивый (ни Иванъ Петровичъ, никто другой не могъ возбудить ея довѣрія), замкнутый (она ни съ кѣмъ не дѣлилась своими мыслями), нелюдимый, постоянно своенравный и обидчивый (она безо всякаго повода убѣгала отъ Ивана Петровича, бывшаго относительно ея крайне снисходительнымъ, и искала пріюта у чужихъ людей), не терпящій никакихъ противорѣчій, неспособный приноравливаться къ даннымъ окружающимъ условіямъ характеръ, благодаря которому больные сплошь и рядомъ являются въ роли семейныхъ тирановъ (несмотря на всю доброту Ивана Петровича,

она стала ему въ тягость), мизантроповъ (Нелли ни къ кому не привязывалась) и ненадежныхъ друзей.

Но это опредѣленіе Крафта-Эбинга есть результатъ совокупной наблюдательности многихъ; Достоевскій же одинъ сказалъ, не сдѣлавъ ни одного невѣрнаго штриха. *Чижъ.*

Слабоумные въ романѣ „Униженные и оскорбленные".

Идіоты, дурачки, слабоумные часто изображаются писателями такъ, какъ всякому, конечно, удавалось ихъ встрѣчать въ жизни; притомъ же ихъ, какъ кажется профанамъ, можно заставлять дѣлать все, что нужно для достиженія драматическихъ эффектовъ: дурачки говорятъ правду въ глаза, убиваютъ, поджигаютъ и т. д. Вообще же дурачки художниковъ ничего общаго съ дѣйствительными не имѣютъ; много-много, если вѣрно нарисованъ ихъ внѣшній видъ. Достоевскій, какъ настоящій мастеръ, избѣгалъ этой темы; онъ ограничился только бѣглымъ описаніемъ внѣшности и образа жизни Елизаветы Смердящей, не вдаваясь въ анализъ ея душевной жизни. Въ этомъ я вижу доказательство глубокаго знанія основъ патологіи души со стороны Достоевскаго. Только крупному таланту свойственно ясно сознавать границы своей компетентности; душевная жизнь идіотовъ весьма трудно изслѣдуема, и изученіе ея едва ли не самая трудная глава въ психіатріи. Во всякомъ случаѣ, изученіе идіотовъ возможно только при строго научной обстановкѣ.

Но оставивъ въ сторонѣ идіотовъ, Достоевскій весьма подробно описалъ недоразвитіе умственныхъ способностей въ слабой степени: Imbecillitas, Fatuitas, («Униженные и оскорбленные») это типъ слабоумнаго отъ природы (imbécile). Я не буду доказывать, что Алеша душевно больной въ строгомъ смыслѣ этого слова. Ничто не возбуждаетъ столько разногласія между психіатрами, какъ проведеніе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ черты, раздѣляющей слабоуміе отъ глупости; на освидѣтельствованіяхъ при пріемѣ новобранцевъ, въ судѣ, при губернскомъ правленіи постоянно являются разногласія по этому поводу. Да и не можетъ быть иначе; въ природѣ нѣтъ рѣзкихъ границъ, нѣтъ категорій; слабоуміе — понятіе, обхватывающее всю сумму духовной жизни человѣка, и ужъ, конечно, оно не можетъ быть строго опредѣленнымъ.

Все поведеніе Алеши нельзя объяснить иначе, какъ врожденнымъ слабоуміемъ. Онъ, несмотря на старанія отца, человѣка важнаго и ловкаго, нигдѣ не могъ кончить курса, потому что учиться ему было крайне тяжело: его мозгъ не былъ способенъ къ дальнѣйшему развитію; въ старшихъ классахъ, гдѣ нельзя уже ограничиваться однимъ зубреніемъ, а требуется уже нѣкоторое пониманіе изучаемаго, онъ долженъ былъ прервать свое образованіе. Что неспособность его выходила изъ ряда вонъ, дѣлается ясно, если мы

припомнимъ, какъ снисходительно въ прежнее время относились въ привилегированныхъ училищахъ къ дѣтямъ значительныхъ лицъ; если же принять во вниманіе пронырливость отца Алеши, то поневолѣ приходится заключить, что Алеша рѣшительно не могъ учиться, даже хотя бы сколько-нибудь. Какъ часто бываетъ у такихъ лицъ, у Алеши была только одна механическая способность: онъ хорошо игралъ на фортепіано; ни къ чему больше онъ не былъ способенъ, да, конечно, и въ этомъ искусствѣ онъ не могъ итти дальше усвоенія техники.

Въ двадцать-два года Алеша былъ еще совсѣмъ ребенокъ: такъ понималъ его отецъ и всѣ окружающіе.

Какъ всѣ слабоумные или, правильнѣе сказать, какъ всѣ душевнобольные, онъ — совершенный эгоистъ. Чужое горе и радость для него не существуютъ. Поразительно хорошо это выражено въ сценѣ побѣга Наташи изъ дома родителей; на него не производятъ никакого впечатлѣнія отчаяніе и душевная мука Наташи, грусть и тоска Ивана Петровича; Алеша съ веселымъ лицомъ болтаетъ о не идущихъ къ дѣлу пустякахъ. Такъ же безучастно въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ относится онъ и къ тому тяжелому положенію, въ которое поставилъ Наташу своею связью съ ней; о родителяхъ Наташи, которыхъ онъ зналъ и къ которымъ былъ прежде привязанъ, онъ ни разу и не вспомнилъ, несмотря на то, что былъ виновникомъ ихъ несчастія и позора; ихъ горе для него не существовало, тѣмъ болѣе что онъ ихъ не видѣлъ.

Такой чудовищный эгоизмъ возможенъ только у душевно больного. Какъ бы ни былъ испорченъ человѣкъ, въ немъ всегда шевельнется сожалѣніе къ своей жертвѣ; наконецъ, обыкновенный преступникъ, удовлетворяя своей страсти, подавляетъ сочувствіе, жалость къ жертвѣ; эта борьба необходима. Альтруистическія чувства всегда есть въ человѣкѣ; они могутъ быть слабы, могутъ быть подавлены болѣе сильными эгоистическими чувствами; наконецъ, вслѣдствіе воспитанія или жизни могутъ быть заглушены; но все это только до извѣстной степени; Достоевскій въ «Мертвомъ домѣ» указываетъ, что даже каторжниковъ удивляло циническое упоминаніе одного отцеубійцы о своемъ отцѣ. Такой чудовищный эгоизмъ, какъ у Алеши, возможенъ только у душевно больного, тѣмъ болѣе что Алеша былъ въ томъ возрастѣ, когда сердце наиболѣе отзывчиво на чужія страданія. Чтобы понять, до какой степени безучастіе ко всѣмъ ближнимъ характеризуетъ душевные недуги, стóитъ только заглянуть въ лѣчебницу для душевно больныхъ; психически больные совершенно равнодушно и безучастно (равнодушіе и безучастіе не одно и то же) смотрятъ на агонію, слушаютъ плачъ сосѣдей, не обнаруживая ни малѣйшаго желанія помочь страждущему. Въ дурно устроенныхъ больницахъ, къ несчастію, бывали случаи истязанія больныхъ надзирателями, другими больными; и что же? ни одинъ больной никогда не вступится за жертву; никакой бунтъ или об-

щій протестъ немыслимъ въ заведеніи для душевно больныхъ. Можетъ-быть, изученіе такого эгоизма со стороны душевно-больныхъ послужило бы моралисту ключомъ для уясненія многихъ вопросовъ этики; во всякомъ случаѣ, какъ мнѣ кажется, этотъ фактъ имѣетъ въ высокой степени важное значеніе, и жаль, что до сихъ поръ не указано все его значеніе! Чуть ли не первый признакъ выздоровленія, когда больной начинаетъ принимать участіе въ окружающихъ. Конечно, причины такого безучастія и равнодушія со стороны психически больныхъ столь же различны, какъ и формы этихъ болѣзней.

Алеша съ обычной, житейской точки зрѣнія былъ даже добрый человѣкъ; по крайней мѣрѣ, онъ никому не хотѣлъ сдѣлать чего-либо дурного, и даже хотѣлъ бы иногда сдѣлать хорошее. Онъ способенъ былъ плакать, видя слезы Наташи, продавалъ свои вещи, чтобы снабжать ее деньгами; но дѣло въ томъ, что всѣ душевныя движенія его поверхностны и слабы. Онъ еще способенъ иногда, когда у него нѣтъ причинъ радоваться, огорчаться непосредственно, видя у другихъ рѣзкія проявленія горя, но только на минуту; тотчасъ же онъ забываетъ о причинахъ, вызвавшихъ его сочувствіе; его сознаніе и дѣятельность поглащаются мелкими, грубыми стремленіями. Непосредственно отъ Наташи, съ которой онъ только что плакалъ, онъ ѣдетъ къ публичной женщинѣ совершенно спокойно, съ чистою совѣстью, такъ какъ половыя стремленія у него живы, а нравственное чувство и сочувствіе къ горю любимой женщины крайне слабы. Та же слабость нравственныхъ чувствъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова, обусловливаетъ все его поведеніе; онъ равнодушно бросаетъ дѣвушку, пожертвовавшую для него столь многимъ, но отказъ въ деньгахъ со стороны отца производитъ на него большое впечатлѣніе. Къ постояннымъ серіознымъ привязанностямъ онъ неспособенъ, потому что для него необходимы новыя развлеченія: однообразіе для него невыносимо. Глубокая любовь Наташи и покупныя ласки публичной женщины въ сущности для него одно и то же; онъ неспособенъ понимать и чувствовать разницу между ними. Ничто не можетъ произвести на него сильнаго впечатлѣнія, занять его, поглотить надолго его вниманіе, потому что онъ не можетъ ни глубоко чувствовать ни всесторонне заняться чѣмъ-либо. Всѣ впечатлѣнія только скользятъ по его сознанію, на короткое время слегка затрогивая его; очевидно, что по естественному закону природы, для Алеши постоянно нужны были новыя впечатлѣнія, всегда поверхностныя, доставляемыя такъ называемыми развлеченіями. Онъ, какъ и всякій слабоумный, способенъ былъ любить кого-нибудь только за удовлетвореніе своихъ грубыхъ потребностей; никакой другой, кромѣ животной любви онъ имѣть не можетъ. Понятно, что чувства высшаго порядка, религіозныя, эстетическія, гражданскія, для него не существуютъ; Алеша ни разу не высказываетъ желанія устроить свою жизнь поразумнѣе; никогда ничѣмъ,

кромѣ удовлетворенія своихъ грубыхъ потребностей, не интересуется. Благодаря такой слабости нравственнаго чувства у него и не могло быть раскаянія въ томъ, что онъ испортилъ жизнь Наташи; если ему и было нѣсколько жаль ее бросить, то только потому, что она баловала его и исполняла его прихоти. Что только такимъ путемъ можно хотя на время привязать такихъ людей, Наташа, несмотря на свою молодость, хорошо поняла; такъ это бросается въ глаза.

Въ умственной дѣятельности Алеши поражаетъ, вообще говоря, блѣдность и поверхностность. Алеша прежде всего воспринимаетъ медленнѣе, чѣмъ нормальный человѣкъ, и многія чувственныя воспріятія ускользаютъ отъ него: такъ, напримѣръ, онъ вовсе не замѣчаетъ, что выражало лицо его отца во время сцены фиктивнаго согласія на бракъ съ Наташей; между тѣмъ посторонніе, вовсе не знавшіе его отца, тотчасъ же все подмѣтили. Вообще только немногое изъ окружающаго западаетъ въ его сознаніе, и какъ необходимый результатъ этого является меньшее обиліе представленій; да къ тому же все чувственно воспринятое перарабатывается не съ такою полнотой, какъ у психически нормальнаго человѣка, по причинѣ вялости и пробѣловъ въ сочетаніи и воспроизведеніи представленій. Чтобъ убѣдиться въ справедливости такого вывода, стоитъ припомнить, что Алеша совершенно не зналъ своего отца, не имѣлъ сколько-нибудь яснаго понятія о практической жизни, до такой степени, что считалъ возможнымъ давать уроки музыки, и т. п. Очевидно, что образованіе отвлеченныхъ понятій и сужденій у него совершается съ большимъ трудомъ, сужденія объ отвлеченныхъ вещахъ односторонни (напримѣръ онъ не могъ себѣ усвоить условій, при какихъ можетъ совершаться вѣнчаніе) и постоянно находятся подъ сильнымъ вліяніемъ посторонняго авторитета. Алеша легковѣренъ (легко повѣрилъ отцу, несмотря на очевидность обмана), не имѣетъ собственныхъ мнѣній и опирается только на мнѣнія другихъ. Такъ, наслушавшись звонкихъ фразъ въ какомъ то кружкѣ, онъ самъ повторяетъ фразы объ обязанностяхъ приносить пользу обществу, обѣщаетъ дать деньги, на народныя школы и т. п.; конечно на слѣдующій же день, подъ вліяніемъ уже другого авторитета онъ говоритъ и поступаетъ совсѣмъ несогласно со вчерашними обѣщаніями.

Внутренняя сущность и болѣе тонкія отношенія вещей отъ него ускользаютъ, и хотя ему, напримѣръ, удалось кое-что уловить изъ слышаннаго въ этомъ кружкѣ молодыхъ людей, онъ все-таки оказывается неспособнымъ правильно передать свою мысль словами; онъ запутался, сбился, и, не зная, что именно говорили эти молодые люди, можно по разсказу Алеши составить себѣ лишь неясное, приблизительное понятіе. Нечего и говорить, что у Алеши нѣтъ стремленія, присущаго всякому нормальному человѣку, изслѣдовать основы и сущность вещей. Онъ воспринимаетъ вещи такъ, какъ онѣ представляются ему при поверхностномъ взглядѣ; онъ нисколько

не попытался себѣ объяснить, почему это отецъ согласился на его бракъ съ Наташей, несмотря на прежнее его сопротивленіе; его не поразило, какъ это отецъ могъ такъ радикально измѣнить взгляды всей своей жизни, какъ это его, жениха Наташи, отецъ повелъ къ публичной женщинѣ, а потомъ къ другой невѣстѣ.

Естественнымъ послѣдствіемъ такого недостатка въ сферѣ представленій и чувствованій является полное отсутствіе самостоятельности, иниціативы. Встрѣчая ничтожныя препятствія, — напримѣръ хлопоты по устройству свадьбы, — Алеша отказывается отъ своего намѣренія. Онъ долженъ постоянно находиться подъ вліяніемъ чужой воли, а такъ какъ изъ окружающихъ онъ больше всего привыкъ къ отцу, то онъ и дѣлаетъ все, что тотъ его заставляетъ.

Несмотря на то, что, по мнѣнію Достоевскаго, Алеша психически нормальный человѣкъ, очевидно, изо всей его повѣсти, что авторъ считаетъ его невмѣняемымъ, неотвѣтственнымъ за все зло имъ сдѣланное; вотъ въ этомъ взглядѣ, я думаю, большинство психіатровъ согласится съ великимъ психопатологомъ Достоевскимъ. Алеша, дѣйствительно, невмѣняемъ, потому что онъ душевнобольной или, правильнѣе говоря, человѣкъ съ несовершенною, недоразвитою психическою организаціей. Если его считать здоровымъ, то является неустранимое противорѣчіе: почему Алеша ни въ Достоевскомъ, безспорно, обладавшемъ необычайною чуткостью нравственнаго чувства, ни въ читателѣ не возбуждаетъ негодованія къ себѣ, напротивъ, каждый чувствуетъ только сожалѣніе къ нему? Признаніемъ невмѣняемости Алеши Достоевскій какъ бы согласился, что Алеша душевнобольной.

Ничего не нужно прибавлять къ характеристикѣ Алеши; описаніе совершенно полное, и въ умѣ психіатра при чтеніи этой повѣсти невольно появляются образы подобныхъ Алешѣ паціентовъ.

Нельзя обойти молчаніемъ того, повидимому, страннаго факта, что повѣсть «Униженные и оскорбленные» является разсказомъ о томъ, какъ одна хорошая, образованная дѣвушка любила дурачка. Правдоподобно ли это? Къ сожалѣнію, нужно сказать, что это вѣрно природѣ; по крайней мѣрѣ, психіатрамъ извѣстны такіе нелѣпые любовные конфликты, и часто приходится удивляться, что субъекты, достойные только сожалѣнія, бываютъ горячо любимы женщинами и дѣвушками далеко не глупыми. Какъ объяснить себѣ это явленіе? Но тутъ нужно признать компетентность Достоевскаго, хотя, можетъ-быть, его мотивировка любви Наташи къ Алешѣ и грѣшитъ нѣсколько идеализаціей.

Чижъ.

Живая душа въ забитыхъ людяхъ-герояхъ первыхъ произведеній Достоевскаго.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ Достоевскій недостатокъ уваженія человѣка къ самому себѣ и недостатокъ уваженія къ человѣку другихъ людей. Кажется бы, дѣло простое — думается, когда читаешь эти повѣсти: человѣкъ родился, значитъ, долженъ жить, значитъ, имѣетъ право на существованіе; это естественное право должно имѣть и естественныя условія для своего поддержанія, т.-е. средства жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетвореніе ея должно быть одинаково общее, для всѣхъ, безъ подраздѣленій, что вотъ, дескать, такіе-то имѣютъ право, а такіе-то нѣтъ. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случаѣ значитъ отрицать самое право на жизнь. А если такъ, то, въ предѣлахъ естественныхъ условій, рѣшительно всякій человѣкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполнѣ свою личность, и, принимаясь за соотвѣтственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тѣмъ не менѣе — никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямыя человѣческія права и требованія. Кажется, ясно. А между тѣмъ — отчего же этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ «прячется, скрывается, трепещетъ», безпрерывно стыдится за свою жизнь, «да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову», и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ человѣкъ маленькій, человѣкъ ничтожный? Отчего Горшковъ этотъ — «жалкій, хилый такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой»? Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что «онъ чего-то какъ-будто стыдится, что ему какъ-будто самого себя совѣстно», и въ разговорахъ съ сыномъ — «приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ»? А отчего Голядкинъ въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ «быть въ своемъ правѣ» и «итти своей дорогой» — съеживается до послѣднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головѣ своей идеи, что подъ его право всѣ подкапываются, мѣшается въ разсудкѣ? Отчего также Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности, и, наконецъ, отъ этой мысли захварываетъ и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Шумковъ считаетъ себя извергомъ человѣчества и мѣшается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись нѣжностями съ невѣстою, не успѣлъ переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка такъ уничтожается предъ Катей? Отчего Росталевъ отрекается отъ своей воли предъ

Ѳомою Ѳомичомъ и считаетъ себя рѣшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любитъ? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ, и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится предъ вертопрахомъ Алешею? Отчего старикъ Ихменевъ, перенося всевозможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобъ не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ собирать милостыню, чтобы на собранныя деньги купить ему разбитую ею чашку? Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно-странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между тѣмъ, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тѣмъ, что оказывается на дѣлѣ?

Мы уже сказали, что прямого отвѣта на такіе запросы не даетъ ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго въ отдѣльности. Чтобы найти отвѣтъ, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.

Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серіозно начинаютъ увѣрять себя, что они — нуль, ничего, и что если его превосходительство заговоритъ съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодѣтельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, — попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ не удается выдержать характеръ, и оттого они вѣчно недовольны собою, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скорѣе къ первому типу: это люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человѣческаго права, но замѣнившіе его какою-нибудь узенькою фикціею условнаго права, утвердившіеся въ этой фикціи и бережно ее хранящіе. При всякомъ случаѣ, гдѣ подобные господа воображаютъ, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримѣръ, что «я титулярный совѣтникъ», «мнѣ самъ Василій Петровичъ руку подаетъ», «меня штабъ-офицерша Похлестова знаетъ», и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всѣхъ болѣе несчастные своею обидчивостью.

Кто наблюдалъ въ нашемъ обществѣ надъ тѣмъ, что называется «мелкимъ людомъ», тотъ знаетъ, что кроткіе и покорившіеся люди тоже иногда бываютъ обидчивыми и щепетильными. Это за-

виситъ отъ отношеній: предъ начальникомъ отдѣленія помощникъ столоначальника — пасъ, смирился совершенно; но съ другими помощниками онъ считаетъ себя «въ своемъ правѣ» и за это право держится ревниво и угрюмо. Послѣдняя сторона развита Достоевскимъ въ «Двойникѣ», въ которомъ много хорошихъ мѣстъ погибло, къ сожалѣнію, въ общей растянутости и неудачной фантастичности разсказа. Но мы, покамѣстъ, обратимся теперь къ анализу первой черты, — совершеннаго смиренія и тупого успокоенія на своемъ положеніи, каково оно вышло.

Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ: человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ, — ну, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнѣе: знаетъ, что слѣпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ — описывать то, какъ слѣпой не видитъ?...

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла, въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда незаглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго, насильственнаго давленія, и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ, находимъ мы въ «Бѣдныхъ людяхъ» Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ-себѣ, дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мнѣ» — объясняется онъ съ Варенькой, «про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ чего же на старости-то лѣтъ привередничать? *Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! Не графскаго рода!*... Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу. — Я не нѣженка!» И точно, онъ не нѣженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ, и утѣшается тѣмъ, что онъ «ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ»... «Сытъ я», говоритъ, — а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ: можно представить, какая тутъ сытость! Обутъ и одѣтъ онъ — тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ: «я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно». Относительно своего умственнаго состоянія онъ тоже сознаетъ, что онъ человѣкъ неученый, на мѣдныя деньги учился, и слога не имѣетъ, и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ. Съ общественнымъ своимъ положе-

ніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резонныхъ: «Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены Самимъ Богомъ». Утвердившись въ такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексѣичъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и высшею, единственною мѣрою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣніе начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: «Состою я уже около 30 лѣтъ на службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя, *собственнымъ сознаніемъ моимъ*, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. *Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное-то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны». Далѣе Макаръ Алексѣичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: я, говоритъ, «въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобъ этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія,— въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; *даже крестикъ выходилъ*»... Какъ видите, *крестикъ* составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій, послѣдній аргументъ его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, напримѣръ, выпилъ неосторожно, дебошу надѣлалъ, по его словамъ, и послѣ того пишетъ къ Варенькѣ, утѣшая ее: «вы, говоритъ, обо мнѣ не безпокойтесь; спѣшу вамъ объявить, что амбиція моя мнѣ всего дороже, и увѣдомляю васъ, что *изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе попрежнему*». Вообще — Макаръ Алексѣичъ до того дошелъ, что даже сапоги и шинель носитъ, не для себя а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ тоже больше для другихъ, и все для другихъ, изъ амбиціи. «По мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить — я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего: *человѣкъ-то я простой, маленькій*». Но «*сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени; въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало*». То-есть какъ же пропало? А такъ, что «вдругъ его превосходительство замѣтятъ и невзначай какъ нибудь отнесутся на мой счетъ — бѣда!...» Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала,

и генералъ далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта, дѣйствительно, превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, памятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексѣича: «Клянусь вамъ», пишетъ онъ Варенькѣ, «что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ *они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще навѣки сдѣлали*, и я твердо увѣренъ, что я, какъ ни грѣшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!» Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите — даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но согласитесь, что, вѣдь, вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбудилось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Забитый, тощій песъ Улисса, съ воемъ и ласкою встрѣчающій своего господина, неизмѣримо ближе и равнѣе съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодѣтельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существъ, къ которому равно принадлежитъ и Макаръ Алексѣичъ и его благодѣтель, — вотъ что видите вы въ изліяніяхъ его благодарности. А онъ, между тѣмъ, счастливъ, самъ счастливъ собственнымъ униженіемъ, и въ умиленіи молитъ Бога простить ему «ропотъ и *либеральныя мысли*», которыя онъ позволялъ себѣ подъ часъ въ прежнее, грустное время...»

Вотъ образецъ того, что нужно въ общемъ механизмѣ для успѣшнаго теченія дѣлъ. Кажется, ничего не можетъ быть лучше. Общество, достигнувшее того, что въ немъ вырабатываются подобные типы, можетъ, кажется, назваться образцовымъ, совершеннымъ, безукоризненнымъ въ смыслѣ государственной теоріи. Здѣсь не только установлена и поддерживается извѣстнаго рода іерархія... Это бы еще не шутка: мало ли что можно установить и поддержать силою, — и кардинальское управленіе держится до сихъ поръ въ Римѣ... Но здѣсь не то, здѣсь установившаяся іерархія не имѣетъ даже надобности быть поддерживаема: такъ ясна для всѣхъ ея польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобреніе каждаго даже наименѣе ею ублаготвореннаго, до такой степени всѣ при ней сознаютъ себя счастливыми и довольными... Нельзя всѣмъ быть богатыми, всѣмъ талантливыми, всѣмъ красивыми; нельзя всѣмъ начальствовать, всѣмъ быть на первыхъ мѣстахъ; но истинный идеалъ государства состоитъ въ томъ, чтобы всякій былъ доволенъ

на своемъ мѣстѣ, всякій сознавалъ законность и глубокую справедливость своего положенія и съ такою же охотою повиновался, съ какою другіе повелѣваютъ, такъ же былъ спокоенъ и счастливъ при своихъ десяти цѣлковыхъ жалованья, какъ другіе при двадцати тысячахъ дохода. Вотъ тогда можетъ осуществиться идеалъ золотого вѣка; тогда, если даже кто и непріятности отъ другихъ потерпитъ, — и это не разстроитъ ни общаго хода дѣлъ ни его собственнаго счастія, потому что и въ непріятностяхъ этихъ онъ будетъ видѣть дѣло законное и полезное, и будетъ примиряться съ ними какъ съ годовыми перемѣнами. Всякій членъ идеальной іерархіи будетъ разсуждать, какъ разсуждаетъ, напримѣръ, Макаръ Алексѣичъ о начальническихъ распеканціяхъ, по поводу насмѣшника, дерзнувшаго иронически о нихъ отозваться: «отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь?... Ну, да, положимъ, и такъ, напримѣръ, для тона распечь, — ну, и для тона можно; нужно пріучать, нужно острастку давать... А такъ какъ разные чины бываютъ, и каждый чинъ требуетъ совершенно соотвѣтственной по чину распеканціи, то естественно, что послѣ этого и тонъ распеканціи выходитъ разночинный; — это въ порядкѣ вещей! *Да вѣдь на томъ и свѣтъ стоитъ, что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другого распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ бы не стоялъ, и порядка бы не было*».

Вообразите себѣ идеальное государство, которое бы въ основаніе своей организаціи положило подобную философію и въ которомъ *всѣ* члены проникли́сь бы ею глубоко и искренно, всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ своимъ: что за счастливое было бы государство! Какое вѣчно-нерушимое спокойствіе, какая непрерывная тишина, какой миръ и благодушіе царили бы въ немъ! Никто бы не домогался того, чего не дано ему, никто не рвался бы съ мѣста, на которомъ поставленъ, никто не разсуждалъ бы о томъ, что выше его званія. Отъ бѣдняка мысль сдѣлаться богатымъ была бы такъ же далека, какъ желаніе пролѣзть сквозь игольныя уши; столоначальникъ не думалъ бы критиковать распоряженій своего секретаря, какъ не критикуетъ онъ наступленія ночи послѣ дня, и наоборотъ; даже какой-нибудь юноша изъ мелкой сошки, посаженный за переписку бумагъ, точно такъ не вздумалъ бы тогда мечтать о подвигахъ, о славѣ и т. п., какъ теперь не приходитъ ему въ голову мечтать, напримѣръ, о превращеніи своемъ въ крокодила, обитающаго въ Египтѣ, или въ допотопнаго мастодонта, открытаго въ сѣверныхъ льдахъ. Всюду разлито было бы благодатное спокойствіе, безъ всякихъ порывовъ и треволненій. Всѣ были бы на своихъ мѣстахъ. Одни ѣздили бы въ коляскахъ, жили въ великолѣпныхъ палатахъ, занимались распеканіемъ другихъ; другіе ходили бы пѣшкомъ по грязи въ дырявыхъ сапогахъ, жили въ сырыхъ углахъ и получали распеканціи, — но тѣ и другіе одинаково были бы спокойны и довольны своей участью. Тѣ и другіе существовали бы

рядомъ, другъ подлѣ друга, такъ же безмятежно, какъ существуютъ дубъ и кропива, хотя и отнесенные Линнеемъ къ одному разряду по его системѣ, но нимало не помышляющіе о соблазнительномъ равенствѣ другъ съ другомъ. Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительныхъ стремленій, всякаго рода опасеній и подкоповъ; люди жили бы какъ святые въ царствѣ небесномъ: много будетъ въ раю обителей, много степеней блаженства, но низшія степени будутъ братски сочувствовать высшимъ и сами наслаждаться отблескомъ того высшаго блаженства, котораго удостоены избранные. Такъ было бы и на землѣ въ томъ идеальномъ государствѣ, въ которомъ бы всѣ члены прониклись тѣми чистыми понятіями объ общественной іерархіи, какія сейчасъ были приведены... И что всего важнѣе — подобное устройство могло бы длиться вѣчно, потому что оно не заключаетъ въ себѣ никакихъ элементовъ разрушенія, — ничего, что бы обѣщало хоть въ отдаленномъ будущемъ нарушить общее спокойствіе и блаженство. Идеальное общество, основанное на здравыхъ понятіяхъ объ общественной іерархіи, могло бы существовать цѣлые вѣка спокойно, мирно и счастливо, и развѣ какой-нибудь геологическій переворотъ могъ бы разрушить его идеальныя совершенства...

Но, къ величайшему сожалѣнію друга человѣчества, не отыскивается философскій камень, не бываетъ полнаго совершенства на землѣ, нѣтъ нигдѣ такого идеальнаго общества, какое мы предполагали... Говорятъ, въ давнія времена, которыхъ мы съ вами, читатель, уже и не припомнимъ, было нѣчто подобное устроено въ Индіи, да и то при помощи самого Брамы. Парій отъ брамина былъ такъ же далекъ, и пропасть между ними была почти такъ же непереходима, говорятъ, какъ пропасть между Макаромъ Алексѣичемъ и его превосходительствомъ. А на томъ свѣтѣ, говорятъ, изъ семи круговъ, въ которыхъ давались смертнымъ разные виды блаженства, самымъ высшимъ считался тотъ, гдѣ человѣкъ терялъ совершенно свою личность, волю, сознаніе, погружался въ лоно Брамы и рѣшительно, безъ слѣда, уничтожался въ немъ. Это была высшая точка верховнаго блаженства, какую только могло вообразить себѣ индійское ученіе. Кажется, — чего бы лучше: общество съ подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы постоянно расширять кругъ своихъ счастливыхъ членовъ... Но — таково несовершенство человѣческой природы! — и индійское ученіе и устройство рушилось, и если теперь остается еще, то лишь въ жалкихъ подражаніяхъ и передѣлкахъ, далекихъ отъ совершенствъ первоначальнаго образца. Нѣчто подобное устроили, было, отцы іезуиты въ Парагвайской республикѣ; но и тамъ успѣхъ былъ далеко не полонъ. О другихъ слабыхъ попыткахъ достигнуть идеалъ, дѣланныхъ, напримѣръ, въ Неаполѣ, въ Австріи и другихъ странахъ, не стоитъ и говорить. Теорія принималась хорошо, проводилась въ разныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ школахъ, проповѣдывалась въ церквахъ монахами

разныхъ орденовъ, проникала даже въ домашнее воспитаніе, захватывая такимъ образомъ человѣка въ самые нѣжные, самые впечатлительные его годы: но — все не впрокъ! Большинство принимало теорію, не имѣло ничего сказать противъ нея; но не могло или не умѣло и успокоиться на ней. Какое-то исканіе не переставало тревожить людей, и вотъ какая-нибудь пустая случайность, ничтожное столкновеніе, — и все взволновано, и идеалъ непрерывной тишины взлетѣлъ прахомъ на воздухъ... Моралисты утверждали, что все это отъ растлѣнности человѣческаго рода и отъ помраченія ума его; другіе, напротивъ, кричали, что теорія будто бы идеальной организаціи, состоящая въ обезличеніи человѣка, противна естественнымъ требованіямъ человѣческой природы, и потому должна быть отвергнута, какъ негодная, и уступить мѣсто другой, признающей всѣ права личности и принципъ безконечнаго развитія, безконечнаго шествія впередъ, то-есть прогресса, въ противоположность застою.

Мы, то-есть русскіе и, преимущественно, литераторы, обыкновенно, держали себя въ сторонѣ отъ всѣхъ этихъ споровъ, происходившихъ на западѣ Европы. Мы въ это время занимались своими вопросами: о торговлѣ древнѣйшей Руси, о талантѣ г. Щербины, объ Іаковѣ-мнихѣ, о зооморфическихъ божествахъ у славянъ; восхищались пѣніемъ Маріо и письмами Ивана Александровича Чернокнижникова, жалѣли о почти единовременной кончинѣ Жуковскаго, Гоголя и Загоскина, и удивлялись ковамъ англичанъ, готовившимся противъ насъ... Словомъ — мы, какъ и всегда, дѣлали свое дѣло, и въ то, что насъ не касается, не мѣшались: «помаленечку, втихомолочку жили, никого не трогая, — старались, чтобъ воды не замутить». Тѣмъ не менѣе, во время уже очень недавнее, когда кто-то крикнулъ: «прогрессъ!» да и спрятался, — и пошли съ тѣхъ поръ хвалить прогрессъ и бранить застой на чемъ свѣтъ стоитъ. Какъ и почему случилось это — объясните! Говорятъ, потому, что прогрессъ необходимъ человѣку, что скорѣе зарѣзать его можно, чѣмъ заставить не желать прогресса... Не знаю; можетъ, оно и такъ. Посмотримъ, не отвѣтятъ ли намъ что-нибудь взятыя нами лица, воспроизведенныя художническою силою. Извѣстно, что, вѣдь, художникъ всегда безпристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и рисуетъ ихъ, какъ умѣетъ, — вовсе не думая, кому это послужитъ, для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно замѣчательный художникъ важенъ въ общественномъ смыслѣ: въ жизни-то еще когда наберешь фактовъ, да и тѣ будутъ блѣдны, отрывочны, побужденія не ясны, причины смѣшаны; а тутъ, пожалуй, и одно или два явленія представлены, да зато такъ, что послѣ нихъ уже никакого сомнѣнія не можетъ быть относительно цѣлаго разряда подобныхъ явленій.

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ Достоевскомъ, а въ первомъ его произведеніи сказалась даже въ значительной степени. Отъ него не ускольз-

нула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между офиціальнымъ настроеніемъ, между внѣшностью, форменностью человѣка, и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуты особеннаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что, вѣдь, ни одного человѣка нѣтъ, кто бы въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, обѣщающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексѣичъ: вы, можетъ-быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что «всякому свое мѣсто назначено, а мѣста по способностямъ распредѣлены» и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резонируетъ въ спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть что-нибудь задѣнетъ его за живое, — онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ ему въ голову сами собою «либеральныя мысли». Онъ тогда спрашиваетъ: «Отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?... Знаю, знаю маточка (спѣшитъ она прибавить, обращаясь къ Варенькѣ), — что не хорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ, — зачѣмъ одному еще въ чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ Воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И, вѣдь, бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова спѣшитъ оговориться боязливый Макаръ Алексѣичъ), оно грѣшно этакъ думать, *да тутъ поневолѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ*». Расчувствовавшись, Макаръ Алексѣичъ уже не ограничивается и сомнѣніями, а даже до негодованія доходитъ, и задѣваетъ людей почище себя: «что фракъ-то на немъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ, — такъ ужъ ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно такъ ли, голубчики?*» Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго чиновничка; видно, не совсѣмъ же угомонилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что «если бы мы другъ другу тону не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ, и порядку бы не было». Нѣтъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные, и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: «а еще люди богатые не любятъ, — замѣчаетъ онъ, — чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались, — дескать, они безпокоятъ, они де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойливая; спать, что ли, мѣшаютъ ихъ стоны голодные?...*» И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такія мысли, вызываетъ наружу такіе инстинкты, которыхъ онъ самъ ис-

пугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собою, неодолимо являются во всей своей силѣ. «Теперь на меня *такая тоска нашла*, — пишетъ разогорченный Дѣвушкинъ, — *что я самъ моимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать*, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ*. И подлинно, родная моя, *часто самого себя, безъ всякой причины, уничтожаешь*, въ грошь не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ-быть, отъ того происходитъ, что я самъ *запуганъ и загнанъ*, какъ хоть бы и тотъ бѣдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ». Вотъ этакія-то мысли, западая въ человѣка и развиваясь въ немъ съ чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ, — и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ общественномъ механизмѣ, который такъ отрадно рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобъ авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу. Можно замѣтить, пожалуй, что Макаръ Алексѣичъ, для своего образованія и положенія, является уже слишкомъ мѣткимъ оцѣнщикомъ противорѣчій офиціальныхъ основъ жизни съ ея дѣйствительными требованіями; но это потому, что, сочиняя въ теченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькѣ, Макаръ Алексѣичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны — почему же и автору немножко не прійти къ нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежатъ Макару Алексѣичу, — это скажетъ всякій, хоть не долгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексѣичъ формулировалъ свои тяжкія сомнѣнія въ письмахъ къ Варенькѣ; другіе не формулируютъ ихъ иначе, какъ своимъ поведеніемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результатами. Если вы, напримѣръ, имѣли бы терпѣніе хоть перелистывать безконечнаго Голядкина, — вы увидѣли бы, что и онъ мучится и сходитъ съ ума совершенно по тѣмъ же общимъ причинамъ, — вслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ офиціальными требованіями его положенія. Голядкинъ не такъ бѣденъ и задавленъ, какъ Дѣвушкинъ; онъ можетъ себѣ позволять даже нѣкоторый комфортъ; даже въ своемъ кругу видитъ людей, которыхъ *офиціально* имѣетъ право считать ниже себя, такъ какъ онъ состоитъ помощникомъ столоначальника въ департаментѣ. Вслѣдствіе того онъ пріобрѣлъ нѣкоторое условное уваженіе къ себѣ и какое-то смутное понятіе о «своемъ правѣ». Но тутъ онъ и спутался. Случилось обстоятельство, при которомъ нужно было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсѣмъ другое: ему понравилась дѣвушка. Какъ искатель незавидный, онъ былъ отстраненъ, и вотъ тутъ-то перевертываются вверхъ дномъ всѣ его понятія. Макаръ Алексѣичъ нашелъ возможность удовлетворить добротѣ своего сердца, быть полезнымъ для любимаго существа, и потому въ немъ все

больше и яснѣе развивается гуманное сознаніе, понятіе объ истинномъ человѣческомъ достоинствѣ. Яковъ Петровичъ Голядкинъ, напротивъ, получилъ нѣсколько афронтовъ отъ родныхъ своей возлюбленной и отъ своего соперника, и потому, оскорбленный въ своемъ человѣческомъ чувствѣ, но, не умѣя хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. «Это моя частная жизнь, это не касается моихъ офиціальныхъ отношеній», находится онъ сказать, когда ему отказываютъ отъ званаго обѣда въ домѣ родителя его возлюбленной. И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются; онъ уже не знаетъ, что же онъ — вправѣ или не вправѣ... Онъ чувствуетъ только одно — что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми — врагами и недругами, — все не удается, характера нехватаетъ... И приходитъ онъ къ idée fixe, къ пункту своего помѣшательства: что жить въ свѣтѣ можно только интригами; что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ... И вотъ у него является на умъ рѣшимость — тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но гдѣ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... «Натура-то твоя такова: душа ты правдивая, — разсуждаетъ онъ самъ съ собою. — Нѣтъ, ужъ лучше мы съ тобою потерпимъ, Яковъ Петровичъ, — подождемъ и потерпимъ». И къ этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характеръ, — мысль, что все еще «можетъ объясниться и устроиться къ лучшему». Оттого-то онъ никакъ не можетъ ни на что рѣшиться, даже высказаться порядкомъ не можетъ, и, несмотря на «присутствіе страшной энергіи въ себѣ», вѣчно мнется, труситъ и ворочается съ половины дороги. Все, что въ немъ было живого, здраваго и сознательнаго, какъ-то не выливалось въ обычную форму, въ которой онъ доселѣ сидѣлъ такъ хорошо, и, едва поднявшись, осѣдало опять на дно его души, но осѣдало какъ-то безпорядочно, болѣзненно, совершенно не подъ стать къ стройности чиновнаго механизма, въ которомъ онъ былъ вставленъ. Характеризуя его противорѣчія, авторъ, между прочимъ, говоритъ: «Позволить обидѣть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тѣмъ болѣе — дозволить затереть себя, какъ ветошку, и, наконецъ, дозволить это совсѣмъ развращенному человѣку... Не споримъ, впрочемъ, не споримъ: можетъ-быть, если бъ кто захотѣлъ, если бъ ужъ кому, напримѣръ, вотъ такъ непремѣнно захотѣлось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, — обратилъ бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ въ иной разъ это чувствовалъ), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ, — такъ, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы съ амбиціей, была бы съ одушевленіемъ и чувствами, *хотя бы и съ безотвѣтной амбиціей и съ безотвѣтными чувствами и далеко въ грязныхъ складкахъ этой ветошки скрытыми, но все-таки съ чувствами*». Мнѣ кажется, трудно лучше характеризовать положеніе забитыхъ люде* —

подобныхъ Голядкину, людей, дѣйствительно какъ-будто превращенныхъ въ тряпицу и только въ грязныхъ складкахъ хранящихъ остатки чего-то человѣческаго, неслышнаго, безотвѣтнаго, но все какъ-то по временамъ дающаго себя чувствовать. Вотъ оно дало себя чувствовать и Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкія сомнѣнія и вопросы на бѣдный разсудокъ и фантазію Якова Петровича. «Такъ это не такъ? Тутъ не каждый въ своемъ правѣ? Тутъ берутъ интригами? Давай же, когда такъ, и я буду интриговать... Да гдѣ мнѣ интриговать? Натура у меня глупая — правдивая, — никогда окольными путями... Но другіе же всѣ окольными путями ходятъ, иначе человѣка затрутъ, а я затереть себя не могу позволить... А что въ самомъ дѣлѣ, если бъ я...» И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ меланхоліи и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвояется, самого себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходитъ въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатокъ гдѣ-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуютъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаетъ ему «Двойника». Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, въ разъясненіи ея не хотѣлъ забираться далѣе того, что «герой романа — сумасшедшій». Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ — тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собою сложилось у меня въ головѣ при перелистываньи этой повѣсти (всю ее сплошь я, признаюсь, одолѣть не могъ). Авторъ, кажется, самъ не чуждъ былъ такого объясненія: такъ, по крайней мѣрѣ, представляется по нѣкоторымъ мѣстамъ повѣсти. Напримѣръ первое признаніе Голядкинымъ своего двойника описывается авторомъ такъ: это былъ «не тотъ Голядкинъ, который служилъ въ качествѣ помощника своего столоначальника; *не тотъ, который любилъ стушеваться и зарыться въ толпѣ;* не тотъ, наконецъ, *чья походка ясно выговариваетъ: «не троньте меня, и я васъ трогать не буду», или: «не троньте меня, — вѣдь, я васъ не затрогиваю»,* — нѣтъ, это былъ другой господинъ Голядкинъ, *совершенно другой,* но вмѣстѣ съ тѣмъ и *совершенно похожій на перваго».* И далѣе безпрестанно Голядкинъ-младшій ведетъ себя съ такою ловкостью и безстыдствомъ, какія только въ мечтахъ и возможны: онъ ко всѣмъ подбивается, предъ всѣми семенитъ, бѣгаетъ съ портфелемъ его превосходительства, изъ чего Голядкинъ-старшій заключаетъ, что онъ уже «по особому»... Голядкинъ-младшій всегда умѣетъ остаться правымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвернуться и подольститься, когда нужно; онъ способенъ даже заставить другого заплатить за

съѣденные имъ растегаи; и при всемъ томъ онъ со всѣми хорошъ, онъ смѣло разсуждаетъ тамъ, гдѣ Голядкинъ-старшій умиленно теряется; онъ сидитъ въ гостиной тамъ, куда Голядкинъ-старшій и въ переднюю показать носъ боится... Нечего и говорить, что Голядкинъ все это самого же себя рисуетъ въ видѣ двойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастическіе подвиги, онъ имѣетъ мысль, что вотъ поступай онъ только такимъ образомъ (какъ *нѣкоторые люди* и поступаютъ) — и по службѣ онъ успѣвалъ бы, и насмѣшкамъ товарищей не подвергался, и не былъ бы затертъ какимъ нибудь выскочкой, раньше его получившимъ коллежскаго, и главное — не былъ бы такъ безбожно обиженъ драгоцѣнною Кларою Олсуфьевною и ея родными. Но вмѣсто того, чтобы любоваться на подобные подвиги, Голядкинъ возмущается противъ нихъ всею долею того забитаго, загнаннаго сознанія, какая ему осталась послѣ ровнаго и тихаго гнета жизни, столько лѣтъ непрерывно покоившагося на немъ. Ему противны даже въ мечтахъ тѣ поступки, тѣ средства, которыми выбиваются «нѣкоторые люди»; онъ съ постояннымъ страхомъ отбрасываетъ свои же мечты на другое лицо и всячески позоритъ и ненавидитъ его. Въ минуты же просвѣтлѣнія, когда онъ опять начинаетъ яснѣе сознавать свою собственную личность, онъ вспоминаетъ о своихъ поползновеніяхъ на хитрость, ему мерещится строгій голосъ старичка Антона Антоныча: «а что, и вы тоже собирались хитрить?» — и блѣднѣетъ, теряется, — и снова представляется ему образъ его двойника, который бы изъ всего этого вывернулся, посеменивъ ножками, и еще сильнѣе растетъ раздраженіе Голядкина противъ такой подлой, зловредной личности... Порою къ нему возвращаются прежнія мысли, что, можетъ-быть, все устроится къ лучшему, — и вотъ ему разъ представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плѣненная его качествами, присылаетъ ему письмо, въ которомъ приказываетъ увезти ее отъ злостныхъ и неблагонамѣренныхъ интригановъ. И Голядкинъ точно отправляется подъ окна Клары Олсуфьевны — ждать ее, а отсюда уже отвозятъ его въ сумасшедшій домъ...

Ну, посудите же — зачѣмъ было сходить съ ума человѣку? Оставайся бы онъ только вѣренъ безмятежной теоріи, что онъ въ своемъ правѣ, и всѣ въ своемъ правѣ, что если новый коллежскій раньше его произведенъ, — такъ этому такъ и слѣдуетъ быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, такъ опять это значитъ, что ему къ ней и соваться не слѣдовало, — словомъ, продолжай онъ итти своей дорогой, никого не затрогивая, и помни, что все на свѣтѣ законнѣйшимъ образомъ распредѣляется по способностямъ, а способности самою натурою даны, и т. д. — вотъ и продолжалъ бы человѣкъ жить въ прежнемъ довольствѣ и спокойствіи. Такъ, вѣдь, нѣтъ же: встало что-то со дна души и выразилось мрачнѣйшимъ протестомъ, къ какому только способенъ былъ ненаходчивый господинъ Голядкинъ, — сумасшествіемъ... Не скажу, чтобъ Достоевскій

особенно искусно развилъ идею этого сумасшествія, но надо признаться, что тема его — раздвоеніе слабаго, безхарактернаго и необразованнаго человѣка между робкою прямотою дѣйствій и платоническимъ стремленіемъ къ интригѣ, раздвоеніе, подъ тяжестью котораго сокрушается, наконецъ, разсудокъ бѣдняка, — тема эта для хорошаго выполненія требуетъ таланта очень сильнаго. При хорошей обработкѣ, изъ Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а типъ, многія черты котораго нашлись бы во многихъ изъ насъ. Припомните ваши встрѣчи съ чиновнымъ людомъ; припомните тѣхъ, которые называютъ себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правдѣ жить. Вспомните, какъ они любятъ говорить о своей неискательности, и какъ иногда вдругъ, круто измѣняется направленіе разговора при упоминаніи о комъ-нибудь изъ ихъ сослуживцевъ, начальниковъ или знакомыхъ, успѣвающемъ больше другихъ. Тутъ сейчасъ пойдетъ: и «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожитъ», и «правдой вѣкъ не проживешь», и жалобы на собственную неспособность къ подлостямъ, и ироническое, какъ-будто уничижительное перечисленіе собственныхъ заслугъ: «что, дескать, мы — что по шести часовъ спины не разгибаемъ, да дѣла-то всѣ нами держатся — эка важность... А вотъ — пойти къ его превосходительству на балъ, да польку тамъ отхватать, да по утрамъ вмѣсто дѣла-то по магазинамъ разъѣзжать — его супруги комиссіи исполнять — вотъ это дѣло, вотъ съ этимъ и въ честь попадешь... А мы — что?. Клячи водовозныя, волы подъяремные — только въ черную работу и годимся...» и т. д. А затѣмъ разговоръ непремѣнно принимаетъ такой оборотъ: что вѣдь «и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить...» и въ доказательство разскажутъ вамъ нѣсколько случаевъ, гдѣ точно человѣку удобно было сподличать, а онъ не захотѣлъ... Во всѣхъ подобныхъ господахъ рѣшительно сидитъ тенденція Голядкина къ сумасшедшему дому; дайте имъ только побольше мечтательности и меланхоліи — и переходъ будетъ недалекъ...

Господинъ Голядкинъ, впрочемъ, человѣкъ уже совсѣмъ сумасшедшій; оставимъ его. А вотъ еще есть лицо у Достоевскаго, тоже сумасшедшій, но скорѣе только мономанъ — Прохарчинъ. Человѣкъ этотъ тоже сообразилъ, должно-быть, еще при началѣ своего служебнаго поприща, что «одному на семъ свѣтѣ назначено въ каретахъ ѣздить, другому въ худыхъ сапогахъ по грязи шлепать», и, причисливъ себя къ послѣднему разряду, нанялъ себѣ уголъ и живетъ, не думая пытать судьбы своей. Но прочнаго спокойствія нѣтъ у него въ душѣ; характеръ у него боязливый, какъ у всѣхъ забитыхъ, и хоть онъ твердо вѣруетъ въ нерушимость своей философіи, но на свѣтѣ видитъ и случайности разнаго рода: болѣзни, пожары, внезапныя увольненія отъ службы по желанію начальства... Бѣдняка начинаетъ преслѣдовать мысль о непрочности, о *необезпеченности* его положенія. Мысль, конечно, очень естественная. Натуреленъ и результатъ ея — рѣшеніе откладывать и копить деньги, на всякій слу-

чай. Но исполненіе уже дико, хотя тоже понятно въ Прохарчинѣ: онъ прячетъ звонкую монету себѣ въ тюфякъ... Да и куда жъ ему дѣвать въ самомъ дѣлѣ? Въ сундукъ положить — утащатъ; поручить кому-нибудь — никому довѣриться нельзя; въ ломбардъ положить — помилуйте, это значитъ прямо объявить себя богачомъ, Крезомъ какимъ-то. «У него деньги въ ломбардѣ лежатъ» — знаете ли вы, какъ звучитъ эта фраза въ кругу мелкихъ чиновниковъ, а тѣмъ болѣе обитателей угловъ!... Вотъ Прохарчинъ и прячетъ деньги въ тюфякъ, и 10 лѣтъ прячетъ, и 15, и 20, можетъ-быть, и больше, и даже самъ, кажется, высчитать хорошенько не можетъ, сколько у него тамъ спрятано; а потревожить тюфякъ — боится любопытныхъ глазъ... Живетъ онъ довольно спокойно, т.-е. предъ всякимъ сторонится, всего робѣетъ, и радъ, что его не трогаютъ. Вдругъ вмѣстѣ съ нимъ поселяются новые жильцы — хорошіе люди, но «надсмѣшники». Замѣтивъ боязливость Прохарчина и постоянную мысль его о необезпеченности, — давай они между собою сочинять слухи, — то о сокращеніи штатовъ, то объ экзаменахъ для старыхъ чиновниковъ, то о желаніи его превосходительства уволить всѣхъ чиновниковъ съ непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелыхъ временахъ... И что бы вы думали? Вѣдь, совсѣмъ сбился съ толку бѣдняжка Прохарчинъ: ходитъ самъ не свой, лица на немъ нѣтъ, такъ и ждетъ, что его выгонятъ изъ службы, и тогда что же съ нимъ будетъ? Запасецъ хоть и сдѣланъ, да, вѣдь, уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волненіе Прохарчина выразилось, какъ водится, между прочимъ, тѣмъ, что онъ, встрѣтясь съ какимъ-то закоснѣлымъ пьянчужкой, хватилъ черезъ край и привезенъ домой въ безчувствіи и больной. Едва очнувшись, онъ началъ бредить и тосковать о томъ, что вотъ живешь,-живешь, да и съ сумочкой; нынче нуженъ, завтра нуженъ, а потомъ и не нуженъ, и ступай по міру... Его начинаютъ убѣждать, что ему бояться нечего: человѣкъ онъ хорошій, смирный и проч. Онъ отвѣчаетъ: «да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь, лежишь, да и того...» — Чего? — «Анъ и вольнодумецъ»... Всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе при одной мысли, что Прохарчинъ можетъ быть вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: «стой, я не того... ты пойми только, баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебѣ, и пошелъ вольнодумецъ!...» Словомъ сказать, господинъ Прохарчинъ сдѣлался истиннымъ вольнодумцемъ: не только въ прочность мѣста, но даже въ прочность собственнаго смиренія пересталъ вѣрить. Точно будто вызвать на бой кого-то хочетъ: «да что, дескать, вѣчно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Вѣдь я и сгрублю, пожалуй, — я и сгрубить могу... Только что тогда будетъ?...» Но разгулялся этакъ господинъ Прохарчинъ предъ смертью: въ ту же ночь, не осиливъ волненія, онъ умеръ, возбудивъ общее сожалѣніе въ жильцахъ. А по смерти его нашли въ тюфякѣ, въ разныхъ сверточкахъ, серебряной монеты на 2497 рублей

проникнутая сознаніемъ своего безсилія и величіемъ начальнической милости, — съ трепетомъ возится за его порученіемъ, и хоть не сходитъ съ ума, но сколько выдерживаетъ опасеній, сомнѣній, сколько тяжелыхъ часовъ переживетъ, ежели что-нибудь не сдѣлается, или сдѣлается не совсѣмъ такъ, какъ поручено... И все это, вѣдь, не изъ-за дѣла (до котораго Васѣ и всякому другому подобному ни малѣйшей нужды нѣтъ), а именно изъ-за того, какъ взглянутъ, что скажутъ, — изъ-за того, что отъ этого взгляда жизнь Васи зависитъ, въ этомъ словѣ вся его участь можетъ заключаться.

Говорятъ, отрадно человѣку имѣть за собою кого-нибудь, кто о немъ заботится, за него думаетъ и рѣшаетъ, всю его жизнь, всѣ его поступки и даже мысли устраиваетъ. Говорятъ, это такъ согласно съ естественной инерціей человѣка, съ его потребностью отдаваться кому-нибудь беззавѣтно, поставить для души какой-нибудь образецъ и владыку, въ волѣ котораго можно бы почивать спокойно. Все это очень можетъ быть справедливо въ извѣстной степени и можетъ оправдываться даже исторіею. Но едва ли это мнѣніе можетъ найти себѣ оправданіе въ тенденціяхъ современныхъ обществъ. Оттого ли, что общества новыхъ временъ вышли изъ состоянія младенчества, въ которомъ естественное чувство безсилія необходимо заставляетъ искать чужого покровительства; оттого ли, что прежніе, извѣстные намъ изъ исторіи покровители и опекуны обществъ часто такъ плохо оправдывали надежды людей, довѣрявшихъ имъ свою участь, — но только теперь общественныя тенденціи повсюду принимаютъ болѣе мужественный, самостоятельный характеръ. Высокія добродѣтели слѣпой, безумной преданности, безусловнаго довѣрія къ авторитетамъ, безотчетной вѣры въ чужое слово — становятся все рѣже и рѣже; мертвенное подчиненіе всего своего существа извѣстной формальной программѣ — и въ орденѣ іезуитовъ осталось уже едва ли не на бумагѣ только. «Естественная человѣку инерція» признается уже какимъ-то отрицательнымъ качествомъ, въ родѣ способности воды замерзать; напротивъ на первомъ планѣ стоитъ теперь *иниціатива*, т.-е. способность человѣка самостоятельно, самому по себѣ браться за дѣло, — и о достоинствахъ человѣка судятъ уже по степени присутствія въ немъ иниціативы и по ея направленію. Все какъ-то стремится стать на свои ноги, и жить по милости другихъ считаетъ недостойнымъ себя. Такое измѣненіе тенденціи произошло въ обществахъ новыхъ народовъ Европы съ конца прошлаго столѣтія. Можемъ сказать, что измѣненіе это не миновало отчасти и насъ.

Слѣдовало бы ожидать, что, при всеобщемъ стремленіи къ поддержанію своего человѣческаго достоинства, исчезнутъ и тѣ забитыя личности, которыхъ нѣсколько экземпляровъ взяли мы у Достоевскаго. Однакожъ оглянитесь вокругъ себя — вы видите, что онѣ не исчезли, что герои Достоевскаго — явленіе вовсе не отжившее. Отчего жъ они такъ крѣпятся? Хорошо, что ли, имъ? Нѣтъ, мы видѣли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастья его забитость,

безотвѣтность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что ли, въ нихъ все человѣческое? Нѣтъ, и не замерло. Мы нарочно прослѣдили четыре лица, болѣе или менѣе удачно изображенныхъ авторомъ, и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупѣютъ, забываются въ полуживотномъ снѣ, обезличиваются, стираются, теряютъ, повидимому, и мысль и волю, и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія наважденія мысли и увѣряя себя, что это не ихъ дѣло... Но искра Божья все-таки тлѣется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человѣкъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человѣка, обратить въ грязную ветошку, но все-таки гдѣ-нибудь въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки сохранится и чувство и мысль, — хоть и безотвѣтныя, незамѣтныя, но все же чувство и мысль...

«А что же въ нихъ, если они незамѣтны и безотвѣтны?» скажетъ читатель. «Все равно, значитъ, что ихъ и нѣтъ. И вотъ поэтому-то, вѣроятно, и продолжаютъ до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забитыя до степени грязной ветошки, объ которую обтираютъ ноги».

Мало ли что незамѣтно, читатель, — незамѣтно потому, что не хотятъ замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываетъ такая пора, что все выходитъ наружу. Вѣдь вотъ Достоевскій нашелъ же возможность подсмотрѣть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревянѣлыхъ чертахъ своихъ героевъ. А бываютъ такіе случаи, что «безотвѣтное» чувство, глубоко запрятанное въ человѣкѣ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышатъ его. Дѣло въ томъ, что въ человѣкѣ ничѣмъ не заглушимо чувство справедливости и правомѣрности; онъ можетъ смотрѣть безмолвно на всякія неправды, можетъ терпѣть всякія обиды безъ ропота, не выразить ни однимъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителенъ къ неправдѣ, насколько ее видитъ и понимаетъ, все-таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, и терпѣнію даже самаго убитаго и трусливаго человѣка всегда есть предѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ человѣкѣ необходимо есть чувство любви; всякій имѣетъ кого-нибудь дорогого для себя, — друга, жену, дѣтей, родныхъ, любовницу. На нихъ примѣриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствѣ думаетъ, и со стороны ему разсуждается вольнѣе и яснѣе. Себя, положимъ, Макаръ Алексѣичъ обрекъ на горькую долю и о себѣ не жалѣетъ: я ужъ, говоритъ, таковскій, — пусть мною всѣ помыкаютъ... и не доѣмъ-то я — не бѣда, и обидятъ-то меня — такъ не великъ баринъ. Но вотъ его чувство обращается на чистое, нѣжное существо, которое дѣлается ему всего дороже въ жизни, на Вареньку: онъ уже предается сожалѣнію о ея несчастіяхъ, находитъ ихъ незаслуженными, заглядываетъ въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки: ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, разъѣзжающій

въ каретахъ и перепархивающій изъ одного великолѣпнаго магазина въ другой, словомъ, скрытая боль, накипѣвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предполагать, не зная дѣла; бываетъ это тѣмъ чаще, что, въ большинствѣ случаевъ, человѣкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стѣсненъ и въ матеріальномъ отношеніи, а между тѣмъ принужденъ бываетъ выполнять разныя общественныя условія. Макаръ Алексѣичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидѣвъ его плачевный вицмундиръ, говоритъ, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою департаментскаго сторожа, не давшаго ему щетки почистить шинель, подъ тѣмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно испортить... Въ самомъ дѣлѣ, каково положеніе: поставленъ человѣкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дѣло, быть одѣтымъ какъ они, пить и ѣсть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хоть подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ, — хоть бы какіе-нибудь сапоги, — такъ и тѣхъ нѣтъ; были одни, да и у тѣхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексѣича: «пожалуй, и самъ я скажу, что не нужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ рѣшите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно погубить». И мало ли людей, страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? А еще, если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человѣкъ, до чего онъ уничиженъ, до чего онъ обиженъ жизнью; тутъ-то посылаетъ онъ желчные укоры тому, на чемъ, повидимому, такъ сладостно покоится въ другое время, по изложенной выше философіи Макара Алексѣича. И въ этомъ-то пробужденіи человѣческаго сознанія онъ всего болѣе заслуживаетъ наше сочувствіе, и возможностью подобныхъ сознательныхъ движеній онъ искупаетъ ту противную, апатичную робость и безотвѣтность, съ которою всю жизнь подставляетъ себя чужому произволу и всякой обидѣ.

Но отчего же подобныя вспышки «Божьей искры» такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ, — не могли бы они и быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значитъ, о томъ, отчего образуются въ значительной массѣ такіе характеры, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ.

Добролюбовъ.

„Преступленіе и наказаніе“, какъ трогательная эпопея, въ которой затронуты всѣ вопросы уголовнаго преслѣдованія и изображена картина внутренняго развитія преступленія.

Три вопроса — неравныхъ по объему, но равносильныхъ по значенію — возникаютъ предъ человѣкомъ, который, познакомясь въ теоріи съ уголовнымъ правомъ, впервые касается на практикѣ обширной и темной области дѣйствій, называемыхъ преступленіемъ. Прежде всего является вопросъ *о живомъ содержаніи* преступленія — не какъ отвлеченнаго понятія о нарушеніи нормъ, а какъ конкретнаго, осязательнаго явленія. Теорія даетъ общія положенія, указываетъ руководящія начала, опредѣляетъ составъ каждаго преступленія, но его сокровенное содержаніе не вмѣщается въ ея рамки. Совокупность вліяній, порождающихъ преступленіе, и та внутренняя борьба, которая должна происходить въ человѣкѣ между волею и страстью, между совѣстью и влеченіемъ, прежде чѣмъ онъ рѣшится на роковой шагъ, ускользаютъ отъ теоріи. Она можетъ намѣтить лишь стадіи въ развитіи преступленія, указать станціи на его пути, опредѣлить самый путь, — можетъ сказать: «это приготовленіе», «а это ужъ покушеніе», «а вотъ это ужъ совершеніе», — но она не въ силахъ развернуть предъ нами картину внутренней движущей силы преступленія и того сцѣпленія нравственныхъ частицъ, въ которыхъ эта сила встрѣчаетъ себѣ противодѣйствіе. И вопросъ о внутреннемъ содер[illegible] преступленія, о томъ — какимъ образомъ порочная наклонность, ложная идея, страсть — побѣдила и страхъ наказанія и привычку подчиняться условіямъ общественнаго быта — остается открытымъ предъ юристомъ, въ помощь которому является одна теорія права. Она указываетъ ему на преступленіе, какъ на проявленіе вражды противъ общественнаго порядка, описываетъ подробно свойства и вооруженіе врага и, по большей части, оставляетъ его лицомъ къ лицу съ неизбѣжнымъ жизненнымъ вопросомъ о томъ, какъ дошелъ этотъ врагъ до того, чтобы сдѣлаться таковымъ.

Затѣмъ вырастаетъ вопросъ о *наказаніи* въ томъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ въ *дѣйствительности*, — вопросъ не о той указанной въ кодексѣ *poena*, которая не можетъ быть *sine lege*, а о настоящей карѣ, обусловленной исторіею и бытомъ страны. Теорія даетъ точныя указанія, какъ *должно быть* организовано наказаніе, и рисуетъ цѣлую схему к[illegible]хъ мѣръ и учрежденій, существующихъ въ странѣ, но жи[illegible]поминаетъ отдѣльныя клѣточки этой схемы *своимъ* содержаніемъ, и безъ знакомства съ этимъ содержаніемъ, мыслящій юристъ обойтись не можетъ.

Наконецъ, когда онъ познакомится съ практическимъ осуществленіемъ теоретически изображеннаго наказанія, у него невольно рождается новый вопросъ, — важный по нравственному свойству своему, по свѣту, который бросаетъ онъ на всю уголовную дѣятель-

ность. Человѣкъ, совершившій преступленіе, наказанъ, буйная воля внѣшнимъ образомъ сломана и придавлена уголовною карою, но этимъ далеко не все исчерпано. Онъ не хотѣлъ подчиняться условіямъ общежитія, совершая преступленіе, — гдѣ же доказательства, что онъ захочетъ сознательно, а не насильственно, со злобою или презрѣніемъ, подчиняться и послѣдствіямъ нарушенія этихъ условій? Отрицая общественный порядокъ, онъ можетъ, въ самомъ себѣ, не признавать никакого значенія и, по возможности, вліянія за уголовною карою, налагаемою обществомъ. Какъ причина этой кары — преступленіе, было совершено вопреки требованіямъ общества, такъ и вызванный имъ результатъ внутренней работы въ душѣ виновника, можетъ произойти независимо отъ этой кары, даже вопреки ей. У него, у этого виновника, можетъ оказаться свое наказаніе. Постановленное неумолимымъ и непрерывающимся внутреннимъ судомъ, это *свое наказаніе* можетъ явиться гораздо раньше законной кары и существовать еще долго послѣ отбытія ея. Окончаніе его, примиреніе съ собою, можетъ наступить внѣ всякой зависимости отъ срока или отъ давности. И предъ вопросомъ о томъ, какъ слагается и какъ, и въ какихъ проявленіяхъ осуществится это свое наказаніе, невольно остановится юристъ. Для него будетъ ясно, что чѣмъ болѣе гармоніи, соотвѣтствія между этими poena *scripta* и *poena nata*, тѣмъ жизненнѣе и цѣлесообразнѣе система наказаній, тѣмъ лучше исполняетъ она свою задачу — вкладывать исправительное содержаніе въ карательную форму. Для него станетъ несомнѣнной непригодность такого наказанія, между обветшалымъ существомъ котораго и внутреннимъ міромъ наказуемаго вырыта цѣлая пропасть.

Наша старая уголовная система давала недостаточные отвѣты на эти вопросы. Не въ ней можно было найти средства для ихъ, хотя бы и отдаленнаго разрѣшенія. Эта система не умѣла или не хотѣла — или, вѣрнѣе, то и другое вмѣстѣ — изслѣдовать преступное дѣяніе не какъ внѣшній фактъ только, но и какъ *душевное проявленіе*. Живой человѣкъ, со своею индивидуальностью, былъ ей чуждъ. Она не хотѣла его знать и всемѣрно избѣгала встрѣчи съ нимъ. Вамъ извѣстенъ нашъ старый уголовный порядокъ. Не довѣряя судьѣ, связывая его цѣлою сѣтью формальныхъ предписаній о предустановленной силѣ доказательствъ, нашъ прежній процессъ отдавалъ важнѣйшее изслѣдованіе дѣла, ту его часть, гдѣ и онъ не могъ обойтись безъ живого человѣка, въ руки людей мало развитыхъ, одностороннихъ, узкихъ и подчасъ грубыхъ. Затѣмъ и только затѣмъ являлся на сцену элементъ судебный. Но въ какомъ стѣсненномъ ограниченномъ видѣ! Устраняя судьбу, по возможности, отъ самодѣятельности, нашъ процессъ рекомендовалъ ему имѣть дѣло, преимущественно, съ грубыми фактами, съ наглядностью — съ *доказательствами* — и, сурово косясь на улики, указывалъ на собственное сознаніе какъ на «лучшее доказательство всего міра». Во всемъ ходѣ судьбища, во всемъ механическомъ измѣриваніи и взвѣши-

ваніи вины — живой человѣкъ, о которомъ шла рѣчь, стоялъ на заднемъ планѣ и былъ лишь *нумеромъ* дѣла. Онъ всплывалъ наружу, въ самомъ концѣ, не для того, чтобъ защищаться, чтобы проявить свою живую, конкретную личность, а лишь для подписки подъ поставленнымъ уже приговоромъ. Онъ былъ чѣмъ-то отвлеченнымъ, неимѣющимъ плоти и крови.

Этому *отвлеченному* подсудимому соотвѣтствовало и *отвлеченное* наказаніе. Ибо, что знали мы о главнѣйшемъ нашемъ наказаніи — Сибири, кромѣ того, что изображено въ XIV и XV томахъ свода законовъ и въ учебникахъ? Долгое время, для большинства русскихъ юристовъ, Сибирь представлялась чѣмъ то въ родѣ погибельнаго Кавказа для нашего простолюдина. Предъ ихъ умственнымъ взоромъ не возникало никакихъ реальныхъ представленій о томъ, какъ именно живется тамъ, въ насильственномъ сообществѣ, среди суровыхъ условій и суровой природы; жизнь каторжника, поселенца за Ураломъ, была почти невѣдома и не давала о себѣ знать ни яркими картинами ни скорбными звуками. И эти люди, и учрежденія, ихъ вмѣстившія и ими управлявшія, ускользали отъ практическаго изученія. Рудники Сибири, точно исполняя завѣтъ Пушкина, «хранили гордое молчанье»...

Необходимо было обновленіе. Въ одной сферѣ — судѣ, оно свершилось вполнѣ. Въ другой — въ наказаніи и его организаціи въ тюрьмѣ и ссылкѣ — оно, повидимому, начинаетъ свершаться. Но для плодотворности этого обновленія необходимъ былъ отвѣтъ на указанные мною вопросы, отвѣтъ, почерпнутый изъ жизни, данный опытомъ, явившійся плодомъ глубокой думы и истекавшій изъ неменѣе глубокаго сердца.

Судьба благоволила къ нашему развитію въ этомъ отношеніи. Она нашла человѣка, который сумѣлъ дать именно такой отвѣтъ, — она дала намъ Ѳедора Михайловича Достоевскаго. Кто изъ образованныхъ русскихъ людей не знакомъ съ капитальными произведеніями его: «Записки изъ Мертваго дома» и «Преступленіе и наказаніе»? Кто не почувствовалъ на себѣ вліянія этихъ страницъ, которыя однѣ, сами по себѣ, давали бы своему автору право на мѣсто въ русскомъ вестминстерскомъ аббатствѣ—если бы умѣли его устроить для людей, составляющихъ нашу гордость...

Вамъ памятны, безъ сомнѣнія, всѣ подробности «Преступленія и наказанія» — этой трогательной эпопеи, гдѣ художникъ ведетъ читателя по ступенямъ всякаго рода «паденій», а заставивъ его перестрадать ихъ въ душѣ, миритъ его, въ концѣ концовъ, съ падшими, въ которыхъ, сквозь преходящую оболочку порочнаго, преступнаго человѣка, сквозятъ нарисованныя съ любовью и горячею вѣрою вѣчныя черты несчастнаго «брата». Созданные имъ въ этомъ романѣ образы не умрутъ по художественнной силѣ своей. Они не умрутъ и какъ примѣръ благороднаго высокаго умѣнья находить «душу живу» подъ самой грубой, мрачной, обезображенной формой, — и

раскрывъ ее, съ страданіемъ и трепетомъ, показывать въ ней то тихо тлѣющую, то ярко горящую примирительнымъ свѣтомъ искру Божію...

Но я хочу указать на другую сторону произведенія, придающую ему въ нашихъ глазахъ еще особую цѣну. Въ немъ затронуты всѣ или почти всѣ вопросы уголовнаго изслѣдованія, и какъ вдумчиво и всесторонне затронуты! Вы имѣете въ немъ полную картину *внутренняго развитія преступленія*, сложнаго по замыслу, страшнаго по выполненію,— отъ самаго зарожденія мысли о немъ до пролитія крови, которымъ заключился ея роковой ростъ. Картина написана незабываемыми чертами и съ самымъ широкимъ взглядомъ на предстоящую задачу. Вездѣ въ этой картинѣ, мысль о преступленіи, какъ зерно, тѣсно связана съ почвою, на которую падаетъ. Она не развивается сама изъ себя, путемъ логическаго процесса,—она вездѣ находитъ приготовленную жизнью почву, которая воспринимаетъ и возвращаетъ ее. Эта жизненная связь проходитъ чрезъ весь романъ и придаетъ ему такую поразительную правдивость. Можно прослѣдить, какъ начинаетъ замирать и ослабѣвать мысль о преступленіи— и какъ, получивъ новый толчокъ, новое питаніе въ житейской обстановкѣ, она возраждается съ еще большею силою и стремительностью.

Задавленный бѣдностью, оскорбленный и раздраженный неудачами, болѣзненно чуткій, нѣжный впечатлительный студентъ Раскольниковъ видитъ какъ все болѣе и болѣе сжимается кругъ тѣснящей его нужды, за предѣлами котораго тщетно выбивается изъ силъ скорбная фигура его любящей матери. Молодыя силы напрасно ищутъ исхода. Почти неизбѣжный въ страдающей душѣ затеряннаго въ огромномъ и чужомъ городѣ человѣка вопросъ о правѣ сытыхъ, спокойныхъ, способныхъ жить только для себя безплодно и бездушно,— возникаетъ и у Раскольникова. Случайно подслушанный разговоръ о злобной закладчицѣ, сидящей «сторожевою тѣнью» на сундукахъ, гдѣ безплодно лежатъ средства для развитія однихъ, для спасенія отъ гибели другихъ — пораждаетъ мысль о правѣ этой «вши» на существованіе. И тутъ въ первый разъ, какъ змѣйка, мелькаетъ мысль объ отнятіи этого права. Она еще неопредѣленна,—еще она не коснулась практическихъ вопросовъ, *еще какъ и какимъ образомъ* не существуетъ,—но она упала на подготовленную голодомъ, нуждою, уныніемъ почву. Это зерно уже не склюютъ придорожныя щебетуньи, а мрачныя птицы отчаянія, летающія надъ душою Раскольникова, для зерна этого не опасны. Въ долгіе дни сумрачной думы больная фантазія рисуетъ мало-помалу картины практическаго осуществленія; въ обдумываніи его, безъ всякой вѣры въ его серьезность и возможность, но безъ освѣжающихъ умъ картинъ, проходитъ время. И вотъ «проба»—и вдругъ встаетъ съ ясностью эта возможность, осуществимость предпріятія. Будущая *удобная* обстановка съ назойливой очевидностью бросается въ глаза. Зерно всходитъ на поверхность молодымъ побѣгомъ.

Змѣйка, свившая себѣ гнѣздо въ душѣ Раскольникова, приходитъ въ движеніе. Вы знаете, какъ она будетъ расти, и скользить, и извиваться въ борьбѣ съ добрыми порывами и свѣтлыми мыслями. У ней есть точка опоры:—то, что предполагалось, оказалось возможнымъ. Но возможность эта такъ отвратительна, что все, кажется, можетъ кончится презрительнымъ смѣхомъ надъ собою и омерзѣніемъ при мысли «на какую гадость способно, однако, мое сердце!» Нѣтъ, этимъ не кончится... Жизнь иногда не знаетъ пощады — и противъ измученной души Раскольникова, послѣдовательно, одинъ за другимъ, пойдутъ безсознательнымъ, но побѣдоноснымъ походомъ—и кающійся пьяница Мармеладовъ и «худенькая, блѣдненькая, съ кроткимъ голоскомъ» Соня, продавшая себя чужимъ дѣтямъ и «мачехѣ, злой и чахоточной», и сама эта глубоко несчастная мачеха «съ красными пятнами на щекахъ», и голодныя дѣти, и весь ужасъ безвыходнаго страданія и ежечасныхъ толчковъ нищеты. А затѣмъ, среди вихря скорбныхъ и озлобленныхъ думъ, раздается одна, все покрывающая нота, звучащая изъ смоченнаго слезами Раскольникова письма его матери. Она подавитъ все—и, вызывая въ немъ горькое сопоставленіе Сони, которая *«чистоту наблюдать должна»*, съ сестрою, выходящею за «кажется добраго» человѣка вновь, съ ужасающею силою, заставитъ вырасти мысль объ убійствѣ. То, что было мечта вчера, что казалось возможнымъ сегодня утромъ—созрѣетъ въ необходимое къ вечеру. Не обойдется однако безъ послѣдней борьбы. Волнуемое негодованіемъ, подавленное мыслью объ убійствѣ, сердце не въ силахъ бороться съ умомъ, болѣзненно бодрствующимъ и ревниво оберегающимъ свою мечту, готовую перейти въ дѣйствительность. Но когда сонъ сжимаетъ въ своихъ объятіяхъ усталую голову Раскольникова, на сырой землѣ Александровскаго парка со дна души его поднимаются видѣнія, и вся звѣрская, дикая сторона убійства встаетъ съ ужасающею правдою въ образахъ, связанныхъ съ чистѣйшими воспоминаніями дѣтства... Смерть несчастной савраски, не шедшей «вскачь», послѣдній протестъ здоровыхъ началъ въ душѣ Раскольникова—протестъ потрясающе краснорѣчивый, но безплодный, ибо мысль объ убійствѣ уже созрѣла вполнѣ и всецѣло завладѣла имъ. Нуженъ лишь толчокъ — пустой, слабый, но имѣющій непосредственную связь съ этою мыслью—и все окрѣпнетъ, и рѣшимость поведетъ Раскольникова «не своими ногами» на убійство... Такъ, поставленный подъ ночное тропическое небо, сосудъ съ водою, утратившею свой лучистый теплородъ, ждетъ лишь толчка, чтобы находящаяся въ немъ влага мгновенно отвердѣла и обратилась въ ледъ. — «Семой часъ давно!» кричитъ кто-то на дворѣ, т.-е. часъ, когда закладчица дома одна,—и этотъ толчокъ данъ, и предъ нами потрясающая картина двухъ преступленій. Одно—задумано и обдумано заранѣе и приведено въ исполненіе съ рѣдкою послѣдовательностью; другое — неожиданное, роковое, внезапное...

Нужно ли говорить о реализмѣ этихъ картинъ,—подавляющемъ реализмѣ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, когда извѣстные громкіе процессы Данилова и Ландсберга придали этимъ картинамъ и подробностямъ характеръ какого-то мрачнаго и чуткаго предсказанія? Нужно ли говорить о художественномъ и тонкомъ изображеніи двухъ видовъ убійства — предумышленнаго и умышленнаго, — столь близкихъ по формѣ, столь различныхъ по внутренней структурѣ, по происхожденію?! Но позвольте обратить ваше вниманіе на то, что такое ясное, безспорное, рельефное разграниченіе этихъ видовъ явилось подъ перомъ Достоевскаго за пять лѣтъ до того, когда оно нашло себѣ, наконецъ, законное выраженіе въ вышедшемъ на время изъ своей летаргіи уложеніи о наказаніяхъ.

Намъ скажутъ, можетъ быть, что въ Раскольниковѣ изображенъ исключительный, рѣдкій случай,—что нищета, оскорбленная гордость, ожесточеніе, выработавшія въ немъ странную и больную теорію, положившія ее въ основаніе преступленія, гораздо рѣже толкаютъ на этотъ путь, чѣмъ страсть. Пусть изобразятъ человѣка въ болѣе хорошихъ условіяхъ жизни, пусть изобразятъ сытаго и хладнаго сердцемъ и укажутъ, какъ закрадывается къ нему страсть и ведетъ его на преступленіе... Достоевскій отвѣтилъ и на такое требованіе. Онъ создалъ рядомъ съ ложно направленнымъ умомъ и «бунтующимъ сердцемъ Раскольникова, мрачную, чувственную, возбуждающую болѣзненное любопытство фигуру Свидригайлова, сытаго и обезпеченнаго человѣка, подъ внѣшнимъ спокойствіемъ и порядочностью котораго бьется снѣдающая страсть физическаго обладанія, готовая на все, чтобы только вырваться на свободу...

Утонченный развратникъ, убійца «купившей» его жены и въ свою очередь собирающійся «купить» себѣ у разслабленнаго отца и «разсудительной мамаши» «неразвернувшійся бутончикъ» — Свидригайловъ представляетъ такую полную картину нарастанія страсти къ Дунечкѣ, что сердце невольно замираетъ и ждетъ,—сжившись съ героями романа, какъ съ живыми лицами, — чего-то недобраго, когда онъ ведетъ къ себѣ чистую въ своемъ гордомъ довѣріи дѣвушку. И трудно себѣ представить болѣе глубокое, болѣе поразительное изображеніе борьбы страсти съ остаткомъ, со слабымъ свѣтомъ чести, который неожиданно и въ послѣдній разъ вспыхиваетъ въ Свидригайловѣ, когда онъ отпускаетъ Дунечку изъ глухой засады, послѣ того, какъ она истощила всѣ средства защиты... Какую картину *необходимой обороны*, какой яркій, лихорадочно развивающійся образъ человѣка, *останавливающагося по собственной волѣ въ насильственномъ покушеніи* на цѣломудріе дѣвушки—найдетъ здѣсь юристъ! Какой анализъ этой *остановки* въ преступномъ дѣлѣ, подъ вліяніемъ окрѣпшей на минуту въ неравной борьбѣ воли, которую вотъ-вотъ — если только не успѣетъ ускользнуть обреченная жертва—раздавитъ страсть, торжествуя свою животную побѣду!

Но не одно внутреннее содержаніе преступленія нашло себѣ

выраженіе въ знаменитомъ романѣ. Способы изслѣдованія истины въ уголовномъ дѣлѣ, пріемы отысканія и оцѣнки фактовъ, изъ которыхъ слагается вѣрная картина, которыми освѣщается та или другая сторона дѣла, — все это затронуто Достоевскимъ съ глубокимъ пониманіемъ и прочнымъ знаніемъ. Современная уголовная практика выдвигаетъ на первый планъ *улику*, т.-е. безразличный самъ по себѣ фактъ, имѣющій значеніе только по отношенію къ нему заподозрѣннаго въ преступленіи человѣка. Изученіе — внимательное и всестороннее — этого *отношенія* и составляетъ главную задачу изслѣдованія. Такимъ изслѣдованіемъ является умный, тонкій, лукаво-простодушный, но добрый и благородный въ душѣ Порфирій Петровичъ. Черезъ весь романъ проходитъ его борьба съ Раскольниковымъ и въ ней постоянно слышится отрицаніе всѣхъ устарѣлыхъ и негодныхъ сторонъ существовавшаго въ то время порядка судопроизводства. Вся она состоитъ изъ медленнаго исполненнаго законной осторожности и недовѣрія къ первому впечатлѣнію, собиранія уликъ, которыя, слагаясь въ различныя сочетанія, то падая и разрушая, то пріобрѣтая неожиданную окраску, приводятъ, наконецъ, слѣдователя къ умственному итогу — убѣжденію въ виновности Раскольникова. Въ этой постоянной сложной и безпристрастной работѣ соображенія и опыта, анализа и воображенія, состоитъ и заслуга, и задача человѣка, приступающаго къ изслѣдованію преступленія. Въ ней, а не въ грубомъ выдвиганіи матеріальныхъ доказательствъ—дѣло. Что такое могутъ быть эти доказательства, какое роковое для правосудія значеніе могутъ они получить при одной лишь внѣшней оцѣнкѣ—показываетъ мастерски изображенный эпизодъ съ несчастною Сонею въ день похоронъ ея отца, когда и ея «желтый билетъ», и два свидѣтеля, и *поличное*, найденное у нея въ карманѣ, такъ несомнѣнно *доказываетъ* виновность этого самоотверженнаго созданія въ кражѣ. Взгляните затѣмъ на внутреннюю силу «лучшаго въ мірѣ доказательства» — собственнаго сознанія, въ заявленіи Миколки, настойчивомъ и, повидимому, *согласномъ съ обстоятельствами дѣла*,—продиктованномъ ему страхомъ предъ тѣмъ, что его, во всякомъ случаѣ «засудятъ» и особымъ психологическимъ процессомъ, возникшимъ въ душѣ, жаждущей очищенія. Обратитесь къ такому спеціальному вопросу, какъ принятіе мѣръ пресѣченія — и вы найдете въ разговорахъ Порфирія съ Раскольниковымъ о томъ, почему онъ не убѣжитъ, глубокую, житейски-вѣрную мысль объ *индивидуализаціи* этихъ мѣръ, нашедшую себѣ затѣмъ выраженіе къ ст. 421 Устава уголовнаго судопроизводства.

Но рисуя широкою кистью примѣненіе психологическихъ пріемовъ при изслѣдованіи преступленія, Достоевскій, устами своего слѣдователя, остерегаетъ и отъ злоупотребленія ими. Психологія «о двухъ концахъ»,—это оружіе острое и опасное, для него нужна прочная рукоять, нужна «черточка», хоть «самая махонькая», хоть одна, но только такая, «чтобъ ужъ этакъ руками взять можно, чтобы

уже вещь была, а не то, что одна эта психологія»... Драгоцѣнное правило, живучее и нужное и теперь для судебныхъ дѣятелей, чтобы напомнить имъ о фактической точкѣ опоры, неизбѣжной для того, чтобы психологическія построенія ихъ были орудіемъ правосудія, а не проявленіемъ лишь находчиваго ума, работающаго in aliqua vili.

Было бы лишнимъ указывать затѣмъ на изображеніе того внутренняго процесса своего *собственнаго* наказанія, который такъ нерѣдко, быть можетъ, невидимо для окружающихъ происходитъ въ душѣ преступника, когда къ нему приходитъ «нежданный гость, докучный собесѣдникъ, заимодавецъ жадный»—совѣсть. Всякій, кто читалъ «Преступленіе и наказаніе», выстрадалъ это изображеніе и истомился муками Раскольникова. Это наказаніе, эта пестрая игра тревогъ, надеждъ, отвращенія къ себѣ и ужаса, подымаетъ его изъ паденія. Идучи принимать внѣшнее наказаніе, онъ уже очищенъ внутреннимъ страданіемъ, и тотъ затаенный судъ, который Богъ вложилъ въ душу человѣка, уже совершилъ свое дѣло и открылъ скорбному и разбитому сердцу новые, болѣе широкіе горизонты... И внѣшнее наказаніе является желаннымъ концомъ предъ началомъ новой жизни. Этого наказанія также ищетъ дрогнувшая, но непорочная душа Раскольникова, истомленная сознаніемъ безплодности совершеннаго злодѣянія и отсутствіемъ малѣйшаго намека на нравственное удовлетвореніе, — какъ ищетъ смерти Свидригайловъ, тяготящійся пустотою и ничтожествомъ опозоренной развратомъ жизни.

Мы знаемъ изъ судебнаго опыта, какимъ важнымъ элементомъ въ изученіи преступленія являются различныя типическія болѣзненныя состоянія. Больныхъ, слабыхъ и искаженныхъ умственно—много въ жизни, много и предъ судомъ,—больше, чѣмъ это можно бы предполагать. Законъ ставитъ твердыя рамки для оцѣнки ихъ состоянія—но юристъ не можетъ закрывать глаза на вліяніе этого состоянія, какъ на пріемы изслѣдованія, такъ и на его конечные результаты.

Три рода больныхъ, въ широкомъ и въ техническомъ смыслѣ словъ, представляетъ намъ судебная практика; это—*больные волею, больные разсудкомъ, и больные,* если можно такъ выразиться, *отъ неудовлетвореннаго духовнаго голода.* И о каждомъ изъ этимъ больныхъ сказалъ Достоевскій свое человѣчное, вѣское въ высоко-художественныхъ образахъ.

Къ первому типу принадлежатъ, по большей части, горькіе пьяницы, жертвы горя, топимаго въ винѣ,—и отсутствія здоровыхъ удовольствій, отыскиваемыхъ въ немъ же. Передъ нами Мармеладовъ «образа звѣринаго и печати его», сознающій, что губитъ семью, что довелъ дочь до торговли собою, что отнимаетъ у нея послѣдній грошъ, нужный ей «на сію чистоту», и немогущій оторваться отъ штофа, который одновременно и будитъ и губитъ въ немъ лучшіе порывы добраго сердца и кроткой вѣрующей души,—губитъ не-

щадно,—*ибо черта его наступила.* Мы знаемъ, какъ и послѣ какой неслышной борьбы и испытаній наступила для него роковая черта, столь часто, горестно часто играющая роль въ уголовныхъ дѣлахъ...

Представители второго типа—*душевно-больные.* Судебные уставы, въ статьяхъ 353—356 Уст. угол. суд. выдвинули на надлежащее мѣсто и поставили *на должную высоту освидѣтельствованія умственныхъ способностей* обвиняемаго, нравственно обязавъ юриста-практика изучать общія основанія науки о патологическихъ состояніяхъ души. Но едва ли найдется много научныхъ изображеній этихъ состояній, которыя могли бы затмить глубоко-вѣрныя картины душевныхъ разстройствъ, самыхъ сложныхъ, самыхъ тонкихъ, разсыпанныя въ такомъ множествѣ по всѣмъ сочиненіямъ Достоевскаго. Въ особенности разработаны имъ отдѣльныя проявленія элементарныхъ разстройствъ психической сферы—преимущественно чувственныя аномаліи: галлюцинаціи и иллюзіи. Стоитъ указать на *галлюцинаціи,* на ложныя представленія у Раскольникова, когда, весь отдавшись преслѣдующимъ его видѣніямъ, онъ идетъ ночью въ квартиру убитой закладчицы, или когда онъ, въ полузабытьи, видитъ, что бьетъ ее по головѣ, а она все наклоняется, все хохочетъ неслышно и язвительно, а на лѣстницѣ шумитъ цѣлое море голосовъ, все поднимающейся, все прибывающей толпы... Стоитъ припомнить мучительныя иллюзіи и бредъ и ложныя представленія Свидригайлова въ холодной комнаткѣ грязнаго трактира въ паркѣ, когда загубленное имъ непорочное дитя то лежитъ передъ нимъ въ святой тишинѣ смерти, то вдругъ раскрываетъ ему, въ другомъ образѣ, сладострастныя объятія. Изображеніе острыхъ рѣзкихъ, быстро надвигающихся душевныхъ разстройствъ такъ же глубоко у Достоевскаго, какъ изображеніе постепеннаго развитія меланхоліи, со смѣшанною идеею преслѣдованія и величія, у Гоголя, въ его безсмертномъ «Фердинандѣ VII»... Въ обоихъ случаяхъ провидѣніе художника и великая сила творчества создали картины, столь подтверждаемыя научными наблюденіями, что ни одинъ психіатръ не отказался бы подписать подъ ними свое имя, вмѣсто имени поэта скорбныхъ сторонъ человѣческой жизни. Достоевскій придавалъ огромное значеніе изученію болѣзненныхъ состояній души. Мысль о возможности осужденія дѣйствительно больного умственно человѣка тревожила и волновала его до крайности. «Дневникъ Писателя» за 1876 годъ содержитъ въ себѣ пламенныя страницы, посвященныя защитѣ Корниловой, обвинявшейся въ выкинутіи изъ окна своей маленькой падчерицы. Цѣлымъ рядомъ доводовъ о вліяніи беременности на умственное разстройство и о томъ извращенномъ процессѣ мыслей, который вызывается беременностью, онъ доказывалъ неправильность приговора и заявлялъ, что судъ и присяжные ошиблись, что Корнилова не должна, не можетъ быть наказана. Строки, которыми онъ привѣтствовалъ оправданіе ея, послѣ вторичнаго, вызваннаго кассаціею, разсмотрѣнія дѣла, дышатъ самою горячею, захватывающею радостью и справедливою

гордостью человѣка, одиноко поднявшаго голосъ противъ совершившейся ошибки.

Многихъ людей объемлетъ собою третій типъ—*страждущихъ духовнымъ голодомъ*. Къ нему относятся всѣ, кто не находитъ отвѣта на выставляемые смущенною душою «вѣчные» вопросы, которыхъ не можетъ заглушить ни суета жизни ни злоба дня,—всѣ, кто тщетно ждетъ наставленія и руководства для разъясненія недремлющихъ тревогъ своихъ и сомнѣній,—всѣ кто проситъ хлѣба и получаетъ камень. Ихъ рисовалъ Достоевскій съ особою любовью и знаніемъ, имъ старался онъ откликнуться въ произведеніяхъ своихъ послѣднихъ годовъ. Недостатокъ времени и сложность задачи не даютъ мнѣ возможности очертить предъ вами съ надлежащею полнотою глубокое значеніе представителей этого типа для вдумчиваго юриста. Но я позволю себѣ указать на тѣхъ изъ этихъ представителей,—одностороннихъ и нерѣдко дикихъ въ своихъ взглядахъ и проявленіяхъ, но живыхъ и цѣльныхъ по натурѣ,—которыхъ касался Достоевскій и съ которыми юристу-практику приходится встрѣчаться въ своей дѣятельности. Я говорю о сектантахъ. Они мелькаютъ въ «Мертвомъ домѣ», они выступаютъ въ лицѣ Миколки въ «Преступленіи и наказаніи». Отсутствіе живого общенія съ живою церковью, вѣковѣчный трудъ и унылая, сѣрая, суровая природа сказались и на ученіи и на обрядахъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ сектантовъ. За этими обрядами, на которыхъ лежитъ нерѣдко отпечатокъ мрачнаго отношенія къ жизни, иногда скрывается особое стремленіе — необычное и, во всякомъ случаѣ, возвышенное. Это — стремленіе «принять страданіе»... Наше уголовное законодательство не принимаетъ въ расчетъ этого стремленія и односторонне обрушивается своими уголовными карами, своими стѣсненіями на обряды, на «оказательство», видя въ нихъ цѣль и центръ тяжести дѣятельности разныхъ сектантовъ. Но не эти обряды, а принятіе страданія, котораго ищетъ, какъ исхода, бродящая во тьмѣ и жаждущая истины душа, вотъ что составляетъ главную внутреннюю силу этихъ сектантовъ, силу—предъ которой уголовная кара не только обращается въ ничто, но является какъ горячо ожиданная помощь на пути къ вѣчному спасенію. На эту сторону постоянно указывалъ Достоевскій, и это стремленіе олицетворилъ въ своемъ Миколкѣ, въ которомъ просыпается жажда страданія, толкающаго его на сознаніе въ убійствѣ, въ чемъ онъ неповиненъ.

Если окинуть умственнымъ взоромъ время перехода нашего суда отъ отжившихъ старыхъ формъ къ новымъ,—окинуть его во всей широтѣ разумныхъ его проявленій,—нельзя не замѣтить, что на границахъ этого перехода, какъ выразитель его необходимости, какъ нравственный наставникъ, стоитъ Достоевскій... Заступникъ за униженныхъ и оскорбленныхъ, другъ падшихъ и слабыхъ онъ выдвигаетъ ихъ впередъ, онъ является борцомъ за живого человѣка, котораго такъ недоставало старому порядку и котораго онъ такъ

изобразилъ во всѣхъ его душевныхъ движеніяхъ, подлежавшихъ изученію подготовлявшагося тогда новаго суда. И въ этомъ его великая заслуга предъ русскимъ судебнымъ дѣломъ, предъ русскими юристами!

Таковъ Достоевскій, какъ художникъ и мыслитель, относительно преступленія. *Кони.*

„Преступленіе и наказаніе" — драматическая фабула, воплотившая глубочайшія мысли и пристальнѣйшія наблюденія автора.

Ближе къ научной психологіи, по богатству сдѣланныхъ наблюденій въ мірѣ преступниковъ въ натурѣ, стоитъ анализъ Достоевскаго, въ «Преступленіи и наказаніи». Этотъ романъ — тончайшее кружево глубочайшихъ мыслей и пристальнѣйшихъ наблюденій надъ преступниками и душевно-ненормальными людьми, мыслей и наблюденій, изложенныхъ драматически, т.-е. воплощенныхъ въ перипетіяхъ исторіи одного тяжелаго преступленія. Психологія преступленія, притомъ же, такъ разработана изящною литературою и такъ живо обрисована безчисленными, подлинными исповѣдями преступниковъ, рисовавшихъ подробно и живо состояніе своей души до, во время и послѣ совершенія преступленія, что такому даровитому писателю, какъ Достоевскій, при его громадномъ запасѣ пережитыхъ душевныхъ мукъ даже болѣзненнаго характера, легко было создать исторію преступленія, убѣждающую своею жизненною правдою. Особенное подтвержденіе въ подлинности психологіи преступленія Раскольникова, изображенное Достоевскимъ, получило въ дѣйствительной жизни, — въ двухъ громкихъ процессахъ. «Нужно ли говорить», замѣчаетъ Кони въ своей статьѣ о «Преступленіи и наказаніи», «о реализмѣ этихъ картинъ, въ романѣ подавляющемъ реализмомъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, когда извѣстные громкіе процессы Данилова и Ландсберга придали этимъ картинамъ и подробностямъ характеръ какого-то мрачнаго и чуткаго предсказанія?» Но студентъ Даниловъ — не дѣйствовалъ ли онъ подъ вліяніемъ Раскольникова? Не упало ли сѣмя на благопріятную, то-есть въ данномъ случаѣ, больную почву? Въ сущности, въ романѣ Достоевскаго мало совершенно оригинальныхъ наблюденій, которыя бы представляли новизну, нѣчто до сихъ поръ не раскрытое, что дѣйствительно можно иногда получить при изученіи живого матеріала, съ котораго пишется картина. «Идейное преступленіе» не новость въ литературѣ, — англійскій романъ «Юдженъ Эрамъ» написанъ задолго до «Преступленія и наказанія». Замѣчательно по глубинѣ слѣдующее размышленіе Раскольникова: «Сначала — впрочемъ, давно уже — прежде его занималъ одинъ вопросъ: почему такъ легко отыскиваются и выдаются почти всѣ преступленія, и такъ явно обозначаются слѣды почти всѣхъ преступниковъ? Онъ пришелъ

мало-по-малу къ многообразнымъ и любопытнымъ заключеніямъ, и, по его мнѣнію, главнѣйшая причина заключается не столько къ матеріальной невозможности скрыть преступленіе, какъ въ самомъ преступникѣ; самъ же преступникъ и почти всякій, въ моментъ преступленія, подвергается какому-то упадку воли и разсудка, смѣняемыхъ, напротивъ того, дѣтскимъ, феноменальнымъ легкомысліемъ и именно въ тотъ моментъ, когда наиболѣе необходимы разсудокъ и осторожность. По убѣжденію его, выходило, что это затменіе разсудка и упадокъ воли охватываютъ человѣка, подобно болѣзни, развиваются постепенно и доходятъ до высшаго своего момента незадолго до совершенія преступленія: продолжаются въ томъ же видѣ въ самый моментъ преступленія и еще нѣсколько времени послѣ него, судя по индивидууму; затѣмъ проходятъ, какъ проходитъ всякая болѣзнь. Вопросъ же: болѣзнь ли порождаетъ самое преступленіе, или само преступленіе какъ-нибудь, по особенной натурѣ своей, всегда сопровождается чѣмъ-то въ родѣ болѣзни, — онъ еще не чувствовалъ себя въ силахъ разрѣшить». Но какъ всѣ эти мысли ни поражаютъ читателя своею глубиною, въ нихъ нѣтъ ничего новаго для криминалистовъ, занимающихся изученіемъ преступленія на фактахъ дѣйствительности, лично или другими наблюденныхъ. Французскій писатель Депанъ, изучавшій психологію преступленія по многочисленнымъ отчетамъ объ уголовныхъ дѣлахъ во Франціи, прекрасно развилъ мысль о томъ, что преступленіе совершается въ особомъ état passionné (состояніе, когда человѣкомъ овладѣла извѣстная страсть), въ которомъ, подъ всепоглощающимъ господствомъ одной идеи, преступникъ не замѣчаетъ такихъ мелочей, которыхъ онъ не пропустилъ бы безъ вниманія, не будь онъ сосредоточенъ исключительно на одной идеѣ, не будь онъ всецѣло ею плѣненъ. Это состояніе въ то же время есть несомнѣнно и ненормальное; остается лишь невропатологамъ, а, быть можетъ, и психіатрамъ сильнѣе освѣтить его научно. Дальнѣйшія главныя наблюденія, сдѣланныя Достоевскимъ: стремленіе Раскольникова вновь увидѣть то мѣсто, гдѣ имъ совершено его тяжкое преступленіе; болѣзненное влеченіе, которое его такъ и толкаетъ къ слѣдователю; неудержимое стремленіе къ явкѣ съ повинной и, наконецъ, жажда наказанія, счастіе нравственнаго перерожденія — всѣ эти наблюденія сдѣланы тысячу разъ, и ихъ вѣрность не подлежитъ сомнѣнію. Своимъ дарованіемъ Достоевскій создалъ лишь драматическую, захватывающую фабулу, воплотившую важнѣйшія наблюденія, какія сдѣланы, въ теченіе вѣковъ, надъ міромъ преступленія.

Владимировъ.

изобразилъ во всѣхъ его душевныхъ движеніяхъ, подлежавшихъ изученію подготовлявшагося тогда новаго суда. И въ этомъ его великая заслуга предъ русскимъ судебнымъ дѣломъ, предъ русскими юристами!

Таковъ Достоевскій, какъ художникъ и мыслитель, относительно преступленія. *Кони.*

„Преступленіе и наказаніе" — драматическая фабула, воплотившая глубочайшія мысли и пристальнѣйшія наблюденія автора.

Ближе къ научной психологіи, по богатству сдѣланныхъ наблюденій въ мірѣ преступниковъ въ натурѣ, стоитъ анализъ Достоевскаго, въ «Преступленіи и наказаніи». Этотъ романъ — тончайшее кружево глубочайшихъ мыслей и пристальнѣйшихъ наблюденій надъ преступниками и душевно-ненормальными людьми, мыслей и наблюденій, изложенныхъ драматически, т.-е. воплощенныхъ въ перипетіяхъ исторіи одного тяжелаго преступленія. Психологія преступленія, притомъ же, такъ разработана изящною литературою и такъ живо обрисована безчисленными, подлинными исповѣдями преступниковъ, рисовавшихъ подробно и живо состояніе своей души до, во время и послѣ совершенія преступленія, что такому даровитому писателю, какъ Достоевскій, при его громадномъ запасѣ пережитыхъ душевныхъ мукъ даже болѣзненнаго характера, легко было создать исторію преступленія, убѣждающую своею жизненною правдою. Особенное подтвержденіе въ подлинности психологіи преступленія Раскольникова, изображенное Достоевскимъ, получило въ дѣйствительной жизни, — въ двухъ громкихъ процессахъ. «Нужно ли говорить», замѣчаетъ Кони въ своей статьѣ о «Преступленіи и наказаніи», «о реализмѣ этихъ картинъ, въ романѣ подавляющемъ реализмомъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, когда извѣстные громкіе процессы Данилова и Ландсберга придали этимъ картинамъ и подробностямъ характеръ какого-то мрачнаго и чуткаго предсказанія?» Но студентъ Даниловъ — не дѣйствовалъ ли онъ подъ вліяніемъ Раскольникова? Не упало ли сѣмя на благопріятную, то-есть въ данномъ случаѣ, больную почву? Въ сущности, въ романѣ Достоевскаго мало совершенно оригинальныхъ наблюденій, которыя бы представляли новизну, нѣчто до сихъ поръ не раскрытое, что дѣйствительно можно иногда получить при изученіи живого матеріала, съ котораго пишется картина. «Идейное преступленіе» не новость въ литературѣ, — англійскій романъ «Юдженъ Эрамъ» написанъ задолго до «Преступленія и наказанія». Замѣчательно по глубинѣ слѣдующее размышленіе Раскольникова: «Сначала — впрочемъ, давно уже — прежде его занималъ одинъ вопросъ: почему такъ легко отыскиваются и выдаются почти всѣ преступленія, и такъ явно обозначаются слѣды почти всѣхъ преступниковъ? Онъ пришелъ

мало-по-малу къ многообразнымъ и любопытнымъ заключеніямъ, и, по его мнѣнію, главнѣйшая причина заключается не столько къ матеріальной невозможности скрыть преступленіе, какъ въ самомъ преступникѣ; самъ же преступникъ и почти всякій, въ моментъ преступленія, подвергается какому-то упадку воли и разсудка, смѣняемыхъ, напротивъ того, дѣтскимъ, феноменальнымъ легкомысліемъ и именно въ тотъ моментъ, когда наиболѣе необходимы разсудокъ и осторожность. По убѣжденію его, выходило, что это затменіе разсудка и упадокъ воли охватываютъ человѣка, подобно болѣзни, развиваются постепенно и доходятъ до высшаго своего момента незадолго до совершенія преступленія: продолжаются въ томъ же видѣ въ самый моментъ преступленія и еще нѣсколько времени послѣ него, судя по индивидууму; затѣмъ проходятъ, какъ проходитъ всякая болѣзнь. Вопросъ же: болѣзнь ли порождаетъ самое преступленіе, или само преступленіе какъ-нибудь, по особенной натурѣ своей, всегда сопровождается чѣмъ-то въ родѣ болѣзни, — онъ еще не чувствовалъ себя въ силахъ разрѣшить». Но какъ всѣ эти мысли ни поражаютъ читателя своею глубиною, въ нихъ нѣтъ ничего новаго для криминалистовъ, занимающихся изученіемъ преступленія на фактахъ дѣйствительности, лично или другими наблюденныхъ. Французскій писатель Депанъ, изучавшій психологію преступленія по многочисленнымъ отчетамъ объ уголовныхъ дѣлахъ во Франціи, прекрасно развилъ мысль о томъ, что преступленіе совершается въ особомъ état passionné (состояніе, когда человѣкомъ овладѣла извѣстная страсть), въ которомъ, подъ всепоглощающимъ господствомъ одной идеи, преступникъ не замѣчаетъ такихъ мелочей, которыхъ онъ не пропустилъ бы безъ вниманія, не будь онъ сосредоточенъ исключительно на одной идеѣ, не будь онъ всецѣло ею плѣненъ. Это состояніе въ то же время есть несомнѣнно и ненормальное; остается лишь невропатологамъ, а, быть можетъ, и психіатрамъ сильнѣе освѣтить его научно. Дальнѣйшія главныя наблюденія, сдѣланныя Достоевскимъ: стремленіе Раскольникова вновь увидѣть то мѣсто, гдѣ имъ совершено его тяжкое преступленіе; болѣзненное влеченіе, которое его такъ и толкаетъ къ слѣдователю; неудержимое стремленіе къ явкѣ съ повинной и, наконецъ, жажда наказанія, счастіе нравственнаго перерожденія — всѣ эти наблюденія сдѣланы тысячу разъ, и ихъ вѣрность не подлежитъ сомнѣнію. Своимъ дарованіемъ Достоевскій создалъ лишь драматическую, захватывающую фабулу, воплотившую важнѣйшія наблюденія, какія сдѣланы, въ теченіе вѣковъ, надъ міромъ преступленія.

Владимировъ.

Сущность теоріи, приведшей Раскольникова къ ужасному преступленію.

Знаменитый романъ былъ конченъ, и впечатлѣніе, имъ произведенное, по свидѣтельству Страхова, было необыкновенное. «Только его и читали въ этомъ 1866 году, только объ немъ и говорили охотники до чтенія, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатлѣніе, отъ котораго люди со здоровыми нервами заболѣвали, а люди съ слабыми нервами принуждены были оставлять чтеніе. Но всего поразительнѣе было случившееся при этомъ совпаденіе романа съ дѣйствительностью. Въ то самое время, когда вышла книжка «Русскаго Вѣстника» съ описаніемъ преступленія Раскольникова, въ газетахъ появилось извѣстіе о совершенно подобномъ преступленіи, происшедшемъ въ Москвѣ. Какой-то студентъ убилъ и ограбилъ ростовщика и, по всѣмъ признакамъ, сдѣлалъ это изъ нигилистическаго убѣжденія, что дозволены всѣ средства, чтобы исправить неразумное положеніе дѣлъ. Убійство было совершено, если не ошибаюсь, дня за два или за три до появленія «Преступленія и наказанія». Не знаю, были ли поражены этимъ читатели, но Ѳедоръ Михайловичъ очень это замѣтилъ, часто говорилъ объ этомъ и гордился такимъ подвигомъ художественной проницательности... Среди молодыхъ людей, бывшихъ въ ссылкѣ въ одномъ изъ городовъ Европейской Россіи, нашелся даже юноша, который сталъ на сторону Раскольникова и нѣкоторое время носился съ мыслью совершить нѣчто подобное его преступленію, и лишь потомъ одумался. Такъ вѣрно была схвачена авторомъ эта логика людей, оторвавшихся отъ основъ и дерзко идущихъ противъ собственной совѣсти». Романъ поразилъ русское читающее общество именно своимъ реализмомъ, глубокимъ проникновеніемъ въ психологію современнаго поколѣнія. Благодаря психологическому анализу, который съ изумительной тонкостью примѣняется Достоевскимъ, въ романѣ выясненъ тотъ процессъ, что приводитъ къ ужаснымъ преступленіямъ людей, по существу очень хорошихъ, выяснено вліяніе въ этомъ отношеніи нѣкоторыхъ теорій, особенно популярныхъ въ современномъ обществѣ. Популярность этихъ теорій представляется Достоевскому чѣмъ-то въ родѣ умственной эпидеміи, какъ это онъ изображаетъ въ снѣ Раскольникова въ эпилогѣ романа. Герою «грезилось въ болѣзни, будто весь міръ осужденъ въ жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвѣ, идущей изъ глубины Азіи на Европу. Всѣ должны погибнуть, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ избранныхъ. Появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились тотчасъ же бѣсноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такъ

умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убѣжденій и вѣрованій. Цѣлыя селенія, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали другъ друга, всякій думалъ, что въ немъ одномъ заключается истина, и мучился; глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ломалъ себѣ руки. Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться, что считать зломъ, что добромъ, не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали другъ друга въ какой-то безсмысленной злобѣ. Собирались другъ на друга цѣлыми арміями, но арміи, уже въ походѣ, вдругъ начинали сами терзать себя, ряды разстраивались, воины бросались другъ на друга, кололись и рѣзались, кусались и ѣли другъ друга. Въ городахъ цѣлый день били въ набатъ; созывали всѣхъ, но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Оставили самыя обыкновенныя ремесла, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледѣліе. Кое-гдѣ люди сбѣгались въ кучи, соглашались вмѣстѣ на что-нибудь, клялись не разставаться, — но тотчасъ же начинали что-нибудь совершенно другое, чѣмъ сейчасъ же сами предполагали, начинали обвинять другъ друга, дрались, рѣзались. Начались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько человѣкъ, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдѣ не видалъ этихъ людей, никто не слыхалъ ихъ слова и голоса».

Одной изъ жертвъ подобнаго нравственнаго и умственнаго повѣтрія является герой романа, «Раскольниковъ». Добрый, сострадательный человѣкъ, онъ убиваетъ старуху-ростовщицу и ея сестру. Свое преступленіе онъ совершаетъ подъ вліяніемъ своеобразной общественно-нравственной теоріи, которую онъ развилъ въ статьѣ, напечатанной въ одномъ изъ журналовъ. Согласно этой теоріи, преступленіе можетъ быть оправдано, если оно совершено изъ побужденій общественнаго блага. Какъ передаетъ эту теорію слѣдователь, Порфирій Петровичъ, она состоитъ въ томъ, что всѣ люди раздѣляются на двѣ категоріи: «обыкновенныхъ» и «необыкновенныхъ». Обыкновенные должны жить въ послушаніи и не имѣютъ права переступать законы, потому что они обыкновенные. «А необыкновенные имѣютъ право дѣлать всяческія преступленія и всячески нарушать законъ собственно потому, что они необыкновенные». Раскольниковъ самъ передаетъ свой взглядъ обстоятельнѣе. «Это не совсѣмъ такъ у меня, — началъ онъ просто и скромно. — Впрочемъ, признаюсь, вы почти вѣрно ее изложили, даже если хотите, и совершенно вѣрно... Разница единственно въ томъ, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди должны и обязаны были творить всякія безчинства, какъ вы говорите... Я просто-на-просто намекнулъ, что не-

обыкновенный человѣкъ имѣетъ право..., т.-е. неофиціальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... чрезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для всего человѣчества) того потребуетъ. Вы изволите говорить, что статья моя не ясна; я готовъ ее вамъ разъяснить по-возможности... По-моему, если бы Кепплеровы и Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никакимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытію, или ставшихъ бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ... устранить этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству. Изъ этого, впрочемъ, вовсе не слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать, кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Далѣе, помнится мнѣ, я развиваю въ своей статьѣ, что всѣ... ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Наполеонами и такъ далѣе, всѣ до единаго были преступниками уже тѣмъ однимъ, что, давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій,—и ужъ, конечно, не останавливались передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы. Однимъ словомъ, я вывожу, что и всѣ, не то, что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, т.-е. чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природѣ своей, быть непремѣнно преступниками, — болѣе или менѣе, разумѣется. Иначе трудно имъ выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ они, конечно, не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, — а по-моему, такъ даже и обязаны не соглашаться. Однимъ словомъ, вы видите, что до сихъ поръ тутъ ничего особенно новаго нѣтъ. Это тысячу разъ было напечатано и прочитано. Что же касается до моего дѣленія людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, то я согласенъ, что оно нѣсколько произвольно; но вѣдь я же на точныхъ цифрахъ и не настаиваю. Я только въ главную мысль мою вѣрю. Она именно состоитъ въ томъ, что люди, по закону природы, раздѣляются вообще на два разряда: на низшій (обыкновенныхъ), т.-е., такъ сказать, на матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, т.-е. имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей новое слово. Подраздѣленія тутъ, разумѣется, безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно рѣзкія: первый разрядъ, т.-е. матеріалъ, говоря вообще, люди, по натурѣ своей, консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными. По-моему, они

обязаны быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего для нихъ унизительнаго. Второй разрядъ, всѣ преступаютъ законъ, разрушительны или склонны къ тому, судя по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и многоразличны: большею частью они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ заявленіяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ кровь, то онъ, внутри себя, по совѣсти, можетъ, по моему, дать себѣ разрѣшеніе перешагнуть черезъ кровь, смотря, впрочемъ, по идеѣ и по размѣрамъ ея, — это замѣтьте. Въ этомъ только смыслѣ я и говорю въ моей статьѣ объ ихъ правѣ на преступленіе. Впрочемъ, тревожиться много нечего; масса никогда почти не признаетъ за ними этого права, казнитъ ихъ и вѣшаетъ (болѣе или менѣе) и тѣмъ, совершенно справедливо, исполняетъ свое консервативное назначеніе, съ тѣмъ однако же, что въ слѣдующихъ поколѣніяхъ эта же масса ставитъ казненныхъ на пьедесталъ и имъ поклоняется (болѣе или менѣе). Первый разрядъ всегда—господинъ настоящаго, второй разрядъ — господинъ будущаго. Первые сохраняютъ міръ и пріумножаютъ его численно, вторые двигаютъ міръ и ведутъ его къ цѣли. И тѣ и другіе имѣютъ совершенно одинаковое право существовать. Однимъ словомъ, у меня всѣ равносильное право имѣютъ и—vive la guerre éternelle,—до Новаго Іерусалима, разумѣется... Вообще, людей съ новой мыслью, даже чуть-чуть только способныхъ сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядокъ зарожденія людей всѣхъ этихъ разрядовъ и подраздѣленій, должно быть, весьма вѣрно и точно опредѣленъ какимъ-нибудь закономъ природы. Законъ этотъ, разумѣется, теперь неизвѣстенъ, но я вѣрю, что онъ существуетъ и впослѣдствіи можетъ стать извѣстенъ. Огромная масса людей, — матеріалъ, для того только и существуетъ на свѣтѣ, чтобы, наконецъ, черезъ какое-то усиліе, какимъ-то таинственнымъ до сихъ поръ процессомъ, посредствомъ какого-нибудь перекрещиванія породъ и родовъ, понатужиться и породить, наконецъ, на свѣтъ, ну, хотя изъ тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельнаго человѣка. Еще съ болѣе широкою самостоятельностью рождается, можетъ быть, изъ десяти тысячъ одинъ (я говорю примѣрно, наглядно). Еще съ болѣе широкою—изъ ста тысячъ одинъ. Геніальные люди изъ милліоновъ, а великіе геніи, завершители человѣчества, можетъ быть, по истеченіи многихъ тысячъ милліоновъ людей на землѣ. Однимъ словомъ, въ реторту, въ которой все это происходитъ, я не заглядывалъ. Но опредѣленный законъ есть и долженъ быть; тутъ не можетъ быть случая».

Приведенной теоріею объясняется и преступленіе, совершенное Раскольниковымъ; онъ «осмѣлился», «дерзнулъ» пойти противъ нѣкоторыхъ установившихся въ обществѣ воззрѣній, и, согласно своей теоріи, онъ принадлежитъ къ необыкновеннымъ людямъ. Ясно, что

авторъ отвергаетъ эту теорію, протестуетъ противъ «нигилизма», который, по опредѣленію Н. А. Звѣрева, въ этомъ романѣ представленъ еще въ первой стадіи своего развитія, какъ «отрицаніе вѣрующее». Раскольниковъ вѣритъ въ спасительность своей теоріи, и эта вѣра приводитъ его къ убійству старухи-ростовщицы, но авторъ осуждаетъ своего героя, какъ человѣка, дѣйствующаго насиліемъ, и это осужденіе ярче всего выразилось въ противопоставленіи Раскольникову прекраснаго образа Сонечки Мармеладовой. Какъ проститутка, Сонечка можетъ быть сравниваема съ типомъ Фантины въ романѣ В. Гюго «Les misérables», но разница между этими личностями очень велика: въ то время, какъ Фантина до крайности идеализирована у В. Гюго и представляется чистѣйшимъ созданіемъ фантазіи, Достоевскій взялъ свою Сонечку изъ дѣйствительной жизни. Онъ показываетъ, что она сохраняетъ внутреннюю, нравственную чистоту и цѣльность, несмотря на грязную обстановку, въ которой ей приходится вращаться, несмотря на ужасный, сплошь и рядомъ убивающій душу и тѣло, промыселъ, при помощи котораго она поддерживаетъ существованіе свое и своей семьи. По своему умственному развитію она стоитъ весьма невысоко, но при всемъ этомъ у нея есть прочно сложившееся нравственное міровоззрѣніе, котораго пошатнуть нельзя никакими силами, и ея немудреныя рѣчи благотворно дѣйствуютъ на Раскольникова, раскрывая ему тщету и ложность его высокихъ мудрствованій. Благодаря Сонечкѣ Мармеладовой, совершается возрожденіе Раскольникова, его постепенное освобожденіе отъ тѣхъ теоретическихъ построеній, которыя привели его къ преступленію, и въ концѣ романа у Раскольникова промелькнула мысль: «развѣ могутъ ея убѣжденія не быть теперь и моими убѣжденіями? Ея чувства, ея стремленія по крайней мѣрѣ?» — и эти чувства и стремленія, истекавшія изъ евангельскаго ученія, были прямо противоположны его теоріямъ.

Хотя въ этомъ романѣ Достоевскій и осудилъ теоріи нигилиста, все же онъ не можетъ сопоставляться съ тѣми романистами 60-хъ годовъ, которые своею спеціальною задачею поставили именно обличеніе нигилизма: онъ разсмотрѣлъ мятущійся, ищущій и страждущій духъ тамъ, гдѣ эти обличители, по своей ограниченности и тенденціозности, могли видѣть лишь грязь и пошлость. «Читатели, какъ говоритъ Страховъ, привыкли видѣть въ нигилистахъ, во-первыхъ, людей скудоумныхъ и скудосердечныхъ, людей лишенныхъ ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строятъ собственнымъ умомъ теоріи, совершенно оторванныя отъ жизни, доходящія до величайшихъ нелѣпостей. На основаніи этихъ теорій они извращаютъ свою и чужую жизнь и живутъ въ этомъ извращеніи, не понимая и не чувствуя всего безобразія такой жизни. Поэтому нигилисты являются намъ существами гадкими и смѣшными, пошлыми и отталкивающими. Словомъ, они изображаются такъ, что по самой сущности дѣла могутъ возбудить не симпатію, а только

насмѣшку и негодованіе... Между тѣмъ, въ сущности, вѣдь ихъ слѣдуетъ пожалѣть. Вѣдь нѣтъ никакого сомнѣнія, что душа у нихъ все-таки просыпается со своими вѣчными требованіями. Притомъ не всѣ же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, въ которыхъ эта ломка своей природы отзывается долгими, неизгладимыми страданіями. И, слѣдовательно, ко всѣмъ имъ, ко всей этой сферѣ кажущихся счастливцевъ, устраивающихъ свою жизнь на новыхъ основаніяхъ, можно обратиться со словами любящей Сони: «что вы, что вы надъ собой сдѣлали?» Отвергая нигилистическія теоріи Раскольникова, осуждая ихъ устами Сонечки, Достоевскій еще разъ подчеркиваетъ значеніе «бѣдныхъ людей»: они не только сознаютъ свое человѣческое достоинство, но они ставятся выше другихъ. Въ этомъ случаѣ образъ Сонечки служитъ для развитія нѣкоторой идеи, уже ранѣе проявлявшейся въ творчествѣ Достоевскаго; но тотъ же образъ, съ другой стороны, является первымъ выраженіемъ новой идеи, которой суждено было получить свое полное воплощеніе въ князѣ Мышкинѣ и въ Алешѣ Карамазовѣ, идеи о преимуществѣ людей высокаго нравственнаго развитія, но простоватыхъ, по внѣшности не умныхъ, передъ людьми умными, но порочными. Эти простаки могутъ многому поучить самоувѣренныхъ умниковъ. *Бороздинъ.*

Основной вопросъ, разработанный въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“.

Въ 1862 году Достоевскій произвелъ глубокое впечатлѣніе на читающій міръ своими «Записками изъ Мертваго дома». Въ 1866 году онъ совсѣмъ побѣдилъ читателей своимъ романомъ «Преступленіе и наказаніе», составлявшимъ такой вкладъ въ психологію тогдашней Россіи, какъ никакая другая книга. То, что описывается въ этой книгѣ, только на первый взглядъ можетъ показаться единичнымъ явленіемъ: въ дѣйствительности — это грандіозная картина общества.

Основной вопросъ, разбирающійся въ книгѣ, тотъ же, который уже давно занималъ головы многихъ мыслящихъ людей: самопротиворѣчащая двойственная оцѣнка обществомъ человѣческой жизни. Вопросъ заключался въ слѣдующемъ: представляетъ ли человѣческая жизнь безусловную цѣнность? Почему современное общество отвѣчаетъ на этотъ вопросъ противорѣчивымъ образомъ? Оно подвергаетъ самому строгому наказанію мать за умерщвленіе ею нарожденнаго ребенка, не обращая вниманія на то, что она изъ страха передъ позоромъ или нуждою причиняетъ сама себѣ еще болѣе грандіозную потерю и доставляетъ себѣ еще болѣе глубокое страданіе, чѣмъ то, которое испытываетъ при этомъ общество; онъ наказываетъ ее и тогда, когда побудительною ея причиною было желаніе спасти своего ребенка отъ жалкой жизни, ожидающей его. Общество требуетъ, чтобы полная чаша земныхъ несчастій была вылита на го-

лову бѣднаго маленькаго существа. Но въ то же время общество не противится основанію фабрикъ, на которыхъ работа сопровождается губительными для рабочихъ послѣдствіями и приноситъ имъ раннюю смерть; оно даже признаетъ благодѣтелемъ основателя подобной фабрики въ мѣстности съ неразвитою промышленностью.

Въ произведеніи Достоевскаго разсужденіями по поводу всѣхъ этихъ вопросовъ занимается молодой человѣкъ, Раскольниковъ, — молодой русскій студентъ, необыкновенно красивый, съ правильными чертами лица и большими выразительными глазами, обладающій выдающимися дарованіями, но бѣдный, какъ только можетъ быть бѣденъ русскій студентъ, страдающій постоянно отъ крайней нужды, одѣтый въ лохмотья, съ шляпою на головѣ, на которую нельзя смотрѣть безъ смѣха. Бѣдность заставляетъ его бросить свое ученіе; онъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы добыть необходимыя средства существованья, но напрасно: ему приходится спускаться все ниже и ниже. Онъ замкнутъ, суровъ, подозрителенъ и меланхоличенъ; онъ гордъ, но въ то же время и высокомѣренъ, и добръ; онъ не любитъ открывать своихъ чувствъ. Онъ честолюбивъ съ задатками большой отваги, но часто такъ угрюмъ, что кажется холоднымъ и безчувственнымъ до безчеловѣчности. Онъ печаленъ, мраченъ и раздражителенъ, высокомѣренъ и великодушенъ; приходитъ въ уныніе при мысли о несчастномъ положеніи человѣческаго рода, но всегда горитъ пламеннымъ желаніемъ прійти на помощь человѣчеству и сдѣлаться его спасителемъ въ грандіозныхъ размѣрахъ. Въ глубинѣ души онъ не трудолюбивъ. Вообще, по мнѣнію автора, трудолюбіе — рѣдкое явленіе въ Россіи, гдѣ всѣ желаютъ безъ заботы и труда быстро обогатиться, и гдѣ привыкли, чтобы все, что можетъ быть достигнуто, подавалось въ готовомъ, оконченномъ видѣ; гдѣ привыкли подчиняться чужому руководству, — привыкли, чтобы умственная пища подавалась въ пережеванномъ видѣ другими.

Если Раскольниковъ былъ меланхоличенъ отъ природы, то бѣдность еще въ большей степени развила въ немъ это качество. Комната, въ которой онъ живетъ, приводитъ его непрестанно въ раздраженіе. Низкая, узкая, она какъ бы тисками охватываетъ его душу. Онъ не можетъ заплатить за свою квартиру, часто голодаетъ. Въ длинные зимніе вечера онъ лишенъ свѣта, лежитъ въ темнотѣ, не работаетъ въ концѣ концовъ даже для того, чтобы купить себѣ свѣчу; на его столѣ нагромождены его учебныя тетради, покрытыя слоемъ пыли въ палецъ толщиною. Онъ постоянно думаетъ, думаетъ, думаетъ...

Онъ думаетъ о безобразной старой ростовщицѣ, страшно богатой и жадной, у которой онъ отъ времени до времени бралъ деньги взаймы, и о разговорѣ относительно ея, услышанномъ имъ какъ-то въ трактирѣ. Тамъ сидѣлъ одинъ студентъ и сказалъ: «Я бы эту проклятую старуху убилъ и ограбилъ, и, увѣряю тебя, что безъ всякаго зазору совѣсти».

Онъ сказалъ это въ шутку, затѣмъ продолжалъ серьезно: «Съ одной стороны, глупая, безсмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротивъ, всѣмъ вредная... съ другой стороны, молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ безъ поддержки, и это тысячами, и это вездѣ! Сотни, тысячи, быть можетъ, существованій, направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата, отъ венерическихъ болѣзней, — и все это на ея деньги... Да и что значитъ на общихъ вѣсахъ жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? — Не болѣе, какъ жизнь вши, таракана, да и того не стоитъ, потому что старушонка вредна».

Слова эти глубоко запали въ душу Раскольникова, потому, можетъ быть, что подобныя мысли уже родились у него въ мозгу, и продалбливали себѣ въ немъ путь подобно цыпленку въ скорлупѣ яйца, и потому въ особенности, что гнетущая его нужда затронула и самыя дорогія для него существа. Его старая мать, живущая въ уѣздномъ городкѣ пенсіею въ 120 рублей и зарабатывающая къ тому еще 20 рублей вязаніемъ и шитьемъ, губительно дѣйствующими на ея бѣдные старые глаза, прислала ему письмо, изъ короткихъ, деликатныхъ выраженій котораго онъ узнаетъ, что его единственная, обожаемая имъ сестра, такая гордая и хорошенькая, готовится принести себя въ жертву, вступивъ въ возмутительный бракъ, чтобы доставить ему средства окончить университетъ и содержать на старости мать. Онъ вскакиваетъ въ негодованіи, онъ возмущается, онъ хочетъ воспретить своей чистой сестрѣ заключеніе такого ужаснаго брака. Но по какому праву можетъ онъ запрещать ей это? Какъ можетъ онъ помѣшать ей? Что можетъ онъ предложить ей взамѣнъ?... Посвятить ей и матери все свое будущее, когда онъ окончитъ свое ученіе и получитъ мѣсто?... Черезъ десять лѣтъ, можетъ быть, — но до этого времени его мать можетъ ослѣпнуть или умереть отъ нужды и истощенія, и до этого времени его сестра... чего не можетъ случиться въ десять лѣтъ?

Онъ рано выработалъ себѣ особое ученіе о преступленіяхъ, а именно, что возвышающійся надъ обычнымъ уровнемъ человѣкъ имѣетъ право, — конечно, не офиціальное, а дарованное ему его совѣстью, — перешагнуть черезъ извѣстныя препятствія и границы, задерживающія другихъ людей, но только въ томъ случаѣ, если его идея, — идея спасительная, быть можетъ, для всего человѣчества — требуетъ подобнаго шага. Если бы, напримѣръ, такіе люди, какъ Кеплеръ и Ньютонъ, не могли никоимъ образомъ сдѣлать свои открытія извѣстными людямъ иначе, какъ цѣною принесенія въ жертву «одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ», препятствующихъ этимъ открытіямъ, — они не только имѣли бы право, но были бы обязаны убить этихъ людей. Опытъ учитъ насъ, что почти всѣ законодатели человѣчества и реформаторы, отъ самыхъ старыхъ до Ликурга, Солона, Магомета, Наполеона — были преступ-

никами, уже по тому одному, что они создали новые законы и разрушили старые, считавшіеся обществомъ священными и перешедшими къ нимъ по наслѣдству отъ предковъ, и потому что они не отступали съ дрожью передъ пролитіемъ крови, и притомъ чаще всего совершенно невинной крови, которая геройски приносилась въ жертву въ защиту стараго закона. Толпа не признаетъ права за подобнаго рода людьми: она казнитъ или вѣшаетъ ихъ, когда они выступаютъ на сцену, но слѣдующія поколѣнія возводятъ ихъ въ видѣ памятниковъ на высокіе пьедесталы и выказываютъ имъ почтеніе. А развѣ онъ не такой именно выдающійся человѣкъ?

Но все его существо возмущается при мысли о подобномъ дѣйствіи. Оно слишкомъ противно для него, слишкомъ отвратительно. Убить топоромъ маленькую старую женщину!... Вся его гордость, всѣ благородные инстинкты его натуры содрогаются при мысли объ этомъ и возмущаются.

Но дни идутъ и никакого другого исхода не предвидится: медленно, мало-по-малу освоивается онъ съ этою мыслью. Благодаря странному стеченію обстоятельствъ онъ узнаетъ время, когда старая ростовщица останется одна вечеромъ... Ему кажется, будто онъ полою своей одежды попалъ въ отверстіе машины, которая втягиваетъ его въ себя и начинаетъ кружиться вмѣстѣ съ нимъ, — и онъ съ смѣсью отчаянной рѣшимости и ребяческаго легкомыслія совершаетъ въ минуту преступленія убійство — и притомъ не одно только убійство, а цѣлыхъ два: сестра старухи, простая и добрая женщина, входитъ въ комнату какъ разъ въ ту минуту, когда Раскольниковъ начинаетъ изслѣдовать сокровища покойницы, и онъ однимъ ударомъ топора повергаетъ ее на земь.

Но его поступокъ оказался не по силамъ ему, или, быть можетъ, онъ былъ слишкомъ благороденъ для него — объ этомъ каждый можетъ судить по-своему. Раскольниковъ можетъ убить въ припадкѣ сомнамбулизма, но красть онъ не въ состояніи. Онъ присвоиваетъ себѣ только двѣ ничего не стоящія вещицы и съ большими затрудненіями спасается отъ того, чтобы не быть застигнутымъ на мѣстѣ преступленія. Теперь наступаетъ тотъ періодъ въ его жизни, когда онъ можетъ только размышлять надъ своимъ преступленіемъ. Онъ уничтожаетъ всѣ внѣшніе слѣды его, но вѣчно занятъ мыслью, какъ бы скрыть его и съ каждымъ днемъ все больше и больше выдаетъ себя тѣмъ, кто ищетъ преступника. Но это еще не главное; внѣшнія открытія не сокрушаютъ его; что его окончательно губитъ, это внутреннее открытіе, которое онъ дѣлаетъ, все болѣе и болѣе возрастающая увѣренность, что онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ избранныхъ натуръ, которымъ все разрѣшается. Послѣ совершенія своего преступленія онъ никакъ не можетъ вновь подняться на ту высоту, съ какой онъ раньше смотрѣлъ на него. Онъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чахнетъ. «Нѣтъ, — говоритъ онъ самъ себѣ: — тѣ люди не такъ сдѣланы. Настоящій властелинъ, кому все

разрѣшается, громитъ Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, *забываетъ* армію въ Египтѣ, *тратитъ* полъ милліона людей въ московскомъ походѣ и отдѣлывается каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же, по смерти, ставятъ кумиры, а, стало быть, и все разрѣшается. Нѣтъ, на этакихъ людяхъ, видно не тѣло, а бронза». Одна внезапная посторонняя мысль вдругъ почти разсмѣшила его: «Наполеонъ — пирамиды, Ватерлоо, — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, съ красною укладкою подъ кроватью... Полѣзетъ ли, дескать, Наполеонъ подъ кровать къ старушонкѣ! Эхъ, дрянь!»

Онъ не раскаивается въ умерщвленіи старухи: онъ продолжаетъ считать ея жизнь безполезною, ея смерть безразличнымъ, пожалуй даже полезнымъ дѣломъ. Старуха была и продолжаетъ казаться ему чѣмъ-то побочнымъ; убивая ее онъ, вѣдь, хотѣлъ только уничтожить предразсудокъ, убить не человѣка, но ложный взглядъ, и переступить черезъ пропасть, отдѣляющую обыкновенныхъ людей, погрязшихъ въ будничныхъ понятіяхъ, отъ сонма избранныхъ. Онъ убилъ предразсудокъ, но продолжалъ оставаться по ту сторону пропасти. Онъ безгранично несчастенъ, несчастнѣе чѣмъ когда-либо раньше.

Онъ не сдѣлалъ ничего дурного. Онъ хотѣлъ только не оставить безъ помощи своей голодной матери, имѣя рубль въ карманѣ. И какъ добросовѣстно онъ поступилъ! Онъ прежде всего провѣрилъ свои силы самымъ тщательнымъ испытаніемъ себя, убѣдившимъ его въ томъ, что онъ не переступитъ за извѣстныя границы для удовлетворенія своихъ чувственныхъ потребностей, а будетъ имѣть всегда въ виду только свою великую цѣль; затѣмъ среди всей безполезной «вши» онъ выбралъ самую безполезную, и, наконецъ, рѣшилъ, убивая эту женщину, взять лишь столько, сколько оказывалось необходимымъ для его ближайшихъ цѣлей.

А между тѣмъ, не старуху жалкую убилъ онъ, а самого себя, свое собственное «я». Его проступокъ выросъ у него выше головы, онъ сдѣлалъ его совершенно одинокимъ, отбросилъ его въ глубину его собственнаго «я». Тайна терзаетъ его до безумія, и мученіе при мысли, что онъ такая же «вошь», какъ и всѣ остальные, изводитъ его.

Едва успѣлъ онъ совершить убійство, какъ онъ чувствуетъ себя одинокимъ, чуждымъ всѣмъ, осужденнымъ на вѣчное молчаніе. Ему кажется, что онъ никогда не осмѣлится больше разговаривать съ другими людьми. Но вскорѣ послѣ этого имъ овладѣваетъ безумная потребность открыть свою тайну, разсказать о ней другимъ. Все награбленное онъ бросаетъ сейчасъ же въ каналъ, у него нѣтъ и въ мысляхъ воспользоваться имъ: онъ прячетъ его подъ камнемъ на мѣстѣ постройки. Онъ самъ не понимаетъ, что случилось съ нимъ, но ему кажется, что онъ отсѣченъ отъ своего прошлаго точно ударомъ топора. Наступаетъ минута, когда онъ готовъ броситься въ воду, чтобы положить конецъ своимъ мученіямъ. На своихъ окружающихъ онъ производитъ впечатлѣніе сумасшедшаго. Но онъ встрѣчаетъ

ценіе человѣческаго горя въ его худшей формѣ: пьяницу, коспитъ, чахоточную вдову съ большимъ количествомъ дѣтей клѣба на рукахъ, благородную молодую дѣвушку, которая на была унизить себя до проституціи, чтобы доставить пищу оимъ маленькимъ братьямъ и сестрамъ — и потребность выказать великодушіе, прійти ближнимъ на помощь возвращаетъ ему на нѣкоторое время вѣру въ жизнь. Но за кратковременнымъ подъемомъ духа слѣдуютъ новыя мученія. Его мучитъ мысль, что другіе, можетъ быть, знаютъ о его преступленіи, а онъ играетъ передъ ними безполезную комедію, когда дѣлаетъ видъ, что все это не имѣетъ къ нему никакого отношенія. И, дѣйствительно, нѣкоторые люди напали на слѣдъ. Есть одинъ человѣкъ, который догадался обо всемъ и насквозь видитъ его: это геніальный юристъ, слѣдователь. Но Раскольникова не арестуютъ, его не допрашиваютъ; нѣтъ, если онъ впослѣдствіи раскрываетъ свои уста и обвиняетъ себя, то это происходитъ исключительно въ силу чисто внутренняго душевнаго побужденія. Еще задолго до того, какъ происходитъ взрывъ, ему кажется, что приближается моментъ, когда онъ долженъ открыть тайну, и онъ самъ сравниваетъ чувство, испытываемое имъ при приближеніи этого момента, съ тѣмъ чувствомъ, которое возбудилось въ немъ, когда ему показалось, что пробилъ часъ убить старуху. Но это чувство переплетается у него постоянно съ пылкою ненавистью къ окружающему міру; онъ питаетъ *убійственную* ненависть къ тѣмъ, которые, какъ онъ думаетъ или боится, знаютъ его тайну. Когда онъ во время своихъ одинокихъ размышленій задаетъ себѣ вопросъ, что онъ сдѣлаетъ при тѣхъ или иныхъ обстоятельствахъ, чтобы не дать себя одурачить, — восклицаніе: «въ такомъ случаѣ я убью его» — составляетъ постоянный отвѣтъ на подобные вопросы. Въ концѣ концовъ онъ съ ужасомъ открываетъ, что даже о матери и сестрѣ, которыхъ прежде такъ любилъ, онъ думаетъ теперь по временамъ съ чувствомъ ненависти.

Но эта ненависть и это мученіе порождены любовью. Если бы онъ не любилъ такъ сильно, ничего не случилось бы.

Если бы онъ былъ сухимъ, черствымъ человѣкомъ, если бы онъ не былъ смѣлъ, великодушенъ и серьезенъ, онъ никогда не сдѣлался бы убійцею. Все болѣе и болѣе чувствуетъ онъ въ это ужасное время влеченіе къ той молодой вышеупомянутой дѣвушкѣ, которая сдѣлалась проституткою изъ любви къ своимъ маленькимъ братьямъ и сестрамъ. Несмотря на весь свой трудъ, она не въ силахъ была заработать столько, чтобы хватило на ихъ пропитаніе, и сама мать вытолкнула ее на улицу. Состраданіе сблизило его съ нею, восхищеніе благородствомъ и чистотою ея—потому что ни единая капля порока еще не проникла въ ея сердце — заставляютъ его посѣтить ее. Онъ выражаетъ свое уваженіе той, которую презираетъ весь міръ. И она также преступила границы, и она также наложила свою руку на человѣческую жизнь, на свою собственную,

пожертвовала собою и пожертвовала безполезно; но по величію своей души она стоитъ высоко надъ нимъ. И она мало-по-малу обращается въ его совѣсть. Однажды, послѣ того, какъ онъ долго молча смотрѣлъ въ ея плачущее лицо, Раскольниковъ опускается передъ нею на колѣни и цѣлуетъ ей ноги.

«Что вы, что вы это? Передъ мной?!»

Онъ отвѣчаетъ: «Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился».

Соня проситъ, чтобы онъ сознался въ своемъ преступленіи: «страданіе принять и искупить себя имъ,—вотъ что надо». Она обѣщаетъ не покидать его, а послѣдовать за нимъ въ Сибирь. Онъ долго отказывается. Его сестра также увѣщеваетъ его отдать себя въ руки правосудія; она видитъ въ этомъ шагѣ единственное спасеніе отъ состоянія самобичеванія, угнетенія, въ какое онъ впалъ. Но когда она употребляетъ выраженіе «преступленіе» — онъ возмущается. Какое преступленіе? То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку — процентщицу, никому не нужную, которую убить—сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это-то преступленіе?» — «Но вѣдь ты кровь пролилъ!» въ отчаяніи вскричала сестра. — «Которую всѣ проливаютъ», подхватилъ онъ въ изступленіи: «и которая льется и всегда лилась на свѣтѣ какъ водопадъ, которую льютъ какъ шампанское и за которую вѣнчаютъ въ Капитоліи и называютъ потомъ благодѣтелемъ человѣчества... Я самъ хотѣлъ добра людямъ и сдѣлалъ бы сотни, тысячи добрыхъ дѣлъ, вмѣсто одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, такъ какъ вся эта мысль была вовсе не такъ глупа, какъ теперь она кажется (при неудачѣ все кажется глупо!) Этою глупостью я хотѣлъ только поставить себя въ независимое положеніе, первый шагъ сдѣлать, достичь средствъ, и тамъ все бы загладилось неизмѣримою, сравнительно, пользой... Но я и перваго шага не выдержалъ, потому что я подлецъ!... Вотъ въ чемъ все и дѣло!»

Но все же Соня оказывается въ концѣ концовъ сильнѣе его. Онъ не въ состояніи противиться этой женщинѣ, столь сильной въ своемъ униженіи и смиреніи, и романъ оканчивается тѣмъ, что Раскольниковъ идетъ въ полицейскій участокъ и доноситъ на себя: «Это я убилъ тогда старуху чиновницу и сестру ея Лизавету и ограбилъ».

Достоевскій, очевидно, хотѣлъ дать въ этомъ романѣ картину своего времени. «Ваша статья,—говоритъ въ третьей части книги слѣдователь Порфирій герою:—порожденіе нашего времени, фантазія, созданная книгами».

Авторъ имѣлъ, очевидно, въ виду политическое броженіе, хотя онъ не говоритъ ни слова прямо о политикѣ... «Еще хорошо», говоритъ слѣдователь Раскольникову: «что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорію, такъ, пожалуй, еще и въ сто мил-

ліоновъ разъ безобразнѣе дѣло бы сдѣлали»! А мимоходомъ, во снѣ, который привидѣлся Раскольникову въ то время, когда онъ размышляетъ о будущемъ убійствѣ, Достоевскій рисуетъ картину, въ которой онъ ни однимъ словомъ не указываетъ прямо на русскій народъ, но которая, несомнѣнно, въ символическихъ образахъ даетъ самое мрачное представленіе о положеніи русскаго общества. Герой видитъ во снѣ несчастную, тощую, саврасую крестьянскую клячонку, запряженную въ громадную наполненную тяжестями телѣгу, которую она не въ силахъ везти; но грубый собственникъ телѣги хлещетъ ее немилосердно по мордѣ, по глазамъ, сначала однимъ кнутомъ, потомъ, тремя кнутами разомъ; она стонетъ и фыркаетъ, едва дышитъ, тянетъ, останавливается, пробуетъ опять тянуть, не въ силахъ выносить града ударовъ, сыплющихся на нее, и начинаетъ наконецъ, въ безсиліи лягаться. Ее опять бьютъ,—между тѣмъ какъ одни поютъ разгульную пѣснь, другіе бряцаютъ въ бубенъ, а одна бабенка щелкаетъ орѣшки и посмѣивается, — бьютъ ее по мордѣ, «сѣкутъ по глазамъ, по самымъ глазамъ!» Такъ какъ даже страшные удары по спинѣ тяжелою оглоблею оказываются не въ силахъ сдвинуть съ мѣста лошадь, то собственникъ ея вытаскиваетъ желѣзный ломъ и изъ всѣхъ силъ огорашиваетъ съ размаху бѣдную лошаденку. Она въ послѣдній разъ дѣлаетъ попытку дернуть, но ломъ снова со всего размаху ложится ей на спину, она протягиваетъ морду, тяжело вздыхаетъ и умираетъ. Если таково дѣйствительно состояніе общества, то можно заключить изъ этого символическаго описанія, что жить въ немъ, конечно, тяжело!

Раскольниковъ, совершая свое преступленіе, исходилъ изъ одного опредѣленнаго воззрѣнія, которое, правда, не упоминается въ книгѣ, но лежитъ въ основаніи его дѣйствій, именно, что цѣль освящаетъ средства.

Это положеніе, которое глупость ложно истолковывала и которымъ іезуиты злоупотребляли, въ дѣйствительности совершенно вѣрно. Слово «освящаетъ» показываетъ, что въ виду имѣется хорошая, достойная цѣль. Хорошую, достойную цѣль преслѣдуетъ тотъ, кто хочетъ поддержать или произвесть что-нибудь дѣйствительно хорошее, цѣнное.

Предположимъ, что кто-нибудь можетъ достигнуть своей хорошей цѣли только причинивъ страданіе, и предположимъ, что это страданіе слабѣе того, которое произошло бы, если бы онъ не прибѣгнулъ къ этимъ средствамъ... Въ обыкновенной, будничной жизни правильность этого положенія не подвергается сомнѣнію; освоиваешься съ мыслью, что безусловныхъ обязанностей не существуетъ. Общество учитъ: ты не долженъ убивать, но прибавляетъ: за исключеніемъ того, если твое отечество (хорошая цѣль) требуетъ этого, ибо тогда не только дозволительно, но и обязательно убивать возможно большее количество враговъ. Общество учитъ: злое дѣло отрѣзывать другимъ руки или ноги, но прибавляетъ: когда врачъ

отрѣзываетъ руку или ногу съ цѣлью спасти больному или раненому жизнь, тогда добрая цѣль освящаетъ дурное средство.

Для того, чтобы это положеніе было признано справедливымъ, необходимо соблюденіе слѣдующихъ условій: цѣль должна быть хороша.—Эта цѣль не можетъ быть достигнута другими средствами кромѣ такихъ, которые причиняютъ страданія, не можетъ быть достигнута и средствами, возбуждающими меньшее страданіе, чѣмъ употребленныя. Страданія, которыя употребляются, какъ средства, должны быть слабѣе тѣхъ, которыя пришлось бы перенести безъ употребленія этихъ средствъ.

Въ разработкѣ этихъ вопросовъ Достоевскій выказалъ необыкновенную чуткость. Онъ не оспариваетъ собственно правильность хода мыслей Раскольникова, но показываетъ, что послѣдній не ясно сознаетъ свою цѣль, не знаетъ, дѣйствительно ли она хороша, или нѣтъ. Сонѣ онъ говоритъ черезъ мѣсяцъ послѣ убійства, что неувѣренность ни разу не покидала его. Провѣряя себя, онъ находитъ, что убилъ въ сущности не для того, чтобы добыть средства для поддержанія своей матери, и не для того, чтобы сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества, а для того, чтобы узнать, такая ли онъ «вошь», какъ и всѣ остальные, а не человѣкъ, т.-е. въ состояніи ли онъ перешагнуть опредѣленныя границы или нѣтъ. Онъ не увѣренъ въ своей способности преслѣдовать эту неопредѣленную цѣль, которой, согласно его собственному ученію, только одни избранные могутъ добиваться всѣми возможными средствами. Однажды, промучившись цѣлый день надъ вопросомъ: сдѣлалъ бы что-нибудь подобное Наполеонъ?—онъ смутно почувствовалъ, что онъ лично—не Наполеонъ.

Поэтому онъ совсѣмъ падаетъ подъ бременемъ послѣдствій своего поступка. Онъ хотѣлъ убить старую негодную женщину, но едва преступленіе было совершено, какъ необходимость принудила его для избѣжанія открытія своего убійства совершить новое, — умертвить бѣдное добродушное существо, которое никогда не приносило никому зла, а постоянно жертвовало собою для другихъ. Онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ: «О, какъ я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы другой разъ убилъ, если бъ очнулась! Бѣдная Лизавета! Зачѣмъ она тутъ подвернулась... Странно, однакожъ, почему я объ ней почти и не думаю, точно и не убивалъ!... Лизавета! Соня! Бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими!... Милыя!... Зачѣмъ онѣ не плачутъ? Зачѣмъ онѣ не стонутъ?.. Онѣ все отдаютъ... глядятъ кротко и тихо».

Но еще больше этого невольнаго убійства Лизаветы его мучитъ безпокойство, что его могутъ разоблачить, и вся система лицемѣрія, отрицанія и лжи, въ которую онъ невольно впутываетъ себя. Его разумъ недостаточно устойчивъ, чтобы выдержать эти страданія, и, пока онъ не выдаетъ себя, онъ все время стоитъ на границѣ безумія. Въ эпилогѣ, происходящемъ въ Сибири, Достоевскій заставляетъ

надменный и разбитый жизнью характеръ Раскольникова смягчиться и возвращаетъ ему бодрость духа благодаря преданной, выносливой любви Сони. Раскольниковъ «невѣрующій», но Соня вѣритъ. Еще раньше, чѣмъ Раскольниковъ сознался въ своемъ преступленіи, происходитъ трогательная сцена, во время которой Соня читаетъ ему громко изъ новаго завѣта воскресенье Лазаря,—читаетъ среди слабаго дневного свѣта въ жалкой, бѣдной комнаткѣ, освѣщая святыми словами разомъ убійцу, проститутку и евангеліе; между ними—геніальная и чисто христіанская сцена. Въ эпилогѣ, въ которомъ Достоевскій хотѣлъ, очевидно, воспользоваться своими собственными испытаніями въ Сибири, выступаетъ наружу его глубокое религіозное убѣжденіе, какъ убѣжденіе и какъ ученіе. Вообще, читая Достоевскаго, испытываешь часто,—какъ мнѣ говорила недавно одна молодая русская дама,—такое чувство, какъ будто нарисованные имъ образы болѣе проницательны, чѣмъ самъ авторъ ихъ, который не всегда въ состояніи охватить взглядомъ весь объемъ своего труда и все его значеніе. *Брандесъ.*

Ошибочность теоріи Раскольникова, стоящей въ противорѣчіи съ нравственными началами и международнымъ правомъ.

Съ этой-то теоріей Раскольниковъ идетъ убивать старуху — ростовщицу. Онъ бѣденъ, но, впрочемъ, не въ послѣдней крайности: мать и сестра посылали ему нѣсколько денегъ, были кое-какіе уроки; пріятель Разумихинъ предлагалъ переводъ нѣмецкой книги съ платой отъ издателя, по мѣрѣ исполненія работы. Можно было кое-какъ пробиться. Вообще вопросъ о безпомощности студентовъ петербургскаго университета здѣсь не играетъ роли. На эту тему и нельзя было автору налегать, онъ и не имѣлъ этого въ виду. Раскольниковъ и по собственному сознанію не былъ въ безвыходной крайности. Нельзя же тутъ винить отсутствіе помощи со стороны государства. Въ романѣ выведена другая бѣдность, бѣдность чахоточной женщины (Мармеладовой), у которой мужъ пьяница, трое малолѣтнихъ дѣтей, которая, однако, не идетъ на преступленіе. Если старшая дочь Мармеладова и принесла себя въ жертву семьѣ, то и здѣсь причиной былъ пьяница отецъ, котораго надобно содержать, а разумѣется общество не можетъ отпускать денегъ на выпивку; для читателя ясно, что безъ этого пьяницы, дочь осталась бы честной дѣвушкой, мать пристроила бы дѣтей.

Раскольниковъ считалъ себя однимъ изъ тѣхъ сильныхъ, которымъ, по его теоріи, все разрѣшается, которому не за чѣмъ подвергаться лишеніямъ и замедлять достиженіе благосостоянія: на пути стоитъ жалкая старуха — ростовщица, это препятствіе онъ имѣетъ право устранить, т. е. убить ее. Въ одномъ только онъ смущался: дѣйствительно ли онъ принадлежитъ къ категоріи необыкновенныхъ

только страхъ, ненависть и презрѣніе; его преслѣдуетъ вѣчный страхъ: кто самъ растопталъ справедливость, можетъ ли ждать ее отъ другихъ. Всѣ наслажденія жизни закрыты для такого человѣка; даже и матеріальныя блага доставляютъ наслажденіе только при здоровомъ моральномъ состояніи. Все это истины практическія, неопровержимыя. Онѣ ежедневно подтверждаются жизнью, въ частности уголовными лѣтописями. Раскольниковъ любитъ ссылаться на Наполеона, на другихъ великихъ вождей народовъ, созданныхъ, по его словамъ, изъ бронзы, для которыхъ нѣтъ сомнѣній, которые шагаютъ къ своей цѣли чрезъ сотни тысячъ труповъ. Но, во-первыхъ, онъ видно не знаетъ, какова была жизнь Діонисіева тирана, Нероновъ, Ивановъ Грозныхъ,— тогда бы онъ не позавидовалъ имъ. Что касается до Наполеона, то единственный случай нарушенія имъ общаго закона было разстрѣляніе герцога Энгіенскаго. И здѣсь, впрочемъ, онъ имѣлъ за себя много смягчающихъ обстоятельствъ, главное — заблужденіе на счетъ той роли, которую игралъ въ тогдашнихъ событіяхъ несчастный принцъ. И при всемъ томъ, призракъ принца преслѣдовалъ его всю жизнь; на островѣ Елены онъ оправдывался всѣми силами отъ этого пятна. Раскольниковъ считаетъ, что если Наполеонъ велъ войны безъ достаточной причины и истребилъ на нихъ нѣсколько сотъ тысячъ людей, то это все равно, что зарѣзалъ такое число старухъ — ростовщицъ для грабежа. Онъ не знаетъ или не хочетъ знать, что отдѣльное правительственное лицо, будь оно даже Наполеонъ, есть только олицетвореніе цѣлаго народа съ его хорошими и дурными страстями въ данную минуту, что лично онъ безсиленъ, что международная жизнь имѣетъ свои особенности, что война есть suprema ratio народовъ. Общія начала права не всегда могутъ быть прилагаемы и къ великимъ моментамъ жизни государства: Ю. Цезаря за переходъ чрезъ Рубиконъ, Наполеона I за брюмерскій переворотъ или Наполеона III за 2-е декабря нельзя судить по тѣмъ началамъ, которыя существуютъ для нормальной жизни народа. Раскольниковъ говоритъ, что они «упраздняли законъ». Въ томъ-то и дѣло, что не упраздняли. Такъ, напримѣръ, во Франціи въ эпоху брюмерскаго и декабрьскаго переворотовъ, верховнымъ закономъ была воля народа; оба великіе инсургента, разогнавшіе представительныя собранія, именно и опирались на то, что эти собранія перестали выражать волю народа, что такое дѣйствіе они должны были предпринять для спасенія страны, а это и есть верховный законъ (Salus populi suprema lex), и затѣмъ они предоставили суду народа рѣшить правы ли они или нѣтъ; такіе люди принимали дѣло на свою отвѣтственность, они знали хорошо, что если ошибутся въ дѣйствительномъ настроеніи страны, то поплатятся головой. Слѣдственно, разница между переворотами Цезарей и Наполеоновъ и расправой Раскольникова съ ростовщицей, не только разница въ сценѣ, блескѣ, какъ онъ думаетъ, но неизмѣримая качественная разница: у нихъ былъ судья — народъ.

Раскольниковъ, какъ мы видѣли, не хотѣлъ сознать всей чудовищности своей теоріи; онъ предался въ руки правосудія по другому чувству — изъ презрѣнія къ себѣ. Но внутри его, помимо еще его сознанія, природа говорила другое; человѣкъ, который имѣлъ столько великодушія къ несчастнымъ Мармеладовымъ и Сонѣ, который рыдалъ у ногъ матери передъ сдачей себя на каторгу, такой человѣкъ не могъ остаться злодѣемъ; болѣзнь на каторгѣ окончательно сорвали завѣсу съ глазъ: онъ увидѣлъ всю мерзость своей, сатанинской теоріи. Но на этотъ психическій поворотъ, на это всплытіе нравственныхъ началъ, на время придавленныхъ, авторъ только слегка указываетъ. Процессъ перерожденія остался неизслѣдованнымъ.

Свидригайловъ — также лицо съ сильнымъ характеромъ. Онъ также «разрѣшаетъ кровь», хотя вовсе не трудится составлять себѣ теоріи. У него одно всепоглащающее чувство — сладострастіе, доведенное до чудовищныхъ размѣровъ. Онъ изнасиловалъ глухонѣмую дѣвочку; онъ отравляетъ жену, когда та становится препятствіемъ его распутству; онъ готовъ на преступленіе для обладанія Дуней Раскольниковой. Но и ему пришлось разсчитаться съ совѣстью. Онъ, который постоянно игралъ съ женщинами, полюбилъ наконецъ, полюбилъ до самоуничтоженія. Въ рѣшительную минуту, когда эта женщина сказала ему, что его не любитъ и никогда не можетъ полюбить, потому что онъ злодѣй, у него руки опустились, онъ былъ уничтоженъ, онъ не имѣлъ болѣе силъ на преступленіе, не имѣлъ болѣе силъ жить, все поруганное имъ возстало передъ нимъ какъ грозный призракъ, жизнь не могла ему дать болѣе ничего, даже надежды — осталось одно самоубійство. *Лохвицкій.*

Жизненныя условія, въ которыхъ живетъ и дѣйствуетъ Раскольниковъ.

Достоевскій, подобно другому своему знаменитому современнику, И. С. Тургеневу, всецѣло живетъ окружающею дѣйствительностью, наблюдаетъ ее, обобщаетъ и выражаетъ въ художественныхъ образахъ. Оба писателя жадно прислушиваются къ доносящимся до нихъ звукамъ и среди разнохарактерныхъ голосовъ и мелодій умѣютъ уловить господствующій мотивъ и отчетливо передать его своимъ слушателямъ; среди пестрой массы толпящихся явленій оба умѣютъ подмѣтить знаменія времени и приковать къ нимъ вниманіе общества; за неустаннымъ движеніемъ и измѣненіемъ жизни оба умѣютъ отличить главное теченіе во множествѣ побочныхъ и второстепенныхъ, и выслѣдить его, насколько позволяетъ зрѣніе. Для самосознанія общественнаго, для уясненія того, что мы, откуда и куда стремимся, оба писателя проливаютъ много свѣта на самые таинственные уголки дѣйствительности — на тѣ незримые процессы жизни, которыми опредѣляется ея дальнѣйшее направленіе.

Но, несмотря на все сходство задачъ, между тѣмъ и другимъ писателемъ существуетъ великая разница, которая невольно сознается читателемъ, такъ сказать, бьетъ въ глаза, хотя, быть можетъ, и представляетъ нѣкоторыя трудности для опредѣленія. По немногимъ, часто неяснымъ, едва уловимымъ признакамъ Тургеневъ угадываетъ поворотъ въ общественной жизни,— рѣзко и сильно намѣчаетъ дальнѣйшее ея движеніе. На переходной грани отъ стараго къ новому онъ ставитъ очерченную фигуру будущаго, по типу которой станетъ слагаться подрастающее поколѣніе. Его фигура — яркій лучъ свѣта, брошенный въ грядущую темную даль. Таковъ Базаровъ — этотъ законченный образъ, созданный художникомъ въ славное время великихъ реформъ царя-человѣка.— Достоевскій не отмѣчаетъ поворотовъ жизни, не ставитъ граней между старымъ и новымъ; но, отдавшись вполнѣ новому теченію, онъ смѣло уносится вдаль, изслѣдуетъ ея глуби и мели, и предсказываетъ, что ожидаетъ насъ въ будущемъ. Онъ далеко заходитъ впередъ, «упреждаетъ жизнь», слѣдя въ своей творческой мысли за вѣроятною судьбою слагающагося типа; онъ водитъ новаго человѣка въ его будущемъ и предугадываетъ, что съ нимъ станется. Таковъ продуманный, прочувствованный, выстраданный образъ Раскольникова. Если Базаровъ знаменуетъ собою поворотъ въ общественномъ движеніи, если онъ весь въ будущемъ и будущее въ немъ,— скорбная фигура Раскольникова стоитъ на противоположномъ концѣ этого движенія, тамъ, гдѣ оно, исчерпавъ всѣ свои логическія послѣдствія, готовится сдѣлать поворотъ въ другую сторону. Эта фигура кротко-страдальчески смотритъ издали на этотъ путь, по которому предстоитъ пройти Базарову. Два центральные образа литературы 60-хъ годовъ — Базаровъ и Раскольниковъ — отмѣчаютъ собою начало и завершеніе той же самой стадіи въ развитіи одного изъ самыхъ крупныхъ движеній того времени. Если въ первомъ Тургеневъ указываетъ намъ, куда мы пойдемъ,— Достоевскій, во второмъ, предсказываетъ, чѣмъ мы кончимъ; если одинъ опредѣляетъ новое возникающее направленіе,— другой слѣдитъ за его грядущею судьбою. Одинъ освѣщаетъ путь, другой — предостерегаетъ отъ возможныхъ ошибокъ и заблужденій на этомъ пути, точно обозначая подводные камни теченія. Одинъ выводитъ своихъ героевъ въ жизнь, такъ сказать, благословляя ихъ на проложеніе новыхъ путей; другой ведетъ ихъ по этимъ путямъ и горько оплакиваетъ ихъ вольныя и невольныя ошибки. Оттого-то герои Тургенева такъ добры и свѣжи, порою такъ симпатичны, тогда какъ герои Достоевскаго — все люди помятые жизнію, испытавшіе разочарованіе, познавшіе тернія новыхъ путей. Оттого-то изъ произведеній перваго писателя читатель выноситъ свѣтлое и отрадное впечатлѣніе, тогда какъ второй всегда оставляетъ въ немъ осадокъ горечи. Оттого-то, наконецъ, типы Тургенева, воплощающіе въ себѣ слагающуюся дѣйствительность, ближе и понятнѣе намъ характеровъ Достоевскаго, которые часто открываются во всей своей глубинѣ и значеніи только по исполненіи вре-

менъ, когда художественное предсказаніе сбывается. Между Тургеневымъ и Достоевскимъ есть однако и другое, болѣе важное различіе, въ значительной мѣрѣ объясняющее то первое, указанное мною. Это существенное различіе между ними заключается въ способѣ освѣщенія своихъ героевъ. Въ самомъ дѣлѣ, всмотримся: съ какихъ сторонъ подходятъ эти писатели къ изображаемымъ лицамъ, что они выдвигаютъ въ нихъ на первый планъ? Для Тургенева на первомъ планѣ стоитъ *новый* человѣкъ,— представитель, выразитель новаго направленія. Этой главной своей задачи художникъ подчиняетъ всѣ другія требованія. Осуществляя ее, онъ старательно, детально выписываетъ свою фигуру; онъ не пренебрегаетъ ничѣмъ, не упускаетъ ничего, чтобы такъ или иначе оттѣнить въ своемъ героѣ новаго человѣка со всѣми его особенностями. И новый человѣкъ является изъ-подъ его художественной кисти живымъ и законченнымъ изображеніемъ: онъ стоитъ передъ глазами читателя словно изваянный. Но онъ всегда — новый человѣкъ, по преимуществу. Просто человѣкъ, съ его психическою жизнью, съ его глубокими душевными движеніями, отходитъ въ немъ на второй планъ,— заслоняется дѣятелемъ. Подъ характерными чертами послѣдняго вы чувствуете его душу, оживляющую изображеніе; но она скрыта глубоко подъ этими чертами и только минутами просвѣчиваетъ сквозь нихъ. Его герой — прежде всего знаменіе своего времени и потомъ уже просто человѣкъ. Центръ тяжести своей художественной работы Тургеневъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы уловить вѣянія новой жизни и выразить ихъ въ образѣ грядущаго дѣятеля. Этотъ дѣятель является у него живымъ воплощеніемъ движенія, которымъ опредѣлится ближайшее будущее.

Иначе понимаетъ свою задачу Достоевскій. Если позволено такъ выразиться, онъ гораздо менѣе политикъ и гораздо болѣе психологъ. Для него дѣятель, выразитель извѣстнаго направленія — дѣло второстепенное и побочное. На первомъ планѣ стоитъ для него *просто человѣкъ*, съ волнующеюся душою, которая любитъ или ненавидитъ, радуется или страдаетъ. Исторія этой души, стадіи, переживаемыя ею, тѣ измѣненія и превращенія, которыя она испытываетъ подъ вліяніемъ того или другого общественнаго движенія — вотъ тема, которую Достоевскій старательно разрабатываетъ въ своихъ произведеніяхъ. Движеніями общественными собственно, тѣми или другими поворотами жизни, онъ занятъ настолько, насколько они являются преобразующимъ началомъ душевной жизни, отражаясь на всемъ нравственномъ складѣ человѣка. Его герои служатъ поэтому выразителями времени въ той мѣрѣ, въ какой оно кладетъ свою особенную печать на ихъ внутренній, психическій міръ. Центръ тяжести своей художественной задачи онъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы опредѣлить духовныя отклоненія, совершаемыя въ насъ характеромъ времени. Оттого-то, къ слову сказать,— Достоевскій и надѣленъ такимъ даромъ прозрѣнія въ будущее: за видимыми и внѣш-

ними чертами своего героя онъ всегда и прежде всего всматривается въ его человѣческую душу, зорко слѣдитъ за малѣйшими ея измѣненіями и предугадываетъ назрѣвающіе переломы въ ней. Это даетъ ему возможность ясно и отчетливо видѣть дали горизонта, которыя въ глазахъ простого зрителя сливаются въ одну сплошную неопредѣленную полосу.

Провѣрьте эти общія соображенія конкретными фигурами того же Базарова и Раскольникова. Первый — прежде всего герой будущаго, исповѣдникъ и выразитель новыхъ началъ жизни и потомъ уже сторонникъ извѣстныхъ воззрѣній. Человѣческія черты Базарова нужны для того, чтобы пополнить и оживить эту своеобразную фигуру; типическія особенности Раскольникова нужны для того, чтобы оттѣнить, индивидуализировать изображаемую душевную картину. Обѣ фигуры дышатъ жизнію, обѣ принадлежатъ одному времени и одному теченію, но обѣ различны, потому что съ различныхъ сторонъ освѣщаются...

Итакъ, Достоевскій въ своихъ художественныхъ работахъ занятъ больше всего просто человѣкомъ. Это его основная тема, а все остальное—аксессуарныя подробности. Съ этимъ согласны, повидимому, многіе, если не всѣ: но прибавляютъ обыкновенно, что его спеціальность, въ которой онъ не находитъ себѣ соперниковъ — изображеніе психически больныхъ людей. Это, пожалуй, правда, но правда, требующая поясненій. Репутація художника больныхъ людей упрочилась за Достоевскимъ въ особенности послѣ появленія его едва ли не самаго лучшаго романа, «Преступленія и наказанія», въ которомъ онъ ввелъ своихъ читателей въ такія бездны страдающей души, въ какія раньше его никто изъ русскихъ писателей не проникалъ, кромѣ развѣ Гоголя въ «Запискахъ сумасшедшаго». Всѣ мы, конечно, живо помнимъ впечатлѣніе ужаса и нервной дрожи, охватывавшихъ насъ при чтеніи знаменитыхъ страницъ, изображающихъ галлюцинаціи Раскольникова: это такія страницы, которыя могутъ уложить въ постель впечатлительнаго человѣка,— такія, дочитать которыя у многихъ не хватило силъ. И однако же, при всемъ томъ, мнѣніе, что Достоевскій — несравненный мастеръ по изображенію больныхъ людей, требуетъ, говорю, поясненій. Дѣйствительно ли его герои психически-больные люди въ обыкновенномъ значеніи этихъ словъ? — Мнѣ думается, нѣтъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ больны Ставрогинъ съ компаніею, Дмитрій и Иванъ Карамазовы? Что-то больное въ нихъ, несомнѣнно, есть, чувствуется; но дѣйствительная ли это болѣзнь, и не принимаемъ ли мы за болѣзнь нѣчто иное? Какая психическая способность поражена въ Раскольниковѣ, самомъ больномъ образѣ, выношенномъ Достоевскимъ? Можетъ-быть, скажутъ, что онъ маньякъ? Но, вѣдь, тогда маньякомъ пришлось бы назвать всякаго, кто отдается страстно и горячо какой-нибудь мысли и старается осуществить ее. Кромѣ того, если онъ маньякъ, то откуда же позже берутся у него раская-

ніе и мука совѣсти, когда преслѣдуемая цѣль достигнута? — Говорятъ иногда, что герои Достоевскаго болѣютъ волею, что именно эта душевная сила надломлена въ нихъ. Но съ этимъ мнѣніемъ, мнѣ кажется труднѣе согласиться, чѣмъ съ какимъ-либо другимъ: неужели больную волю можно видѣть въ тѣхъ, которые, не озираясь по сторонамъ, не взирая на препятствія, твердо и напроломъ идутъ къ поставленнымъ цѣлямъ? А таковы больные герои Достоевскаго, за малыми исключеніями: въ нихъ можно отрицать многое, но никакъ не волю. Но тогда въ чемъ же болѣзнь?

Болѣютъ они совсѣмъ особеннымъ недугомъ, который коренится въ состояніи ихъ мысли. И этотъ недугъ — не ихъ личный недугъ, а недугъ времени; только въ нихъ онъ обнаруживается сильнѣе рельефнѣе, ярче, нежели наблюдается нами въ рядовыхъ представителяхъ общества. Герои Достоевскаго — люди безъ правилъ, безъ руководящихъ началъ, безъ идеаловъ, а потому — случайные въ своихъ дѣйствіяхъ, неустойчивые въ жизни и глубоко несчастные. Посмотрите повнимательнѣе на длинную вереницу этихъ новыхъ «скитальцевъ» послѣдней формаціи, и, можетъ-быть, вы согласитесь со мною. Вѣяніе времени разрушило въ нихъ религіозныя вѣрованія дѣдовъ, которыя давали смыслъ и цѣль ихъ существованію; отрицательное направленіе мысли, сказавшееся у насъ въ Россіи, съ особою силою, разбило излюбленные идеалы отцовъ, подсказанные западною философіею. Ни вѣры ни философскихъ идеаловъ, т.-е. всего того, что можетъ направлять человѣка въ жизни, что можетъ быть путеводною звѣздою въ его скитаніяхъ по міру. Правда, въ распоряженіе оставалась наука, которая по прежнему совершала свое великое наступательное движеніе; но, холодная и безстрастная, она не давала отвѣтовъ на девять десятыхъ вопросовъ жизни. Она рекомендовала ждать этихъ отвѣтовъ въ далекомъ будущемъ, когда научный анализъ, кропотливый и длительный, соберетъ достаточный матеріалъ для нихъ. Къ несчастью, этотъ добросовѣстный и мудрый совѣтъ не могъ быть принятъ: жизнь не ждетъ и отъ живыхъ людей требуетъ дѣйствій, не справляясь съ тѣмъ — готовы они къ своей роли, или нѣтъ. И вотъ, новые люди, «дѣти», стоятъ передъ вопросами и загадками окружающей ихъ дѣйствительности въ недоумѣніи, предоставленные самимъ себѣ, съ однимъ горькимъ наслѣдствомъ отрицанія и сомнѣнія. Старые кумиры опрокинуты въ ихъ глазахъ, а новые еще не поставлены. Какому богу молиться, въ какую сторону итти и чѣмъ провѣрять свои шаги — имъ не указано. А итти нужно, ибо жить нужно. И вотъ, они пробуютъ сами составлять программы жизни, пытаются пролагать новые пути, спотыкаются на нихъ, падаютъ и страдаютъ, — иногда сильно и тяжело страдаютъ, заставляя страдать вмѣстѣ съ собою и окружающихъ. Общество нерѣдко сердится на нихъ; но едва ли оно право въ своемъ гнѣвѣ: вѣдь оно же безсильно остановить заблуждающихся своимъ авторитетнымъ голосомъ; оно не умѣетъ обратиться къ нимъ съ властнымъ словомъ и указать пути,

которые считаетъ правыми; да, правду говоря, оно и само не знаетъ такихъ путей. Въ его неудовольствіи скрывается безсиліе и себялюбивая досада — затѣмъ нарушаютъ его покой. Оставленныя безъ руководства, молодыя силы ищутъ опоры въ самихъ себѣ. Имъ тягостно, имъ невозможно сидѣть у моря и ожидать погоды, и они пускаются въ отважное плаваніе на свой рискъ и страхъ. Спѣшно установливаются цѣли, спѣшно создаются идеалы, на скорую руку слагаются міровоззрѣнія. И вотъ роковая особенность этихъ цѣлей, идеаловъ и міровоззрѣній: они всегда обнимаютъ только одну изъ многихъ сторонъ жизни и часть возводятъ до значенія цѣлаго. Одинъ строитъ политическій идеалъ, забывая, что на свѣтѣ много другихъ задачъ и вопросовъ, помимо политики; другой увлекается идеаломъ экономическимъ, страстно вѣруя, что вопросомъ распредѣленія земныхъ благъ исчерпывается все содержаніе жизни. Общаго, все захватывающаго идеала — нѣтъ ни у кого; цѣльнымъ, стройнымъ міровоззрѣніемъ, которое давало бы ключъ для разрѣшенія частныхъ положеній, никто не владѣетъ. И выходитъ поэтому, что какъ скоро приходится осуществлять новой идеалъ, дѣло идетъ складно и ладно, пока человѣкъ вращается въ узкой рамкѣ начертанной имъ программы. Но жизнь не страдаетъ той односторонностью, какой можетъ страдать мысль: рано или поздно она вытолкнетъ дѣятеля изъ его программы, поставивъ его лицомъ къ лицу съ другими вопросами, просмотрѣнными имъ; а тутъ онъ вновь несостоятеленъ, вновь безъ всякихъ указаній и руководства. Что правое, что лѣвое, что доброе и злое, нравственное — онъ не знаетъ. Высшаго критерія жизни, пробнаго камня для оцѣнки своихъ отношеній къ ближнимъ — у него нѣтъ, и за предѣлами своей частной программы онъ поневолѣ становится случайнымъ. Правда, онъ дѣлаетъ попытку найти такой общій критерій: онъ строитъ теорію новой нравственности и горячо хватается за нее, какъ за якорь спасенія. «Общее благо», «общая польза» — вотъ верховный руководящій принципъ, — вотъ новый богъ, которому онъ начинаетъ молиться и приносить жертвы. Но онъ скоро приходитъ къ заключенію, что принципъ этотъ недостаточный и богъ ненастоящій: общее-то благо каждый понимаетъ по-своему, какъ по-своему понимаются и тѣ пути, которые ведутъ къ нему. Теорія общей пользы, — разсуждалъ новый русскій скиталецъ, — есть теорія *расчетливыхъ* дѣйствій; а если дѣло идетъ объ расчетѣ, то, конечно, я не уступлю *своего права* разсчитывать и останусь *хозяиномъ* своихъ дѣйствій; основаніе новой нравственности покоится на томъ, что нравственный образъ дѣйствій *выгоднѣе* безнравственнаго. Но если дѣло только въ *выгодѣ*, то, конечно, я не повѣрю *чужому* опредѣленію *моей* выгоды и предпочту *личное* рѣшеніе, хотя бы и рисковалъ за него поплатиться. Но тогда, значитъ, я могу дѣлать все, что нахожу выгоднымъ и цѣлесообразнымъ; тогда, значитъ, и вопроса о средствахъ быть не можетъ: всякое хорошо, если вѣрно ведетъ къ моей цѣли. Но если такъ, то гдѣ же здѣсь правила? Въ этой

нравственности все отъ начала до конца самодѣльное. Это не нравственность, стоящая надо мною, безусловно повелѣвающая; это не та нравственность, которая изрекаетъ свои непреложные глаголы во имя высшей идеи, которую я считаю истинною и святою, въ которую я вношу мое чувство, которая согрѣваетъ и живитъ мое сердце. Это нравственность — дѣло рукъ человѣческихъ, — программа дѣйствій, которая еще нуждается въ моемъ одобреніи и согласіи, которую я, какъ и всякій другой, могъ передѣлывать, пополнять и исправлять. Словомъ, эта-то нравственность, которая въ сущности ничего не предписываетъ и не запрещаетъ, изъ которой можно черпать все, что угодно. Такъ не лучше ли, не прямѣе и не честнѣе ли, просто оставить это старое понятіе о нравственности, — понятіе износившееся и истлѣвшее, — оставить, какъ предразсудокъ, путающій жизни и безцѣльно осложняющій взаимныя отношенія между людьми. Такъ, говорю, — думалъ русскій скиталецъ, и нельзя отказать ему въ логикѣ. Якорь спасенія, за который онъ такъ довѣрчиво ухватился, оказался ненадежнымъ, и пришлось отказаться отъ него. И вотъ, новый человѣкъ по-прежнему остается въ потемкахъ, съ одними своими отрицаніями и сомнѣніями. И бродитъ онъ въ этихъ потемкахъ, пока не наткнется на невидимое препятствіе и не станетъ жертвою неожиданнаго столкновенія. — Таково умственно-нравственное состояніе героевъ въ послѣднихъ романахъ Достоевскаго, — то духовное содержаніе, которое налагаетъ на нихъ печать нѣкоторой своеобразной болѣзненности. Я охарактеризовалъ это содержаніе самыми общими чертами; многое осталось недоговореннымъ, многое можетъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ... Отрицательное состояніе мысли, налагающее особую окраску на душу, — вотъ тотъ недугъ, которымъ страдаютъ герои Достоевскаго. Онъ мастерски освѣщаетъ это состояніе, съ изумительною силою и глубиною изображаетъ тѣ душевныя превращенія, которыя являются послѣдствіемъ отрицанія. Онъ внимательно слѣдитъ за преемственнымъ ходомъ этихъ превращеній въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ. «Преступленіе и наказаніе», «Бѣсы» и «Братья Карамазовы» отмѣчаютъ собою три послѣдовательныя стадіи въ жизни души отрицающей, отмѣчая съ тѣмъ вмѣстѣ три различныя ступени въ развитіи разсматриваемаго общественнаго движенія. Коротко характеризуя эти стадіи, «Преступленіе и наказаніе» выражаетъ собою состояніе *вѣрующаго отрицанія;* «Бѣсы» — состояніе *отрицанія знающаго;* «Карамазовы» — состояніе отрицанія начинающаго *сомнѣваться* въ себѣ. Отношеніе къ отрицательнымъ выводамъ мысли, какъ къ предмету *вѣры*, *знанія и сомнѣнія*, образуетъ три состоянія, смѣняющія другъ друга съ непремѣнною необходимостью, логически развиваясь одно изъ другихъ. Достоевскій пишетъ естественную исторію этой смѣны. Послѣдуемъ за нимъ и взглянемъ на его картины.

Передъ нами бодрая эпоха шестидесятыхъ годовъ, богатая глубокими реформами во всемъ общественно-государственномъ строѣ

нашемъ. Старыя, обветшалыя формы жизни падаютъ; на ихъ мѣс[illegible] устанавливаются новыя и лучшія. Что-то свѣжее и юное носит[illegible] надъ этою зиждительною работой: ясное утро, обѣщающее благ[illegible] дарный день! Наступитъ ли этотъ день дѣйствительно — покаже[illegible] будущее; а пока все ручается за его наступленіе.

Параллельно ломкѣ старыхъ формъ жизни и зиждительной р[illegible] ботѣ новыхъ, совершается другой знаменательный переворотъ въ о[illegible] ласти умственно-нравственной. Вмѣстѣ съ обновленными форма[illegible] жизни думаютъ обновить ея внутреннее, духовное содержаніе. И здѣ[illegible] начинается ломка стараго, и здѣсь видимъ попытки замѣнить э[illegible] старое новымъ и лучшимъ. Попытки, правда, не удаются вполнѣ; н[illegible] есть еще крѣпкая надежда, что онѣ удадутся впослѣдствіи. Да[illegible] и тѣни сомнѣнія въ будущемъ успѣхѣ пока нѣтъ; въ настоящемъ ж[illegible] всѣ усилія направлены къ тому, чтобы снести ветхія зданія [illegible] очистить мѣсто для будущихъ сооруженій. Когда мѣсто будетъ очи[illegible] щено,—найдутся и архитекторы, и рабочіе, и строительный матеріалъ

При такихъ условіяхъ живетъ и дѣйствуетъ главный герой «Преступленія и наказанія», Раскольниковъ. Онъ—человѣкъ своего времени вполнѣ и совершенно, насколько оно выразилось въ своемъ новомъ движеніи. Онъ не только повернулся спиной къ отцовскимъ вѣрованіямъ, не только не дорожитъ прежними основами жизни, но считаетъ святымъ своимъ призваніемъ, — дѣломъ служенія истинѣ и человѣчеству, — работать надъ разрушеніемъ этихъ основъ и вѣрованій. Борьба съ старою ложью, ломка старыхъ формъ — вотъ идея, которая страстно овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. А человѣкъ онъ стойкій и послѣдовательный: коли онъ додумался до борьбы и ломки,—ну, значитъ, дѣйствительно, нужно ломать и бороться, принимаясь не медля за это необходимое дѣло. Пока онъ еще не задумывается о томъ, что же потомъ-то будетъ, что возведетъ онъ на мѣсто поломаннаго. Для него ясно, что будетъ во всякомъ случаѣ лучше, что бы тамъ ни было, ибо хуже того, что есть, ничего быть не можетъ. Онъ весь поглощенъ своею разрушительной задачей, отуманенъ ею и уже ничего не видитъ болѣе. Онъ вѣритъ и крѣпко вѣритъ, — въ спасительное значеніе разрушенія. Спѣшно, на скорую руку, составляетъ онъ планъ своей дѣятельности: онъ убьетъ вотъ эту гадкую старуху—ростовщицу, которая сосетъ кровь своихъ ближнихъ; онъ уберетъ эту гадину съ бѣлаго свѣта и очиститъ мѣсто для другихъ; онъ разумно воспользуется ея деньгами, нажитыми неправымъ стяжаніемъ, онъ облагодѣтельствуетъ ими своихъ страждующихъ братьевъ. Планъ готовъ, и что же можетъ остановить Раскольникова отъ его выполненія? Нравственность? Но вѣдь нравственность въ лучшемъ случаѣ — только общее благо: именно опираясь на эту вѣрную идею, онъ и долженъ убить ростовщицу-старуху. Если признаешь идею,— имѣй мужество мириться со всѣми ея практическими послѣдствіями; а не ясно ли, что, убравъ эту *одну* старушонку, онъ сдѣлаетъ доброе

дѣло для *многихъ*? Но можетъ-быть иная нравственность запрещаетъ такой образъ дѣйствій? Однако, какая же? Иной нравственности нѣтъ; ее сочинили люди, да и, сочинивъ, опутали ею только однихъ слабыхъ. Сильныя, избранныя натуры не слѣдуютъ этой нравственности, безнаказанно попираютъ ее. Вотъ, Наполеонъ I десятками, сотнями тысячъ губилъ людей ради своего ненасытнаго честолюбія; а между тѣмъ, за эти кровавые подвиги его награждаютъ безсмертіемъ, окружаютъ имя его ореоломъ вѣчной, неувядающей славы. Такъ думаетъ Раскольниковъ, и человѣкъ, вѣрный себѣ, онъ убиваетъ избранную имъ жертву.—Дѣло сдѣлано; руки обрызганы кровью ближняго. Но тутъ случается съ Раскольниковымъ то чего онъ никакъ не ожидалъ: наперекоръ ясной и отчетливой логикѣ, наперекоръ неоспоримымъ доводамъ разума, въ немъ просыпается совѣсть, лютымъ звѣремъ накидывается на его душу, гложетъ и терзаетъ ее, доводитъ несчастнаго до галлюцинацій,—до страшныхъ видѣній наяву, отъ которыхъ у него поднимаются волосы дыбомъ. И все это дѣлаетъ совѣсть, которую онъ считалъ предразсудкомъ? Съ его точки зрѣнія, это, очевидно, непослѣдовательность; это—непростительная слабость, и позднѣйшіе герои, какъ увидимъ далѣе, уже не будутъ страдать этой слабостью. Но отчего она есть въ Раскольниковѣ,—твердомъ и сильномъ человѣкѣ?—Да именно оттого, что онъ еще новичокъ въ дѣлѣ отрицанія,—первая ласточка, вылетѣвшая изъ своего гнѣзда. Еще слишкомъ близко и свѣжо въ памяти время, когда онъ самъ горячо вѣрилъ въ то, что теперь отрицаетъ. «Люби своего ближняго, каковъ бы онъ ни былъ; ты не судья ему и еще менѣе палачъ!» Звучитъ въ его ушахъ старый, глубоко запавшій въ душу завѣтъ. И Раскольниковъ падаетъ и гибнетъ подъ тяжестью обломковъ разрушеннаго имъ зданія. Однако его паденіе и гибель никого не образумятъ и не спасутъ: по его слѣдамъ пойдутъ еще многіе и многіе. Да и не можетъ его горькій опытъ быть урокомъ для этихъ многихъ: во-1-хъ, человѣкъ все же не выстоялъ до конца и, во-2-хъ, кто же ему велѣлъ останавливаться на нелѣпомъ планѣ убійства ничтожной старухи? Можно придумать тысячу иныхъ плановъ, вѣрнѣе ведущихъ къ цѣли водворенія счастья между людьми. И планы будутъ составляться и проводиться; только будетъ ли счастье-то?—Но, оставляя въ покоѣ другихъ героевъ, спросимъ, что больше всего характеризуетъ Раскольникова?—Онъ, конечно, отрицатель, но такой, который пламенно, страстно вѣритъ въ свое отрицаніе, хотя и хоронитъ его подъ внѣшними чертами нѣкоторой замкнутости. Эта вѣра въ силу и истину своего отрицанія составляетъ его своеобразную особенность. Вѣрить въ отрицаніе, вѣрить въ невѣріе,—тутъ есть внутреннее противорѣчіе; но пока оно ускользаетъ отъ его глазъ. Пока онъ вноситъ въ свое отрицаніе то же чувство, тотъ же сердечный порывъ, съ какимъ относится религіозный человѣкъ къ предмету поклоненія.

Звѣревъ.

Соціальныя и психологическія обоснованія „Преступленія и наказанія“.

Въ 1866 году вышло въ свѣтъ знаменитое «Преступленіе и наказаніе», это грандіозное произведеніе, стоящее особнякомъ не только въ русской, но и въ міровой литературѣ и по своей задачѣ и по исполненію. Впрочемъ, убійства и грабежи, столь обычные во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, давно были предметомъ талантливыхъ и бездарныхъ писателей; знаемъ мы убійства и грабежи идейные, какъ въ «Разбойникахъ» Шиллера, въ повѣсти «Дубровскій» Пушкина; но Достоевскій затронулъ это явленіе съ особенной точки зрѣнія, съ какой не затрогивалъ его еще никто. Идея для такихъ убійствъ по выраженію одного критика (Брикнера), носилась въ окружающемъ воздухѣ; совершались убійства студентами въ Парижѣ и Петербургѣ; но никому изъ талантливыхъ писателей не приходила въ голову мысль всмотрѣться въ это явленіе, углубиться въ выясненіе общественныхъ и личныхъ причинъ и побужденій, вызывавшихъ подобнаго рода явленіе, чтобы дать имъ соціальныя и психологическія обоснованія. Для обычнаго взгляда студентъ Раскольниковъ двойной убійца и грабитель; онъ заслуженно преслѣдуется правосудіемъ, присуждается къ каторжнымъ работамъ; но читатель чувствуетъ, что предъ нимъ преступленіе необычайное, не вмѣщающееся въ обычныя рамки убійствъ съ цѣлью грабежа. Не говоримъ уже о томъ, что Раскольниковъ не воспользовался и не стремился воспользоваться въ личныхъ интересахъ награбленнымъ; но для читателя ясно, что студентъ Раскольниковъ даже не испорченный и не дурной человѣкъ. Онъ необычно, нервно отзывчивъ на чужое и не заслуженное горе и страданіе, готовъ облегчить это горе и страданіе своимъ участіемъ и пожертвованіемъ послѣднихъ копеекъ, имѣющихся въ его распоряженіи. Нужна была обстановка большого города, нужно было исключительное направленіе идей эпохи, чтобы созрѣло и дошло до осуществленія убійство ростовщицы, этой, по выраженію Раскольникова, «вредной ничтожности, паразита, высасывающаго послѣдніе жизненные соки бѣдноты». Но паразитъ этотъ носилъ человѣческое имя, имѣлъ, подобно всѣмъ, какъ сказалъ бы Базаровъ, печень и селезенку, былъ самъ жертвою соціальныхъ порядковъ окружающей среды; подавленная своею ограниченностью, эта человѣческая «ничтожность» не смогла подняться до болѣе возвышеннаго пониманія жизни и до болѣе достойнаго примѣненія своихъ силъ; но для нервнаго наблюденія Раскольникова это все-таки было бездушное и эгоистическое насѣкомое. Обитатель чердаковъ и мансардъ, созерцатель гнетущей нищеты, незаслуженной и безсильной оказать сопротивленіе давленію сильнаго, ночной путешественникъ по опустѣвшимъ улицамъ столицы, въ эту пору наполняемой жертвами сытой похоти и оборванными дѣтьми, высланными обита-

телями подваловъ за подачкой къ тѣмъ, у кого еще не совсѣмъ окаменѣло сердце, — дѣтьми, которымъ потомъ предстоитъ быть свидѣтелями пьянства и разврата на собранныя ими же, дѣтьми, деньги,— Раскольниковъ въ минуты празднаго и тягостнаго уединенія болѣзненно и мучительно работаетъ надъ разрѣшеніемъ міровыхъ проблемъ о переустройствѣ общества въ цѣляхъ созданія общаго благоденствія и счастія. Онъ чувствуетъ, что медленный путь совершенствованія общественныхъ отношеній посредствомъ успѣховъ наукъ и просвѣщенія рисуетъ общественное благополучіе въ такомъ неуловимомъ отдаленіи, которое совсѣмъ не отвѣчаетъ его нетерпѣливымъ порывамъ. Но какъ ускорить этотъ процессъ? Вонъ тамъ въ подвалѣ ютится голодная семья пьяницы Мармеладова, который высасываетъ у жены и дѣтей послѣднія средства самозащиты отъ холода и голода. Старшая дочь Сонечка пошла на улицу, чтобы цѣною своего позора спасти отъ голодной смерти чахоточную мачеху и голодныхъ сестеръ. Не могутъ же они ожидать мірового благополучія въ отдаленномъ будущемъ, когда неумолимый голодъ требуетъ немедленной пищи, а холодъ немедленнаго прикрытія тѣла. Мы чувствуемъ, что «отвлеченный» человѣкъ и доктринеръ, какъ лбомъ въ стѣну упирается въ вопросъ о преступленіи. Вѣдь вотъ убей я эту зловредную старушонку, сколько будетъ обезпечено и утѣшено нищеты, сколько отерто слезъ, сколькимъ даровитымъ юношамъ будетъ открыта возможность окончить образованіе и быть въ будущемъ полезными обществу! Но, вѣдь, это будетъ преступленіе! А что такое преступленіе? Наполеонъ во имя своей идеи проливалъ человѣческую кровь, какъ воду, безъ угрызеній совѣсти, и былъ увѣнчанъ современниками и потомствомъ, какъ величайшій геній. И у нашего юнаго отшельника возникаетъ заманчивая теорія дѣленія людей на обыкновенныхъ смертныхъ, предназначенныхъ къ покорному исполненію чужихъ велѣній, и людей высшаго порядка, сверхчеловѣковъ, для которыхъ ни общія понятія ни общій порядокъ не обязательны. Возникалъ самъ собою вопросъ, что представляетъ изъ себя онъ, Родіонъ Романовичъ Раскольниковъ, тварь дрожащую или вотъ этого сверхчеловѣка? Этотъ вопросъ гвоздемъ засѣлъ въ его головѣ, заслонилъ собою живыя явленія дѣйствительности, то людское страданіе, которое выдвинуло самую идею убійства, необходимость осторожности, предусмотрительности и первоначальную цѣль преступленія. Входя къ ростовщицѣ, онъ даже не претворилъ за собою двери, въ которую поэтому свободно вошла сестра ростовщицы, «милая, съ кроткими глазами» — Елизавета, которая дѣлается второю, непредвидѣнною жертвою преступленія. Машинально, какъ во снѣ, набиваетъ Раскольниковъ карманы наименѣе цѣнными вещами.

Необходимо рѣшительно сказать, что міровая литература не имѣетъ произведенія, въ которомъ мы находили бы такое мастерское воспроизведеніе преступленія, совершеннаго интеллигентнымъ человѣкомъ, неспособнымъ на такое жестокое дѣло. А душевно

состояніе Раскольникова послѣ убійства, когда онъ еще глубже уходитъ въ себя, бѣжитъ человѣческаго общества, чуждается ласки и общенія съ самыми дорогими и близкими людьми: матерью и сестрою, пріѣхавшими въ Петербургъ видѣть дорогого Родю, когда онъ, разбитый, нравственно измученный, но все еще гордый своею идеею сверхчеловѣка, несетъ свою исповѣдь Сонечкѣ Мармеладовой, этому кроткому, чистому при своемъ порокѣ существу, общественному отщепенцу, подавленному тяжестью общественнаго презрѣнія?! Да, въ русской литературѣ романъ Достоевскаго занимаетъ особое мѣсто, какъ явленіе невиданное, неожиданное. А второстепенныя лица романа, изъ которыхъ каждое необходимо для цѣлаго и достойно тщательнаго вниманія. Помѣщикъ Свидригайловъ, на все дерзающій и безнаказанный сладострастникъ, обезпечивающій семью Мармеладовыхъ,—Сонечка и самъ безудержный пьяница Мармеладовъ, съ его твердой вѣрой и надеждой на Божіе милосердіе въ день страшнаго суда Господня? Достоевскій разрушаетъ всѣ принятыя понятія, устанавливаетъ новую оцѣнку преступнаго и позорнаго, дозволеннаго и недозволеннаго.

Трудно сказать, имѣлъ ли Достоевскій какія-либо побочныя, второстепенныя цѣли при созданіи своего великаго произведенія, напр, казнить въ лицѣ Раскольникова западника, оторвавшагося отъ родной почвы и народа. Несомнѣнно, что на почвѣ старорусскихъ, до-петровскихъ понятій такого явленія возникнуть не могло; вѣрно и то, что отношеніе Достоевскаго къ Западной Европѣ съ годами рѣзко измѣнилось. По выраженію одного изъ западно-европейскихъ историковъ литературы (Брандеса), Достоевскій «истинный скифъ, настоящій варваръ безъ единой капли классической крови въ жилахъ»[1]). Чѣмъ болѣе крѣпнетъ его талантъ, чѣмъ болѣе уясняются для него личныя его воззрѣнія на текущія событія русской жизни, тѣмъ тверже онъ примыкаетъ къ роднымъ историческимъ устоямъ, какъ онъ ихъ понималъ, тѣмъ сильнѣе сближался онъ съ воззрѣніями славянофиловъ. По его мнѣнію, въ вопросѣ объ историческихъ судьбахъ Россіи русскіе люди брели ощупью; но славянофилы все-таки знали во сто разъ болѣе западниковъ». Воззрѣнія эти Достоевскій яснѣе всего формулировалъ въ публицистическихъ статьяхъ своихъ въ «Гражданинѣ» 1873 года и въ «Дневникѣ писателя», который имъ сталъ издаваться съ 1866 года. Въ статьяхъ этихъ слышится громкій призывъ увѣровать въ свой народъ, какъ великій, богоизбранный, въ исключительное міровое призваніе Россіи въ русское православіе, какъ единственно истинное истолкованіе и храненіе основъ и сущности христіанства въ противоположность искаженія его на Западѣ Европы, въ особенности въ римскомъ католицизмѣ, въ высоту чувства христіанскаго братства, присущаго духу русскаго народа въ большей мѣрѣ, чѣмъ какому-либо другому народу во всей

---

[1]) Георгъ Брандесъ. Литературныя характеристики. Кіевъ, 1903 г. стран. 154.

поднебесной. Но тѣ же воззрѣнія рѣзко и отчетливо выступаютъ и въ художественныхъ произведеніяхъ этого періода: «Идіотѣ», «Бѣсахъ», «Подросткѣ» и съ особенною силою въ знаменитой поэмѣ «Великій инквизиторъ» въ «Братьяхъ Карамазовыхъ».

Малининъ.

Цѣпь идей на соціальной почвѣ, приведшихъ Раскольникова къ преступленію, нарушившему нравственный законъ и требующему искупленія.

Несчастный Раскольниковъ, какъ и подобаетъ ученому человѣку нашего времени, мучится надъ вопросомъ соціальнымъ. Его умъ до того поглощенъ этимъ вопросомъ, что ему уже некогда заняться своимъ собственнымъ положеніемъ, а онъ дошелъ до такого бѣдственнаго положенія, что даже хозяйкина кухарка Настасья стала надъ нимъ задумываться. Но Раскольниковъ на это никакого вниманія не обращаетъ; ему не до того. Чѣмъ бѣдственнѣе собственное его положеніе, тѣмъ сильнѣе чувствуется имъ настоятельная необходимость разрѣшенія соціальнаго вопроса. Развѣ не отъ соціальнаго вопроса зависитъ и собственная его участь? До сихъ поръ въ житейской практикѣ руководились такимъ правиломъ: каждый пусть заботится о самомъ себѣ; когда наибольшее число гражданъ, — каждый въ отдѣльности, будутъ благоденствовать, тогда и всѣмъ будетъ хорошо. Но, слѣдуя такому правилу, человѣкъ становится сухимъ, бездушнымъ эгоистомъ, не только равнодушнымъ къ несчастію своего ближняго, но и обращающимъ таковое въ свою пользу. А когда эгоизмъ господствуетъ въ обществѣ, то что остается дѣлать тогда слабосильнымъ, немощнымъ, изнемогающимъ подъ непосильнымъ бременемъ нищеты? Для таковыхъ сохраненіе своего человѣческаго достоинства становится невозможнымъ, ибо всѣми средствами, не щадя ничего, приходится отстаивать свое существованіе. «Бѣдность не порокъ», говоритъ Мармеладовъ, «это истина. Знаю я, что и пьянство не добродѣтель, и это тѣмъ паче. Но нищета, милостивый государь, нищета—порокъ-съ. Въ бѣдности вы еще сохраняете свое благородство врожденныхъ чувствъ, въ нищетѣ же я первый самъ готовъ оскорбить себя. И отсюда питейное». Въ особенности несчастнымъ женщинамъ, а наиболѣе дѣвушкамъ, худо приходится въ такомъ обществѣ, гдѣ каждый о себѣ только думаетъ, гдѣ эгоизмъ едва ли не возведенъ въ законъ. Въ такомъ обществѣ дѣвушки, обыкновенно, встрѣчаютъ въ лицѣ мужчинъ не покровителей и защитниковъ своей невинности, а хищниковъ, помышляющихъ только о томъ, какъ бы сдѣлать ихъ жертвами своей низкой преступной страсти[1]). Самый законъ обращается въ орудіе хищничества, жестокости, вообще — эгоизма. При такомъ состояніи общества,

---

[1]) См. «Преступленіе и наказаніе», ч. I, гл. 4.

что должны дѣлать противъ общественнаго зла люди негодующіе, которымъ на каждомъ шагу приходится быть свидѣтелями фактовъ, возмущающихъ душу? Ужели ограничиться ролью празднаго созерцателя человѣческой жестокости и несправедливости? Нѣтъ, необходимо дѣйствовать, но какъ? Что, если у человѣка, чувствующаго необходимость противодѣйствовать злу, для дѣйствія не оказывается никакихъ средствъ? Какую помощь другимъ можетъ оказать тотъ, кто самъ находится въ положеніи безпомощномъ и нуждается въ помощи другихъ? Нужно, очевидно, добыть средства, необходимыя для того, чтобы дѣйствовать. Но законные пути къ добыванію средствъ всѣ закрыты. Уроки — вотъ единственный способъ добыванія средствъ, доступный Раскольникову. Но этотъ способъ оказался недостаточнымъ даже, чтобы обезпечить его существованіе. Если безсовѣстные люди злоупотребляютъ закономъ для своихъ корыстныхъ цѣлей, то почему не можетъ быть допущено (какъ исключительный случай) нарушеніе закона (преступленіе) для общеполезной цѣли? Тѣ самые, кто постановляютъ новые законы и отмѣняютъ прежніе, развѣ не могутъ быть названы нарушителями закона? Законъ охраняетъ прежде всего жизнь каждаго члена общества. Но сколько гибнетъ молодыхъ много обѣщающихъ жизней жертвою произвола людей, для удовлетворенія своихъ низкихъ страстей ничѣмъ не стѣсняющихся? И законъ въ подобныхъ случаяхъ не только оказывается безсиленъ, напротивъ, именно безсовѣстность, жестокость и насиліе прикрываются авторитетомъ закона. Вмѣсто того, чтобы гибнуть молодымъ, едва только расцвѣтшимъ силамъ, въ неравной борьбѣ, съ неисходною нуждою, пусть лучше погибнетъ существо уже отжившее свой вѣкъ, никому не нужное, не только не приносящее никому пользы, напротивъ, много дѣлающее вреда! Конечно, лишить жизни человѣка самовольно, каковъ бы ни былъ человѣкъ, и овладѣть его имуществомъ, — это всегда и вездѣ признавалось и признается тяжкимъ преступленіемъ. Но, вѣдь, преступленіе вообще состоитъ въ нарушеніи закона, а, какъ выше сказано, нарушеніе закона дозволяютъ себѣ многіе, и притомъ не для какой-либо доброй, общеполезной, а для дурной цѣли, и это дѣлается безнаказанно: при томъ же, что также уже замѣчено выше, постановляющіе законъ сами же первые являются его нарушителями. Убійство есть преступленіе не только по человѣческому, но и по божескому закону; но законъ божественный, о которомъ возвѣщаетъ религіозное ученіе, охраняется не какою-либо внѣшнею силою, а только доброю совѣстью, воспитанной въ послушаніи закону Божію. Мораль же соціологическая ничего не хочетъ знать о совѣсти; она смотритъ на совѣсть какъ на простое мнѣніе человѣка о самомъ себѣ и своихъ поступкахъ, которое у разныхъ народовъ и даже у разныхъ лицъ бываетъ различно. Совѣсть — субъективное, а не объективное, и поэтому уже не надежное мѣрило нравственности. Отбросивъ же совѣсть при чемъ мы останемся? Христіански воспитанная совѣсть побу—

ждаетъ жизнь каждаго человѣка признавать неприкосновенною. Съ точки же зрѣнія соціологической жизнь каждаго человѣка оцѣнивается на основаніи ея полезности или безполезности для общества. Итакъ, если для пріобрѣтенія средствъ къ общеполезной дѣятельности приходится пожертвовать жизнью человѣка, признаннаго безполезнымъ и даже вреднымъ для общества, то, съ устраненіемъ всѣхъ указанныхъ выше препятствій къ этому, ничего болѣе не требуется, какъ только смѣлость, рѣшительность. При тѣхъ сужденіяхъ объ этомъ предметѣ, какія выше изложены, что другое можетъ мѣшать обыкновеннымъ людямъ, въ случаѣ надобности, перешагнуть черезъ трупъ человѣка, кромѣ обычнаго у такихъ людей недостатка смѣлости, рѣшительности? Люди же, выдающіеся среди другихъ, стоящіе выше толпы, обыкновенно, отличаются смѣлостію и рѣшительностію въ преслѣдованіи разъ намѣченной цѣли.

Такова цѣпь идей, приведшая Раскольникова къ совершенію убійства. Главное фундаментальное значеніе въ этомъ ряду мыслей, несомнѣнно принадлежитъ, усвоенной имъ привычкѣ разсматривать и обсуждать вопросы нравственные исключительно съ точки зрѣнія соціальной. Для него, за отсутствіемъ вѣры въ Бога и безсмертіе души, и невозможна была иная точка зрѣнія при обсужденіи нравственныхъ вопросовъ, кромѣ соціально практической или, иначе, утилитарной. При отсутствіи вѣры, онъ, конечно, не могъ уже давать никакого вѣса голосу совѣсти въ своихъ сужденіяхъ, хотя, конечно, какъ и оказалось впослѣдствіи, въ немъ этотъ голосъ не могъ быть заглушенъ совершенно.

Послѣ того какъ преступленіе было сдѣлано, совѣсть, которую Раскольниковъ, когда обдумывалъ свое преступное дѣло, вовсе не принималъ въ расчетъ, заговорила въ немъ съ такою ужасающею силою, что всѣмъ онъ казался или больнымъ или помѣшаннымъ; онъ до того былъ потрясенъ и раздавленъ поднявшимся въ его душѣ чувствомъ страха и ужаса, что готовъ былъ тотчасъ же пойти и объявить о своемъ преступленіи; изъ этого видно, что въ сущности не страхъ за свою безопасность мучилъ его, хотя мысль его была постоянно занята тѣмъ, какъ бы скрыть всѣ слѣды своего преступленія. Напряженныя усилія скрыть слѣды своего преступленія, а также мучительная досада Раскольникова о томъ, что онъ оказался на дѣлѣ человѣкомъ зауряднымъ, обыкновеннымъ, а не такимъ, какимъ хотѣлъ быть (смѣлымъ, рѣшительнымъ), это все лишь косвенные признаки пробудившейся совѣсти. Иначе было бы непонятно, зачѣмъ тянуло Раскольникова пойти и объявить о своемъ преступленіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ почувствовалъ свою отчужденность отъ людей, ибо то, что онъ сдѣлалъ, какъ бы порвало естественную связь его съ людьми, и ему сдѣлалось теперь вдругъ очевидно, что онъ совершенно одинокъ и ничего нѣтъ общаго у него съ другими окружающими его людьми. «Мрачное ощущеніе мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія вдругъ сознательно сказалось въ его

душѣ». Все это только послѣдствія того, что совѣсть заговорила и возмутилась противъ злодѣянія. А что считать ближайшимъ непосредственнымъ проявленіемъ совѣсти, ея важнѣйшимъ, основнымъ признакомъ?

Извѣстенъ разсказъ о томъ страшномъ снѣ, который видѣлся Раскольникову незадолго до преступленія. Почему этотъ сонъ названъ страшнымъ? Потому что онъ оказался предзнаменованіемъ преступленія, совершеннаго Раскольниковымъ. Убита была лошадь никуда негодная, которая только досаждала своему хозяину тѣмъ, что изводила кормъ, а работы отъ нея не было никакой. Но что за дѣло было до того самому Раскольникову: онъ былъ пораженъ видомъ бѣдной измученной лошади, ему было безконечно жаль несчастнаго животнаго, и онъ вознегодовалъ противъ безсовѣстнаго мучителя. Это чувство жалости было очень мучительно для самого Раскольникова: недаромъ же онъ проснулся весь въ поту, объятый ужасомъ, и остался доволенъ, что то былъ только сонъ. Быть, можетъ, также жаль ему стало старухи и ея невинной сестры, которыхъ онъ лишилъ жизни. Но почему же это чувство жалости не удержало его руки отъ преступленія? Не долженъ ли онъ былъ почувствовать къ нимъ сожалѣніе въ моментъ самаго преступленія, когда только еще приступалъ къ нему? Быть-можетъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ не обладалъ яснымъ сознаніемъ во время совершенія преступленія, былъ въ состояніи болѣзненнаго припадка, и теорія Раскольникова о томъ, что преступникъ, до начала преступленія и въ моментъ преступленія, находится въ болѣзненномъ состояніи, оправдалась такимъ образомъ на немъ самомъ? Но почему же въ такомъ случаѣ онъ утратилъ всякую жалость къ тѣмъ юнымъ и невиннымъ жертвамъ человѣческаго эгоизма, ради которыхъ рѣшился даже на преступленіе и пересталъ вовсе о нихъ думать? Ужели жалость къ несуществующей уже старушонкѣ (о которой онъ выражается, что убилъ вошь, а не человѣка) могла быть столь велика, что совершенно вытѣснила подобное же чувство къ другимъ, болѣе достойнымъ состраданія и жалости лицамъ? «Въ какой-то глубинѣ, внизу, гдѣ-то чуть видно подъ ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежнія мысли и прежнія задачи, и прежнія темы, и впечатлѣнія, и онъ самъ, и все, все... Казалось, онъ улеталъ куда-то вверхъ, и все исчезало въ глазахъ его»... (стран. 108, изд. 7-е 1884 г.). Да безъ сомнѣнія, Раскольникову жаль сдѣлалось, безконечно жаль, жаль до боли только не старухи, а жаль того, что онъ могъ рѣшиться на такое дѣло и привелъ свое безумное рѣшеніе въ исполненіе. Вотъ о чемъ онъ сожалѣетъ теперь, и сожалѣніе объ этомъ до того мучительно и до того наполняетъ его душу, что все, о чемъ онъ такъ усиленно думалъ прежде, всѣ его расчеты, предположенія — все это провалилось какъ бы сквозь землю. Вотъ онъ, томимый страхомъ, какъ бы его не уличили, всю свою добычу спряталъ въ такомъ мѣстѣ, что уже не могло быть сомнѣнія, что онъ въ пол-

ной безопасности. «Схоронены концы, нѣтъ уликъ». И онъ засмѣялся, и долго смѣяся. Но сейчасъ же послѣ того другія мысли полѣзли ему въ голову. «Всѣ мысли его кружились теперь около одного какого-то главнаго пункта,—и онъ самъ чувствовалъ, что это дѣйствительно такой главный пунктъ и есть, и что теперь, именно теперь, онъ остался одинъ на одинъ съ этимъ главнымъ пунктомъ». «Вдругъ онъ остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопросъ разомъ сбилъ его съ толку и горько изумилъ его: Если дѣйствительно все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ же образомъ до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ, и не знаешь, что теперь досталось, изъ-за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое (а прежде это самое дѣло казалось геройскимъ) дѣло сознательно шелъ? Да, вѣдь, ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, кошелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ ты тоже еще не видѣлъ... Это какъ же?» «Онъ, впрочемъ, это и прежде зналъ, и совсѣмъ это не новый вопросъ для него». Достоевскій этимъ своимъ замѣчаніемъ, что Раскольниковъ еще когда только рѣшался на преступное дѣло, то напередъ зналъ уже его безвыходность, безполезность для себя, повидимому, хочетъ подтвердить догадку самого Раскольникова, будто преступникъ невольно, по какому-то непонятному влеченію, совершаетъ преступленіе разъ задуманное, хотя бы и не было расчета принятое рѣшеніе приводить въ исполненіе. Но объ этомъ рѣчь будетъ впереди. Для насъ важны послѣдующія за тѣмъ слова самого Раскольникова. «Это оттого, что я самъ очень боленъ,—угрюмо рѣшилъ онъ наконецъ, — я самъ измучилъ и истерзалъ себя, и самъ не знаю, что дѣлаю... И вчера, и третьяго дня, и все это время терзалъ себя... Выздоровлю и... не буду терзать себя... А ну, какъ совсѣмъ и не выздоровлю? Господи! Какъ это мнѣ все надоѣло! Онъ шелъ, не останавливаясь. Ему ужасно хотѣлось какъ-нибудь разсѣяться, но онъ не зналъ, что сдѣлать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущеніе овладѣвало имъ все болѣе и болѣе почти съ каждой минутой: это было какое-то безконечное, почти физическое отвращеніе ко всему, встрѣчавшемуся и окружающему, упорное, злобное ненавистное. Ему гадки были всѣ встрѣчные, — гадки были ихъ лица, походка, движенія. Просто наплевалъ бы на кого-нибудь, укусилъ бы, кажется, если бы кто-нибудь съ нимъ заговорилъ» (ч. II, гл. 11, стран. 104 тамъ же). Чѣмъ больше онъ занимался прежде въ своихъ мысляхъ другими людьми, чѣмъ больше мечталъ о своей будущей общеполезной дѣятельности, чѣмъ болѣе его занимали вопросы о благѣ общества и о томъ, чѣмъ и какъ помочь несчастнымъ жертвамъ нищеты и порока, а торжествующее зло поражать и искоренять сколько возможно, тѣмъ ему противнѣе теперь вспомнить все это, и тѣмъ ненавистнѣе теперь сдѣлалось для него все то, чѣмъ прежде онъ

такъ интересовался и надъ чѣмъ такъ задумывался. Понятно почему. Теперь онъ если и не понялъ, то почувствовалъ всѣмъ существомъ своимъ, что для каждаго человѣка ничего нѣтъ и не можетъ быть важнѣе собственной души, что первый и главный вопросъ жизни для каждаго состоитъ въ томъ, какъ сохранить чистоту души. Одно лишь теперь мучитъ и терзаетъ Раскольникова,—зачѣмъ онъ осквернилъ себя такимъ позорнымъ, ненавистнымъ дѣломъ, зачѣмъ обременилъ свою совѣсть тяжкимъ грѣхомъ? Мы сказали бы, что Раскольниковъ раскаивается въ преступленіи, которымъ онъ себя запятналъ, но дѣло въ томъ, что онъ не хочетъ раскаиваться; онъ всѣми силами противится раскаянію, но чѣмъ болѣе онъ сопротивляется раскаянію, конечно, упорствуя въ прежнихъ своихъ понятіяхъ о пополезности для общества, какъ единственномъ критеріи добра и зла, тѣмъ мучительнѣе терзанія души, причиняемыя борьбою между его совѣстью христіански-воспитанною и новыми quasi-просвѣщенными убѣжденіями, которыми поступиться не дозволяетъ его научная добросовѣстность. Такимъ образомъ можно допустить, что Раскольниковъ раскаивается, но слѣдуетъ къ этому присоединить замѣчаніе, что чувство раскаянія остается въ немъ глубоко скрытымъ, не проявившимся во всей силѣ, ибо, видимо, онъ не желаетъ раскаиваться. Укрѣпленію въ немъ этого чувства и большему его проявленію способствовала любовь къ нему Сони Мармеладовой.

Раскольникову такъ тяжело, что онъ невольно ищетъ случая, какъ бы облегчить свою душевную муку; подъ давленіемъ душевной муки онъ уже совсѣмъ было, хотя и не прямо, а косвенно, открылся полицейскому чиновнику; неожиданное обстоятельство (встрѣча на улицѣ Мармеладова, разбитаго лошадьми) дало ему возможность оказать помощь несчастному семейству Мармеладова, за что онъ былъ утѣшенъ привѣтливымъ словомъ и лаской маленькой дочери Мармеладова. Это былъ первый лучъ свѣта, озарившаго больную душу Раскольникова надеждою на примиреніе съ совѣстью и на новую жизнь. Но сейчасъ же послѣ этого неожиданная встрѣча съ пріѣхавшими къ нему матерью и сестрою наноситъ ему новый тяжкій ударъ. Преступленіе разрушило душевную связь съ людьми, повергло его въ невыносимое состояніе одиночества, уединенія,—уединенія не матеріальнаго, физическаго, а душевнаго, ибо его окружаютъ люди, заботящіеся о немъ, какъ больномъ человѣкѣ, но это-то именно и дѣлаетъ наиболѣе чувствительнымъ для него его душевное одиночество. Необходимо ему снова войти въ связь съ людьми, возстановить разрушенное преступленіемъ душевное общеніе съ людьми; признаніе или, точнѣе, полупризнаніе, предъ полицейскимъ чиновникомъ, уходъ за умирающимъ Мармеладовымъ — это были первые шаги къ возстановленію душевной связи съ людьми. Но при видѣ своихъ родныхъ, самыхъ близкихъ къ нему лицъ, онъ снова долженъ былъ, и притомъ еще больше прежняго, замкнуться въ себѣ и какъ можно лучше запрятать, такъ сказать, всѣ концы своей

душевной исторіи. Иначе, не то, что знаніе всей истины объ немъ, а даже простое подозрѣніе въ томъ, что онъ такъ тяжко виновенъ; и для его сестры, въ собственности для матери, и безъ того удрученныхъ бѣдностью, было бы такимъ тяжкимъ испытаніемъ, что простое чувство жалости къ нимъ, если не любовь, указывало, по возможности, беречь ихъ отъ этого испытанія. Въ то же время домъ братской и сыновней любви требовалъ встрѣтить и принять ихъ съ открытою душою, чего онѣ вполнѣ заслуживали не по одному только праву кровнаго родства, но въ особенности по причинѣ доказанной ими готовности на всякія жертвы ради его благополучія. Между тѣмъ, неимовѣрныя усилія его скрыть свою бѣду предъ матерью и сестрою давали ему видъ холодности и отчужденія, оскорбительнаго для нихъ, что, понятно, только еще увеличивало, если то возможно, душевныя его страданія. Вотъ тутъ-то является къ нему на помощь Соня Мармеладова. Только ей одной онъ и могъ открыться. Не того ему нужно было, чтобы пожалѣли его: кто больше и искреннѣе могъ его пожалѣть, какъ не сестра и мать, готовыя душу положить за него? Ему нуженъ былъ такой человѣкъ, который былъ бы способенъ войти въ его душевное состояніе, понять и живымъ чувствомъ испытать эту самую душевную муку, которую онъ переживалъ, и хотя отчасти облегчить эту муку, раздѣливъ ее съ нимъ и указавъ способъ отъ нея освободиться. На все это былъ способенъ только тотъ, кто самъ испыталъ и даже испытываетъ, хотя не то же самое, но, по крайней мѣрѣ, подобное тому. Раскольникову нуженъ былъ товарищъ въ бѣдѣ. Можно спросить, какимъ образомъ несчастный, который еще не избылъ своей бѣды, можетъ помочь другому несчастному, когда и самъ еще нуждается въ помощи? Положимъ, Соня Мармеладова не избавилась отъ необходимости вести позорный образъ жизни, но она продолжаетъ оказывать помощь семьѣ, сохраняетъ живую связь съ родными, и, несмотря на свою приниженность, она не падаетъ духомъ, ведетъ себя не безъ достоинства, а это показываетъ, что она нашла путь хотя отчасти примириться со своею совѣстію, значитъ и другому нуждающемуся въ томъ же можетъ указать этотъ путь. Раскольниковъ обращается къ Мармеладовой, какъ болѣе опытной въ дѣлѣ перенесенія и исправленія душевной бѣды. При первомъ свиданіи въ квартирѣ Мармеладовой вотъ что говоритъ ей Раскольниковъ: «Слушай, я давеча сказалъ одному обидчику, что онъ не стоитъ одного твоего мизинца... и что я моей сестрѣ сдѣлалъ сегодня честь, посадивъ ее рядомъ съ тобою. — Ахъ, что вы это имъ сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня: — сидѣть со мной! Честь! Да вѣдь я... безчестная... Ахъ, что вы это сказали! — Не за безчестіе и грѣхъ я сказалъ это про тебя, а за великое страданіе твое. А что ты великая грѣшница, то это такъ, — прибавилъ онъ почти восторженно, — а пуще всего тѣмъ ты грѣшница, что понапрасну умертвила и продала себя. Еще бы это не ужасъ! Еще бы не ужасъ, что ты живешь въ этой грязи

которую ты такъ ненавидишь, и въ то же время знаешь сама (только стоитъ глаза раскрыть), что никому ты этимъ не помогаешь и никого ни отъ чего не спасаешь! Да скажи мнѣ, наконецъ, — проговорилъ онъ, почти въ изступленіи, — какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ другими противоположными и святыми чувствами совмѣщаются! Вѣдь справедливѣе, тысячу разъ справедливѣе и разумнѣе было бы прямо головой въ воду и разомъ покончить!» Хотя изъ отвѣта Сони («А съ ними-то что будетъ!») Раскольниковъ понялъ, что она жила ради дѣтей-сиротъ и несчастной Катерины Ивановны, но все же было для него загадкой: «почему она такъ слишкомъ уже долго могла оставаться въ такомъ положеніи и не сошла съ ума, если ужъ не въ силахъ была броситься въ воду». Конечно, онъ понималъ, что положеніе Сони есть явленіе случайное въ обществѣ, хотя, къ несчастію, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта нѣкоторая развитость (Соня была не совсѣмъ безъ образованія) и вся предыдущая жизнь ея могла бы, кажется, сразу убить ее при первомъ шагѣ на отвратительной дорогѣ этой. Что же поддерживало ее? Изъ дальнѣйшаго видно, что Соня была жива вѣрою и молитвою. «Такъ ты очень молишься Богу-то, Соня?» спросилъ онъ ее. «Что жъ бы я безъ Бога-то была?» быстро энергически прошептала она, мелькомъ вскинувъ на него вдругъ засверкавшими глазами, и крѣпко стиснула рукой его руку. — Ну такъ и есть! подумалъ онъ. — А тебѣ Богъ что за это дѣлаетъ? спросилъ онъ, выпытывая дальше. Соня долго молчала, какъ бы не могла отвѣчать. Слабенькая грудь ея вся колыхалась отъ волненія. «Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите...» вскрикнула она вдругъ, строго и гнѣвно смотря на него. — Такъ и есть! Такъ и есть! повторялъ онъ настойчиво про себя. «Все дѣлаетъ!» быстро прошептала она опять потупившись. — Вотъ и исходъ! Вотъ и объясненіе исхода! рѣшилъ онъ про себя, съ жаднымъ любопытствомъ разсматривая ее» (ч. IV, гл. 4, стран. 294—297).

Удивляясь тому, какъ при такой своей жизни Соня съ ума не сошла, Раскольниковъ вдругъ подумалъ, что она, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ сумасшедшая: «Развѣ въ здравомъ разсудкѣ такъ можно разсуждать, какъ она? Развѣ такъ можно сидѣть надъ погибелью, прямо надъ смрадною ямой, въ которую уже ее втягиваетъ, и махать руками и уши затыкать, когда ей говорятъ объ опасности? Что она ужъ не чуда ли ждетъ?» Затѣмъ, узнавъ, что ее поддерживаетъ, онъ называетъ ее юродивой. «Юродивая! Юродивая!» твердилъ онъ про себя». Ужъ не за сумасшествіе ли онъ принимаетъ и то, что она вѣруетъ, молится? Это, конечно, не могло быть въ его мысляхъ, но ему невольно представлялось сближеніе Сони съ самимъ собою. Онъ слышалъ отъ окружающихъ его лицъ, что его считаютъ близкимъ къ сумасшествію, и замѣчалъ, что даже подозрѣваютъ его въ этомъ недугѣ. Собственный его взглядъ на преступленіе, какъ на дѣйствіе, совершаемое въ состояніи душевнаго разстройства, побуждалъ

его предполагать, что если онъ еще не сошелъ съ ума, то близокъ къ тому. То, что онъ задумалъ сдѣлать, онъ не считалъ прежде за преступленіе, и потому не относилъ къ себѣ того, что должно быть съ преступникомъ, но теперь, конечно, онъ уже не могъ сомнѣваться, что содѣянное имъ точно есть преступленіе, а если—преступленіе, то значитъ и онъ, не помня себя, совершилъ его. Разсуждая такъ, Раскольниковъ, безъ сомнѣнія, руководился тѣмъ медицинскимъ взглядомъ на преступленіе, по которому какъ въ тѣлесныхъ отправленіяхъ всякое отступленіе отъ нормы сопровождается разстройствомъ организма или, по крайней мѣрѣ, ведетъ къ тому, такъ и душевная жизнь должна разстраиваться, коль скоро человѣкъ въ своихъ поступкахъ отступаетъ отъ нормальнаго, т.-е. одобряемаго закономъ, образа дѣйствій. Но и не признавая этого взгляда на преступленіе, можно находить въ разсужденіи Раскольникова по этому предмету нѣчто истинное, только съ иной совершенно точки зрѣнія. Во всѣхъ своихъ расчетахъ и соображеніяхъ Раскольниковъ оставлялъ безъ вниманія совѣсть. А между тѣмъ она была въ немъ и не оставалась совершенно безъ дѣйствія. Дѣйствіе ея можно усматривать уже въ томъ, что онъ самъ собою никакъ не могъ перейти отъ мысли къ дѣлу. Онъ даже ужасался, какъ только представитъ себѣ ясно, какъ онъ будетъ исполнять свое намѣреніе. Не самъ собою онъ приступалъ къ дѣлу, а постороннія обстоятельства, какъ бы противъ его воли, заставили его сдѣлать, наконецъ, то, что онъ давно задумалъ. На самомъ дѣлѣ, конечно, онъ дѣйствовалъ по своей волѣ, повинуясь давно уже утвердившейся въ немъ мысли, но совѣсть противилась тому; это сопротивленіе было инстинктивное, однакожъ столь глубокое, (и сама совѣсть сравнительно съ другими есть глубже лежащая въ насъ сила), что естественно онъ свое «я», свою личность полагалъ потомъ болѣе въ совѣсти, удержавшей его отъ преступленія, чѣмъ въ мысли, съ которою онъ сжился и которая его волю толкала на преступленіе. Поэтому-то ему и казалось, что нѣкоторая посторонняя и непонятная для него сила понуждала его приступить къ дѣлу и управляла имъ при самомъ исполненіи дѣла. Эта посторонняя сила была собственная его грѣховная, не чистая мысль, сдѣлавшаяся чуждою ему, какъ только заговорила совѣсть. Проявиться же во всей силѣ совѣсть могла только впослѣдствіи, и то постепенно; — такъ она долгое время была подавляема и заглушаема ложными, можно сказать, безумными идеями. Смотря на себя какъ на человѣка психически разстроеннаго, ненормальнаго (утратившаго гармонію душевныхъ силъ), Раскольниковъ, натурально, могъ предположить такое ненормальное состояніе и въ Сонѣ, такъ какъ въ сущности она страдала тѣмъ же недугомъ. Что же касается самой этой дѣвушки, то насколько вѣра спасала ее отъ отчаянія и полной безнадежности настолько же, съ другой стороны, усиливала тяжесть ея положенія, ибо смотря на него, какъ на тяжкій грѣхъ, какъ на вину предъ самимъ Богомъ, она, разумѣется, должна была чувствовать нужду

искупить свой грѣхъ соотвѣтственнымъ наказаніемъ и добрымъ подвигомъ. Угрюмый видъ Раскольникова, его угнетенное душевное состояніе, непонятныя рѣчи — все это давало поводъ предполагать и даже непосредственнымъ чувствомъ угадывать, что онъ глубоко несчастенъ и нуждается въ ея помощи. Такимъ образомъ представлялся случай раздѣлить несчастіе человѣка, какъ она знала, отличавшагося добрымъ и великодушнымъ сердцемъ, чрезъ то понести наказаніе за свой грѣхъ и съ тѣмъ вмѣстѣ, можетъ-быть, спасти человѣка отъ гибели. Вотъ почему, когда Раскольниковъ, увидѣвъ на столѣ новый завѣтъ, сталъ просить, чтобъ она прочитала ему о воскрешеніи Лазаря, то она сдѣлала это съ особымъ чувствомъ и глубоко затаенною радостію. Чтеніе это было для нихъ доброю вѣстію о томъ, что и они не должны терять надежды на свое скорое воскресеніе.

Общее заключеніе, къ которому приводитъ насъ анализъ содержанія романа «Преступленіе и наказаніе», можно выразить такъ: никогда преступленіе, зло не можетъ привести ни къ какому добру. А потому и не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что коль скоро преступленіе, зло состоитъ въ нарушеніи нравственнаго закона и есть грѣхъ, то ничѣмъ не можетъ быть оправдано, и, слѣдовательно, никакого примиренія съ нимъ быть не можетъ. Законъ нравственной жизни таковъ, что, бывъ допущено почему-либо, зло нравственное требуетъ искупленія. Поэтому скорбь, которую мы испытываемъ при видѣ несчастныхъ, преступившихъ законъ, имѣетъ тотъ смыслъ, что мы сожалѣемъ объ участи таковыхъ, именно о томъ, что они сдѣлались жертвою зла, и, чувствуя къ нимъ жалость и состраданіе, мы какъ бы раздѣляемъ предполагаемое въ нихъ раскаяніе о случившемся съ ними, ибо только тогда чувствуемъ жалость и состраданіе къ людямъ, впавшимъ въ порокъ и преступленіе, когда замѣчаемъ въ нихъ искреннее признаніе ими своей вины. Чувство же раскаянія или сожалѣнія о случившемся означаетъ, очевидно, присущее нашему нравственному сознанію желаніе, чтобы господствовали въ жизни правда, справедливость, чтобы добро увеличивалось и распространялось, а зло ослабѣвало и уменьшалось. Какъ при видѣ дѣтской безпомощности, слабости, происходящей прежде всего отъ невѣдѣнія добра и зла, такъ чувство состраданія къ несчастнымъ, удрученнымъ физическою или нравственною бѣдою, рождаетъ въ насъ жажду справедливости, правды. Жажда мудрости выражается въ томъ, что мы и сами ищемъ познанія добра и зла и желаемъ распространенія между людьми такого познанія — вообще стремимся къ просвѣщенію. Любовь же къ справедливости состоитъ въ томъ, что мы, по мѣрѣ познанія добра и зла, по мѣрѣ разумѣнія того, въ чемъ состоитъ истинное благо, стремимся, по возможности, къ осуществленію его въ жизни, считаемъ своимъ долгомъ содѣйствовать умноженію добра и уменьшенію зла. А отсюда очевидно, что прямымъ объектомъ нашей любви (и такая любовь дѣйствительно есть основа нравствен-

ности) служитъ мудрость и справедливость. Богъ есть всесовершенная мудрость и первообразъ мудрости. Онъ же есть первоисточникъ и образецъ справедливости,—свойства, яснѣйшимъ образомъ открывшіяся намъ въ Сынѣ. Любовь къ Богу есть, такимъ образомъ, любовь къ мудрости и правдѣ. Совѣсть есть не что иное, какъ искреннѣйшее и глубочайшее сужденіе нашей души о сообразности или несообразности (праведность и неправедность) нашихъ поступковъ съ идеальными понятіями и требованіями мудрости и справедливости. Любовь къ ближнимъ опредѣляется для насъ тѣмъ, насколько мы находимъ въ нихъ свойства, сообразныя съ идеальными понятіями о мудрости и справедливости, или, по крайней мѣрѣ, способность къ таковымъ свойствамъ. Спаситель требуетъ, чтобы мы и враговъ своихъ любили, но Онъ не требуетъ любви къ врагамъ Божіимъ, т.-е. къ врагамъ мудрости и правды Божіей. А могутъ ли быть такіе? Съ одной стороны, низкая страсть, съ другой — косность, бездѣятельность (въ особенности умственная неподвижность) могутъ сдѣлать человѣка враждебнымъ къ истинѣ и справедливости.

Линицкій.

Вліянія, приведшія Раскольниковъ къ катастрофѣ.

Приступая къ разбору новаго романа Достоевскаго, я заранѣе объявляю читателямъ, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до личныхъ убѣжденій автора, которыя быть можетъ идутъ въ разрѣзъ съ моими собственными убѣжденіями, ни до общаго направленія его дѣятельности, которому я быть можетъ нисколько не сочувствую, ни даже до тѣхъ мыслей, которыя авторъ старался быть можетъ провести въ своемъ произведеніи и которыя могутъ казаться мнѣ совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересуетъ вопросъ о томъ, къ какой партіи и къ какому оттѣнку принадлежитъ Достоевскій, какимъ идеямъ или интересамъ онъ желаетъ служить своимъ перомъ, и какія средства онъ считаетъ позволительными въ борьбѣ съ своими литературными или какими бы то ни было другими противниками. Я обращаю вниманіе только на тѣ явленія общественной жизни, которыя изображены въ его романѣ; если эти явленія подмѣчены вѣрно, если сырые факты, составляющіе основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если въ романѣ нѣтъ ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутреннихъ несообразностей; однимъ словомъ, если въ романѣ дѣйствуютъ и страдаютъ, борются и ошибаются, любятъ и ненавидятъ живые люди, носящіе на себѣ печать существующихъ общественныхъ условій, то я отношусь къ роману такъ, какъ я отнесся бы къ достовѣрному изложенію дѣйствительно случившихся событій; я всматриваюсь и вдумываюсь въ эти событія, стараюсь понять, какимъ образомъ они вытекаютъ одно изъ другого, стараюсь объяснить себѣ, насколько они находятся въ зависимости отъ общихъ условій

жизни, и при этомъ оставляю совершенно въ сторонѣ личный взглядъ разказчика, который можетъ передавать факты очень вѣрно и обстоятельно, а объяснять ихъ въ высшей степени неудовлетворительно.

Сюжетъ романа «Преступленіе и наказаніе», по всей вѣроятности, извѣстенъ большинству читателей. Образованный молодой человѣкъ. бывшій студентъ, Раскольниковъ, убиваетъ старуху-процентщицу и ея сестру, похищаетъ у этой старухи деньги и вещи, потомъ въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль томится и терзается сильнѣйшей душевной тревогой и наконецъ, не находя себѣ покоя, самъ на себя доноситъ, послѣ чего, разумѣется, отправляется въ каторжную работу.

Раскольниковъ очень бѣденъ. Отца у него нѣтъ. Его мать получаетъ послѣ покойнаго мужа сто двадцать рублей пенсіона и изъ этихъ денегъ старается тратить какъ можно меньше на собственную особу. Сестра Раскольникова живетъ въ гувернанткахъ. Самъ Раскольниковъ кое-какъ перебивается уроками и разными грошовыми работами, получаетъ изрѣдка субсидіи отъ матери, борется съ нищетой, старается при этомъ учиться, напрягаетъ всѣ свои силы, наконецъ изнемогаетъ въ непосильной борьбѣ, выходитъ изъ университета по совершенному недостатку средствъ и погружается въ то мучительное оцѣпенѣніе, которое обыкновенно овладѣваетъ утомленными, измученными и окончательно побѣжденными людьми. Романъ начинается тогда, когда Раскольниковъ совершенно задавленъ обстоятельствами. Онъ живетъ въ крошечной каморкѣ, болѣе похожей на шкафъ, чѣмъ на комнату; онъ долженъ кругомъ хозяйкѣ квартиры и при каждой случайной встрѣчѣ съ нею принужденъ выслушивать кротко и почтительно напоминанія о платежѣ, жалобы и угрозы, на которыя ему приходится отвѣчать извиненіями, избитыми отговорками, стереотипными просьбами объ отсрочкѣ и торжественными, но неубѣдительными обѣщаніями уплатить сполна при первой возможности. Гардеробъ Раскольникова дошелъ до такого разстройства, что превратился въ лохмотья, въ которыхъ «иной, даже и привычный человѣкъ, по словамъ Достоевскаго, посовѣстился бы днемъ выходить на улицу». Обѣдъ для Раскольникова не существуетъ; хозяйка двѣ недѣли не высылаетъ ему кушанья, чтобы принудить его голодомъ къ уплатѣ денегъ или къ очищенію квартиры; Раскольниковъ по цѣлымъ днямъ лежитъ у себя въ каморкѣ, на старомъ изорванномъ диванѣ, подъ старымъ изорванномъ пальто и поддерживаетъ свое существованіе какими-то объѣдками, которые изъ состраданія приноситъ ему коекогда кухарка Настасья, относящаяся къ нему съ добродушно-презрительной фамильярностью. Своими насущными дѣлами Раскольниковъ не занимается; у него нѣтъ и не можетъ быть никакихъ насущныхъ дѣлъ; чтобы давать уроки или поддерживать съ кѣмъ-бы то ни было дѣловыя сношенія, надо имѣть сколько-нибудь приличный костюмъ и быть увѣреннымъ въ томъ, что не упадешь въ обморокъ отъ пустоты въ желудкѣ и отъ истощенія силъ.

Существуютъ такія границы, за которыми бѣдность становится неприличной и невыносимой для глазъ благовоспитаннаго и состоятельнаго человѣка; кто имѣлъ несчастіе или неосторожность перешагнуть черезъ эти роковыя границы, тотъ теряетъ право искать себѣ работу и являться серіознымъ претендентомъ на какое бы то ни было вакантное мѣсто; оборванецъ, которому съ часу на часъ грозитъ голодная смерть подъ открытымъ небомъ, можетъ въ случаѣ удачи получить двугривенный отъ сострадательнаго прохожаго, такъ точно, какъ онъ получаетъ тарелку вчерашнихъ щей отъ добродушной Настасьи, но ему до крайности мудрено надѣяться на то, что какой-нибудь отецъ семейства довѣритъ ему обученіе своихъ дѣтей. Онъ оборванъ и голоденъ — слѣдовательно онъ чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь виноватъ; онъ оборванъ и голоденъ — слѣдовательно онъ опасенъ, и всякій порядочный человѣкъ, при встрѣчѣ съ нимъ, долженъ тщательно наблюдать за его руками, чтобъ эти грязныя и дрожащія руки не посягнули какимъ-нибудь образомъ на благосостояніе порядочнаго человѣка. Такъ разсуждаютъ, обыкновенно, обезпеченные люди, когда ихъ спокойный и добродушный взоръ падаетъ на особу, перешагнувшую черезъ извѣстныя границы и унизившуюся до неимѣнія крѣпкаго платья и постояннаго обѣда; обезпеченнымъ людямъ пріятно и необходимо разсуждать такимъ образомъ, потому что, при такомъ способѣ разсужденія, обезпеченность оказывается сама по себѣ достоинствомъ и положительной заслугой предъ обществомъ; взглянувъ сострадательно на оборванца и снабдивъ его двугривеннымъ, обезпеченный человѣкъ обращаетъ свои взоры на самого себя и самодовольно размышляетъ о томъ, что онъ ни отъ кого не возьметъ двугривеннаго, что онъ, слѣдовательно, великъ и прекрасенъ, сравнительно съ жалкимъ паріей, получившимъ отъ него благодѣяніе, и что, вслѣдствіе этого величія и этой красоты, онъ обязанъ, по возможности, уклоняться отъ всякихъ сношеній съ такими подонками общества и протягивать руку помощи, то-есть давать работу, только тому, кто еще кое-какъ соблюдаетъ правила благопристойности.

Итакъ, Раскольниковъ растерялъ свои насущныя дѣла, и ему почти невозможно было обзавестись ими снова. Почему и какимъ образомъ онъ ихъ растерялъ, этого не сказано у Достоевскаго, но этотъ пробѣлъ очень легко можетъ быть пополненъ собственнымъ и соображеніями читателя. Какія-нибудь двѣ-три самыя пустыя случайности, отъѣздъ семейства въ другой городъ, болѣзнь ребенка, готовящагося въ какое-нибудь учебное заведеніе, капризъ папеньки или маменьки — могутъ въ одно прекрасное утро оставить бѣднаго студента, живущаго уроками, безо всякихъ средствъ къ существованію. Въ самомъ счастливомъ случаѣ исканіе новыхъ работъ или уроковъ протянется недѣлю, двѣ-три; этотъ кризисъ можно какъ-нибудь пережить, извертываясь прибереженными копейками, занимая у товарищей и фурнисеровъ, пользуясь кредитомъ у хозяйки и у лавочниковъ, или обращаясь къ ростовщикамъ и закладывая у нихъ какія-

нибудь фамильныя драгоцѣнности, въ родѣ серебряныхъ часовъ или золотыхъ пуговокъ. Но всего правдоподобнѣе, что кризисъ затянется на нѣсколько мѣсяцевъ, и тогда несчастный юноша, полный силъ и желанія работать, воодушевленный любовью къ наукѣ и къ людямъ, проникнутый самыми честными стремленіями, имѣющій право многаго требовать и многаго ожидать отъ жизни, попадетъ въ положеніе человѣка, медленно утопающаго въ грязномъ болотѣ. Скромныя сбереженія, если даже они и имѣлись, окажутся истраченными до послѣдней копейки; товарищи отдадутъ все, что они были способны дать, и дальнѣйшія обращенія къ ихъ братской помощи сдѣлаются невозможными; хозяйка заговоритъ объ уплатѣ денегъ и начнетъ жаловаться на шаромыжниковъ, за которыми пропадаетъ ея добро; послѣдніе часишки пропадутъ въ закладкѣ за какіе-нибудь три цѣлковыхъ, а между тѣмъ сапоги начнутъ разваливаться отъ безполезной бѣготни по городу за трудовымъ кускомъ хлѣба; платье расползется по швамъ и по цѣлику и повиснетъ на плечахъ живописными лохмотьями; бѣлье загрязнится до послѣдней степени отвратительности; щеки поблекнутъ и ввалятся; въ глазахъ появится постоянное выраженіе тревожной и суетливой разсѣянности, и въ душу закралется понемногу чувство холодной безнадежности; бѣготня будетъ еще продолжаться, но самъ бѣгающій субъектъ перестанетъ вѣрить въ ея практическую пригодность; все измѣнитъ человѣку разомъ: и послѣднія денежныя средства, и послѣдняя пара приличнаго платья, и физическія силы, и надежды на лучшую будущность, и вѣра въ жизнь, и желаніе работать, и способность отмахиваться отъ дурныхъ, опасныхъ и соблазнительныхъ мыслей. Человѣкъ забьется въ свою грязную конуру, изъ которой его выживаютъ голодомъ, холодомъ, бранью и полицейскими мѣрами, завалится на свою грязную постель, махнетъ рукой на свои любимые планы, на самого себя, на чистоту и святость своего внутренняго міра, и какъ безотвѣтная жертва отдастъ себя въ полное распоряженіе тѣхъ мрачныхъ и дикихъ мыслей, которыя порождаются отчаяніемъ, голодомъ, озлобленіемъ противъ людей, презрѣніемъ къ самому себѣ, какъ побѣжденному и раздавленному существу, горькимъ ощущеніемъ незаслуженной обиды и начинающейся болѣзнью, составляющей неизбѣжный результатъ всѣхъ испытанныхъ волненій и страданій.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Раскольниковъ, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существованіе, впалъ въ изнурительную апатію; нѣтъ также ничего удивительнаго въ томъ, что во время этой апатіи въ его умѣ родилась и созрѣла мысль совершить преступленіе. Можно даже сказать, что большая часть преступленій противъ собственности устраивается въ общихъ чертахъ по тому самому плану, по какому устроилось преступленіе Раскольникова. Самой обыкновенной причиной воровства, грабежа и разбоя является бѣдность; это извѣстно всякому, кто сколько-нибудь знакомъ съ уголовной статистикой. Далѣе, не трудно понять и не трудно даже

доказать фактами, что воровать и грабить человѣкъ въ большей части случаевъ рѣшается только тогда, когда честный трудъ оказался для него недоступнымъ, или когда онъ убѣдился въ томъ, что честный трудъ составляетъ слишкомъ медленное и не достаточное лѣкарство противъ гнетущей бѣдности. Это значитъ, что человѣкъ, рѣшившійся воровать и грабить, искалъ труда, — и не нашелъ его, или нашелъ его въ такихъ нищенскихъ размѣрахъ, которые не покрываютъ его насущныхъ потребностей. За неудачными поисками должна послѣдовать апатія; во время апатіи должно сложиться убѣжденіе, что нѣтъ возможности оставаться честнымъ человѣкомъ, и что надо выбирать одно изъ двухъ: голодную смерть или преступленіе. Затѣмъ должна слѣдовать борьба между инстинктомъ самосохраненія и отвращеніемъ къ грязному поступку; если побѣдитъ первый — человѣкъ сдѣлается хищнымъ животнымъ, и его ближніе станутъ травить его, какъ голоднаго волка; если побѣдитъ второе — человѣкъ заболѣетъ отъ недостатка здоровой пищи и, по всей вѣроятности, кончитъ свое печальное существованіе на койкѣ чернорабочей или какой-нибудь другой больницы, въ отдѣленіи тифозныхъ или возвратно-горячечныхъ больныхъ.

Итакъ, огромное большинство людей, отправляющихся на воровство или на грабежъ, переживаютъ тѣ самыя фазы, черезъ которыя проходитъ Раскольниковъ. Преступленіе, описанное въ романѣ Достоевскаго, выдается изъ ряда обыкновенныхъ преступленій только потому, что героемъ его является не безграмотный горемыка, совершенно неразвитый въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, а студентъ, способный анализировать до мельчайшихъ подробностей всѣ движенія собственной души, умѣющій создавать для оправданія своихъ поступковъ цѣлыя замысловатыя теоріи и сохраняющій во время самыхъ дикихъ заблужденій тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высоко-развитаго человѣка. Вслѣдствіе этого обстоятельства колоритъ преступленія до нѣкоторой степени измѣняется, и процессъ его подготовленія становится болѣе удобнымъ для наблюденія, но его основная побудительная причина остается неизмѣнной. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе не совсѣмъ *такъ*, какъ совершилъ бы его безграмотный горемыка; но онъ совершаетъ его *потому же*, почему совершилъ бы его любой безграмотный горемыка. Бѣдность въ обоихъ случаяхъ является главной побудительной причиной. При этомъ само собою разумѣется, что вліяніе бѣдности въ обоихъ случаяхъ выражается не въ одинаковыхъ формахъ. У человѣка, подобнаго Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежнымъ положеніемъ, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно такъ выразиться, членораздѣльно. Раскольниковъ обсуживаетъ свое положеніе со всѣхъ сторонъ, взвѣшиваетъ свои силы, измѣряетъ величину тѣхъ препятствій, которыя онъ долженъ преодолѣть, чтобы остаться незамараннымъ человѣкомъ, ставитъ себѣ вопросы и отвѣчаетъ на нихъ, придумываетъ доказа-

тельства и опровергаетъ ихъ, словомъ постоянно роется въ своихъ собственныхъ мысляхъ и ощущеніяхъ, ясно понимаетъ ихъ во всякую данную минуту и высказываетъ ихъ въ такихъ оживленныхъ и разнообразныхъ разговорахъ съ самимъ собою, что развитіе опасной и соблазнительной мысли становится для насъ понятнымъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ. У неразвитаго бѣдняка всѣ мысли и ощущенія, пережитыя Раскольниковымъ, оказались бы смятыми и скомканными въ одну темную и безобразную кучу, которую самъ переживающій субъектъ былъ бы еще менѣе способенъ разложить на ея составныя части, чѣмъ другіе люди, смотрящіе на дѣло со стороны. Онъ чувствовалъ бы только, что ему тяжело и больно, гадко и пошло, что ему совѣстно встрѣчаться съ прежними товарищами, что ему противно думать о работѣ, которая его не кормитъ, и что какая-то сила, похожая на демона-искусителя, подмываетъ и подталкиваетъ его на скверное дѣло, которое съ каждымъ днемъ кажется ему болѣе неизбѣжнымъ, и котораго возрастающая неизбѣжность наводитъ на него ужасъ и отвращеніе.

Никакихъ теорій тутъ, конечно, не могло бы быть; никакихъ философскихъ обобщеній, никакихъ высшихъ взглядовъ на отношенія личности къ обществу; ничего, кромѣ тупого страданія и неясной тревоги. Одинокая борьба неразвитаго бѣдняка съ самимъ собою была бы, по всей вѣроятности, сокращена въ значительной степени сближеніемъ даннаго субъекта съ такими товарищами, которые залили бы его послѣднія сомнѣнія хлѣбнымъ виномъ, завербовали бы его въ свою компанію и указали-бы ему всѣ приступы и подходы къ первому нарушенію существующихъ законовъ. У Раскольникова, напротивъ того, борьба оставалась одинокой до самаго конца, то-есть до той минуты, когда дикая мысль превратилась въ кровавое дѣло; чѣмъ ближе Раскольниковъ знакомился съ своей дикой мыслью, чѣмъ яснѣе онъ видѣлъ, что это уже не фантазія, а серіозный планъ, тѣмъ тщательнѣе онъ избѣгалъ всякихъ сношеній съ людьми; онъ ни съ кѣмъ не могъ и не хотѣлъ дѣлиться своими планами и совѣтоваться насчетъ своего предпріятія. Его прежніе товарищи и друзья, конечно, постарались бы пристроить его въ домъ умалишенныхъ, если бы онъ заикнулся имъ о томъ, какимъ образомъ онъ намѣревается отыскать себѣ выходъ изъ своего затруднительнаго положенія. А новыхъ товарищей,—такихъ, которые могли бы отнестись къ его замыслу съ дѣятельнымъ сочувствіемъ, Раскольниковъ не желалъ имѣть ни подъ какимъ видомъ. Онъ ненавидѣлъ, презиралъ и боялся такихъ товарищей; у него не было и не могло быть ни въ образѣ мыслей, ни въ желаніяхъ, ни во вкусахъ, ни въ привычкахъ ни одной точки соприкосновенія съ ворами и грабителями по ремеслу. Онъ хотѣлъ убить и ограбить, но такъ, чтобы на него не брызнула ни одна капелька пролитой крови, чтобы ни одинъ живой человѣкъ не могъ проникнуть его тайну, чтобы всѣ прежніе друзья и товарищи жали ему руку съ прежнимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, и чтобы

его мать и сестра болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, считали его своимъ ангеломъ-хранителемъ, сокровищемъ и утѣшеніемъ. Особенность преступленія, совершоннаго Раскольниковымъ, состоитъ именно въ томъ, что онъ самъ слѣдилъ очень внимательно за всѣми фазами того психологическаго процесса, которымъ оно подготовлялось, и кромѣ того обдумывалъ, устраивалъ и выполнялъ все одинъ, безъ всякихъ сообщниковъ, помощниковъ и повѣренныхъ. По поводу этого преступленія возникаютъ естественнымъ образомъ два главные вопроса; во-первыхъ, есть ли основаніе считать Раскольникова помѣшаннымъ, и во-вторыхъ, есть ли основаніе думать, что теоретическія убѣжденія Раскольникова имѣли какое-нибудь замѣтное вліяніе на совершеніе убійства. Мнѣ кажется, что на оба эти вопроса приходится дать отрицательный отвѣтъ.

Наканунѣ убійства Раскольниковъ узнаетъ совершенно случайно, изъ разговора, услышаннаго имъ на Сѣнной, куда ему даже и незачѣмъ было ходить, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, старуха, которую требовалось убить и ограбить, останется дома одна. Послѣ этого разговора «онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно. Конечно, если бы даже цѣлые годы приходилось ему ждать удобнаго случая, то и тогда, имѣя замыселъ, нельзя было разсчитывать навѣрное на болѣе очевидный шагъ къ успѣху этого замысла, какъ тотъ, который представился вдругъ сейчасъ. Во всякомъ случаѣ трудно было бы узнать наканунѣ и навѣрно, съ большей точностью и съ наименьшимъ рискомъ, безъ всякихъ опасныхъ разспросовъ и разыскиваній, что завтра, въ такомъ-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушеніе, будетъ дома одна-одинехонька». Мысль и рѣшимость созрѣли въ Раскольниковѣ настолько, что онѣ должны были немедленно, не дальше какъ на другой день, выразиться въ поступкѣ, послѣ котораго невозможенъ никакой поворотъ назадъ. Теперь вообразите же себѣ, что въ это самое время, когда уже все рѣшено, когда нашъ герой чувствуетъ себя приговореннымъ къ совершенію убійства, въ его каморку входитъ почтальонъ и подаетъ ему письмо и повѣстку, требуя себѣ, по обыкновенію, шесть копеекъ. Раскольниковъ морщится, платитъ деньги изъ послѣднихъ своихъ рессурсовъ, полученныхъ за отцовскіе часы, и распечатываетъ полученныя бумаги; оказывается, что повѣстка объявляетъ ему о полученіи письма на его имя со вложеніемъ пятисотъ рублей; что же касается до простого письма, полученнаго вмѣстѣ съ повѣсткой, то оно написано рукою его матери и извѣщаетъ его о томъ, что ихъ семейству досталось совершенно неожиданнымъ образомъ наслѣдство тысячъ въ двадцать серебромъ, что мать вмѣстѣ съ сестрой ѣдутъ къ нему въ Петербургъ, и что ему уже выслано пятьсотъ рублей для немедленнаго поправленія его разстроенныхъ

обстоятельствъ. Какъ вы думаете, что предприметъ Раскольниковъ, получивши такія извѣстія? Будетъ ли онъ попрежнему считать вопросъ о старухѣ безповоротно рѣшенымъ и смотрѣть на самого себя, какъ на человѣка, окончательно приговореннаго къ отвратительному купанью въ грязной и кровавой лужѣ? Я не думаю, чтобы кто-нибудь изъ читателей серіозно отвѣтилъ на этотъ вопросъ: *да*. Для такого отвѣта нѣтъ никакихъ матеріаловъ въ романѣ Достоевскаго.

Если же вы допустите, что письмо и повѣстка могли перевернуть всѣ планы и намѣренія Раскольникова въ то самое время, когда онъ уже готовился приступить къ ихъ выполненію, то вы тѣмъ самымъ лишите себя всякой возможности считать его помѣшаннымъ. Я понимаю очень хорошо, что порядочная сумма денегъ очень часто можетъ быть гораздо полезнѣе, необходимѣе и спасительнѣе всевозможныхъ лѣкарствъ, теплыхъ ваннъ и гимнастическихъ упражненій; но я до сихъ поръ никогда не слыхалъ, чтобы дѣйствительно существующее помѣшательство лѣчилось письмами и повѣстками изъ почтамта. Если Раскольникова можно было бы вылѣчить радостнымъ извѣстіемъ и присылкою денегъ, то не трудно, кажется, сообразить, что корень его болѣзни таился не въ мозгу, а въ карманѣ. Онъ былъ бѣденъ, голоденъ, обезкураженъ и озлобленъ, но нисколько не помѣшанъ. Конечно, онъ размышлялъ не совсѣмъ такъ, какъ размышляютъ люди, находящіеся въ хорошемъ, ровномъ и спокойномъ расположеніи духа. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Когда человѣкъ чѣмъ-нибудь сильно обрадованъ или огорченъ, или испуганъ, или взволнованъ, или озабоченъ, то мысль его непремѣнно работаетъ не совсѣмъ такъ, какъ это дѣлается въ спокойныя минуты его жизни. Если вы усилите какимъ-нибудь образомъ дѣйствіе той причины, которая произвела измѣненія въ процессѣ мышленія, то вмѣстѣ съ тѣмъ усилится и самое измѣненіе; если оно усилится въ очень значительныхъ размѣрахъ, то человѣкъ сдѣлается до нѣкоторой степени похожимъ на сумасшедшаго: онъ начнетъ заговариваться, болтать чепуху, перебивать самого себя, смѣяться или плакать безъ видимой причины, задумываться, отвѣчать невпопадъ на самые простые вопросы и вообще вести себя такъ, что отъ него трудно будетъ добиться толку. Но признать его помѣшаннымъ было бы все-таки въ высшей степени опрометчиво. Удалите причину, перепутавшую его мысли, и онъ немедленно сдѣлается снова совершенно разсудительнымъ человѣкомъ. Всякая страсть, всякое впечатлѣніе, всякое глубокое душевное движеніе нарушаютъ до нѣкоторой степени полное равновѣсіе и гармоническое дѣйствіе нашихъ умственныхъ способностей; но если бы каждое подобное нарушеніе считалось за помѣшательство, то, по всей вѣроятности, каждому изъ насъ пришлось бы провести въ сумасшедшемъ домѣ большую часть своей жизни. Помѣшательствомъ можно назвать только такое нарушеніе равновѣсія, послѣ котораго нормальныя умственныя отправленія уже не возстановляются сами собой.

Человѣкъ помѣшанный не можетъ отвѣчать за свои поступки. Съ него невозможно взыскивать за то зло, которое онъ дѣлаетъ себѣ и другимъ; его нельзя ни судить ни наказывать. Этотъ принципъ въ настоящее время принятъ всѣми уголовными кодексами образованнаго міра. Доказать, что преступленіе совершено во время помѣшательства, значитъ доказать, что преступленія вовсе не существуетъ и что вмѣсто преступника, подлежащаго извѣстному наказанію, судьи имѣютъ передъ собой больного, нуждающагося въ попеченіяхъ добросовѣстнаго и человѣколюбиваго медика. Поэтому въ вопросѣ о томъ, помѣшанъ ли Раскольниковъ, скрывается въ сущности другой вопросъ: на сколько Раскольниковъ былъ свободенъ и способенъ отвѣчать за свои поступки въ то время, когда онъ совершалъ свое преступленіе? Этотъ вопросъ имѣетъ очень важное и глубокое общественное значеніе. Такой вопросъ гораздо болѣе интересенъ для каждаго размышляющаго читателя, чѣмъ спеціально-психіатрическій вопросъ о томъ, можно ли назвать помѣшательствомъ то ненормальное настроеніе, въ которое погрузила Раскольникова его безвыходная нищета. Собственно говоря, именно этотъ вопросъ и предлагается каждымъ читателемъ, желающимъ знать, былъ ли Раскольниковъ помѣшанъ, или нѣтъ. Отъ рѣшенія этого вопроса зависятъ тѣ отношенія, въ которыя читатель станетъ къ герою, совершившему грязное и отвратительное преступленіе. Читатель можетъ или презирать и ненавидѣть Раскольникова, какъ вреднаго и низкаго негодяя, для котораго уже нѣтъ и не должно быть мѣста въ гражданскомъ обществѣ; или же читатель можетъ смотрѣть на него съ почтительнымъ состраданіемъ, какъ на несчастнаго человѣка, свалившагося въ грязь подъ невыносимымъ гнетомъ такихъ суровыхъ и непобѣдимо-враждебныхъ обстоятельствъ, которыя могли бы сломить даже очень твердую волю и отуманить даже очень свѣтлую голову. Отношенія читателя къ Раскольникову опредѣлятся такъ или иначе, смотря по тому, какъ рѣшится вопросъ о свободѣ Раскольникова и о его способности отвѣчать за свои поступки. Этотъ послѣдній вопросъ можно и должно совершенно отдѣлить отъ вопроса о его помѣшательствѣ. Можно признать тотъ фактъ, что Раскольниковъ не былъ помѣшанъ, и въ то же время можно доказать, что та доля свободы, которою пользовался Раскольниковъ, была совершенно ничтожна. Переберемъ одну за другой всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія, съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,— и потомъ спросимъ себя; оставалась ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его ли власти было прійти или не прійти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба?

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается *проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ* мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, и *улизнуть, чтобы никто не видалъ*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу, потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая, обыкновенно, бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевой цѣной и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Это злобное презрѣніе еще недостаточно защищаетъ его отъ стыда за свою безпомощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знакъ! Его молодое самолюбіе такъ глубоко изранено разнообразнѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомѣрнаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолѣваютъ его съ такой силой, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже марать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть-можетъ, даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ отъ истощенія силъ или бросившихся

въ воду, во избѣжаніе голодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ моими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія! Наплевалъ бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ бы куда-нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него «крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія». Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безчестно нажитыя деньги, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивно сильнымъ отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ же, что это поворотъ въ его мысляхъ произошелъ отъ стакана пива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: «какое все это ничтожество!».

Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ не можетъ подавлять или вызывать ихъ по своему благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ, волей или неволей, итти туда, куда поведутъ его внѣшнія вліянія, дающія его мыслямъ то или другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьяницей, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витіеватымъ языкомъ разсказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодныя дѣти, грязный уголъ, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ и убивающая себя работой, старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства, — вотъ выдающіяся черты той жизни, панорама которой развертывается предъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не желаетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неоднократно называетъ себя свиньей и скотомъ и доказываетъ очень убѣдительно, что онъ въ самомъ дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго негодованія противъ себя, что пропилъ даже чулки своей жены, пропилъ косыночку изъ козьяго пуха, *дареную, прежнюю, ея собственную*, пропилъ въ послѣдніе пять дней свое мѣсячное жалованье, укравши его изъ-подъ замка у жены, вмѣстѣ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться на чистую дорожку посредствомъ службы, которая была ему доставлена только по особому великодушію какого-то благодѣтеля, его превосходительства Ивана Аѳанасьевича, тронувшагося его слезными мольбами

и взявшаго его на свою личную отвѣтственность. «Пятый день изъ дома», кончаетъ Мармеладовъ, «и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицмундиръ въ распивочной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ».

До столкновенія съ Мармеладовымъ Раскольниковъ зналъ коротко только тѣ физическія лишенія, которыя порождаются бѣдностью. Онъ могъ, конечно, дойти и, по всей вѣроятности, доходилъ путемъ теоретическихъ выкладокъ до того заключенія, что бѣдность, придавливая и пригибая человѣка къ землѣ, дѣлая его безотвѣтнымъ и беззащитнымъ, заставляя его ползать и пресмыкаться въ грязи у ногъ великодушныхъ благодѣтелей, медленно и безвозвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое достоинство; но доходить путемъ размышленія до того вывода, что какой-нибудь фактъ возможенъ и дѣйствительно существуетъ, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и вдохнуть въ себя весь его своеобразный ароматъ.

Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не входилъ въ распивочныя*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его разсказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ, обыкновенно, на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театръ. Глядя на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это дѣйствительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было или, по крайней мѣрѣ, уже не осталось ничего чисто человѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любитъ свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то же самое время, когда онъ самъ, своими же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественной деликатностью и чуткостью глубоко-нѣжнаго характера (я бы сказалъ *сердца*, если бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которымъ подвержена эта измученная чахоточная женщина. «Лежалъ я тогда... говоритъ Мармеладовъ, «ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: что жъ, Катерина Ивановна, неужели же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и

полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. «А что жъ, — отвѣчаетъ Катерина Ивановна въ пересмѣшку, — чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей не ѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ... Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же ихъ бить начинаетъ. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ предъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зеленый платокъ (общій такой у насъ платокъ есть, драдедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ... А я, какъ и давеча, въ томъ же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣняхъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись... обѣ... обѣ... да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...» Все разсказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ, — все, что могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущіе въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательной, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ расположены судить и осуждать своихъ несчастныхъ ближнихъ. Видно изъ каждаго слова разсказа, что впечатлѣнія этого рокового вечера, какъ капли расплавленнаго свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотрутъ до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ, — только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, — упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ, яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безпросыпу пятеро сутокъ, губитъ всѣ послѣднія надежды своего семейства и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей

дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троихъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ.

Ясное дѣло, что Мармеладовъ — трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе, — трупъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность взаимнаго пониманія, и стало-быть, нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ. Мармеладова раздавила бѣдность, — та самая бѣдность, которая давитъ Раскольникова и уже довела его до изнурительной апатіи и до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями, продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были ему дороги, и существованіе которыхъ онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ онъ самъ выражался, и прикоснулся по тому самому побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимой зубной болью, кладетъ себѣ опіумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства такъ нечувствительно и незамѣтно для самого себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ лѣченію посредствомъ опіума, становится сознательно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противозаконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него нехватало силъ стоять на ногахъ, и потому что его ноги не находили себѣ твердой точки опоры въ той бездонной трясинѣ, которая изъ году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото

нищеты, разоблачился предъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственной пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводятъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать предъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольникова есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная и красавица собою. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этой любовью, Авдотья Романовна Раскольникова такъ же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Степановна Мармеладова. Невозможно разсчитывать навѣрное даже и на тотъ исходъ, что самоубійство спасетъ Авдотью Романовну отъ вынужденнаго разврата. Можетъ-быть, Софья Семеновна также сумѣла бы броситься въ Неву; но, бросаясь въ Неву, она не могла бы выложить на столъ предъ Катериной Ивановной тридцать цѣлковыхъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ и все оправданіе ея безнравственнаго поступка.

Въ настоящемъ случаѣ насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разсказъ Мармеладова о поступкѣ Сони долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ той опасной мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она, подобно Курцію, бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительной жертвой за цѣлое семейство.

При этомъ, разумѣется, онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытой, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собой всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ, съ одной стороны, возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой — подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны, онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безотвѣтная, забитая, неразвитая, опутанная всякими рутинными понятіями и предразсудками, — а какъ пришлось очень круто, такъ сумѣла же рѣшиться и нашла возможность дѣйствовать! Не осталась же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больной мачехой, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копеечками такую прорѣху, на которую, очевидно, требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами! Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего же смотрю? Я-то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ нелѣпостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошовыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я, можетъ-быть, боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не побоялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла бы такъ же безтолково и такъ же безплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городовымъ?

Съ другой стороны, онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мараться по мелочамъ и изъ-за пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ и ужъ, конечно, не такъ нерасчетливо, какъ бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ — или панъ, или пропалъ! А то ужъ лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашнія Настасьины щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать высуня языкъ за грошовыми уроками, какъ за кладомъ, который все не дается въ руки, — и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей незапятнанной честности. — Я убѣдительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова; я нахожу, напротивъ того, что его ироническія отношенія къ незапятнанной честности и къ упорному труду, получающему копеечное вознагражденіе, въ высшей степени предосудительны; я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что его мысли — дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я только осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбѣжными продуктами его невыносимаго положенія; въ этихъ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая развилась въ немъ подъ

вліяніемъ его лишеній и разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, которую нельзя назвать помѣшательствомъ, но которая все-таки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпымъ и безобразнымъ поступкамъ. При тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ другихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова какого-нибудь другого человѣка обыкновенныхъ размѣровъ, развившагося иначе и смотрящаго на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тотъ же самый результатъ. Невыносимое положеніе воспитаетъ въ немъ ту же самую болѣзнь, и всѣ его мысли примутъ то же самое вредное и опасное направленіе. Онъ убѣдитъ себя въ томъ, что общество обращается съ нимъ какъ съ голоднымъ волкомъ, и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всѣми ея возможными послѣдствіями, со всѣми ея своеобразными правами и обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за тѣми впечатлѣніями, которыя доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее теченіе его мыслей то или другое вліяніе. На другой день послѣ посѣщенія распивочной, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него очень сильно. «Письмо», говоритъ Достоевскій, «дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать при ней (при Настасьѣ); ему хотѣлось остаться *наединѣ* съ этимъ письмомъ. Когда Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и милый ему мелкій почеркъ его матери, учившей его когда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ-будто боялся чего-то». Если человѣкъ такимъ образомъ принимаетъ и держитъ нераспечатанное письмо, то вы можете себѣ представить, какъ онъ будетъ читать его и по строкамъ, и между строками, какъ онъ будетъ всматриваться въ каждый оттѣнокъ и поворотъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подъ словами будетъ отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что лежало, быть-можетъ, тяжелымъ камнемъ на душѣ писавшей особы и что скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ отъ пытливыхъ глазъ любимаго сына. Начинается чтеніе. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ пытокъ, какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущей нищетой до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоцѣнныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольникова такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукой любящей матери. Письмо написано самымъ бодрымъ и веселымъ тономъ и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе утонченной.

Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: «ты знаешь, какъ я люблю тебя, ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше». Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія

о сестрѣ: «Слава тебѣ, Господи, кончились ея истязанія, но разскажу тебѣ все по порядку, чтобы ты узналъ, какъ все было, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали». Такъ какъ Раскольникову пишутъ объ *окончившихся* истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него *до сихъ поръ* скрывали многое, или даже все, то ему предоставляется полнѣйшее право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они, въ свою очередь, не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ, конечно, съ внимательностью, свойственной сильно любящему человѣку, наматываетъ себѣ на усъ это полезное указаніе и продолжаетъ чтеніе съ твердой рѣшимостью разглядѣть между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Касательно окончившихся истязаній въ письмѣ сообщаются слѣдующія подробности. Дуня поступила гувернанткой въ домъ господъ Свидригайловыхъ и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, болѣе для того, чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году». Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и уличнаго донъ-жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей находился часто подъ вліяніемъ Бахуса*. Отъ грубостей и насмѣшекъ Свидригайловъ перешелъ къ настойчивому ухаживанію и усиленно сталъ приглашать Дуню къ побѣгу за границу. Супруга Свидригайлова, Марѳа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умолявшаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады, какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, «не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала и, наконецъ, приказала тотчасъ же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ некрытой телѣгѣ». Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Пріѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шептаній*. Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ приказчиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тѣмъ же добродѣтельнымъ негодо-

ваніемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марѳа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ, дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное задолго до трагической сцены въ саду и доказывавшее, очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марѳа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоцѣнныя средства разнообразить въ теченіе нѣсколькихъ недѣль безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ,—Марѳа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру Раскольниковыхъ, наводнила эту квартиру потоками своихъ дешевыхъ слезъ, попробовала задушить Дуню и ея мать въ своихъ непрошенныхъ объятіяхъ и потомъ принялась бѣгать по городу и перезванивать по новому всю исторію, съ приличнымъ аккомпанементомъ вздоховъ, криковъ, рыданій, сморканій и пѣвучихъ проклятій, направленныхъ на коварнаго изверга и жестокаго тирана ея нѣжной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дѣла, которое уже казалось поконченнымъ,—обрадовались такъ же безкорыстно и простодушно, какъ они обрадовались бы извѣстію о томъ, что въ ихъ городѣ родился поросенокъ о двухъ головахъ, или что черезъ ихъ захолустье проѣдетъ въ скоромъ времени какое-нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чемъ-то говорить и прикидываться въ продолженіе нѣсколькихъ дней, что они о чемъ-то думаютъ и чѣмъ-то озабочены.

Дунечка сдѣлалась героиней дня, то-есть всѣ пошляки и негодяи города, всѣ сплетники и сплетницы, всѣ безмозглые и бездушные руководители и руководительницы такъ называемаго общественнаго мнѣнія присвоили себѣ право и вмѣнили себѣ въ священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами въ душу оскорбленной дѣвушки, ходить своими грязными руками и ногами по всѣмъ закоулкамъ ея недавняго страданія и комментировать силами своихъ куриныхъ умовъ такіе оттѣнки чувства и проблески мысли, до которыхъ имъ самимъ удастся возвыситься только тогда, когда они сумѣютъ укусить собственный локоть. Дунечка сдѣлалась поводомъ для цѣлаго ряда литературныхъ чтеній. Марѳѣ Петровнѣ «пришлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтеніе, и такимъ образомъ завелись очереди, такъ что въ каждомъ домѣ уже ждали

заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Марѳа Петровна будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтеніе опять-таки собирались даже и тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослушали и у себя въ домахъ и у другихъ знакомыхъ по очереди». Къ довершенію благополучія и къ окончательному увѣнчанію оправданной добродѣтели, почтенный и солидный человѣкъ, *уже надворный совѣтникъ*, составившій себѣ капиталъ и раздѣляющій во многомъ, какъ онъ самъ выражается, *убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ*, словомъ, ходячая квинтъ эссенція всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своимъ существованіемъ тотъ городъ, въ которомъ живутъ госпожи Раскольниковы, подноситъ Авдотьѣ Романовнѣ руку и сердце, въ видѣ высокой и торжественной награды за незаслуженныя страданія. Имя этого благодѣтеля—Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ дальній родственникъ Марѳы Петровны, которая очень горячо мастеритъ это дѣло, потому что она женщина богатая, вліятельная, великодушная и подверженная припадкамъ внезапнаго вдохновенія, потому что она вольна казнить, вольна миловать ничтожество, подобное Дунѣ Раскольниковой, и еще потому, что это казненіе и милованіе, игриво чередуясь между собой, пріятно разнообразятъ идиллію ея сельской жизни. Все вниманіе Раскольникова сосредоточивается, конечно, на Петрѣ Васильевичѣ Лужинѣ. Раскольниковъ догадывается съ первыхъ словъ письма объ этомъ щекотливомъ сюжетѣ, что начинающіяся истязанія, о которыхъ ему, разумѣется, не пишутъ и не будутъ писать, какъ не писали о грубостяхъ и любезностяхъ Свидригайлова и о воинственныхъ подвигахъ его супруги,—идутъ теперь отъ солиднаго человѣка, уже составившаго себѣ капиталъ и раздѣляющаго во многомъ убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ.

Въ своемъ письмѣ мать Раскольникова, Пульхерія Александровна, говоря о Лужинѣ, носится между Сциллой и Харибдой. Съ одной стороны, ей необходимо расположить сына въ пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многія ея надежды. Съ другой стороны, ей надо соблюдать въ похвалахъ очень большую осторожность и умѣренность, потому что ея сыну предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ личная встрѣча съ Петромъ Петровичемъ, — встрѣча, которая, въ случаѣ сильнаго разочарованія со стороны молодого и пылкаго Раскольникова, можетъ кончиться неожиданнымъ и рѣшительнымъ разрывомъ. Дуня уже дала Петру Петровичу свое согласіе, и мать старается убѣдить себя, что ея дочь будетъ если и не совсѣмъ счастлива, то, по крайнѣй мѣрѣ, и не слишкомъ несчастлива. Она видитъ ясно въ Лужинѣ черствость, мелочность, скаредность и тщеславіе; ее коробитъ отъ всѣхъ этихъ украшеній того человѣка, въ рукахъ котораго будетъ находиться жизнь ея дочери; она чувствуетъ, что Дуня добровольно и сознательно беретъ на себя очень тяжелый крестъ; но и мать и дочь — обѣ дорожатъ предложеннымъ бракомъ и считаютъ его за счастье, потому что онъ даетъ имъ возможность, по крайней мѣрѣ, неопредѣленную надежду

вытащить безцѣннаго Родю, то-есть, нашего героя, изъ болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. Въ своемъ письмѣ Пульхерія Александровна старается говорить о Лужинѣ спокойно, весело и развязно; она старается показать, что онѣ съ дочерью не обманываютъ себя фантастическими надеждами, что онѣ видятъ ясно всѣ достоинства и недостатки жениха, всѣ удобства и неудобства предположеннаго брака, и что ихъ согласіе дано послѣ зрѣлаго и хладнокровнаго обсужденія вопроса со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Но Раскольниковъ изъ письма своей матери выноситъ совсѣмъ не то впечатлѣніе, на которое разсчитывала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ видитъ ясно, что тутъ не было никакого хладнокровія и никакого обсужденія; онъ видитъ, что все было рѣшено обѣими женщинами въ чаду самопожертвованія, и что онѣ обѣ, и мать и дочь, стараются поддерживать этотъ чадъ, занимаясь построеніемъ воздушныхъ замковъ, которые, разумѣется, всѣ безъ исключенія относятся къ участи Родіона Романовича Раскольникова. Въ письмѣ говорится, что Лужинъ *«и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ,* и *что ты, даже съ теперешняго же дня, могъ бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно опредѣлившеюся*... Дуня только и мечтаетъ объ этомъ... Дуня ни о чемъ кромѣ этого и не думаетъ. Она теперь уже нѣсколько дней просто въ какомъ-то жару и составила уже цѣлый проектъ о томъ, что впослѣдствіи ты можешь быть товарищемъ и даже компаніономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ занятіямъ, тѣмъ болѣе, что ты самъ на юридическомъ факультетѣ».

То дѣйствіе, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостномъ событіи, случившемся съ его сестрой, такъ ясно и понятно, что о немъ нечего распространяться. Параллель между Соней и Дуней сама собой напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться этой жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обезпеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже отставного чиновника Мармеладова: у того есть, по крайней мѣрѣ, хоть несчастная страсть, которой объясняется его способность помириться съ чѣмъ бы то ни было; у того есть, по крайней мѣрѣ, та отговорка, что онъ — человѣкъ мало развитой и уже достаточно принюхавшійся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится итти на компромиссы съ своей совѣстью въ то время, когда онъ видитъ насквозь, до послѣднихъ подробностей, всю отвратительность этихъ компромиссовъ, когда его нравственная зоркость и чуткость не притуплены ни пьянствомъ ни обществомъ грязныхъ кутилъ и погибшихъ горемыкъ, ни лѣтами. Раскольниковъ рѣшаетъ, что онъ ни за что не пойдетъ на такіе компромиссы. «Не бывать этому браку, пока я живъ», говоритъ онъ, «и къ чорту господина Лужина». Письмо его матери кладетъ конецъ той апатіи, которая давила его въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль. Онъ видитъ ясно, что ему необходимо дѣйствовать; но теперь, болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, онъ убѣждаетъ себя въ томъ, что честный трудъ, какъ бы

онъ ни былъ упоренъ, не приведетъ его ни къ чему. «Не бывать?» говоритъ онъ самъ себѣ. «А что же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имѣешь? Что̀ ты имъ можешь обѣщать, въ свою очередь, чтобы право такое имѣть? Всю судьбу свою, всю будущность имъ посвятить, *когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь*? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь? Вѣдь тутъ надо теперь же что нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь дѣлаешь? Обираешь ихъ же. Вѣдь деньги-то имъ подъ сторублевый пенсіонъ да отъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достаются. Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Аѳанасія-то Ивановича Вахрушина чѣмъ ты ихъ убережешь, милліонеръ будущій, Зевесъ, ихъ судьбою располагающій? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а пожалуй что и отъ слезъ, отъ поста исчахнетъ; а сестра? Ну, придумай-ка, что̀ можетъ случиться съ сестрой черезъ десять лѣтъ или въ эти десять лѣтъ? Догадался?»

Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, при которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются противъ него самого и вовлекаютъ его въ безнадежную борьбу съ обществомъ. Самыя святыя чувства и самыя чистыя стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обыкновенно поддерживаютъ, ободряютъ и облагораживаютъ человѣка, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что бы то ни стало покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ объ участи, постигшей Соню Мармеладову, или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго господину Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ въ теченіе всей своей жизни постоянно любилъ мать и сестру и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергіи, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ бы даже, по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ бы очень дурно, если бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ требованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасать отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ

поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій и даже въ случаѣ надобности принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ же вмѣстѣ съ этими средствами у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, желаніе покоить и защищать ихъ становятся противозаконными и противообщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по-человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по-человѣчески. Въ противномъ случаѣ человѣческія мысли и чувства разрѣшаются такими поступками, которые произведутъ неизбѣжную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая — всаднику, а третья — обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, — въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. «Или отказаться отъ жизни совсѣмъ», вскричалъ онъ вдругъ въ изступленіи, «послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсегда и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!» Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармаладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣнчаться съ Лужинымъ. Въ размышленіяхъ Раскольникова замѣтна значительная недодуманность. Онъ, повидимому, не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лужиныхъ, необходимы деньги, и что честнымъ трудомъ невозможно ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается только достать ихъ безчестнымъ средствомъ.

Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ не остается никакихъ. Но весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, къ которой стремится Раскольниковъ. Этого вопроса самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не задаетъ. Положимъ, что ему удалось убить и ограбить процентщицу; положимъ, что онъ нашелъ у нея въ шкатулкѣ цѣлую Ка-

лифорнію; положимъ, что онъ благополучно схоронилъ всѣ концы; положимъ, слѣдовательно, что все дѣло сложилось по его желанію во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Что же дальше? Какимъ образомъ онъ пуститъ ихъ именно въ то предпріятіе, которое ему всего дороже и которое заставило его рѣшиться на преступленіе? Какъ онъ ухитрится провести эти деньги въ домашнюю жизнь матери и сестры такъ, чтобы эти деньги улучшили и обезпечили ихъ существованіе, и чтобы въ то же время мать и сестра не замѣтили этого неожиданнаго прилива денегъ и не озадачили его настоятельными вопросами насчетъ ихъ происхожденія? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольниковъ могъ бы ускользнуть отъ подозрѣнія полиціи, но ему ни въ какомъ случаѣ не удалось бы отвести глаза тѣмъ людямъ, которые сами должны наслаждаться плодами его преступленія и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старую тряпку.

Это можно было и надо было предвидѣть заранѣе. Съ одной стороны, Раскольниковъ не могъ и подумать о томъ, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться съ его преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать проценты съ капитала, облитаго кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то ему необходимо было заранѣе придумать въ отношеніи къ нимъ цѣлый сложный и обширный планъ дѣйствій, цѣлую систему тонкихъ и стройныхъ манифестацій. Между тѣмъ въ романѣ мы не находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца и рѣшилъ свою задачу, упустивъ изъ виду одинъ изъ важнѣйшихъ ея элементовъ. Онъ успѣлъ только понять, что той дорогой, по которой идутъ честные работники, онъ итти не можетъ, потому что эта дорога совсѣмъ не приведетъ его, или приведетъ слишкомъ поздно, къ той цѣли, которую онъ имѣетъ въ виду; затѣмъ нить размышленій оборвалась, и онъ бросился стремглавъ, очертя голову, безъ оглядки и безъ дальнѣйшихъ расчетовъ въ противоположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна казалась ему открытой, но которая на самомъ дѣлѣ ведетъ только въ бездну.

Послѣ письма, полученнаго отъ матери, всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольникова, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Чтобы уклониться отъ исполненія этого долга, онъ ищетъ себѣ убѣжища въ своей слабости. «Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю», говоритъ онъ. «Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ расчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно, какъ день, справедливо, какъ ариѳметика. Господи! вѣдь я все-же равно не рѣшусь! Я, вѣдь, не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же я до сихъ поръ!» Признавая слабостью то чувство, которое удерживаетъ его отъ проливанія чело-

вѣческой крови, Раскольниковъ въ то же время радуется этой слабости и ухватывается за нее, какъ за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда онъ чувствуетъ эту мнимую слабость, избавляющую его отъ исполненія такого же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ своей мнимой слабости онъ отказывается отъ мысли объ убійствѣ и при этомъ переживаетъ такое радостное, уже давно неиспытанное ощущеніе, какъ-будто «нарывъ на сердцѣ его, нарывавшій весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался». Но на самомъ дѣлѣ нарывъ не прорвался: облегченіе было минутное. Въ немъ выразилось только послѣднее содроганіе человѣка передъ проступкомъ, совершенно противнымъ его природѣ. *Писаревъ.*

Путь, которымъ шелъ Раскольниковъ къ преступленію, нравственное страданіе, какъ естественное слѣдствіе совершоннаго злодѣянія въ связи съ характеристикой дѣйствующихъ лицъ въ романѣ.

Для человѣка извѣстнаго круга воспитанія, съ извѣстнымъ складомъ привычекъ, стремленій и проч. изо всѣхъ бѣдствій нѣтъ, можетъ быть, ни одного, которое было бы такъ страшно, какъ нищета (разумѣя подъ нищетою, конечно, не нищенство, а только послѣднюю степень бѣдности). Почему именно нищета? Почему она для иныхъ страшнѣе болѣзни и смерти?... Голодъ, нечистоты, зависимость, конечно, большія бѣдствія; но хотя всѣ они очень легко возможны для неимущаго, тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ не связано съ нищетой неразрывно. Неимущій можетъ трудиться и можетъ быть сытъ; онъ можетъ работать на чистомъ воздухѣ и будетъ здоровъ; нечистоты легко избѣжать тому, кто ея не терпитъ. Щетка, вода и мыло недорого стоютъ. Зависимость тяжела, разумѣется, но надо быть уже очень достаточнымъ человѣкомъ, чтобы быть дѣйствительно независимымъ. Сотни тысячъ людей не имѣютъ рѣшительно ничего, кромѣ рукъ да работы, и однако же никакъ нельзя утверждать, чтобы всѣ они были несчастны. Большая часть, если и не совсѣмъ довольны своимъ положеніемъ, то и тяготятся имъ уже никакъ не болѣе многихъ людей достаточныхъ. Они привыкли къ опасностямъ, ихъ окружающимъ, привыкли бороться съ ними, и это даетъ имъ стойкость, самонадѣянность и спокойствіе, которыхъ люди, взросшіе за перилами, въ ихъ положеніи, не могли бы имѣть. Сознаніе этого недостатка и есть та первая, общая всѣмъ послѣднимъ причина, которая дѣлаетъ нищету въ ихъ глазахъ самымъ ужаснѣйшимъ изъ несчастій. Они не могутъ себя вообразить на этой узкой площадкѣ вверху, безъ перилъ, не воображая съ тѣмъ вмѣстѣ ужаснѣйшей изъ всѣхъ нравственныхъ мукъ. Это первое. Вслѣдъ за этимъ является самолюбіе. У людей, мало развитыхъ въ нравственномъ отношеніи, оно выражается просто и грубо, презрѣніемъ

къ нищему, къ труду изъ-за хлѣба насущнаго, къ зависимости отъ всѣхъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и страхомъ стать въ уровень съ тѣмъ, что для нихъ презрительно. Тутъ нѣтъ анализа; этого рода люди не дѣлятъ себя отъ своего положенія и потерять его въ ихъ глазахъ значитъ просто погибнуть. Развитіе и привычка къ анализу ведутъ человѣка дальше. Въ немъ есть уже ясное пониманіе, что достоинство человѣка одна вещь, а случайная обстановка его положенія совершенно другая. Такой человѣкъ не презираетъ нищаго за его нищету, но это не мѣшаетъ ему презирать его вдвое за его грубость, невѣжество. Онъ не считаетъ себя выше его, потому что онъ обезпеченъ, но онъ переноситъ балансъ на другую сторону и цѣнитъ въ себѣ несоразмѣрно высоко то, что, конечно, ближе ему принадлежитъ, свой развитый умъ, очищенный — вкусъ и расширенный взглядъ на вещи. Для такихъ людей нищета не есть просто гибель, а нѣчто того горшее и ужаснѣйшее: — гибель нравственная. Они хорошо понимаютъ, что все превосходство ихъ гроша не стоитъ, если они попадутъ однажды въ такую сферу, гдѣ некогда сберегать дорогой свой товаръ въ кладовой и ждать, пока его купятъ оптомъ, гдѣ нѣтъ никакой отсрочки, гдѣ утренній трудъ съѣдается къ вечеру безъ остатка, подъ страхомъ голодной смерти. Къ тому же, чувство ежеминутной опасности плохой товарищъ для умственнаго труда... А далѣе?... Далѣе, всякій товаръ, не имѣющій сбыта, падаетъ быстро въ цѣнѣ, и мелочная лавчонка беретъ перевѣсъ надъ богатою кладовою... Что же?... Итти въ ученики къ нѣмцу, ремесленнику; — или стоять за прилавкомъ да продавать гнилыя селедки и ржавые огурцы, и ждать покуда твой мозгъ такъ же заржавѣетъ и прокиснетъ, и ты огрубѣешь, станешь такимъ же скотомъ, какъ всѣ эти сиволапы, сермяжники?... И все-таки будешь ниже ихъ; потому что они, несмотря на ихъ грубость, не пропадутъ, а ты пропадешь. Они сумѣютъ найтись и стерпѣть и выкарабкаться изъ этой вонючей тины, а ты не стерпишь и не найдешься — тебя засосетъ. И тутъ-то является у тебя украдкой сознаніе, оскорбительное для твоего высокаго мнѣнія о себѣ, сознаніе, что у этого сиволапа, сермяжника, есть нѣкоторыя нравственныя достоинства, которыхъ у тебя нѣтъ; — есть выдержка, смѣлость, находчивость, стойкость, — что онъ боецъ, а ты мямля и трусъ.

Вотъ точка анализа, на которой Раскольниковъ повернулъ съ общей дороги подобныхъ ему людей на свой особливый путь, а потому мы, оставивъ общую сторону вопроса, пойдемъ вслѣдъ за нимъ. Моментъ, на которомъ его застаетъ начало расказа, нѣсколько позже этого поворота. Онъ представляетъ его уже разрѣшившимъ вопросъ, ясную постановку котораго и самый способъ рѣшенія мы находимъ у автора только впослѣдствіи; но для насъ это все равно, потому что, во всякомъ случаѣ, намъ пришлось бы начать съ того же. Человѣкъ этотъ очень молодъ еще — онъ не кончилъ университетскаго курса; но онъ ужъ развитъ не по лѣтамъ. Давно ужъ онъ

успѣлъ понять свое положеніе и убѣдиться, что онъ не можетъ итти тою дорогою, которою началъ. Невозможность эта лежитъ, безъ сомнѣнія, не въ одной его бѣдности. Есть люди гибкіе, умѣющіе согнуться, гдѣ нужно, и проскользнуть въ такую узкую щелочку, которой другіе и не примѣтятъ. Раскольниковъ, очевидно, не изъ такихъ. Въ немъ нѣтъ изворотливости и находчивости, а съ другой стороны есть спесь, не позволяющая ему сгибаться. Такой человѣкъ долженъ былъ, разумѣется, чувствовать вдвое сильнѣе всѣ нравственныя мученія нищеты; но оскорбительное сознаніе, о которомъ мы говорили недавно, сознаніе, что всякій поденьщикъ въ его положеніи нашелъ бы въ себѣ болѣе смѣлости и болѣе силы выбиться изъ болота, грозящаго его засосать, сознаніе это, у человѣка съ такимъ свирѣпымъ высокомѣріемъ, естественно — приняло нѣсколько измѣненный видъ. Дорога, на которой онъ встрѣтилъ преградою крайнюю бѣдность, должна была стать въ глазахъ его вдвое заманчивѣе, и цѣль, къ которой она вела, неизмѣримо возвышеннѣе, чѣмъ все это, вѣроятно, казалось бы, если бъ оно случайно не сдѣлалось для него запрещеннымъ плодомъ и не одѣлось его искусительною прелестью. Такой человѣкъ, какъ онъ, съ его широкимъ взглядомъ на вещи, съ его умомъ, съ его волею, до чего онъ не могъ бы достичь, если бъ не эта тупая и унизительная преграда? Самый тотъ фактъ, что онъ не могъ миновать ее обыкновеннымъ путемъ, не долженъ ли онъ былъ стать, въ его глазахъ, вѣрною порукою, что онъ не похожъ на этихъ другихъ и не можетъ себя измѣрять обыкновенною мѣркою? Вмѣсто того, чтобъ сравнить себя съ обыкновеннымъ поденщикомъ и, понявъ со стыдомъ, что этотъ послѣдній, во многомъ, существенно человѣческомъ, выше и лучше его, поставить задачею для своего самолюбія какъ можно быстрѣе пополнить такой недостатокъ, человѣкъ этотъ предпочелъ просто выдѣлить себя изъ толпы и признать за единицу другого порядка, за одно изъ тѣхъ высшихъ существъ, для которыхъ обыкновенный путь не указанъ. Процессъ, приведшій его къ этому выводу, былъ процессъ чисто личныхъ иллюзій. Свое спесивое отвращеніе къ обыкновенной дорогѣ онъ принялъ за неспособность итти этой дорогой, а неспособность эта въ его глазахъ стала вѣрнѣйшею порукою, что онъ способенъ къ чему-то другому, лучшему. Чтобы оправдать эти иллюзіи, онъ долженъ былъ, разумѣется, положить въ основаніе ихъ общіе взгляды, успѣвшіе уже пріобрѣсть всѣ свойства авторитета, взгляды, конечно, выработанные не имъ, но которые приходились ему съ руки, и главнѣйшимъ изъ нихъ явилось весьма естественно — отрицаніе естественнаго порядка. Оно было съ руки ему и естественно въ его положеніи, потому что, не находя себѣ мѣста въ этомъ порядкѣ, онъ, разумѣется, былъ не слишкомъ расположенъ его уважать. Но мы изложимъ его воззрѣнія на этотъ предметъ собственными его словами. — «Люди» — говоритъ онъ, — «по закону природы, раздѣляются *вообще* на два разряда: — на низ-

шій (обыкновенный, то-есть, такъ сказать, на матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, т.-е. имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей *новое слово*. Подраздѣленія тутъ, разумѣется, безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно рѣзкія: *первый разрядъ*, т.-е. матеріалъ, говоря вообще, люди по натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными. По-моему, они обязаны быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего для нихъ унизительнаго. — *Второй разрядъ*, — всѣ преступаютъ законъ, разрушители, или склонны къ тому, смотря по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и много различны: большею частію они требуютъ въ весьма разнообразныхъ явленіяхъ разрушенія настоящаго во имя лучшаго будущаго... Первый разрядъ всегда господинъ настоящаго, второй разрядъ — господинъ будущаго. Первые сохраняютъ міръ и пріумножаютъ его численно: вторые двигаютъ міръ и ведутъ его къ цѣли. И тѣ и другіе имѣютъ совершенно одинаковое право существовать (впослѣдствіи, однако, оказывается, что неодинаковое). Однимъ словомъ, у меня всѣ равносильное право имѣютъ и vive la guerre éternelle! до новаго Іерусалима разумѣется»...

Изъ этого мы уже видимъ ясно, что Раскольниковъ сдѣлалъ скачокъ. Отъ неспособности своей быть простымъ поденщикомъ онъ перескакнулъ однимъ взмахомъ къ способности двигать міръ и вести его къ лучшей цѣли; разстояніе изумительное, и мы еще лучше могли бы измѣрить его, если бы знали ясно: какая это такая цѣль?.. Ужъ не *новый ли Іерусалимъ*, о которомъ онъ говоритъ въ концѣ? Но въ этомъ онъ, очевидно, и самъ не даетъ себѣ обстоятельнаго отчета или, вѣрнѣе сказать, впадаетъ, по поводу этого, въ противорѣчія. Насчетъ того, что собственно онъ разумѣетъ подъ *новымъ Іерусалимомъ*, сомнѣнія нѣтъ. Это тотъ новый порядокъ жизни, къ которому клонятся всѣ стремленія соціалистовъ, порядокъ, въ которомъ *всеобщее счастье* можетъ осуществиться, и Раскольниковъ готовъ вѣрить въ возможность такого порядка, по крайней мѣрѣ, онъ не оспариваетъ его возможности, но такъ какъ исходная точка его была чисто личный разладъ его съ жизнію, то и вся дальнѣйшая часть его тенденціи сохраняетъ въ себѣ этотъ личный характеръ. Возможность *всеобщаго счастья* слишкомъ ужъ далека для него... «Нѣтъ», говоритъ онъ, «мнѣ жизнь однажды дана, и никогда ея больше не будетъ; — я не хочу дожидаться *всеобщаго счастья*. Я и самъ хочу жить; а то лучше ужъ и не жить...» Вотъ ключъ къ тому настроенію, въ которомъ мы застаемъ его незадолго до его рокового *шага*. Этого мало еще, конечно, чтобъ все объяснить; это не болѣе какъ простой анализъ, который, самъ по себѣ, могъ вовсе и не имѣть послѣдствій, но въ головѣ человѣка съ такимъ бѣдовымъ характеромъ онъ уже много значитъ. Такой человѣкъ, какъ онъ,

не могъ на этомъ остановиться; онъ долженъ былъ пойти непремѣнно далѣе и гораздо далѣе, такъ далеко, какъ онъ, можетъ-быть, не созналъ бы въ себѣ и силы итти, если бы онъ могъ предвидѣть конецъ заранѣе, потому что онъ былъ не изъ сильныхъ, не былъ даже изъ очень смѣлыхъ людей, а былъ только прытокъ и дерзокъ, да при этомъ еще и неповоротливъ, такъ что прямая дорога по одному направленію — отъ анализа прямо къ выводу, а отъ вывода прямо къ дѣлу, обусловлена была для него скорѣе его неспособностью извернуться, чѣмъ свободнымъ выборомъ силы, сознающей себя достаточною. Тысячи были въ его положеніи и изъ нихъ очень многіе, можетъ быть, даже и думали такъ, какъ онъ; но у очень немногихъ сочетаніе ихъ образа мыслей съ общимъ болѣзненнымъ настроеніемъ духа могло бы родить такія послѣдствія.

Въ дѣтствѣ Раскольниковъ былъ мягкій и добрый ребенокъ, съ слабыми нервами и съ очень чувствительнымъ сердцемъ. Онъ не могъ видѣть чужого страданья. Впечатлительность эта осталась въ немъ и впослѣдствіи, и она-то была причиною, что, когда ему довелось самому терпѣть, онъ старательно избѣгалъ всякаго жесткаго столкновенія съ жизнію и уходилъ боязливо въ себя. Отъ этого-то въ *университетѣ* онъ почти не имѣлъ товарищей, всѣхъ чуждался, ни къ кому не ходилъ и у себя принималъ тяжело. Былъ онъ очень бѣденъ и какъ-то надменно гордъ и несообщителенъ, какъ будто что-то таилъ про себя... Ни въ общихъ сходкахъ, ни въ разговорахъ, ни въ забавахъ, ни въ чемъ онъ какъ-то не принималъ участія... Разумѣется и отъ него скоро всѣ отвернулись. Занимался сначала усиленно, не жалѣя себя, жилъ уроками и тѣмъ, что бѣдная мать высылала ему изъ губерніи; но все это было ничтожно. Мать и сама получала всего 120 рублей пенсіона, а за уроки платили ему полтинниками, которыхъ едва хватало на сапоги. Другой, конечно, можетъ-быть, справился бы и съ этимъ; были такіе между его товарищами, которые находили возможность это выдерживать, — онъ не могъ. Онъ былъ ненаходчивъ, неловокъ и гордъ. Года въ два-три онъ упалъ совершенно духомъ, пересталъ посѣщать лекціи, потерялъ уроки, отшатнулся рѣшительно отъ всего и заперся въ самомъ скверномъ кварталѣ города, въ пяти шагахъ отъ Сѣнной, въ душной каморкѣ, подъ самою кровлею пяти-этажнаго дома... Входъ съ черной лѣстницы мимо кухни хозяйки, у которой онъ въ неоплатномъ долгу. Въ каморкѣ пыль, духота, столъ съ книгами и тетрадями, до которыхъ ничья рука давно уже не касалась, софа въ лохмотьяхъ, на которой онъ часто спалъ, какъ былъ, не раздѣваясь, безъ простыни, покрываясь старымъ ветхимъ студенческимъ пальто и съ одною маленькою подушкою въ головахъ, подъ которую онъ подкладывалъ все, что было бѣлья, чистаго и заношеннаго, чтобъ было повыше; и надъ всѣмъ этимъ потолокъ, подъ которымъ можно было едва стоять, не касаясь до него головой... Четыре мѣсяца тому назадъ онъ получилъ отъ матери пятнадцать рублей,

потомъ закладывалъ кое-какія бездѣлки, но всего этого, разумѣется, далеко не хватало. Квартирная хозяйка двѣ недѣли уже какъ перестала ему отпускать кушанье. Настасья, единственная служанка хозяйкина, обязанная ему прислуживать, совсѣмъ перестала у него убирать и мести и такъ только въ недѣлю разъ нечаянно бралась иногда за вѣникъ. Въ одеждѣ своей, какъ и во всемъ остальномъ, онъ опустился и обнеряшился до послѣдней степени. Онъ былъ до того худо одѣтъ, что иной и привычный посовѣстился бы выходить въ такихъ лохмотьяхъ на улицу; но и улицы вокругъ дома его были не лучше. Близость Сѣнной, пропасть распивочныхъ, пьянство и толкотня, духота, вонь, все это было въ согласіи съ болѣе близкой къ нему обстановкой и замыкало безвыходный кругъ, въ которомъ мы застаемъ Раскольникова. Давно уже онъ томился въ этомъ кругу и, наконецъ, болѣзненное его настроеніе дошло до послѣдней степени. Глубочайшее отвращеніе ко всему, ненависть къ жизни и людямъ запирали всѣ выходы. О насущныхъ дѣлахъ своихъ онъ пересталъ совершенно заботиться, голодалъ по суткамъ, бродилъ по улицамъ, не замѣчая пути и не видя прохожихъ. Ему случалось нерѣдко возвратиться домой, напримѣръ, и совершенно не помнить дороги, по которой онъ шелъ, и онъ уже привыкъ такъ ходить. Чувство какой-то болѣзненной и трусливой вражды закипало въ немъ при малѣйшемъ прикосновеніи съ чужими, незнакомыми ему лицами. Онъ оборвалъ всякую связь съ окружающимъ, оттолкнулся рѣшительно отъ всего, ушелъ отъ всѣхъ, какъ черепаха въ свою скорлупу, и даже лицо служанки, заглядывавшей иногда въ его комнату, возбуждало въ немъ желчь и конвульсіи. Такъ бываетъ, по замѣчанію автора, у иныхъ мономановъ, слишкомъ на чемъ-нибудь сосредоточившихся... И это вѣрно. Такое разъединеніе со всѣмъ внѣшнимъ заставляетъ необходимо предполагать, съ другой стороны, не менѣе сильную концентрацію. Весь огонь, вся энергія этой молодой жизни сосредоточились въ головѣ. Это была единственная его мастерская, и въ ней, какъ въ пылающемъ фокусѣ очага, кипѣла работа усиленная и спѣшная... Онъ думалъ... Цѣлые длинные зимніе вечера, лежа, одинъ у себя въ каморкѣ въ потьмахъ, безъ свѣчей... онъ думалъ; далѣе этого ему нечего было дѣлать и некуда больше итти. «А понимаете ли вы, милостивый государь, что значитъ, когда уже некуда больше итти?... Ибо надо, чтобъ всякому человѣку хоть куда-нибудь было можно пойти»... А если некуда, совсѣмъ уже некуда, тогда что?... Тогда ему остается стоически обернуться лицомъ къ стѣнѣ и умереть; или... переступить барьеръ, поставленный для стада обыкновенныхъ людей закономъ, которому ихъ назначеніе повиноваться, но который не обязателенъ для людей другого разряда, людей, стремящихся къ разрушенію стараго во имя чего-нибудь новаго, лучшаго...

Въ томъ, что Раскольниковъ думалъ объ этомъ вопросѣ долго съ теоретической его стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія. Въ этомъ свидѣтельствуетъ его статья, написанная два мѣсяца передъ тѣмъ

и главною темою которой было *преступленіе*. Въ этой статьѣ онъ успѣлъ ужъ додуматься до довольно рискованныхъ заключеній. Онъ успѣлъ, напримѣръ, убѣдить себя: «что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то-есть не офиціальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти... перешагнуть черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для цѣлаго человѣчества) того потребуетъ. Такъ напримѣръ, если бы Кеплеровы, Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никакимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытію, или ставшихъ бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ... *устранить* этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству...» Все это далеко не ново и такъ не хитро, что человѣкъ, умственно зрѣлый, можетъ и самъ понять, гдѣ тутъ кроется ложь; а потому мы и займемся этимъ впослѣдствіи, на досугѣ; теперь же посмотримъ, что далѣе?... Далѣе — «всѣ, ну напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д., всѣ до единаго были преступники уже тѣмъ однимъ, что, давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій, и ужъ, конечно, не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы...» Выводъ такой, «что и всѣ, не то что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то-есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природѣ своей быть непремѣнно преступниками, болѣе или менѣе разумѣется. Иначе имъ трудно выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ, они, конечно, не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по-моему такъ даже и обязаны не соглашаться...»

Выводъ весьма замѣчательный, потому что онъ намъ указываетъ, куда, можетъ быть, непримѣтно для самого Раскольникова, но тѣмъ не менѣе очевидно для насъ, клонилась умственная его работа. Съ высоты историческихъ парадоксовъ, олицетворенныхъ имъ въ колоссальныхъ фигурахъ Наполеона и Магомета, онъ инстинктивно стремился сойти къ той крайне неопредѣленной чертѣ, которая отдѣляетъ послѣдній разборъ общественныхъ дѣятелей и людей, выходящихъ изъ ряда, отъ несмѣтнаго множества двусмысленныхъ личностей, *чуть-чуть выходящихъ изъ колеи*, *чуть-чуть способныхъ сказать что-нибудь новенькое*, отъ такихъ однимъ словомъ, на счетъ которыхъ весьма мудрено рѣшить: вышли ли они изъ колеи по природѣ своей, или попросту соскочили съ рельсовъ.

Въ началѣ статьи мы указали точку, съ которой Раскольниковъ повернулъ на теорію; здѣсь мы находимъ другую, съ которой работа мысли его начала опять принимать оборотъ практическій. Въ суммѣ эти два поворота образовали изгибъ, направленный безсознательно, но неуклонно къ тому, чтобы обойти препятствія, загородившія ему торный путь, и оставить ихъ позади себя однимъ взмахомъ, не вступая съ ними въ открытый, упорный бой. Къ несчастью, на изгибѣ этомъ его ожидало нѣчто, весьма для него непріятное, и чего никакими софизмами онъ не могъ обойти — это *законъ*, черезъ который надо было ступить фактически и такимъ образомъ совершить положительно, самолично то, что называется *преступленіемъ*. Теоретически онъ былъ смѣлъ и справлялся съ этимъ легко. Вопросъ о преступленіи вообще, какъ мы видѣли, занималъ его очень сильно и былъ обдуманъ имъ съ разныхъ сторонъ. Но *преступленіе вообще*, преступленіе какъ простое понятіе, и преступленіе въ образѣ дѣла, имѣющаго осуществиться — двѣ вещи весьма различныя.

...Что нужно сдѣлать?... Гдѣ и когда и какимъ образомъ? И точно ли онъ изъ тѣхъ, которые могутъ себѣ разрѣшить это по совѣсти ради высшихъ цѣлей? И гдѣ у него эти высшія цѣли?... Гдѣ силы Наполеона и гдѣ открытія Кеплера?... И кто стоитъ у него на дорогѣ, препятствуя ему сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества?... Все это страшно сбивало и путало мысленную его работу, а тутъ нужда стегаетъ его своимъ тяжелымъ бичомъ, какъ пугливую лошадь, упершуюся въ пяти шагахъ отъ барьера, и онъ дошелъ до послѣдней крайности, и итти больше некуда; а понимаете ли, что значитъ: когда человѣку некуда уже больше итти?... Какъ замкнутъ долженъ быть человѣкъ въ себѣ, какъ удаленъ отъ всякаго освѣжающаго дуновенія извнѣ и съ какимъ лихорадочнымъ жаромъ должна въ немъ работать мысль, отыскивая какую-нибудь щелочку, какой-нибудь выходъ!... И какъ болѣзненно раздражена должна быть фантазія, какіе сны должны грезиться, какія предчувствія мучить, какой легкій доступъ для суевѣрія съ его одуряющей темною силой!... Какое фатальное впечатлѣніе можетъ произвести малѣйшій намекъ извнѣ, самый ничтожный случай, дающій хотя и обманчивую, но все-таки какую-нибудь точку опоры для мысли, изнемогающей въ колебаніяхъ и отступающей на каждомъ шагу?... На все это мы находимъ отвѣтъ въ романѣ...

И вотъ, наконецъ, въ уединенной его мастерской, изъ этого мучительнаго процесса мысли, вылупился, какъ цыпленокъ изъ яйца, первый зародышъ *дѣла*, первое, ясное представленіе: куда надо итти и что именно сдѣлать. Голодная мысль набросилась на этотъ отвратительный кусокъ пищи съ неудержимою жадностью, и несмотря на то, что его при этомъ почти непрерывно тошнило, онъ далъ ей полную волю. Что за бѣда? Вѣдь это не дѣло еще, это только простой расчетъ и прикидка, необязывающіе его ни къ чему. Въ его волѣ всегда будетъ сдѣлать или не сдѣлать; но на тотъ случай,

если бы послѣ когда-нибудь, неизвѣстно когда, онъ нашелъ нужнымъ *сдѣлать*, то почему не обдумать сперва?... И вотъ онъ началъ обдумывать, не замѣчая того, что въ этомъ обдумываніи есть притягательная сила, противъ которой весьма мудрено устоять. Творческій процессъ мысли, посредствомъ котораго она зараждаетъ дѣло, начинается, нечувственно, безсознательно, но чѣмъ далѣе онъ подвигается, тѣмъ менѣе отъ нея зависитъ остановить его и истребить зародышъ въ зернѣ. Онъ крѣпнетъ, растетъ, перетягиваетъ въ себя всѣ силы матери и, наконецъ, отдѣливъ себя отъ нея, какъ нѣчто самостоятельное, становится властелиномъ ея, подчиняетъ ее себѣ совершенно. Нѣчто подобное произошло и съ Раскольниковымъ. Блудливое любопытство нужды и отсутствіе всякихъ другихъ занятій заставляли его сперва играть съ этимъ зародышемъ мысли, какъ съ страшной игрушкой, и онъ такъ привыкъ къ этой игрѣ, такъ былъ убѣжденъ, что это только игра, и что изъ мысли не выйдетъ дѣла, что незамѣтно втянулся въ эту игру до того, что сталъ чувствовать, наконецъ, какъ роли перемѣнились, и то, чѣмъ онъ забавлялся, овладѣвъ имъ, стало его давить и тянуть къ себѣ, и онъ самъ сталъ игрушкою у него въ рукахъ. Тогда-то онъ струсилъ и сталъ закрывать глаза, чтобы не видѣть произрожденія своей мысли, но оно было въ немъ, и онъ видѣлъ его, не могъ не видѣть его ежеминутно. Оно выросло, и всѣ члены его были развиты, готовы къ дѣйствію. Онъ самъ способствовалъ этому, самъ все придумалъ и подготовилъ давно. Топоръ выбранъ былъ какъ орудіе и гдѣ его взять рѣшено. Петля подъ пальто, подъ лѣвою мышкою, чтобы привѣсить и скрыть топоръ, также была придумана; иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столѣ, въ бумажкѣ. Въ маленькой щели, между его «турецкимъ» диваномъ и поломъ, приготовленъ и спрятанъ былъ *мнимый закладъ*. Дѣло дошло, наконецъ, до того, что и обманывать себя далѣе было уже невозможно: съ ужасомъ онъ убѣдился, что это ужъ болѣе не простая фантазія, а положительный и серьезный умыселъ. Онъ былъ отвратителенъ для Раскольникова, но Раскольниковъ ужъ не могъ отъ него отказаться надолго, не могъ оттолкнуть его отъ себя и только пятился отъ него, колебался въ мучительной нерѣшимости, трусилъ, дрожалъ...

Это была та минута, когда онъ почувствовалъ, что его начинаетъ *втягивать;* но онъ сдѣлалъ еще одно послѣднее и отчаянное усиліе... Почти въ горячкѣ, въ бреду, мы находимъ его просыпающимся на Петровскомъ, въ кустахъ, куда онъ забрелъ наканунѣ, не сознавая зачѣмъ, и гдѣ онъ уснулъ отъ утомленія. Страшный сонъ еще мерещится ему наяву. Весь ужасъ того, что ему предстоитъ, разомъ обрисовался въ его глазахъ, и онъ вдругъ рѣшилъ, что этого быть не можетъ, что этому не бывать... Свобода отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, навожденія, показалась ему возможна еще. Собравъ послѣднія силы, онъ торжественно отрекся отъ всего имъ

задуманнаго и шелъ уже домой съ чувствомъ отраднаго успокоенія на душѣ, какъ вдругъ, совершенно нечаянно, онъ попалъ на Сѣнную, и это его удивило, потому что Сѣнная была не по дорогѣ ему; но ужасъ смѣнилъ его удивленіе, когда онъ вдругъ, внезапно и совершенно неожиданно, изъ разговора, подслушаннаго имъ мимоходомъ, узналъ, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ея сожительницы, дома не будетъ, и что стало быть старуха, ровно въ семь часовъ вечера, *останется дома одна*. Этотъ ничтожный самъ по себѣ случай сталъ для него приговоромъ судьбы... «Онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно».

Такова сущность психологическаго анализа. Глубокая правда его сообщаетъ разсказу характеръ живой, невыдуманной дѣйствительности. Въ результатѣ мы видимъ передъ собою ярко очерченный образъ Раскольникова. Это слабый, болѣзненно-впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, подъ вліяніемъ раздраженной мысли вообразившій себя Титаномъ и самъ на каждомъ шагу инстинктивно чувствующій свою ошибку, но не имѣющій силы освободиться изъ-подъ обаятельнаго вліянія. Заносчивый и блудливый, но ограниченный умъ его, на первой попыткѣ выбиться изъ рутины, на первыхъ шагахъ къ самостоятельному развитію, увязъ въ кругу узкой, парадоксальной теоріи и до конца не могъ выбиться изъ нея, до конца не могъ сбросить съ себя это иго. Взглянемъ на эту теорію, — она недалеко хватаетъ и потому не задержитъ насъ долго.

Раскольниковъ дѣлитъ людей на людей и на не людей. Первые у него имѣютъ смыслъ сами въ себѣ, вторые только по отношенію къ первымъ, какъ матеріалъ, необходимый для ихъ производства. Это уже довольно странно, но еще гораздо страннѣе выводъ, который изъ этого дѣлается. Еслибъ онъ вывелъ, что первые должны жить для себя, а вторые для первыхъ, то это, по меньшей мѣрѣ, было бы хоть послѣдовательно; но онъ заключаетъ наоборотъ. Первые у него живутъ для послѣднихъ и признаются *людьми* потому только, что они имѣютъ способность и назначеніе быть ихъ благодѣтелями.

Затѣмъ, восходя въ сферу права, онъ дѣлитъ это понятіе, какъ провіантъ, между всѣми людьми, безъ различія, поголовно и въ случаяхъ спорныхъ рѣшаетъ ариѳметически. Гдѣ больше число головъ, тамъ право является съ плюсомъ, какъ нѣчто дѣйствительное и положительное; а гдѣ меньше, тамъ съ минусомъ, какъ мнимое, отрицательное и потому въ дѣйствительности несуществующее. Въ суммѣ, весь этотъ вздоръ можно опредѣлить пятью словами. Это попытка ввести въ сферу нравственной истины систему ариѳметическихъ отношеній. Попытка несбыточная, потому что понятіе недѣлимо.

Право у единой личности и право милліоновъ людей равно, потому что тутъ нѣтъ двухъ правъ, а есть только одно, и нельзя его отрицать съ одной стороны у одного человѣка, не отрицая тѣмъ самымъ съ другой у всѣхъ остальныхъ. Объ эту-то *недѣлимость понятія* и спотыкается прежде всего парадоксъ Раскольникова. Сто разъ задаетъ онъ себѣ все тотъ же вопросъ и сто разъ попадаетъ въ безвыходной кругъ противорѣчивыхъ его разрѣшеній, а одного, простого и совершенно съ собою согласнаго не усматриваетъ. Ему мерещутся Магометы, Наполеоны, путь этихъ людей, залитый кровью, и тѣ вѣнцы, которыми ихъ вѣнчали, это — съ одной стороны, а съ другой, — онъ, бѣдный студентъ, Раскольниковъ, за которымъ не признаютъ даже права убить одну ничтожную, гадкую старушонку, несмотря на то, что онъ клятвенно обѣщаетъ загладить это мизерное отступленіе отъ закона рядомъ благодѣяній!... Гдѣ тутъ справедливость? Да разумѣется ее тутъ вовсе нѣтъ, и мы не можемъ понять, въ чемъ онъ тутъ видитъ противорѣчіе. Справедливости нѣтъ ни въ томъ, что дѣлали Магометы съ Наполеонами, ни въ томъ, что онъ сдѣлалъ; а если ихъ и вѣнчала толпа, то, вѣдь, онъ же за то и презираетъ толпу. Чего жъ ему больше, и еслибы его толпа увѣнчала за его пакость, то развѣ это было бы причиною меньше ее презирать? Или онъ думаетъ не шутя, что эти титаны были увѣнчаны за тѣ благодѣянія, которыми они надѣлили людей? Но это ужъ было бы слишкомъ наивно, и хотя мы считаемъ Раскольникова ограниченнымъ человѣкомъ, но все же не до такой степени.

Вотъ связный отчетъ о томъ, какимъ путемъ Раскольниковъ пришелъ къ дѣлу. Къ сожалѣнію, составляя его, мы не могли воспользоваться всею массою матеріала, умѣстившагося въ шести частяхъ. Имѣя въ виду прежде всего связь и послѣдовательность, мы должны были выбрать то, что, по нашему убѣжденію, ближе подходитъ къ истинѣ и, по возможности, меньше противорѣчитъ цѣлому. Исполнивъ это безъ оговорки и безъ упрековъ, мы повторимъ еще разъ, что взглядъ автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, въ коренныхъ основаніяхъ своихъ, вѣренъ, и затѣмъ сочтемъ себя уже въ полномъ правѣ, также безъ оговорокъ, высказать нѣкоторыя сомнѣнія, оставшіяся у насъ послѣ внимательной и подробной оцѣнки *всѣхъ данныхъ*.

Теоретическихъ противорѣчій мы не беремъ въ расчетъ. Мало ли что совмѣщается въ головѣ, чего никакъ нельзя совмѣстить на дѣлѣ. Мы видали примѣры и не такой путаницы. Поэтому мы легко поймемъ, что додуматься до подобной пакости Раскольниковъ могъ и оправдывать ее могъ. Но какимъ образомъ такой лирикъ, Гамлетъ, такой малодушный и слабонервный мечтатель могъ когда-нибудь найти въ себѣ столько рѣшимости, чтобы исполнить дѣйствительно имъ задуманное, это не такъ-то ясно. Онъ понималъ хорошо весь ужасъ его ожидающій, всю мерзость подобнаго дѣла; его возмущало, тошнило при одной мысли о томъ, какъ онъ возьметъ въ руки

топоръ и станетъ бить старуху по головѣ; онъ самъ признается сто разъ, что зналъ заранѣе, до какой степени онъ не способенъ на этого рода вещи, и мы вѣримъ ему, намъ кажется и самимъ, что онъ былъ не способенъ. У людей съ такимъ пылкимъ воображеніемъ и съ такою болѣзненною впечатлительностію, энергія страсти обыкновенно бываетъ слаба. Они тратятъ ее въ такомъ количествѣ и такъ постоянно на дѣло воображаемое, что ее не хватаетъ на дѣло дѣйствительное. А что Раскольниковъ былъ такой именно человѣкъ, то на это и въ первой части (изъ которой мы извлекли главнѣйшіе матеріалы для нашего отчета) мы находимъ намеки, весьма недвусмысленные; что же сказать объ остальныхъ пяти?... Такой ужасъ, такіе трансы и такая глубокая, тонкая, поэтическая, мѣстами даже юмористическая оцѣнка всего происходящаго съ нимъ, откуда оно взялось у этого человѣка? Не убійство же со всею его неизрѣченною мерзостію сдѣлало изъ него такого поэта; а обратно предположить, что такой поэтъ могъ сдѣлать такую мерзость, — опять не приходится. Догматы узкой теоріи, горячая, отвлеченная голова, фанатизмъ, сосредоточивающій всѣ страсти въ пылающемъ фокусѣ одной безотвязной идеи, — все это отлично подходитъ къ убійству и могло бы намъ объяснить его очень достаточно, и на все это есть намеки мѣстами, но это не все и далеко не такъ очевидно, а очевидное, что намъ встрѣчается сплошь и подрядъ и въ чемъ сомнѣваться почти нельзя, это то, что Раскольниковъ былъ поэтъ. Эта черта господствуетъ. Припомнимъ сонъ его наканунѣ убійства, припомнимъ тѣ фантастическіе и яркіе образы, въ которыхъ ему рисуется его положеніе, и его разговоръ въ трактирѣ съ Заметовымъ, и тотъ тонкій юморъ, съ которымъ онъ самъ осмѣиваетъ свои ошибки, и вѣрный отчетъ, который безъ зову, съ неудержимой навязчивостью является у него въ минуты страшнѣйшей опасности, отчетъ о томъ, что онъ чувствуетъ и что съ нимъ происходитъ, и, наконецъ, его тонкую, инстинктивную и безошибочную оцѣнку людей съ перваго взгляда, съ перваго слова, — сообразимъ это все и повторимъ еще разъ: да, Раскольниковъ былъ поэтъ, и поэтъ, меньше всего способный къ жестокому дѣлу, — поэтъ лирическій. Затѣмъ остается вопросъ: какимъ образомъ онъ могъ окунуться въ такую грязь и, несмотря на весь ужасъ дѣла, сознаваемый имъ яснѣе, чѣмъ кѣмъ бы то ни было, не только задумать его, не только рѣшиться, — но и исполнить дѣйствительно?... Не спятилъ ли онъ совсѣмъ съ ума за нѣсколько времени передъ дѣломъ и потомъ уже, понемногу пришелъ въ разсудокъ? Но, во-первыхъ, мы ни одной минуты до дѣла или во время дѣла не видимъ его въ безсознательномъ состояніи. Во-вторыхъ, если бы это дѣйствительно было такъ, то авторъ, конечно, не оставилъ бы насъ въ сомнѣніи. Нѣтъ, авторъ не думалъ этого, и въ этомъ ручаются намъ нѣсколько строкъ его эпилога, въ которыхъ онъ явно смѣется надъ модной теоріей *временнаго умопомѣшательства*. Къ тому же существенный смыслъ большей половины романа и одна изъ глав-

нѣйшихъ причинъ его объема, очевидно, то, что авторъ имѣлъ въ виду довесть преступника до раскаянія. Все это было бы лишнее и не имѣло бы даже смысла, еслибъ Раскольниковъ былъ мономанъ, а не преступникъ. Толкованіе этого рода, стало быть, мы не можемъ никакъ допустить. Затѣмъ остается только одно и, по нашему мнѣнію, единственное возможное. Мы должны допустить, что авторъ сдѣлалъ ошибку, не отдѣливъ достаточно ясной чертой себя отъ своего созданія. Онъ былъ, какъ говорили у насъ во время оно, недостаточно объективенъ. Его собственный, мѣстами высоко-лирическій, мѣстами неподражаемо-юмористическій взглядъ на Раскольникова и на его поступокъ въ жару увлеченія нечувствительно ускользнулъ отъ него, перешелъ къ Раскольникову и съ свойственною этому послѣднему дерзостью усвоенъ былъ имъ. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, какъ говорится, на мѣстѣ его, войти въ его положеніе и пережить его собственнымъ сердцемъ; но сердце сердцу рознь. Того, что чувствовалъ бы такой поэтъ, какъ Достоевскій, если бы онъ какимъ-нибудь колдовствомъ могъ очутиться дѣйствительно въ положеніи Раскольникова, того не могъ, даже и приблизительно, чувствовать настоящій Раскольниковъ, а если бы могъ, то онъ никогда не сдѣлалъ бы такой мерзости. Это была ошибка,— ошибка существенная, и, разъ убѣдясь въ ней, не трудно себѣ объяснить, какія она имѣла послѣдствія. Анализъ, въ основѣ своей глубоко-вѣрный, получилъ ложный оттѣнокъ, и этотъ ложный оттѣнокъ явился вокругъ головы Раскольникова какою-то блѣдною ореолою падшаго ангела, которая вовсе ему не къ лицу. Что это былъ за человѣкъ въ сущности, объ этомъ не трудно составить себѣ понятіе, стоитъ только припомнить двѣ, три черты. Вспомнимъ, напримѣръ, какъ онъ унижался передъ полиціей или хоть то, что, во все время слѣдствія, ему не случилось ни разу даже и пожалѣть, что другихъ, невинныхъ людей держатъ изъ-за него въ острогѣ, что они лѣзли въ петлю отъ ужаса и что ихъ могутъ сослать на каторгу: Это ему казалось естественно, и онъ этому былъ даже радъ, боялся только, чтобъ истина, наконецъ, не открылась. И такой человѣкъ, едва успѣвъ вынырнуть изъ кровавой лужи, въ которую онъ окунулся, вдругъ поднимаетъ голову и смотритъ на все съ высоты неприступной. На сердцѣ у него всемірное горе, на языкѣ язвительная сатира; это уже не мальчикъ, недоучившійся въ школѣ и съ голодухи озлобленный, а со злости додумавшійся до чертиковъ,— это Гамлетъ или Фаустъ, человѣкъ совершенно-зрѣлый и эстетически развитой!...

Но оставимъ эстетику и вернемся къ разсказу.

За *преступленіемъ* слѣдуетъ *наказаніе*. «Слѣдуетъ», впрочемъ, мало сказать, это слово далеко не передаетъ той неразрывной связи, какую авторъ провелъ между двумя сторонами своей задачи. Наказаніе начинается раньше, чѣмъ дѣло совершено. Оно родилось вмѣстѣ съ нимъ, срослось съ нимъ въ зародышѣ, неразлучно идетъ

съ нимъ рядомъ, съ первой идеи о немъ, съ перваго представленія. Муки, переносимыя Раскольниковымъ, подъ конецъ, когда дѣло ужъ сдѣлано, до того превосходятъ слабую силу его, что мы удивляемся, какъ онъ ихъ вынесъ. Въ сравненіи съ этими муками всякая казнь блѣднѣетъ. Это сто разъ хуже казни, это пытка и злѣйшая изъ всѣхъ,—пытка нравственная. Нѣсколько разъ она до того доходитъ, что онъ не можетъ ужъ дольше терпѣть и идетъ объявить на себя, чтобъ только чѣмъ-нибудь кончить, но дѣло случайно затягивается и вдругъ принимаетъ другой оборотъ. Въ одну изъ тѣхъ страшныхъ минутъ, когда онъ чувствуетъ полное омерзѣніе къ жизни, чувствуетъ себя отъ всѣхъ какъ ножницами отрѣзаннымъ и не можетъ себѣ представить, чтобы когда-нибудь между людьми и имъ могло быть что-нибудь общее, — бѣдствіе одного недавно знакомаго ему семейства затрогиваетъ въ немъ живую струну, и онъ дѣлаетъ доброе дѣло, маленькое, едва примѣтное доброе дѣльце, но оно упадаетъ, какъ капля небесной воды на запекшіяся отъ жажды губы того несчастнаго грѣшника, о которомъ разсказываетъ намъ притча... Чистый ребенокъ, дѣвочка — догоняетъ его на лѣстницѣ, лепечетъ ему сквозь слезы слова искренней благодарности, обнимаетъ его своими худенькими рученками и цѣлуетъ, — цѣлуетъ его — *убійцу!*... Все это вдругъ освѣжило его удивительнымъ образомъ. Это была первая минута отдыха, настоящаго отдыха, первый намекъ, что не все для него еще кончено, что въ жизни есть нѣчто еще, отъ чего и онъ не оторванъ, и это нѣчто такъ чисто, такъ хорошо!... Вслѣдъ за этимъ на сцену является другой падшій ангелъ, — ангелъ — увы! съ желтымъ билетомъ! — Это кроткая Соня! Главная роль послѣ Раскольникова по смыслу разсказа, должна принадлежать ей. Это несчастный, но великодушный ребенокъ, продающій себя для поддержки такой же несчастной семьи.

Семья Мармеладовыхъ принадлежитъ къ числу лучшихъ вещей, когда-нибудь созданныхъ авторомъ и совершенно во вкусѣ его. Несмотря на ужасный смыслъ ихъ положенія и ихъ отношеній другъ къ другу, общее впечатлѣніе до того горячо и чисто, и дышитъ такимъ истинно человѣческимъ пониманіемъ человѣка и любовію къ человѣку, что мы почти отдыхаемъ на немъ отъ удушливой атмосферы ужаса и отчаянія, въ которой авторъ заставляетъ насъ вращаться все остальное время. Катерина Ивановна — вотъ настоящая героиня. Ничего меньше похожаго на идеалъ, но вмѣстѣ и ничего, въ чемъ истинная энергія женщины заявила бы себя правдивѣе, громче и явственнѣе. Это безвыходное, отчаянное несчастіе, это отсутствіе всякой опоры и всякаго утѣшенія, и въ виду всего этого такая борьба! Борьба ежедневная, ежечасная, безъ одной минуты отдыха, безъ малѣйшей надежды на помощь или побѣду, борьба безъ уступки и сдачи, борьба до послѣдняго вздоха и до послѣдняго замиранія сердца!... Что долженъ былъ чувствовать такой человѣкъ, какъ Раскольниковъ, встрѣтясь лицомъ къ лицу съ такою

женщиной? Не долженъ ли онъ былъ сгорѣть отъ стыда, дальнымъ женъ ли онъ былъ показаться самъ себѣ грязной тряпкою?...

Совершенно другого рода контрастъ съ Катериной Ивановн. мы находимъ въ мужѣ ея. Что это за лицо? и откуда взялъ авторъ такія краски, чтобы его написать? Послѣ всѣхъ блестящихъ попытокъ Островскаго въ этомъ родѣ, послѣ всего, что мы встрѣчали въ жизни и въ литературѣ, намъ кажется, что мы никогда еще не видали пьяницу, настоящаго, записного пьяницу и никогда не знали, до чего на этой дорогѣ можетъ дойти человѣкъ, не дѣлаясь между тѣмъ совершеннымъ скотомъ и все еще сохраняя въ себѣ теплую душу и мысли истинно-человѣческія... Что же сказать о Сонѣ?...

Лицо это глубоко-идеальное, и задача автора была невыразимо трудна; поэтому можетъ-быть исполненіе ея и кажется намъ слабо. Задумана она хорошо, но ей тѣла недостаетъ; — несмотря на то, что она безпрестанно у насъ на глазахъ, мы какъ-то не видимъ ея. Все, что о ней говорятъ, полно смысла и рисуетъ ее гораздо лучше, чѣмъ то, что она сама отъ себя говоритъ. Отношенія этой особы къ Раскольникову довольно ясны. Это былъ единственный человѣкъ изъ всѣхъ окружающихъ, передъ которымъ у него хватило духу открыться и въ которомъ онъ могъ найти себѣ точку опоры. Она, съ одной стороны, по крайней мѣрѣ, была для него или, по крайней мѣрѣ, казалась ровнею; — но онъ, конечно, не могъ такъ скоро понять, до какой неизмѣримой степени эта женщина выше его во всемъ остальномъ. Послѣ онъ понялъ, и тогда онъ упалъ передъ ней на колѣни, тогда онъ отдалъ ей душу свою навсегда.

Все это однако, въ романѣ, выходитъ вяло и блѣдно не столько въ сравненіи съ энергическимъ колоритомъ другихъ мѣстъ разсказа, сколько само по себѣ. Идеалъ не вошелъ въ плоть и кровь, а такъ и остался для насъ въ идеальномъ туманѣ. Короче сказать, все это вышло жидко, неосязательно...

Порфирій неподражаемъ!... Не говоря ужъ о томъ, что онъ выполненъ въ совершенствѣ; это въ глаза бросается. Картина полна и выходитъ изъ рамки; ни одной черточки не найдешь прибавить или убавить, совершенно живой человѣкъ; а вглядитесь въ него попристальнѣе и увидите, что такихъ людей нѣтъ. Идеалъ, да какой еще! Идеалъ слѣдователя, глубочайшаго знатока по своей части, психолога, одареннаго самымъ тонкимъ психологическимъ чутьемъ, понимающаго людей насквозь и читающаго у нихъ въ душѣ, какъ въ открытой книгѣ! Такого слѣдователя не встрѣтишь даже и между *правовѣдами*, на которыхъ онъ, кстати сказать, до такой степени непохожъ, что мы удивляемся: какимъ образомъ автору пришло въ голову записать его въ этотъ цѣхъ? Порфирій играетъ съ Раскольниковымъ, какъ съ малымъ ребенкомъ и видитъ его игру насквозь. Не имѣя въ рукахъ ни одной черточки, за которую онъ бы могъ ухватиться, онъ доводитъ противника до того, что тотъ кру-

съ нимъ [illegible] женная муха вокругъ огня, и, наконецъ, попа- [illegible] аскольниковъ самъ, безъ зову, лѣзетъ къ нему и [illegible] раніемъ скрыть игру открываетъ ему, одну за одной, [illegible] Это уже сдѣлало бы величайшую честь любому слѣдо- [illegible] но и этого мало еще. Замотавъ совершенно Раскольникова, [illegible] дитель великодушно отказывается отъ трофеевъ своей побѣды. [illegible] ъ не хочетъ его гонять и травить какъ зайца, да это ему и не нужно. Онъ говоритъ ему прямо и совершенно искренно: вы въ моихъ рукахъ, но я васъ жалѣю по-человѣчески и хочу вамъ помочь, насколько это возможно. Мой дружескій вамъ совѣтъ; поймите, что вамъ больше нечего дѣлать и явитесь съ повинною; это будетъ вамъ безконечно выгоднѣе...

Мы жалѣемъ, что авторъ Свидригайлова очертилъ второпяхъ и далъ ему роль, совершенно побочную. Свидригайловъ выходитъ особнякомъ въ романѣ; въ немъ много загадочнаго, и даже его отношенія къ Дунѣ, сестрѣ Раскольникова, не довольно ясны. Намъ остается неясно чувство его къ этой женщинѣ: была ли это одна сухая, звѣрская страсть или тутъ замѣшалось что-нибудь чище этого? Послѣднее вѣроятнѣе, потому что снимаетъ всякій укоръ въ утрировкѣ и придаетъ человѣческій образъ даже такому скоту. Сцена его съ сестрою Раскольникова отзывается мелодрамой; но и въ этомъ не онъ виноватъ. Будь на мѣстѣ ея живое лицо, могло бы выйти удачнѣе. Болтливая рѣчь Свидригайлова, при встрѣчахъ его съ Раскольниковымъ, рисуетъ отлично эту фигуру, рисуетъ ее во всю богатырскую ея ширину, и мы отдыхаемъ на этой картинѣ цѣлой, не сломанной силы отъ спазматическихъ трансовъ Раскольникова. Свидригайловъ тоже убійца, можетъ-быть даже и хуже того, и въ немъ нѣтъ ничего штучнаго, разнорѣчиваго; онъ весь, безъ всякихъ противорѣчій, подлецъ, а между тѣмъ — и намъ какъ-то странно признаться,— онъ симпатичнѣе Раскольникова. Сила, въ какую бы сторону она ни была направлена, все-таки сила, и мы не можемъ ей отказать совершенно, не то чтобы въ сочувствіи, это много сказать, а въ нѣкоторомъ, невольномъ къ ней уваженіи... Шулеръ, мерзавецъ, человѣкъ, предавшій себя старухѣ и потомъ уходившій эту старуху, человѣкъ, готовый растлить все молодое и свѣжее!... Какъ низокъ долженъ быть въ нашихъ глазахъ Раскольниковъ, чтобы стать если не ниже еще, то, по крайней мѣрѣ, противнѣе. Его эстетическая брюзгливость во время послѣдней бесѣды его съ Свидригайловымъ и тотъ невозмутимо-циническій, полунасмѣшливый тонъ, съ которымъ послѣдній ему говоритъ: ну да ужъ и вы то вѣдь тоже!... Все это полно оригинальнаго юмора... Черты суевѣрія очень понятны въ такомъ характерѣ, понятна и щедрость и то, что онъ является человѣкомъ, такъ, иногда, для развлеченія, потому что *вѣдь не привилегію же онъ взялъ въ самомъ дѣлѣ дѣлать одно только злое.* Но что остается темно, такъ это его самоубійство. Мы не считаемъ несбыточною эту развязку: на-

противъ, она весьма возможна; но между нею и всѣмъ остальнымъ человѣкомъ есть пробѣлъ, въ романѣ ничѣмъ ненаполненный. Мы можемъ только догадываться: какимъ образомъ онъ дошелъ до того, но данныхъ, чтобы повѣрить наши догадки, авторъ намъ не далъ, а потому мы и не видимъ нужды ихъ сообщать.

Ахшарумовъ.

Концепція романа «Преступленіе и наказаніе», борьба героя съ воспоминаніями о преступленіи, въ связи съ страданіями, какъ искупительною жертвой.

«Преступленіе и наказаніе» показываетъ, что талантъ Достоевскаго достигъ апогея своего развитія. Люди науки, посвятившіе себя изученію психическихъ сторонъ человѣческаго духа, прочтутъ, я увѣренъ, съ наслажденіемъ это изслѣдованіе въ области уголовной психики, наиболѣе глубокое изъ появившихся послѣ Макбета Шекспира. Но я боюсь, что многіе не въ состояніи будутъ окончить чтеніе этого романа. Это не удовольствіе, а добровольно налагаемая не себя болѣзнь, которая должна оставить послѣ себя нравственный слѣдъ. Словомъ, чтеніе, невозможное для женщинъ и людей слишкомъ впечатлительныхъ.

Концепція романа «Преступленіе и наказаніе» весьма не сложная. Въ умѣ молодого человѣка рождается мысль объ убійствѣ. Мысль созрѣваетъ, и онъ приводитъ ее въ исполненіе. Нѣкоторое время молодой человѣкъ защищается отъ преслѣдованій правосудія и, наконецъ, доведенный до необходимости чистосердечнаго признанія, цѣною тяжкаго наказанія искупаетъ свое преступленіе. Такимъ образомъ романъ является драмой чисто психологическаго характера; это борьба человѣка съ неотступно преслѣдующей его идеей. Единство дѣйствія сохранено вполнѣ, и всѣ окружающія лица и положенія имѣютъ значеніе только какъ элементы, могущіе способствовать тому или другому рѣшенію преступника. Первая часть романа посвящена описанію зарожденія и постепеннаго развитія ужасной мысли и проведена съ замѣчательной правдивостью и глубиной анализа. Студентъ Раскольниковъ, нигилистъ въ истинномъ значеніи этого слова, человѣкъ безъ всякихъ правилъ, безъ опредѣленныхъ понятій о нравственности и долгѣ, но человѣкъ образованный, борется съ нищетой и состояніемъ нравственнаго угнетенія. Необходимость заставила его обратиться къ какой-то старухѣ — ростовщицѣ, и тутъ-то, получая ссуду, въ головѣ Раскольникова мелькнула мысль объ убійствѣ. Понятно, что подобная мысль можетъ осуществиться при согласіи воли; Раскольниковъ же не придалъ ей сначала никакого значенія. Но зародившаяся мысль не покидаетъ молодого человѣка, мало-помалу она переходитъ въ неотступно преслѣдующую его idée-fixe. Вмѣстѣ съ нею развивается и укрѣпляется согласіе воли. Всѣ печальныя сцены дѣйствительной жизни, къ которымъ Раскольниковъ

чувствовалъ себя прикосновеннымъ когда то бы ни было, казалось, только наталкивали его на эту мысль; помощью таинственной внутренней работы всѣ онѣ преобразуются въ какихъ-то руководителей преступленія. И эта-то сила, подобно силѣ судьбы, рока древнихъ греческихъ трагедій, всецѣло властвующей надъ человѣкомъ, облечена въ плоть и кровь съ такой образностью, что мы невольно представляемъ ее себѣ въ видѣ какого-нибудь дѣйствующаго лица реальной жизни; она управляетъ дѣйствіями преступника до той минуты, пока топоръ не падаетъ надъ головами обѣихъ жертвъ. Преступленіе совершено.

Начинается борьба несчастнаго съ воспоминаніями преступленія,— борьба, подобная той, которую онъ уже испыталъ при столкновеніи воли съ замысломъ. Вся жизнь его, отношенія къ обществу измѣнились. Сознаніе совершеннаго преступленія и нравственной отвѣтственности, лежащей на немъ, поставили Раскольникова въ положеніе совершенно исключительное. И, смотря на общество сквозь призму этой чисто личной исключительности, онъ придавалъ ему новую, совершенно особую окраску, которая не давала ему возможности сближаться съ людьми; заставляла его мыслить и чувствовать не такъ, какъ всѣ; лишала постояннаго, опредѣленнаго положенія среди своихъ собратьевъ. Словомъ, гармонія его души съ окружающимъ міромъ была нарушена. Это не чувство раскаянія, не постоянное угрызеніе совѣсти, въ классическомъ значеніи слова. Нѣтъ! Раскольниковъ познаетъ всю благодѣтельную силу этого примиряющаго чувства не раньше, какъ рѣшившись страданіемъ искупить свое преступленіе. И Достоевскій прекрасно оттѣнилъ всю перепетію сложныхъ ощущеній, волновавшихъ душу убійцы. Онъ и досадовалъ, что такъ дурно воспользовался выгодами преступленія, и возмущался противъ нравственныхъ послѣдствій, совершенно неожиданно для него явившихся результатомъ убійства, наконецъ, стыдился сознанія собственной слабости, потому что основной чертой характера Раскольникова является все-таки гордость. Самое положеніе, въ которомъ очутился Раскольниковъ послѣ совершенія убійства, опредѣлило и цѣль его жизни — это постоянная боязнь быть заподозрѣннымъ въ преступленіи, заставлявшая его хитрить съ людьми, а съ полиціей въ особенности. Въ то же время онъ ищетъ общества полицейскихъ, старается сближаться съ ними. Чувство, подобное тому, которое привлекаетъ насъ къ краю пропасти, чтобы испытать головокруженіе, заставляло убійцу вступать въ безконечные разговоры съ приставомъ слѣдственныхъ дѣлъ Порфиріемъ Петровичемъ. Раскольниковъ доводитъ эти разговоры до крайней степени: кажется, еще одно слово, и послѣдуетъ признаніе, а между тѣмъ убійца уже ушелъ въ себя и по прежнему продолжаетъ свою опасную игру. Порфирій давно угадалъ тайну студента и играетъ имъ, какъ кошка съ мышью, увѣренный, что жертва не избѣжитъ его рукъ; ослѣпленная, она сама попадетъ въ ловушку. И Раскольниковъ знаетъ, что убійство его предугадано

Порфиріемъ. Тѣмъ не менѣе іезуитскій разговоръ двухъ соперниковъ тянется въ продолженіе нѣсколькихъ главъ, — разговоръ, замѣчательный своею двойственностью: улыбающіяся губы отрицаютъ всякое участіе въ преступленіи въ то время какъ взглядъ подтверждаетъ его.

Только продливъ напряженное вниманіе читателя довольно долго и тѣмъ самымъ совершенно измучивъ его, авторъ выводитъ на сцену благодѣтельное вліяніе, долженствовавшее сломить гордость виновнаго и примирить его съ самимъ собою, заставляя принять должное наказаніе какъ искупленіе. Вліяніе это является въ образѣ падшей дѣвушки, любимой Раскольниковымъ. Но да не подумаетъ читатель, что подобной быстрой развязкой Достоевскій закончилъ интригу своего романа тѣмъ банальнымъ образомъ, какъ заканчивали наши романисты пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, выводя на сцену любовь ссыльнаго къ проституткѣ, — любовь взаимно искупающую обоюдныя прегрѣшенія. Проницательность художника въ томъ и заключается, что онъ угадываетъ психическое состояніе человѣка, вызванное сознаніемъ тяготѣвшаго надъ нимъ преступленія. Такой человѣкъ не можетъ уже отдаться чувству любви съ той непосредственностью и силой, какъ человѣкъ свѣжій, не имѣющій за собой печальнаго прошлаго. Въ сдержанномъ выраженіи любви перваго всегда отражается какое-то мрачное отчаяніе. Соня, — кроткое, покорное существо, проданное изъ-за куска хлѣба, — повидимому совершенно не сознаетъ своего положенія падшей женщины: она переноситъ его смиренно и безропотно, какъ какую-то неизбѣжную болѣзнь, какъ крестъ, ниспосланный судьбой. Но Соня искренно привязалась къ единственному человѣку, не бросившему ей въ лицо презрѣнія. А между тѣмъ она видитъ, что какая-то ужасная тайна терзаетъ его; она убѣждаетъ Раскольникова сказать, въ чемъ дѣло. Преступникъ упорствуетъ. Наконецъ, послѣ долгой борьбы признаніе это вырывается изъ устъ его. То есть, нѣтъ, онъ не проронилъ ни единаго слова; только въ безмолвной сценѣ, могущей считаться верхомъ трагическаго искусства, Соня читаетъ въ глазахъ несчастнаго его приговоръ. На минуту бѣдная дѣвушка поражена, но она быстро оправляется и изъ груди ея вырываются отчаянные вопли: «За тобой пойду, всюду пойду!.. Вмѣстѣ, вмѣстѣ... въ каторгу съ тобой вмѣстѣ пойду!...»

Здѣсь Достоевскій возвращается опять къ своей излюбленной темѣ, а именно къ глубокому проникновенію духомъ христіанства всего русскаго народа, твердо вѣрующаго въ искупительную силу страданія. Мысль эта подтверждается особенно сильно при описаніи отношеній Раскольникова къ Сонѣ. Характеризовать этотъ грустный, благоговѣйный союзъ двухъ любящихъ сердецъ, заключающій въ себѣ такъ мало того, что связано съ понятіемъ о любви, можно только словами: сочувствіе, состраданіе. Это именно то, что подразумѣвалъ нашъ знаменитый проповѣдникъ Боссюэтъ, говоря: «страдать съ кѣмъ-нибудь и чрезъ кого-нибудь.» Когда Раскольниковъ падаетъ

къ ногамъ дѣвушки, поддерживающей состояніе родителей путемъ собственнаго позора, и когда это несчастное, презираемое всѣми существо бросается въ испугѣ, чтобы поднять его, онъ произноситъ фразу, заключающую въ себѣ весь тайный смыслъ разбираемаго романа: «Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился!» Не могу не замѣтить при этомъ, что Достоевскому никогда не удавалось изобразить любовь во всей ея чистотѣ, какъ простое влеченіе двухъ любящихъ сердецъ; онъ всегда вдавался въ крайности: или рисовалъ намъ какое-то необъяснимое, полное мистицизма страданіе, безграничную преданность къ существу несчастному, или какую-то нечеловѣческую, чисто звѣрскую страсть. Его любовники сотканы не изъ плоти и крови, а изъ нервовъ и слезъ. Этимъ только и можно объяснить, повидимому, совершенно непонятную особенность его таланта; писатель реальный, не скупящійся на положенія скабрезныя, онъ наводитъ васъ только на тяжелыя грустныя мысли; чтеніе его романовъ не дѣйствуетъ на чувственность читателя да и врядъ ли во всѣхъ произведеніяхъ этого автора найдется хотя одна страница, на которой фигурировала бы женщина — соблазнительница. Достоевскій изображаетъ обнаженнаго человѣка только подъ скальпелемъ хирурга на постели страданія. Натура порывистая — писатель, способный увлекаться только крайностями, Ѳедоръ Михайловичъ могъ изображать или ангела, или звѣря.

Развязка романа предвидится заранѣе. Послѣ продолжительной борьбы Раскольниковъ сознается въ преступленіи и приговоренъ къ ссылкѣ. Соня научаетъ его молиться; искупленіе возвышаетъ эти падшія созданія. Достоевскій сопровождаетъ ихъ въ Сибирь, пользуясь случаемъ, чтобы, въ формѣ эпилога, привести еще главу изъ жизни «Мертваго дома».

Если бы можно было удалить изъ романа его героя, то и лица второстепенныя могли бы доставить матеріалъ для размышленія на цѣлые годы. Попробуйте вглядѣться въ Мармеладова, Порфирія и загадочную личность Свидригайлова, который, надо думать, убилъ свою жену и который сближается съ Раскольниковымъ, чтобы говорить о преступленіяхъ. Рамки статьи не позволяютъ мнѣ слишкомъ распространяться, тѣмъ болѣе, что романъ этотъ уже переведенъ. Но если у насъ есть писатели, стремящіеся облагородить произведенія экспериментальной школы, не принося въ жертву ихъ жестокости, то я рекомендую ихъ вниманію разсказъ Мармеладова, поминки и особенно сцену убійства. Прочитавши разъ, уже никогда ее не забудешь. Но есть мѣста и еще болѣе сильныя, напримѣръ, когда Раскольниковъ, постоянно возвращающійся къ мѣсту преступленія, хочетъ воскресить въ своей памяти впечатлѣнія убійства; онъ дергаетъ за звонокъ, чтобы этотъ звукъ напомнилъ ему уже пережитыя ощущенія ужасныхъ минутъ. Не могу при этомъ не возвратиться къ тому, что уже говорилъ и прежде объ особенностяхъ творчества русскихъ писателей вообще и Достоевскаго по преимуществу.

По мѣрѣ того какъ повѣствованіе принимаетъ все болѣе и болѣе ...кіе размѣры, вы начинаете замѣчать, что отдѣльныя части разсказа, ...чайшія детали исчезаютъ; онѣ совершенно утрачиваютъ свое значе... вы боитесь, какъ бы только не потерять нити разсказа; вы съ осо...ымъ интересомъ слѣдите за разговоромъ дѣйствующихъ лицъ,— ...воpами, точно сотканными изъ мельчайшихъ электрическихъ ...ей, приводящихъ васъ въ содраганіе, точно изъ проходящаго тока, постоянно поддерживающаго васъ въ напряженномъ состояніи. Вы пропустили безъ вниманія какое-нибудь слово, незначительный фактъ, занимающій въ романѣ двѣ-три строки, а страницъ черезъ пятьдесятъ далѣе наталкиваетесь на событіе, являющееся какъ бы слѣдствіемъ всего сказаннаго выше,—его отраженіемъ. Вы припоминаете уже забытыя вами подробности, чтобы объяснить себѣ перемѣну, происшедшую въ душѣ интересующаго васъ субъекта; она явилась результатомъ случайно брошенныхъ зародышей, вызванныхъ на свѣтъ извѣстнымъ образомъ, сложившимися обстоятельствами. Чтобы провѣрить мои слова, попробуйте забѣжать на нѣсколько страницъ впередъ, вы ничего не поймете. Возмущаясь многословіемъ автора, массой излишнихъ, какъ вы думали, подробностей, вы только перервали токъ. По крайней мѣрѣ, такъ передавали мнѣ всѣ, продѣлывавшіе этотъ опытъ. Но что же можно сказать послѣ этого о нашихъ романахъ, чтеніе которыхъ вы можете начинать съ одинаковымъ интересомъ какъ съ одного, такъ и съ другого конца. Достоевскій совсѣмъ не даетъ вамъ передышки: онъ утомляетъ васъ, какъ можетъ только утомить горячая, кровная лошадь своего сѣдока; прибавьте къ этому необходимость разобраться между массой персонажей, изъ которыхъ многіе скользятъ подобно тѣнямъ по общему фону картины. Результатомъ всего этого является для читателя страшное напряженіе вниманія и памяти. Вы читаете Достоевскаго, какъ бы читали философскій трактатъ; нужно ли назвать подобное чтеніе удовольствіемъ или трудомъ—рѣшить невозможно. Это зависитъ отъ индивидуальности читателя. *Брандесъ.*

Психилогическія основы возрожденія Раскольникова.

Мечта осуществлена. Съ этого момента роль ума, анализа и діалектическихъ тонкостей окончена, сердце человѣческое вступило въ свои права. Если до убійства главнымъ рычагомъ и двигателемъ Раскольникова служилъ его безпокойный умъ и распаленное воображеніе, то вся послѣдующая полоса его жизни имѣла своимъ путеводителемъ сердце. И въ этомъ именно заключается та психологическая реакція, которая наступила у Раскольникова послѣ убійства и которая разрѣшилась полной побѣдой сердца — любовью, возрожденіемъ. Но сердце Раскольникова, впервые выступившее на сцену, когда умъ потерпѣлъ крушеніе, не явилось сразу во всеоружіи

силы и зрѣлости. Еще не вполнѣ освободившись отъ гнета скептическаго и помутившагося ума, сердце его на первыхъ порахъ носитъ на себѣ слишкомъ свѣжій слѣдъ дурного вліянія его «мечты». Много мрака еще въ этомъ сердцѣ, но въ немъ уже замѣчается проблескъ свѣтлыхъ чувствъ и тепла. Первое проявленіе поднимающаго свой голосъ сердца сказывается въ томъ, что Раскольниковъ избѣгаетъ близкихъ и дорогихъ ему чистыхъ людей, словно онъ не хочетъ замарать ихъ своимъ прикосновеніемъ. Уже въ тотъ моментъ, когда у него не хватаетъ силъ обнять мать и сестру, надъ нимъ занимается заря возрожденія. Въ этомъ обособленіи себя сказывается уже реакція сердца, его смутный протестъ противъ зла, порожденнаго умомъ. Чувствуется, что близко уже то время, когда въ сердцѣ одинокаго Раскольникова распустятся цвѣты любви. Пока же, на первыхъ порахъ, сердце его полно собственной судьбой, оно болѣетъ и переполнено злобой на себя и другихъ. Точно все зло обезсиленнаго ума перешло въ сердце Раскольникова. Разочарованіе въ своихъ силахъ, стыдъ за неудачу, страхъ за свое будущее— вотъ что волнуетъ его сердце. Въ то же время въ немъ, во всемъ его организмѣ, вырастаетъ нѣчто новое, ему до того незнакомое — инстинктъ свободы и самосохраненія. Раскольниковъ, которому угрожаетъ потеря его свободы, почувствовалъ физическое желаніе жить и быть свободнымъ. Этотъ-то инстинктъ и есть главный оплотъ Раскольникова въ его борьбѣ съ голосомъ сердца и требованіями здраваго разсудка. Какъ тяжело раненый, онъ уже предчувствуетъ свой плѣнъ, но все еще пытается бороться, и если можно, уйти отъ враговъ. А тутъ еще оскорбленное самолюбіе, стыдъ, страхъ будущаго и каторги. По временамъ въ немъ снова проявляется его гордая воля, появляется желаніе еще разъ испытать свои силы. Сама борьба, хотя мучительная и безцѣльная, получаетъ нѣкоторую прелесть въ глазахъ Раскольникова, быть можетъ, какъ средство наполнить пустоту жизни и хоть на время заставить молчать пробуждающееся сердце. А оно дѣлаетъ свое, и голосъ его раздается все громче, указывая Раскольникову истинный путь. Раскольниковъ не въ силахъ обмануть себя, онъ чувствуетъ, что «надо же, чтобы человѣкъ имѣлъ куда итти и что нельзя никуда итти съ такой тайной на душѣ. Сознаніе той тайны, которую онъ долженъ скрывать отъ всѣхъ, даже отъ близкихъ людей, не только угнетаетъ его, но давитъ своей тяжестью, отчуждаетъ его отъ всѣхъ, а главнымъ образомъ оскорбляетъ его чувство собственнаго достоинства. Онъ сознаетъ себя вынужденнымъ вѣчно лгать, даже въ своемъ молчаніи. Онъ не въ силахъ принять участіе отъ Разумихина, отъ котораго у него такая страшная тайна.

Тяжесть тайны кажется ему несравненно больше оттого, что она никѣмъ не раздѣляема. У Раскольникова все больше возрастаетъ потребность открыть кому-нибудь свою душу, подѣлиться своей тайной. Въ этой необходимости опять-таки сказывается голосъ

сердца. Уже послѣ перваго визита Разумихина Раскольниковъ не въ силахъ вынести своей тайны, онъ выходитъ, чтобы «все покончить». Какъ кончить, онъ еще не знаетъ — онъ пробуетъ напиться и почти открываетъ свою тайну Заметову. Онъ думаетъ о самоубійствѣ.

Тутъ, однако, выступаетъ на сцену новое лицо, которому суждено было играть такую важную роль въ возрожденіи Раскольникова. Является Соня Мармеладова. Не будемъ касаться здѣсь вопроса, на сколько Соня сама по себѣ живой типъ или ходульная искусственная фигура. Для насъ важно то, что такая, какой она является въ разсказѣ, она одна только можетъ выполнять задачу, возложенную на нее авторомъ. Раскольниковъ, сдѣлавшійся жертвой своего одиночества и гордой замкнутости, послѣ убійства ощутилъ еще болѣе свое одиночество, вдобавокъ преслѣдуемый уже не «мечтой», а тяжкимъ воспоминаніемъ, живой тайной, для которой онъ самъ долженъ былъ служить могилой. Не найди Раскольниковъ Сони, онъ, навѣрное, погибъ бы, всего вѣроятнѣе помѣшался бы. Вопросъ жизни и смерти былъ для него — найти, кому открыть свою тайну. Никогда у него не хватило бы силы раскрыть свое сердце обыкновенному, даже лучшему изъ людей. Всего менѣе способенъ онъ былъ открыться другу или близкому, этого не допустила гордость Раскольникова, который не въ состояніи былъ перенести мысли, что его жалѣютъ. Ему нуженъ былъ человѣкъ, предъ которымъ ему не было бы стыдно, который не имѣлъ бы права гордиться предъ нимъ или жалѣть его. Въ то же время это лицо должно было имѣть чистое сердце, непорочную душу. Въ лицѣ Сони Достоевскій разрѣшилъ эту задачу, создавъ фигуру, быть можетъ, нѣсколько фантастическую но зато удовлетворяющую требованіямъ сердца своего героя. Передъ ней Раскольникову нечего стыдится, она не можетъ ни гордиться передъ нимъ ни жалѣть его. Чистая сердцемъ и ясная душой, Соня, такъ же какъ и онъ, была отверженной, отрѣзанной отъ общества. Она такъ же перешагнула и такъ же пострадала отъ жизни. Гордость Раскольникова требовала жертвы. Въ видѣ возмездія за то, что онъ самъ сознавалъ себя достойнымъ сожалѣнія, онъ чувствовалъ потребность самъ жалѣть кого-нибудь и смотрѣть на кого-нибудь сверху внизъ. И опять-таки только одна Соня была тѣмъ лицомъ, которое онъ могъ жалѣть. Это льстило его гордости и облегчило ему путь къ сближенію съ ней, дѣлало для него менѣе унизительнымъ самое изліяніе предъ ней. Наконецъ, его бѣдное сердце, проснувшись, должно было рано или поздно заявить свое законное право на симпатію со стороны другихъ человѣческихъ существъ... Гордость Раскольникова, конечно, не допустила бы его принять любовь къ нему отъ женщины, неравной ему, т.-е. не отверженной, какъ онъ самъ.

То, чего онъ изъ гордости не могъ принять отъ своей матери и сестры, онъ, правда, послѣ долгихъ колебаній нашелъ въ себѣ

мужество принять отъ Сони. Соня послужила для него выходомъ изъ его одиночества. Протянувъ ей руки, онъ этимъ самымъ сдѣлалъ первый шагъ къ сближенію съ людьми и всѣмъ обществомъ. Достоевскій, повидимому, приписываетъ большое значеніе религіозности Сони и ея вліянію на Раскольникова въ этомъ смыслѣ. Достоевскій художникъ, однако, и на этотъ разъ стоитъ выше Достоевскаго теоретика. Религіозность Сони иногда трогаетъ, иногда напротивъ того возмущаетъ Раскольникова. Но зато онъ съ благоговѣніемъ преклоняется предъ величіемъ ея кротости и смиренія, столь противоположныхъ его гордости. Онъ чувствуетъ своимъ сердцемъ, что это простое «полусумасшедшее» существо по своему разрѣшило великую задачу жизни. И сравнивая это рѣшеніе сердца съ рѣшеніемъ, къ которому его привелъ его сильный умъ, онъ невольно задается вопросомъ, въ которомъ же изъ этихъ рѣшеній больше смысла? Его скептическому уму слабой рукой Сони нанесенъ ударъ, отъ котораго сильно колеблется его гордость. Было, стало-быть, много самыхъ разнообразныхъ точекъ соприкосновенія между судьбой и личностью Сони и Раскольникова, но все это можетъ быть сведено къ одному — къ моральному воздѣйствію судьбы Сони на Раскольникова. Образъ Сони имѣлъ для Раскольникова еще большое, непосредственное, чисто психологическое значеніе. Раскольниковъ пострадалъ вслѣдствіе того, что его собственное «я» занимало уже слишкомъ много мѣста въ его душевной жизни. Оно, это «я», его судьба сдѣлались какъ бы насильственнымъ представленіемъ, заполонившимъ всю душевную жизнь. Когда же онъ потерпѣлъ крушеніе, то должна была естественно наступить реакція. Образъ его собственной личности долженъ былъ отодвинуться на задній планъ. Душа Раскольникова опустѣла, и это пустое мѣсто занялъ образъ Сони, къ которому, по выраженію автора, Раскольниковъ «прилѣпился». Раскольниковъ испытывалъ безсознательную потребность около кого-нибудь отдохнуть, забыть о себѣ и имѣть возможность и право думать о комъ-то другомъ. Но о комъ же онъ могъ думать, заботиться, кого онъ имѣлъ право жалѣть, какъ не Соню? Вѣдь, всѣ остальные люди были неизмѣримо счастливѣе его и имѣли право его жалѣть! Соня по праву заняла пустое мѣсто въ душѣ Раскольникова, и уже однимъ тѣмъ, что она хоть на минуту отвлекала отъ думъ о себѣ, а еще болѣе тѣмъ, что она подымала его въ своихъ глазахъ, создавъ ему роль покровителя, она оказывала ему громадную услугу. Главное, что онъ былъ спасенъ отъ пустоты, его надломленное сердце было занято, и онъ уже былъ болѣе не одинъ. Съ этого времени образъ Сони завладѣлъ всей душой, мечтами и воображеніемъ Раскольникова. Этотъ образъ преслѣдуетъ его такъ же неотступно, съ роковой силой, какъ прежде преслѣдовалъ его образъ «мечты». Образъ Сони сдѣлался новой мечтой Раскольникова и, будучи антитезой прошлой «проклятой» мечты, эта живая мечта служитъ какъ бы живымъ постояннымъ протестомъ противъ прежней мечты. Этотъ образъ есть

тотъ двигатель, который толкаетъ Раскольникова на путь раскаянія, путь возрожденія.

Глубокое проникновеніе Достоевскаго въ душу человѣка обнаруживается во всей силѣ еще разъ — онъ заставляетъ Раскольникова принести повинную гораздо раньше, чѣмъ въ душѣ его дѣйствительно совершился внутренній переломъ, прежде чѣмъ онъ проникся новыми мыслями и чувствами. Повинная его далека отъ искренней исповѣди; въ его показаніи слышится презрѣніе къ самому себѣ, къ слабости, которая не дала ему вынести «преступленія» и тайны. Незамѣтно сознанія виновности, заблужденія, онъ не только ни о чемъ не проситъ, онъ какъ-будто бравируетъ своимъ положеніемъ и своей исторіей. Видно, что онъ все еще во власти гордости и ложнаго самосознанія. А между тѣмъ онъ уже не въ силахъ устоять противъ внутренней потребности принести «повинную», высказать предъ всѣмъ міромъ свою тайну, освободиться отъ ея бремени, отъ своего одиночества съ ней. Раскольниковъ еще не сознаетъ своей виновности и даже не чувствуетъ нравственной потребности въ наказаніи, не жалѣетъ своей жертвы, т.-е. не раскаивается и въ то же время испытываетъ непреодолимое влеченіе объявить о своемъ «преступленіи». На первый взглядъ это можетъ показаться даже неправдоподобнымъ. Но именно въ этомъ раздѣленіи потребности сознаться и въ наказаніи сказывается глубокое пониманіе Достоевскаго души человѣческой.

Потребность сознаться въ своей винѣ, открыться, лежитъ гораздо глубже въ душѣ человѣка, чѣмъ корень раскаянія. Можно не испытывать никакихъ угрызеній совѣсти, не жалѣть и не раскаиваться въ совершонномъ «преступленіи», даже не считать его особенно дурнымъ, и одновременно съ этимъ испытывать безсознательную потребность открыться кому-либо. Это обусловливается тѣмъ психологическимъ закономъ, по которому всякое скрытое, подавляемое представленіе находится въ состояніи напряженія, вслѣдствіе котораго это представленіе стремится автоматически проложить себѣ дорогу, такъ сказать, разрядиться. Это есть тотъ законъ, въ силу котораго всякая тайна, скрытая въ нашей душѣ, сама стремится выйти наружу. Тотъ, кто скрываетъ въ себѣ тайну, какъ бы находится въ положеніи человѣка, у котораго въ карманѣ динамитъ. Ему нужно постоянно помнить объ этомъ, остерегаться. Эта необходимость всегда быть насторожѣ требуетъ постояннаго самообладанія, постояннаго сдерживанія себя. Всякое слово, движеніе должны быть обдуманны и взвѣшены. Непрерывный контроль надъ своими мыслями и словами чрезвычайно утомляетъ и истощаетъ душевныя силы носителя тайны. Но особенно поразительно то, что злополучная тайна достигаетъ необыкновеннаго напряженія именно вслѣдствіе постояннаго сосредоточенія на ней вниманія. Она какъ-будто насмѣхается надъ усиліями ея господина, и чѣмъ болѣе онъ старается забыть и не думать о ней, тѣмъ больше онъ невольно занятъ ею. Въ концѣ концовъ такая постоянная борьба укрѣпляетъ ее въ душѣ, и дѣлаетъ

ее мучительной неотвязчивой идеей. А между тѣмъ стоитъ только порѣшить, что это не тайна, что она извѣстна и другому лицу, что ее нечего скрывать, какъ сразу исчезаетъ все ее напряженіе, и наступаетъ полное внутреннее облегченіе. Вотъ гдѣ лежитъ причина того стремленія сознаться, «открыться», которое такъ часто наблюдается у людей, даже весьма далекихъ отъ раскаянія. Открывшись, «преступникъ» испытываетъ сразу огромное облегченіе, освободившись отъ постоянной внутренней душевной работы, которую ему приходилось выполнять, чтобы скрыть свою тайну. Отнынѣ онъ можетъ слѣдовать своему настроенію, говорить, что хочетъ, безъ оглядокъ и безъ страха.

Едва ли, впрочемъ, этимъ однимъ возможно объяснить стремленіе «открыться» и наступающее затѣмъ облегченіе. Въ этомъ сложномъ психологическомъ процессѣ участвуютъ нѣсколько факторовъ, и безспорно, одинъ изъ нихъ заключается въ томъ, что «преступленіе», пока оно остается въ душѣ преступника его тайной, пугаетъ его, какъ нѣчто внутреннее, какъ будто само «преступленіе» сидитъ въ немъ. Разъ же тайна открыта, сама тайна совершоннаго выходитъ наружу, какъ-будто отодвигается отъ него, дѣлается для него чѣмъ-то внѣшнимъ и отчасти даже чуждымъ ему, она не внушаетъ ему уже прежняго страха; ему кажется, что тайна перестала быть его собственностью. Чувство нравственной отвѣтственности, повидимому, также облегчается, какъ только тайна открыта, отчужденіе ея произошло, человѣкъ долженъ испытать облегченіе. Его мысли, чувства одинаково избавлены отъ нѣкотораго гнета, который былъ особенно тяжелъ оттого, что падалъ своей тяжестью на него одного и чувствовался гдѣ-то внутри. Послѣ признанія онъ можетъ разсуждать о своемъ поступкѣ, какъ о чемъ-то лежащемъ внѣ его. Весьма вѣроятно, что въ этомъ облегчающемъ вліяніи отчужденія отъ своего грѣха кроется психологическая основа такъ называемаго «сообщничества въ преступленіи» и того стремленія, которое нерѣдко замѣчается у «преступника» безъ надобности и даже въ ущербъ для себя притянуть другихъ къ участію въ преступленіи.

У Раскольникова, кромѣ этого стремленія облегчить свое душевное напряженіе, былъ еще иной двигатель, — Соня. Въ ея глазахъ онъ постоянно читалъ повелѣніе открыться и «сознаніемъ» освободить себя отъ тайны, хотя она понимала, что онъ еще не проникся искреннимъ раскаяніемъ. Труденъ былъ только первый шагъ. Даже въ послѣднюю минуту въ участкѣ у Раскольникова нехватило духу сознаться, и онъ ушелъ оттуда, скрывъ свою тайну, и только мучительный, укоризненный взоръ Сони, встрѣтившій его во дворѣ, заставилъ его вернуться. Соня получаетъ поэтому еще одно новое значеніе — она живая совѣсть Раскольникова, неотступно преслѣдующая его съ момента убійства. Безсознательно, какъ слѣпой, но глубоко разумный голосъ сердца, она руководитъ имъ и направляетъ его на новый путь, котораго онъ пока еще самъ не видитъ, но уже предчувствуетъ.

Раскольниковъ еще далекъ отъ раскаянія, ибо разумъ его еще не вполнѣ просвѣтлѣлъ и находится подъ вліяніемъ бурныхъ мыслей и недобрыхъ чувствъ. Но уже въ его сердцѣ нарождаются новыя начала, сѣмена добрыхъ чувствъ, посѣянныхъ природой въ сердцѣ каждаго разумнаго и здороваго существа, начинаютъ давать всходы. Возрожденіе наступитъ тогда, когда сердце его, овладѣвъ умомъ и изгнавъ изъ него всѣ ложныя идеи, послужитъ источникомъ новаго, просвѣтленнаго міросозерцанія. *Линицкій.*

Возвращеніе испорченной нравственно души человѣка къ истинно человѣческимъ чувствамъ и понятіямъ — одна изъ идей романа „Преступленіе и наказаніе".

Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются въ нашихъ романахъ и повѣстяхъ. Какъ же они изображаются, стоитъ только вспомнить объ этихъ картинахъ, чтобы безъ всякаго колебанія отвѣчать на этотъ вопросъ. Читатели привыкли видѣть въ нигилистахъ, во-первыхъ, людей скудоумныхъ и скудосердечныхъ, людей лишенныхъ ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строятъ собственнымъ умомъ теоріи, совершенно оторванныя отъ жизни, доходящія до величайшихъ нолѣпостей. На основаніи этихъ теорій они извращаютъ свою и чужую жизнь, и живутъ въ этомъ извращеніи, не понимая и не чувствуя всего безобразія такой жизни. Поэтому нигилисты являются намъ существами смѣшными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словомъ, они изображаются такъ, что по самой сущности дѣла могутъ возбудить не симпатію, а только насмѣшку и негодованіе. Посмотрите для примѣра, въ какомъ звѣрообразіи выставленъ нѣкоторый нигилистъ въ повѣсти «Повѣтріе» (*Всемірный трудъ*, № 2). Да и вообще какихъ только гадостей, какихъ безобразій не было приписываемо нашимъ нигилистамъ!

Что же сдѣлалъ Достоевскій? Онъ очевидно взялъ задачу сколь возможно глубже, задачу болѣе трудную, чѣмъ осмѣиванье безобразій натуръ пустыхъ и малокровыхъ. Его Раскольниковъ хотя страдаетъ юношескимъ малодушіемъ и эгоизмомъ, но представляетъ намъ человѣка съ задатками твердаго ума и теплаго сердца. Это не фразеръ безъ крови и безъ нервовъ, это — настоящій человѣкъ. Этотъ юный человѣкъ тоже строитъ теорію, но теорію, которая именно въ силу его большей жизненности и большей силы ума, *гораздо глубже и окончательнѣе противорѣчитъ жизни*, чѣмъ, напримѣръ, теорія объ обидѣ, наносимой дамѣ цѣлованіемъ ея руки, или другія подобныя. Въ угоду своей теоріи онъ также ломаетъ свою жизнь; но онъ не впадаетъ въ смѣшное безобразіе и нелѣпости; онъ совершаетъ страшное дѣло, преступленіе. Вмѣсто комическихъ явленій, передъ нами совершается трагическое, то-есть, явленіе болѣе человѣческое, достойное участія, а не одного смѣха и негодованія. Затѣмъ разрывъ

съ жизнью, въ силу самой своей глубины, возбуждаетъ страшную реакцію въ душѣ юноши. Между тѣмъ какъ прочіе нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не цѣлуя рукъ у своихъ дамъ и не подавая имъ салоповъ, и даже гордясь этимъ, Раскольниковъ не выноситъ того отрицанія инстинктовъ человѣческой души, которое довело его до преступленія и идетъ въ каторгу. Тамъ, послѣ долгихъ лѣтъ испытанія, онъ, вѣроятно, обновится и станетъ вполнѣ человѣкомъ, то-есть теплою, живою человѣческою душою.

Итакъ, авторъ взялъ натуру болѣе глубокую, приписалъ ей болѣе глубокое уклоненіе отъ жизни, чѣмъ другіе писатели, касавшіеся нигилизма. Цѣль его была — изобразить страданія, которыя терпитъ живой человѣкъ, дойдя до такого разрыва съ жизнью. Совершенно ясно, что авторъ изображаетъ своего героя съ полнымъ состраданьемъ къ нему. Это не смѣхъ надъ молодымъ поколѣніемъ, не укоры и обвиненія, это — плачъ надъ нимъ. Несчастный убійца — теоретикъ, этотъ *честный убійца*, если можно только сопоставить эти два слова, выходитъ тысячекратно несчастнѣе простыхъ убійцъ. Ему было бы несравненно легче, если бы онъ совершилъ убійство изъ гнѣва, изъ ревности, изъ корысти, изъ какихъ хотите *житейскихъ* побужденій, но не изъ теоріи.

«Знаешь, Соня — говоритъ самъ Раскольниковъ — если бъ только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ — то я бы теперь... *счастливъ* былъ». Съ невыразимымъ мученіемъ онъ чувствуетъ, что насиліе, совершонное имъ надъ своею нравственною природою, составляетъ большій грѣхъ, чѣмъ самый актъ убійства. Онъ-то и есть настоящее преступленіе.

«Развѣ я старушонку убилъ? говоритъ онъ Сонѣ.—Я *себя убилъ*, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя на вѣки!... А старушонку эту чортъ убилъ, а не я»...

Въ этомъ заключается смыслъ романа, и приговоръ надъ Раскольниковымъ, произносимый авторомъ, вложенъ имъ въ уста Сони.

— «*Что вы, что вы надъ собой сдѣлали!* отчаянно проговорила она и, вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

— «Странная какая ты, Соня — обнимаешь и цалуешь, когда я тебѣ сказалъ *про это*. Себя ты не помнишь».

— «*Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!* воскликнула она, какъ въ изступленіи, не слыхавъ его замѣчанія, и вдругъ заплакала навзрыдъ, какъ въ истерикѣ».

Итакъ, въ первый разъ передъ нами изображенъ нигилистъ несчастный, нигилистъ глубоко человѣчески-страдающій. Свойство *широкой симпатіи*, которое мы приписали автору, и здѣсь, очевидно, воодушевляло его. Онъ изобразилъ намъ нигилизмъ не какъ жалкое и дикое явленіе, а въ трагическомъ видѣ, какъ искаженіе души, сопровождаемое жестокимъ страданіемъ. По своему всегдашнему обычаю, онъ представилъ намъ *человѣка* въ самомъ убійцѣ, какъ

умѣлъ отыскать *людей* и во всѣхъ блудницахъ, пьяницахъ и другихъ жалкихъ лицахъ, которыми обставилъ своего героя.

Авторъ взялъ нигилизмъ въ самомъ крайнемъ его развитіи, въ той точкѣ, дальше которой уже почти некуда итти. Но замѣтимъ, что сущность каждаго явленія всегда обнаруживается не въ его обыкновенныхъ ходячихъ формахъ, а именно въ крайнихъ высшихъ ступеняхъ развитія. Здѣсь, очевидно, взявши крайнюю форму, авторъ получилъ возможность стать къ цѣлому явленію въ совершенно правильныя отношенія, въ тѣ отношенія, въ которыя трудно стать къ другимъ формамъ того же явленія. Возьмемъ, напримѣръ, Базарова (въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» Тургенева), перваго нигилиста, явившагося въ нашей литературѣ. Этотъ высокомѣрный, самолюбивый человѣкъ скорѣе отталкиваетъ, чѣмъ привлекаетъ. Да онъ и не проситъ вашего сочувствія, онъ самодоволенъ. Пусть читатель переберетъ потомъ всѣ хорошо ему знакомыя формы нигилизма. Молодая дѣвушка обрѣзываетъ свою великолѣпную косу и надѣваетъ синія очки. Со стороны безобразно, а между тѣмъ она очень довольна собою, какъ будто надѣла нарядъ красивѣе того, который прежде носила. Она бросаетъ романы и читаетъ «Физіологію обыденной жизни» Льюиса. Сначала она запинается, но дѣлаетъ надъ собою усиліе и принимается свободно толковать о пятнахъ и мочевыхъ органахъ. Что же? Ощущается новое удовольствіе. Пойдемъ далѣе — дѣвушка уходитъ отъ родителей и совершенно *теоретически* отдается нѣкоторому юношѣ, чуждому предразсудковъ и толкующему ей о необходимости завести на какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ новое человѣчество. Или бываетъ иначе. Братъ дѣвушки самъ устраиваетъ ея гражданскій бракъ съ пріятелемъ. Точно такъ же на основаніи теоріи мужъ бросаетъ жену, жена мужа, или устраивается коммуна, въ которой случается, что одинъ мужчина имѣетъ связь съ двумя женщинами, кроснорѣчиво проповѣдывая имъ, что ревность — фальшивое чувство. И что же? Вся эта ломка самихъ себя, все это искаженіе жизни совершается совершенно хладнокровно. Всѣ довольны и счастливы, смотрятъ на себя съ великимъ уваженіемъ и гонятъ отъ себя всякія нелѣпыя чувства, мѣшающія людямъ итти по пути прогресса. Спрашивается, какимъ же образомъ можно отнестись къ этимъ людямъ? Всего легче смѣяться надъ ними и презирать ихъ. Такъ какъ они сами упорно выдаютъ себя за какихъ-то счастливцевъ, то общество не чувствуетъ въ себѣ никакого позыва пожалѣть ихъ — скорѣе оно бываетъ расположено видѣть въ этомъ безстрастномъ и холодномъ коверканьи своей и чужой жизни присутствіе какихъ-нибудь темныхъ страстей, напримѣръ, сластолюбія.

Между тѣмъ въ сущности, вѣдь, ихъ слѣдуетъ пожалѣть. Вѣдь нѣтъ никакого сомнѣнія, что душа у нихъ все-таки просыпается съ своими вѣчными требованіями. Притомъ не всѣ же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, въ которыхъ эта ломка своей природы отзовется долгими, неизгладимыми страданіями. И слѣ-

довательно, ко всѣмъ имъ, ко всей этой сферѣ кажущихся счастливцевъ, устраивающихъ свою жизнь на новыхъ основаніяхъ, можно обратиться съ словами любящей Сони: *что вы, что вы надъ собой сдѣлали!*

Отъ дѣвушки, изъ теоріи обстригающей себѣ косу, до Раскольникова, изъ теоріи убивающаго старуху, разстояніе велико, но все-таки эти явленія однородныя. Вѣдь и косы жалко, такъ какъ же не пожалѣть погубившаго себя Раскольникова? Сожалѣніе — вотъ то отношеніе, въ которое авторъ сталъ къ нигилизму — отношеніе, почти новое, а въ такой силѣ, въ какой оно здѣсь является, никѣмъ еще наразвитое.

Но если такъ, то какъ же могло случиться, что автора обвинили въ какомъ-то желаніи опозорить наше молодое поколѣніе, поголовно обвинить его въ покушеніяхъ на убійство? Случилось это въ силу новаго отношенія къ дѣлу, отношенія, котораго сразу не могли понять. Всѣ привыкли къ старому отношенію, всѣмъ извѣстно, что нигилисты и нигилистки бросаютъ своихъ родныхъ, теряютъ своихъ женъ, лишаются своихъ косъ и своей дѣвичьей чести и т. д., не только безъ горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже съ гордостью и торжествомъ. И вотъ въ романѣ Достоевскаго многимъ мерещится точно такое же изображеніе, то-есть какъ будто нѣкто совершаетъ убійство, *считая себя правымъ*, и, слѣдовательно, хладнокровно и оставаясь вполнѣ спокойнымъ. Такъ, вѣроятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайныя убійства. Отъ этого-то такіе поджоги и убійства и могли быть весьма часты, могли совершаться множествомъ людей. Есть ли же что-нибудь подобное въ романѣ Достоевскаго? Вся сущность романа заключается въ томъ, что Раскольниковъ, хотя и считаетъ себя правымъ, но совершаетъ свое дѣло не хладнокровно и не только не остается спокойнымъ, а подвергается жестокимъ мукамъ. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступленіе изъ теоріи несравненно тяжелѣе для преступника, чѣмъ всякое другое, что душа человѣческая менѣе всего можетъ выносить подобное уклоненіе отъ своихъ вѣчныхъ законовъ. И, слѣдовательно, если бы случилось, что нигилистъ оказался преступникомъ, то всего вѣрнѣе предполагать, что и онъ, подобно прочимъ людямъ, совершилъ преступленіе изъ мести, ревности, корысти и проч., а не изъ теоріи. Однимъ словомъ, черта, которую взялъ Достоевскій, изображена имъ вполнѣ вѣрно. Читая романъ, вы чувствуете, что преступленіе Раскольникова есть явленіе *необычайно рѣдкое*, есть случай въ высокой степени характеристическій, но исключительный, совершенно выходящій изъ ряду вонъ. Такъ говоритъ о немъ самъ преступникъ. Онъ нигдѣ не выдаетъ свою *теорію* за что-нибудь общераспространенное; онъ постоянно называетъ ее *своею* теоріею, *своею идеею;* въ минуты, когда онъ находится подъ властью этой идеи, онъ даже съ презрѣніемъ отзывается о другихъ нигилистахъ. «О, отрицатели и мудрецы въ пята-

чекъ серебра — восклицаетъ онъ — зачѣмъ вы останавливаетесь на полдорогѣ!»

Нужно всегда помнить, что жизнь, натура останавливаютъ нигилистовъ, какъ и другихъ людей, не только на *полдорогѣ*, но даже и на *первомъ шагѣ* какой-нибудь дороги, да притомъ — что и дороги у нихъ бываютъ различныя. Это сопротивленіе жизни, этотъ ея отпоръ противъ власти теорій и фантазій, потрясающимъ образомъ представлены Достоевскимъ. Показать, какъ въ душѣ человѣка борется жизнь и теорія, показать эту схватку на томъ случаѣ, гдѣ она доходитъ до высшей степени силы, и показать, что побѣда осталась за жизнью — такова была задача романа.

То же самое нужно, конечно, отнести и къ другимъ явленіямъ, ко всѣмъ безчисленнымъ формамъ столкновенія теоріи съ жизнью. Вездѣ жизнь останавливаетъ противное ей движеніе, вездѣ успѣшно борется съ насиліемъ, которое надъ нею дѣлаютъ. Есть, напримѣръ, женщины, усвоившія себѣ безцеремонный мужской тонъ; но ихъ очень немного. Другія, какъ ни стараются, а все запнутся, когда заведутъ рѣчь о регулахъ, или мочевыхъ органахъ. Казалось бы, чего проще, какъ то, что называется *гражданскимъ бракомъ?* Между тѣмъ этотъ бракъ, какъ и всѣ другія безобразія, составляетъ лишь исключеніе. Обыкновенно, нигилисты и нигилистки вѣнчаются въ церквахъ, подобно другимъ смертнымъ. Большая свобода въ обращеніи которую позволили себѣ молодые люди подъ вліяніемъ нигилизма, повела, какъ извѣстно, къ заключенію множества супружествъ, столь же чистыхъ и, можетъ быть, болѣе счастливыхъ, чѣмъ иные браки, въ которыхъ нигилизмъ не принималъ никакого участія.

Итакъ, никакой разумный человѣкъ, понимающій, какъ идутъ дѣла въ жизни, не повѣритъ въ этомъ случаѣ никакимъ повальнымъ обвиненіямъ, если бы они и раздавались. Всего же менѣе можно извлечь повальное обвиненіе изъ романа Достоевскаго; это было бы во сто разъ нелѣпѣе, чѣмъ, напримѣръ, извлечь изъ «Отелло» Шекспира, что всѣ ревнивыя мужья убиваютъ своихъ женъ, или изъ «Моцарта и Сальери» Пушкина, что всѣ завистники отравляютъ своихъ даровитыхъ пріятелей.

Докажемъ теперь выписками изъ романа, что наша постановка дѣла совершенно правильна. Что Раскольниковъ не сумасшедшій, это даже странно доказывать. Въ самомъ романѣ лица, близкія къ Раскольникову, видя его мученія и не понимая источниковъ того страннаго поведенія, къ которому его приводятъ внутреннія терзанія, начинаютъ подозрѣвать, не сходитъ ли онъ съ ума. Но потомъ загадка разрѣшается. Открывается дѣло *несравненно менѣе вѣроятное*, именно, что онъ не *сумасшедшій, а преступникъ*. Романъ написанъ объективной манерой, при которой авторъ не говоритъ въ отвлеченныхъ выраженіяхъ объ умѣ, характерѣ своихъ героевъ, а прямо заставляетъ ихъ дѣйствовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, какъ главное дѣйствующее лицо, авторъ въ особен-

ности почти ни въ чемъ не характеризуетъ отъ себя; но вездѣ Раскольниковъ является человѣкомъ съ задатками яснаго ума, твердаго характера, благороднаго сердца. Таковъ онъ во всѣхъ другихъ поступкахъ, кромѣ своего преступленія. Такъ на него смотрятъ и остальныя дѣйствующія лица, надъ которыми, *по своимъ возможностямъ* онъ, очевидно, возвышается. Вотъ какъ отзывается о Раскольниковѣ слѣдователь Порфирій, отзывается ему въ глаза:

«Понимаю я, каково все это перетащить на себѣ человѣку удрученному, но гордому, властному и нетерпѣливому, въ особенности нетерпѣливому! Я васъ, во всякомъ случаѣ, за человѣка наиблагороднѣйшаго почитаю-съ и даже съ зачатками великодушія-съ»...

Даже самое страшное дѣло, совершонное Раскольниковымъ, для людей, коротко его узнавшихъ, указываетъ на силу души, хотя извращённую и заблудшуюся.

«Вышло-то подло, это правда — продолжаетъ тотъ же Порфирій — да вы-то все-таки не безнадежный подлецъ! По крайней мѣрѣ долго себя не морочилъ, разомъ до послѣднихъ столбовъ дошелъ. Я вѣдь васъ за кого почитаю? Я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять да съ улыбкой смотрѣть на мучителей — если только вѣру или Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить».

Авторъ очевидно, хотѣлъ представить крѣпкую душу, человѣка исполненнаго жизни, а не слабосильнаго и помѣшаннаго. Тайна авторскихъ желаній въ особенности ясно открывается въ словахъ, вложенныхъ имъ въ уста Свидригайлова. Свидригайловъ объясняетъ сестрѣ Раскольникова поступокъ ея брата и говоритъ:

«Теперь *все помутилось*, то-есть оно и никогда въ порядкѣ-то особенномъ не было. *Русскіе люди* вообще *широкіе люди*, Авдотья Романовна, широкіе, какъ ихъ земля, и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному; но бѣда *быть широкимъ безъ особенной геніальности*. А помните, какъ много мы въ этомъ же родѣ и на эту же тему переговорили съ вами вдвоемъ, сидя по вечерамъ на террасѣ въ саду, каждый разъ послѣ ужина? Кто знаетъ, можетъ въ то же самое время и говорили, когда онъ здѣсь лежалъ, да свое обдумывалъ. *У насъ въ образованномъ обществѣ священныхъ преданій вѣдь нѣтъ*, Авдотья Романовна: развѣ кто какъ-нибудь себѣ по книгамъ составитъ... али изъ лѣтописей что-нибудь выведетъ. Но вѣдь это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ колпаки, такъ что даже и неприлично свѣтскому человѣку».

Здѣсь открывается вся дальность замысловъ автора. Онъ хотѣлъ изобразить широкую русскую натуру, то-есть натуру живучую, мало склонную итти по пробитымъ торнымъ колеямъ жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вмѣстѣ неопредѣленную, авторъ окружилъ средою, въ которой *все помутилось*, въ которой *особенно священныхъ преданій* давно уже не существуетъ. Самъ Свидригайловъ, высказывающій это повальное обви-

неніе противъ нашего образованнаго общества (вотъ оно то обвиненіе, котораго такъ искали), представляетъ нѣчто въ родѣ стараго поколѣнія тѣхъ же натуръ и того же общества, въ параллель Раскольникову, члену новаго поколѣнія. Несмотря на фантастичность Свидригайлова, въ немъ все-таки возможно разсмотрѣть очень знакомыя черты еще не далеко ушедшаго отъ насъ состоянія нашего образованнаго и зажиточнаго сословія. Развратъ, жестокость съ крѣпостными, доходящая до смертоубійствъ, тайныя злодѣянія и отсутствіе всего святого въ душѣ — въ эту сторону тоже бросались широкія русскія натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы. Раскольниковъ есть тоже человѣкъ, которому очень хочется жить, которому поскорѣе нуженъ выходъ, нужно дѣло. Такіе люди не могутъ оставаться въ бездѣйствіи; жажда жизни, *какой бы то ни было*, но только сейчасъ, поскорѣе, доводитъ ихъ до нелѣпостей, до ломки своей души и даже до полной гибели.

Въ газетахъ писали, что будто бы Раскольниковъ совершаетъ свое убійство изъ филантропическихъ цѣлей, что онъ оправдываетъ его благотворительными намѣреніями. Но дѣло вовсе не такъ просто. Главный корень, изъ котораго выросло чудовищное намѣреніе Раскольникова, заключается въ нѣкоторой теоріи, которую онъ неоднократно и послѣдовательно развиваетъ; самое же убійство произошло изъ непремѣннаго желанія *приложить къ дѣлу* свою теорію. Вотъ какъ характеризуетъ поступокъ Раскольникова слѣдователь Парфирій.

«Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, нашего времени случай-съ, когда *помутилось сердце человѣческое;* когда цитуется фраза, что *кровь* «освѣжаетъ»; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ книжныя мечты-съ, тутъ *теоретически раздраженное сердце*; тутъ видна *рѣшимость на первый шагъ*, но рѣшимость особаго рода—рѣшился, да какъ съ горы упалъ, или съ колокольни слетѣлъ, да и на преступленіе-то словно *не своими ногами пришелъ*. Дверь за собой забылъ притворить, а убилъ, двухъ убилъ, по теоріи. Убилъ, да и денегъ взять не сумѣлъ, а что успѣлъ захватить, то подъ камень снесъ». «Убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, *людей презираетъ*, блѣднымъ ангеломъ ходитъ.»

Въ чемъ же заключается та *теорія*, которая такъ увлекла и замучила этого юношу? Въ романѣ она во многихъ мѣстахъ излагается подробно и отчетливо; это очень ясная и логически связная теорія. Притомъ, она не поражаетъ чѣмъ-либо страннымъ; это не логика сумасшедшаго; напротивъ, по замѣчанію Разумихина, «это не ново, и *похоже* на все, что мы тысячу разъ читали и слышали.»

Эту теорію, какъ намъ кажется, можно свести на три главныя точки. *Первая* состоитъ въ очень гордомъ, презрительномъ взглядѣ на людей, основанномъ на сознаніи своего умственнаго превосходства. Раскольниковъ былъ очень гордъ въ этомъ отношеніи. «Инымъ товарищамъ его — говоритъ авторъ — казалось, что онъ смотритъ на нихъ на всѣхъ, какъ на дѣтей, свысока, какъ будто онъ всѣхъ

ихъ опередилъ и развитіемъ, и знаніемъ, и убѣжденіями, и что на ихъ убѣжденія и интересы онъ смотритъ, какъ на что-то низшее.» Изъ этой гордости рождается презрительный, высокомѣрный взглядъ на людей, какъ бы отрицаніе у нихъ правъ на человѣческое достоинство. Старуха процентщица, для Раскольникова, есть *вошь*, не человѣкъ. Уже долго спустя послѣ преступленія, уже тогда, когда онъ рѣшился донести на себя и вышелъ съ этой цѣлью на улицу, онъ еще разъ испытываетъ порывъ гордости и такъ выражаетъ свое пониманіе людей: «Вотъ они — говоритъ онъ — снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей; *хуже того — идіотъ*».

Второй пунктъ теоріи заключается въ извѣстномъ взглядѣ на ходъ человѣческихъ дѣлъ, на исторію; взглядъ этотъ прямо вытекаетъ изъ презрительнаго взгляда на людей вообще.

«Я все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли *я знаю ужъ навѣрно, что они глупы*, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и трудъ не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ!... И теперь я знаю, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ. *Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ*. Кто на большое можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось, и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядитъ!»

— Я догадался тогда, продолжалъ онъ восторженно: — что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не посмѣетъ, проходя мимо *всей этой нелѣпости, взять просто запросто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту!* Я... я захотѣлъ *осмѣлиться*.»

Читатели, конечно, хорошо знаютъ эти отрицанія правды и смысла въ исторіи, тотъ взглядъ на историческія явленія, по которому всѣ онѣ происходили отъ насилія, опиравшагося на заблужденія. Этотъ взглядъ, взглядъ *просвѣщеннаго деспотизма*, породилъ на западѣ Европы огромныя революціи и до сихъ поръ порождаетъ тамъ людей, которые разрѣшаютъ себѣ *всѣ средства*, чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи, которые считаютъ себя въ правѣ домогаться мѣста законодателей и учредителей новаго, разумнаго порядка вещей. Эти люди уже не живутъ подъ какимъ-нибудь авторитетомъ, потому что сами поставляютъ себя авторитетомъ для человѣчества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы

могли, «взять все за хвостъ и стряхнуть къ чорту». Но эти люди дѣйствуютъ, считая своею цѣлью *благо человѣчества*, и они имѣютъ дѣло съ исторіей народовъ. Поэтому, съ одной стороны, ихъ усилія получаютъ характеръ безкорыстія, сомоотверженія, съ другой стороны — ихъ дѣятельность никогда не бываетъ удачною. Исторія ихъ не слушается, и идетъ *своимъ* порядкомъ. Глупые народы не понимаютъ того *блага*, которое имъ предлагаютъ умные люди.

Подъ вліяніемъ эгоизма молодости Раскольниковъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ на пути этихъ мнѣній. Этотъ-то шагъ и составляетъ ту мысль, которая по его словамъ, *выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывалъ*. Такимъ образомъ онъ дошелъ до третьяго и послѣдняго пункта своей теоріи. Приведемъ мѣсто, гдѣ всего ярче высказывается эта мысль. Раскольниковъ смѣется про себя надъ соціалистами:

«За что давеча дурачёкъ Разумихинъ соціалистовъ бранилъ? Трудолюбивый народъ и торговый; *общимъ счастьемъ* занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ: я не хочу дождаться *всеобщаго счастья*. Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить. Что жъ? Я только не захотѣлъ проходить мимо голодной матери, зажимая въ карманѣ свой рубль, въ ожиданіи «всеобщаго счастія». «Несу, дескать, кирпичикъ на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствіе сердца». «Нельзя-съ! Зачѣмъ же вы меня-то пропустили? Я вѣдь всего однажды живу, я то же хочу»...

И вотъ Раскольниковъ рѣшился нарушить обыкновенный ходъ дѣлъ и дозволить себѣ всякія средства не для того, чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи, а для измѣненія своей личной судьбы и судьбы своихъ близкихъ. Чего онъ хотѣлъ въ этомъ отношеніи, онъ подробно объясняетъ Сонѣ.

«У матери моей почти ничего нѣтъ. Сестра получила воспитаніе случайно, и осуждена таскаться въ гувернанткахъ. Всѣ ихъ надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя въ университетѣ не могъ и на время принужденъ былъ выйти. Если бы даже и такъ тянулось, то лѣтъ черезъ десять, двѣнадцать (если бы обернулись хорошо обстоятельства), я все-таки могъ надѣяться стать какимъ-нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ тысячью рублями жалованья... (Онъ говорилъ *какъ будто заученное*). А къ тому времени мать высохла бы отъ заботъ и отъ горя, и мнѣ, все-таки, не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, съ сестрой могло бы еще и хуже случиться!... Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и отъ всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, напримѣръ, почтительно перенесть? Для чего? Для того ли, чтобы ихъ схоронивъ, новыхъ нажить — жену да дѣтей, и тоже потомъ безъ гроша и безъ куска оставить? Ну... вотъ я и рѣшилъ, завладѣвъ старухиными деньгами, употребить ихъ на мои первые годы, не мучая мать, на обезпеченіе себя въ университетѣ, на первые шаги послѣ университета, — и сдѣлать это широко, радикально,

такъ, чтобъ ужъ совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать».

Таковы цѣли, которыя имѣлъ въ виду Раскольниковъ. Но эти цѣли не составляли прямыхъ побужденій къ преступленію. Онѣ могли внушить Раскольникову самыя разнообразныя усилія; непремѣнное убійство никакъ логически изъ нихъ не вытекаетъ. Напротивъ, оно строго вытекаетъ изъ его эгоистической теоріи. Вотъ почему тотчасъ послѣ произведенной рѣчи самъ Раскольниковъ начинаетъ говорить, что «это не то», что онъ «вретъ, давно уже вретъ» и проч. очевидно, главное, что его двигало, что распаляло его воображеніе, было требованіе предложить свою теорію *осуществить на дѣлѣ то, что позволилъ себѣ въ мысли.*

Въ другомъ мѣстѣ онъ ясно высказываетъ это главное побужденіе къ преступленію. «Старушонка вздоръ! думалъ онъ горячо и порывисто; — старуха пожалуй что и ошибка, не въ ней дѣло! Старуха была только болѣзнь... *Я переступить скорѣе хотѣлъ... а не человѣка убилъ, я принципъ убилъ!*»

Вотъ самая суть преступленія. Это *убійство принципа.* Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тѣмъ вѣрно — что если бы эти деньги могли достаться ему черезъ воровство, плутовство въ карты, или другое мелочное мошенничество, онъ едвали бы на него рѣшился. Его тянуло убить принципъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ покушается на самую жизнь своей души; но, убивши, онъ по страшнымъ мукамъ своимъ понялъ, *какое* преступленіе онъ совершилъ.

Вотъ задачи, предположенныя себѣ авторомъ. Задачи огромныя, имѣющія несравненную важность. Глубочайшее извращеніе нравственнаго пониманія и затѣмъ возвращеніе души къ истинно-человѣческимъ чувствамъ и понятіямъ — вотъ общая тема, на которую написанъ романъ г. Достоевскаго...

Раскольниковъ не есть типъ. То-есть онъ не настолько своеобразенъ, не представляетъ такихъ опредѣленныхъ и органически связанныхъ между собою чертъ; чтобы его образъ носился передъ нами, какъ живое лицо. Въ частности же — это не есть типъ нигилистическій, не видоизмѣненіе того типа настоящаго нигилиста, который всѣхъ болѣе или менѣе знакомъ и который всѣхъ раньше и всѣхъ мѣтче былъ угаданъ Тургеневымъ въ его *Базаровѣ.* Что же? Мѣшаетъ это роману? Тѣ, кто читалъ романъ, мы думаемъ, согласятся съ нами, что отсутствіе большей типичности здѣсь не вредитъ а даже какъ будто способствуетъ дѣлу. Неопредѣленность, *молодая* неопредѣленность и неустановленность Раскольникова очень идетъ къ его *фантастическому* (по словамъ Порфирія) поступку. Кромѣ того невольно чувствуется, что Базаровъ никакимъ образомъ не совершилъ бы *такъ* и *такого* дѣла. Человѣкъ, слѣдовательно, выбранъ г. Достоевскимъ нельзя сказать, чтобы не вѣрно.

Но главное, очевидно, здѣсь не въ человѣкѣ, не въ обрисовкѣ извѣстнаго типа. Не здѣсь центръ тяжести романа. Цѣль романа состоитъ не въ томъ, чтобы вывести передъ глазами читателей какой-нибудь новый типъ, изобразить намъ «бѣдныхъ людей», «подпольнаго человѣка», людей «мертваго дома», «отцовъ и дѣтей», и т. д. Весь романъ сосредоточился около одного поступка, около того, какъ родилось и совершилось нѣкоторое *дѣйствіе*, и какія повлекло за собою послѣдствія въ душѣ совершившаго. Такъ романъ и называется; на немъ надписано не имя человѣка, а названіе событія, съ нимъ случившагося. Предметъ обозначенъ вполнѣ ясно: дѣло идетъ о *преступленіи и наказаніи*.

И въ этомъ отношеніи всякій согласится, что романъ г. Достоевскаго очень типиченъ. Удивительно типично изображены всѣ тѣ процессы, которые совершаются въ душѣ преступника; вотъ что составляетъ главную тему романа и что поражаетъ въ немъ читателей. Живо и глубоко схвачено въ немъ то, какъ идея преступленія зарождается и укрѣпляется въ человѣкѣ, какъ борется съ нею душа, инстинктивно чувствуя ужасъ этой идеи; какъ человѣкъ, вскормившій въ себѣ злую мысль, почти лишается, наконецъ, воли и разума и слѣпо повинуется ей; какъ онъ *механически* совершаетъ преступленіе, долго созрѣвавшее въ немъ органически; какъ пробуждается въ немъ потомъ боязнь, подозрительность, злоба къ людямъ, отъ которыхъ ему грозитъ кара; какъ начинаетъ онъ чувствовать омерзеніе къ себѣ и къ своему дѣлу; какъ прикосновеніе живой и теплой жизни пробуждаетъ въ немъ муки безсознательнаго раскаянія; какъ, наконецъ, ожесточенная душа не выдерживаетъ и размягчается до чувства умиленія.

Передъ этимъ страшнымъ процессомъ личность Раскольникова съ ея особенностями совершенно сглаживается и исчезаетъ. Сперва поглотила его извращенная идея, а потомъ въ немъ съ неодолимою силою просыпается *человѣкъ*, человѣческая душа, и мучитъ его своимъ пробужденіемъ, съ которымъ онъ старается совладать. При такихъ явленіяхъ индивидуальность дѣйствующаго лица естественно должна отступить на задній планъ. Такъ слѣдуетъ это изъ самаго смысла романа. Преступленіе вовсе не есть дѣйствіе, характеристическое для личности Раскольникова; люди, въ характеристику которыхъ входитъ преступленіе, совершаютъ дѣла этого рода гораздо легче и совершенно *иначе*. Раскольникову же просто довелось *перенести* на себѣ преступленіе; можно сказать что *оно съ нимъ случилось*, и душа его отозвалась на него такъ, какъ отозвалась бы, вообще говоря, душа *всякаго* человѣка.

И такъ понятно, что личность Раскольникова подавлена самымъ событіемъ и не представляетъ яснаго типическаго образа. Въ этомъ отношеніи самая тема автора ставила его въ выгодное положеніе, именно давала ему возможность высказать всю силу таланта, несмотря на недостатокъ полной типичности. Гораздо правильнѣе мы

можемъ требовать болѣе ясной типичности отъ остальныхъ лицъ романа. Ихъ очень много и они выполнены очень неравномѣрно. Наиболѣе удавшимися и даже вполнѣ удачными слѣдуетъ признать пьяницу Мармеладова и его жену Катерину Ивановну. Это дѣйствительные типы, ярко, отчетливо очерченные. Въ нихъ ясно выразились главныя достоинства таланта Достоевскаго. Онъ открылъ читателямъ, какъ возможно относиться симпатически къ этимъ людямъ, такимъ слабымъ, смѣшнымъ, жалкимъ потерявшимъ всю силу владѣть собою и походить на другихъ людей. Но главная сила автора, какъ мы уже замѣтили, не въ типахъ, а въ изображеніи положеній, въ умѣньи глубоко схватывать отдѣльныя движенія и потрясенія человѣческой души. Въ этомъ отношеніи онъ достигъ во многихъ мѣстахъ своего новаго романа до полнаго и удивительнаго мастерства. Романъ задуманъ и расположенъ очень просто, но вмѣстѣ правильно и строго.

Послѣ совершенія преступленія, для Раскольникова начинается двоякій рядъ мученій. Во-первыхъ, мученія страха. Несмотря на то, что всѣ концы спрятаны, подозрительность не оставляетъ его ни на минуту, и малѣйшій поводъ къ опасенію нагоняютъ на него мучительный страхъ. Второй рядъ мученій заключается въ тѣхъ чувствахъ, которыя испытываетъ убійца при сближеніи съ другими людьми, съ лицами, у которыхъ нѣтъ ничего на душѣ, которыя полны теплотою и жизнью. Сближеніе это происходитъ двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, самого преступника тянетъ къ живымъ людямъ, потому что ему хотѣлось бы стать съ ними наравнѣ, отбросить ту преграду, которую онъ самъ положилъ между ними и собою. Вотъ отчего Раскольниковъ отправляется къ Разумихину. «Сказалъ я (думаетъ онъ про себя) третьяго дня... что къ нему послѣ *того* на другой день пойду, ну что-жъ, и пойду! *Будто ужъ я не могу теперь зайти...*» По этой же причинѣ онъ такъ усердно начинаетъ хлопотать о раздавленномъ Мармеладовѣ и сближается съ его осиротѣвшимъ семействомъ, особенно съ Сонею. Второе обстоятельство, по которому Раскольниковъ очутился среди людей живыхъ и имѣющихъ близкія къ нему отношенія, заключается въ пріѣздѣ его семейства въ Петербургъ. То письмо, которое было послѣднимъ толчкомъ къ убійству, содержало въ себѣ извѣстіе, что мать и сестра Раскольникова должны явиться въ Петербургъ, гдѣ сестра и пожертвуетъ собою, вышедши за Лужина. Такимъ образомъ Раскольниковъ, бывшій до тѣхъ поръ одинокимъ и удалявшійся отъ людей, теперь волею и неволею окруженъ людьми, съ которыми связанъ всего ближе. Читатель чувствуетъ, что если бы эти люди были около Раскольникова прежде, то онъ никогда бы не совершилъ преступленія. Теперь же, когда преступленіе совершено, эти люди даютъ поводъ къ пробужденію въ душѣ преступника всевозможныхъ мукъ, вызываемыхъ прикосновеніемъ жизни къ душѣ, извратившей себя и коснѣющей въ своемъ извращеніи. Таково весьма простое, но вмѣстѣ очень правильное и искусное построеніе романа.

Очень правильно также развита извѣстная постепенность въ душевныхъ страданіяхъ преступника. Сперва Раскольниковъ совершенно подавленъ случившимся и даже заболѣваетъ. Первая его попытка сойтись съ живыми людьми, свиданіе съ Разумихинымъ, просто ошеломляетъ его. «Подымаясь къ Разумихину, онъ не подумалъ о томъ, что съ нимъ, стало быть, лицомъ къ лицу сойтись долженъ. Теперь же, въ одно мгновеніе, догадался онъ уже на опытѣ, что *всего менѣе расположенъ* въ эту минуту сходиться лицомъ къ лицу съ кѣмъ бы то ни было на свѣтѣ». Онъ уходитъ, не владѣя собою. Точно такъ первыя муки отъ боязни подавляютъ его. Онѣ разрѣшаются страшнымъ, томительнымъ сновидѣніемъ (удивительныя двѣ страницы), послѣ котораго Раскольниковъ заболѣваетъ.

Мало-по-малу, однакоже, преступникъ становится крѣпче. Онъ сходится съ Разумихинымъ, хитритъ съ Заметовымъ, принимаетъ дѣятельное участіе въ судьбѣ семейства Мармеладовыхъ, въ судьбѣ своей сестры, увертывается отъ хитраго слѣдователя Порфирія, открываетъ свою тайну Сонѣ и пр. Но, по мѣрѣ того, какъ преступникъ овладѣваетъ собою, страданіе его не ослабѣваетъ, а становится только постояннѣе и опредѣленнѣе. Сначала онъ еще чувствуетъ порывы радости, когда страхъ, нагнанный какою-нибудь случайностію, отлегаетъ вдругъ отъ сердца, или когда ему удастся сблизиться съ другими людьми и почувствовать себя все еще человѣкомъ. Но потомъ эти колебанія исчезаютъ.

«Какая-то особенная тоска — разсказываетъ авторъ — начала сказываться ему въ послѣднее время. Въ ней не было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на «аршинѣ пространства».

Вотъ тѣ мотивы, на которые написана самая большая, центральная часть романа. Можно замѣтить — хотя, право, въ подобныхъ вещахъ трудно полагаться на собственное сужденіе и лучше довѣриться проницательности художника — что въ душѣ Раскольникова, сверхъ страха и боли, должна бы еще занимать большое мѣсто третья тема — *воспоминаніе о преступленіи*. Воображеніе и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться къ картинѣ страшнаго дѣла. *Страховъ.*

Искупительное очищеніе вѣрою и добромъ принципа Раскольникова — его нравственнаго самозаконодательства.

Обольщеніе Раскольникова могло бы продолжиться надолго, на всю даже его жизнь, если бы онъ, по свойственной ему послѣдовательности въ дѣлѣ мысли и жизни, не рѣшился провести свое обольщеніе далѣе мысли и науки. Убивалъ бы онъ умы и души нравственнымъ губительствомъ умственнаго самообольщенія и вообра-

жалъ бы себѣ, что это онъ сказываетъ міру новое слово, какъ дѣлаютъ же другіе; и ничто бы сильно не побуждало его къ серіозному самоиспытанію своего дѣла. А среда для распространенія «новаго слова» была самая удобная: всѣми заправляющее нынѣ «я», «мое убѣжденіе», «автономія ума»—это коньки, ловко направляемые, сами мчались бы къ новому слову Раскольникова. Но онъ былъ слишкомъ послѣдователенъ, чтобы остановиться на полдорогѣ: онъ рѣшилъ провести свой принципъ, сразу также «до послѣднихъ столбовъ». Искренно добролюбивому человѣку, какимъ не могъ же не сознавать себя Раскольниковъ, въ исполненіи опредѣленія своего нравственнаго самозаконодательства убить старуху съ спокойною совѣстію, какъ убиваютъ «вошь», и потомъ глядѣть въ глаза всякаго добраго человѣка искренно ясными, добрыми глазами—это было бы логичнымъ оправданіемъ и жизненнымъ торжествомъ новаго нравственнаго принципа. Но этимъ самымъ путемъ, на который не сробѣлъ вступить Раскольниковъ съ вѣрою въ состоятельность истины, и изобличилась вся человѣкоубійственная ложь принципа—нравственнаго самозаконодательства человѣческаго, во вразумляющее на истину наказаніе Раскольникову.—Такое наказаніе началось съ того еще, какъ онъ рѣшился на кровавое дѣло, а продолжалось и затѣмъ уже, какъ онъ принялъ законную за него кару.

Казалось бы, что человѣку, дошедшему до увѣренности въ правѣ нравственнаго самозаконодательства, явить это право на самомъ рѣшительномъ дѣлѣ должно быть торжествомъ самой неограниченной и властительной внутренней свободы. Такъ и было бы по строгой логикѣ и въ неподкупной дѣйствительности, если бы принципъ Раскольникова былъ истина. На мѣсто того бѣдный Раскольниковъ увидѣлъ себя въ самыхъ тяжелыхъ кандалахъ внутренняго двойного рабства, какъ только еще рѣшался на свое кровавое дѣло по своему самозаконодательству. Съ одной стороны, всѣ прекрасные и живые инстинкты добролюбивой его души, вся его дѣтская чуткость и симпатія къ закону добра и любви возстала съ незаглушимымъ протестомъ противъ замышляемаго преступнаго дѣла. Вѣдь по этимъ добролюбивымъ инстинктамъ и глубочайшимъ чувствамъ своимъ онъ былъ такимъ любящимъ ребенкомъ, что не могъ выносить мужицкой жестокости и надъ ломовою лошадью и изъ глубины души кричалъ къ Отцу за страждущее животное,—какъ это невольно выразилось въ его сновидѣніи, показавшемъ, что и у соннаго душа его вопіяла противъ беззаконности человѣкоубійственнаго самозаконодательства. Предъ этими властительными требованіями закона добра и правды нашъ самозаконодатель добра и правды чувствовалъ и сознавалъ себя до того безсильнымъ и страдальчески-подневольнымъ, что у него откуда и вѣра взялась и молитва. «Господи!» молился онъ, «покажи мнѣ путь мой, а я отрекаюсь отъ этой проклятой мечты моей!» Но, съ другой стороны, «эта проклятая мечта», несмотря на возставшее противъ нея въ душѣ Раскольникова «чувства безконечнаго отвра-

щенія», какъ скоро онъ далъ ей возникнуть въ себѣ въ силу своего умозрѣнія и самовластительствѣ надъ самою истиною и добромъ, непреодолимо втягивала въ себя его, какъ колесо втягиваетъ зацѣпленную имъ одежду. Вотъ онъ уже отмѣнилъ и проклялъ, какъ мы сейчасъ видѣли, свое самозаконодательное опредѣленіе; и въ наглядное оправданіе этого новаго своего рѣшенія, «онъ почувствовалъ, что уже сбросилъ съ себя это страшное бремя, давившее его такъ долго, и на душѣ его стало вдругъ легко и мирно». Но одна печальная случайность дошедшаго до его ушей слова, которымъ какъ бы нарочно ему сообщалось нужное для кроваваго его дѣла свѣдѣніе, перевернула у него все вверхъ дномъ. И измученный противорѣчіями сугубаго рабства предъ владычественными требованіями царскаго закона человѣколюбивой правды, отъ котораго онъ не могъ освободиться никакимъ умозрѣніемъ, и предъ опредѣленіемъ своего самозаконодательства, завладѣвшимъ уже его душою съ звѣрскимъ тиранствомъ, бѣднякъ пришелъ на преступленіе, по мѣткому выраженію слѣдователя Порфирія, «словно не своими ногами»... Видите ли, въ чемъ дѣло? Внутренній его звѣрь, въ котораго превратилась роковая его мысль, проводимая въ самое дѣло, неотступно и неодолимо требовала крови вопреки рыданіямъ и воплямъ собственной его души, какъ терзаемаго и готовимаго на безчеловѣчное закланіе ребенка. Страшная казнь надъ преступникомъ началась.

А самый актъ кроваваго дѣла? Испыталъ ли тутъ Раскольниковъ хоть опьянѣніе обольщенія, минутное, но которое охватило бы обольщеннаго чувствомъ мнимаго удовлетворенія мечты его о нравственномъ самозаконодательствѣ и самосудействѣ? Напротивъ, читателямъ романа извѣстна сцена убійства двухъ женщинъ, открывавшая въ убійцѣ, кромѣ дѣйствія его звѣрства, сначала растерянность всякой сообразительности до идіотизма, а потомъ звѣрскій страхъ и звѣрскую хитрость по инстинкту самосохраненія. Но это еще только съ болѣе или менѣе внѣшней стороны дѣла. Вотъ какъ впослѣдствіи протолковалъ самъ Раскольниковъ самый духъ и внутреннюю тайну того, что̀ и ка́къ тогда дѣлалось имъ и въ немъ: «развѣ я старушонку убилъ? Я себя убилъ, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя навѣки! А старушонку эту чортъ убилъ, а не я»... Ужасныя слова! Для выясненія того, что въ нихъ высказано несчастнымъ, возьмите во вниманіе, какъ глубоко и вмѣстѣ нѣжно-сочувственна была душа его ко всему живому человѣческому (о жалостливости его даже къ животному повторять не будемъ). Когда душу его тяготило уже и ожесточало страшное бремя крови, имъ насильственно пролитой, эта душа была еще до того чутка и симпатична къ дѣтской сердечной свѣжести маленькой Поли, что могла и сама освѣжиться отъ неожиданнаго и какъ-будто уже неестественнаго для злодѣя прилива чистой и прекрасной жизни. Мало того, даже и одна изъ жертвъ его звѣрства, по одному воспоминанію о безотвѣтной и беззащитной ея кротости, дѣлалась предметомъ не тревож-

ныхъ и страшливыхъ думъ убійцы, на удивленіе этому его самого, но умиленія и даже какого-то тихаго восхищенія. «Бѣдная Лизавета, (это его рѣчи съ самимъ собою)! зачѣмъ она тутъ подвернулась! — странно однакожъ, почему я объ ней почти и не думаю, точно и не убивалъ?—Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими... милыя! Зачѣмъ онѣ не плачутъ? Зачѣмъ не стонутъ? Онѣ все отдаютъ... Глядятъ кротко и тихо»... И такой человѣкъ, этотъ рѣдкій по живымъ нравственнымъ инстинктамъ ребенокъ, наперекоръ всѣмъ вопіяніямъ всего лучшаго и живого въ своей душѣ, поднялъ топоръ на двухъ старухъ, на эту кроткую Лизавету?! Да, это онъ, ощутительно для себя самого, на все лучшее и живое, составляющее внутренняго его человѣка — это столь симпатичное и любящее дитя. И какая-то неестественная ему злая сила одушевляла его человѣкоубійственнымъ своимъ духомъ на это противоестественное духовное самоубійство. Другого болѣе точнаго отчета въ тогдашнемъ самоощущеніи и самосознаніи нельзя было ему сдѣлать! Тутъ совершилось самое существо казни его за великое преступленіе мысли его предъ истиною: далѣе — только раскрытіе этого средоточнаго существа. «Развѣ я старушонку убилъ? я *себя* убилъ, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя навѣки. А старушонку эту чортъ убилъ (до такой степени онъ ощутительно для себя убивалъ человѣка въ себѣ самомъ, убивалъ себя до замѣненія своего человѣчества сатанинствомъ, — когда убивалъ старуху!), а не я (противостоящій тому всѣмъ лучшимъ, истиннымъ человѣческимъ своимъ существомъ)». Вотъ тебѣ, мудрецъ, и самозаконодательство и самосудейство духовное въ своемъ рѣшительномъ торжественномъ дѣйствіи!...

Между тѣмъ, въ то же самое время, совсѣмъ иначе дѣйствовало на Раскольникова же другое начало, отъ котораго хотѣлъ онъ отдѣлаться, начало внутренняго подчиненія закону человѣколюбивой правды: оно вводило его въ живую связь съ людьми, особенно страждущими нравственно, и внѣшне и нежданно оживило было убитую его душу приливомъ свѣжей жизни. Мы разумѣемъ заботы его о Мармеладовыхъ, принесшія ему столько отрады и давшія его сердцу, столь живительно для него, соприкоснуться съ живыми благодарными сердцами. Но и наилучшія движенія духа, глубокорастрогавшагося въ самыхъ основахъ нравственныхъ, но еще не возникающаго къ выходу изъ своего нестроенія, естественно только болѣе и болѣе углубляли источникъ духовной казни надъ Раскольниковымъ. Не будь этотъ юноша столько чувствителенъ и симпатиченъ къ добру живому, человѣколюбивому, — огрубѣй и усни душа его для лучшихъ нравственныхъ движеній: стрѣла духовной смерти, пронзившая его, затаилась бы отъ его самосознанія и самоощущенія, можетъ-быть, до конца этой жизни. Но воспріимчивая тонкость и чуткость духовнаго его чувства вели его болѣе и болѣе къ тому, что онъ сталъ, наконецъ, предслышать или предощущать своею

душевною глубиною, можно сказать, даже загробную безконечную кару зла. Такъ обосновывалось въ Раскольниковѣ вотъ это страшное состояніе, открывшееся уже подъ гражданскою карою, которая, повидимому, должна была бы дать ему отдыхъ отъ внутреннихъ терзаній: «какая-то особенная тоска начала сказываться ему... Въ ней не было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на аршинѣ пространства».

Если внутренніе лучшіе остатки, уцѣлѣвшіе въ Раскольниковѣ послѣ духовнаго погрома, не могли уже помочь ему, то не будетъ ли ему помощи въ мрачную его годину отъ родной семьи? Судьба не замедлила, въ самомъ началѣ этой годины, привести къ нему мать, сестру, въ любви которыхъ не было недостатка ни нѣжности ни готовности къ самопожертвованію для него. Онъ самъ ихъ имѣлъ въ заботливомъ виду, когда рѣшался провести свою мысль въ жизнь. Но матери своей онъ и былъ одолженъ первоначальнымъ посѣвомъ въ своей душѣ тѣхъ прекрасныхъ инстинктовъ, надъ которыми онъ такъ наругался и тиранствовалъ; мать и сестра первыя ухаживали за этими сѣменами добра въ немъ, слѣдя и поддерживая ихъ развитіе своимъ сочувствіемъ. Поэтому одинъ уже взглядъ на нихъ, самая первая горячая ласка ихъ заразъ открывали и жестоко бередили всѣ смертельныя раны его души, нанесенныя имъ себѣ именно въ этихъ лучшихъ душевныхъ инстинктахъ. Вспомните свиданіе Раскольникова съ своими родными, беззавѣтно его любящими, когда онѣ послѣ долгой разлуки сжимали его въ объятіяхъ, цѣловали, смѣялись, плакали, а онъ, несчастный, какъ громомъ пораженный, покачнулся и рухнулся на полъ въ обморокѣ. Онѣ были первыми или самыми представительными людьми той стороны, которая судила и наказывала его нещадно, — стороны тщетно отрицаемаго имъ принципа послушливой преданности закону добра. Естественно было образоваться у него взгляду на эти любящія души, какъ на враговъ своихъ, враговъ ненавистныхъ и невыносимыхъ, — сколько ни противоестественъ этотъ взглядъ самъ себѣ. «Мать, сестра», думаетъ про себя Раскольниковъ, «какъ любилъ я ихъ! Отчего теперь я ихъ ненавижу? Да, я ихъ ненавижу, физически ненавижу, подлѣ себя выносить не могу». А это ужасное духовное разобщеніе съ самою матерью и сестрою, сверхъ того, завѣряло умнаго юношу, что, слѣдовательно, тѣмъ болѣе со всѣми другими онъ разобщенъ въ своемъ сердце навѣки. Вспомните, какъ онъ, сказавъ своей матери вотъ эту сейчасъ сознанную имъ ложь: «успѣемъ наговориться», тутъ же совершенно ясно понялъ, что не только никогда теперь не придется ему успѣть наговориться, но уже не объ чемъ больше, *никогда и ни съ кѣмъ* нельзя ему теперь говорить. Вотъ какія еще страшныя для небезчувственнаго сердца муки принесла ему и самая любовь родственная! Да и что могла она сдѣлать для несчастнаго и сама

по себѣ, независимо отъ его внутреннихъ движеній: мать могла, сколько можно примѣтить изъ послѣдняго ея разговора съ сыномъ, почти угадывать однимъ своимъ сердцемъ не только преступность его, но и самую, кажется, честность душевную, по которой онъ выше и лучше для нея всѣхъ и за которую уже взялась другая, выше материнской, любовь, позволившая ему уйти отъ себя въ дальнюю сторону только для возврата къ себѣ же съ лучшими задатками... Но все же эта бѣдная мать не могла пережить даже одного только подозрѣнія о преступности сына. Сестра не только не отреклась своею душою отъ брата-преступника, но могла сознать, что человѣкъ, столько страдающій отъ преступнаго дѣла ли, заблужденія ли мысленнаго, есть еще не подлецъ. И только! Мать и сестра не дознали даже, въ чемъ именно состояла самая болѣзнь дорогого имъ родного. Лѣкарства для болѣзни Раскольникова немного. Родная семья оказала ему почти только ту услугу, что дала поводъ къ борьбѣ съ Лужинымъ, серіозно и честно его занявшей, къ отношенію съ Свидригайловымъ, тоже развлекавшему его изъ страдальческой внутренней его сосредоточенности.

Не сдѣлаетъ ли чего прочно живительнаго для Раскольникова внѣшній законъ чрезъ самое изобличеніе и наказаніе преступленія? Вѣдь разрушеніе въ человѣкѣ фальшиво-жизненнаго естественно даетъ мѣсто и удобство возникнуть въ этомъ человѣкѣ истинной жизни. Такъ! Но преступленіе-то Раскольникова совсѣмъ другого рода противъ обыкновенныхъ преступленій; слѣдовало разрушить фальшиво-жизненное въ мысли, въ мысли строгой и не расходящейся въ жизни двоедушно и не останавливающейся на полдорогѣ малодушно. Разгадайте тайну этой мысли, дѣйствуйте на нее неотразимо сильно и искусно, но оскорбите только ее не признаніемъ, напримѣръ, въ ней серіозной и дѣльной, а не донъ-кихотской какой-либо, честности: отъ такой вашей несправедливости эта мысль свернется сама въ себѣ и будетъ только противодѣйствовать вамъ, хотя бы располагалась внутренно не противъ вашего желанія. Это самое случилось по отношенію къ Раскольникову съ слѣдователемъ Порфиріемъ. Этотъ рѣдкій дѣлецъ отлично понималъ Раскольникова, умѣлъ на внутреннихъ его струнахъ играть, какъ хотѣлъ, видѣлъ существо болѣзни его именно въ мысли и лучше всѣхъ разумѣлъ, чѣмъ лѣчить ему свою болѣзнь. Истиною и искренностію звучатъ эти его слова Раскольникову: «я вѣдь васъ за кого почитаю? я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять да съ улыбкой смотрѣть на мучителей — если только вѣру или Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить». Но Порфирій представлялъ себѣ нашего героя однимъ изъ современныхъ героевъ «теоретическаго раздраженнаго и помутившагося сердца», какимъ-то донъ-кихотомъ теоріи и мысли, но не съ мельницами сражающимся, а воображавшимъ себѣ что-то въ родѣ того, будто «кровь освѣжаетъ». Потому онъ не прочь поязвить Раскольникова сарказмомъ: «убилъ, да за честнаго

человѣка себя почитаетъ, людей презираетъ, блѣднымъ ангеломъ ходитъ». Тутъ на ряду съ ужасною гадостію бичевалась и лучшая сторона Раскольникова — безуклончивая честность своего рода и серіозная дѣльность въ мысли, съ которыми все же таки скорѣе и изъ адской глубины онъ можетъ подняться къ живой истинѣ, чѣмъ люди двоедушные, ни горячіе ни холодные, приговоренные истиною къ изблеванію за свое самодовольство. Эта несправедливость слѣдователя вызвала только на борьбу съ нимъ Раскольникова, котораго внутреннія муки доводили было уже до готовности во всемъ сознаться. Борьба ободряла отчасти преступника, какъ ни сильно измѣняли ему нервы. И не будь другихъ болѣе живительныхъ и добронадежныхъ вліяній на него, онъ изъ-за одного противоборства слѣдователю, очернившему въ немъ и *лучшее*, не принесъ бы суду добровольнаго признанія, которое и принесъ онъ все же не предъ этимъ Порфиріемъ. Нѣтъ, видно, не служителямъ жесткой буквы законной содѣйствовать оживленію убитыхъ душъ, какою бы проницательностію и благонамѣренностію ни были вооружены эти господа, не входя однакожъ въ живительный духъ благодатнаго человѣколюбія, не бросающаго каменьевъ и на изобличаемую ими виновность и тѣмъ болѣе не смѣшивающаго съ нею ничего лучшаго въ самыхъ преступникахъ.

Но сознаніе въ виновности и законная кара, по крайней мѣрѣ, должны были снять съ совѣсти Раскольникова убійственный для духа камень нераскаяннаго и безнаказаннаго кроваваго дѣла. Крѣпко на это разсчитывала Софья, убѣждая Раскольникова открыто во всемъ сознаться; но далеко не вполнѣ оправдались добрыя ея ожиданія. Отчего это? Не оттого ли, что уже такъ гадокъ и неисправимъ несчастный Раскольниковъ? Совсѣмъ нѣтъ. Но не иначе должно быть по самому существу и основанію его преступленія, такъ же какъ и по психологическому процессу и дальнѣйшимъ душевнымъ послѣдствіямъ этого преступленія. «Я не человѣка убилъ, я принципъ убилъ», — вотъ со словъ самого Раскольникова основаніе и существо кроваваго его дѣла, выше уже объясненнаго нами. Убивъ старухъ по принципу нравственнаго самозаконодательства, онъ поэтому имѣлъ въ виду собственно не то, чтобы убить человѣка, а то, чтобы, не сробѣвъ и предъ кровію, чрезъ это рѣшительно и торжественно отдѣлаться отъ прежняго принципа — послушливой преданности закону добра. Но сознавался онъ предъ полиціей собственно только въ убійствѣ человѣка, такъ же какъ и законную кару понесъ именно и единственно за убійство человѣка. Ни сознаніе ни кара не касались внутренняго существеннаго значенія и основанія его преступленія. Поэтому Раскольниковъ и на каторгу унесъ ту мысль, не онъ ли самъ это въ самомъ дѣлѣ сфальшивилъ предъ принятымъ имъ, на научныхъ основаніяхъ, принципомъ, вообразилъ себя *настоящимъ человѣкомъ*, могущимъ вынести этотъ принципъ на своихъ плечахъ, а на дѣлѣ оказался дрянью, какъ и другіе изъ подобнаго людского матеріала. Видно, никто не озаботился даже хорошенько добраться

до выясненія его принципа, а не только что до испроверженія его въ мысли и духѣ заблуждающагося страдальца. Да онъ и самъ не поднималъ вопроса о принципахъ почти ни съ кѣмъ (повидимому, и всѣмъ было все равно по этому вопросу, такъ у насъ вывѣтрился въ безжизненной мысли самый вопросъ о принципахъ: въ серіозной жизненной заботѣ дѣло уже не до принциповъ); онъ разговорился о принципахъ только съ Софьей, желая ввести ее въ завѣтныя свои мысли по этому вопросу, но и она, можно сказать, не принимала самаго вопроса, занятая душевнымъ состояніемъ Раскольникова и пораженная наглядною стороною кроваваго злодѣйства. Итакъ, самый корень болѣзни не былъ тронутъ въ нашемъ больномъ, который и продолжалъ болѣть и былъ въ опасности совсѣмъ закоснѣть въ своей губительной болѣзни, изнывая подъ законною карою. «Я себя убилъ, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя на вѣки»; вотъ что произошло въ душѣ Раскольникова въ актъ убійства, это и осталось въ ней вслѣдствіе убійства. (Мы тоже уже объяснили этотъ ужасный психологическій процессъ духовнаго самоубійства Раскольникова, когда онъ поднялъ на старушекъ топоръ.) Онъ ухлопалъ своимъ топоромъ этого прекраснаго ребенка — внутренняго своего человѣка, рубнулъ въ голову свои лучшія движенія и инстинкты, вопіявшіе противъ жестокаго звѣрства не только за человѣка, но и за простое животное. Онъ потому въ отношеніи къ другимъ людямъ, самымъ даже близкимъ и дорогимъ, такъ же какъ и въ своей духовной жизни, чувствовалъ себя уже живымъ мертвецомъ; не могъ онъ вздохнуть свѣжимъ живительнымъ воздухомъ, не могъ глядѣть на Божій міръ и людей чистыми добросердечными глазами; въ душѣ тоска, тоска навѣки. Случайныя по временамъ вспышки и ощущенія прилива какъ будто свѣжей жизни только не давали замереть и заглохнуть внутреннему его чувству, чтобы ему всегда живо чувствовать мертвое отчужденіе свое отъ всего живого, свою вѣчную тоску. Словомъ: онъ, страдая, слышалъ, какъ вопіяла кровь зарѣзаннаго имъ собственнаго его душевнаго дитяти, а не старушекъ, изъ которыхъ о лучшей онъ почти и не думалъ на удивленіе себѣ самому, а о ростовщицѣ думалъ только съ досадою и гнѣвомъ на эту же «старушонку», какъ гнѣвается человѣкъ на все, на чемъ оборвался!... Романиста упрекнули, будто онъ что-то не такъ написалъ о тревожныхъ думахъ убійцы, но онъ погрѣшилъ бы противъ правды, если бы изобразилъ это иначе. Вѣдь внутренній его мотивъ былъ не человѣка убить, а принципъ, который жилъ въ немъ же самомъ, имѣя на своей сторонѣ все въ немъ живое и доброе, слѣдовательно совѣсть его не знала за нимъ того грѣха, чтобы онъ имѣлъ въ виду убить именно человѣка, чтобы ему нужна была собственно человѣческая кровь. Совѣсть казнила его за дѣйствительный грѣхъ болѣе тяжелый, нежели одно внѣшнее убійство грѣшныхъ людей, за грѣхъ такой, что онъ поднялъ топоръ (просто скажу такъ) на самого Христа, жизнодавца, на принципъ всего святого и духовно-живого, не скупо положеннаго

въ душѣ самого же Раскольникова. Этотъ ужасный грѣхъ не былъ имъ исповѣданъ, когда онъ признавался въ убійствѣ старухъ; этотъ ужасный грѣхъ, носящій въ себѣ безысходную тоску, попрежнему оставался на его душѣ и совѣсти и въ каторгѣ[1])...

Итакъ и законное наказаніе за кровавое преступленіе съ добровольнымъ сознаніемъ въ этомъ преступленіи еще не заканчивало, а развивало внутреннюю казнь Раскольникова. Что же подниметъ и оживитъ его духъ, предслышавшій и въ каторгѣ «на аршинѣ пространства» адскую вѣчность? Какою живительною нитью свяжутся и пересѣкутся всѣ эти его убійственныя вериги, какими оказывались для него всѣ его обстоятельства, отношенія и состоянія? Не собственною ли его мыслію? Да, живительный переломъ долженъ совершиться именно въ его мысли, отъ которой произошло вся его жизненная и душевная бѣда. Но мысль его, поставившая себя въ независимость отъ начала истины и добра, сама по себѣ естественно развивала бы эту свою мятежную независимость, а уже не могла додуматься до животворнаго начала истины и добра, сама по себя естественно развивала бы эту свою мятежную независимость, а уже не могла додуматься до животворнаго начала истины и добра: идя прочь отъ какого угодно пункта, нельзя уже по такой дорогѣ попасть на этотъ самый пунктъ, расходящіяся прямыя линіи никогда уже впереди не сойдутся между собою. Надо мысли Раскольникова воротиться съ своего блуждающаго пути на прямую дорогу, а для этого нужно вѣрное указаніе руководителя. Его и слѣдилъ тотъ Роководитель, сила котораго въ немощи совершается.

Вникнемъ въ отношенія Раскольникова къ Софьѣ. Это не простыя романическія отношенія, а какія-то необыкновенныя, какъ и сами эти личности и ихъ обстоятельства. Личность Раскольникова намъ уже извѣстна. Софья ради куска хлѣба для своей родной семьи, отецъ которой былъ неисправимый пьяница, попала въ несчастное положеніе «съ желтымъ билетомъ»: это, повидимому, сближало ее съ стѣсненнымъ и преступническимъ положеніемъ Раскольникова. Послѣдній, дѣйствительно, думалъ найти въ ней *своего* человѣка, по обстоятельствамъ и самымъ инстинктамъ душевнымъ способнаго войти въ его образъ мыслей, понять и усвоить роковую его мысль о нравственномъ самозаконодательствѣ: это и было первымъ сильнымъ мотивомъ для Раскольникова къ особенному нравственному сближенію съ Софьей,

---

[1]) Въ самомъ сновидѣніи Раскольникова, въ которомъ онъ другой разъ убилъ ростовщицу, сказалась та тайна его души, что въ ней еще жилъ новый его принципъ, котораго онъ не смогъ провести, не струсивъ предъ кровью; онъ повторялъ во снѣ опытъ своего рѣшительнаго шага по новому принципу. Также, если онъ однажды забрелъ и самъ того не сознавая на мѣсто убійства, то и это не совсѣмъ выходило изъ ряда тѣхъ его прогулокъ, которыя онъ и до преступленія дѣлалъ безсознательно по разнымъ мѣстамъ и улицамъ, направляясь однако инстинктивно въ извѣстное мѣсто. Это дѣло не столько безпорядочнаго смятенія преступника, сколько странности обычной.

къ уважительному участію въ ея положеніи, къ довѣрію съ своей стороны. Но то, что молодой человѣкъ отнесся къ дѣвушкѣ «съ желтымъ билетомъ» не какъ животное, а какъ достойно человѣка, съ дѣятельнымъ притомъ участіемъ въ бѣдственномъ состояніи ея семьи, вызвало въ кроткой и тихой Софьѣ такую глубокую и серіозную симпатію къ Раскольникову, подъ вліяніемъ которой и раскрылъ онъ ей всю свою душу и съ мыслію своею и съ преступленіемъ. Тутъ и опредѣлились необычайныя ихъ взаимныя отношенія: она своею глубокою и нѣжной душой какъ-будто сразу измѣрила страшную бездну внутренняго его состоянія, возскорбѣвъ о немъ чуть не до отчаянія, и сейчасъ же беззавѣтно обрекла себя нести съ нимъ ужасное его бремя всегда и вездѣ; онъ, какъ утопающій или уже поглощаемый бездною, хватался за живую руку, протянутую къ нему и умиленно предощутилъ свое спасеніе, хотя бы еще и грозило ему безсознательное забытье. Все это вполнѣ высказалось въ этой дивной сценѣ, открывшейся послѣ объясненія Раскольниковымъ своей несчастной тайны предъ Софьей:

Вдругъ точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась сама, не зная для чего, предъ нимъ на колѣни.

— Что вы, что вы это надъ собой сдѣлали! — отчаянно прогорила она и, вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

Раскольниковъ отшатнулся и съ грустною улыбкой посмотрѣлъ на нее.

Странная какая ты, Соня, обнимаешь и цѣлуешь, когда я тебѣ сказалъ про это! Себя ты не помнишь.

— Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ! — воскликнула она, какъ въ изступленіи не слыхавъ его замѣчанія, и вдругъ заплакала какъ въ истерикѣ.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло въ его душу и разомъ размягчило ее. Онъ не сопротивлялся ему: двѣ слезы выкатились изъ его глазъ и повисли на рѣсницахъ.

— Такъ не оставишь меня, Соня? — говорилъ онъ, чуть не съ надеждой смотря на нее.

Нѣтъ, нѣтъ; никогда и нигдѣ! — воскликнула Соня.

Не въ этомъ ли, не въ этихъ ли отношеніяхъ любви сострадущей и страданія возжаждавшаго, такой любви, и состоитъ вся тайна нужнаго Раскольникову руководительства, чтобы какъ-нибудь добраться мысли его до спасительнаго берега? Нѣтъ, если бы все дѣло было только въ этихъ отношеніяхъ, то, согласно съ психологіей и увы, — съ опытами изъ дѣйствительной жизни, произошло бы только то, что сострадущая любовь заразъ или понемногу втянулась бы въ духовную бездну страждущаго, и вмѣсто одного погибло бы двое. Сила мысли Раскольникова, мысли и въ заблужденіи строго послѣдовательной, идущей безуклончиво въ самую жизнь, — это великая сила; а любовь, вѣдь, сама по себѣ или по собственному только существу есть сила не сопротивленія, а единенія. Поэтому-то такъ нерѣдко въ послѣднее время случается у насъ, что заблуждающійся человѣкъ, даже и несильный мышленіемъ, вовлекаетъ любящую его душу въ свое заблу-

жденіе и пагубу. Но Софья была вооружена еще кое-чѣмъ кромѣ сострадущей Раскольникову любви, кое-чѣмъ такимъ, что наиболѣе всего пригодилось самой ея любви. О, если бы всѣ любящія души запасались тѣмъ же ради самой своей любви и блага любимыхъ и своего!...

Мы сказали выше, что къ стѣсненному и преступническому положенію Раскольникова близко было стѣсненное же и также недобродѣтельное положеніе Софьи. Но эта близость — чисто внѣшняя. Въ существѣ же дѣла положеніе Софьи было въ отношеніи къ Раскольникову совсѣмъ не на его сторонѣ. У перваго преступленіе было рѣшительнымъ шагомъ подъ новое начало нравственнаго самозаконодательства; другая вступила на порочную дорогу, горько оплакивая свой вынужденный шагъ на эту несчастную дорогу. Она съ кроткимъ послушаніемъ вѣровала въ святое добро и правду, зная одного законодателя истины — Спасителя погибшихъ. У этой дѣвушки «съ желтымъ билетомъ» единственною настольною книгою былъ новый завѣтъ. У ней, видите, *свое* начало, противоположное принципу Раскольникова, начало то самое, которое онъ убивалъ для себя, убивая старуху. Слѣдовательно, она стояла именно на томъ берегу, до котораго и слѣдовало мысли и духу Раскольникова добраться для спасенія изъ своей погибельной бездны. И надо сказать, что на этомъ спасительномъ берегу Софья стояла тоже безъ двоедушія, безъ фальшивости предъ самой собою: для ней было что хорошо, то хорошо, а что худо, то худо, и потому она какъ сама для себя не соблазнялась искушеніемъ оправдывать свою порочную дорогу, такъ далека была отъ всякой потачки и худому дѣлу Раскольникова. Всѣ рѣчи его, которыми онъ заранѣе усиливался помирить ее со своимъ дѣломъ, развивая передъ нею основу своей роковой мысли не только въ ея существѣ, но и съ житейско-экономической стороны, наравнѣ для нихъ обоихъ тяжелой, всѣ такія объясненія его оказались для Софьи «какъ къ стѣнѣ горохъ», когда она узнала отъ него о его преступленіи. Мы видѣли, какъ прямо и глубоко взглянула она въ бездну, куда столкнула его мысль, его принципъ. И внутренняя правдивость приговора ея надъ нимъ, проникнутая самоотверженнымъ къ нему участіемъ, до того обезоружила самую горделивую мысль Раскольникова, что онъ тотчасъ же сталъ умолять ее указать выходъ изъ отчаяннаго его положенія. Она точно вдохновенная своимъ принципомъ изъ новаго завѣта указала ему такой выходъ: «поди сейчасъ, сію же минуту, стань на перекресткѣ (гдѣ, т.-е., больше народу), поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны и скажи всѣмъ вслухъ: я убилъ! Тогда Богъ опять тебѣ жизни пошлетъ»...

Итакъ, вотъ что послано Раскольникову въ сопутственное руководительство: — любовь сострадущая, но любовь, сама руководимая добросердечною и недвоедушною вѣрою въ добро и правду, по законодательству Искупителя грѣшныхъ или измѣнившихъ добру и правдѣ.

Этой именно любви, управляемой вѣрою, и этой вѣрѣ, одушевляемой любовію, какъ Мареѣ и Маріи, двумъ сестрамъ смердящаго уже въ гробу Лазаря, предоставлено призвать къ трупу души Раскольникова и вмѣсто него, для оживленія, принять Того, кто одинъ есть воскресеніе и жизнь человѣчества. Такая мысль не навязывается мною произведенію Достоевскаго, а есть мысль самого художника, не только глубоко завитая, но и выпукло выставленная въ его произведеніи. Вспомните ту чудную сцену, какъ Софья читала Раскольникову, по его желанію, о воскрешеніи Лазаря изъ новаго завѣта. Тутъ не только въ Софьѣ слышится такъ живо духъ любящихъ сестеръ умершаго Лазаря, но и Раскольниковъ только что не выставляется самъ, что онъ и есть смердящій въ гробу трупъ, ждущій именно отъ ея любви и вѣры — призыванія или привлеченія къ нему Человѣколюбца, ободрявшаго скорбящую объ умершемъ братѣ Мареу великимъ словомъ: «Я есмь воскресеніе и жизнь» (Еванг. Іоанна, гл. II). Не въ залогъ ли этого нашъ самозаконодательный мудрецъ выпросилъ у Софьи книгу новаго завѣта? Да, онъ благодарно предчувствовалъ, видно, свой будущій возвратъ къ жизни, при содѣйствіи вѣры и любви этой бѣдной дѣвушки, — когда, помните, *весь быстро наклонился и, припавъ на полу, поцѣловалъ ея ногу*... Еще разъ, ужъ въ каторгѣ, онъ повторитъ это самое движеніе предъ Софьей, когда будетъ читать взятый у нея новый завѣтъ и ощутитъ въ своей мысли и душѣ прочный зачатокъ новой жизни.

Конечно, надежда Софьи, что несчастному Раскольникову послана будетъ жизнь уже вслѣдствіе открытаго его сознанія въ преступленіи, не могла оправдаться. Если бы этотъ преступникъ стоялъ еще на почвѣ общаго съ Софьей принципа нравственнаго, то такъ и было бы, какъ она надѣялась. Сознаваясь въ преступленіи и принимая кару за него съ вѣрою въ Христову правду, онъ чрезъ это и входилъ бы въ живительное соучастіе страданій искупительныхъ. Но въ томъ-то и состояло существо и основаніе всей бѣды Раскольникова, что онъ сдвинулся съ этого живого принципа и замыслилъ, вмѣсто него, свой новый, съ которымъ еще не раздѣлялась его мысль. Все же, впрочемъ, немедленное, открытое сознаніе Раскольникова въ преступленіи было шагомъ его уже къ обновленію. Это выводило его, по крайней мѣрѣ, изъ фальшиваго положенія среди людей, самыхъ же близкихъ, и изъ вытекающаго отсюда фальшиваго, двусмысленнаго и лицемѣрнаго, духовнаго настроенія, особенно неродного и мучительнаго его духу. Одинъ выходъ изъ этой двойной, внѣшней и внутренней, фальшивости давалъ нашему недвоедушному герою, хоть на минуту, почувствовать до глубины души *наслажденіе и счастье*, съ какимъ онъ и поцѣловалъ грязную землю среди площади, какъ требовала этого Софья.

На каторгѣ у Раскольникова осталось дѣло съ его мыслію, уже ничѣмъ духовно не развлекаемое. Такое одиночество его съ разрушительною мыслію было ужасно! Мы ужъ имѣли случай говорить, что еще прежде заподозрѣлъ онъ себя самого въ фальшивости предъ

своимъ принципомъ; теперь онъ еще рѣшительнѣе обвинялъ себя въ томъ, что онъ совсѣмъ не настоящій человѣкъ, а такая же вошь, какъ и убитая имъ старуха. Наполеоны, Магометы стояли предъ нимъ за его принципъ, какъ неопровержимые факты. И въ безплодныхъ и безысходныхъ мысленныхъ бореніяхъ почувствовалась имъ та особенная, заготовленная въ основаніяхъ еще до каторги, тоска, отъ которой вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, словомъ — смертью безконечною... Всего этого мы уже касались выше. Въ такой душевной каторгѣ онъ сталъ нетерпѣливъ и къ неотступной соучастницѣ своихъ скорбей Софьѣ. А каторжные его товарищи находили его до того чужимъ для себя и вмѣстѣ до того преступнымъ именно по невѣрію (одинъ Богъ вѣдаетъ, какъ это добрались они до этой тайны), что одинъ изъ нихъ рѣшился покончить такого злодѣя разомъ: Раскольниковъ готовъ былъ принять смертельный ударъ съ какимъ-то мертвымъ безучастіемъ... Но все это, вмѣстѣ съ постигшею его тяжелою болѣзнью, было уже послѣдней очистительной пыткой для Раскольникова, разобрать которую Софья была, разумѣется, совсѣмъ не въ состояніи, такъ какъ главные корни этой пытки углублялись въ оригинальной его мысли. Зато для блага самого Раскольникова только и требовалось на этотъ разъ съ ея стороны одно: материнская всепрощающая своему ребенку поддержка любящимъ и вѣрующимъ сердцемъ,—для чего, конечно, былъ у Софьи избытокъ силъ; она и для другихъ каторжныхъ умѣла сдѣлаться наилучшею сестрою милосердія. Съ дѣломъ мысли надо было ему самому справляться; нужно было ему самому добраться до фальшей своей мысли и самостоятельно выбросить ее изъ своей души, чтобы очистилось въ этой душѣ безраздѣльное мѣсто для свѣта и жизни истины. Переломъ ужаснаго мысленнаго недуга его, наконецъ, совершился. Какъ? Такъ же, какъ обыкновенно или естественно совершается переломъ смертельной болѣзни на выздоровленіе: совнѣ поражаетъ васъ еще не очень далекое отъ смерти безсиліе больного, но глазъ доктора и ваше сердце уже угадали въ немъ зачатокъ свѣжей жизни, чуть-чуть ощутимой. У автора нашлось столько художественной вѣрности истинѣ и психологіи, столько даже смѣлости, чтобы зачавшійся въ *мысли* Раскольникова живительный переворотъ указать въ извѣстной его грезѣ, показавшейся кое-кому присочиненною холодною аллегоріей. Нѣтъ, это была не холодная аллегорія, а возникающая въ глубинѣ души Раскольникова жизненная повѣрка и оцѣнка роковой его мысли, — повѣрка и оцѣнка именно съ той стороны этой мысли, съ какой эта мысль еще цѣплялась своими звѣрскими когтями за духовныя внутренности Раскольникова, производя тѣмъ его послѣднюю адскую пытку. Онъ послѣ всѣхъ своихъ опытовъ душевныхъ запутался собственно на томъ, не онъ ли самъ измѣнилъ малодушно и двоедушно своему началу; онъ имѣлъ и основаніе обвинять себя въ этомъ, беря во вниманіе всѣ видоизмѣненія своего тревожнаго состоянія и образа дѣйствій до совершенія преступленія, въ самомъ актѣ совершенія и послѣ

преступленія. Столько тутъ было у него внутренняго раздвоенія между новымъ его горделивымъ началомъ и воплями живого въ немъ же самомъ противоположнаго начала, — раздвоенія, совсѣмъ парализующаго его духъ и мысль, изобличающаго, стало-быть (какъ онъ заключалъ), что у него не ставало духа выдерживать свою мысль, какъ слѣдуетъ настоящему цѣльному человѣку!! Вотъ гдѣ лживое начало затаило свою змѣиную голову, сваливая фальшивость со своей головы на самого же язвимаго ею Раскольникова! Противъ этой самой лжи въ изстрадавшемся духѣ его, еще поддерживаемомъ подъ вѣяніемъ истины другою любящею и вѣрующею въ истину душою, и возникало то ощущеніе (но еще не отчетливое и ясное представленіе) истины, что если только начало нравственнаго самозаконодательства будетъ новымъ словомъ, разносимымъ въ мірѣ и выдерживаемымъ людьми съ самою безукоризненною вѣрностію, какъ мечталось Раскольникову, то вѣдь каждый самозаконодатель истины и добра будетъ, по пословицѣ, *молодецъ на свой образецъ*; вѣдь и малѣйшая нравственная уступка его другому будетъ, если судить по-раскольниковски уже измѣной предъ законодательствомъ. Что же такимъ образомъ неминуемо выйдетъ? Каждый самозаконодатель будетъ не на животъ, а на смерть не терпѣть другого самозаконодателя, расходящагося съ нимъ въ индивидуальныхъ особенностяхъ собственнаго самозаконодательства; и всѣ эти самозаконодатели, въ своей совокупной общности, будутъ также не терпѣть другъ друга не на животъ, а на смерть; а люди обратятъ землю въ адъ тѣмъ скорѣе и неизбѣжнѣе, чѣмъ именно вѣрнѣе и безуклончивѣе будутъ выдерживать это новое слово, которое такимъ образомъ, разносясь въ мірѣ, было бы губительнѣе для человѣчества всякой возможной заразы... Вотъ какое духовное ощущеніе возникло у Раскольникова въ глубинѣ души еще неясно, смутно, хотя и жизненно, а не по отвлеченному мертво: оно естественно и сказалось въ грезѣ! Такъ, всякое затруднительное дѣло, когда его разберутъ по ниточкѣ и тѣмъ упростятъ для всякаго, даже простоватаго человѣка, разглядѣлъ бы, кажется, и слѣпецъ; но когда это же дѣло еще почти не тронуто разбирающею мыслію, а только своею затруднительностію неотступно касается важныхъ интересовъ, то къ нему и острозоркіе люди относятся какъ слѣпые — ощупью или чутьемъ.

Само собою разумѣется, что духовное ощущеніе истины, не одностороннее, а достигшее своей полноты, Раскольниковъ безъ труда могъ осмыслить отчетливымъ сознаніемъ. И вотъ пытливая его мысль получала освободительное для себя разрѣшеніе именно того, чѣмъ столь мучительски задерживала ее ложь нравственнаго самозаконодательства: оказалось ясно какъ день для него, что замыслить пронести въ мірѣ такое *новое слово*, съ безукоризненною къ нему вѣрностію его послѣдователей, и значитъ положить на немъ пробное клеймо губительной его фальшивости, какъ самой адской заразы для человѣчества. Съ изобличеніемъ и отверженіемъ лжи, закрывшей для Раскольникова свѣтъ

истины, его мысль уже безпрепятственно могла озариться истиною за чтеніемъ новаго завѣта, который подарила ему еще до каторги Софья и котораго онъ доселѣ не раскрывалъ, хотя и не разставался съ нимъ. И вздохнулъ, наконецъ, нашъ каторжникъ первымъ свободнымъ и отраднымъ вздохомъ своего воскресенія. Тогда онъ снова поклонился Софьи до земли, почувствовавъ и сообразивъ, видно, до какой степени обязанъ онъ ей совершившимся, наконецъ, оживленіемъ души его Тѣмъ, Кто съ Собою и въ Себѣ Самомъ несетъ намъ воскресеніе и жизнь... *Бухаревъ.*

Анализъ и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ романѣ «Преступленіе и наказаніе».

«Преступленіе и наказаніе», одинъ изъ самыхъ серьезныхъ, глубокихъ и оригинальныхъ романовъ Достоевскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ это и одинъ изъ наиболѣе удачныхъ его романовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и недостатки художественнаго творчества Достоевскаго выступаютъ въ этомъ романѣ такъ же ярко, какъ сила и глубина его психологической наблюдательности.

Романъ этотъ — исторія бѣднаго, самолюбиваго, неглупаго и неподлаго человѣка, съ мыслію довольно пробужденною, съ потребностью значительнаго дѣла и личнаго счастія, и съ разъѣдающимъ сознаніемъ, что судьба, при обычныхъ условіяхъ, не дастъ ему ни того ни другого. Юноша этотъ, заточенный своимъ самолюбіемъ бѣдняка, какъ въ тюрьму, въ свой душный чердакъ, на всякомъ шагу своей страстной молодой жизни испытываетъ тяжкія лишенія и оскорбленія, неразлучныя съ нищетою. Онъ мечталъ быть честнымъ и полезнымъ дѣятелемъ въ обществѣ, онъ очень любилъ мать и сестру, переносящихъ бѣдность въ далекомъ провинціальномъ углу, и надѣялся, покончивъ свое образованіе въ университетѣ, перемѣнить свою судьбу. Онъ такъ вѣрилъ въ себя, въ будущее, въ силу образованія. Не даромъ же онъ допускалъ и мать и сестру лишать себя послѣдняго, чтобы помогать ему окончить курсъ въ университетѣ. Онъ увѣренъ былъ, что сумѣетъ скоро и сторицею вознаградить ихъ. Но вотъ онъ на ногахъ — и нуждается все такъ же, нуждается еще болѣе; мать и сестра попрежнему жертвуютъ всѣмъ, и онъ попрежнему вынужденъ принимать ихъ жертвы.

Человѣкъ съ здравымъ и практическимъ взглядомъ, конечно, перенесъ бы эту весьма естественную критическую минуту почти всякой начинающейся дѣятельности, и, при крайней потребности въ людяхъ на родной Руси, разумѣется, недолго бы дожидался какой-нибудь производительной работы. Но герои Достоевскаго всегда раздраженные, всегда ипохондрики, всегда страдальцы. И его Раскольниковъ отвѣчалъ бѣдности не спокойною борьбою, а только внутреннимъ страданіемъ. Авторъ мастерски изобразилъ чисто физическое вліяніе низенькаго, тѣснаго и грязнаго чердака, въ которомъ по-

стоянно валялся на своей постели его раздраженный герой, на развитіе въ немъ ипохондріи и, наконецъ, даже злобной мизантропіи.

Тамъ, среди желчныхъ монологовъ съ самимъ собою, которые занимаютъ добрую часть романа, Раскольниковъ рѣшается перемѣнить свою судьбу ловкимъ убійствомъ старой нравственно-отвратительной ростовщицы, существованіе которой съ самой снисходительной точки зрѣнія могло быть только вредомъ для людей. Необыкновенная тонкость и глубина психологическаго наблюденія обнаружена авторомъ въ каждой мелкой подробности, которыми онъ обставилъ подготовленіе и совершеніе этого убійства, и которыя наполняютъ всю I часть изъ числа VI частей романа. Можно сказать, что ничего подобнаго, по обстоятельности изслѣдованія и внутренней психической правдѣ, не представляетъ наша литература въ своихъ разнородныхъ описаніяхъ преступленій. Такъ какъ убійство замышлялось и исполнилось Раскольниковымъ въ одиночку, и читатель въ I части романа почти не имѣетъ дѣла ни съ кѣмъ кромѣ самого преступника, то вся характерная сила таланта Достоевскаго могла развернуться свободно въ этомъ своего рода внутреннемъ дневникѣ Раскольникова. Оттого онъ производитъ здѣсь вполнѣ цѣльное и вполнѣ подавляющее впечатлѣніе. Вы словно сами сидите въ немъ, въ его воспаленномъ и смущенномъ мозгу, тревожно бредите съ нимъ на его одинокой постели, трусливо крадетесь съ нимъ за топоромъ въ конурку дворника, дѣлаетесь вмѣстѣ съ нимъ обезумѣвшимъ автоматомъ-убійцею въ роковыхъ темныхъ комнаткахъ старой ростовщицы.

Что авторъ дѣйствительно горько и тяжело пережилъ на самомъ себѣ послѣдовательныя ощущенія своего героя, что онъ, дѣйствительно, передумалъ и выстрадалъ всѣмъ своимъ существомъ каждый оттѣнокъ мысли Раскольникова, когда писалъ эти замѣчательныя страницы, — въ этомъ сомнѣваться невозможно. Только такое всецѣлое перенесеніе себя въ душу своего героя въ состояніи было дать такое удивительно-правдивое и удивительно-выразительное изображеніе. Эта инстинктивная «проба» предстоявшаго, но еще далеко нерѣшенаго убійства, которою начинается романъ; это что-то роковое, словно внѣ человѣка стоящее, что непобѣдимо толкаетъ его волю туда, противъ чего она упирается, эта нераспутываемая сложность побужденій, ужасающихъ и влекущихъ, — переданы авторомъ съ неподражаемымъ правдоподобіемъ. «Вдругъ онъ вздрогнулъ: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась въ его головѣ. Но вздрогнулъ онъ не оттого, что пронеслась эта мысль. Онъ вѣдь зналъ, онъ *предчувствовалъ*, что она непремѣнно «пронесется», и уже ждалъ ея; да и мысль эта была совершенно не вчерашняя. Но разница была въ томъ, что мѣсяцъ назадъ, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдругъ не мечта, а въ какомъ-то новомъ, грозномъ и совсѣмъ незнакомомъ ему видѣ, и онъ вдругъ самъ созналъ это... Ему стукнуло въ голову и потемнѣло въ глазахъ»

(стран. 50, ч. I). Авторъ не назвалъ вамъ этой мысли, не объяснилъ ничего, но, неправда ли, читатель, на васъ пахнуло холодомъ ужаса, какъ отъ чего-то невыразимо страстнаго, что неминуемо готовилось впереди словно безъ воли и вѣдома человѣка?

То же необъяснимое ощущеніе своей роковой зависимости отъ чего-то что зрѣло само-собою въ душѣ Раскольникова, противъ чего онъ напрасно боролся и чего онъ трепеталъ, — съ необыкновенною мѣткостью и тонкостью наблюденія схвачено авторомъ въ другой сценѣ, когда смущенный духомъ Раскольниковъ отправлялся, какъ бы инстинктивно отыскивая помощи противъ самого себя, къ университетскому товарищу своему Разумихину.

«Гм... къ Разумихину, проговорилъ онъ вдругъ совершенно спокойно, какъ-бы въ смыслѣ окончательнаго рѣшенія, — къ Разумихину я пойду, это конечно... Но не теперь... Я къ нему... на другой день послѣ того пойду, тогда ужъ то будетъ кончено, и когда все по новому пойдетъ»...

И вдругъ онъ опомнился. «Послѣ *того*, вскрикнулъ онъ, срываясь съ скамейки, — да развѣ то будетъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ будетъ? Онъ бросилъ скамейку и пошелъ, почти побѣжалъ! онъ хотѣлъ было поворотить назадъ, къ дому, но домой итти ему стало вдругъ ужасно противно: тамъ-то, въ углу, въ этомъ-то ужасномъ шкафу и созрѣло все это вотъ уже болѣе мѣсяца»...

Вотъ какъ рисуетъ авторъ душевное состояніе Раскольникова, уже спрятавшаго подъ платье топоръ и собравшагося итти на убійство: «Его рѣшенія имѣли одно странное свойство: чѣмъ окончательнѣе онѣ становились, тѣмъ безобразнѣе, нелѣпѣе тотчасъ онѣ становились въ его глазахъ. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, онъ никогда, ни на одно мгновеніе, не могъ увѣровать въ исполнимость своихъ замысловъ во все это время. «И если-бъ даже случилось когда-нибудь такъ, что уже все до послѣдней точки было бы имъ разобрано и рѣшено окончательно, и сомнѣній не оставалось бы уже болѣе никакихъ, то тутъ-то бы, кажется, онъ и отказался отъ всего, какъ отъ нелѣпости, чудовищности и невозможности. Но неразрѣшенныхъ пунктовъ и сомнѣній оставалась еще цѣлая бездна. «Никакъ онъ не могъ, напримѣръ, вообразить себѣ, что когда-нибудь онъ кончитъ думать, встанетъ — и просто пойдетъ *туда*. Даже недавнюю *пробу* свою онъ только *пробовалъ* было сдѣлать, но далеко не взаправду, а такъ: «дай-ка, дескать, пойду и попробую, что мечтать-то!» — и тотчасъ не выдержалъ, плюнулъ и убѣжалъ въ остервенѣніи на самого себя. А между тѣмъ, казалось бы, весь анализъ, въ смыслѣ нравственнаго разрѣшенія вопроса, былъ уже имъ поконченъ: казуистика его выточилась какъ бритва, и самъ въ себѣ онъ уже не находилъ сознательныхъ возраженій. Но въ послѣднемъ случаѣ онъ просто не вѣрилъ себѣ, и упрямо, рабски, искалъ возраженій по сторонамъ и ощупью, какъ будто кто его принуждалъ и тянулъ къ тому. Послѣдній же день, такъ не-

чаянно наступившій и все разомъ порѣшившій, подѣйствовалъ на него почти совсѣмъ механически: какъ будто его кто-то взялъ за руку и потянулъ за собою, неотразимо, слѣпо, съ неестественною силой, безъ возраженій. Точно онъ попалъ клочкомъ одежды въ колесо машины, и его начало въ нее втягивать».

Но если автору удалось такъ живо изобразить подготовительный процесъ преступленія, то психологія преступника по совершеніи злодѣянія изслѣдована имъ еще съ бо́льшимъ мастерствомъ, съ еще болѣе животрепещущею правдою. Нетрудно замѣтить, что автора гораздо болѣе интересовала эта вторая часть его замысла, т.-е. не само преступленіе, а его «наказаніе»; ему онъ посвящаетъ пять частей романа, а «преступленію» только одну первую. Да это и вполнѣ естественно.

Все, что̀ относится до внутреннаго настроенія, до дѣйствій самого Раскольникова, то̀ захватываетъ глубоко читателя и уноситъ его за собою во всѣ замысловатые изгибы мрачнаго душевнаго̀ лабиринта преступниковъ. Читателю дѣлается порою такъ же невыносимо тяжко, какъ, вѣроятно, было самому Раскольникову. Онъ переживаетъ вмѣстѣ съ нимъ всѣ подавляющія страданія его духа; вмѣстѣ съ нимъ мучается на каждомъ шагу подозрительностью, страхомъ, внутреннимъ униженіемъ и, сильнѣе всего, сознаніемъ безплодности совершоннаго злодѣянія. Вмѣстѣ съ нимъ онъ бредитъ наяву и обращаетъ свой сонъ въ рядъ невыносимо тяжелыхъ размышленій, мечтаній. Вмѣстѣ съ нимъ онъ проникается все болѣе и болѣе не раскаяніемъ въ преступленіи, не сокрушеніемъ о погубленной нравственной чистотѣ человѣка, а злобною ненавистью къ людямъ, которые дѣлаютъ преступника чужимъ среди себя, отъ которыхъ онъ отпадаетъ помимо своей воли, которые несомнѣнно извергнутъ его изъ своей среды, какъ вредную гадину, но которые въ сущности не лучше его, Раскольникова, — онъ въ это твердо вѣрилъ...

Мученія Раскольникова начинаются уже въ первый вечеръ послѣ убійства; его подавляетъ тупымъ ужасомъ масса награбленныхъ у старухи вещей, которыхъ онъ не знаетъ куда спрятать, которыя всюду торчатъ живыми уликами злодѣйства. Онъ весь въ крови, весь чердачекъ его полонъ поличнаго, а его уже жжетъ внутренняя лихорадка. Среди леденящаго зноба «долго, нѣсколько часовъ ему все еще. мерещилось порывами, что вотъ бы, сейчасъ, не откладывая, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтобы ужъ съ глазъ долой, поскорѣй, поскорѣй! Онъ порывался съ дивана нѣсколько разъ, хотѣлъ было встать, но уже не могъ...»

Всякій случайный приходъ, всякій пристальный взглядъ, всякое сказанное ему слово кажется ему угрозою, подозрѣніемъ, обличеніемъ. Награбленныя вещи онъ закопалъ, Богъ знаетъ, гдѣ, и даже помыслить не можетъ, чтобы ими воспользоваться. Онѣ словно обжигаютъ ему не только руки, но самую мысль. Онъ ненавидитъ ихъ, онъ считаетъ ихъ своими смертельными врагами, предназначенными, къ его погибели.

Иногда ему во снѣ представится цѣлая сложная и яркая сцена, какъ приходитъ въ домъ полиція, всѣхъ опрашиваетъ и осматриваетъ, поднимаетъ шумъ, бьетъ хозяйку. Онъ вскакиваетъ въ ужасѣ.

«Настасья, за что били хозяйку?

Она пристально на него посмотрѣла.

— Кто билъ хозяйку?

«Сейчасъ... полчаса назадъ, Илья Петровичъ, надзирателя помощникъ, на лѣстницѣ... За что онъ ее такъ избилъ? И... зачѣмъ приходилъ?...

Настасья, молча и нахмурившись, его разсматривала и долго такъ смотрѣла. Ему очень непріятно стало отъ этого разсматриванія, даже страшно.

— Настасья, что же ты молчишь? робко проговорилъ онъ наконецъ, слабымъ голосомъ.

«Это кровь, отвѣчала она, наконецъ, тихо и какъ будто просебя говоря.

— Кровь!... какая кровь? бормоталъ онъ блѣднѣя и отодвигаясь къ стѣнѣ.

«Никто хозяйку не билъ, проговорила она опять строгимъ и рѣшительнымъ голосомъ.

Онъ смотрѣлъ на нее, едва дыша.

— Я самъ слышалъ... я не спалъ... я сидѣлъ, — еще робче проговорилъ онъ. — Я долго слушалъ... приходилъ надзирателя помощникъ... на лѣстницу всѣ сбѣжались изъ квартиръ...

— Никто не приходилъ. А это кровь въ тебѣ кричитъ. Это когда ей выходу нѣтъ и уже печенками запекаться начнетъ, тутъ и начнетъ мерещиться...» (стран. 132—133).

Раскольниковъ проводитъ дома время въ этомъ полусонномъ, полугорячечномъ состояніи. Иной разъ ему казалось, что онъ уже съ мѣсяцъ лежитъ; въ другой разъ, что все тотъ же день идетъ. «Но *о томъ, о томъ* онъ совершенно забылъ; *за то ежеминутно помнилъ, что о чемъ-то забылъ, чего нельзя забывать*».

Когда кончаются мученія этого болѣзненнаго состоянія, Раскольникову дѣлается не легче. Онъ носитъ въ себѣ какую-то страшную тягость, которая нигдѣ не оставляетъ его ни на одно мгновеніе, которую онъ обязанъ носить вѣчно, но которой другіе люди не должны даже подозрѣвать. Эта роковая тягость для него хуже смерти; эта внутренняя неволя обиднѣе всякой внѣшней неволи; но возмутиться противъ нея онъ не смѣетъ: возмущеніе — его погибель.

По временамъ это сознаніе своей унизительной зависимости отъ самаго ничтожнаго человѣка, отъ самаго ничтожнаго случая, доводитъ Раскольникова до рѣшимости все открыть и покончить однимъ ударомъ съ своимъ нравственнымъ рабствомъ. Ему до такой степени дѣлается отвратительно всѣхъ бояться, все подозрѣвать, трепетать каждаго намека, что на него иногда нападаетъ неудержимая потребность подразнить своихъ преслѣдователей, смѣло вызвать ихъ на

бой, стряхнуть тѣ постыдныя оковы, подъ которыми стонетъ свобода его духа, — что̀ бы потомъ ни вышло изъ этого. Неизвѣстность, неясность будущаго гнететъ его хуже, чѣмъ разъ подписанный приговоръ.

Въ этомъ отношеніи сцена въ трактирѣ, гдѣ Раскольниковъ, съ жуткимъ ознобомъ внутри, дразнитъ полицейскаго сыщика откровеннымъ признаніемъ того, какъ слѣдуетъ совершать преступленія, и какъ бы онъ самъ совершалъ ихъ, достигаетъ изумительной психологической тонкости и вмѣстѣ оригинальности.

— Вы сумасшедшій! — говорилъ Заметовъ (полицейскій), почему-то тоже чуть не шопотомъ и почему-то отодвинулся вдругъ отъ Раскольникова.

У того засверкали глаза; онъ ужасно поблѣднѣлъ; верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Онъ склонился къ Заметову какъ можно ближе, и сталъ шевелить губами, ничего не произнося; такъ длилось съ полминуты; онъ зналъ, что дѣлалъ, но не могъ сдержать себя. Страшное слово, какъ тогдашній запоръ въ дверяхъ, такъ и прыгало на его губахъ; вотъ-вотъ сорвется; вотъ-вотъ только спустить его, вотъ-вотъ только выговорить!

— А что, если я старуху и Лизавету убилъ? — проговорилъ онъ вдругъ и опомнился.

Заметовъ дико поглядѣлъ на него и поблѣднѣлъ, какъ скатерть. Лицо его искривилось улыбкою.

«Да развѣ это возможно? проговорилъ онъ едва слышно.

Раскольниковъ злобно взглянулъ на него.

— Признайтесь, что вы повѣрили? Да? Вѣдь да?

Поразивъ своего собесѣдника этою ужасною шуткою, черезъ минуту онъ вышелъ, весь дрожа отъ какого-то истерическаго ощущенія, въ которомъ между тѣмъ была часть нестерпимаго наслажденія, — впрочемъ, мрачный, ужасно усталый...»

Но эти истерическіе припадки нетерпѣнія и страха только все болѣе выдавали тайну Раскольникова тому безпощадному глазу, который слѣдилъ, не отступая, за малѣйшимъ его шагомъ.

Въ романѣ выведенъ спеціалистъ и виртуозъ слѣдственныхъ дѣлъ Порфирій Петровичъ, который съ наслажденіемъ артиста и съ систематичностью ученаго психолога погружается въ интересные казусы преступленій. Авторъ сильно шаржировалъ этотъ характеръ и сообщилъ ему складку нѣкоторой мелодраматической выдумки; онъ уже слишкомъ пространно и глубокомысленно разсуждаетъ и относится къ своимъ «паціентамъ», слишкомъ непохоже на то, какъ это бываетъ въ житейской дѣйствительности. Его немного жестокая игра съ заподозрѣннымъ преступникомъ, напоминающая игру кошки съ мышью, кажется иногда мало естественною, и почти всегда — ненужною. Тѣмъ не менѣе, его разговоры, взгляды, самый видъ его, производятъ на Раскольникова такое же подавляющее вліяніе, какое *леденящій* взглядъ боа и его разинутая пасть производятъ на тре-

пещущаго передъ нимъ кролика. Фигура Порфирія Петровича имѣетъ нѣчто общее съ Жаверомъ, извѣстнымъ героемъ въ «Les miserables», этимъ безжалостнымъ, вѣчно молчащимъ, но насквозь все видящимъ, всюду неудержимо проникающимъ сыщикомъ... Если сыщикъ Виктора Гюго гораздо безчеловѣчнѣе и суровѣе по натурѣ, чѣмъ герой Достоевскаго, то тѣмъ не менѣе они похожи другъ на друга по своей роли преслѣдователя, неумолимаго, какъ рокъ...

Раскольниковъ, какъ ни бьется, пасуетъ, наконецъ, передъ страшнымъ врагомъ, который такъ ласково говоритъ съ нимъ и такъ увѣренно смотритъ въ его душу, словно онъ самъ сидѣлъ въ ней. Его систематическое самоувѣренное преслѣдованіе, его откровенныя разъясненія Раскольникову всѣхъ подробностей той западни, въ которую онъ ловитъ его, и въ которую непремѣнно и очень скоро его поймаетъ, окончательно подрѣзываютъ Раскольникова и больше всего побуждаютъ его предпочесть, наконецъ, скорый рѣшительный конецъ этой безжалостной медленной травлѣ, исходъ которой все равно неизбѣженъ, все равно заранѣе извѣстенъ... Вотъ, напримѣръ, отрывокъ изъ одной бесѣды этого оригинальнаго охотника съ своею намѣченною жертвою:

«...А то вотъ еще: убилъ да за честнаго человѣка себя почитаетъ, людей презираетъ, блѣднымъ ангеломъ ходитъ; нѣтъ, ужъ какой тутъ Миколка, голубчикъ Родіонъ Романовичъ, тутъ не Миколка!...»

Эти послѣднія слова, послѣ всего прежде сказаннаго и такъ похожаго на отреченіе, были слишкомъ уже неожиданны. Раскольниковъ весь задрожалъ, какъ будто пронзенный.

— Такъ кто же убилъ?... спросилъ онъ, не выдержавъ, задыхающимся голосомъ.

Порфирій Петровичъ даже отшатнулся на спинку стула, точно ужъ такъ неожиданно и онъ былъ изумленъ вопросомъ.

«Какъ кто убилъ? переговорилъ онъ, точно не вѣря ушамъ своимъ: «да вы убили, Родіонъ Романовичъ. Вы и убили-съ...» прибавилъ онъ почти шопотомъ, совершенно убѣжденнымъ голосомъ» (стран. 209—210, ч. II).

Впрочемъ, не одинъ этотъ ужасъ неизвѣстности и зависимости томилъ Раскольникова. Его убивало еще, можетъ быть, сильнѣе сознаніе своего полнаго внутренняго разобщенія съ людьми. Онъ словно осязалъ теперь ту бездну, которая вдругъ отодвинула отъ него его семью, его друзей, весь прежній, весь *обыкновенный* міръ. Мать и сестра, которыхъ онъ очень любилъ, ради блага которыхъ отчасти было задумано преступленіе, ничего не зная, являются къ нему въ Петербургъ. «Радостный, восторженный крикъ привѣтствовалъ появленіе Раскольникова. Обѣ бросились къ нему. Но онъ стоялъ, какъ мертвый; невыносимое внезапное сознаніе ударило въ него, какъ громомъ. Да и руки его не поднимались обнять ихъ: не могли» (стран. 217, ч. II).

Въ другой разъ онъ бесѣдуетъ съ ними у себя въ комнатѣ.

«Полноте, маменька съ смущеніемъ пробормоталъ онъ, не глядя на нее и сжалъ ея руку. Успѣемъ наговориться!»

Сказавъ это, онъ вдругъ смутился и поблѣднѣлъ: опять одно недавнее ужасное ощущеніе мертвымъ холодомъ прошло по душѣ его; опять ему вдругъ стало совершенно ясно и понятно, что онъ сказалъ сейчасъ ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успѣть наговориться, *но уже ни о чемъ больше, никогда и ни съ кѣмъ, нельзя ему теперь говорить»* (стран. 258, ч. II). Это сознаніе своего внутренняго одиночества не оставляло его, однако, одного съ самимъ собою. Онъ, «хотя и всегда почти былъ одинъ, никакъ не могъ почувствовать, что онъ одинъ...» «Чѣмъ уединеннѣе было мѣсто, тѣмъ сильнѣе онъ сознавалъ какъ будто чье-то близкое и тревожное присутствіе».

— Нѣтъ, ужъ лучше бы какая борьба! лучше бы опять Порфирій... мучился онъ.

И, наконецъ, подъ гнетомъ этихъ неуловимыхъ душевныхъ мукъ, онъ сознался...

Повторяемъ, трудно написать болѣе мастерскую и вѣрную картину психіи преступника. Такія картины прибавляютъ новый безцѣнный и оригинальный матеріалъ къ познаніямъ человѣческаго духа въ самыхъ таинственныхъ его глубинахъ.

Писатель, который способенъ дать такой важный вкладъ въ сокровищницы литературы, во всякомъ случаѣ, заслуживаетъ серьезнаго сочувствія и серьезной оцѣнки, но тѣмъ менѣе поводовъ обходить молчаніемъ и другія стороны его таланта.

Въ «Преступленіи и наказаніи» вообще есть много самобытныхъ и выразительныхъ типовъ. Чета Мармеладовыхъ, Порфирій Петровичъ, Свидригайловъ, все это отличается оригинальностью и силою замысла, хотя и не все разработано удовлетворительно.

Мармеладовъ, пьянчужка-чиновникъ, обратившійся въ нищаго, въ кабацкаго оратора, утерявшій образъ человѣческій до того что согласился продать на жертву публичному разврату родную дочь, — представленъ авторомъ въ потрясающихъ чертахъ. Онъ ищетъ утѣшенія и какъ бы возмездія за свое нищенство, за свои домашнія горести и униженія, въ витійствѣ среди пьяныхъ посѣтителей харчевни... Онъ несетъ на судъ и насмѣшки этой грязной публики всѣ тайны своей семьи и своей судьбы. Онъ разсказываетъ имъ, при общемъ хихиканьи, какъ «единородная дочь моя по желтому билету пошла», какъ несправедлива къ нему его Катерина Ивановна, какой онъ «прирожденный скотъ» и свинья, потому что онъ даже «косыночку ея изъ козьяго пуха тоже пропилъ, дареную, прежнюю, ея собственную, а не мою», а она, Катерина Ивановна, «въ работѣ съ утра до ночи, скребетъ и моетъ, и дѣтей обмываетъ».

Но и ему-то самому что дѣлать?

«Коли итти больше некуда! *Вѣдь надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойти!»* одушевленно убѣждаетъ онъ.

«Милостивый государь, милостивый государь, вѣдь надобно же, чтобы у всякаго человѣка было хоть одно такое мѣсто, гдѣ бы и его пожалѣли!...» (стран. 14, 15, 16, ч. I).

Глубоко потрясаетъ монологъ этого горемыки-нищаго, которымъ онъ заканчиваетъ свое пьяное витійство.

«Да, меня жалѣть не за что!» кричитъ онъ. «Меня распять надо, распять на крестѣ, а не жалѣть! Но распни, судія, распни и, распявъ, пожалѣй его! И тогда я самъ къ тебѣ пойду на пропятіе, ибо не веселья жажду, а скорби и слезъ! Думаешь ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ и обрѣлъ! а пожалѣетъ насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ понималъ. Онъ Единый, Онъ и Судья! Прійдетъ въ тотъ день и спроситъ: «А гдѣ дщерь, что мачехѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ и малолѣтнимъ себя продала? Гдѣ дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла?» И скажетъ: «Пріиди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ... Прощаются же и теперь грѣхи твои мнози, зато, что возлюбила много»... И проститъ мою Соню, проститъ, я ужъ знаю, что проститъ... Я это давеча, какъ у ней былъ, въ моемъ сердцѣ почувствовалъ!... И всѣхъ разсудитъ и проститъ, и добрыхъ и злыхъ, и премудрыхъ и смирныхъ!... И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: «Выходите, скажетъ, и вы! Выходите, пьяненькіе, выходите, слабенькіе, выходите, скоромники!» И мы выйдемъ всѣ, не стыдясь и станемъ. И скажетъ: «Свиньи вы! образа звѣринаго и печати его; но пріидите и вы!» И возглаголятъ премудрые, и возглаголятъ разумные: «Господи! почто сихъ пріемлеши?» И скажетъ: «Потому ихъ пріемлю, премудрые, потому пріемлю, разумные, что ни единый изъ сихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего»... И простретъ къ намъ руцѣ свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... и все поймемъ! Тогда все поймемъ!... и всѣ поймутъ... и Катерина Ивановна... и она пойметъ»...

Этотъ пьяный вопль отчаянія достигаетъ высоты и силы пророческаго обличенія; словно устами жалкаго нищаго возглаголала въ глаза торжествующему міру, въ какомъ-то вдохновеніи безумія, та безпощадная правда, которая не разъ потрясала его совѣсть, то шутовскими выходками юродиваго, то горькими укоризнами проповѣдника.

Въ этомъ жаркомъ вѣрованіи раздавленнаго человѣка «униженнаго и оскорбленнаго» міромъ, сказалось то же возвышенное міровоззрѣніе писателя, которое мы видимъ въ его «Мертвомъ домѣ» и «Бѣдныхъ людяхъ».

Жена Мармеладова нарисована болѣе бѣглыми, но, можетъ быть, еще болѣе характерными чертами. Въ ней страданіе униженныхъ и оскорбленныхъ выразилось не въ формѣ трогательныхъ фантастическихъ мечтаній и задушевнаго пьянаго изліянія, а въ формѣ без-

жалостно-сухого, безнадежно-реальнаго резонерства. Священникъ, исповѣдывавшій ея умирающаго бѣдняка-мужа, обратился было сказать два слова въ утѣшеніе Катерины Ивановны:

— Богъ милостивъ, надѣйтесь на помощь Всевышняго,—началъ было священникъ.

«Э-эхъ! Милостивъ, да не до насъ!

— Это грѣхъ, грѣхъ, сударыня,—замѣтилъ священникъ, качая головой.

«А это не грѣхъ? — крикнула Катерина Ивановна, показывая умирающаго.

«И слава Богу, что помираетъ, убытку меньше!» заключаетъ она свою надгробную рѣчь мужу. До такой степени она подавлена безысходнымъ ужасомъ и вопіющею несправедливостью своего положенія.

Священникъ, очевидно для приличія, замѣчаетъ, что «простить бы надо въ предсмертный часъ».

«Эхъ, батюшка!» съ горькою насмѣшкой возражаетъ она ему, «слова, да слова одни! Простить! Вотъ онъ пришелъ бы сегодня пьяный, какъ бы не раздавили-то, рубашка-то на немъ одна, вся заношеная, да въ лохмотьяхъ, такъ онъ завалился бы дрыхнуть, а я бы до разсвѣта въ водѣ поласкалася, обноски бы его да дѣтскія мыла да потомъ высушила бы за окномъ, да тутъ же, какъ разсвѣтетъ, штопать бы сѣла, — вотъ моя и ночь! Такъ чего ужъ тутъ про прощеніе говорить! и то простила».

Глубокій, страшный кашель прервалъ ея слова. Она отхаркнулась въ платокъ и сунула его на показъ священнику, съ болью придерживая другою рукою грудь. Платокъ былъ весь въ крови.

Священникъ поникъ головою и не сказалъ ничего.

Даже когда умирающій, съ усиліемъ шевеля языкомъ, хочетъ ей высказать свои послѣднія чувства, ея состраданіе къ нему не находитъ другого выраженія, кромѣ бранчиваго крика на него.

«Катерина Ивановна, понявшая, что онъ хочетъ просить у нея прощенія, тотчасъ же повелительно крикнула на него:

— Молчи-и-и! Не надо! Знаю, что хочешь сказать... и больной умолкъ». Для нея и жизнь, и смерть мужа только рядъ новыхъ тревогъ, новыхъ лишеній. «Чѣмъ я похороню его!» вотъ что господствуетъ въ ея сердцѣ надъ всякой жалостью.

Даже къ себѣ самой она давно потеряла всякую жалость; какъ въ голосѣ ея уже не умѣли звучать другія ноты кромѣ бранчивыхъ, такъ и въ сердцѣ ея могло теперь жить только одно озлобленіе.

Она умираетъ послѣ уличнаго скитанія съ дѣтьми, внезапно залившись кровью.

— Что? Священникъ?—кричитъ она привычнымъ тономъ сварливости — не надо... гдѣ у васъ лишній цѣлковый?... На мнѣ нѣтъ грѣховъ!... Богъ и безъ того долженъ простить... Самъ знаетъ, какъ я страдала!... А не проститъ, такъ и не надо!

А вотъ ея послѣднія слова:

— Довольно!... Пора!... прощай, горемыка... Уѣздили клячу!... Надорвала-а-сь! крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась на подушку.

Этимъ стономъ ненависти и презрѣнія не только къ людямъ, къ міру, къ судьбѣ, но и къ себѣ самой — сказано все.

Если Мармеладовъ и совершенно сочиненная, совершенно неестественная дочь его Соня, напоминающая своею безцвѣтною сентиментальностью разныхъ Фантинъ и Козетъ В. Гюго, — держатъ мысль автора въ преданіяхъ его прежняго творчества, то Катерина Ивановна, Раскольниковъ, Свидригайловъ, — выступаютъ крупными и рѣзкими типами новаго настроенія Достоевскаго. Безсмысліе и несправедливость существованія проповѣдуются каждымъ шагомъ, каждымъ словомъ ихъ. Раскольниковъ хотя тоже субъектъ сильно психіатрическій, но въ немъ односторонность духа развивается опредѣленно и послѣдовательно, въ связи съ обстоятельствами, понятно и замѣтно для читателя. Свидригайловъ же — это одинъ изъ самыхъ заправскихъ, самыхъ любимыхъ типовъ Достоевскаго; это ходячій психическій калейдоскопъ, въ которомъ неожиданныя и противорѣчивыя черты характера вдругъ выскакиваютъ совсѣмъ готовыми на глаза читателя, заслоняя собою все, что онъ прежде видѣлъ и зналъ, рисуя его представленію совершенно новые, непохожіе ни на что прежнее, затѣйливые и загадочные узоры...

Такихъ Свидригайловыхъ своего рода, такое хаотическое сочетаніе возвышеннаго добра съ гнуснѣйшею преступленностью выдвигаетъ авторъ и въ «Бѣсахъ», особенно въ лицѣ главнаго героя своего Николая Ставрогина; такимъ же Свидригайловымъ является во многихъ отношеніяхъ и Рогожинъ въ «Идіотѣ».

Достоевскій страстный любитель психическихъ курьезовъ, поэтому особенно трудно разстается съ ними, если они уже разъ попали подъ его кисть. Ему все кажется, что онъ еще не все вырисовалъ въ нихъ, что они нуждаются все въ новомъ изслѣдованіи все въ новомъ освѣщеніи. Оттого самый диковинный психическій чудакъ проходитъ у него почти черезъ всѣ романы его, какъ нѣчто общее и тотъ же внутренній мотивъ, хотя и принимаетъ разнообразныя наружныя выраженія. Чудака этого рѣдко удается Достоевскому изобразить животрепещущими чертами, дать въ руки читателю подлиннымъ, правдоподобнымъ человѣкомъ. Вездѣ этому мѣшаетъ слишкомъ очевидное и слишкомъ заблаговременное присутствіе логическаго замысла. Типъ не столько списывается, улавливается, постигается, сколько составляется, искусственно сводится въ одно цѣлое изъ разныхъ отрывочныхъ психическихъ данныхъ. Такимъ вышелъ и Свидригайловъ въ «Преступленіи и наказаніи».

Свидригайловъ, съ одной стороны, закорузлый деревенскій помѣщикъ, а съ другой — такой безпощадный и краснорѣчивый философъ, что можетъ поставить въ тупикъ любого профессора. Онъ

мистикъ въ простонародномъ смыслѣ, вѣритъ въ привидѣнія, въ предзнаменованія, и въ то же время раціоналистъ и скептикъ, на зависть всякому Юму. Имъ всю жизнь, какъ тряпкою, помыкаетъ жена, и онъ все терпитъ отъ нея ради ея, не особенно, впрочемъ, важнаго состоянія; но въ то же время это человѣкъ, который достигаетъ рѣшительно всего, чего захочетъ, который идетъ сознательно подъ пулю, чтобы овладѣть дѣвушкой, его ненавидящею, для котораго нѣтъ ничего дорогого въ мірѣ, не исключая самой жизни. Прошедшее его кишитъ чудовищными преступленіями; и ни въ одномъ онъ не раскаивается. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ все состояніе свое отдаетъ на спасеніе совершенно чужой ему падшей женщины, великодушничаетъ, благодѣтельничаетъ, отказывается отъ наслажденій почти достигнутыхъ, смѣясь, какъ Мефистофель, надъ всѣмъ въ мірѣ, надъ чувствомъ, надъ чувствительностью, надъ правдою и правосудіемъ...

Онъ и умираетъ такъ же безцѣльно, безсмысленно, неизвѣстно почему и для чего. Пустилъ себѣ пулю въ лобъ, да и квитъ... Главное, что ему скучно, просто скучно, дѣваться некуда, точь въ точь какъ Ставрогину въ «Бѣсахъ». Ужъ онъ чего-чего ни выдумывалъ, чего ни испробовалъ!...

— А вы были и шулеромъ? спрашиваютъ его.

«Какъ же безъ этого!» отвѣчаетъ оригинальный герой Достоевскаго. У него и взгляды всѣ и рѣчи такіе же курьезные, какъ и самъ онъ.

«У насъ, въ русскомъ обществѣ, самыя лучшія манеры у тѣхъ, которые биты бывали, замѣтили вы это?» говоритъ онъ при одномъ случаѣ.— Человѣкъ очень и очень даже любитъ быть оскорбленнымъ, замѣчали вы это? Но у женщинъ это въ особенности... Даже можно сказать, что тѣмъ только и пробавляются», философствуетъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

А вотъ, напримѣръ, какъ философствуетъ Свидригайловъ о будущей жизни: «А что, если тамъ одни пауки или что-нибудь въ этомъ родѣ, сказалъ онъ вдругъ.

Это помѣшанный, подумалъ Раскольниковъ.

— Намъ вотъ все представляется вѣчность какъ идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непремѣнно огромное? И вдругъ вмѣсто всего этого, представьте себѣ, будетъ тамъ одна комнатка, эдакъ въ родѣ деревенской бани, закоптѣлая, а по всѣмъ угламъ пауки, и вотъ вся вѣчность. Мнѣ, знаете, въ этомъ родѣ иногда мерещится.

«И неужели, неужели вамъ ничего не представляется утѣшительнѣе и справедливѣе этого»! съ болѣзненнымъ чувствомъ вскрикнулъ Раскольниковъ.

— Справедливѣе? А почемъ знать, можетъ быть, это и есть справедливое и, знаете, я бы такъ непремѣнно нарочно сдѣлалъ! отвѣтилъ Свидригайловъ, неопредѣленно улыбаясь.

Холодомъ охватываетъ читателя при этой ужасной искренности сумасшедшаго человѣка, въ которомъ, рядомъ съ философомъ-циникомъ, сидитъ циникъ-сластолюбецъ и циникъ-преступникъ...

«Всякъ о себѣ помышляетъ, и всѣхъ веселѣе тотъ и живетъ, кто всѣхъ лучше себя сумѣетъ надуть!» разъясняетъ онъ, при другомъ случаѣ, принципы своей жизни.

«Ха, ха! Да что вы въ добродѣтель-то такъ всѣмъ дышломъ въѣхали? Пощадите, батюшка, я человѣкъ грѣшный. Хе, хе, хе!»

Шляясь по кабакамъ и вертепамъ разврата, онъ, въ то же время, отдаетъ всѣ свои средства для спасенія проституки, подбираетъ заброшеннаго ребенка, освобождаетъ изъ своихъ объятій испуганную дѣвушку, до которой страстно добивался нѣсколько лѣтъ, рискуя даже жизнью, и потомъ хладнокровно, отъ скуки, лишаетъ себя жизни.

Мы хорошо знаемъ, что натура человѣческая далеко не заключаетъ въ себѣ одно только гладкое, совмѣстимое, пропорціональное, что она вовсе не иллюстрація педагогической книжки или моральнаго трактата. Шекспиры и Диккенсы ознакомили насъ съ тѣми таинственными, своеобразными силами, которыя часто живутъ въ темныхъ глубинахъ человѣческаго духа, какъ живутъ въ малоизвѣстныхъ глубинахъ моря разнообразныя чудища его... Но тѣмъ не менѣе характеры, подобные Свидригайлову, становятся въ нашихъ глазахъ какими-то безплодными вопросительными знаками. Что они такое? Какой ихъ смыслъ? Гдѣ правдоподобіе ихъ? Они не только не говорятъ собою ничего, но вносятъ хаосъ вообще въ психическія представленія человѣка. Черты подобнаго характера засунуты въ одну общую оболочку, какъ папиросы въ мѣшокъ, чисто внѣшнимъ механическимъ образомъ, не выказывая никакого взаимнаго сродства, никакой органической связи между собою. Одна черта не вызываетъ другой и не зависитъ отъ нея. Этотъ случайный агрегатъ отдѣльныхъ человѣческихъ свойствъ является только курьезомъ, заманчивымъ для поверхностнаго любопытства, но не представляетъ матеріала для серьезныхъ психическихъ выводовъ. Чудаки, въ родѣ Свидригайлова, конечно, оригинальны, и ни въ какомъ случаѣ не пошлы. Но погоня за свѣжестью, за искренностью и глубиною не должна въ писателѣ доходить до такихъ искусственныхъ и грубыхъ эффектовъ антитеза, до такой шаржировки оригинальности. Иначе выйдетъ то, что, большею частью, и выходитъ изъ героевъ Достоевскаго,— любопытный субъектъ уже въ смыслѣ не психологическомъ, а психіатрическомъ. На этомъ полѣ у Достоевскаго нѣтъ соперниковъ, и съ этой точки зрѣнія вы даже вполнѣ понимаете Свидригайлова и К°. Но мы опять спрашиваемъ читателя: область ли это настоящаго искусства? Не слишкомъ ли далеко забѣгаетъ писатель въ этихъ смѣлыхъ экскурсіяхъ своихъ въ чуждую ему область научнаго изслѣдованія?

Какъ бы то ни было, эти психіатрическіе типы и психіатрическія настроенія вполнѣ обрисовываютъ міровоззрѣніе писателя. За

итожнымъ исключеніемъ немногихъ свѣтлыхъ личностей и рѣдкихъ свѣтлыхъ минутъ, онъ заставляетъ читателя выносить изъ своихъ послѣднихъ романовъ чувство безнадежности и отвращенія къ міру. Добродѣтель, практикуемая усталыми и скучающими учениками, ради собственнаго нервнаго раздраженія, ради того, чтобы отбить свѣженькимъ и непривычнымъ ощущеніемъ прѣсный вкусъ опротивѣвшихъ удовольствій грѣха,— погребаетъ сама себя въ общей клоакѣ безсмыслія, безразличія и случайности всѣхъ человѣческихъ дѣяній... Она является такою же необязательною прихотью разнузданнаго человѣческаго сладострастія или горькаго презрѣнія къ міру, какъ и всякая нравственная грязь, съ нею чередующаяся... Поэтому кажущіеся проблески ея не веселятъ, а только пуще омрачаютъ мрачную картину внутренняго человѣческаго міра, изображаемаго Достоевскимъ. Отчаяніе во всемъ, сомнѣніе во всемъ, внутренній холодъ и внутренній хаосъ, вотъ что поселяетъ въ читателѣ эта картина. Она не даетъ ему никакой руководящей нити, никакого осязательнаго, нравственнаго поученія, ни малѣйшаго луча свѣта. Соня, хоронящая свое религіозное чувство въ ремеслѣ невольной проститутки, Мармеладовъ съ своими вѣрованіями въ верховную правду, раздавленный въ пьяномъ видѣ промчавшимися черезъ него рысаками,— вотъ представители сколько-нибудь добраго начала, вотъ ихъ земная судьба!... Раскольниковъ тоже не безъ добрыхъ движеній, хотя и преступникъ. Но господствующее чувство его — это ненависть къ міру, къ людямъ. Онъ ненавидитъ ихъ за свою собственную слабость, за свою бѣдность, за свое преступленіе, за свою неудачу. Преступленіе не ужаснуло, не растрогало его сердца. Преступленіе только озлобило и взъерошило его. Никогда онъ не былъ такъ твердо увѣренъ въ своемъ правѣ на преступленіе, въ высокомъ значеніи преступленія, какъ послѣ его совершенія, и, главное, послѣ неудачи своей.

Послушайте, какъ онъ толкуетъ Сонѣ чуть не о святости своего подвига. Онъ считаетъ себя какимъ-то мстителемъ за страданіе человѣчества; поклонившись до земли въ ноги Сонѣ, въ припадкѣ дикаго воодушевленія, онъ говоритъ ей:

«Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился»...

А между тѣмъ нѣтъ человѣка, не исключая его сестры, его матери, его друга, которыхъ бы онъ дѣйствительно любилъ, ради которыхъ онъ понесъ бы хоть какое-нибудь лишеніе, не только страданіе. Даже эту, растрогавшую его, бѣдную Соню онъ безжалостно дразнитъ и смущаетъ: въ день смерти ея отца онъ утѣшаетъ ее предсказаніемъ, что и ее скоро свезутъ въ больницу, что маленькая сестра ея, Поля, тоже сдѣлается проституткою, какъ и она.

Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ быть, нѣтъ! какъ отчаянная, громко вскрикнула Соня, какъ будто ее вдругъ ножомъ ранили,— Богъ такого ужаса не допуститъ!

«Другихъ допускаетъ же».

— Нѣтъ, нѣтъ, ее Богъ защититъ, Богъ! повторяла она, не помня себя.

«Да, можетъ, и Бога то совсѣмъ нѣтъ, съ какимъ-то даже злорадствомъ отвѣтилъ Раскольниковъ, засмѣялся и посмотрѣлъ на нее» (стран. 53, ч. II).

Со всѣмъ тѣмъ онъ искренно считалъ Соню великою грѣшницею, и говоритъ ей въ глаза: «Какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ другими противоположными и святыми чувствами совмѣщаются? Вѣдь справедливѣе, тысячу разъ справедливѣе и разумнѣе было бы прямо головой въ воду и разомъ покончить!»

Себѣ онъ однако не задавалъ такого вопроса и не прибѣгалъ къ такому исходу, хотя бы, казалось, и былъ къ тому нѣкоторый поводъ. Напротивъ, онъ очень негодуетъ на Соню, когда та совѣтуетъ ему повиниться и покаяться въ убійствѣ.

— Въ чемъ я виноватъ передъ ними? говоритъ онъ. Зачѣмъ пойду? Что имъ скажу? Все это одинъ только призракъ... Они сами милліонами людей изводятъ, да еще за добродѣтель почитаютъ. Плуты и подлецы они, Соня!... не пойду (стран. 168, ч. II).

Въ другомъ мѣстѣ онъ такъ смотритъ на совершонное имъ дѣло:

— «Преступленіе? Какое преступленіе? вскричалъ онъ вдругъ, въ какомъ-то внезапномъ бѣшенствѣ. — То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому ненужную, которую убить — сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это-то преступленіе? Не думаю я о немъ и смывать его не думаю. И что мнѣ тычутъ со всѣхъ сторонъ: «преступленіе, преступленіе!» Только теперь вижу ясно всю нелѣпость моего малодушія, теперь какъ уже рѣшился итти на этотъ ненужный стыдъ! Просто отъ низости и бездарности моей рѣшаюсь»... «Если бы мнѣ удалось, *то меня бы увѣнчали*, а теперь въ капканъ!» горячо увѣряетъ онъ свою сестру. Вѣдь все равно же кровь «льется и всегда лилась на свѣтѣ, какъ водопадъ», все равно жъ «ее льютъ какъ шампанское, вѣнчаютъ за нее въ Капитоліи и называютъ потомъ благодѣтелемъ человѣчества» (стран. 281, ч. II).

А между тѣмъ трудно отыскать даже какой-нибудь намекъ на благодѣяніе въ замыслѣ Раскольникова. Въ минуту искренности онъ самъ признается Сонѣ:

— «Не для того, чтобы матери помочь я убилъ, — вздоръ! Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества, — вздоръ! я просто убилъ; для себя убилъ, для себя одного»...

«Мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣй узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или человѣкъ? Смогу ли я переступить, или не смогу? Осмѣлюсь ли я нагнуться и взять, или нѣтъ? Тварь ли я дрожащая, или право имѣю»... (стран. 167, ч. II).

Это признаніе всецѣло разоблачаетъ хаотическую психію Раскольникова. Въ сущности, въ немъ не жило даже страсти, даже ненависти, не только любви. Въ немъ былъ только душевный холодъ и воспаленность мечты... И надъ всѣмъ этимъ — необъятное себялюбіе. Онъ не имѣлъ никакихъ ясныхъ цѣлей, не способенъ былъ стать и бороться за кого-нибудь, за что-нибудь. Онъ только мечталъ о томъ, чтобы сознать самого себя въ ряду властителей, въ ряду *право имѣющихъ*, чтобы испробовать на опытѣ «Наполеонъ ли онъ?» А тамъ «сталъ ли бы я чьимъ-нибудь благодѣтелемъ, или всю жизнь, какъ паукъ, ловилъ бы всѣхъ въ паутину, и изъ всѣхъ живые соки высасывалъ, мнѣ, въ ту минуту, все равно должно было быть», откровенно объяснялъ онъ.

Это — то же циническое равнодушіе, съ которымъ Свидригайловъ продѣлывалъ безразлично, словно надсмѣхаясь надъ нравственными понятіями людей, то высокій подвигъ самоотверженія, то чудовищно-грязный грѣхъ...

И Раскольникову и Свидригайлову — міръ самъ по себѣ не нуженъ, противенъ, достоинъ одного презрѣнія... Сами они, ихъ самолюбіе, ихъ сладострастіе, вотъ единственные кумиры, которымъ они поклоняются, которыхъ право признаютъ они въ этомъ безсмысленномъ хаосѣ человѣческой жизни... Но и они нужны имъ только до тѣхъ поръ, пока могутъ выполнять свою службу, пока для нихъ есть какое-нибудь удовлетвореніе.

Нѣтъ этого, пресытилось чрево, затосковала капризная мечта, — и разбиваются безъ жалости послѣдніе кумиры!... *Марковъ.*

Трагизмъ Раскольникова.

Развитіе сверхчеловѣка въ новѣйшей литературѣ прошло три стадіи: 1) сначала его только предугадывали, какъ бы намѣчали; потомъ 2) появлялись попытки создать его, а въ 3) послѣдній періодъ, уже сознательно приступили къ рѣшенію проблемы человѣка-бога.

Прежде всего мы встрѣчаемъ индивидуумовъ, развившихся до сверхчеловѣковъ у самыхъ сильныхъ индивидуальностей современной литературы, Ѳедора Достоевскаго (1818—21) и Генриха Ибсена (1828), у наиболѣе экспансивнаго и наиболѣе энергичнаго изъ новѣйшихъ мыслителей, самаго страстнаго и самаго вдумчиваго, у славянина и германца. Оба они такъ далеко шагнули въ обѣтованную землю новаго духа, что въ концѣ-концовъ перестали сами себя понимать, повернули назадъ, споткнулись и стали стремиться обратно туда, откуда вышли: къ церкви и къ обществу. Кончили они оба мистицизмомъ. Только у каждаго мистицизмъ имѣетъ свое особое значеніе, — у Ибсена онъ обозначаетъ третью фазу его развитія.

Раскольниковъ въ двухъ отношеніяхъ произвелъ переворотъ въ современной литературѣ — какъ въ смыслѣ проникновенности

творчества, такъ и въ самой постановкѣ проблемы о сверхчеловѣкѣ. Мы сталкиваемся съ индивидуумомъ, поставленнымъ въ такую среду, которая неизбѣжно должна довести его до преступленія, а преступникъ въ сущности и есть человѣкъ высшаго порядка, т.-е., съ точки зрѣнія общественной, сверхчеловѣкъ, стоящій настолько выше окружающей среды, что для него старое ученіе о нравственности болѣе не имѣетъ смысла, словомъ — преступникъ, создающій новыя цѣнности. Раскольниковъ высокомѣренъ и гордъ, и уже ребенкомъ чувствуетъ себя выше всѣхъ. Онъ ни минуты не сомнѣвается въ своихъ особыхъ правахъ и первое, что заимствуетъ у науки — это ученіе: «возлюби самого себя», потому что все на свѣтѣ построено на личномъ интересѣ. Несмотря на страстность, у него въ сущности все-таки натура созерцательная, и на убійство его подвигаютъ теоретическія разсужденія, какъ и Евгенія Арамсъ въ романѣ Бульвера того же заглавія. Но внѣшнимъ толчкомъ къ этому поступку служитъ глубокое униженіе, которому должна подвергнуться его столь же гордая, какъ и онъ, сестра.

Главная идея романа — права личности, защищаемыя Раскольниковымъ при всякомъ удобномъ случаѣ и противъ всѣхъ, или, вѣрнѣе, какъ онъ позже доказываетъ судебному слѣдователю, права выдающихся людей переступать черезъ извѣстныя препятствія; но, добавляетъ онъ, поправляя самого себя, единственно съ цѣлью осуществленія своей высшей идеи, могущей осчастливить человѣчество. Въ одномъ отношеніи его можно было бы считать предшественникомъ Ницше, а именно, въ дѣленіи людей по свойству ихъ натуръ на два класса, — господъ и рабовъ: низшій классъ — обыкновенные люди, матеріалъ, служащій исключительно для продолженія рода; настоящіе человѣки — тѣ, что обладаютъ талантомъ сказать *новое* слово, прокладывать новые пути, — словомъ, могутъ вести человѣчество вверхъ. Разумѣется, толпѣ этого никогда не понять, она караетъ преступающихъ законы и обычаи, но потомство возноситъ ихъ на пьедесталы; они-то и суть властители будущаго. И люди толпы и выдающіеся люди имѣютъ одинаковыя права, но между ними всегда неизбѣжно будетъ война. Опасенія хитраго слѣдователя, что въ такомъ случаѣ могутъ возникнуть различныя недоразумѣнія и самые обыкновенные люди въ концѣ-концовъ будутъ считать себя за высшихъ (Порфирій какъ бы предугадалъ будущую нѣмецкую литературу), — это опасеніе, по мнѣнію Раскольникова, весьма легко опровергнуть, такъ какъ толпа даже не въ состояніи замѣтить истинно новыхъ людей, да они и такъ рѣдки, что не такъ-то легко вызовутъ какіе-либо безпорядки. Но онъ дѣлаетъ уступку своему весьма не глупому противнику и признается, что пока еще не открыто закона природы, устанавливающаго послѣдовательность, въ которой выдѣлялись бы родомъ или видомъ подобныя исключительныя личности.

По мнѣнію Достоевскаго, масса для того только и существуетъ, чтобы производить сверхчеловѣка. И въ этомъ отношеніи онъ бук-

вально сходится съ мнѣніемъ Ницше, который поклонялся ему и многое почерпнулъ изъ его психологіи и изображенія людей. Онъ хорошо знаетъ, что безнаказанно нельзя сдѣлаться сверхчеловѣкомъ, знакомъ со страданіями великихъ натуръ и глубокимъ горемъ тѣхъ, кто за свое величіе расплачиваются полнымъ одиночествомъ. Ницше безподобно передаетъ намъ это горе и уже въ своемъ первомъ сочиненіи о «Рожденіи Трагедіи», когда навѣрное, даже еще и не читалъ Раскольникова, чудесно истолковываетъ персидское сказаніе о прорицателяхъ и о томъ, какъ и чѣмъ они грѣшатъ противъ природы.

Весь трагизмъ Раскольникова заключается въ томъ, что онъ вовсе не сверхчеловѣкъ, за котораго себя считаетъ, и его поступокъ не приводитъ его къ цѣли и не освобождаетъ, а только окончательно развинчиваетъ и дѣлаетъ несчастнымъ. Но этотъ поступокъ можно считать мѣриломъ его натуры, онъ похожъ на несвоевременно совершенную операцію, которая лишь умножаетъ страданія больного, усиливая въ немъ сознаніе своей болѣзни. «Я не человѣка убилъ, а принципъ убилъ. Принципъ-то я убилъ, а переступить не переступилъ». («Преступленіе и наказаніе», изданіе Маркса, стран. 256.)

Нѣтъ, тѣ, высшіе люди, совсѣмъ иные: «Настоящій *властитель*, кому все разрѣшается, громитъ Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, *забываетъ* армію въ Египтѣ, *тратитъ* полмилліона людей въ московскомъ походѣ и отдѣлывается каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же по смерти ставятъ кумиры и, стало-быть, все разрѣшается. Нѣтъ на этакихъ людяхъ видно, не тѣло, а бронза» (стран. 255).

И вотъ его пламенная гордость вооружается на него же. Онъ — такая же вошь, какъ и убитая имъ старуха, такъ какъ вмѣсто того, чтобы дѣйствовать, все время разсуждаетъ о своемъ поступкѣ, и еще потому, что все время въ свое оправданіе передъ собственной совѣстью приводитъ свои высшія цѣли. Кончается тѣмъ, что онъ преклоняетъ колѣни передъ погибшей дѣвушкой Соней, читающей ему евангеліе, и опять таки не передъ ея личностью, а передъ принципомъ: «Я не тебѣ поклоняюсь, я всему страданію человѣческому поклонился» (стран. 299).

Пророкъ безнравственности, сверхчеловѣкъ, дѣлается новымъ апостоломъ страданій, потому что онѣ святыня.

Благодаря процессу развитія идеи сверхчеловѣка въ обратную сторону, назадъ, этотъ романъ можно причислить къ самому поучительному и глубокому, чѣмъ подарила насъ современная литература. И поразительно, что все это достигается самыми простыми средствами. Третья часть романа читается словно евангеліе — та же смягченность сердца, та же умиротворенность, то же одиночество... и это производитъ впечатлѣніе будто до насъ доносится эхо того, что творится на самыхъ глубинахъ человѣческой души.

Раскольниковъ — убійца и представитель двухъ нравственностей, хотя не подходитъ ни подъ одну изъ нихъ: прежнее аскетическое міровоззрѣніе не можетъ принять его, потому что онъ выдвигаетъ на

первый планъ свое *я*, а новое, — потому что не умѣетъ до конца отстоять его; въ глазахъ общества онъ преступникъ, а для высшаго человѣчества отщепенецъ. Отставши отъ прошедшаго, не примкнувши къ будущему, онъ замыкается въ самомъ себѣ, и чѣмъ сильнѣе стремится расчистить себѣ путь впередъ или назадъ, тѣмъ болѣе запутывается.

Въ этомъ и заключается вся трагедія Раскольникова: онъ преступникъ, потому что совершилъ неудачный поступокъ, потому что дозволилъ факту сдѣлаться своимъ господиномъ и бросился въ дѣло, для котораго еще не созрѣлъ. Само убійство играетъ весьма незначительную роль въ этой трагедіи. Раскольниковъ не раскаивается въ немъ и никогда не вспоминаетъ старой ростовщицы. Вина его — абстрактная, потому что и натура у него рефлекторная. Утерявъ давнымъ-давно человѣка, онъ даже и въ погибшей дѣвушкѣ опять таки видитъ лишь принципъ. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ криминальнымъ случаемъ, и переходъ отъ него къ старой прежней морали уничтоженъ. Раскольникова ни въ какомъ случаѣ нельзя причислить къ «господамъ», но въ то же время онъ уже откололся и отъ существующаго общества; и его отличіе отъ Наполеона — не въ разницѣ его отношенія къ обществу, а въ томъ, что онъ переживаетъ лишь въ мысляхъ, абстракціяхъ то, что тотъ повторяетъ въ дѣйствіи. Настоящая его вина въ томъ, что онъ покинулъ свойственный ему элементъ и перенесъ его законы на міръ дѣйствительный; претерпѣнное имъ униженіе заключается не въ ссылкѣ, а въ оскорбленной гордости, а спасеніе въ томъ, что суровая сибирская каторга вынуждаетъ его вмѣсто софистики заняться самой работою. Исторія его постепеннаго возрожденія заключается въ знакомствѣ съ новой, дотолѣ неизвѣстной, ему областью — міромъ дѣйствительности, и въ немъ онъ можетъ выполнить свое великое назначеніе, которое его не минуетъ даже въ каторжной курткѣ старой нравственности и онъ выростетъ изъ нея и пойдетъ навстрѣчу новому утру человѣчества. *Бергъ.*

Записки изъ «Мертваго дома» и «Преступленіе и Наказаніе», какъ одно органически цѣлое.

Русская литература обладаетъ двумя произведеніями, въ которыхъ жизнь преступниковъ очерчена съ рѣдкой художественной правдой, и исторія преступленія подвергнута глубокому психологическому анализу. Читатель догадывается, что рѣчь идетъ о «Запискахъ изъ мертваго дома» и «Преступленіи и наказаніи» Достоевскаго. Все сложилось такъ, чтобы сдѣлать эти произведенія классическими. Въ лицѣ Достоевскаго мы имѣемъ единственный въ исторіи примѣръ, когда молодой писатель еще въ періодѣ умственнаго сформированія попадаетъ на нѣсколько лѣтъ въ общество самыхъ тяжкихъ преступниковъ. Глубокій мыслитель, обладавшій особымъ

даромъ проникновенія въ тайники человѣческаго сердца и притомъ же питавшій особенную слабость копаться въ потемкахъ человѣческой души, еще больше психопатологъ, чѣмъ психологъ, въ высокой степени одаренный наблюдательностью и болѣзненно чувствительный къ неправдѣ во всѣхъ ея видахъ, Достоевскій былъ какъ бы созданъ для того, чтобы освѣтить силой своего таланта темный міръ преступленія и зла. Каторга доставила ему возможность увидѣть и изучить міръ преступниковъ такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, когда, сбросивъ съ себя ледяной покровъ напускного равнодушія и бравированія своимъ положеніемъ, они дѣлаются живыми людьми, съ своеобразными чертами и пороками. Достоевскій видѣлъ сотни преступниковъ, всѣхъ возрастовъ, сословій, различной степени развитія. Онъ наблюдая ихъ, какъ равныхъ и товарищей за работой, въ церкви, за играми, въ рѣдкія минуты тюремныхъ радостей. Онъ видѣлъ ихъ умирающими, словомъ, онъ имѣлъ такой матеріалъ и такую позицію для наблюденій, какую никогда не можетъ имѣть ни одинъ тюремный врачъ или инспекторъ, которому доступна одна лишь офиціальная сторона тюремной жизни. Вотъ почему для пониманія преступности и психологіи преступниковъ работы Достоевскаго имѣютъ огромное значеніе, какъ единственный въ своемъ родѣ документъ.

Записки изъ «Мертваго дома» и «Преступленіе и наказаніе» отдѣлены одно отъ другого нѣсколькими годами, но по внутреннему содержанію своему представляютъ одно органически и взаимно дополняющее другъ друга цѣлое. Въ «Преступленіи и наказаніи» Достоевскій пытался начертить основные типы преступленія, отбросивъ въ сторону всѣ разнообразныя индивидуальныя условія, которыя придаютъ каждому случаю преступленія своеобразную физіономію. Въ «Запискахъ» Достоевскій показываетъ намъ результатъ преступленія и возмездія, подводитъ итоги окончательному исходу борьбы между преступной личностью и обществомъ. Въ «Преступленіи и наказаніи» мы имѣемъ картину самой борьбы, описаніе тѣхъ темныхъ силъ, которыя возмущаютъ жизнь общества; авторъ показываетъ намъ тотъ механизмъ, съ помощью котораго общество борется съ преступленіемъ. Въ «Запискахъ» мы видимъ людей, уже пережившихъ острый періодъ нравственнаго и соціальнаго паденія, «рѣшенныхъ», у которыхъ все зло, вся жизнь — въ прошломъ, а въ будущемъ одна соціальная смерть; лишь въ рѣдкихъ случаяхъ у немногихъ еще мерцаетъ слабый лучъ надежды.

Герои темнаго царства «Записокъ» напоминаютъ собой въ нравственномъ отношеніи картину пепелища послѣ пожара. Не видно зданія, лишь кое-гдѣ изъ-подъ груды мусора торчатъ остатки стѣнъ. Въ «Преступленіи и наказаніи» Достоевскій рисуетъ первую фазу преступленія, обнажаетъ тѣ слои, въ которыхъ преступленіе зарождается, и тѣ источники, изъ которыхъ оно питается. Это исторія созрѣванія преступленія. Героемъ «Записокъ» является преступ-

никъ, какъ личность; читатель задумывается надъ вопросомъ, что дѣлать съ преступникомъ, чего можетъ ждать отъ него общество, пострадавшее и теперь наказывающее его, въ какой мѣрѣ и при какихъ условіяхъ возможно возвращеніе преступника въ общество, безъ опасности для послѣдняго. Въ «Преступленіи и наказаніи» героемъ выступаетъ не личность, а преступленіе, какъ одна изъ фигуръ царства зла, какъ отвлеченная сила. Вниманіе читателя въ концѣ концовъ останавливается на вопросѣ о причинахъ и происхожденіи преступленія. Въ умѣ читателя слагается цѣльное представленіе о царствѣ зла, гдѣ отдѣльные элементы, какъ-то бѣдность, порокъ, страсти, нравственное паденіе, заблужденія ума, тѣсно переплетены между собою и составляютъ одно неразрывное цѣлое. Таково соотношеніе и связь «Преступленія и Наказанія» и «Записокъ».

Достоевскій далъ намъ печальную и конечную стадію ложнаго процесса преступленія, процесса въ одно и то же время и личнаго и соціальнаго. Только ставъ на такую точку зрѣнія, и можно понять литературную связь между содержаніемъ обоихъ произведеній. Въ самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ казалось бы, что «Записки» Достоевскаго содержатъ тотъ самый матеріалъ, который въ теоретической обработкѣ составляетъ содержаніе «Преступленія и наказанія». Можно было бы ожидать, что авторъ путемъ индукціи доходитъ до установленія коренныхъ признаковъ преступленія и основныхъ типовъ преступниковъ. Мы видимъ, однако, другое. «Преступленіе и Наказаніе» не есть дальнѣйшее развитіе и обработка матеріала, собраннаго въ «Запискахъ». И въ типахъ «Преступленія и наказанія» мы не найдемъ чертъ, которыя изображены Достоевскимъ въ первомъ его произведеніи. Объясняется же это тѣмъ, что Достоевскій шелъ не путемъ индуктивной логики, а совершенно своеобразной дорогой художественнаго творчества. Онъ реставрировалъ по тѣмъ обломкамъ психической и соціальной жизни, которые онъ наблюдалъ въ каторгѣ, первоначальную физіономію своихъ героевъ каторжниковъ. Онъ шелъ отъ каторги къ преступленію, отъ преступленія къ пороку и злу. Въ результатѣ явилось произведеніе, въ которомъ мы находимъ не дальнѣйшую переработку впечатлѣній, вынесенныхъ изъ каторги, а художественное и идейное творчество, которое дало возможность автору на основаніи настоящаго создать прошлое и къ готовому концу пристроить начало. Вотъ почему, несмотря на то, что хронологически и по характеру содержанія «Записки предшествуютъ «Преступленію и наказанію», — по внутреннему смыслу, послѣднее произведеніе является исходной точкой исторіи преступленія. Раскольниковъ представляетъ собою центральную фигуру, и его обыкновенно называютъ героемъ этого разсказа. Это, однакожъ, вѣрно лишь до извѣстной степени. Не даромъ авторъ озаглавилъ свою книгу «Преступленіе и Наказаніе». Очевидно, въ его глазахъ не личности, фигурирующія въ разсказѣ, а именно само преступленіе и само наказаніе являются истинными героями.

Мы находимъ тамъ не одно, а рядъ преступленій, изъ которыхъ большинство проходитъ весь законченный процессъ своего развитія до момента наказанія. Не одинъ Раскольниковъ совершаетъ преступленіе — мы встрѣчаемъ здѣсь вора и пьяницу Мармеладова, проститутку Соню, изнасилователя Свидригайлова. Всѣ эти фигуры и ихъ дѣянія рельефно выступаютъ на томъ фонѣ, гдѣ Раскольниковъ и его преступленіе составляютъ наиболѣе выпуклую и яркую часть картины. Правда, однакожъ, что жизнь и преступленія всѣхъ этихъ лицъ группируются вокругъ личности Раскольникова, фигура котораго составляетъ центръ картины. Исторія преступленія Раскольникова со всѣми деталями его душевной борьбы, тянется непрерывающейся нитью черезъ все произведеніе, тогда какъ другія фигуры являются эпизодически, какъ бы вкрапленныя въ исторію Раскольникова. Получается такое впечатлѣніе, что всѣ дѣйствующія лица разсказа играютъ второстепенную роль, дополняя и освѣщая личность главнаго героя, служатъ въ рукахъ автора средствомъ, которымъ онъ пользуется, чтобы раскрыть всѣ стороны характера своего героя.

Совершенно въ иномъ свѣтѣ намъ представится взаимноотношеніе дѣйствующихъ лицъ разсказа, если посмотрѣть на нихъ и на весь разсказъ съ другой стороны — идейной. Несомнѣнно, что Достоевскій сдѣлалъ попытку изложить въ лицахъ и фактахъ теорію преступленія. Съ этой точки зрѣнія всѣ дѣйствующія лица разсказа являются вполнѣ самостоятельными фигурами, имѣющими свой смыслъ помимо Раскольникова, ихъ дѣянія и преступленія входятъ основными элементами въ ту область зла, которая и есть истинный сюжетъ Достоевскаго. И если однакожъ и съ этой идейной стороны личность и преступленіе Раскольникова такъ же доминируютъ надъ всѣми другими, то тому есть особыя спеціальныя основанія, коренящіеся въ самой сущности теоріи Достоевскаго.

Оршанскій.

Идейная связь Раскольникова съ подпольнымъ человѣкомъ.

«Я умникомъ шелъ на убійство старушки»
ром. «Преступленіе и наказаніе».
Достоевскій.

Въ «Запискахъ изъ подполья» есть одна характерная страница, повидимому, не заключающая въ себѣ ничего примѣчательнаго. Содержаніе ея слѣдующее.

Герой «Записокъ» былъ однажды жестоко оскорбленъ какимъ-то офицеромъ. Обида, главнымъ образомъ, состояла въ чрезвычайномъ пренебреженіи, которое оказалъ этотъ офицеръ «подпольному человѣку». Послѣдній въ первый моментъ ничѣмъ не могъ отомстить своему обидчику, «побоялся, что меня не поймутъ, если я на языкѣ литературномъ заговорю о пунктѣ чести», — но обиду затаилъ въ сердцѣ

своемъ и носился съ нею нѣсколько лѣтъ, придумывая различные способы, какъ бы отплатить обидчику... Вся жизнь его въ продолженіе этихъ лѣтъ ушла въ разсмотрѣніе своихъ обиженныхъ чувствъ и сознанія, непрестанно укорявшихъ обладателя ихъ въ трусости, въ слабости, въ отсутствіи гордости, и желанія поддержать, какъ бы то ни было, человѣческое достоинство.

«Ты не имѣешь никакой силы», — говорило ему сознаніе, — «ты лишенъ всякаго человѣческаго достоинства, ты только жалуешься, кричишь, проклинаешь свое положеніе, но никогда не сможешь возвысить себя и, понимая, что такое свобода, совершенно не желаешь даже въ самомъ ничтожномъ осуществить ее!»...

Такой ходъ мыслей «подпольнаго человѣка» совершенно «извратилъ» его міровоззрѣніе. Онъ рѣшается вытти изъ своего «угла» и отомстить. Вся «месть» должна была состоять лишь въ томъ, чтобы не уступить офицеру дороги при уличной встрѣчѣ.

Сколько времени приготовлялъ себя «подпольный человѣкъ» къ этой «мести»! Онъ даже лучшею одеждою обзавелся, чтобы больше «внушенія произвести»... Наконецъ, «тренировалъ» себя, нарочно встрѣчаясь съ офицеромъ и, пока давая ему дорогу, но непремѣнно съ тѣмъ, чтобы въ одинъ прекрасный моментъ не уступить. Долго не приходилъ этотъ моментъ, — силъ нехватало, и только совершенно случайно, неожиданно пришли вдругъ эти силы и — «я въ трехъ шагахъ отъ моего врага вдругъ рѣшился, зажмурилъ глаза, и мы столкнулись плечо о плечо! Я не уступилъ ни вершка и прошелъ мимо совершенно на равной ногѣ! Воротился я домой совершенно отмщеннымъ. Я былъ въ восторгѣ. Дѣло въ томъ, что я достигъ цѣли, поддержалъ достоинство»...

Чѣмъ собственно поддержалъ «подпольный человѣкъ» свое достоинство? Неужели тѣмъ, что онъ только не уступилъ дороги офицеру? Конечно, не этимъ, но своимъ рѣшеніемъ не давать дороги. Это рѣшеніе, способность къ нему, открыло герою «Записокъ», что и ему присуща нѣкая сила ввести новый элементъ въ свою жизнь, а, слѣдовательно, и возвыситься въ собственномъ сознаніи.

Однако, спустя нѣсколько дней послѣ столкновенія съ офицеромъ, послѣ пятидневнаго восторга, «я, — говоритъ съ искривленной улыбкой житель «подполья», — почувствовалъ еще большее униженіе!» — Почему? А потому, что сознаніе съ самой ядовитой насмѣшкой сказало этому жителю: «есть отъ чего приходить въ восторгъ и гордиться!... Скажите пожалуйста, — не уступить дороги офицеру?!... Нѣтъ, если этотъ офицеръ унизилъ тебя, сорвалъ съ тебя и то человѣческое достоинство, которое ты имѣлъ, рѣшись на что-нибудь поважнѣе, чѣмъ дорога! Рѣшись-ка убить его!... Посмотримъ, хватитъ ли у тебя на это силъ? Если достанетъ, тогда ты «не тварь дрожащая, не вошь!...» — «Не могу я на это рѣшиться! Сознаю, что добро и зло равноцѣнны для меня, но силъ нехватаетъ!» кричитъ въ ужасѣ «подпольный человѣкъ», чувствуя, что онъ никогда теперь

не добьется нужнаго достоинства, что ему всегда суждено оставаться «тварью дрожащею»...

«Записки изъ подполья», съ одной стороны, и есть своеобразный, полный страшнаго отчаянія вопль человѣка, который окончательно убѣдился, что одинъ его разумъ, позволяющій все и, повидимому, открывающій дорогу ко всему, не знаетъ, между тѣмъ, дороги къ тому пункту жизни, взобравшись на который человѣкъ сказалъ бы: «дѣйствительно, я царь!...» — Но, въ сущности говоря, «подпольный человѣкъ» и не искалъ этой дороги къ «царскому пункту». Онъ прямо призналъ собственное безсиліе и согласился на свое униженіе. Однако, проблему, поставленную имъ, нужно было рѣшить; необходимо было сказать — да или нѣтъ на вопросъ: «дѣйствительно ли я буду царемъ и выиграю въ самоуваженіи, если попробую и на самомъ дѣлѣ осуществить принципъ разума, что добро и зло въ корнѣ своемъ предъ человѣкомъ и его «душевнымъ» сознаніемъ равноцѣнны и равноправны?»

Отвѣтъ на этотъ вопросъ дается намъ Достоевскимъ въ цѣломъ рядѣ созданныхъ имъ типовъ, которыхъ, подводя подъ одну категорію, мы называемъ «умственниками». Раскольниковъ стоитъ во главѣ ихъ, а потому съ него и начинаемъ характеристику этихъ типовъ.

«Люди раздѣляются на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, — проповѣдуетъ Раскольниковъ, и «необыкновенные» имѣютъ право... то-есть, не офиціальное право, а сами имѣютъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть черезъ иное препятствіе... По моему мнѣнію, Кеплеръ, Ньютонъ имѣли бы право устранить сто человѣкъ, если бы послѣдніе мѣшали ихъ открытія сдѣлать извѣстными человѣчеству... Однимъ словомъ, если необыкновенному человѣку надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и черезъ кровь, то онъ внутри себя, по совѣсти можетъ, по моему, дать себѣ разрѣшеніе перешагнуть черезъ кровь»...

«Я догадался, Соня», говоритъ въ другомъ мѣстѣ романа съ нѣкоторымъ восторгомъ Раскольниковъ своей подругѣ, «что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только: стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто до меня еще и не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ человѣкъ не посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости существующихъ законовъ, взять просто-запросто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту! Я... я захотѣлъ осмѣлиться и убилъ... я только осмѣлиться захотѣлъ, Соня, вотъ вся причина!... Не для того, чтобы матери помочь, я убилъ — вздоръ! Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества. Вздоръ!... Если бы только я зарѣзалъ изъ того, что, напримѣръ, голоденъ былъ, то я бы теперь... счастливъ былъ!... Я просто убилъ; для себя убилъ,

для себя одного... И когда я убилъ, то не деньги нужны были мнѣ, а другое... Я это все теперь знаю... Мнѣ другое надо было узнать... мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣе узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или человѣкъ?... (Какая связь и продолженіе «подпольнаго человѣка!...») Смогу ли я переступить, или не смогу? Тварь ли я дрожащая, или право имѣю?...

— Убивать? Убивать-то право имѣете? — всплеснула руками Соня.

«Э-эхъ, Соня! — вскрикнулъ онъ раздражительно и презрительно замолчалъ. — Слушай: я такая вошь, какъ и всѣ!... Пойми, когда я тогда къ старушкѣ ходилъ, я только попробовать сходилъ... Такъ и знай!...

— И убили! Убили!

— Да вѣдь какъ убилъ-то? Развѣ такъ убиваютъ?... Развѣ я старушку убилъ? Я себя убилъ, а не старушонку!...

«Подпольный человѣкъ» въ своемъ «подпольѣ» только сидѣлъ и думалъ, но почти ничего не дѣлалъ. Раскольниковъ, спустившись въ «подполье», т.-е. въ тѣ глубины человѣческаго духа, которыя, будучи освѣщены однимъ лишь разумомъ, представляютъ изъ себя только однѣ наши «духовныя ирраціональности», какъ человѣкъ большей жизненности, стремится и въ самую жизнь ввести принципъ, противорѣчащій «нравственной цѣлесообразности», а, слѣдовательно, и всей жизни въ полномъ ея проявленіи.

Сильный умъ, необычайная діалектика, способность къ теоретическимъ построеніямъ, вотъ что бросается прежде всего въ глаза, лишь только мы начинаемъ присматриваться къ личности Раскольникова. Въ то время, какъ у «подпольнаго человѣка» сознаніе только ковырялось, разбрасывая и критикуя все, но ничего не созидая, у Раскольникова разумъ является уже сознающимъ, но только съ характеромъ «отрицательнаго созиданія». Что, напримѣръ, представляетъ изъ себя знаменитая теорія Раскольникова, по которой всѣ люди дѣлятся на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ? Попытку одного лишь разума по своему взглянуть на жизнь, т.-е. утвердить въ ней болѣе однѣ ея стороны и почти уничтожить — другія. Поэтому сперва кажется, что этотъ разумъ и дѣйствительно какъ-то «устраиваетъ» жизнь, правда, на своихъ началахъ, но затѣмъ, приглядѣвшись, мы видимъ, что «устраиваніе» это есть только своеобразное отрицаніе коренныхъ основъ жизни. «Самая отвлеченная, неутолимая и разрушительная изъ страстей — фанатизмъ, страсть идеи», говоритъ Д. Мережковскій, причисляя и самого Раскольникова, но только одной стороной его существа, къ фанатикамъ идеи. — «Онъ хотѣлъ бы быть однимъ изъ великихъ фанатиковъ, — это его идеалъ». И дѣйствительно, съ какимъ, напримѣръ, восторгомъ говоритъ Раскольниковъ о Наполеонахъ, «которые, для достиженія своей цѣли, даже и не задумались бы надъ убійствомъ тысячи старушонокъ... Они право имѣли, а я его не имѣю, поэтому ихъ люди прославили,

а меня осудили, такъ какъ я только тварь дрожащая»!... — Почему? Почему я «тварь дрожащая»?...

Вся жизнь Раскольникова, цѣлый рядъ поступковъ его свидѣтельствуютъ, что на ряду съ ужасно-безсердечной по отношенію къ другимъ людямъ теоріей, сердце Раскольникова полно нѣжности, любви, жалости къ человѣку. По словамъ Разумихина въ Раскольниковѣ «точно два противоположные характера поочередно смѣняются». Очень часто можно наблюдать, какъ въ одно и то же время разрушительная теорія переплетается (не соединяясь однако) со страстнымъ состраданіемъ къ людямъ. Припомните его любовь къ своей невѣстѣ-дурнушкѣ, которую онъ, Богъ вѣсть, за что любилъ, — «а будь она хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ...» Отъ природы Раскольниковъ уже былъ чрезвычайно нѣженъ, сострадателенъ ко всякому чужому горю. Вотъ, напримѣръ, его сонъ изъ дѣтства. Раскольникову снится, какъ онъ, рыдая, обнимаетъ и цѣлуетъ забитую мужикомъ лошадь... Всматриваясь въ эти «мягкія чувствованія» Раскольникова, мы, къ своему удивленію, открываемъ въ нихъ извѣстную цѣльность, которая, повидимому, не должна была бы существовать при такомъ страшномъ господствѣ и силѣ разума, стремящагося направить жизнь по своему руслу, какія мы можемъ наблюдать опять-таки у Раскольникова. Цѣльность «мягкихъ чувствованій» и не позволила ему сдѣлаться «Наполеономъ».

Позволимъ себѣ здѣсь маленькое отступленіе.

Чѣмъ больше изучаешь рядъ «ликовъ» «русскаго Фауста», тѣмъ все болѣе и болѣе убѣждаешься, что творецъ ихъ, если не сознательно, то, по крайней мѣрѣ, безсознательно («человѣкъ многое знаетъ безсознательно», говорилъ самъ Достоевскій), стремился къ возсозданію одного колоссальнаго лица, проводя идею его въ самыхъ разнообразныхъ видахъ.

И въ самомъ дѣлѣ, въ то время какъ «подпольный человѣкъ» представляетъ изъ себя, такъ сказать, полный хаосъ, въ которомъ въ разныхъ углахъ «ковыряется» сознаніе, не позволяя ему этимъ самымъ своимъ «ковыряніемъ» сосредоточиться ни на одномъ чувствѣ, а тѣмъ паче — поступкѣ, Раскольниковъ, создающейся послѣ «подпольнаго человѣка», стремится своею личностью разрѣшить какъ бы слѣдующій вопросъ, который задалъ себѣ его создатель: «что представитъ изъ себя человѣкъ, сердце котораго, съ одной стороны, будетъ полно евангельскимъ ученіемъ, будетъ, можно сказать, даже недоступно разуму въ своихъ метафизически-религіозныхъ тайнахъ[1]), а съ другой стороны, разумъ этого человѣка будетъ совершенно не религіозенъ, т.-е. совершенно не связанъ съ сердцемъ»?

«Такой человѣкъ», — отвѣчаетъ Достоевскій, — «лишь въ теоріи выдержитъ господство разума, на дѣлѣ же осудитъ себя, если

---

[1]) Раскольниковъ вѣруетъ въ Бога и «Новый Іерусалимъ».

вздумаетъ всю жизнь свою построить по разуму, ибо, въ концѣ концовъ, сердце его заявитъ свои права».

Не должно думать, что Раскольниковъ есть окончательная «реализація» этого отвѣта, какъ можно было бы полагать, основываясь на самомъ романѣ «Преступленіе и Наказаніе», а также и на многихъ его критикахъ. Герой разбираемаго нами романа, какъ будетъ показано отчасти и сейчасъ, представляетъ собою лишь первую попытку отвѣтить на вопросъ, поставленный самому себѣ Достоевскимъ.

Романъ «Преступленіе и наказаніе», какъ извѣстно, кончается просвѣтленіемъ Раскольникова подъ вліяніемъ евангелія. По нашему мнѣнію, Достоевскому точно надоѣло по настоящему окончить романъ. Со своимъ героемъ онъ сдѣлалъ то, что гр. Л. Толстой съ Нехлюдовымъ въ романѣ «Воскресеніе». Евангеліе и здѣсь и тамъ явилось своеобразнымъ Deus ex machina. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ концѣ романа «Преступленіе и наказаніе» мы видимъ самого Раскольникова? Развѣ мы наблюдаемъ здѣсь въ высшей степени поучительный и глубоко-интересный анализъ пути, по которому сердце Раскольникова взошло къ разуму, а разумъ къ сердцу, чтобы создать дѣйствительную гармонію духа? О душевномъ переворотѣ нашего героя «своими словами» разсказываетъ уже самъ «утомившійся» Достоевскій, преслѣдующій теперь лишь одну цѣль: поскорѣе развязаться съ романомъ. Вслѣдствіе всего этого романъ «Преступленіе и наказаніе» въ извѣстномъ смыслѣ есть незаконченное художественное произведеніе. Приближаясь къ концу романа, творецъ его увидалъ вдругъ предъ собою цѣлый рядъ вопросовъ, которые для своей разработки потребовали бы рядъ новыхъ романовъ, поэтому-то разбираемое нами произведеніе Достоевскаго и оканчивается только «своими словами», этими «словами» разсказано и воскресеніе Раскольникова, но въ то же время оставленъ довольно-таки незамѣтный путь, по которому, забывъ о «воскресеніи», можно было бы пройти къ разрѣшенію вдругъ возникшихъ вопросовъ.

Изъ «Рус. Фил. Вѣстника» за 1906 г.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 1 руб.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 50 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Державинъ, Г. Р. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Достоевскій, Ѳ. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Часть I. Цѣна 50 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 50 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 60 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Никитинъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Плещеевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Пушкинъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 75 коп.

Тютчевъ, Ѳ. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ **В. Спиридонова** и **А. Михайлова.**
Москва, Моховая, уг. Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120-95.

en 420729 (18) PG 33
P6

Stanford University Libraries
3 6105 124 444 519

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.